ПИСАРЕВ

1

ПИСАРЕВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Д. И. ПИСАРЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1955

Д. И. ПИСАРЕВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ 1

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

1859-1862



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1955

Подготовка текста,
вступительная статья
и примечания
Ю. С. СОРОКИНА



Д. И. ПИСАРЕВ

Д. И. Писарев принадлежит к числу выдающихся деятелей шестидесятых годов прошлого века — эпохи, сыгравшей важную роль в истории русской общественной жизни, в развитии науки, литературы и искусства нашей страны. В условиях острейшей борьбы классов, развернувшейся в эти годы, Писарев выступил как революционный демократ и материалист. Влияние его на демократическую молодежь было живым и сильным. Его произведения жадно читались, вызывали горячие споры, поражали смелостью выводов и яркостью аргументации, будили мысль.

В последующие годы имя Писарева, как и других замечательных представителей разночинского периода в русском освободительном движении, не было забыто. Пролетарские революционеры использовали лучшие страницы произведений Писарева в своей борьбе с царизмом, с капиталистическим строем, за победу социалистической революции. В воспоминаниях Н. К. Крупской сохранились свидетельства об отношении В. И. Ленина к Писареву. «Писарева, — указывает она, — Владимир Ильич в свое время много читал и любил». «Меня, — писала Н. К. Крупская, — пленила резкая критика крепостного уклада Писаревым, его революционная настроенность, богатство мыслей. Все это было далеко от марксизма, мысли были парадоксальны, часто очень неправильны, но нельзя было читать его спокойно. Потом в Шуше я рассказала Ильичу свои впечатления от чтения Писарева, а он мне заявил, что сам зачитывался Писаревым, расхваливая смелость его мысли. В шушенском альбоме Владимира Ильича среди карточек любимых им революционных деятелей и писателей была фотография и Писарева». * В своих произведениях В. И. Ленин цитировал отдельные яркие высказывания Писарева.

Советские люди высоко ценят творчество этого выдающегося мыслителя и критика. В его произведениях и сейчас волнуют многие страницы, испол-

---

* «Правда», 3 октября 1935 года.

ненные острой ненависти к темным силам реакции, полные боевого оптимизма и горячей веры в светлое будущее народа, в силы прогресса и демократии.

Короткий по времени творческий путь Писарева был сложным и во многом противоречивым. Его литературное наследие требует внимательного исторического подхода, вдумчивой объективной оценки и того, что составляет силу Писарева как мыслителя, и тех идейных ошибок и колебаний, парадоксальных и неверных выводов, которые имеют у него место. Писарев рано начал свою публицистическую деятельность, а умер еще совсем молодым. Его взгляды на протяжении этой короткой деятельности в демократической журналистике по некоторым вопросам существенно менялись. В этих переменах отражается живой, не останавливающийся процесс развития критической мысли Писарева.

Говоря о Писареве, К. А. Тимирязев в одной из своих работ метко охарактеризовал его как критика «увлекающегося, но зато и увлекавшего». * Произведения Писарева отражают идейные искания передовой мысли его эпохи и своеобразие духовной эволюции самого Писарева в сложной и бурной общественно-политической жизни России того времени.

1860-е годы вошли в историю нашей страны как годы высокого подъема демократического движения. Уже во время Крымской войны нарастает волна крестьянских выступлений против произвола помещиков. Политическое положение в стране особенно обострилось после 1855 года. Поражение царизма в Крымской войне, обнаружившее глубокий кризис феодально-крепостнического строя, невыносимый помещичий гнет, ложившийся всею своею тяжестью на плечи миллионов крестьян, и полицейский произвол, царивший в стране, — породили революционную ситуацию. В эти годы, во время подготовки и проведения «крестьянской реформы» 19 февраля 1861 года, крестьянское движение получает особенно широкий размах. Наиболее крупным было выступление крестьян во главе с Антоном Петровым в селе Бездне Казанской губернии в апреле 1861 года, жестоко подавленное царскими войсками. На 1861 год падают также серьезные выступления студентов в Петербурге и в некоторых других городах, носившие ярко выраженный демократический характер. В 1861 году возникает и развертывает свою деятельность революционная организация «Земля и воля». Составляются и распространяются прокламации, обращенные к демократической молодежи, крестьянам, солдатам и призывающие к восстанию, к сопротивлению царским властям и крепостникам-помещикам. «Колокол» Герцена и Огарева и другие издания бесцензурной печати широко распространяются в России и способствуют развитию демократического движения.

В эти годы важнейшим вопросом для революционеров-демократов является вопрос о подготовке демократической крестьянской революции, о слиянии разрозненных выступлений крестьян и демократической молодежи в общее наступление против существующего строя. К этому и готовили демократические силы общества идейные руководители развернувшегося движения — Чернышевский и Добролюбов.

---

* К. А. Тимирязев, Сочинения, т. VIII, 1939, стр. 175.

В. И. Ленин, определяя в работе «Крах II Интернационала» основные признаки революционной ситуации, указывал, что «не всякая революционная ситуация приводит к революции». * Не привела к революции и революционная ситуация 1859—1861 годов. Не привела прежде всего потому, что не было тогда еще такого революционного класса, который был бы способен «на революционные массовые действия, достаточно *сильные*, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не «упадет», если его не «уронят». ** Разрозненные действия крестьян и демократической молодежи не вылились в общее сокрушительное выступление масс против существующего строя.

Силы реакции во главе с царской властью, помещики-крепостники яростно сопротивлялись развивающемуся революционному движению. Царское правительство жестоко расправлялось с отдельными выступлениями крестьян и студентов. Буржуазно-дворянские либералы в обстановке революционной ситуации открыто предали интересы народа, дело прогресса страны и вступили в блок с крепостниками. В 1862 году, подавив первую волну серьезных выступлений демократических сил, реакция начала прямое наступление на лагерь демократии. Летом 1862 года, после правительственной провокации в связи с майскими пожарами в Петербурге, начались массовые репрессии, направленные против революционно настроенной демократической интеллигенции.

Для демократического движения наступили трудные годы, когда нужно было устоять против жестокого натиска реакции, собирать и готовить силы для нового революционного подъема. Испытав эти тяжелые удары, революционные демократы не прекратили своей самоотверженной борьбы. Но они продолжали ее в новых, очень сложных условиях.

Как раз на это время и падает наиболее напряженная литературная деятельность Писарева. Он пришел в демократическое движение к концу революционной ситуации 1859—1861 годов. Вскоре после начала своей деятельности в демократической журналистике он подвергся длительному тюремному заключению. Его освобождение совпало по времени с еще более жестоким наступлением реакции после выстрела Каракозова в 1866 году. Журнал, в котором он до этого времени работал, был закрыт, на демократическую литературу посыпались новые репрессии. А всего через два года после выхода на свободу трагическая гибель оборвала жизнь молодого критика.

Тяжелые условия, в которых развернулась блестящая, но кратковременная деятельность Писарева в демократической печати, и особенно общая трудная для демократического движения обстановка, начиная с 1862 года, не могли не отразиться на направлении этой деятельности, не могли не сказаться в отдельных противоречиях, свойственных Писареву.

Но при всем том Писарев был характерным «человеком шестидесятых годов», передовым борцом демократического движения. Основное, что бросается в глаза в его работах, написанных нередко под живым впечатлением тяжелых потерь, поражений и трудностей, переживаемых демократическим движением, — это чувство глубокого, боевого оптимизма, твердое убеждение

---

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 189.
** Там же, стр. 190.

в неизбежности движения вперед, уверенность в конечной победе сил демократии, постоянный боевой дух и молодой задор борца.

Нас не может не поразить интенсивность литературной деятельности Писарева, разнообразие его интересов как мыслителя и критика, столь показательные вообще для революционно-демократических писателей 1860-х годов. За семь с небольшим лет работы в демократической печати им было написано более пятидесяти крупных статей и очерков, не считая рецензий, а между тем за это время журнальная деятельность его дважды прерывалась.

На протяжении всей своей деятельности в 1861—1868 годы Писарев оставался в рядах сознательных борцов за лучшее будущее своей родины.

I

В одной из ранних рецензий Писарев замечает: «Первые годы жизни заслуживают полного внимания биографа: первые впечатления, первоначальное направление воспитания, личности окружающих людей имеют часто решительное, неизгладимое влияние на наклонности и характер ребенка. К сожалению, бывает обыкновенно очень трудно собрать подробности об этом первом периоде жизни, сообщенные сведения бывают обыкновенно отрывочны, неясны и бесцветны. Редко дают себе труд наблюдать над постепенным развитием ребенка, подмечать в нем характерные особенности, следить за пробуждением молодого ума». * Эти слова можно целиком отнести и к характеристике детства, отрочества и юности Писарева. По немногим отрывочным и во многом неясным сведениям, которыми располагает теперь его биограф, трудно воссоздать полную картину первоначального развития Писарева. Но одно выступает при этом с особой рельефностью: в развитии Писарева мы сталкиваемся с фактом решительного и острого кризиса, духовного перелома, который падает на годы окончания им университета и определяется воздействием общественной обстановки шестидесятых годов.

Дмитрий Иванович Писарев родился 14 октября (по новому стилю) 1840 года в селе Знаменском Елецкого уезда Орловской губернии в состоятельной и культурной дворянской семье. Воспитывался он главным образом под влиянием матери, к которой сохранил привязанность на всю жизнь.

Ему стремились дать разностороннее образование. Однако оно не выходило за традиционные рамки. Особое внимание уделялось языкам. Развивался мальчик быстро и не по летам, много читал и рано привык заносить на бумагу свои впечатления от увиденного, прочитанного и пережитого. Воспоминания близких Писарева, немногие сохранившиеся письма и дневниковые записи свидетельствуют о его острой впечатлительности и рано проявившейся литературной одаренности. Но тщетно стали бы мы искать в этих данных каких-либо намеков на будущее направление критической мысли Писарева.

Среде, в которой воспитывался мальчик, при всей ее культурности, были далеки передовые общественные интересы. Вспоминая о своем детстве, Писа-

---

* Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5, т. I, СПб. 1909, стр. 91.

рев отмечал, что хотя он читал и много, круг его чтения был еще очень ограничен. Его любимыми книгами были романы Дюма и Купера, а с лучшими произведениями русской литературы он, по собственному признанию, был тогда знаком больше по названиям и именам. Характеризуя литературные вкусы своих воспитателей, он писал: «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени» считались произведениями безнравственными, а Гоголь — писателем сальным и в порядочном обществе совершенно неуместным». На критические статьи в журналах Писарев, по его собственным ироническим словам, «смотрел как на кодекс гиероглифических надписей».

В 1851 году Писарев был отдан в одну из лучших гимназий Петербурга. О своих гимназических годах он позднее отзывался не менее иронически: «Я принадлежал в гимназии к разряду овец; я не злился и не умничал, уроки зубрил твердо, на экзаменах отвечал красноречиво и почтительно и в награду за все эти несомненные достоинства был признан «преуспевающим». В этой позднейшей автохарактеристике краски, конечно, сгущены. Однако и другие сохранившиеся данные говорят о том, что мальчик дома и в гимназии воспитывался в верноподданническом духе, ему прививались мысли о почтительности к признанным «авторитетам», его готовили к блестящей и спокойной карьере; на душу его не ложились тяжелые впечатления окружающей нищеты, социальной несправедливости, крепостнического гнета.

Успешно окончив гимназию, Писарев в 1856 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. В статье «Наша университетская наука», написанной всего два года спустя после окончания университета, Писарев говорит о своих профессорах и товарищах по факультету в резко памфлетных тонах. Иронически отзывается он и о своих занятиях в университете. В студенческие годы Писарев мечтал об академической ученой карьере. Он сблизился с кружком способных студентов-филологов, одним из его товарищей в это время был известный впоследствии литературовед Л. Н. Майков. Участники этого кружка культивировали интересы «чистой академической науки», от политических вопросов они держались в стороне.

Но в эти же годы впервые проявились идейные искания Писарева. В университете он много и успешно занимался, получил серьезную подготовку в области истории и филологии. Первой печатной работой его было опубликованное в 1860 году в «Сборнике, издаваемом студентами Петербургского университета» сочинение, посвященное характеристике известного немецкого филолога-идеалиста В. Гумбольдта. Оканчивая университет, Писарев избрал темой кандидатской диссертации характерный эпизод из истории разложения рабовладельческого общества в Римской империи, ярко обрисовав мистическое учение одного из «пророков» этого времени — Аполлония Тианского и ту обстановку, которая вызвала к жизни это мистическое учение. Позднейшие работы Писарева показывают, как глубоки и разносторонни были полученные им исторические знания. Но самое главное было не в этом.

С развитием революционных событий в начале шестидесятых годов, с возникновением демократического движения в среде тогдашнего студенчества назревает и крепнет у Писарева чувство неудовлетворенности окру-

жающей обстановкой, мучительное сознание невозможности следовать ранее избранным путем. Писарев к концу пребывания в университете, по его же признаниям и по свидетельству его сокурсников, все более отдалялся от кружка студентов-филологов, в котором господствовали узко специальные интересы. Его привлекает теперь широкое поле общественной деятельности, литературная работа; круг интересов быстро расширяется, чувство живой жизни берет свое. Назревает серьезный духовный кризис, вскоре и совершившийся в Писареве.

Назреванию этого кризиса способствовали и личные переживания. В 1858 году Писарев серьезно увлекся своей двоюродной сестрой — Р. А. Кореневой. Любовь была несчастливой: родные Писарева были против нее. Это первое серьезное столкновение Писарева с родными сыграло также известную роль в его духовном развитии.

С начала 1859 года, еще будучи студентом университета, Писарев начинает сотрудничать в журнале «Рассвет», носившем характерный подзаголовок: «Журнал наук, искусств и литературы для взрослых девиц». Издавал его некто В. А. Кремпин, артиллерийский офицер по образованию. Журнал Кремпина был одним из тех педагогических изданий, которые так часто предпринимались в 1860-х годах и обычно так недолго существовали. Направление журнала не отличалось определенностью. Сам Писарев позднее метко охарактеризовал его как «сладкое, но приличное». Однако к сотрудничеству в журнале был привлечен ряд прогрессивных писателей. На долю юноши Писарева выпала одна из основных ролей: он вел в журнале литературно-критический отдел. Увлеченный новой работой, Писарев много писал для журнала. Это были живо и умно составленные рецензии на статьи из различных журналов того времени, талантливые краткие разборы новых литературных произведений. В них Писарев стремился познакомить молодых читательниц с важнейшими новостями публицистики, критики и художественной литературы, приучить их к сознательному, серьезному чтению, воспитать в них правильный эстетический вкус, внушить им прогрессивные идеи о воспитании, о роли и назначении женщины в обществе.

Работа в журнале была плодотворной для Писарева. По его собственному признанию, один год сотрудничества в «Рассвете» принес больше пользы его умственному развитию, чем два года усиленных занятий в университете. Статьи и рецензии Писарева в «Рассвете» дают представление об этом своеобразном подготовительном периоде его критической деятельности. При относительной узости круга тем, определявшейся специфическим назначением и направлением журнала, молодой критик показал здесь и значительную широту своих интересов и хорошее знакомство с новейшей литературой. Правда, эти первые произведения еще не дают нам права говорить о сложившихся демократических и материалистических убеждениях Писарева, но в них отражаются некоторые передовые устремления того времени.

Писарев выступает здесь как сторонник эмансипации женщин. В рецензии на «Парижские письма» М. Л. Михайлова, горячего защитника прав женщин, Писарев солидаризируется с автором. Он развивает тот взгляд, что перед женщиной должна быть открыта область сознательного труда, что

хорошо выполнить свою роль жены и матери она сможет только при условии, если будет товарищем мужчины в труде, если будет жить насущными интересами, волнующими современное общество. Прогрессивными являются и педагогические высказывания молодого Писарева. Он выступает в защиту широкого, серьезного образования, против принуждения и пассивного отношения к «авторитетам».

Наиболее интересны из работ этого периода три небольшие критические статьи, посвященные разбору «Обломова», «Дворянского гнезда» и рассказа Л. Н. Толстого «Три смерти». Писарев дает в них тонкую критическую оценку этих произведений, показывает своеобразие художественной манеры каждого из писателей. Для него эти произведения важны потому, что они дают правдивую реалистическую картину действительности. Пробуждающиеся демократические настроения Писарева находят выражение в характеристике Обломова как порождения «старорусской жизни», как типичного представителя барства. Эти настроения выражаются и в живом сочувствии к освобождению женщины. Общая высокая оценка романа как произведения глубоко художественного и актуального, особенно интерпретация образа Ольги Ильинской, сходятся в самом существенном с тем, что мы находим в известной статье Добролюбова о романе Гончарова. Показательна и оценка «Дворянского гнезда», особенно анализ характера Лизы Калитиной. Осуждая охвативший ее мистицизм, Писарев прямо указывает, что трагическая судьба Лизы объясняется тем, что ее личность сформировалась под влиянием характерных элементов помещичьей среды, что Лиза «идет по ложной и опасной дороге», ведущей ее к духовной гибели. Разбирая рассказ Толстого, Писарев особенно высоко оценивает его талант художника-психолога. Отчетливо выступает в этих трех статьях признание народности и реализма как основных достоинств литературного произведения.

Однако этим ранним статьям Писарева еще недостает политической остроты выводов. В них находят место оценки расплывчатые, неопределенные, в целом еще далекие от революционно-демократического взгляда на явления и типы современной жизни. Писарев, например, некритически отнесся к образу Штольца. В согласии с Гончаровым он принял Штольца за образец практического деятеля, который может обновить жизнь, вывести ее из застоя. Сбивается нередко на отвлеченные «общечеловеческие» мотивы и характеристика Обломова.

За год работы в журнале «Рассвет» Писарев вошел в круг живых научных и литературных интересов, основательно познакомился с лучшими произведениями русской и иностранной художественной и научной литературы и критики. В его ранних статьях уже видно знакомство с произведениями Белинского. Под воздействием идей Белинского Писарев становится убежденным сторонником реалистического направления в русской литературе. В одной из рецензий 1859 года он высоко оценивает значение Гоголя для нашей литературы. «Гоголь был первым нашим народным, исключительно русским поэтом, — говорится там, — никто лучше его не понимал всех оттенков русской жизни и русского характера, никто так поразительно верно не изображал русского общества; лучшие современные деятели нашей литературы могут быть названы последователями Гоголя; на всех их произведениях лежит

печать его влияния, следы которого еще долго, вероятно, останутся на русской словесности». *

Но, по признанию самого Писарева, и в это время «остаток прошедшего, мертвый догмат, все еще висел» над его головой. В статье «Наша университетская наука», откуда взяты процитированные здесь слова, он указывает, вспоминая о времени работы в «Рассвете», что еще «открещивался от примера Добролюбова», не понимал значения его деятельности. Стремления молодого критика раздваивались между перспективой спокойной академической карьеры ученого-филолога и бурной журнальной деятельности. Без сомнения, общий характер и направление журнала «Рассвет» ограничивали развитие Писарева. Работа в таком журнале не могла его надолго удовлетворить. В самой среде, в которой он тогда вращался, еще не находилось лиц, сближение с которыми дало бы последний толчок формированию нового мировоззрения.

Между тем в сознании Писарева уже назревал серьезный кризис. Основы старого взгляда на окружающее пошатнулись и начали распадаться, а восприятие новых идей еще не было окончательно подготовлено. Этот кризис привел впечатлительного юношу к серьезному умственному потрясению. К концу 1859 года Писарев пережил то напряженно-восторженное состояние, когда он, по его собственным словам, смотрел на себя как на какого-то титана, Прометея, похитившего священный огонь. За приступом до предела напряженной энергии последовал резкий упадок сил. Весной 1860 года Писарев психически заболел и несколько месяцев пробыл в лечебнице.

Летом того же года, оправившись от умственного расстройства, Писарев с новым жаром берется за литературную работу. Его замыслы расширяются, становятся смелее. Первой пробой сил после выздоровления явилась статья о сочинениях Марко Вовчка. В ней Писарев задумал не только дать подробный критический разбор повестей и рассказов известной украинской писательницы-демократки, но также изложить свой общий взгляд на литературу. Статья эта — типичное явление переходного момента в развитии Писарева. Показательно само обращение к произведениям Марко Вовчка, посвященным изображению людей из народа и проникнутым глубокими симпатиями к трудовому люду, враждой к крепостническому гнету. Творчество М. Вовчка высоко оценивали Чернышевский и Добролюбов. Писарев еще не смог подняться до той боевой, революционно-демократической оценки и интерпретации этих повестей, какая отличает статью Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародия», появившуюся осенью того же года. Но в статье Писарева сильнее, чем раньше, звучит протест против рутины и застоя, яснее выражено трезвое, реалистическое отношение к жизни и ее запросам. Однако Писарев, очевидно, еще не смог вполне справиться с теми широкими задачами, которые он поставил здесь перед собой, и статья осталась незавершенной.

В 1861 году Писарев окончил университет. В начале этого года он стал постоянным сотрудником журнала «Русское слово».

---

* Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5, т. I, СПб. 1909, стр. 34.

II

Писарев был сотрудником «Русского слова» в течение пяти лет. Это годы самой напряженной его литературно-критической и публицистической деятельности, время, когда его мировоззрение оформилось и окрепло, а его произведения привлекли всеобщее внимание. Именно в это время Писарев становится одним из «властителей дум» молодого поколения шестидесятых годов. Но внимательный анализ многочисленных произведений Писарева, опубликованных в «Русском слове», вместе с тем свидетельствует об очень сложном и нередко противоречивом процессе его духовного роста и развития. Отчетливо выделяются два периода в этом развитии Писарева как критика «Русского слова». Один из них охватывает первый год работы в журнале, с весны 1861 года по июнь 1862 года, когда Писарев был арестован и его деятельность временно прекратилась. Второй период начинается в 1863 году, когда возобновилось сотрудничество Писарева в «Русском слове».

В первый год работы в журнале Писарев опубликовал почти два десятка статей, не считая небольших рецензий и переводов. Разнообразен был круг этих статей. В них поднимались и философские вопросы, и вопросы истории, и вопросы естествознания, большое место заняла литературная критика. Это были вопросы, имевшие самое животрепещущее значение для общественной жизни того времени. С первых шагов своих в новом журнале Писарев вступил в напряженную борьбу, которую вела тогда демократическая журналистика против сил реакции. Свои взгляды на самые острые и сложные вопросы современной действительности он выразил с характерной для него прямотой и непосредственностью. Он умел при этом с помощью прозрачных намеков, аналогий и ярких иносказаний, а иногда и выразительных недомолвок обходить те преграды, которые постоянно воздвигала царская цензура перед демократической литературой.

Уже в первых статьях, опубликованных в «Русском слове» за 1861 год, перед нами демократ по убеждениям, горячо проводящий определенный круг идей. Как совершился этот переход критика на демократические позиции, мы можем судить прежде всего на основании лаконичных, но решительных объяснений самого Писарева. «В 1860 году, — говорится в статье «Промахи незрелой мысли», — в моем развитии произошел довольно крутой поворот. Гейне сделался моим любимым поэтом, а в сочинениях Гейне мне всего больше стали нравиться самые резкие ноты его смеха. От Гейне понятен переход к Молешотту и вообще к естествознанию, а далее идет уже прямая дорога к последовательному реализму и к строжайшей утилитарности». В 1865 году в «Современнике» было опубликовано письмо в редакцию В. Д. Писаревой — матери критика. В этом письме, либо написанном самим критиком, находившимся тогда в заключении, либо во всяком случае просмотренном и одобренном им, указывалось на влияние редактора «Русского слова» Г. Е. Благосветлова как на один из факторов, определивших перемену в мировоззрении Писарева. Однако несколько позднее, в статье «Посмотрим!», Писарев говорит, что почва для этого была в нем уже подготовлена к моменту прихода в «Русское слово». Бесспорно, что все указанное Писаревым сыграло известную роль в его духовном развитии. Не случайно, что сотрудничество

Писарева в «Русском слове» началось с помещения его перевода поэмы Гейне «Атта Троль». Ирония и сарказмы Гейне, беспощадное осмеяние отживающего мира, ложных авторитетов, романтических и либеральных иллюзий не могли не захватить Писарева в период острого духовного кризиса. Плодотворным для развития и укрепления материалистических взглядов Писарева было последовавшее затем обращение его к работам по естествознанию. Еще более существенное значение должен был иметь и переход Писарева в журнал «Русское слово».

Этот журнал начал издаваться в 1859 году на средства меценатствующего графа Кушелева-Безбородко. Сперва позиции журнала были крайне неопределенными и не выходили из границ умеренного либерализма. Дело изменилось, когда в 1860 году редактором его стал демократический публицист Г. Е. Благосветлов, близкий к революционным кругам. Именно он первый оценил Писарева как выдающегося критика и публициста. Журнал «Русское слово» объединил тесный круг единомышленников, писателей боевых и талантливых. В нем сотрудничали известный передовой мыслитель-демократ, ученик Чернышевского и Добролюбова — Н. В. Шелгунов, поэт-сатирик Д. Д. Минаев, талантливый молодой экономист Н. В. Соколов, критик В. А. Зайцев. В журнале печатали свои произведения Гл. Успенский, Решетников и другие писатели-демократы. К середине 1860-х годов «Русское слово» приобрело особенно сильное влияние на демократическую молодежь.

Но этим своим влиянием журнал был обязан прежде всего деятельности в нем Писарева. Придя в журнал, он скоро завоевал себе в нем положение первого критика, стал в идейном отношении руководящею силою журнала.

Это дает нам право заключить, что к началу постоянного сотрудничества в «Русском слове» решающий поворот во взглядах Писарева уже произошел: они достаточно определились и созрели.

Бесспорно, что важнейшим фактором, определившим идейную эволюцию Писарева, его приход в лагерь революционной демократии, явился тот высокий подъем демократического движения, который переживала страна в 1860—1861 годах. На идейное созревание Писарева оказали решающее воздействие произведения Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова. Ясные признаки их влияния видны уже в первых его статьях в «Русском слове». На страницах журнала он выступает в защиту взглядов Чернышевского, в защиту «Современника». Вместе с «Современником» он ведет борьбу с реакционной и либеральной публицистикой. Глубокое сочувствие вызывает у него деятельность Герцена.

Правда, критическая мысль Писарева шла при этом своими путями. Он не был простым истолкователем взглядов Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова. Не все в их идейной программе он безоговорочно принимал. Более того. По некоторым существенным вопросам он расходился с выводами критики «Современника». Это нашло свое отражение и в произведениях его, относящихся к первому периоду сотрудничества в «Русском слове».

В чем же состояли важнейшие черты мировоззрения Писарева в этот период его деятельности? Одной из первых его статей в «Русском слове» явилась статья «Идеализм Платона». В ней высказаны взгляды по основному вопросу философии — об отношении сознания к материи.

С развитием демократического движения в России получили важнейшее значение защита и обоснование материалистического мировоззрения. Революционные демократы 1840—1860-х годов были убежденными материалистами. Они решительно выступали против идеализма, придали материалистической философии характер боевого, действенного мировоззрения. Опираясь на лучшие традиции передовой философской мысли, творчески восприняв идеи французских просветителей XVIII века и выдающегося немецкого философа Л. Фейербаха, они развивали далее материалистические взгляды на природу и человека. Защищая и развивая материализм в философии, революционные демократы обосновывали необходимость движения общества вперед, законность и неизбежность его демократического переустройства. Замечательной чертой философии русских революционных демократов явилось их стремление освободиться от метафизического подхода к явлениям действительности, от отвлеченно-просветительского взгляда на человека и его деятельность. Правда, в силу отсталости общественного строя, в силу отсутствия в России того времени сформировавшегося революционного класса — пролетариата, они оказались не в состоянии выработать законченное материалистическое понимание истории. Но они вплотную подошли к диалектическому материализму. В их произведениях уже выступают элементы материалистической диалектики, являются гениальные догадки и при объяснении исторических фактов. Они придавали большое значение роли народных масс в развитии общества, обратили серьезное внимание на условия экономической жизни масс, на отношения собственности, выступили как убежденные борцы против эксплуатации и пауперизма трудящихся, провозглашали и отстаивали идеи социализма. От их произведений веет духом классовой борьбы.

Статья «Идеализм Платона» подвергла яркой и острой критике философские доктрины идеализма. Писарев обнажает здесь оторванность идеалистической философии от действительности, характерное для нее «полное отрицание самых элементарных свидетельств опыта». «Болезненными галлюцинациями» называет Писарев взгляды идеалистов. Он показывает подавляющее, мертвящее действие идеалистических доктрин на развитие общества, на человека. Острие статьи направлено против реакционной проповеди аскетизма, подавления естественных стремлений, угнетения и унижения человеческой личности. Но статью Писарева нельзя воспринимать просто как отвлеченную защиту свободы личности, тем более как проповедь индивидуализма, гедонистического отношения к жизни.

Борьбу его за свободу личности нельзя не поставить в связь с общими требованиями демократического движения того времени. Писарев выступает в защиту свободного развития человеческой личности, избавленной от гнета феодально-крепостнического строя, от господствующих предрассудков, религии, от преклонения перед ложными авторитетами идеалистической философии. Освобождение личности от наложенных на нее крепостническим строем и полицейским произволом стеснений было одним из общих требований демократического движения в России. В этих условиях борьба Писарева с реакционными учениями, оправдывающими подневольное положение, физическое и духовное подавление человеческой личности, приобрела острое политическое звучание.

Философские взгляды Писарева нашли свое дальнейшее раскрытие в одной из его наиболее важных статей 1861 года, в «Схоластике XIX века». Писарев принял прямое участие в борьбе, развернувшейся между журналами реакционного и либерального лагеря, с одной стороны, и «Современником», с другой. В «Схоластике XIX века» он высказал свою солидарность с основными идеями Чернышевского, горячо защищал «Современник» от клеветы и нападок со стороны реакционеров и либералов, вскрывая убожество их программы. Статья Писарева произвела сильное впечатление, в нем увидели новую крупную силу демократической журналистики. Реакционеры не могли скрыть своего раздражения этой статьей.

Писарев сжато и энергично излагает в статье программу молодого поколения в идейной борьбе шестидесятых годов. Существенное место при этом занимает обоснование и защита материализма. «Наше время решительно не благоприятствует развитию теорий... Ум наш требует фактов, доказательств, фраза нас не отуманит», — писал он, вкладывая в слово «теория» тот специфический смысл, в каком оно нередко выступало еще в философских работах Герцена 1840-х годов. Под «теорией» здесь иносказательно понимались умозрения идеалистической философии.

«Ни одна философия в мире, — говорит он далее, — не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный, здоровый и свежий материализм». Но материализм Писарева проникнут здесь не только уважением к фактам, к явлениям действительности, он полон боевого духа, он выдвигается как идейное оружие в борьбе со всем старым, прогнившим и отжившим.

Писарев так формулирует основное требование своего направления: «Вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть». Как видим, это требование выражено здесь с явной запальчивостью. Но все изложение статьи ведет мысль читателя к определенному восприятию этого ультимативного требования. Речь идет о беспощадном отрицании отжившего, старого порядка вещей, ставящего преграды для дальнейшего развития общества. Безоговорочное отрицание этих устарелых, отживших форм бытия и сознания признается насущной потребностью времени. «Прикосновения критики, — говорит Писарев, — боится только то, что гнило... Перед заклинанием трезвого анализа исчезают только призраки, а существующие предметы, подвергнутые этому испытанию, доказывают им действительность своего существования».

Идея развития, закономерной смены существующих форм жизни, борьбы старого и нового пронизывает эти рассуждения Писарева. В мире идей, так же как и в мире действительной жизни, говорится в другом месте статьи, побеждает только тот, кто без устали идет вперед, а «кто устал идти, тот может сесть в стороне от дороги и помириться с тем, что его обгонят». Старые нормы и положения теряют свою обязательную силу с дальнейшим ходом развития. «Прошедшее движущемуся обществу может дать материалы для размышления, а не норму для деятельности». В связи с этим получает особое значение борьба с признанными «авторитетами», с защитниками и апологе-

тами старого порядка, с мертвыми догмами, со всякого рода идейной «рухлядью», как красочно определяет это Писарев.

«Схоластика XIX века» по своему характеру — статья преимущественно полемическая. В ней, в отличие, например, от «Антропологического принципа в философии» Чернышевского или «Писем об изучении природы» Герцена, мы не находим систематического изложения основных положений материалистической философии. Но органическое родство общих философских идей, которые развивает и защищает здесь Писарев, с исходными положениями философских работ других революционно-демократических мыслителей бесспорно.

Однако статья Писарева открывает и слабые стороны его мировоззрения. Здесь отражаются как общие слабости домарксовского материализма, так и черты известной незрелости взглядов молодого Писарева, то, в чем он уступает как мыслитель Чернышевскому и Добролюбову.

Это проявилось, например, в постановке и разрешении вопроса о критерии истины и о соотношении абсолютной и относительной истины. Писарев признает достаточным критерием истины очевидность чувственного восприятия действительности. «Очевидность, — пишет он, — есть лучшее ручательство действительности... Невозможность очевидного проявления исключает действительность существования».

Здесь Писарев, конечно, отражает общую слабость домарксовского материализма — его созерцательный характер. Но при этом, как мыслитель, он все-таки оказывается здесь позади Чернышевского, который еще в 1855 году писал о том, что практика — это «непреложный пробный камень всякой теории». * Нетрудно заметить, что такое решение вопроса о критерии истины связано у Писарева с характерной для него в это время несколько отвлеченной постановкой вопроса о формировании личности, развившейся «совершенно безыскусственно и самостоятельно».

Выступая против «вечных истин», как их понимают идеалисты, Писарев вместе с тем бросает ошибочное утверждение, что «воззрения не могут быть ни истинны, ни ложны: есть мое, ваше воззрение, третье, четвертое и т. д.». Конечно, на практике Писарев постоянно рассматривает те или иные воззрения именно с точки зрения их соответствия объективной действительности, их истинности или ложности. Но приведенное выше утверждение, односторонне подчеркивающее субъективный момент в восприятии действительности, оставляет в тени вопрос об объективности познания.

Особенности философских воззрений Писарева этого времени нашли свое отражение и в его первых научно-популярных статьях по вопросам естествознания, появившихся в 1861—1862 годах. Это статьи «Физиологические эскизы Молешотта», «Процесс жизни» и «Физиологические картины».

Одной из важнейших заслуг русской материалистической философии 1840—1860 годов было то, что она уделяла большое внимание развитию естественнонаучных знаний, подчеркнула важное значение единства материалистических идей и естествознания. В этой области велики заслуги и

---

* Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, М. 1949, стр. 102.

Писарева. Развитие его интереса к вопросам естествознания и особенно физиологии, которым посвящены и упомянутые статьи, было тесно связано с укреплением материалистических взглядов на природу и человека, а также и с особенностями его общественно-политической программы.

Писарев придавал большое значение распространению в обществе материалистических взглядов на деятельность человеческого организма. В научно проверенных данных естествознания, в их популяризации он видел серьезное противоядие против религии и предрассудков, против ложных идеалистических доктрин. Он верил при этом, что правильное понимание потребностей живого организма предостережет мыслящих людей от уродливых отношений в общественной жизни и будет способствовать переустройству жизни на новых началах. В этих надеждах Писарева проявились типично просветительские иллюзии. Но важнее всего то, что в этой пропаганде данных физиологии о нормальных условиях жизнедеятельности человеческого организма, о естественных потребностях его, ярко сказался демократизм Писарева. Каждый человек имеет право на удовлетворение всех законных потребностей организма. Поэтому недопустимо, чтобы народ жил в нужде, недоедая и не имея возможности рационально питаться, дышать свежим воздухом, разумно наслаждаться и свободно любить, растить здоровых детей, всесторонне развивать свои физические и умственные силы. Господствующие отношения, построенные на неравенстве и эксплуатации человека человеком, нарушают естественные потребности живого организма, находятся в коренном противоречии с данными науки — вот каков один из основных тезисов этих естественнонаучных статей Писарева. Глубокое сочувствие Писарева вызывают страдания трудового большинства.

В этих статьях немало и метких выпадов по адресу идеалистической «натурфилософии», а также представителей «чистого искусства», предпочитающих действительности бледные и беспочвенные порождения своей фантазии, фактам — разного рода иллюзии. Именно в статье «Процесс жизни» брошено им крылатое изречение: «Слова и иллюзии гибнут — факты остаются».

Однако и в этих статьях проявилась недостаточная зрелость философских воззрений молодого Писарева, в частности — известное влияние взглядов немецких вульгарных материалистов — Фохта, Бюхнера и Молешотта, на работы которых он опирается в своем изложении. Правда, Писарев во многом не разделяет взглядов этих, по определению Энгельса, «разносчиков дешевого материализма», * далеких от демократического движения. Но отношение Писарева к ним все же недостаточно критическое. Некоторый налет грубо-механистических истолкований явлений природы и общества, непонимание их качественного своеобразия, приводит Писарева иногда к явно упрощенным формулировкам. Так, в статье «Физиологические эскизы Молешотта» Писарев утверждает: «Газы, соли, кислоты, щелочи соединяются и видоизменяются, дробятся и разлагаются, кружатся и движутся без цели и без остановки, проходят через наше тело, порождают новые тела — и вот вся жизнь, и вот история». **

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 649.
** Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5, т. I, СПб. 1909, стр. 384.

Однако не подобного рода ошибочные заключения характеризуют философские взгляды Писарева. Главное состоит в том, что уже с первых статей в «Русском слове» он твердо стал на позиции материализма и вступил в борьбу с философской и политической реакцией.

В «Схоластике XIX века» и в других статьях 1861—1862 годов нашла свое выражение и общественно-политическая программа Писарева. Общим у Писарева с другими революционными демократами 1860-х годов является его борьба против крепостнического гнета и произвола. Ярко выступает в этих статьях вражда Писарева к крепостническому строю и его пережиткам, к реакции и застою в общественной жизни, к различным формам произвола и насилия над личностью. Две цели выдвигаются при этом Писаревым в статье «Схоластика XIX века»: освобождение личности и уничтожение изолированности сословий, типичной для феодально-крепостнического общества, то есть прежде всего уничтожение сословных привилегий. Писарев заявляет себя горячим сторонником свободного самоопределения молодого поколения, раскрепощения и полного равноправия женщины, нестесненного развития всех живых сил общества, развития народного благосостояния и просвещения.

Характерно, что важнейшее дело литературы он видит в сближении ее с народом. Литература должна полно и глубоко понять коренные интересы и нужды народа и всемерно способствовать его освобождению от подневольного труда и царящего произвола, его подлинному просвещению. «Упрочьте экономической быт, обеспечьте материальную сторону, — пишет он в «Схоластике XIX века», — и народ... примется читать и даже писать книги», «не мешайте народу, удалите препятствия, он сам разовьется». В статье «Народные книжки» (1861) Писарев высмеял убогие попытки реакционных и либеральных педагогов «просветить» народ с помощью книжек, подделывающихся под народную речь и преподносящих народу жалкие крохи знаний без системы и выбора. Отвергая эти неловкие попытки «опуститься» до уровня невежественного крестьянина, Писарев требовал, чтобы народное просвещение стало делом всего общества. «Образование народа, — писал он, — пойдет мимо этих бездарных попыток, и пойдет неудержимою волною, когда дремлющие силы (народа. — *Ю. С.*) сознают собственное существование и двинутся по внутренней потребности». Как развитие отдельной личности зависит, по Писареву, прежде всего от ее самодеятельности, так и дело народного просвещения пойдет успешно лишь в той мере, в какой разовьется все общество и сам народ пробудится к сознательной активной жизни, правильно поймет свои насущные потребности.

Успехи в развитии народности Писарев ставил в тесную связь с общим развитием науки и литературы в стране. Но литература, по убеждению Писарева, еще не может непосредственно влиять на сознание народа; она еще далека, оторвана от него. Поэтому Писарев и выдвигает в статье «Схоластика XIX века» задачу «гуманизации среднего сословия» как первоочередную задачу. Литература должна всемерно способствовать тому, чтобы у лучшей части образованного общества, у людей, «способных понять истину и отрешиться от отцовских заблуждений», вырабатывалось разумное миросозерцание, чтобы все шире становился круг деятелей, способных понять

народные интересы и тесно сблизиться с народом. Именно поэтому для Писарева освобождение личности от гнета старого, от влияния «авторитетов» и является важнейшим условием демократического переустройства общества.

Нетрудно заметить, что набросанная в «Схоластике XIX века» общественно-политическая программа Писарева, при всей ее сильной антикрепостнической и демократической направленности, носит все же менее определенный характер, чем та, которую развивал в годы революционной ситуации «Современник» Чернышевского и Добролюбова. Об этом ясно говорят и литературно-критические статьи Писарева конца 1861 года («Стоячая вода», «Писемский, Тургенев и Гончаров», «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова»).

В этих статьях дана острая критика старого, обнажается уродливость отношений, господствующих в дворянской и мещанской среде, в «патриархальной» семье. Писарев показывает тлетворное, разлагающее влияние этой обстановки на тех, кто не способен ей решительно противостоять. В этом смысле он продолжает ту работу обличения «темного царства», которую вели Герцен, Чернышевский и Добролюбов. Большое место заняло при этом разоблачение людей типа Рудина, не способных к настоящему делу, «героев фразы». Пафос статей Писарева состоит в призыве к общественной активности, к действию, к труду. «Работать надо, работать мозгом, голосом, руками, а не упиваться сладкозвучным течением чужих мыслей, как бы ни были эти мысли стройны и вылощены», — говорит он в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров». «Только тот, кто переработал идею, способен сделаться деятелем или изменить условия своей собственной жизни под влиянием воспринятой им идеи, т. е. только такой человек способен служить идее и извлекать из нее для самого себя осязательную пользу». Все это придавало статьям Писарева глубокую актуальность, действенность, определяло их демократическую направленность.

Но в этих статьях, как и в «Схоластике XIX века», Писарев еще не ставит прямо вопроса о широком народном движении, о подготовке крестьянской революции. Страстно желая решительных перемен в окружающей жизни, пробуждения народа, устранения всего, что мешало дальнейшему прогрессу страны, молодой критик, однако, еще не оценил вполне значения сложившейся в 1859—1861 годах революционной ситуации.

Этим прежде всего отличается позиция Писарева в 1861 году от позиции Чернышевского и Добролюбова. Чернышевский и Добролюбов последовательно готовили в это время демократические силы к прямому революционному выступлению. И в подцензурных статьях они умели донести до сознания читателя идею неотвратимости крестьянской революции. Они были глубоко убеждены в том, что широкое народное выступление против существующего строя совершится в ближайшем будущем. Правда, они ошиблись в своих расчетах: революционная ситуация 1859—1861 годов не привела к всеобщему революционному выступлению крестьянства, демократических сил страны. Но условия общественной борьбы этого времени были таковы, что, как писал В. И. Ленин, «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское

восстание — опасностью весьма серьезной». * Ясно видя эту возможность революционного взрыва, Чернышевский и Добролюбов всю свою деятельность направили на прямую его подготовку. Именно то, что они, непримиримо борясь со всякого рода либеральными иллюзиями, последовательно отстаивали революционный путь как единственно возможный в тех условиях путь коренного разрешения крестьянского вопроса, — составляло их силу как передовых деятелей освободительного движения, его идейных руководителей.

Такой зрелости революционных убеждений, общественно-политической программы мы не находим еще в статьях Писарева 1861 года. Он, без сомнения, всецело на стороне демократии. Он признает великое освободительное значение революционных действий. Но он не видит еще в это время объективной возможности крестьянской революции, не отдает полного отчета в силе современного ему демократического движения. Поэтому его программа носит менее определенный характер. В ней сильно звучат ноты безоговорочного осуждения старого, но нет отчетливой перспективы революционного действия масс. Не видел он еще и нового деятеля, способного возглавить такое движение. Таким образом, сходясь с Чернышевским и Добролюбовым на общей программе решительного отрицания старого, он не раскрывает перед своим читателем тех революционных путей, которые могут в данных условиях смести это старое. В качестве положительной программы он выдвигает в статьях 1861 года более общий план ближайших действий демократических сил. Для того чтобы пробудить народ, дать решительный толчок развитию народной жизни, основной задачей в эти годы, по Писареву, является формирование молодого поколения демократической интеллигенции, пробуждение в широких слоях образованного общества сознания невозможности жить по-старому, сплочение лучшей части этого общества, способной понять задачи времени и понести в народ разумное миросозерцание. Основной задачей для него является расшатывание основ старого мировоззрения, решительная и безоговорочная критика всего старого и отжившего, выставление на свет гнилости и уродливости старых порядков.

В этом расхождение Писарева с Чернышевским и Добролюбовым в оценке ближайших тактических задач демократического движения, в оценке сложившейся к тому времени политической ситуации. Отсюда и расхождение Писарева с некоторыми важными выводами литературно-критических статей Добролюбова.

В статье «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» это обнаруживается в оценке романа Тургенева «Накануне» и романа Гончарова «Обломов». Как известно, Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?» подчеркнул актуальность основного образа тургеневского романа. Правда, он отмечал «бледность очертаний Инсарова», писал, что «*этот* Инсаров все еще нам чужой человек», ** но все же подчеркивал «величие и красоту его идей», цельность его характера. Основным в статье Добролюбова явилась твердо выраженная уверенность в том, что скоро выступят на сцену русские Инсаровы, способные до конца выдержать борьбу

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 27.

** Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 3, М. 1952, стр. 53. Курсив Добролюбова.

с «внутренними врагами». С глубокой симпатией отнесся Добролюбов и к образу Елены, подчеркивая его силу и жизненность. Он не скрывал слабостей этого образа, «несмелость» и «практическую пассивность» героини, неопределенность ее исканий. Но тем не менее Добролюбов увидел и здесь у Тургенева «новую попытку создания энергического, деятельного характера». «Как идеальное лицо, составленное из лучших элементов, развивающихся в нашем обществе, — писал он, — Елена понятна и близка нам». * С особой силою были подчеркнуты Добролюбовым необходимость появления нового героя, готового и способного на революционный подвиг, и созревание в русском обществе такой глубокой неудовлетворенности существующей жизнью, которая могла бы привести к революционному взрыву.

Писарев иначе смотрит на основные образы романа. Он утверждает, что Инсаров создан «процессом механического построения», не признает его «живым лицом», отрицает целостность этого характера. Резок и его приговор Елене. Он считает ее экзальтированной мечтательницей, даже «психически больной». «Жить и действовать вы решительно не умеете», — говорит он, обращаясь к Елене. Нельзя не отметить и существенное различие между Добролюбовым и Писаревым в тоне оценки Берсенева и Шубина. Добролюбов видит в них типичных представителей либерализма и осмеивает их половинчатость. Отношение Писарева к ним более сдержанное. Проявлением мечтательства, предупреждающего действительность, считает он то, что Тургенев вместе с Еленой «бракует Шубина и Берсенева».

Объясняя неудачу, которая, по его мнению, постигла Тургенева с образом Инсарова, Писарев делает очень симптоматичное заключение: «Кто в России сходил с дороги чистого отрицания, тот падал». Короче говоря, он не видит еще необходимых условий для изображения нового, положительного героя.

Не менее резким оказалось расхождение с Добролюбовым и в оценке романа Гончарова. Писарев со свойственной ему решительностью теперь отмежевывается от той высокой оценки «Обломова», которую он сам дал в статье 1859 года. Теперь он готов причислить Гончарова к представителям «чистого искусства». Эта оценка Гончарова как художника без сомнения полемична. Она в значительной степени вызвана тем, что в это время Гончаров как цензор заявил себя преследованиями демократической литературы. Но нетрудно заметить, что общая характеристика писательской манеры Гончарова полемически направлена и против того, что говорил Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?». Добролюбов также писал там, что Гончаров «не дает, и, повидимому, не хочет дать, никаких выводов» относительно изображаемого. Но он видел сильнейшую сторону таланта Гончарова «в уменье схватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его». ** Добролюбов отмечал, что антикрепостническая направленность «Обломова», независимо от намерений автора, вытекает из самих материалов романа, из самих глубоко типических и мастерски обрисованных образов его. Писарев не принял этой тонкой характеристики романа. Полемические намерения заслонили

---

* Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 3, М. 1952, стр. 40.
** Там же, т. 2, М. 1952, стр. 109.

в его статье объективный анализ романа как художественного произведения. Он обвиняет Гончарова в том, что нет у него ясно выраженного взгляда на предмет, нет прямых выводов. Объективность изображения у Гончарова он готов рассматривать как простую фотографичность. Добролюбов в целом высоко ставил роман «Обломов», отмечал типичность его характеров и окружающей их обстановки. Писарев же утверждает, что «главные действующие лица (романов Гончарова. — *Ю. С.*) созданы головою автора, а не навеяны впечатлениями живой действительности». Добролюбов смотрел на Обломова как на исторически сложившийся тип, порожденный крепостническими отношениями. Писарев, отвергая либерально-клеветническую оценку Обломова как порождения всей русской жизни, вместе с тем не видит в нем ничего типического, не видит его обусловленности определенными социальными отношениями. «Обломов просто ленив, потому что ленив», — приходит он к выводу, Добролюбов, говоря об «обломовщине» как социальном явлении, ставил Обломова в связь с образами других «лишних людей» в русской литературе, в том числе и с Рудиным и Бельтовым. Писарев прежде всего подчеркивает отличие Обломова от героев типа Рудина и Бельтова. Недостатки Рудиных и Бельтовых он ставит в связь с вызвавшей их к жизни социальной обстановкой, он смотрит на этих героев как на жертвы существующего порядка вещей. Обломов же с его ленью, по мнению Писарева, целиком «поставлен в зависимость от своего неправильно сложившегося темперамента». Самому термину «обломовщина» Писарев отказывает в значении крылатого слова, имеющего определенный социальный смысл. Добролюбов считал образ Ольги Ильинской живым, глубоко типическим образом русской женщины, способной к самостоятельному развитию. Писарев считает ее фигурой выдуманной, «марионеткой». Таким образом, в оценке «Обломова» Писарев почти по всем пунктам разошелся с Добролюбовым. Лишь в характеристике Штольца сошлись они. В положительной оценке Штольца в романе как деятеля нового типа они видели проявление типичного либерализма.

Эти расхождения нельзя считать случайными или свидетельствующими только о различном эстетическом подходе к роману Гончарова. В основе их лежит известное различие между тактической линией Добролюбова и Писарева. В глазах Добролюбова образ Обломова потому получил особенное значение, что в нем он увидел крайнее, наиболее полное выражение того, к чему приводит действие крепостнической среды. Ставя в связь этот образ с образами других «лишних людей», Добролюбов направлял свой удар по дворянскому либерализму с его неспособностью противостоять реакции, с его дряблостью и политической беспринципностью. Резкая характеристика «лишних людей», безоговорочное их осуждение, без всяких скидок на то, что они являются «жертвами» окружающей их среды, служили в статье Добролюбова этой важнейшей политической цели. Характеристика типа «лишних людей» у Писарева при всей ее остроте еще лишена такой политически обобщающей силы.

Но при всех проявлениях в этих статьях известной незрелости Писарева в эти годы как революционного демократа они остаются яркими документами общей демократической борьбы против существовавшего порядка вещей, исполнены пафосом его решительного осуждения и отрицания.

Эти статьи Писарева показали и его выдающиеся способности как литературного критика. Современный читатель не может пройти мимо глубокого анализа нескольких повестей Тургенева, тонкой и вдумчивой характеристики героев этих повестей. Писарев на протяжении всей своей деятельности высоко ценил Тургенева как художника. Другим писателем, чье творчество в эти годы получило у Писарева очень высокую оценку, был Писемский. Литературная критика тех лет мало уделила внимания достоинствам Писемского — талантливого бытописателя, правдиво и красочно показавшего типические стороны жизни крепостнической России. Писарев первый подчеркнул это. Он склонен даже поставить Писемского в некоторых отношениях выше Тургенева. В этом увлечении критика также нельзя не видеть отражения некоторых специфических черт мировоззрения Писарева в эти годы. Писарев прежде всего требует от литературы сосредоточения на обличении старого, темных сторон тогдашней действительности. В критическом пафосе обличения он видит основное значение произведений современной ему литературы. Он считает глубоко оправданным сосредоточение писателя на изображении повседневной действительности, обыкновенных людей, ставших жертвами «уродливого порядка вещей». «Тем и замечательна повесть Писемского, — говорит критик о повести «Тюфяк», — что она рисует нам не исключительные личности, стоящие выше уровня массы, а дюжинных людей... Чтобы действительно оценить всю грязь нашей вседневной жизни, надо посмотреть на то, как она действует на слабых людей; только тогда мы в полной мере поймем ее отравляющее влияние». В этих словах Писарева было много и актуального и справедливого. Но в них отразилось еще и его сомнение в готовности литературы сойти с почвы «чистого отрицания» и изобразить новый тип положительного героя. Эти идейные противоречия Писарева приводили к известному смещению перспективы. Сопоставляя трех современных писателей, он отдавал пальму первенства Писемскому за грубовато-прямолинейное изображение явлений повседневной жизни и в этом смысле ставил его произведения не только выше романов Гончарова, к которым он отнесся несправедливо-полемически, но даже и выше повестей любимого им Тургенева.

* *
*

В условиях дальнейшего обострения политической борьбы в России к началу 1862 года мировоззрение Писарева быстро крепло и оформлялось. Теснее связан он в это время с кругом революционно-демократической молодежи, активно участвует в политическом движении тех дней. Расширялся круг общественных вопросов, привлекающих его внимание. Политические выводы его статей становились острее, решительнее. В этом смысле очень показательна статья «Меттерних», появившаяся в самом конце 1861 года. В ней была дана характеристика австрийского министра, одного из столпов европейской реакции накануне 1848 года, вдохновителя «Священного союза», пытавшегося объединить силы реакции в борьбе с нараставшим революционным и национально-освободительным движением. Писарев показывает тщетность этих усилий Меттерниха, историческую обреченность его политики. Политика Меттерниха «уже осуждена историей, — говорит он, — ее несостоятельность

обнаружили итальянские события трех последних годов»,* то есть борьба итальянского народа за национальную независимость и воссоединение страны.

Революционные демократы 1860-х годов всегда связывали борьбу против царизма и феодально-крепостнического строя в России с критикой буржуазных порядков на Западе, с борьбой против европейской реакции. Разоблачая реакцию и буржуазный либерализм на Западе, они направляли свой огонь по русским поклонникам буржуазной «цивилизации», пытавшимся опереться на «опыт» западноевропейских реакционеров и либералов в борьбе с революционным движением масс. Статья Писарева о Меттернихе, появившаяся в момент высокого подъема демократического движения, была боевым выступлением против царизма и реакции. Демократический читатель хорошо понимал, что, говоря об австрийских делах, Писарев имеет в виду и явления современной ему русской действительности.

Рост революционных настроений Писарева ясно виден в статьях, опубликованных в начале 1862 года, незадолго до его ареста.

В статье «Московские мыслители» Писарев продолжил борьбу с реакционно-охранительной журналистикой, начатую в «Схоластике XIX века». Но если в статье 1861 года большое место занимает защита «Современника» от нападений со стороны реакционеров и либералов, то в этой статье Писарев переходит в прямое наступление против реакционной журналистики. Он подвергает меткому осмеянию и уничтожающему разбору содержание журнала Каткова «Русский вестник», который считался наиболее «солидным» органом реакции. Литература «Русского вестника» и демократическая литература — это явления двух различных миров, между ними нет и не может быть никакого примирения; таков основной вывод статьи.

Задаче разоблачения реакционной идеологии посвящена и статья «Русский Дон-Кихот». Она направлена против учения славянофилов, активизировавших в эти годы свою деятельность. Идеологи славянофильства провозглашали необходимость «обновления» идеализма на основе догматов православия. В своей статье, дающей ироническую характеристику подобных «философских исканий» славянофила И. Киреевского, Писарев показывает глубоко реакционный смысл их.

Одной из лучших литературно-критических статей Писарева является «Базаров». Роман Тургенева «Отцы и дети» нашел в Писареве своего вдумчивого истолкователя. Образ Базарова, оригинально раскрытый Писаревым, получил для него особенное значение. В Базарове Писарев, наконец, обрел того положительного героя, которого он не видел еще, когда писал предшествующие статьи.

Как же представлял себе Писарев образ деятеля, в котором нуждается современное ему общество? Что он увидел в Базарове? С помощью прозрачных намеков Писарев дает знать читателю, что видит в Базарове демократа, готового пойти в решительную минуту до конца и принять, когда это понадобится, активное участие в революционном переустройстве жизни. «Из Базаровых, при известных обстоятельствах, — говорит он, — вырабатываются великие исторические деятели; такие люди долго остаются молодыми, силь-

* Д. И. Писарев. Сочинения, изд. 5, т. I, СПб. 1909, стр. 579.

ными и годными на всякую работу; они не вдаются в односторонность, не привязываются к теории, не прирастают к специальным занятиям; они всегда готовы променять одну сферу деятельности на другую, более широкую и более занимательную; они всегда готовы выйти из ученого кабинета и лаборатории». Чтобы дать знать читателю подцензурной статьи, о какой «более широкой и занимательной» сфере деятельности идет речь, Писарев ссылается на пример Франклина, оставившего свои научные и литературные занятия для активного участия в борьбе за независимость североамериканских колоний.

Базаров — «человек дела», в нем «есть сила, самостоятельность, энергия». Люди его склада «не подаются ни на какие компромиссы», они живут, «не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собою никакой власти». Писарев подчеркивает простоту и естественность отношений Базарова к народу, отмечает, что его любят люди из народа. Но в то же время Базаров во многом, по признанию Писарева, и «человек для них чужой, потому что не знает их быта, их потребностей, их надежд и опасений, их понятий, верований и предрассудков». Такое положение Базарова побуждает его, по мнению Писарева, к трезвой и сдержанной оценке современной обстановки и ближайших задач. «Возьмется он за дело, — пишет критик, имея в виду революционное дело, — только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его не подкупят обманчивые формы; внешние усовершенствования не победят его упорного скептицизма; он не примет случайной оттепели за наступление весны и проведет всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не произойдет существенных изменений». Иначе говоря, люди, подобные Базарову, свободны от либеральных иллюзий, далеки от того, чтобы принять реформу 19 февраля за истинное разрешение крестьянского вопроса и ожидать от правительства серьезных преобразований, но они еще не видят и прямых признаков наступления «весны», то есть демократической революции, поры непосредственного «дела». Отсюда и сдержанно-горькое аллегорическое окончание статьи: «Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры».

Нарисованный Писаревым по материалам тургеневского романа мужественный образ Базарова занял в дальнейшем выдающееся место в его рассуждениях. Контуры этого образа у Писарева впоследствии менялись. Но важно, что с этого момента образ Базарова получил для Писарева символическое значение. Он явился своеобразным мерилом, с помощью которого оценивались многие другие образы и типы русской литературы.

Образ Базарова в писаревской интерпретации оказал сильное воздействие на читающую молодежь того времени. В обстановке шестидесятых годов статья Писарева получила революционное звучание. Она призывала молодежь не складывать рук, сознательно работать для будущего, готовить свои силы для широкой общественной деятельности в интересах народа.

Об усилении революционных настроений у Писарева весною 1862 года говорит и статья «Бедная русская мысль», в которой он дал общую характеристику деятельности Петра I и его реформ. Эта характеристика далека от подлинного историзма. Писарев, не отрицая выдающихся способностей

Петра, более всего оттеняет его деспотизм, те варварские методы, с помощью которых он внедрял просвещение. Но в литературе шестидесятых годов эта статья представляла смелое выступление против деспотизма, против самодержавия. Рисуя деятельность самодержавных деспотов, Писарев иронически именует их «мудрителями над жизнью». Основной силой истории Писарев считает не венценосных правителей, не отдельные личности, а народ, жизнь которого нельзя перестроить по произволу отдельных лиц и узких групп. Развивая свой взгляд на историю, Писарев подчеркивает, что великое значение получают только такие преобразования, которые касаются самых основ политического и экономического устройства страны и которые могут «стряхнуть с русского мужика его отчаянную апатию, — эту вынужденную апатию безнадежности...» А «стряхнуть эту роковую апатию, которую многие совершенно ошибочно принимают за физиологическую черту русского народного характера, мог только или сам народ, или такой смелый преобразователь, который... решился бы коснуться основных сторон гражданского и экономического быта нашего простонародья». Таким образом, в движении самого народа и в деятельности тех, кто глубоко проникнут пониманием коренных политических и экономических потребностей масс, Писарев, как революционный демократ, видит условия решительного прогресса. Сильно звучит в статье напоминание о «четырех многознаменательных исторических эпизодах», о революционных событиях XVII века в Англии и революциях 1830 и 1848 годов во Франции.

Однако и здесь еще отразились сомнения Писарева в силе движения народных масс, в их готовности к широкому выступлению в это время: «Проснулся ли он (народ. — *Ю. С.*) теперь, просыпается ли, спит ли попрежнему, — мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем».

«Бедная русская мысль» появилась в «Русском слове» незадолго до приостановки журнала по распоряжению правительства. Есть свидетельства, что опубликование статьи Писарева явилось одной из причин временного запрещения журнала. Впоследствии она подверглась преследованию со стороны царских властей.

Вероятно, к этому же времени относится и замечательная статья «Пчелы», увидевшая свет позднее. Под видом популярного очерка о жизни пчел является здесь острый социально-политический памфлет. Писарев дает многозначительную картину социальных противоречий в «улье», отношений между пчелами-работницами, «благородными» трутнями и маткой улья — королевой. В конце содержатся многозначительные намеки на возбуждение пчел-пролетариев, которые начинают собираться в кучки и толковать о своих делах, что вызывает подлинный переполох среди трутней. Пчелиный улей представляет в миниатюре картину «темного царства». Господство трутней и покровительствующей им королевы, безропотность рабочих пчел держится только до тех пор, пока все щели в улье тщательно замазаны и туда не проникает «луч света». Но, раз почувствовав прелести вольной жизни на воздухе, рабочие пчелы уже не могут далее жить при старых порядках и безропотно обслуживать жиреющих трутней. Эти прозрачные аллегории очень характерны для революционно-демократической публицистики шестидесятых годов.

*
*

В июне 1862 года, под впечатлением начавшегося разнузданного похода реакции против демократического движения, Писарев написал статью-прокламацию, обращенную к демократической молодежи. Непосредственным поводом для написания ее послужила клеветническая кампания, поднятая реакционерами вокруг имени Герцена. Подкупной писака барон Фиркс, действовавший под псевдонимом Шедо-Ферроти, выступил с грязной книжонкой, стремившейся опорочить Герцена. Писарев разоблачил в своей статье подлые намерения автора брошюрки и реакционные силы, стоявшие за его спиной. Но значение статьи Писарева заключалось не только в защите Герцена от клеветы. Статья Писарева — это страстный призыв к революционному действию, к решительному ответу на действия реакции. В статье, не предназначенной для опубликования в подцензурной печати, с особенною силою и прямотою выражена вражда Писарева к царизму, его уверенность в неизбежной гибели самодержавия. «Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть... — говорится в заключение статьи. — То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу. Нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы». Эта прокламация — один из выдающихся документов политической агитации шестидесятых годов. Она проливает яркий свет на настроения, которые к этому моменту оформились у Писарева. Убежденный враг царизма и крепостнической реакции — таким предстает Писарев в конце своего первого периода деятельности в «Русском слове». Свою статью Писарев передал для напечатания в подпольной типографии Баллода. Но ей не удалось дойти до своего читателя. Типография Баллода была раскрыта полицией, была захвачена и рукопись Писарева. Писарев был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где он провел четыре года. В это же время журнал «Русское слово» был остановлен правительством на восемь месяцев.

III

С арестом Писарева его деятельность прекратилась на целый год. Лишь летом 1863 года, после усиленных хлопот родных и друзей, заключенный в крепости Писарев получил возможность публиковать статьи в начавшем вновь выходить «Русском слове». С этого момента начинается новый период деятельности критика. В его взглядах этого времени мы заметим много связующих нитей со взглядами предшествующего периода, но вместе с тем и существенную эволюцию. То, что раньше лишь намечалось, теперь отлилось в законченные формы, нередко получило новое развитие. Новые темы оказываются в центре внимания, по-новому даются ответы на некоторые животрепещущие вопросы.

В тяжелых условиях одиночного заключения Писарев не пал духом. Напротив, и здесь он развернул самую кипучую литературную деятельность. Большая часть его произведений относится именно к 1863—1865 годам. Он становится подлинным идейным руководителем журнала, одним из наи-

более выдающихся представителей демократической критики. Его влияние на демократическую молодежь в это время особенно сильно. Его идеи становятся предметом самого пристального внимания и острых полемических откликов в печати. Это период расцвета его творческих сил.

Время это В. А. Слепцов в своей известной повести назвал «трудным». Демократическое движение лишилось лучших своих руководителей. Добролюбов умер осенью 1861 года, а Чернышевский был сослан на долгие годы в Сибирь. Роман «Что делать?» был последним произведением его, опубликованным в «Современнике». Многие участники демократического движения были заключены в тюрьму или сосланы. На «Современнике» и «Русском слове», возобновивших свой выход в 1863 году, лежала тяжелая рука цензуры. Революционная ситуация в стране к этому времени уже окончилась. Волна крестьянских волнений с 1862 года пошла на убыль, прекратились и массовые выступления студенческой молодежи. Первый серьезный натиск демократических сил был отбит реакцией. Органы реакционной и либеральной печати усилили травлю демократической литературы и журналистики. Особенно усилилась реакция в связи с подавлением царскими войсками в 1863 году польского восстания. В рядах самих участников демократического движения обнаружились серьезные разногласия и колебания. Возникает опасность уклона неустойчивой части демократической интеллигенции к либерализму. Возникает и другая опасность — подмены лозунга развертывания широкого демократического движения лозунгом изолированных действий бунтарей-одиночек, тактикой политических заговоров отдельных групп.

В этих трудных условиях самоотверженно продолжают свою работу лучшие представители революционной демократии. Перед ними встает теперь сложная задача сохранения и «собирания» рассеянных сил и еще более сложная и важная задача воспитания в условиях жестокой реакции новых кадров участников продолжающейся революционной борьбы. Перед выдающимися представителями общественно-политической мысли шестидесятых годов встает и задача осмысления новой обстановки, анализа новых явлений в социальной жизни России и Запада, поисков дальнейших путей революционной борьбы, определения политической тактики в период спада революционной волны. В условиях общей социально-политической отсталости России, когда не было еще сложившегося революционного класса пролетариата, эти теоретические искания носили характер мучительный, сложный. Это нашло свое отражение и в мировоззрении Писарева.

В произведениях Писарева этих лет мы найдем много ярких страниц, проникнутых глубоким пониманием данной исторической эпохи и дающих с демократических позиций анализ сложных общественных явлений. Но в поисках наиболее верных путей дальнейшего движения вперед Писарев нередко в эти годы приходил и к выводам ошибочным, парадоксальным. В его произведениях этого времени проявились черты отвлеченного просветительства, своеобразного «культурничества».

Сразу же по возобновлении своей деятельности Писарев поместил в «Русском слове» две большие, очень знаменательные для дальнейшего направления его мысли статьи: «Наша университетская наука» и «Очерки из истории

труда». Две темы получили здесь особенное развитие: тема воспитания молодого поколения и тема труда, роли трудящихся масс в истории. Эти вопросы затрагивал Писарев и в статьях 1861—1862 годов. Но теперь они впервые были поставлены развернуто и нашли очень характерное освещение.

«Наша университетская наука» — произведение, оригинальное по своему замыслу. Первая его часть — своеобразные воспоминания Писарева о его детских и особенно юношеских годах, о его пребывании в университете и о первых его шагах в журналистике. В резких, почти памфлетных тонах дана здесь характеристика товарищей Писарева по университету, мечтавших об академической карьере, профессоров и преподавателей историко-филологического факультета. С иронией говорит Писарев и о своих прежних юношеских идеалах. Что же вызвало такие резкие оценки? Почему Писарев решил обратиться к воспоминаниям о «годах учения», к анализу духовного кризиса, пережитого им несколько лет назад?

Рассказывая о том процессе, в результате которого он оставил мечты о чисто академической, кабинетной деятельности филолога и предпочел ей «скользкий путь журналиста», Писарев стремился помочь формированию сознания молодого поколения.

Время, когда на очередь дня поставлены вопросы глубокой перестройки общественной жизни, когда идет решительная борьба между силами революции и реакции, — не время уединенных кабинетных занятий. Разговоры о «чистой науке» представляют одну из попыток реакции увлечь учащуюся молодежь в сторону от активной общественной деятельности в интересах народа. Таков основной смысл нападений Писарева на официальную науку, на современное ему университетское образование.

Была и другая сторона, не менее важная для Писарева, но более специфическая в этой резкой оценке высшего историко-филологического образования его времени. Это особенно ясно раскрывается во второй части статьи, излагающей взгляды Писарева на общие задачи образования, особенно университетского. Говоря о настоятельной необходимости демократической перестройки программы общего образования, Писарев особое внимание уделяет вопросу о выборе той области науки, на которую можно прочно опереться в этом деле. Такой областью Писарев считает естествознание. «До сих пор в наших школах изучали преимущественно человека и его духовные произведения, — говорит он, — а теперь надобно изучать природу. Это единственное средство выйти из области догадок и предположений, фраз и возгласов, красивых теорий и бессмысленного зубрения. Это единственное средство ввести учеников в область точного знания, добросовестного исследования и живого мышления». Писарев кладет в основу общего образования изучение естествознания не только потому, что развитие естественных наук приносит человечеству прямую практическую пользу, подготавливает новые важные открытия, помогает обществу овладеть силами природы. Изучению естественных наук он придает методологическое значение. «Естественные науки, — говорит он, — важны и замечательны не только по предмету своего изучения, но и по своему методу. Это — науки, основанные исключительно на наблюдении и опыте».

Что определило такое подчеркнутое внимание Писарева именно к естественным наукам? Как раз на 1860-е годы падает бурное развитие естествознания, открытие важнейших закономерностей в природе. Великое значение получило эволюционное учение Дарвина. Крупнейшая роль в развитии естествознания принадлежит и русским ученым — современникам Писарева. В эти годы развертывается деятельность таких замечательных русских ученых, как Бутлеров, Менделеев, Сеченов, Боткин. «Мы должны будем признать, — писал К. А. Тимирязев, — что во всей истории естествознания не найдется других 10—15 лет, в пределах которых изучение природы сделало бы такие дружные, одновременные и колоссальные шаги». * Писарев был одним из тех, кто с огромным воодушевлением воспринял эти успехи естествознания.

С другой стороны, передовая русская общественная мысль, несмотря на отдельные попытки материалистически истолковать общественные явления, еще не была подготовлена; в силу общей отсталости экономического развития страны, к восприятию марксизма. В таких условиях представлялось, что именно естественные науки с их строгим методом исследования, с их тяготением к последовательному материализму создадут условия и для научного объяснения человека, общества и его истории, помогут изгнать идеализм и из общественных наук. Характерно, что об этом писал и Чернышевский в «Антропологическом принципе в философии». Писарев был одним из тех мыслителей, кто глубоко проникся этим убеждением.

Взгляды Писарева на значение естественных наук способствовали дальнейшим успехам их, укреплению связи естествознания и материализма, привлечению новых талантливых сил в эту область науки. Сам Писарев был выдающимся популяризатором достижений естественнонаучной мысли. Одним из первых в России он выступил как убежденный сторонник дарвинизма: в начале 1864 года в «Русском слове» была опубликована его большая работа «Прогресс в мире животных и растений» — талантливое изложение основных положений дарвиновского учения о происхождении видов. Писарев отмечал, что учение Дарвина представляет важнейшую победу материалистического мировоззрения в науке. Он использовал данные дарвинизма для дальнейшего укрепления позиций материалистического истолкования мира. Писарев, подчеркивая значение успехов естествознания для дальнейшего прогресса общества, для развития производительных сил страны, стремился связать разработку естественнонаучных знаний с общими интересами демократического движения. Он оказал своими работами благотворное влияние на представителей передовой научной мысли 1860—1870 годов. Это влияние испытали на себе в молодые годы, по их собственным признаниям, великие русские ученые К. А. Тимирязев и И. П. Павлов.

Но во взглядах Писарева на естествознание была одна особенность, очень для него характерная. В статье «Наша университетская наука» он писал: «Собственно говоря, только математические и естественные науки имеют право называться науками. Только в них гипотезы не остаются гипо-

---

* К. А. Тимирязев, Сочинения, т. VIII, 1939, стр. 142 («Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов»).

тезами; только они показывают нам истину и дают нам возможность убедиться в том, что это действительно истина. Эти науки сообщают человеку, посвятившему себя их изучению, такую трезвость и неподкупность мышления, такую требовательность в отношении к своим и к чужим идеям, такую силу критики, которая сопровождает этого человека за пределы выбранных им наук, которая не оставляет его в действительной жизни и кладет свою печать на все его рассуждения и поступки». Здесь у Писарева выступает преувеличение общественной роли естествознания, его наивная уверенность в том, что распространение естественнонаучных знаний и методов исследования создаст решающие условия для формирования нового типа деятелей, способных правильно понять интересы общества и выработать правильный путь для его радикального преобразования. Распространение этих знаний, по словам Писарева, привело бы к тому, что «рутина и предрассудки погибли бы навеки, потому что они держатся теперь только благодаря тому обстоятельству, что самые простые законы природы неизвестны даже образованному обществу». Эти иллюзии Писарева наложили, как мы увидим, серьезный отпечаток на решение в его работах 1864—1865 годов ближайших тактических задач демократического движения.

«Очерки из истории труда» раскрывают другую — и при этом важнейшую сторону мировоззрения Писарева в эти годы. Здесь развернуто изложены его взгляды на историю человеческого общества.

Он выступает против буржуазной идеализации и фальсификации истории. Основой исторического прогресса, по Писареву, является трудовая деятельность масс, а не поступки и желания отдельных выдающихся личностей или высокопоставленных особ. Поэтому важнейшее значение для него получает вопрос об условиях и формах, в которых протекает эта трудовая деятельность человека. Буржуазно-либеральным представлениям о прогрессе Писарев противопоставляет взгляд на историю общества как сложный и мучительный процесс, в котором сменялись различные формы эксплуатации народных масс. «Различные видоизменения войны и различные проявления рабства, — говорится в «Очерках», — наполняют собою все страницы всемирной истории. Переход от одного вида войны к другому и от одной формы рабства к другой называется благозвучным именем человеческого прогресса». Наиболее яркие страницы «Очерков» и посвящены изображению этих «патологических форм труда», как их называет Писарев, то есть различным формам эксплуатации трудящихся масс, особенно капиталистической. На примере буржуазной Англии он показывает, что капитализм приносит с собою огромные богатства для небольшой кучки эксплуататоров, занимающих вершину общественной пирамиды, и неисчислимые бедствия для трудящихся масс, составляющих основание этой пирамиды. Уничтожающему разбору вслед за Чернышевским Писарев подвергает реакционную антинаучную сущность «учения» Мальтуса о перенаселении. Выступая против буржуазного либерализма, Писарев говорит, что «пробуждение масс, необходимое для вступления людей в истинную цивилизацию, всегда производится только каким-нибудь решительным поворотом в течении общественной и экономической жизни, а не громкими и гуманными кликами старших братьев, подвизающихся на пользу младших в литературе и на различных кафедрах». Следуя за Герценом и Чернышевским,

в своих «Очерках» Писарев показал вопиющие противоречия капитализма, выступил как горячий сторонник такого строя, при котором труд будет править миром. «Надо, — писал он, оканчивая «Очерки», — чтобы труд был приятен, чтобы результаты его были обильны, чтобы они доставались самому труженику и чтобы физический труд уживался постоянно с обширным умственным развитием». Говоря о противоречивом характере прогресса при капитализме, Писарев указывает, что, «увеличивая могущество одних и бессилие других, открытия и изобретения увеличивают неравенство и порабощение». Но тут же он обращает внимание читателя на то, что это развитие общества носит в самом себе зародыш разрушения существующих отношений неравенства и угнетения. «Только очень близорукие мыслители, — заключает он, — могут воображать себе, что так будет всегда. Средневековая теократия упала, феодализм упал, абсолютизм упал; упадет когда-нибудь и тираническое господство капитала». Таким образом, Писарев в своих «Очерках» поднялся до утверждения исторической неизбежности крушения капитализма.

Вопросы исторического развития были поставлены Писаревым и в других работах 1864—1865 годов. К этому времени относится цикл его очерков — «Исторические эскизы», «Историческое развитие европейской мысли», «Перелом в умственной жизни средневековой Европы», охватывающих различные эпохи истории Западной Европы, начиная с древности и кончая буржуазной революцией 1789—1794 годов во Франции.

Нетрудно понять, почему эти вопросы получили для Писарева такое важное значение. Его мысль, так же как и мысль других представителей революционной демократии 1860-х годов, настойчиво стремилась понять закономерности исторического развития человечества, выяснить реальные условия важнейших исторических изменений, предугадать ход и направление дальнейшего движения событий. Писарев поднимает здесь вопрос о роли масс в истории, о роли революционного сознания в подготовке и осуществлении важнейших исторических перемен, о том, какое значение для истории общества имеют условия экономической жизни, условия существования народа, опыт коллективной деятельности масс. «Частная жизнь только тогда интересна для историка, — говорит Писарев в «Исторических эскизах», — когда она выражает в себе особенности той коллективной жизни масс, которая составляет единственный предмет, вполне достойный исторического изучения». *

В «Исторических эскизах» дана яркая картина крушения феодального порядка во Франции. Писарев при этом особое внимание уделил характеристике условий жизни народа при старом режиме, приведших к революционному взрыву, вызвавших пробуждение революционного сознания в массах и определивших ту решительность, с которой народ приступил к слому старых порядков и учреждений. Основываясь на этом анализе, Писарев приходит к следующему важному общему заключению: «Действующая сила (исторических событий. — *Ю. С.*) лежала и лежит всегда и везде — не в единицах, не в кружках, не в литературных произведениях, а в общих и преимущественно — в экономических условиях существования народных масс». ** Действия отдель-

---

* Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5, т. III, СПб. 1912, стр. 114.
** Там же, стр. 171.

ных выдающихся личностей, кружков и партий определяются при этом условиями общественной жизни. Они получают силу и значение тогда, когда соответствуют коренным интересам народной жизни, общему направлению исторических событий. «Не клубы, не речи ораторов, не газеты Демулена и Марата производили в низших слоях французского общества неумолимое озлобление, — говорит Писарев, — а, напротив, существовавшее озлобление порождало и поддерживало и клубы, и яростные речи, и неистовые газеты. Вожди и агитаторы давали существующей силе организацию и единство общего направления, но эта сила существовала совершенно независимо от них и часто толкала их вперед тогда, когда они считали удобным приостановиться». *

Писарев отмечает процесс формирования и решительного размежевания в ходе французской буржуазной революции либеральной и демократической партий. Его симпатии всецело на стороне демократов-якобинцев. Он высмеивает жалкие реформистские планы «постепенного и спокойного прогресса». Разоблачение буржуазного либерализма становится в 1864—1865 годах одной из основных тем в произведениях Писарева.

В исторических очерках Писарев уделил большое внимание вопросу о развитии и распространении в обществе прогрессивных, освободительных идей. Он стремится показать, как определенные обстоятельства жизни народов возбуждают движение в их умственной жизни и как затем эти новые идеи, овладевая обществом, становятся активной силой в освободительной борьбе. Эпоха Возрождения, Реформация, развитие передовой мысли во Франции накануне буржуазной революции XVIII века особенно привлекали внимание Писарева. В этом смысле показательна статья Писарева «Популяризаторы отрицательных доктрин» (1866), где дана замечательная характеристика деятельности Вольтера, Дидро, Гольбаха и других философов XVIII века, французских экономистов-физиократов, расшатавших устои феодального мировоззрения и подготовивших Францию к восприятию революционных идей.

Но в своих исторических очерках Писарев не смог подняться до подлинно научного понимания исторического процесса. Несмотря на отдельные попытки провести материалистические взгляды в область исторических явлений, его понимание истории в целом еще оставалось идеалистическим. Вот почему в произведениях Писарева по вопросам истории мы не находим ни определенного ответа на вопрос о причинах, по которым человеческое общество оказалось разделенным на классы, ни подлинно научного ответа на то, каким путем оно придет к социалистическому строю. Как ни был внимателен Писарев к материальным условиям общественного развития, в конечном итоге основой его он считает изменения в сознании общества. Исторически сменявшие друг друга формы эксплуатации он называет «патологическими», болезненными уклонениями с правильного пути, соответствующего природе человека, а эти отклонения объясняет заблуждениями людей, отсутствием, невыработанностью правильного взгляда на природу человека. Он говорит в «Очерках из истории труда»: «Люди сбились с настоящего пути, исказили свою природу и до сих пор продолжают мучить друг друга». Решающим условием избав-

* Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5, т. III, СПб. 1912, стр. 170.

ления от этих мучений является, по Писареву, распространение в обществе строго реального взгляда на природу человека, на отношения между людьми в процессе труда. Говоря в тех же «Очерках», что «общественные и экономические доктрины до сих пор представляют очень близкое сходство с отжившими призраками астрологии, алхимии, магии и теософии», Писарев замечает: «Очень вероятно, что и эти кабалистические доктрины сложатся когда-нибудь в чисто научные формы и со временем обнаружат свое влияние на практическую жизнь, со временем убедят людей в том, что людоедство не только безнравственно, но и невыгодно». Он указывает при этом на пример естественных наук, которые «уже в настоящее время вышли из тумана произвольных гаданий».

Противоречия во взглядах Писарева, борьба материалистических тенденций с отвлеченным просветительством с особою наглядностью выразились в его большой статье конца 1865 года «Исторические идеи Огюста Конта», которой сам он придавал большое значение. В сжатой форме дано здесь изложение истории человечества от первобытного общества до эпохи капитализма. Особое внимание при этом уделено, так же как и в «Очерках из истории труда», борьбе человека за овладение силами природы, борьбе классов и различным проявлениям социального антагонизма, разоблачению современного капиталистического рабства. Как материалист, Писарев ведет непримиримую борьбу с религией. Именно это и вызвало цензурные преследования статьи, за помещение которой журнал «Русское слово» получил последнее предупреждение. Как революционный демократ, Писарев критикует в этой статье позитивиста О. Конта за его попытки «примирить» науку и религию, за его поползновения навязать обществу религиозную организацию как «спасение» от социальных бедствий.

Но при всем этом Писарев и здесь остается во власти идеалистического представления о том, что перемены в жизни людей определяются в конечном счете развитием знания, победой знания над незнанием и предрассудками. Роль условий жизни и труда сводится при этом лишь к роли факторов, способствующих формированию новых идей, распространение и усвоение которых предопределяет последующие изменения форм труда и быта.

Общественно-политические взгляды Писарева не только отражают общую слабость домарксовского материализма, но в некоторых отношениях сказываются позади воззрений Чернышевского и Добролюбова. В статье «Исторические идеи Огюста Конта» это проявляется и в недостаточно критическом отношении к общей концепции Конта и в попытках перенести основные выводы теории Дарвина на истолкование исторических явлений. Писарев утверждал здесь (как и в статье «Посмотрим!»), что дарвиновский принцип естественного подбора «без сомнения, произведет переворот не только в ботанике и в зоологии, но и в понимании истории». * В этом сказалось то преувеличение роли естественных наук в развитии человеческого общества, которое составляет особенность мировоззрения Писарева в 1864—1865 годы, когда он выступил со своей «теорией реализма».

---

* Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5, т. V, СПб. 1911, стр. 328.

* *
*

Развивая «теорию реализма», Писарев стремился обрисовать программу ближайших действий молодого поколения в сложившейся к середине 1860-х годов в России исторической обстановке.

Развернутое изложение эта теория нашла в статье «Реалисты», относящейся к концу 1864 года. Слово «реализм», начиная еще с философских работ Герцена, нередко служило обозначением материализма. Но в своих статьях 1864—1865 годов Писарев вкладывает в этот термин еще и особый, специфический смысл. Быть реалистом для него означало, действуя в соответствии с особенностями обстановки, постепенно добиваться изменений социальной жизни, подготовить условия для ее коренного преобразования.

Писарев ставит вопрос о двух формах исторического развития, социальных преобразований. «Иногда, — пишет он, — общественное мнение действует на историю открыто, механическим путем. Но кроме того, оно действует еще химическим образом, давая незаметно то или другое направление мыслям самих руководителей». Механический путь — это путь революционного переворота, непосредственного действия масс, решительное изменение существующего строя. Химический путь — это путь медленной, но неуклонной подготовки сознания общества к коренным общественным переменам, путь эволюции. Из всего контекста статьи Писарева ясно, что в условиях того времени он признает реальным второй, химический путь, считает, что «механический путь» преобразования общества еще непосредственно не может выступить на сцену.

Некоторые исследователи делали отсюда вывод, что в результате спада демократического движения к середине 1860 годов Писарев стал типичным реформистом, порвал с революционно-демократическими взглядами. Это, конечно, неправильно и опровергается материалами произведений Писарева.

Как мы видели, даже в годы наибольшего размаха крестьянского движения у Писарева были сомнения в готовности масс к решительному и широкому революционному выступлению. Эти сомнения лишь укрепились в обстановке спада волнений в стране. Но при всем том демократизм Писарева в эти годы стал более зрелым. Писарев все большее внимание, как мы видели, уделяет движению масс и его роли в развитии общества. Все сильнее выступают в его произведениях критика капитализма и проповедь социалистических взглядов. Он никогда не отвергал необходимости народной революции, и именно в эти годы он особенно остро и резко критикует либералов, отвергающих в принципе путь революции.

Сам Писарев настойчиво подчеркивал демократическую направленность «теории реализма». «Приобретенный (мыслящими реалистами. — *Ю. С.*)... запас свежей энергии и новых умственных сил, — писал он в «Реалистах», — отправляется все-таки вниз по течению, в то живое море, которое называется массою и в которое тем или другим путем, рано или поздно, вливаются, подобно скромным ручьям, или бурным потокам, или величественным рекам, все наши мысли, все наши труды и стремления». Коренное изменение условий жизни и труда масс является, по Писареву, основной задачей дальнейшего развития. Он говорит в «Реалистах» об идее «общечеловеческой соли-

дарности», а это было у него подцензурным обозначением социалистических тенденций.

В «Реалистах» Писарев коснулся и видимого противоречия между теми конечными целями, которые он ставил перед общественным движением, и конкретными путями к достижению этих целей в тогдашних условиях. «Начал я, — говорится в «Реалистах», — с общечеловеческой солидарности, а кончил тем практическим заключением, что нам, русским реалистам, можно только осмеивать потихоньку наши мелкие глупости и медленно учиться... самым элементарным истинам строгой науки. Какое торжественное начало и какой мизерный конец!» И далее, говоря о препятствиях быстрому проникновению демократических идей в общество, Писарев делает вывод: «Великая и плодотворная идея должна пристроиться к самому мелкому практическому применению, и только при этом условии она может, с грехом пополам, проникнуть в сознание лучшего меньшинства нашей читающей публики».

Значит, решение ограничить программу действий демократических сил в эти годы было у Писарева не отступлением его от общих принципов демократического движения, а своеобразной тактической линией. Что же объясняет такую тактическую линию? Мы уже говорили о трудной политической обстановке, сложившейся к середине 1860-х годов в России. Однако были и другие, более общие причины, заставившие Писарева искать новых, более верных путей к достижению поставленных целей.

Писарев много в эти годы думал о предшествующем историческом опыте борьбы масс против угнетения. Он подчеркивал при этом, что все предшествовавшие перемены в жизни общества, каково бы ни было их историческое значение, не привели к уничтожению эксплуатации трудящихся масс, присвоения чужого труда. «Переворотов в истории было очень много, — писал он (в статье «Реалисты»), — падали и политические и религиозные формы; но господство капитала над трудом вышло из всех переворотов в полнейшей неприкосновенности». Писарев остро чувствовал кризис буржуазной демократии на Западе. Но он еще не видел того революционного класса, который должен покончить со всякими формами социального угнетения.

Писарев остро переживал и кризис утопического социализма. «Рецептов предлагалось много, — писал он по этому поводу, заканчивая «Очерки из истории труда», — но до сих пор ни одно универсальное лекарство не приложено к болезням действительной жизни». Два года спустя, в статье «Посмотрим!», Писарев вновь возвращается к этому. «Крайнее разногласие *положительных* проектов показывает... ясно, что решить общественную задачу чрезвычайно трудно. До сих пор никто еще не может утверждать наверно, что *теоретическое* решение задачи действительно найдено» (курсив Писарева. — *Ю. С.*).

Стремясь осмыслить предшествующие неудачи в разрешении социальных вопросов, Писарев объясняет их двумя обстоятельствами. Он указывает, во-первых, на то, что трудящиеся массы были задавлены нищетою и непосильным трудом, что им недоставало политической зрелости, что они были оторваны от знания и не смогли сами найти путь избавления от нищеты и угнетения. «До сих пор масса была всегда затерта и забита в действительной жиз-

ни», — говорит Писарев в статье «Исторические эскизы». * Он подчеркивает, во-вторых, что представители «образованных классов» далеки от народа, оторваны от труда и чужды его интересам. Над современным обществом тяготеет «гибельный разрыв между трудом мозга и трудом мускулов». Главная задача, по Писареву, и состоит в том, чтобы прежде всего устранить этот разрыв, соединить труд и знание. В этом общем выводе Писарева нельзя не видеть силы его мысли. Он не верит в филантропию. «Вряд ли возможно малейшее сомнение, — говорится в статье «Школа и жизнь» (1865) по поводу рабочего вопроса, — насчет того пункта, что... он разрешится не какими-нибудь посторонними благодетелями и покровителями, а только самими работниками, когда к их рабочей силе, практической сметливости и трудолюбию присоединится ясное понимание междучеловеческих отношений и уменье возвышаться от единичных наблюдений до общих выводов и широких умозаключений». ** Таким образом, Писарев выдвигает в качестве важнейшей задачи внесение сознания в массы трудящихся.

Но непосредственное обращение с пропагандой знания к массам, в силу их задавленности, нищеты и невежества, еще не может принести реальных плодов и легко вырождается на практике в убогую филантропическую затею. Поэтому первоочередная задача состоит, по Писареву, в том, чтобы распространить в «образованных классах» правильный взгляд на труд, на отношения между людьми.

О каких представителях «образованных классов» идет при этом речь? В отдельных статьях 1864 года (в «Цветах невинного юмора», отчасти и в «Реалистах») у Писарева нашла себе место надежда на «перевоспитание» определенного круга молодых представителей господствующего класса, способных понять нужды трудящегося большинства. Но в дальнейшем Писарев уже не высказывает подобных упований. Всю надежду он возлагает на тот круг людей, кого он образно называет «мыслящим пролетариатом». Это — выходцы из демократических низов и средних общественных слоев, ценою труда и лишений получившие доступ к культуре, знанию. Это — те представители демократической молодежи, разночинцы, которые по живым впечатлениям знают о действительных нуждах трудящегося большинства, близки к нему, понимают его, глубоко симпатизируют ему. Именно они должны, по Писареву, взять на себя задачу соединения знания и труда. Выдвигая в качестве первоочередной задачи пропаганду действительного знания в кругах мыслящей молодежи, Писарев указывал на два принципа, которые должны быть положены при этом в основу. Это прежде всего — «идея общечеловеческой солидарности», то есть все усилия при этом должны быть направлены на поиски путей освобождения труда от эксплуатации. Во-вторых, эта пропаганда может быть успешной лишь в том случае, если она будет подчинена принципу «экономии сил». Это последнее требование приобрело для Писарева особое значение: в условиях невежества и нищеты, распространенных в обществе, не всякие распространяемые знания могут прямо вести к намеченной цели. Необходимо поэтому сосредоточить максимум усилий на разработке и

---

* Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5, т. III, СПб. 1912, стр. 114.
** Там же, т. IV, СПб. 1910, стр. 587.

пропаганде знаний, наиболее полезных для общества, для разрешения вопроса о труде. На первом плане при этом оказывались по причинам, о которых уже говорилось выше, выводы естественных наук. Именно на проведении их в сознание мыслящей части общества и нужно было, по Писареву, сосредоточить, в первую очередь, максимум сил. Таков был его ответ на вопрос о том, что нужно было делать в сложившихся условиях и как делать.

Противоречивой была «теория реализма» Писарева. Опираясь на идею «общечеловеческой солидарности», на неразличимо сливавшиеся идеи демократизма и социализма, он придавал распространению естественнонаучных знаний особенное, решающее значение в поисках выхода из мира нищеты и эксплуатации. Этот вывод, как мы уже говорили, был проявлением просветительства, носил иллюзорный характер.

* * *

Разрабатывая «теорию реализма», Писарев большое внимание уделил вопросам эстетики. Оценивая значение различных искусств, он исходил из основных принципов этой теории — «общечеловеческой солидарности» и «экономии сил». Понять эстетические взгляды Писарева этого периода можно, лишь учитывая противоречивый характер его «теории реализма».

«Разрушение эстетики» — так назвал одну из своих статей Писарев. Некоторые критики склонны были буквально понимать эти слова и видеть в Писареве легкомысленного разрушителя эстетики, отрицателя искусства. Это, конечно, неправильно.

Нельзя упускать из виду характерных особенностей фразеологии Писарева. Писарев в 1864—1865 годах не раз пользуется словом «эстетика» как своеобразным синонимом слов — идеализм, фразерство, рутина и т. д. Но нетрудно заметить, что острие этой полемики Писарева по поводу «эстетики» направлено против идеалистической эстетики и реакционных направлений в литературе и искусстве. Разоблачение их составляет одну из основных тем критики Писарева этого периода; он последовательно выступает против всяких попыток превратить искусство и литературу в пустую забаву, оторвать их от действительности, от народа. Он раскрывает антидемократический смысл теорий, проповедующих «чистое», «бесцельное» творчество. В этом отношении Писарев талантливо продолжал дело, начатое в русской критике Белинским, Чернышевским и Добролюбовым.

Уже в статьях 1861—1862 годов он проводил мысль о важном общественном значении литературы, решительно выступал против науки и искусства «для немногих». «Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массе? Что за искусство, которого произведениями могут наслаждаться только немногие специалисты?.. — говорилось в «Схоластике XIX века». — Если наука и искусство мешают жить, если они разъединяют людей, если они кладут основание кастам, так и бог с ними, мы их знать не хотим; но это неправда». Писарев высоко ценил реализм и народность в литературе, отмечал заслуги русской реалистической литературы в воспроизведении характерных, типических явлений жизни русского общества. «На изящную литературу, — писал он в той же статье, — нам решительно невозможно пожа-

ловаться; она делает свое дело добросовестно и своими хорошими и дурными свойствами отражает с дагерротипическою верностью положение нашего общества».

С развитием демократизма Писарева его взгляд на литературу становится еще строже и определеннее. Он требует от нее теперь не только отражения «с дагерротипическою верностью» положения общества, но и глубокого сочувствия и ясного понимания того, от чего зависит дальнейшее развитие общества, сознательного служения интересам общества. В этом смысле Писарев прежде всего и говорил в статьях 1864—1865 годов о пользе, которую должна приносить литература. Эти слова Писарева о «пользе» не раз давали повод к обвинениям его в грубом утилитаризме, игнорирующем специфику искусства и литературы. Отводя эти обвинения, Писарев в «Реалистах» замечает: «Слово «польза» мы принимаем совсем не в том узком смысле, в каком его навязывают нам наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говорим поэту: «шей сапоги», или историку: «пеки кулебяки», но мы требуем непременно, чтобы поэт, как поэт, и историк, как историк, приносили, каждый в своей специальности, *действительную* пользу».

Строже и резче становятся у Писарева в годы «теории реализма» оценки отдельных писателей и произведений литературы. Некоторые из этих оценок были неисторичными, ошибочными. Но за всем этим нельзя не видеть стремления Писарева оценить явления литературы с демократических позиций. Не пренебрежением к литературе вызваны эти резкие и иногда ошибочные мнения, а искренним, хотя и не всегда правильно формулированным стремлением Писарева подчеркнуть ответственную роль литературы в деле воспитания молодого поколения. «Поэт — или великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный «рыцарь духа»... или же ничтожный паразит, потешающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет. Поэт — или титан, потрясающий горы векового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли», — говорит он в статье «Реалисты». Это звучит резко и безоговорочно. Но эта страстность Писарева продиктована его убеждением в великом общественном значении литературы, она направлена против различных проявлений общественного индифферентизма в литературе. «Истинный, «полезный» поэт, — говорил Писарев, — должен знать и понимать все, что в данную минуту интересует самых лучших, самых умных и самых просвещенных представителей его века и его народа».

Сравнивая высказывания Писарева о литературе в его статьях 1861 года, с одной стороны, и в статьях 1864—1865 годов — с другой, нельзя не увидеть роста Писарева как демократического критика. В «Схоластике XIX века» Писарев еще скептически отнесся к спору между сторонниками чистого искусства и «реальной критикой» Добролюбова, требовавшей от писателя сознательного служения обществу. Хотя Писарев и тогда уже подчеркивал общественное значение литературы и отрицал «чистое искусство», однако он, отстаивая освобождение личности от всех навязанных ей извне стеснений, еще готов был видеть в стремлении критики «наталкивать художника на какую-нибудь задачу» посягательство на личную свободу художника. Тогда он полагал, что «замечательный поэт откликнется на интересы века не по долгу гражданина, а по невольному влечению, по естественной отзывчивости».

Позднее, в период «реализма», Писарев уже прямо утверждает право критики «наталкивать» писателя на освещение и разрешение определенных общественных вопросов.

Писарев и теперь, конечно, остается врагом грубой и поверхностной тенденциозности в литературе. «Запросы» и «интересы» века должны быть глубоко пережиты и поняты художником. Только при этом условии может явиться подлинно реалистическое произведение, волнующее читателя. Характерно, что Писарев на протяжении всей своей критической деятельности высказывал свое отрицательное отношение к поверхностно-тенденциозной либерально-«обличительной» литературе 1850-х годов. Но он ставит теперь задачу сознательного воспитания в писателе гражданских стремлений, требует от писателей, чтобы они принимали участие в общественной борьбе, откликаясь на запросы времени.

В статьях 1861 года, в соответствии с тогдашней идейной программой Писарева, как мы видели, выдвигалась перед литературой исключительно задача критического отношения к действительности. В статьях 1864—1865 годов, признавая попрежнему важнейшей задачей литературы критику и обличение старого, Писарев выдвигает перед передовой литературой и задачу освещения пути к лучшему будущему, задачу создания образа активного положительного героя, борца за народное дело, деятеля нового типа. Центральное место в критике Писарева теперь занимает анализ этого «нового типа», его истолкование. Базаров, а затем и Рахметов, становятся подлинными героями для Писарева. Здесь сказалось не только развитие мировоззрения самого Писарева, но и развитие демократической литературы. К этому времени уже появились роман Чернышевского «Что делать?», повести Помяловского, «Трудное время» Слепцова. «Новый тип» — человек шестидесятых годов — получил в них ясные очертания, был обрисован с большой художественной силой. Задача передовой критики состояла в том, чтобы всесторонне охарактеризовать этот тип, показать его историческое значение. Писарев эту задачу блестяще выполнил в таких статьях, как «Реалисты», «Роман кисейной девушки», «Подрастающая гуманность» и особенно в статье «Мыслящий пролетариат».

Лучшие из статей Писарева и сейчас остаются образцами критики высокоидейной, целеустремленной, вдумчивой и чуткой к особенностям творчества писателя. В произведениях литературы критик искал прежде всего отражение явлений самой жизни, от анализа литературных образов и ситуаций шел к анализу действительности. Он умел сочетать анализ произведения с постановкой важных вопросов общественной жизни, тесно соединять литературную критику с боевой публицистикой. Нередко литературно-критическая статья становилась произведением подлинно программным. В этом смысле особенно показательна статья «Реалисты», где мастерской анализ «Отцов и детей» и характеристика их героя органически связаны с определением задач демократического движения, с изложением идейной программы самого критика.

Одну из насущных задач критики Писарев видел в оценке литературного наследия. «Задача реалистической критики в отношении ко всей массе литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, состоит

именно в том, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию». Писарев в ответ на обвинение со стороны его противников в нигилистическом отношении к литературному наследию заявлял: «Я отношусь с глубоким и совершенно искренним уважением к первоклассным поэтам всех веков и народов».

Знакомству с замечательными произведениями русской и мировой литературы Писарев отводил важное место в процессе формирования «мыслящего реалиста». «Каждому человеку, желающему сделаться полезным работником мысли, — пишет он в «Реалистах», — необходимо широкое и всестороннее образование». В статьях 1864—1865 годов он не раз указывает на тех писателей, без знакомства с творчеством которых «останутся непонятными настоятельные потребности и накопившиеся со всех сторон задачи нашей собственной мысли». Здесь мы встречаем имена Шекспира, Байрона, Гете, Шиллера, Гейне и Мольера, а из русских писателей — Грибоедова, Крылова, Пушкина, Гоголя и др.

Но особенно внимателен был Писарев к явлениям современной ему литературы. «У реалистической критики, — писал он по этому поводу в «Реалистах», — есть и другая задача, может быть еще более серьезная. Делая строгую оценку литературным трудам прошедшего, она должна еще внимательнее и строже следить за развитием литературы в настоящем». «Чрезвычайно полезными работниками нашего века» называет Писарев таких писателей своего времени, как Некрасов, Тургенев, Диккенс, Гюго. А в его устах это была самая высокая похвала.

В критике Писарева этих лет нашли тонкое и вдумчивое истолкование такие различные произведения русской литературы его времени, как «Отцы и дети» Тургенева («Реалисты»), «Что делать?» Чернышевского («Мыслящий пролетариат»), произведения Л. Толстого («Промахи незрелой мысли»), повести Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов» («Роман кисейной девушки») и его же «Очерки бурсы» («Погибшие и погибающие»), «Трудное время» Слепцова («Подрастающая гуманность») и «Записки из мертвого дома» Достоевского («Погибшие и погибающие»). Эти статьи свидетельствуют о замечательном критическом такте Писарева, о его умении правильно понять и оценить произведения современной ему литературы. Вместе с самими произведениями, вызвавшими их, эти статьи пережили свою эпоху и сейчас еще служат замечательным комментарием к ним.

Особенно выделяется по тому общественному значению, которое она получила, статья «Мыслящий пролетариат». Это, бесспорно, наиболее яркий из всех критических откликов на роман «Что делать?». Несмотря на цензурные рогатки, Писареву удалось показать революционный смысл романа, значение образа Рахметова как революционного борца. Правда, сближение Рахметова с Базаровым, проводимое в этой статье, давало повод некоторым литературоведам упрекать Писарева в том, что он не понял революционного смысла романа. Но при внимательном рассмотрении сближение этих образов в статье Писарева скорее дает основание утверждать, что Писарев, очищая образ Базарова от тех темных штрихов, которые были наложены на него Тургеневым, видел и в нем типичного представителя демократических сил. Писарев определенно говорит о Рахметове как революционере. «В общем движении событий,—

писал он, — бывают такие минуты, когда люди, подобные Рахметову, необходимы и незаменимы; минуты эти случаются редко и проходят быстро, так что их надо ловить на лету и ими надо пользоваться как можно полнее. Я говорю о тех минутах, когда массы, поняв или по крайней мере полюбив какую-нибудь идею, воодушевляются ею до самозабвения и за нее готовы идти в огонь и в воду... Те Рахметовы, которым удается увидать на своем веку такую минуту, развертывают при этом случае всю сумму своих колоссальных сил; они несут вперед знамя своей эпохи, и уже, конечно, никто не может поднять это знамя так высоко и нести его так долго и так мужественно, так смело и так неутомимо, как те люди, для которых девиз этого знамени давно заменил собою и родных, и друзей, и все личные привязанности, и все личные радости человеческой жизни». В статье «Мыслящий пролетариат» Писарев показал величие образа революционера, отдающего все свои силы народному делу.

В статье «Подрастающая гуманность», опубликованной в том же 1865 году, он развенчал тип буржуазного либерала. Характеризуя образ помещика Щетинина из повести Слепцова «Трудное время», Писарев показывает, насколько непримиримы интересы труженика и эксплуататора, как жалки попытки людей типа Щетинина совместить идеалы «образцового хозяина», заботящегося о собственных доходах, и «доброго» помещика-благодетеля.

Характерно умение Писарева в ходе критического анализа подниматься до самых широких теоретических обобщений. В статье «Промахи незрелой мысли» Писарев, разбирая произведения Толстого и раскрывая беспочвенность и бесперспективность мечтаний Иртеньева и Нехлюдова, противопоставляет мечте пассивной, находящейся в разладе с действительностью, мечту деятельную, исходящую из анализа действительности, мечту, которая «может обгонять естественный ход событий». «Если бы человек был совершенно лишен способности мечтать таким образом, — пишет критик, — если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной красоте то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу себе представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни... Разлад между мечтою и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядывается в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии». Это образец диалектически-глубокой постановки вопроса о соотношении между теорией и действительностью. Писарев был врагом беспочвенного фантазерства, но не менее страстно выступает он против бескрылого эмпиризма, раболепствующего перед отдельным фактом, не поднимающегося до обобщений, не стремящегося увидеть перспективу исторического развития. Характерно, что, приводя примеры мечты деятельной, Писарев на первое место ставит тех мечтателей-социалистов, которые стремились «пересоздать всю жизнь человеческих обществ». Как известно, В. И. Ленин в своей работе «Что делать?» приводит эти рассуждения Писарева о значении деятельной мечты, выступая против оппортунизма в рабочем движении.

Не менее яркий пример глубокого обобщения материалов действительности даст и статья «Погибшие и погибающие». Оригинален замысел этой статьи: из сравнения жизни учеников бурсы, изображенных у Помяловского, с жизнью каторжан, о которых рассказывают «Записки из мертвого дома», вырастает здесь обобщенная картина гнетущих условий существования и развития народных сил и народного сознания в царской России.

*
*

Но в статьях Писарева отразились и серьезные противоречия его взглядов на литературу и искусство, характерные для этого периода его деятельности. В некоторых общих вопросах эстетики он не мог удержаться на уровне воззрений Чернышевского и пришел к выводам парадоксальным и несправедливым.

Одним из таких выводов явилось утверждение, что при дальнейшем развитии знаний эстетика как наука о прекрасном должна исчезнуть, растворившись в физиологии. Основой эстетических взглядов Писарев еще в «Схоластике XIX века» считал субъективные вкусы, не видя здесь возможности открыть общие закономерности и оставляя на долю физиологии объяснение различных эстетических склонностей людей особенностями в развитии и функционировании организма. В этом смысле очень показателен ход рассуждений Писарева в статье «Разрушение эстетики», явившейся непосредственным откликом на переиздание в 1865 году знаменитой работы Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности».

Писарев подчеркивает материалистическую направленность диссертации Чернышевского. Он солидарен с Чернышевским в борьбе против идеалистической эстетики, стремившейся противопоставить действительности отвлеченную сферу «прекрасного». Но Писарев на этом не останавливается. Ему представляется, что Чернышевский, встав на путь отрицания «чистого искусства» и рассматривая искусство как воспроизведение общеинтересного в жизни, должен был неизбежно прийти к отрицанию науки о прекрасном. «Эстетика, или наука о прекрасном, — заявлял Писарев, — имеет разумное право существовать только в том случае, если *прекрасное* имеет какое-нибудь самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Если же прекрасно только то, что нравится нам, и если вследствие этого все разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается в прах». Нетрудно заметить, что Писарев не понял и метафизически истолковал одно из основных положений эстетического учения Чернышевского.

На этот односторонний и неверный подход Писарева к эстетическому учению Чернышевского указал Г. В. Плеханов в работе «Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского». Чернышевский, конечно, не думал о разрушении эстетики. Он лишь опровергал идеалистическую эстетику с присущим ей понятием прекрасного как самодовлеющей ценности, оторванной от реальной действительности. Чернышевский показал объективность прекрасного, то, что «прекрасное, несомненно, имеет самостоятельное значение, совершенно

независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов». * Это самостоятельное значение прекрасного определяется наличием прекрасного в самой жизни. Прекрасное в искусстве является воспроизведением прекрасного в жизни, его отражением. Для Чернышевского эстетика была не наукой о прекрасном, а «теорией искусства, системой общих принципов искусства вообще и поэзии в особенности»; центральный вопрос этой теории — вопрос об отношениях искусства к действительности.

Перенося ударение в эстетике на вопрос об индивидуальных вкусах, Писарев допускал теоретическую ошибку субъективистского характера. Чернышевский указывал, что люди имеют далеко не одинаковое понятие о красоте, что их эстетические вкусы и склонности объясняются их различным положением в обществе, различными условиями воспитания и т. д. Но Чернышевский не сводил при этом дело к вопросу о вкусах, о которых, по известной поговорке, «не спорят». Он при этом ставил вопрос об истинном, действительном критерии прекрасного. Представления о прекрасном у людей различны, но не все эти представления одинаково верны. Прекрасное для Чернышевского — не только субъективная категория, оно имеет корни в действительности. Суждение о прекрасном в искусстве предполагает его соотнесение с действительностью, ибо предметом искусства является жизнь.

Рассматривая эстетику как общую теорию искусства, Чернышевский считал ее самостоятельной наукой, имеющей важное общественное значение. Ошибочно сводя эстетику, как науку о прекрасном, к вопросу о вкусах, Писарев делал неправильный вывод, что «эстетика, как наука, становится такою же нелепостью, какою была бы, например, наука о любви», что эстетика будто бы «исчезает в физиологии и в гигиене».

Нельзя не заметить при этом, что Писарев в своих конкретных суждениях о литературе оказывался на большей теоретической высоте, чем в общих рассуждениях о предмете эстетики. Центральным в его критических статьях является ведь именно вопрос об отношении того или иного произведения литературы к действительности, об объективном общественном значении и назначении художественного произведения. Но теоретические ошибки Писарева в вопросах эстетики наглядно проявились в его отношении к различным видам искусства.

Признавая литературу «великой общественной силой», Писарев в этот период не признавал общественного значения других искусств — живописи, скульптуры, театра, музыки. «Я чувствую к ним глубочайшее равнодушие, — признавался он в статье «Реалисты». — Я решительно не верю тому, чтобы эти искусства каким бы то ни было образом содействовали умственному или нравственному совершенствованию человечества». Отсюда — постоянные в эти годы у Писарева иронические сопоставления искусства Бетховена, Рафаэля, Моцарта и Рембрандта с «искусством» шахматного игрока, повара или бильярдного маркера. Музыке и изобразительным искусствам Писарев отводил чисто прикладную роль, не признавая за ними познавательной ценности. В этом смысле, «поправляя» Чернышевского, Писарев также существенно разошелся с ним. Чернышевский, разбирая в своей диссертации

---

* Г. В. Плеханов, Искусство и литература, М. 1948, стр. 414.

вопрос о специфике различных видов искусства, также отмечал первенствующее значение поэзии, литературы. Но из этого он не делал относительно других искусств того вывода, что они не имеют значения в общественной жизни человека. Выступая против идеалистической эстетики, против взгляда на искусство как на чистое наслаждение, отрешенное от насущных интересов действительности, Писарев в оценке изобразительных искусств и музыки, по существу сам становился на эту точку зрения, считая, что вопрос о значении живописи, музыки и т. п. сводится только к вопросу о наслаждении, которое может получать от них воспринимающий субъект.

В таком подходе к этим искусствам проявились и характерные для «теории реализма» Писарева черты утилитаризма, указанное выше требование «экономии сил», которое он выдвигал в эти годы. Писарев считал непроизводительным в условиях нищеты и невежества тратить силы общества на развитие живописи, музыки и т. д. Писарев при этом выступает прежде всего против стремления господствующих классов превратить эти искусства в «барскую забаву», в «источник чистого наслаждения». Его возмущают те вопиющие контрасты, когда на фоне нищеты, закабаления и невежества масс являются пышные дворцы, художественные академии, культивирующие искусство, оторванное от жизни, от народа, удовлетворяющие прихотям эксплуататорских классов. В этом сила нападок Писарева на современную ему буржуазно-дворянскую живопись, музыку, театр и т. д. Но, увлекаясь, он готов вообще отказаться от помощи этих искусств в общем развитии демократического движения, не замечает развития народности и реализма в живописи, музыке, театре его времени.

Таким образом, эстетические взгляды Писарева отличаются явной противоречивостью. В них сочетаются глубокие демократические тенденции, имевшие большое значение для развития литературы и искусства, с серьезными ошибками в разрешении общих вопросов эстетики. Эти ошибки проявились и в литературно-критической деятельности Писарева.

В 1865 году Писарев опубликовал две статьи, объединенные под общим названием: «Пушкин и Белинский». Эти две статьи, которые нельзя отбросить при общей характеристике литературно-критических взглядов Писарева, дают резко полемическую, глубоко несправедливую и предвзятую оценку творчества поэта.

Появление их в «Русском слове» не было неожиданностью. Для литературной критики «Русского слова» характерно в эти годы стремление подвергнуть радикальной переоценке творчество Пушкина и Лермонтова. В 1864 году молодой критик журнала В. А. Зайцев выступил с рецензией, в которой нигилистически оценивал поэзию Лермонтова как порождение легкомысленного дворянского скептицизма, как одно из явлений «чистого искусства». В статье «Реалисты» Писарев мимоходом солидаризировался с такой оценкой Лермонтова и уведомлял своих читателей, что он вскоре даст развернутую переоценку творчества Пушкина с точки зрения «реальной критики».

Статьи Писарева о Пушкине вызвали при своем появлении шумный отклик. Одних они увлекали своими парадоксальными и прямолинейными выводами, других отталкивали как глумление над творчеством великого поэта. Было бы, конечно, совершенно неправильно отнестись к ним как

к обычным литературно-критическим статьям. Резко полемический их характер, подчеркнуто неисторический подход к творчеству Пушкина, попытка подойти к Онегину и к другим героям Пушкина с меркой Базарова — говорят о другом. Статьи были задуманы как наиболее сильный выпад против «эстетики», то есть «чистого искусства», как один из актов пропаганды «реального направления». Писарев взглянул на Пушкина как на «кумир предшествующих поколений». Свергнуть этот «кумир» означало для Писарева — ослабить влияние «чистой поэзии» на молодежь и привлечь ее на путь «реализма».

Нельзя не отметить противоречий в отношении Писарева к Пушкину и его творчеству. Как мы уже отмечали, в статьях 1864 года («Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби», «Реалисты») Писарев причислял Пушкина к кругу тех писателей, знакомство с творчеством которых совершенно необходимо для «мыслящего реалиста», и вместе с тем уже в той же статье «Реалисты» он выступает против взгляда на Пушкина как на великого поэта, основоположника новой русской литературы. Основоположником русской реалистической литературы Писарев признает Гоголя; Пушкина же он считает предшественником и родоначальником школы поэтов «чистого искусства», то есть тех «наших милых лириков», по ироническому выражению Писарева, к числу которых он относил Фета, А. Майкова, Полонского и др.

Статьи Писарева о Пушкине нельзя рассматривать вне связи с тем спором о пушкинском и гоголевском направлениях в русской литературе, который развернулся еще в критике 1850-х годов. Реакционная и либеральная критика 1850—1860-х годов (Дружинин, Анненков, Катков и др.) пыталась противопоставить Гоголю, как представителю критического реализма, Пушкина. Творчество Пушкина при этом ложно истолковывалось как проявление «чистой поэзии», далекой от «злобы дня», от живых интересов современности; критики этого направления твердили о примирении Пушкина с действительностью, об идеализации, «очищении» и «облагорожении» жизни в его творчестве. Эти критики вели полемику с основными выводами известной работы Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы», с выводами критических статей Белинского. Но ни Белинский, ни Чернышевский и Добролюбов не противопоставляли Гоголя Пушкину. Они подчеркивали актуальное значение критического реализма и в связи с этим отмечали, что в творчестве Пушкина это критическое направление еще не нашло своего полного развития. Чернышевский и Добролюбов говорили о том, какое решающее значение для развития критического реализма в нашей литературе имели творчество Гоголя и деятельность Белинского. Но творчество Пушкина революционно-демократическая критика оценивала как очень важный и при этом исторически необходимый этап в развитии русской литературы, в развитии в ней реализма, народности и гуманных идей. Белинский, а затем Чернышевский и Добролюбов указывали на то, что Пушкин открыл «поэзию действительности», создал образцы подлинно художественного воспроизведения жизни.

Писарев же некритически отнесся к противопоставлению Пушкина и Гоголя в реакционной и либеральной критике 1850—1860 годов. Встав на защиту «гоголевского направления», он осудил Пушкина как представителя «чистой поэзии». «Имя Пушкина, — писал он, — сделалось знаменем неиспра-

вимых романтиков и литературных филистеров». Таким образом, борясь с реакционной критикой, но при этом подходя к творчеству Пушкина с неисторических позиций, Писарев сам оказался во власти характерных для этой критики искусственных противопоставлений. Отсюда — непонимание той социальной подоплеки, которая скрывалась за противопоставлением «поэта» и «черни» у Пушкина. Это противопоставление выражало острую враждебность Пушкина к придворной черни, к аристократии, к тем, кто пытался навязать свободолюбивому поэту реакционные тенденции. Писарев же понял это противопоставление в том духе, как его разъясняли представители идеалистической критики и «чистой поэзии», — как спор между общественно индифферентным поэтом и народом, демократией. Отсюда и шаржированное воспроизведение у Писарева пушкинских героев — Онегина, Татьяны, Ленского. Критическая интерпретация этих образов уступает место в статьях Писарева созданию злых карикатур на типичных представителей дворянской и мещанской среды 1860-х годов. Онегин превращается при этом в пустого щеголя, пошлого фразера и избалованного барина, Татьяна — в своеобразную «кисейную барышню» с глупыми мечтами, предрассудками и мещанской манерой выражения. Отсюда, наконец, отождествление самого Пушкина с Онегиным (следует отметить, что тот же прием применяется в «Реалистах» и в отношении Лермонтова, который отождествляется с Печориным), искажение образа лирического героя в стихотворении Пушкина «19 октября». Писарев не жалеет бьющих в глаза красок, резких просторечных слов и выражений; воспринимая ироническую «перелицовку» многих поэтических страниц Пушкина.

В целом оценка Пушкина у Писарева представляет серьезный шаг назад по сравнению с Белинским, Чернышевским и Добролюбовым. В этом смысле интересно, как Писарев, например, «переводит на свой язык» известную мысль Белинского о том, что Пушкин впервые показал достоинство поэзии как искусства, что он дал ей «возможность быть выражением всякого направления, всякого созерцания», * был художником по преимуществу. Для Белинского это утверждение означало, что Пушкин, достигнув полной свободы художественной формы, создал необходимые условия для дальнейшего развития реализма в русской литературе. Для Писарева же оно оказывается равносильным лишь утверждению, что Пушкин являлся «великим стилистом», усовершенствовавшим формы русского стиха.

В статьях Писарева о Пушкине выступает не только глубоко ошибочная, неисторическая оценка Пушкина, но и известная недооценка Белинского. Конечно, между отношением Писарева к Пушкину и отношением его к Белинскому — существенная разница. К деятельности Белинского Писарев стремится подойти с исторической точки зрения, истолковать ее как определенный этап в развитии демократической мысли. Писарев с глубоким уважением относится к Белинскому как к основоположнику демократической литературной критики. Но многое во мнениях даже позднего Белинского он считает данью идеалистической эстетике. По мнению Писарева, Белинский в статьях о Пушкине еще не смог до конца освободиться из-под влияния «ге-

---

* В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VII, М. 1955, стр. 320.

гельянщины». Как пропагандист «теории реализма» с присущими ей отдельными чертами радикального, но ограниченного просветительства и утилитаризма, он не сумел и в оценке Белинского удержаться на уровне Чернышевского и Добролюбова, не понял он до конца и значения статей Белинского о Пушкине. Но глубоко несправедливые в оценке Пушкина и односторонние в отношении Белинского, эти статьи Писарева содержат много метких и остроумных нападений на теорию «чистого искусства», на поэзию, отрешенную от жизни. В осмеянии этой теории, в обнажении реакционного смысла призывов к «чистой поэзии» большая заслуга принадлежит критике Писарева этих лет.

* *
*

С развитием «теории реализма» Писарева совпадает во времени длительная и резкая полемика между «Современником» и «Русским словом». Вспыхнувшая в самом начале 1864 года, она продолжалась почти до конца 1865 года. Эта полемика представляет важный эпизод в истории журналистики 1860-х годов, отражающий идейные расхождения и противоречия в демократической литературе в период после окончания революционной ситуации. Реакционная и либеральная пресса, раздувая эти разногласия, поспешила оповестить [illegible]тателей о «расколе в нигилистах». Резкость взаимных обвинений и осужде-[illegible] ходе этой полемики создавала впечатление назревающего разрыва между демократическими журналами. Однако сами участники полемики, как бы ни были серьезны и резки взаимные обвинения, никогда не отрицали того, что спор идет внутри одного лагеря, хотя спорившие стороны и очень различно оценивали очередные задачи своего направления.

Здесь нет необходимости входить во все детали полемики. Некоторые подробности о ней читатель найдет в самих статьях Писарева и в комментариях к ним. Если же отвлечься от частностей, от личных выпадов и непринципиальных обвинений, то основным в этой полемике следует признать вопрос об отношении к идейному наследию Чернышевского и Добролюбова, о тактической линии демократического движения в новой обстановке середины 1860-х годов. Одним из существенных предметов спора явилась при этом как раз «теория реализма» Писарева.

По-разному сложилась судьба обоих журналов в эти годы. «Современник» лишился своих испытанных руководителей — Чернышевского и Добролюбова. Общая линия редакции журнала в эти годы была менее последовательной, чем при Чернышевском и Добролюбове. В составе редакции, в кругу основных сотрудников журнала обнаружился недостаток единства. Помимо Некрасова, членами редакции и наиболее деятельными сотрудниками журнала были М. Е. Салтыков-Щедрин, М. А. Антонович, Г. З. Елисеев, Ю. Г. Жуковский, А. Н. Пыпин. В статьях не только молодого члена редакции Жуковского, который позднее стал одним из типичных представителей либерального народничества, но и в высказываниях М. А. Антоновича и Г. З. Елисеева имели место отдельные ошибки, отклонения от линии Чернышевского. Характерно, что в конце 1864 года Салтыков-Щедрин выходит из редакции «Современника». Показательно также, что «Современник» теряет

в эти годы некоторую долю влияния на демократического читателя, число его подписчиков сокращается.

Эти же годы следует признать временем наибольшего успеха «Русского слова» в читательской среде. Своим успехом журнал был обязан прежде всего деятельности Писарева. Но и «Русское слово», стоя в целом, как и «Современник», на революционно-демократических позициях, допускало серьезные ошибки. О противоречиях в мировоззрении Писарева говорилось выше. Но еще более противоречивую и во многом ошибочную позицию занимал молодой сотрудник журнала В. А. Зайцев. Путаными были его философские взгляды. Так, в одной из своих статей 1865 года Зайцев неправильно, примиренчески оценил субъективно-идеалистическую философию Шопенгауэра. Зайцев часто грешил вульгарно-материалистическим подходом к истолкованию явлений действительности. В политических взглядах Зайцева были также серьезнейшие отступления от революционно-демократической программы. С первых шагов своих в «Русском слове» он выразил неверие в революционную деятельность масс, отстаивал заговорщическую тактику, утверждая, что демократическая интеллигенция может действовать, не дожидаясь пробуждения политической сознательности масс и не считаясь с намерениями масс.

Полемика «Современника» с «Русским словом» открылась в самом начале 1864 года. В январской книге «Современника» за 1864 год (в очередном фельетоне из серии «Наша общественная жизнь») Щедрин выдвинул резкое обвинение по адресу редакции «Русского слова» в «понижении тона». Он резко критиковал отвлеченно-просветительские тенденции, выразившиеся в публицистике «Русского слова», писал о том, что сотрудники «Русского слова» возлагают все свои надежды на науку, которая «все даст со временем», и забывают о «жизненных трепетаниях» (под «жизненными трепетаниями» подразумевались революционно-демократические традиции). Щедрин в очень резкой форме предостерегал «Русское слово» от дальнейшей эволюции в сторону либерализма. Наиболее сильный удар при этом наносился по Зайцеву. Взгляды последнего Салтыков-Щедрин охарактеризовал как «зайцевскую хлыстовщину». Но говоря о тех преувеличенных надеждах, которые возлагаются «Русским словом» на науку, Салтыков-Щедрин, конечно, имел в виду и высказывания Писарева, например в статье «Наша университетская наука». У Щедрина имели место и памфлетные характеристики основных сотрудников «Русского слова».

«Русское слово» в февральском номере 1864 года резко откликнулось на фельетон Щедрина. Одним из таких откликов была и статья Писарева «Цветы невинного юмора», специально посвященная разбору произведений Щедрина. Писарев в этой статье дает вызывающе резкую полемическую оценку произведений сатирика, стремится представить его как безобидного юмориста, который якобы является чужим, случайным человеком в «Современнике», в революционно-демократическом лагере.

Но статья «Цветы невинного юмора» еще не касается брошенных со стороны Щедрина обвинений по существу. Следующая статья Писарева — «Мотивы русской драмы» — более открыто и прямолинейно обрисовывает действительные расхождения между критикой «Русского слова» и «Современника». Не случайно три года спустя после появления статьи Добролюбова

«Луч света в темном царстве» Писарев обращается в «Мотивах русской драмы» к разбору «Грозы» Островского. Оценивая характер Катерины, Писарев заявляет свое несогласие с основным выводом статьи Добролюбова. Он «развенчивает» Катерину, рассматривая ее как обычное, заурядное явление в темном царстве. Характерно, что на первый план при этом выступает опять Базаров, который прямо противопоставляется Катерине. Базарова, а не Катерину считает Писарев подлинным «лучом света в темном царстве». Основная задача времени, по Писареву, состоит в подготовке таких деятелей, которые смогут внести в общество правильные представления о народном труде и подготовить условия для коренного разрешения социальных вопросов.

Развернутым изложением общественной программы Писарева в ходе этой полемики явилась его статья «Реалисты». Ее появление обострило полемику между журналами. Основным противником Писарева на этом ее этапе стал М. А. Антонович. «Теория реализма» вызвала резкие нападки в «Отечественных записках», «Эпохе» и других журналах того времени. Но то была критика взглядов Писарева с реакционных позиций. Писарев отвечал на нее в «Прогулке по садам российской словесности» метким разоблачением программы этих журналов. Антонович же пытался подвергнуть решительной критике «теорию реализма» за ее отступления от революционного демократизма. Писарев отвечал Антоновичу в той же «Прогулке по садам российской словесности» и специально в большой статье «Посмотрим!». Полемика Писарева с Антоновичем сосредоточилась на вопросах о материализме, об отношениях между трудом и капиталом, о социализме. Существенное место заняли также вопросы эстетики и литературной критики.

Антоновичу в ходе полемики не удалось дать последовательного и объективного анализа ни позиции «Русского слова» вообще, ни взглядов Писарева в особенности. Наиболее сильной стороной полемических статей Антоновича была критика взглядов Зайцева, его грубых ошибок в области философии и политики. Что же касается «теории реализма», то Антонович не понял ее противоречивого характера, не увидел во взглядах Писарева революционно-демократической направленности, отнесся к его творчеству в целом отрицательно и односторонне. Обвинения Антоновича часто превращались в «грызню», по выражению Г. З. Елисеева, с «Русским словом», переходили не раз в мелочные придирки.

Позиция, занятая самим Антоновичем, давала основания Писареву для встречных обвинений в отходе Антоновича от линии Чернышевского. Антонович, например, в своей статье «Современная эстетическая теория», истолковывая взгляды Чернышевского на эстетику, допускал такие неопределенные формулировки, которые позволили Писареву бросить ему упрек в уступках идеалистической теории искусства. Антонович особенно упорно защищал свое отрицательное отношение к «Отцам и детям» Тургенева, высказанное им еще в статье 1862 года «Асмодей нашего времени». Он обвинял Писарева в том, что последний не заметил антинигилистической направленности романа Тургенева. Но сам он не оценил сильных сторон романа и не понял основного смысла трактовки образа Базарова в статье Писарева; не оценил он и революционно-демократической направленности характеристики у Писарева образа Рахметова.

В статье «Посмотрим!» Писарев не без основания критиковал Антоновича за либеральный подход к острейшим социальным вопросам. Вместе с тем он показал, насколько несправедливы были брошенные ему Антоновичем обвинения в отступлении от революционно-демократической программы.

Полемика между «Современником» и «Русским словом», обнажая тактические разногласия и отдельные ошибки обеих сторон, крайне обострила отношения между двумя журналами. Не всегда она велась на принципиальной высоте. Однако полемические статьи Писарева, особенно статья «Посмотрим!», затрагивают очень важные вопросы общественно-политического характера, содержат существенные черты для характеристики мировоззрения Писарева, его общественно-политических, философских и эстетических взглядов.

Полемика между «Современником» и «Русским словом» не нашла своего разрешения. В 1866 году оба журнала были закрыты. Изменившаяся политическая обстановка настоятельно требовала сплочения демократических сил. Это приводит к сближению Писарева с лучшими представителями того круга писателей, с которыми он еще недавно полемизировал.

IV

В ноябре 1866 года Писарев был освобожден из заключения. Но и по выходе из крепости положение его оставалось тяжелым. Над ним был установлен негласный надзор. После выстрела Каракозова в апреле 1866 года на демократическую интеллигенцию обрушились жестокие репрессии. Начались новые аресты. «Современник» и «Русское слово» были закрыты.

В этих условиях Писарев должен был искать пути для возобновления литературной деятельности. Тяжелая общая политическая обстановка, последствия длительного одиночного заключения, отразившиеся на его нервной системе, личные переживания, связанные с неудачной любовью к М. А. Маркович, вызвали временное падение писательской активности Писарева. В течение 1866—1867 годов он писал сравнительно немного.

Положение осложнилось тем, что в это время Писарев разошелся с бывшим редактором «Русского слова» Благосветловым. Нужно было искать новых товарищей по работе.

Важнейшим событием в жизни Писарева в это время явилось его сближение с Некрасовым. Летом 1867 года начались переговоры Некрасова с Писаревым относительно сотрудничества Писарева в издании, которое собирался осуществить Некрасов. Переговоры привели к постоянному сотрудничеству Писарева с начала 1868 года в журнале «Отечественные записки», который в это время перешел в руки Некрасова и Салтыкова-Щедрина и стал органом революционно-демократического направления. Последние полгода жизни критика и связаны с его работой в этом журнале.

Сближение Писарева с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным является во многих отношениях знаменательным. Сам факт обращения Некрасова к Писареву с предложением о сотрудничестве свидетельствует о том, как высоко ценил Некрасов, известный своим умением выбирать людей, талант Писарева как критика. Писареву поручалось ведение в обновленных «Отечественных записках» критического отдела. Несмотря на все прошлые споры

и разногласия, Некрасов и Салтыков-Щедрин видели в Писареве человека своего направления, которому можно смело поручить ведущую роль в одном из наиболее важных отделов журнала. Характерно, что ни Антонович, ни Жуковский не были привлечены к сотрудничеству в «Отечественных записках», — Некрасов и Салтыков-Щедрин разошлись с ними. Некрасов и Салтыков-Щедрин далеко не во всем одобряли линию Антоновича и Жуковского, занятую ими в полемике 1864—1865 годов. Салтыков-Щедрин, по сохранившимся свидетельствам, был против элементов «грызни», присущих полемическим выступлениям Антоновича.

Сближение Писарева с Салтыковым и Некрасовым — свидетельство также и известных новых признаков в духовном развитии Писарева. Как и другие выдающиеся революционные демократы, он ясно сознавал необходимость устранения старых разногласий. Но дело также в том, что в произведениях Писарева 1866—1868 годов уже нет тех специфических увлечений, которые так сильно проявились в его «теории реализма». В них нет характерных рассуждений о соотношении «механического» и «химического» путей развития и о предпочтении в данных условиях именно «химического» пути, пропаганда естественно-научных знаний уже не выдвигается на первый план в качестве важнейшей и решающей задачи дня. Вопрос о значении революционных переворотов в истории общества, о роли народных масс в истории занимает в них центральное положение.

Глубоко симптоматичной в этом смысле была статья «Генрих Гейне», написанная в 1867 году. Писарев и раньше неоднократно обращался к оценке и анализу творчества Гейне, с глубоким сочувствием относился к его творчеству. Ему были близки и дороги демократические тенденции в поэзии Гейне, его сарказмы, обращенные против европейской реакции, против либерализма и трусливого мещанства. Но в этой статье Писарев специально останавливается на противоречиях в мировоззрении и творчестве Гейне.

Выработку цельного и последовательного мировоззрения путем самостоятельной работы мысли выдвигает Писарев в начале статьи как важнейшую задачу молодого поколения. Над решением вопроса: «как жить?» «каждый здоровый человек, — пишет он, — должен трудиться сам, точно так, как женщина должна непременно сама выстрадать рождение своих детей». «Готовых убеждений, — говорится далее, — нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, которое непременно должно совершаться самостоятельно, в вашей собственной голове». Это невозможно без постоянного поступления новых материалов, которые получаются и из непосредственных наблюдений над жизнью, и из общения с людьми, и от чтения многих книг. Именно в связи с этим встает важнейшая задача критики, внимательного анализа таких материалов. Применительно к литературе и вообще к мнениям и выводам других людей — мыслителей, ученых и поэтов — эта задача определяется как критическое освоение лучшего наследия прошлого. С ростом и развитием самостоятельного мировоззрения, замечает Писарев, уже невозможно ограничиваться простыми приговорами, безусловно отрицающими и столь же безусловно принимающими то или иное явление. Главное состоит в том, чтобы из опыта прошлого, из литературного наследия суметь отобрать

и переработать то, что остается в нем наиболее важного и ценного. «Так как критика, — говорит Писарев, — должна состоять именно в том, чтобы в каждом отдельном явлении отличать полезные и вредные стороны, то понятно, что ограничиваться цельными приговорами значит уничтожать критику или по крайней мере превращать ее в бесплодное наклеивание таких ярлыков, которые никогда не могут исчерпать значение рассматриваемых предметов». Эти глубокие мысли Писарева об отношении к культурному наследию и общих задачах критики сохраняют свое живое значение.

Именно с этой точки зрения подходит он и к оценке Гейне. В ходе критического анализа он вскрывает противоречия в мировоззрении Гейне, сложное внутреннее содержание его творчества, выделяя в нем важнейшие прогрессивные стороны и подвергая критике то, что связывало Гейне с прошлым и тянуло его назад. Писарев с любовью говорит о неотразимом влиянии поэзии Гейне, но прямо предостерегает своих читателей «от умственного раболепства перед Гейне», от обожания «тех недостатков и пятен, которые наложены на поэзию Гейне обстоятельствами времени и места». Такими «пятнами» он считает во взглядах Гейне проявление известного недоверия к демократии, «эстетическую точку зрения» на революцию, связанную с «политическим дилетантизмом», отголоски теории чистого искусства в его творчестве, культ личности Наполеона I, отразившийся в «Книге Le Grand», и т. д. Ирония Гейне расценивается Писаревым как сложное и противоречивое, двойственное мировосприятие, как отражение колебаний между старым и новым.

Противоречия и колебания Гейне, особенно проявившиеся в творчестве 1820—1830-х годов, рассматриваются в статье не только как проявление личной слабости Гейне, а прежде всего как отражение противоречий его эпохи, как «настоящее роковое несчастие», тяжелая духовная драма, вызванная к жизни переломным характером времени после Венского конгресса, когда мучительно, преодолевая преграды, вызревало демократическое движение в борьбе с силами феодальной реакции, когда вместе с тем намечался кризис буржуазной демократии.

Важнейшее общественно-политическое значение этой статьи Писарева состоит в том, что центральным вопросом является здесь вопрос об отношении к народному движению, к революции. Писарев смотрит на революцию так же, как на справедливую оборонительную войну народа против иноземных захватчиков. Он глубоко понимает историческую необходимость социальных переворотов. «Если война или переворот вызваны настоятельною необходимостью, — говорит он, — то вред, наносимый ими, ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают... Тот народ, который готов переносить всевозможные унижения и терять все свои человеческие права, лишь бы только не браться за оружие и не рисковать жизнью, — находится при последнем издыхании». «Титанами любви» называет здесь Писарев тех людей, которые «живут и действуют в самом бешеном водовороте человеческих страстей», «стоят во главе всех великих народных движений».

Вопрос об отношении к революции ведет за собою вопрос об отношении к либерализму. В статье о Гейне дана едва ли не наиболее беспощадная характеристика либерализма как антинародного направления, стремящегося путем мелочных поправок и уступок увековечить господство буржуазии и

эксплуатации трудящихся масс. «Рыхлой и бессвязной политической партией» именует Писарев либералов, показывая, как эволюция этой партии, связанная с торжеством капиталистических отношений, ведет к ее вырождению, к объединению в ней «легиона пройдох и торгашей, осененных знаменем великих принципов», то есть эксплуатирующих в свою пользу лозунг буржуазной революции — «свобода, равенство, братство».

Статья о Гейне наиболее сильно, ярко и последовательно выражает революционно-демократические взгляды Писарева. Симптоматично, что она явилась в дни нового наступления реакции, когда все очевиднее становилось, что силе нужно противопоставить силу, что без решительных революционых действий невозможно изменение существующих отношений.

Известным образом тематически связана со статьей «Генрих Гейне» другая статья, относящаяся также к 1867 году. Это — «Борьба за жизнь», где дан разбор романа Достоевского «Преступление и наказание». И сам Достоевский и реакционная критика пытались выдать Раскольникова за представителя молодого поколения, за «нигилиста», а его преступление представить как порождение революционных идей. Обращаясь к анализу этого образа, Писарев показывает, что мысли Раскольникова об идентичности «преступника» и «необыкновенного человека» могли иметь только реакционный смысл, что они являются патологическим результатом развития в Раскольникове крайнего индивидуализма, его обособления от общества.

И в этой статье Писарев указывает на историческую необходимость революционных переворотов. Он решительно выступает против реакционных поползновений осудить революцию как «бессмысленное и жестокое кровопролитие». «Что кровопролитие бывает иногда неизбежно и ведет за собою самые благодетельные последствия, это известно, — пишет он, — всякому человеку, умеющему понимать причинную связь исторических событий». Реакционной попытке отождествить вопрос о преступлении и революционном насилии Писарев противопоставляет исторически конкретный, демократический подход к вопросу о праве народа на революционное выступление.

Таковы две важнейших статьи, написанные Писаревым еще до начала сотрудничества в «Отечественных записках». Круг статей, которые Писарев успел опубликовать в этом журнале за полгода своей работы, относительно невелик. Не все из опубликованных здесь статей выдерживают сравнение по талантливости с произведениями предшествующего времени. Деятельность Писарева в новом журнале не могла развернуться сразу с той широтой и силой, на которую он был способен. Отношения Писарева с новыми товарищами по работе еще только налаживались. Но и среди немногих критических статей, напечатанных в «Отечественных записках», мы находим произведения, поражающие силой и глубиной мысли. К таким выдающимся произведениям относится небольшая статья «Французский крестьянин в 1789 году».

Воспользовавшись материалами исторического романа Эркмана-Шатриана, Писарев вновь вернулся к теме французской буржуазной революции конца XVIII века. Но теперь он сосредоточил свое внимание не на анализе общих экономических и политических предпосылок революции, как в «Исторических эскизах», а на процессе идейного созревания тех сил, которые приняли участие в революции. Обратившись к образам романа, он показал

роль различных общественных групп в подготовке революции, значение революционного сознания в развитии народного движения против господствующего строя. На первый план при этом выступает образ Матюрена Шовеля. Именно людей этого типа рассматривает Писарев как важнейших деятелей в эпоху широкого народного движения. Матюрены Шовели — люди, которые тесно связаны с народом, испытали на самих себе нелепости и жестокости «старого порядка» и ценой тяжелых испытаний, путем мучительной работы сознания воспитали в себе непримиримость к старому порядку вещей, глубокое понимание коренных интересов народа, знание слабых сторон существующего строя, ненависть к врагам народа. Во французской буржуазной революции конца XVIII века Писарев видит прежде всего высокий подъем демократического движения. Анализируя образ другого героя романа, представителя низших слоев буржуазии, Жана Леру, он отмечает, что поддержка с их стороны революционных стремлений народа была ограниченной, что они не могли предвидеть и не желали признать всех необходимых последствий размаха народного движения. Писарев не только глубоко симпатизирует народному движению, но и связывает с ним представление о действительном историческом прогрессе. «В цивилизованной Европе, — заявляет он, — трудно найти хоть один уголок, в котором самосознание масс не обнаруживало бы хоть мимолетными проблесками самого серьезного и неизгладимо-благодетельного влияния на общее течение исторических событий». Глубокой убежденностью в правоте народного дела, глубокой верой в него проникнуты эти строки Писарева, посвященные роли народа в революционном обновлении общества.

Другой выдающейся работой Писарева в это время явилась статья «Старое барство». Писарев, всегда высоко ценивший творчество Толстого, обратился в ней к анализу «Войны и мира». Он предполагал дать подробный анализ всех основных образов романа в нескольких статьях, но успел написать только одну, посвященную Николеньке Ростову и Борису Друбецкому. Трудно судить, какова была бы общая оценка романа. Но и в первой статье Писарев обнаружил тонкое понимание характеров толстовских героев. Как во всех его критических статьях, он прежде всего стремится дать объективный анализ литературных типов и привести их в прямую связь с теми обстоятельствами, которые вызвали их к жизни. «Старое барство» — это глубоко оправданное название статьи. Стремление понять и истолковать и характер Ростова и характер Друбецкого со всеми их индивидуальными изгибами как закономерное порождение определенной эпохи и определенной социальной среды — главное в подходе к ним Писарева.

В последние месяцы своей жизни Писарев опять вернулся к теме, которая особенно занимала его в первые годы сотрудничества в «Русском слове». Это тема личности и среды, гибельного, разрушающего влияния, которое оказывает собственническая, мещанская среда на воспитание личности. Эта тема объединяет две статьи, посвященные теперь уже забытым литературным произведениям, — статьи «Романы Андре Лео» и «Образованная толпа» (о повестях Ф. М. Толстого). Одна особенность отчетливо выступает в них при сопоставлении со статьями 1861 года. Теперь Писарев сосредоточивает свое внимание не только на пагубном воздействии этой среды на отдельные лич-

ности, но и на анализе тех то робких и несмелых, то страстных и порывисто-сильных проявлений протеста, которые зреют и вспыхивают в этих личностях.

Незадолго до смерти Писарев вновь обратился и к жанру исторических очерков. В «Отечественных записках» им была начата большая серия «Очерков из истории европейских народов». По своему замыслу это была бы, без сомнения, крупнейшая историческая работа Писарева. То, что Писарев успел закончить, обнимает картину исторического развития Италии со времени падения Римской империи до напряженных эпизодов борьбы итальянских республик-городов с германскими императорами, местными феодалами и папством. Писарев сумел связать изложение специальной исторической темы, далекой от современности, с постановкой общих, коренных вопросов социальной жизни. Характерно его стремление вскрыть остроту социальных конфликтов, показать, как в борьбе различных общественных сил необходимо складываются такие политические и социальные результаты, которых не могла предвидеть и желать ни одна из непосредственно борющихся сторон. Так в ходе идейного развития Писарева все большую силу получало стремление его понять объективные закономерности исторического процесса, независимые от воли отдельных людей и целых общественных групп и направлений. Писарев, например, показывает в этих «Очерках», как обращение городских республик в их борьбе с феодалами к помощи кондотьеров, военных предводителей из среды тех же феодалов, неизбежно подготавливало почву для установления тирании в городах, вело к упадку их самоуправления. Глубоко симптоматичным является и в этой работе внимание к народным движениям. Подробно описывая, например, борьбу ломбардских городов с войсками Фридриха Барбароссы, Писарев замечает под конец: «Потому я и представил читателям довольно подробный отчет об осадах и сражениях, что во всех этих операциях проявлялись во время ломбардской войны не сухие выкладки полководцев, а живые порывы великих и вечно юных, вечно современных народных чувств». Характеризуя победу миланцев над сильной императорской армией под Линьяно, Писарев решающее место отводит силе патриотизма миланских горожан и тому, что «их патриотическое чувство нашло себе отголосок в груди всех ломбардов, поднявших оружие за свою потерянную свободу». *

«Очерки из истории европейских народов» были последней работой Писарева, опубликованной в «Отечественных записках».

4 июня 1868 года его жизнь трагически оборвалась. Он утонул во время морского купанья под Ригой. Похороны Писарева показали, какое влияние имела его деятельность на демократических читателей. За гробом его шло, по описанию свидетеля, огромное число его друзей и почитателей.

Герцен в «Колоколе» с глубокой скорбью отозвался на смерть Писарева. «Еще одно несчастье, — писал он, — постигло нашу маленькую фалангу. Скрылась яркая звезда, которая много обещала, унося едва сложившиеся таланты, прекратив едва выдвинувшуюся литературную деятельность. Писарев — язвительный критик, иногда преувеличивавший, но

---

* Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5, т. VI, СПб. 1913, стр. 180.

всегда полный вдохновения, благородства и энергии, утонул во время купания». *

В этой характеристике Герцена, краткой, но выразительной, подчеркнуто главное: непрекращающийся идейный рост критика. Захваченный потоком революционного движения 1860-х годов в период его наивысшего подъема, Писарев затем, в трудных условиях наступления реакции, мучительно осмысляя предшествующие неудачи, стремится создать цельное мировоззрение. Нередко впадая в противоречия, он напряженно и страстно ищет новых путей, которые могли бы привести к новому подъему демократического движения, к радикальному изменению условий жизни народа. Логика этих исканий вела Писарева от колебаний в выборе «механического» или «химического» пути развития общества к признанию решающей роли революционного изменения социального строя, от тяжелых сомнений относительно готовности масс к сознательному революционному действию,—к вере в неограниченные силы народа. Важнейшее значение получил для него вопрос о внесении революционного сознания в массы народа, о соединении «труда» и «знания». Вот почему деятельность Писарева, при всех характерных для него ошибках и противоречиях, оставила яркий след в истории русской общественной мысли. Убежденный демократ, полный творческой энергии, благородный борец за дело прогресса и демократии, за процветание своей родины, оригинальный мыслитель-материалист, талантливый критик — таким был и остался Писарев в сознании последующих поколений.

V

Много характерного своеобразия в подходе Писарева как критика к явлениям литературы, в его собственном стиле публициста. «Дело критика, — говорит Писарев в статье «Московские мыслители», — состоит именно в том, чтобы рассмотреть и разобрать отношения художника к изображаемому предмету; критик должен рассмотреть этот предмет очень внимательно, обдумать и разрешить по-своему те вопросы, на которые наводит этот предмет, вопросы, которые едва затронул и, может быть, даже едва заметил сам художник. Художнику представляется единичный случай, яркий образ; критику должна представляться связь между этим единичным случаем и общими свойствами и чертами жизни; критик должен понять смысл этого случая, объяснить его причины, узаконить его существование, показать его «*raison d'être*». И сам Писарев поступал сообразно с этими требованиями. Нередко оставляя в стороне оценку субъективных намерений писателя, отстраняя то, что мешало писателю до конца правильно понять изображаемые им явления, Писарев сосредоточивает внимание на анализе самих материалов произведения, тех явлений жизни, которые воспроизводит художник. Нередко по отдельным намекам, штрихам он воссоздает характерные черты целого явления жизни, показывает логическое развитие данного типа, место

---

* А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. XXI, М.—П. 1923, стр. 88.

его в определенной исторической обстановке. Писарев иногда вступает даже в своего рода соревнование с автором произведения, создавая своеобразную и яркую интерпретацию литературного образа. Очень показательна в этом смысле статья «Реалисты». Писарев избрал для характеристики нового типа образ Базарова. Характеристика и анализ этого образа, его отношений к окружающим лицам, его поведения в определенных ситуациях служат для Писарева отправным пунктом для развернутого изложения собственных взглядов на задачи молодого поколения. В ходе этого анализа Писарев обнаруживает чуткое понимание объективного смысла созданного Тургеневым образа. Но нередко при этом он как бы полемизирует с художником, подчеркивает возможность иной трактовки отдельных особенностей этого типа, чем та, которая выступает у Тургенева, как бы очищает образ Базарова от тех наносных, случайных черт, которые могут дать искаженное представление о значении целого типа. Писарев во многом создал *своего* Базарова.

Эта способность критика выводить все логически необходимые следствия из материалов художественного произведения, непосредственно соотнося его образы с определенным кругом явлений самой жизни, бросается в глаза и в статье «Подрастающая гуманность». «Трудное время» Слепцова давало в высшей степени благодарные материалы и для характеристики «нового человека» — Рязанова и для характеристики типа ограниченного либерала — Щетинина. Однако Писарев не ограничивается только разбором отдельных сцен повести. Замечателен заключительный эпизод этой статьи, где Писарев с подлинно художественным тактом добавляет новую сцену — характерный разговор между критиком-демократом и молодым Щетининым, только что окончившим университет и переполненным благими либеральными намерениями. Заключая анализ образа Щетинина таким воссозданием его «предыстории», опущенной в самой повести Слепцова, Писарев до конца обнажает тщетность и беспочвенность либеральных иллюзий молодого «хозяина», их ограниченный классовый смысл.

В литературно-критических статьях Писарева и в его исторических очерках ярко проявилось присущее ему мастерство психологического анализа, умение по отдельным деталям и эпизодам, в ходе анализа отдельных поступков и действий литературного персонажа или исторического деятеля дать его законченный портрет, показать типический характер, связь данного типа с определенной социальной средой. Писарев обладал способностью глубоко раскрывать социальную значимость известных литературных образов. Нередко эти образы превращаются у него в многозначительные символы, с помощью которых обнажается истинная сущность определенного общественного класса или направления.

Такими символическими образами явились для него, например, Чичиков и Коробочка, Молчалин и Фамусов. В этом смысле есть нечто, сближающее манеру Писарева с сатирическим стилем Щедрина. В небольшой статье «Наши усыпители» Писарев дал очень лаконичную, но удивительно меткую сатирическую характеристику политической реакции 1860-х годов. Вся она построена на остроумном перенесении старых «героев» — Чичикова, Молчалина и Коробочки — в новую, более широкую сферу политических отношений. «Внимательный наблюдатель может и должен узнавать своих старых знакомых, —

говорится там, — несмотря на их новые костюмы, манеры и разговоры. Чичиковым бывает часто такой человек, который не только не торгует мертвыми душами, но даже не позволяет себе ни одной сколько-нибудь двусмысленной спекуляции. Молчалин остается Молчалиным даже тогда, когда он с почтительной твердостью представляет своему начальнику основательные возражения». Чичиков, Молчалин и Коробочка рассматриваются здесь как характерные «ингредиенты», из которых реакционная литература 1860-х годов стремилась построить своего «героя». В Аскоченских, Катковых, Клюшниковых и других «столпах» и защитниках реакции обнаруживаются тупоумие Коробочки, «умеренность и аккуратность» Молчалина и обывательское «благообразие» Чичикова.

Сатирическое начало рельефно представлено в произведениях Писарева. Он использует разнообразные художественные средства, от острой и злой насмешки до резкого гротеска, в своей борьбе с реакционерами и либералами. Совсем по-щедрински звучит, например, гротескное сопоставление игриво-либеральных «начинаний» помещика Щетинина со скачками и пируэтами оседланной коровы (в статье «Подрастающая гуманность»).

Превосходный полемист, Писарев всегда умел схватить слабые, уязвимые стороны в мнениях своего противника и использовать это для опровержения его взглядов. С особенным блеском развернулся полемический талант Писарева в борьбе с реакционными журналами и антинигилистической беллетристикой. Спокойно и рассчитанно, зло и вместе с тем задорно и весело наносил он свои меткие удары по ним в таких статьях, как «Московские мыслители», «Прогулка по садам российской словесности», «Сердитое бессилие».

Писарев был блестящим и тонким мастером слова. Он придавал самое серьезное значение форме литературного изложения. Презирая всяческие внешние стилистические украшения, он вел решительную борьбу с ложной «красивостью» слога, со звонкой, но пустой фразой.

Излагая свои взгляды на жизнь или передавая в своих статьях важнейшие выводы современной ему науки, Писарев стремился прежде всего возбудить, как он говорил, самостоятельный процесс мысли в голове своего читателя, обратить его внимание к фактам живой действительности. Одна из важных задач мыслящего реалиста, образно говорил он в статье «Мотивы русской драмы», состоит в том, чтобы «отрыть живое явление из-под груды набросанных слов, которые на языке каждого отдельного человека имеют свой собственный смысл». Отсюда — постоянная борьба Писарева с «лексиконом мудреных слов» и «сборниками готовых изречений», с помощью которых разные реакционеры, философы-идеалисты, представители либеральной публицистики пытались выдать за действительное «произведения праздной фантазии». В своих статьях Писарев уделял большое внимание анализу отдельных слов и терминов, выражающих важнейшие научные и общественно-политические понятия. В ходе такого анализа он стремится очистить эти слова от тех случайных и нередко неправильных осмыслений и истолкований, которые наслоились на них в процессе их употребления.

Отсюда же — и столь характерная для критики Писарева борьба с фразерством, со всякими попытками подменить внимательный анализ яв-

лений жизни бессодержательными рассуждениями «хвалительного или порицательного свойства». «Фразы могут надолго задержать и изуродовать наше развитие, — писал по этому поводу критик в уже цитированной статье «Мотивы русской драмы». — Стало быть, если наша молодежь сумеет вооружиться непримиримою ненавистью против всякой фразы, кем бы она ни была произнесена, Шатобрианом или Прудоном, если она выучится отыскивать везде живое явление, а не ложное отражение этого явления в чужом сознании, то мы будем иметь полное основание рассчитывать на довольно нормальное и быстрое улучшение наших мозгов».

В прямую и тесную связь ставил Писарев мысль и слово. Чем глубже и истиннее мысль, чем определённее и отчетливее схватывает она существенные признаки явлений действительности, тем естественнее и легче находятся ясные, простые и точные слова для ее выражения. И напротив, «чем мельче становятся мысли и чувства, тем вычурнее и красивее подбираются для них названия, потому что навык с каждым днем усиливается в этом ремесле, как и во всех остальных» («Реалисты»).

Немало метких и злых слов было сказано Писаревым по адресу «цеховых ученых», тех специалистов, которые, замкнувшись в узко-академической сфере, проявляли пренебрежение к делу распространения и закрепления в обществе достижений и выводов науки. Он высмеивает «птичий язык» таких «специалистов». Вот что, например, говорится в конце его большой работы «Прогресс в мире животных и растений» о подобном «ученом слоге»: «Подумаешь, что специалист живет где-нибудь на звезде Ориона и оттуда ведет свою речь в пространство эфира, вовсе не заботясь о том, услышит ли его кто-нибудь или поймет ли его тот несчастный слушатель, до которого случайно долетят эти блуждающие звуки. По моему мнению, полезнее прочитать статью вполне понятную, хотя и с некоторыми ошибками, чем набивать себе голову совершенно безукоризненными диссертациями, недоступными человеческому пониманию». *

Выдающиеся представители революционно-демократической мысли 1860-х годов много сделали для дальнейшего развития и совершенствования русской литературной речи. Они создали и замечательные образцы научно-популярного изложения. В «Опыте бесед с молодыми людьми», представлявшим яркую попытку изложить в самой доступной и живой форме основы материалистического мировоззрения, Герцен, между прочим, писал: «Вероятно, каждому молодому человеку, сколько-нибудь привычному к размышлению, приходило в голову: отчего в природе все так весело, ярко и живо, а в книге то же самое скучно, трудно, бледно и мертво? Неужели это — свойство речи человеческой? Я не думаю. Мне кажется, что это — вина неясного понимания и дурного изложения». ** И Герцен и Чернышевский, развивая и пропагандируя идеи материализма, умели довести эти идеи в самой доступной и вместе с тем живой и яркой форме до сознания читателя. Восприняв их достижения, Писарев

* Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5, СПб. 1912, стр. 492.
** А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. IX, П. 1919, стр. 157.

явился одним из самых талантливых популяризаторов, превосходным и тонким мастером научно-популярного изложения.

Он высоко ценил не только точность и определенность языкового выражения мысли, но и пластическую легкость, ясную простоту и художественную рельефность изложения. Это и понятно, если учесть, какие поистине огромные задачи ставил Писарев в отношении популяризации, распространения в обществе передовых взглядов. Писарев много внимания уделил характеристике того, каким должен быть истинно популярный слог изложения. «Популяризатор, — писал он в статье «Реалисты», — непременно должен быть художником слова». Все выразительные средства языка, все характерные обороты народной речи, все красноречие должно быть пущено в ход, все должно быть подчинено одной задаче возможно более прямого проведения мысли, возможно более полного усвоения ее широким кругом читателей, возможно более прочного закрепления ее в сознании людей. От мастерства популяризатора зависит в значительной степени успех распространения идеи в массах. В неопубликованной рецензии его на книжку «Намеки природы», относящейся к 1861—1862 годам, говорится: «Книги для народа составляют насущную потребность, а в этих необходимых книгах ясное, привлекательное и легкое изложение составляет необходимое условие». *

Как публицист-демократ, Писарев особенно дорожил тесным общением с широким кругом читателей, особенно с демократической молодежью. Здесь, в процессе этого прямого общения с другом-читателем, допустима и шутка, и во-время найденное меткое словцо, и вдохновенная импровизация, и временное отступление в сторону от основной темы, если без этого дальнейшее изложение будет затруднительно для читателя. Научно-популярные статьи Писарева до сих пор остаются замечательными образцами глубоко научного и вместе с тем в высшей степени доходчивого, ясного и красочного изложения.

Язык Писарева поражает нас своим богатством, разнообразием, гибкостью. Широко и свободно черпал он выразительные средства из различных слоев словарного состава русского литературного и народно-разговорного языка. Слова и выражения книжные и просторечные, известные литературные цитаты и афоризмы и меткие народные пословицы и поговорки, приемы торжественно-патетической и эмоционально-взволнованной речи и характерные обороты речи обиходно-грубоватой и фамильярно-непринужденной свободно объединяются в языке его статей. Точность и лаконизм, законченность и строгая логическая расчлененность фразы, периода сочетаются с изяществом в их отделке, с легкостью их ритмического течения. Писарев всегда умел выбрать выразительный и меткий эпитет, подкрепить свою мысль картинным сравнением, взятым нередко из области особенно близких и знакомых читателю явлений. Перед нами всегда является умный и острый собеседник, обращающийся к своему читателю то запросто, то лирически-задушевно, то вдохновенно. Речь Писарева часто принимает характер блестящей

---

* Рукоп. отдел ИРЛИ. Фонд Д. И. Писарева, $\frac{9561}{\text{LVI, б. 74}}$, л. 1.

импровизации. Вслед за сжатым и точным формулированием основной мысли следует ее выпуклое образное раскрытие, сарказмы и непредвиденные выпады в адрес врагов чередуются с самыми искренними признаниями, обращенными к читателю-другу, острая ирония сменяется патетическим призывом к молодому поколению.

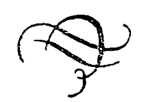
Вы часто при этом чувствуете превосходство этого одаренного и образованного собеседника, восхищаетесь прямотою и решительностью его выводов, смелостью его мысли, иногда становитесь в тупик от его парадоксов и явных преувеличений. Но никогда читатель не останется равнодушным к его словам и мнениям. Вы никогда не заметите в этом собеседнике и оригинальном мыслителе позы высокомерного учителя, профессионального «мудреца». Везде перед вами живой, страстный и глубоко убежденный человек, честно ищущий ответа на самые сложные и запутанные вопросы. Он горячо стремился к тому, чтобы не только провести определенный круг идей в сознание своих читателей, но и возбудить деятельность их собственной мысли. Этот образ молодого критика, кристально честного, непримиримого врага всякой реакции, косности и застоя, талантливого пропагандиста научных знаний и смелого мыслителя, сохранит в своем сознании и советский читатель.

Произведения Писарева составляют необходимую часть того замечательного культурного наследия прошлого, которое хранят и критически осваивают советские люди — строители коммунистического общества.

Ю. Сорокин

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

1859-1862



ОБЛОМОВ

Роман И. А. Гончарова

В каждой литературе, достигшей известной степени зрелости, появляются такие произведения, которые соглашают общечеловеческий интерес с народным и современным и возводят на степень художественных созданий типы, взятые из среды того общества, к которому принадлежит писатель. Автор такого произведения не увлекается современными ему, часто мелкими, вопросами жизни, не имеющими ничего общего с искусством; он не задает себе задачи составить поучительную книгу и осмеять тот или другой недостаток общества или превознесть ту или другую добродетель, в которой нуждается это общество. Нет! Творчество с заранее задуманною практическою целью составляет явление незаконное; оно должно быть предоставлено на долю тех писателей, которым отказано в могучем таланте, которым дано взамен нравственное чувство, способное сделать их хорошими гражданами, но не художниками. Истинный поэт стоит выше житейских вопросов, но не уклоняется от их разрешения, встречаясь с ними на пути своего творчества. Такой поэт смотрит глубоко на жизнь и в каждом ее явлении видит общечеловеческую сторону, которая затронет за живое всякое сердце и будет понятна всякому времени. Случится ли поэту обратить внимание на какое-нибудь общественное зло, — положим, на взяточничество, — он не станет, подобно представителям обличительного направления, вдаваться в тонкости казуистики и излагать разные запутанные проделки: цель его будет не осмеять зло, а разрешить перед глазами читателя психологическую задачу; он обратит внимание не на то, в чем проявляется взяточничество, а на то, откуда оно исходит; взяточник в его глазах — не чиновник, недобросовестно исполняющий свою обязанность, а человек, находящийся в состоянии полного нравственного унижения. Проследить состояние его души, раскрыть его перед читателем, объяснить участие общества в формировании подобных

характеров — вот дело истинного поэта, которого творение о взяточничестве может возбудить не одно отвращение, а глубокую грусть за нравственное падение человека. Так смотрит поэт на явления своей современности, так относится он к различным сторонам своей национальности, на все смотрит он с общечеловеческой точки зрения; не тратя сил на воспроизведение мелких внешних особенностей народного характера, не дробя своей мысли на мелочные явления вседневной жизни, поэт разом постигает дух, смысл этих явлений, усвоивает себе полное понимание народного характера и потом, вполне располагая своим материалом, творит, не списывая с окружающей его действительности, а выводя эту действительность из глубины собственного духа и влагая в живые, созданные им образы одушевляющую его мысль. «Народность, — говорит Белинский, — есть не достоинство, а необходимое условие истинно художественного произведения».[1] Мысль поэта ищет себе определенного, округлого выражения и по естественному закону выливается в ту форму, которая всего знакомее поэту; каждая черта общечеловеческого характера имеет в известной национальности свои особенности, каждое общечеловеческое движение души выражается сообразно с условиями времени и места. Истинный художник может воплотить свою идею только в самых определенных образах, и вот почему народность и историческая верность составляют необходимое условие изящного произведения. Слова Белинского, сказанные им по поводу повестей Гоголя, могут быть в полной силе приложены к оценке нового романа г. Гончарова. В этом романе разрешается обширная, общечеловеческая психологическая задача; эта задача разрешается в явлениях чисто русских, национальных, возможных только при нашем образе жизни, при тех исторических обстоятельствах, которые сформировали народный характер, при тех условиях, под влиянием которых развивалось и отчасти развивается до сих пор наше молодое поколение. В этом романе затронуты и жизненные, современные вопросы настолько, насколько эти вопросы имеют общечеловеческий интерес; в нем выставлены и недостатки общества, но выставлены не с полемической целью, а для верности и полноты картины, для художественного изображения жизни, как она есть, и человека с его чувствами, мыслями и страстями. Полная объективность, спокойное, бесстрастное творчество, отсутствие узких временных целей, профанирующих искусство, отсутствие лирических порывов, нарушающих ясность и отчетливость эпического повествования, — вот отличительные признаки таланта автора, насколько он выразился в последнем его произведении. Мысль г. Гончарова, проведенная в его романе, принадлежит всем векам и народам, но имеет особенное значение в наше время, для нашего русского общества. Автор задумал проследить мертвящее, губительное влияние, которое оказывают на человека умственная апатия, усыпление, овладевающее мало-помалу всеми

силами души, охватывающее и сковывающее собою все лучшие, человеческие, разумные движения и чувства. Эта апатия составляет явление общечеловеческое, она выражается в самых разнообразных формах и порождается самыми разнородными причинами; но везде в ней играет главную роль страшный вопрос: «зачем жить? к чему трудиться?» — вопрос, на который человек часто не может найти себе удовлетворительного ответа. Этот неразрешенный вопрос, это неудовлетворенное сомнение истощают силы, губят деятельность; у человека опускаются руки, и он бросает труд, не видя ему цели. Один с негодованием и с желчью отбросит от себя работу, другой отложит ее в сторону тихо и лениво; один будет рваться из своего бездействия, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чем можно было бы наполнить внутреннюю пустоту; апатия его примет оттенок мрачного отчаяния, она будет перемежаться с лихорадочными порывами к беспорядочной деятельности и все-таки останется апатиею, потому что отнимет у него силы действовать, чувствовать и жить. У другого равнодушие к жизни выразится в более мягкой, бесцветной форме; животные инстинкты тихо, без борьбы, выплывут на поверхность души; замрут без боли высшие стремления; человек опустится в мягкое кресло и заснет, наслаждаясь своим бессмысленным покоем; начнется вместо жизни прозябание, и в душе человека образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волнение внешнего мира, которой не потревожит никакой внутренний переворот. В первом случае мы видим какую-то вынужденную апатию, — апатию и вместе с тем борьбу против нее, избыток сил, просившихся в дело и медленно гаснущих в бесплодных попытках; это — байронизм, болезнь сильных людей. Во втором случае является апатия покорная, мирная, улыбающаяся, без стремления выйти из бездействия; это — обломовщина, как назвал ее г. Гончаров, это болезнь, развитию которой способствуют и славянская природа и жизнь нашего общества. Это развитие болезни проследил в своем романе г. Гончаров. Огромная идея автора во всем величии своей простоты улеглась в соответствующую ей рамку. По этой идее построен весь план романа, построен так обдуманно, что в нем нет ни одной случайности, ни одного вводного лица, ни одной лишней подробности; чрез все отдельные сцены проходит основная идея, и между тем во имя этой идеи автор не делает ни одного уклонения от действительности, не жертвует ни одною частностию во внешней отделке лиц, характеров и положений. Все строго естественно и между тем вполне осмысленно, проникнуто идеею. Событий, действия почти нет; содержание романа может быть рассказано в двух, трех строках, как может быть рассказана в нескольких словах жизнь всякого человека, не испытавшего сильных потрясений; интерес такого романа, интерес такой жизни заключается не в замысловатом сцеплении событий, хотя бы и правдоподобных, хотя бы и действительно случившихся, а в на-

блюдении над внутренним миром человека. Этот мир всегда интересен, всегда привлекает к себе наше внимание; но он особенно доступен для изучения в спокойные минуты, когда человек, составляющий предмет нашего наблюдения, предоставлен самому себе, не зависит от внешних событий, не поставлен в искусственное положение, происходящее от случайного стечения обстоятельств. В такие спокойные минуты жизни, когда человек, не тревожимый внешними впечатлениями, сосредоточивается, собирает свои мысли и заглядывает в свой внутренний мир, в такие минуты происходит иногда никому не заметная, глухая внутренняя борьба, в такие минуты зреет и развивается задушевная мысль или происходит поворот на прошедшее, обсуживание и оценка собственных поступков, собственной личности. Эти таинственные минуты особенно дороги для художника, особенно интересны для просвещенного наблюдателя. В романе г. Гончарова внутренняя жизнь действующих лиц открыта перед глазами читателя; нет путаницы внешних событий, нет придуманных и рассчитанных эффектов, и потому анализ автора ни на минуту не теряет своей отчетливости и спокойной проницательности. Идея не дробится в сплетении разнообразных происшествий: она стройно и просто развивается сама из себя, проводится до конца и до конца поддерживает собою весь интерес, без помощи посторонних, побочных, вводных обстоятельств. Эта идея так широка, она охватывает собою так много сторон нашей жизни, что, воплощая одну эту идею, не уклоняясь от нее ни на шаг, автор мог, без малейшей натяжки, коснуться чуть ли не всех вопросов, занимающих в настоящее время общество. Он коснулся их невольно, не желая жертвовать для временных целей вечными интересами искусства; но это невольно высказанное в общественном деле слово художника не может не иметь сильного и благотворного влияния на умы: оно подействует так, как действует все истинное и прекрасное. Часто случается, что художник приступает к своему делу с известною идеею, созревшею в его голове и получившею уже свою определенную форму; он берется за перо, чтобы перенести эту идею на бумагу, чтобы вложить ее в образы, — и вдруг увлекается самым процессом творчества; произведение, задуманное в его уме, разрастается и получает не ту форму, которая была назначена ему прежде. Отдельный эпизод, которому вначале следовало только подтвердить основную мысль, обрабатывается с особенною любовью и вырастает так, что почти выдвигается на первый план, и между тем от этого, повидимому, незаконного преобладания одной части над другими не происходит дисгармонии; основная идея не теряет своей ясности, не затемняется развитием эпизодов; все произведение остается стройным и изящным, хотя и не соблюдена математическая строгость в соразмерности частей. Описанный нами факт творчества свершился, как кажется, над романом г. Гончарова. Главною идеею автора, насколько можно судить и по заглавию и по ходу действия, было

изобразить состояние спокойной и покорной апатии, о которой мы уже говорили выше; между тем после прочтения романа у читателя может возникнуть вопрос: что хотел сделать автор? Какая главная цель руководила им? Не хотел ли он проследить развитие чувства любви, анализировать до мельчайших подробностей те видоизменения, которые испытывает душа женщины, взволнованной сильным и глубоким чувством? Вопрос этот рождается не оттого, чтобы главная цель была не достигнута, не оттого, чтобы внимание автора уклонилось от нее в сторону: напротив! дело в том, что обе цели, главная и второстепенная, возникшая во время творчества, достигнуты до такой степени полно, что читатель не знает, которой из них отдать предпочтение. В «Обломове» мы видим две картины, одинаково законченные, поставленные рядом, проникающие и дополняющие одна другую. Главная идея автора выдержана до конца; но во время процесса творчества представилась новая психологическая задача, которая, не мешая развитию первой мысли, сама разрешается до такой степени полно, как не разрешалась, быть может, никогда. Редкий роман обнаруживал в своем авторе такую силу анализа, такое полное и тонкое знание человеческой природы вообще и женской в особенности; редкий роман когда-либо совмещал в себе две до такой степени огромные психологические задачи, редкий возводил соединение двух таких задач до такого стройного и, повидимому, несложного целого. Мы бы никогда не кончили, если бы стали говорить о всех достоинствах общего плана, составленного такою смелою рукою; переходим к рассмотрению отдельных характеров.

Илья Ильич Обломов, герой романа, олицетворяет в себе ту умственную апатию, которой г. Гончаров придал имя обломовщины. Слово обломовщина не умрет в нашей литературе: оно составлено так удачно, оно так осязательно характеризует один из существенных пороков нашей русской жизни, что, по всей вероятности, из литературы оно проникнет в язык и войдет во всеобщее употребление. Посмотрим, в чем же состоит эта обломовщина. Илья Ильич стоит на рубеже двух взаимно противоположных направлений: он воспитан под влиянием обстановки старорусской жизни, привык к барству, к бездействию и к полному угождению своим физическим потребностям и даже прихотям; он провел детство под любящим, но неосмысленным надзором совершенно неразвитых родителей, наслаждавшихся в продолжение нескольких десятков лет полною умственною дремотою, вроде той, которую охарактеризовал Гоголь в своих «Старосветских помещиках». Он изнежен и избалован, ослаблен физически и нравственно; в нем старались, для его же пользы, подавлять порывы резвости, свойственные детскому возрасту, и движения любознательности, просыпающиеся также в годы младенчества: первые, по мнению родителей, могли подвергнуть его ушибам и разного рода повреждениям; вторые могли расстроить здоровье и остановить развитие

физических сил. Кормление на убой, сон вволю, поблажка всем желаниям и прихотям ребенка, не грозившим ему каким-либо телесным повреждением, и тщательное удаление от всего, что может простудить, обжечь, ушибить или утомить его, — вот основные начала обломовского воспитания. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не успели сделать труды родителей и нянек. На тепличное растение, не ознакомившееся в детстве не только с волнениями действительной жизни, но даже с детскими огорчениями и радостями, пахнуло струей свежего, живого воздуха. Илья Ильич стал учиться и развился настолько, что понял, в чем состоит жизнь, в чем состоят обязанности человека. Он понял это умом, но не мог сочувствовать воспринятым идеям о долге, о труде и деятельности. Роковой вопрос: к чему жить и трудиться? — вопрос, возникающий обыкновенно после многочисленных разочарований и обманутых надежд, прямо, сам собою, без всякого приготовления, во всей своей ясности представился уму Ильи Ильича. Этим вопросом он стал оправдывать в себе отсутствие определенных наклонностей, нелюбовь к труду всякого рода, нежелание покупать этим трудом даже высокое наслаждение, бессилие, не позволявшее ему идти твердо к какой-нибудь цели и заставлявшее его останавливаться с любовью на каждом препятствии, на всем, что могло дать средство отдохнуть и остановиться. Образование научило его презирать праздность; но семена, брошенные в его душу природою и первоначальным воспитанием, принесли плоды. Нужно было согласить одно с другим, и Обломов стал объяснять себе свое апатическое равнодушие философским взглядом на людей и на жизнь. Он действительно успел уверить себя в том, что он — философ, потому что спокойно и бесстрастно смотрит на волнения и деятельность окружающих его людей; лень получила в его глазах силу закона; он отказался от всякой деятельности; обеспеченное состояние дало ему средства не трудиться, и он спокойно задремал с полным сознанием собственного достоинства. Между тем идут года, и с годами возникают сомнения. Обломов оборачивается назад и видит ряд бесполезно прожитых лет, смотрит внутрь себя и видит, что все пусто, оглядывается на товарищей — все за делом; настают порою страшные минуты ясного сознания; его щемит тоска, хочется двинуться с места, фантазия разыгрывается, начинаются планы, а между тем двинуться нет сил, он как будто прирос к земле, прикован к своему бездействию, к спокойному креслу и к халату; фантазия слабеет, лишь только приходит пора действовать; смелые планы разлетаются, лишь только надо сделать первый шаг для их осуществления. Апатия Обломова не похожа на тот тяжелый сон, в который были погружены умственные способности его родителей: эта апатия парализирует действия, но не деревянит его чувства, не отнимает у него способности думать и мечтать; высшие стремления его ума и сердца, пробужденные образованием, не замерли; человеческие

чувства, вложенные природою в его мягкую душу, не очерствели: они как будто заплыли жиром, но сохранились во всей своей первобытной чистоте. Обломов никогда не приводил этих чувств и стремлений в соприкосновение с практическою жизнью; он никогда не разочаровывался, потому что никогда не жил и не действовал. Оставшись до зрелого возраста с полною верою в совершенства людей, создав себе какой-то фантастический мир, Обломов сохранил чистоту и свежесть чувства, характеризующую ребенка; но эта свежесть чувства бесполезна и для него и для других. Он способен любить и чувствовать дружбу; но любовь не может возбудить в нем энергии; он устает любить, как устал двигаться, волноваться и жить. Вся личность его влечет к себе своею честностию, чистотою помыслов и «голубиною», по выражению самого автора, нежностию чувств; но в этой привлекательной личности нет мужественности и силы, нет самодеятельности. Этот недостаток губит все его хорошие свойства. Обломов робок, застенчив. Он стоит по своему уму и развитию выше массы, составляющей у нас общественное мнение, но ни в одном из своих действий не выражает своего превосходства; он не дорожит светом — и между тем боится его пересудов и беспрекословно подчиняется его приговорам; его пугает малейшее столкновение с жизнью, и ежели можно избежать такого столкновения, он готов жертвовать своим чувством, надеждами, материальными выгодами; словом, Обломов не умеет и не хочет бороться с чем бы то ни было и как бы то ни было. Между тем в нем совершается постоянная борьба между ленивою природою и сознанием человеческого долга, — борьба бесплодная, не вырывающаяся наружу и не приводящая ни к какому результату. Спрашивается, как должно смотреть на личность, подобную Обломову? Этот вопрос имеет важное значение, потому что Обломовых много и в русской литературе и в русской жизни. Сочувствовать таким личностям нельзя, потому что они тяготят и себя и общество; презирать их безусловно тоже нельзя: в них слишком много истинно-человеческого, и сами они слишком много страдают от несовершенств своей природы. На подобные личности должно, по нашему мнению, смотреть как на жалкие, но неизбежные явления переходной эпохи; они стоят на рубеже двух жизней: старорусской и европейской, и не могут шагнуть решительно из одной в другую. В этой нерешительности, в этой борьбе двух начал заключается драматичность их положения; здесь же заключаются и причины дисгармонии между смелостию их мысли и нерешительностию действий. Таких людей должно жалеть, во-первых, потому, что в них часто бывает много хорошего, во-вторых, потому, что они являются невинными жертвами исторической необходимости. Рядом с Обломовым выведен в романе г. Гончарова другой характер, соединяющий в себе те результаты, к которым должно вести гармоническое развитие. Андрей Иванович Штольц, друг Обломова, является вполне мужчиною, таким человеком, каких

еще очень мало в современном обществе. Он не избалован домашним воспитанием, он с молодых лет начал пользоваться разумною свободою, рано узнал жизнь и умел внести в практическую деятельность прочные теоретические знания. Выработанность убеждений, твердость воли, критический взгляд на людей и на жизнь и рядом с этим критическим взглядом вера в истину и в добро, уважение ко всему прекрасному и возвышенному — вот главные черты характера Штольца. Он не дает воли страстям, отличая их от чувства; он наблюдает за собою и сознает, что человек есть существо мыслящее и что рассудок должен управлять его действиями. Господство разума не исключает чувства, но осмысливает его и предохраняет от увлечений. Штольц не принадлежит к числу тех холодных, флегматических людей, которые подчиняют свои поступки расчету, потому что в них нет жизненной теплоты, потому что они не способны ни горячо любить, ни жертвовать собою во имя идеи. Штольц не мечтатель, потому что мечтательность составляет свойство людей, больных телом или душою, не умевших устроить себе жизнь по своему вкусу; у Штольца здоровая и крепкая природа; он сознает свои силы, не слабеет перед неблагоприятными обстоятельствами и, не напрашиваясь насильно на борьбу, никогда не отступает от нее, когда того требуют убеждения; жизненные силы бьют в нем живым ключом, и он употребляет их на полезную деятельность, живет умом, сдерживая порывы воображения, но воспитывая в себе правильное эстетическое чувство. Характер его может с первого взгляда показаться жестоким и холодным. Спокойный, часто шутливый тон, с которым он говорит и о своих и о чужих интересах, может быть принят за неспособность глубоко чувствовать, за нежелание вдуматься, вникнуть в дело; но это спокойствие происходит не от холодности: в нем должно видеть доказательство самостоятельности, привычки думать про себя и делиться с другими своими впечатлениями только тогда, когда это может доставить им пользу или удовольствие. В отношениях между Обломовым и Штольцем Обломов нежнее и сообщительнее своего друга. Это очень естественно: характеры слабые всегда нуждаются в нравственной поддержке и потому всегда готовы раскрыться, поделиться с другим горем или радостию. Люди с твердым, глубоким характером находят в голосе собственного рассудка лучшую опору и потому редко чувствуют потребность высказаться. В отношении к любимой женщине Штольц не способен быть страдательным существом, послушным исполнителем ее воли: сознание собственной личности не позволяет ему, для кого бы то ни было, отступать от убеждений или менять основные черты своего характера. Осмысливая все, он осмысливает и любовь и видит в ней не служение кумиру, а разумное чувство, долженствующее пополнить существование двух взаимно уважающих друг друга людей. Штольц — вполне европеец по развитию и по взгляду на жизнь; это — тип будущий, который теперь редок, но к которому ведет

современное движение идей, обнаружившееся с такою силою в нашем обществе. «Вот, — говорит г. Гончаров, — глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!»

Личности, подобные Штольцу, редки в наше время: условия нашей общественной и частной жизни не могут содействовать развитию таких характеров; в наше время еще трудно согласить личные интересы с чистотою убеждений, трудно не увлечься, с одной стороны, в сферу отвлеченной мысли, не имеющей связи с жизнию, с другой — в область копеечного, бездушного расчета. Г. Гончаров сознает исключительность характера Штольца и объясняет его происхождение теми особенными условиями, под влиянием которых он рос и развивался. Отец его, немец, приучил его к деятельности и с малых лет предоставил ему такую свободу, которая принудила его самого обсуживать поступки и заботиться об его детских интересах; мать его, русская дворянка, не сочувствовала реальному направлению, которое давал отец воспитанию Андрюши, и старалась развить в нем эстетическое чувство, заботилась даже о внешнем изяществе его манер и туалета. Отец старался сделать из Андрея немецкого бюргера, деятельного, расчетливого и расторопного; мать желала видеть в нем человека с нежною душою и русского барина, образованного, способного блистать в обществе и проживать честным образом деньги, зарабатываемые отцом. Отец воспитывал мальчика на римских классиках, водил его по фабрикам, давал ему разные коммерческие поручения и предоставлял его наклонностям возможно полную свободу; мать учила его прислушиваться к задумчивам звукам Герца, пела ему о цветах, о поэзии жизни и проч. Влияния обоих родителей были, таким образом, почти диаметрально противоположны; сверх того, на Андрея действовала окружавшая его обстановка русской жизни, широкая, беспечная, располагавшая к лени и покою, действовала, наконец, и школа труда, которую он принужден был пройти, чтобы составить себе карьеру и состояние. Все эти разнородные влияния, умеряя друг друга, формировали сильный, недюжинный характер. Отец дал Андрею практическую мудрость, любовь к труду и точность в занятиях; мать воспитала в нем чувство и внушила ему стремление к высшим духовным наслаждениям; русское деревенское общество положило на его личность печать добродушия и откровенности. Наконец, жизнь закалила этот характер и придала строгую определенность тем нравственным свойствам, которые не успели вполне выработаться в молодости, при воспитании. Характер Штольца вполне объяснен автором и, таким образом, несмотря на свою редкость, является характером понятным и законным.

Третья замечательная личность, выведенная в романе г. Гончарова, — Ольга Сергеевна Ильинская — представляет тип будущей женщины, как сформируют ее впоследствии те идеи, которые

в наше время стараются ввести в женское воспитание. В этой личности, привлекающей к себе невыразимою прелестию, но не поражающей никакими резко выдающимися достоинствами, особенно замечательны два свойства, бросающие оригинальный колорит на все ее действия, слова и движения. Эти два свойства редки в современных женщинах и потому особенно дороги в Ольге; они представлены в романе г. Гончарова с такою художественною верностию, что им трудно не верить, трудно принять Ольгу за невозможный идеал, созданный творческою фантазиею поэта. Естественность и присутствие сознания — вот что отличает Ольгу от обыкновенных женщин. Из этих двух качеств вытекают правдивость в словах и в поступках, отсутствие кокетства, стремление к развитию, уменье любить просто и серьезно, без хитростей и уловок, уменье жертвовать собою своему чувству настолько, насколько позволяют не законы этикета, а голос совести и рассудка. Первые два характера, оговоренные нами выше, представлены уже сложившимися, и г. Гончаров только объясняет их читателю, то есть показывает те условия, под влиянием которых они образовались; что же касается до характера Ольги, он формируется перед глазами читателя. Автор выводит ее сначала почти ребенком, девушкою, одаренною природным умом, пользовавшеюся при воспитании некоторою самостоятельностию, но не испытавшею никакого сильного чувства, никакого волнения, незнакомою с жизнию, не привыкшею наблюдать за собою, анализировать движения собственной души. В этот период жизни Ольги мы видим в ней богатую, но нетронутую природу; она не испорчена светом, не умеет притворяться, но не успела также развить в себе мыслительной силы, не успела выработать себе убеждения; она действует, повинуясь влечениям доброй души, но действует инстинктивно; она следует дружеским советам развитого человека, но не всегда подвергает эти советы критике, увлекается авторитетом и иногда мысленно ссылается на своих пансионских подруг, старается припомнить, что́ сделала бы в том или другом случае Сонечка. Она не поступает так, как поступили бы эти подруги, но мысленно упрекает себя в этом, не понимая, не сознавая еще ясно, что кокетство — ложь, что, следуя внушениям собственной души, она поступает честно и что инстинктивное отвращение ко всякому притворству есть проявление нравственного чувства, а не следствие неразвитости, или, как она говорит, глупости. Опыт и спокойное размышление могли постепенно вывести Ольгу из этого периода инстинктивных влечений и поступков, врожденная любознательность могла повести ее к дальнейшему развитию путем чтения и серьезных занятий; но автор выбрал для нее другой, ускоренный путь. Ольга полюбила, душа ее взволновалась, она узнала жизнь, следя за движениями собственного чувства; необходимость понять состояние собственной души заставила ее многое передумать, и из этого ряда размышлений и психологических наблюдений

она выработала самостоятельный взгляд на свою личность, на свои отношения к окружающим людям, на отношения между чувством и долгом, — словом, на жизнь в самом обширном смысле. Г. Гончаров изображением характера Ольги, анализом ее развития показал в полной силе образовательное влияние чувства. Он подмечает его возникновение, следит за его развитием и останавливается на каждом его видоизменении, чтобы изобразить то влияние, которое оказывает оно на весь образ мыслей обоих действующих лиц. Ольга полюбила нечаянно, без предварительного приготовления; она не создавала себе отвлеченного идеала, под который многие барышни стараются подводить знакомых мужчин, не мечтала о любви, хотя, конечно, знала о существовании этого чувства. Она жила спокойно, не стараясь искусственно возбудить в себе любовь, не стараясь видеть героя будущего своего романа в каждом новом лице. Любовь пришла к ней нежданно-негаданно, как приходит всякое истинное чувство; чувство это незаметно прокралось к ней в душу и обратило на себя ее собственное внимание тогда, когда получило уже некоторое развитие. Когда она заметила его, она стала вдумываться и соразмерять с своею внутреннею мыслию слова и поступки. Эта минута, когда она отдала себе отчет в движениях собственной души, начинает собою новый период в ее развитии. Эту минуту переживает каждая женщина, и переворот, который совершается тогда во всем ее существе и начинает обличать в ней присутствие сдержанного чувства и сосредоточенной мысли, этот переворот особенно полно и художественно изображен в романе г. Гончарова. Для такой женщины, как Ольга, чувство не могло долго оставаться на степени инстинктивного влечения; стремление осмысливать в собственных глазах, объяснять себе все, что встречалось с нею в жизни, пробудилось тут с особенною силою: явилась цель для чувства, явилось и обсуживание любимой личности; этим обсуживанием определилась самая цель. Ольга поняла, что она сильнее того человека, которого любит, и решилась возвысить его, вдохнуть ему энергию, дать ему силы для жизни. Осмысленное чувство сделалось в ее глазах долгом, и она с полным убеждением стала жертвовать этому долгу некоторыми внешними приличиями, за нарушение которых чистосердечно и несправедливо преследует подозрительный суд света. Ольга растет вместе с своим чувством; каждая сцена, происходящая между нею и любимым ею человеком, прибавляет новую черту к ее характеру, с каждою сценою грациозный образ девушки делается знакомее читателю, обрисовывается ярче и сильнее выступает из общего фона картины. Мы достаточно определили характер Ольги, чтобы знать, что в ее отношениях к любимому человеку не могло быть кокетства: желание завлечь мужчину, сделать его своим обожателем, не испытывая к нему никакого чувства, казалось ей непростительным, недостойным честной женщины. В ее обращении с человеком, которого она впоследствии полюбила, господствовала

сначала мягкая, естественная грация, никакое рассчитанное кокетство не могло подействовать сильнее этого неподдельного, безыскусственно простого обращения, но дело в том, что со стороны Ольги тут не было желания произвести то или другое впечатление. Женственность и грация, которые г. Гончаров умел вложить в ее слова и движения, составляют неотъемлемую принадлежность ее природы и потому особенно обаятельно действуют на читателя. Эта женственность, эта грация становится сильнее и обаятельнее по мере того, как чувство развивается в груди девушки; игривость, ребяческая беспечность сменяются в ее чертах выражением тихого, задумчивого, почти торжественного счастия. Перед Ольгою открывается жизнь, мир мыслей и чувств, о которых она не имела понятия, и она идет вперед, доверчиво глядя на своего спутника, но в то же время всматриваясь с робкою любознательностию в те ощущения, которые толпятся в ее взволнованной душе. Чувство растет; оно делается потребностию, необходимым условием жизни, и между тем и тут, когда чувство доходит до пафоса, до «лунатизма любви», по выражению г. Гончарова, и тут Ольга не теряет сознания нравственного долга и умеет сохранить спокойный, разумный, критический взгляд на свои обязанности, на личность любимого человека, на свое положение и на действия свои в будущем. Самая сила чувства дает ей ясный взгляд на вещи и поддерживает в ней твердость. Дело в том, что чувство в такой чистой и возвышенной природе не нисходит на степень страсти, не помрачает рассудка, не ведет к таким поступкам, от которых впоследствии пришлось бы краснеть; подобное чувство не перестает быть сознательным, хотя порою оно бывает так сильно, что давит и грозит разрушить собою организм. Оно вселяет в душу девушки энергию, заставляет ее нарушить тот или другой закон этикета; но это же чувство не позволяет ей забыть действительного долга, охраняет ее от увлечения, внушает ей сознательное уважение к чистоте собственной личности, в которой заключаются залоги счастия для двух людей. Ольга переживает между тем новую фазу развития: для нее наступает горестная минута разочарования, и испытываемые ею душевные страдания окончательно вырабатывают ее характер, придают ее мысли зрелость, сообщают ей жизненный опыт. В разочаровании часто бывает виноват сам разочаровывающийся. Человек, создающий себе фантастический мир, непременно, рано или поздно, столкнется с действительною жизнью и ушибется тем больнее, чем выше была та высота, на которую подняла его прихотливая мечта. Кто требует от жизни невозможного, тот должен обмануться в своих надеждах. Ольга не мечтала о невозможном счастии: ее надежды на будущее были просты, планы ее — осуществимы. Она полюбила человека честного, умного и развитого, но слабого, не привыкшего жить; она узнала его хорошие и дурные стороны и решилась употребить все усилия, чтобы согреть его тою энергиею, которую чувствовала в себе. Она

думала, что сила любви оживит его, вселит в него стремление к деятельности и даст ему возможность приложить к делу способности, задремавшие от долгого бездействия. Цель ее была высоконравственная; она была внушена ей истинным чувством. Она могла быть достигнута: не было никаких данных, чтобы сомневаться в успехе. Ольга приняла мгновенную вспышку чувства со стороны любимого ею человека за действительное пробуждение энергии; она увидела свою власть над ним и надеялась вести его вперед на пути самосовершенствования. Могла ли она не увлечься своею прекрасною целью, могла ли она не видеть впереди себя тихого разумного счастия? И вдруг она замечает, что возбужденная на миг энергия гаснет, что предпринятая ею борьба безнадежна, что обаятельная сила сонного спокойствия сильнее ее живительного влияния. Что было делать ей в подобном случае? Мнения, вероятно, разделятся. Кто любуется порывистою красотою бессознательного чувства, не думая о его последствиях, тот скажет: она должна была остаться верною первому движению сердца и отдать свою жизнь тому, кого однажды полюбила. Но кто видит в чувстве ручательство будущего счастия, тот взглянет на дело иначе: безнадежная любовь, бесполезная для себя и для любимого предмета, не имеет смысла в глазах такого человека; красота такого чувства не может извинить его неосмысленности. Ольга должна была победить себя, разорвать это чувство, пока было еще время: она не имела права губить свою жизнь, приносить собою бесполезную жертву. Любовь становится незаконною тогда, когда ее не одобряет рассудок; заглушать голос рассудка значит давать волю страсти, животному инстинкту. Ольга не могла так поступить, и ей пришлось страдать, пока не выболело в ее душе обманутое чувство. Ее спасло в этом случае присутствие сознания, на которое мы уже указали выше. Борьба мысли с остатками чувства, подкрепляемого свежими воспоминаниями минувшего счастия, закалила душевные силы Ольги. В короткое время она перечувствовала и передумала столько, сколько не случается передумать и перечувствовать в течение многих лет спокойного существования. Она была окончательно приготовлена для жизни, и прошедшее, испытанное ею чувство и пережитые страдания дали ей способность понимать и ценить истинные достоинства человека; они дали ей силы любить так, как не могла она любить прежде. Внушить ей чувство могла только замечательная личность, и в этом чувстве уже для разочарования не было места; пора увлечения, пора лунатизма прошла невозвратно. Любовь не могла более незаметно прокрасться в душу, ускользая до времени от анализа ума. В новом чувстве Ольги все было определенно, ясно и твердо. Ольга жила прежде умом, и ум подвергал все своему анализу, предъявлял с каждым днем новые потребности, искал себе удовлетворения, пищи во всем, что ее окружало. Затем развитие Ольги сделало еще только один шаг вперед. На этот шаг есть только беглое указание в романе

г. Гончарова. То положение, к которому повел этот новый шаг, не очерчено. Дело в том, что Ольгу не могли удовлетворить вполне ни тихое семейное счастие, ни умственные и эстетические наслаждения. Наслаждения никогда не удовлетворяют сильной, богатой природы, неспособной заснуть и лишиться энергии: такая природа требует деятельности, труда с разумною целью, и только творчество способно до некоторой степени утишить это тоскливое стремление к чему-то высшему, незнакомому, — стремление, которого не удовлетворяет счастливая обстановка вседневной жизни. До этого состояния высшего развития достигла Ольга. Как удовлетворила она пробудившимся в ней потребностям, — этого не говорит нам автор. Но, признавая в женщине возможность и законность этих высших стремлений, он, очевидно, высказывает свой взгляд на ее назначение и на то, что называется в общежитии эмансипацией женщины. Вся жизнь и личность Ольги составляют живой протест против зависимости женщины. Протест этот, конечно, не составлял главной цели автора, потому что истинное творчество не навязывает себе практических целей; но чем естественнее возник этот протест, чем менее он был приготовлен, тем более в нем художественной истины, тем сильнее подействует он на общественное сознание.

Вот три главные характера «Обломова». Остальные группы личностей, составляющие фон картины и стоящие на втором плане, очерчены с изумительною отчетливостию. Видно, что автор для главного сюжета не пренебрегал мелочами и, рисуя картину русской жизни, с добросовестною любовью останавливался на каждой подробности. Вдова Пшеницына, Захар, Тарантьев, Мухояров, Анисья — все это живые люди, все это типы, которые встречал на своем веку каждый из нас. Мы не будем говорить подробно об этих второстепенных личностях. Из них особенно замечательна вдова Пшеницына, в лице которой г. Гончаров воплотил чистое чувство, не возвышенное образованием и не основанное на сознании. Захар, лакей Обломова, является такою типическою, обработанною личностию, какой давно не представляла наша литература. Эта личность не выдается резко вперед в романе г. Гончарова только потому, что все характеры обработаны одинаково полно, общий план строго обдуман, и все действующие лица обращают на себя внимание читателя настолько, насколько это нужно для интереса и гармонической стройности целого.

Теперь нам остается еще объяснить, почему мы считаем необходимым, чтобы девицы прочли роман г. Гончарова: из первых слов нашей статьи видно, как высоко ставим мы это произведение; не прочтя его, трудно познакомиться вполне с современным положением русской литературы, трудно представить себе полное ее развитие, трудно составить себе понятие о глубине мысли и законченности формы, которыми отличаются некоторые самые зрелые ее произведения. «Обломов», по всей вероятности, составит эпоху в исто-

рии русской литературы, он отражает в себе жизнь русского общества в известный период его развития. Имена Обломова, Штольца, Ольги сделаются нарицательными. Словом, как ни рассматривать «Обломова», в целом ли или в отдельных частях, по отношению ли его к современной жизни или по его абсолютному значению в области искусства, так или иначе, всегда должно будет сказать, что это вполне изящное, строго обдуманное и поэтически-прекрасное произведение. Вот почему мы так долго останавливались на его рассмотрении, вот почему мы еще раз настойчиво рекомендуем его для чтения девицам. Ежели даже смотреть на воспитание девиц так, как смотрит на него наше модное общество, заботящееся так много о внешней невинности и полагающее эту невинность в незнании жизни и природы, даже и тогда самая строгая цензура не найдет в «Обломове» ничего предосудительного. Изображение чистого, сознательного чувства, определение его влияния на личность и поступки человека, воспроизведение господствующей болезни нашего времени, обломовщины, — вот главные мотивы романа. Ежели вспомнить притом, что всякое изящное произведение имеет образовательное влияние, ежели вспомнить, что истинно изящное произведение всегда нравственно, потому что верно и просто рисует действительную жизнь, тогда должно сознаться, что чтение книг, подобных «Обломову», должно составлять необходимое условие всякого рационального образования. Сверх того, для девиц может быть особенно полезно чтение этого романа. Это чтение несравненно лучше отвлеченного трактата о женской добродетели уяснит им жизнь и обязанности женщины. Стоит только вдуматься в личность Ольги, проследить ее поступки, и, наверное, в голове прибавится не одна плодотворная мысль, в сердце заронится не одно теплое чувство. Итак, мы думаем, что «Обломова» должна прочесть каждая образованная русская женщина или девушка, как должна она прочесть все капитальные произведения нашей словесности.

ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

Роман И. С. Тургенева

Вопрос о том, что должны и что могут читать девицы, до сих пор не вполне решен, несмотря на его важность в деле женского воспитания. Есть много замечательных художественных произведений, которые, представляя жизнь как она есть, рассматривая и обсуживая явления современности, отыскивая в них общечеловеческую сторону, объясняя их историческим развитием народности, заслуживают полного внимания всякого просвещенного человека и удовлетворяют всем требованиям самой тонкой эстетической критики. Чтение таких произведений необходимо для всестороннего образования как мужчины, так и женщины; а между тем часто случается, что в подобных произведениях есть две-три сцены, слишком откровенно разоблачающие несовершенства жизни и слабости человеческой природы. Тут потребности умственной жизни сталкиваются и приходят в борьбу с понятиями, принятыми в обществе и освященными временем, — рождается вопрос: читать или не читать девушке такое произведение? и вопрос этот решается различно, смотря по взгляду на вещи родителей и воспитателей. Иногда пуризм доходит до таких размеров, что из рук девушки вырывают всякий роман, всякую книгу, в которой встречается слово «любовь»; при этом обыкновенно обращают преимущественное внимание не на мысль, не на направление книги, а на внешнюю форму, на слова и выражения. Согласить подобные мнения, еще живущие в нашем обществе, с сколько-нибудь жизненным взглядом на образование и на ту роль, которую должно играть в образовании чтение, невозможно; идти прямо наперекор принятым понятиям общества, не обращать на них никакого внимания также нельзя. Этим можно только возбудить недоверие и озлобление в приверженцах прежнего порядка вещей; их нужно убеждать разумными доводами, а не раздражать смелыми, но бесполезными выходками. Что же остается делать, встречаясь с такими произведе-

ниями, каково, например, «Дворянское гнездо», последний роман И. С. Тургенева?* Пройти его молчанием нельзя, во имя любви к нашей словесности, во имя того, что «Дворянское гнездо» вместе с «Рудиным» представляет собою полный результат художественной деятельности одного из наших первоклассных писателей. Рекомендовать его для чтения девицам трудно: в положении главных действующих лиц, в самой завязке романа много горькой жизненной истины. А что слишком истинно, то, как известно, принято до времени скрывать. Находясь в подобном затруднительном положении, мы решились выбрать среднюю дорогу. Мы указали родителям и воспитателям на те препятствия, которые могут встретиться при чтении «Дворянского гнезда»; теперь мы постараемся в нашем отчете, минуя частности и подробности, показать, почему необходимо познакомить девиц с этим во всех отношениях замечательным произведением. И. С. Тургенев, как известно, вероятно, всем нашим читательницам, знакомым с «Записками охотника», с «Рудиным», с «Затишьем», с «Муму», с «Асею», — истинный художник, и художник преимущественно русский. Русская национальность выражается как в создавании русских типов, так и в отношении самого художника к создаваемым им типам. Действующие лица повестей и рассказов Тургенева живут одною жизнью с своим автором. Выразимся точнее: у каждого из выведенных лиц есть что-то общее с автором, какая-нибудь точка соприкосновения: в понимании вещей, в складе ума представляемых личностей есть такие оригинальные черты, такие неуловимые, но характеристичные частности, которые вырабатывает только русская жизнь, которые может оценить и подметить только человек, сжившийся с этою жизнью, одаренный тем же национальным складом ума, перечувствовавший на себе интересы и стремления, волновавшие русское общество, и притом перечувствовавший их так, как чувствует и воспринимает их русский человек. Знание русской жизни, и притом знание не книжное, а опытное, вынесенное из действительности, очищенное и осмысленное силою таланта и размышления, оказывается во всех произведениях Тургенева и особенно ярко выразилось в «Дворянском гнезде», самом стройном и законченном из его созданий. Все действующие лица его романа, начиная от русской девушки Лизы и кончая русским лакеем старых времен Антоном, в высшей степени оригинальны и жизненны; все они созданы из тех элементов, которые все мы знаем и из которых, со времени реформы Петра, мало-помалу слагается наша общественная и частная жизнь. Все они — представители настоящего или непосредственного прошедшего. Есть между ними и лучшие люди, есть и дюжинные; но ни один из них не обогнал своего века, ни один, подобно Штольцу, не является предвестником будущего, и, сле-

* Помещено в январской книжке «Современника» нынешнего года, а теперь вышло особою книгой.

довательно, ни одного из них нельзя, подобно Штольцу, упрекнуть в том, что он лицо, произвольно созданное автором из таких элементов, которые еще не сделались достоянием нашей жизни. Тургенев в своем романе не говорит нам о том, чтó должно быть; он представляет нам то, что есть. Дидактизма нет и тени; а между тем «Дворянское гнездо» — вполне поучительный роман: он рисует современную жизнь, оттеняет ее хорошие и дурные стороны, объясняет происхождение выведенных явлений и вызывает читателя на серьезные и плодотворные размышления. Когда мы изучаем историю, нам редко удается заглянуть в душу людей известной эпохи, не всегда удается перенестись в круг их понятий, объяснить себе, как смотрят они на себя, на мир, на свои отношения к обществу, к семейству и к человечеству. Такие черты не заносятся в летописи, где говорится только о войнах, мирных договорах и действиях государей. Внутренняя, духовная жизнь эпохи может отразиться только в художественном произведении. На этом основании некоторые подобные произведения стоят наряду с драгоценнейшими историческими памятниками. К числу таких произведений можно отнести «Евгения Онегина», «Героя нашего времени», «Мертвые души», «Обломова» и «Дворянское гнездо». Онегин, Печорин и Обломов воплотили в себе различные фазы болезни века, поражавшей лучших представителей прошлого поколения; «Мертвые души» и «Дворянское гнездо» представили в ряде свежих, жизненных картин быт и понятия среднего класса нашего общества. «Мертвые души» обнимают собою преимущественно отрицательные явления этой жизни, ее «бедность, да бедность, да несовершенства»; «Дворянское гнездо» берет ее лучших представителей и показывает нам, что в них есть хорошего и чего недостает, что следовало бы добавить и исправить. В названных нами произведениях высказалась вторая четверть XIX столетия; в них прослежен весь процесс внутренней жизни и развития нашего общества в этот период времени.

Приступим теперь к изложению мысли автора, выраженной им в выборе и группировке главных действующих лиц романа. Не имея возможности касаться всех личностей и положений, мы ограничимся анализом трех характеров, в которых, по нашему мнению, довольно полно и ясно выразилась основная мысль. Мы будем говорить только о Паншине, о Лаврецком и о Лизе, упоминая об остальных личностях настолько, насколько они оттеняют или объясняют собою черты их характера или процесс их развития.

Владимир Николаевич Паншин — чиновник, артист, светский человек, очень неглупый и довольно образованный, схвативший на лету карьеру, положение в обществе и даже довольно современный, но очень поверхностный взгляд на вещи; он прекрасно характеризуется одним словом угрюмого, ученого, но забитого жизнью музыканта Лемма. «Он — дилетант», — говорит старый

немец о молодом и блестящем светском человеке, умеющем соединять с своими успехами в обществе практический взгляд на административную деятельность и внешнюю, очень приличную, но вовсе не искреннюю восприимчивость к разнообразным проявлениям изящного. За Паншина заступается в разговоре с Леммом Лизавета Михайловна Калитина. «Вы к нему несправедливы,—говорит она:— он все понимает и сам почти все может сделать». — «Да, — продолжает музыкант: — все — второй нумер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен: ну, и браво». В этих правдивых словах добросовестного труженика обрисован весь Паншин: он — дилетант и во вседневной жизни, и в служебной своей деятельности, и особенно в искусстве, которое под его руками превращается вполне в изящную игрушку, в talent de société или d'agrément.* Паншин не служит никакому делу, не предан никакой идее, не выработал себе никакого твердого, дорогого убеждения; прожить весело и спокойно, нравиться окружающим людям, рисоваться перед ними разнообразными дарованиями и чистотою нравственных правил, возбуждать их изумление и благоговение вычитанною и кстати приведенною мыслию и, наконец, путями всех этих разнородных, пустых, но в сущности безгрешных успехов достигнуть под старость высокого чина и обеспеченного состояния — вот цель Паншина в жизни, и этой цели он наверное достигнет, потому что он человек умный, не настолько безнравственный или смелый, чтобы оскорбить какою-нибудь проделкою даже самое чуткое общественное мнение, и не настолько благородный и пылкий, чтобы всею душою принять какое-нибудь убеждение и во имя этого убеждения пожертвовать карьерою и временными выгодами. Паншин — сухой человек, применяющий и общие идеи и высшие стремления к мелким выгодам своего *я*, но в то же время тщательно скрывающий от всех других свой узкий эгоизм. Он драпируется и постоянно играет роль. То он является государственным человеком, заботящимся о трудах народа и горячо принимающим к сердцу все, что может упрочить его благосостояние и содействовать его развитию. В этом случае его пылкие и, повидимому, вдохновенные речи отличаются преобладанием общих мест и незнанием истинного дела, незнанием народного характера и народной жизни. То он прикидывается художником, умно говорит о Шекспире и Бетховене, с чувством поет, с видом знатока кладет широкие штрихи на единственный ландшафт, который рисует во всех альбомах знакомых дам и девиц. Здесь Лемм, истинный художник по чувству и специалист своего дела по знаниям, прямо угадывает его неискренность и смело говорит, что он неспособен верно понимать и глубоко чувствовать. То Паншин просто является добрым, откровенным малым, у которого нет ни затаенной мысли, ни расчета, — человеком, увлекающимся

* Талант светского общества или приятного обхождения (*франц.*). — *Ред.*

минутными порывами, поддающимся мимолетным впечатлениям и способным, по живости и беспечности характера, наделать глупостей и поставить себя в затруднительное и неловкое положение. Тут притворство его обнаруживается тем, что он, являясь на словах добрым и простым малым, на деле держит себя самым политическим образом. Он шутит, фамильярничает, позволяет себе вольности, но настолько, насколько можно; он никогда не забывается. Шутки его иногда оскорбляют личности; но он шутит только с беззащитными людьми, с теми, кто стоит ниже его, или с теми, кто не поймет иронии и примет ее за чистую монету. Нельзя сказать, чтобы Паншин постоянно сознательно лгал, играя свои роли: он сам уверен, что он и артист, и администратор, и славный малый. Потому он чрезвычайно доволен всею своею особою вообще и каждым из своих прекрасных качеств в особенности; он — актер, увлекающийся своею ролью и забывающий действительность. Действительности своей он собственно и не знает: вечно рисуясь и перед другими и перед собою, он не успел возвыситься до беспристрастного размышления над самим собою и никогда не задавал себе существенного вопроса: чем он должен быть и что он на самом деле? На самом деле Паншин — человек одного разбора с Молчалиным («Горе от ума») и Чичиковым («Мертвые души»); он приличнее их обоих и несравненно умнее первого. Поэтому, чтобы достигнуть тех же целей, к которым идут и Молчалин и Чичиков, чтобы далеко обогнать того и другого, Паншину не нужно будет ни ползать, ни мошенничать: достаточно будет улыбнуться в одном месте, сказать ловкую фразу в другом, почтительно выслушать нелепое рассуждение в третьем, прикинуться рыцарем чести в четвертом — и на избранника судьбы широкою рекою польются земные блага. Чичиков и Молчалин — мелкие торгаши, оттого к ним и прилипает грязь их ремесла; Паншин — промышленник большой руки, и потому он останется барином и честным человеком, не по убеждению, а потому, что оно и выгодно и спокойно. По внутренним свойствам души он ничем не лучше обоих своих предшественников, цель в жизни у них одна; все различие заключается только во внешнем образовании да во внешней обстановке. Таких людей формирует наше общество, оно воспитывает их с малых лет в своих салонах или канцеляриях; оно потворствует им своим благоволением и позволяет им достигнуть желанной цели, ежели они идут к ней осторожно и прилично, не производя скандала и не марая себя вопиющею безнравственностию. В романе Тургенева Паншин представлен в одну из самых светлых минут своей жизни: он любит достойную девушку. Чувство, повидимому, очень благородное, но тут надо принять в соображение три обстоятельства:

1) Он любит девушку очень богатую, девушку, которая во всех отношениях представляется ему приличною, почти блестящею партией.

2) Он продолжает рисоваться перед любимою девушкою во все продолжение романа; он рисуется торжественною важностию, когда делает предложение, рисуется мрачным спокойствием, когда впоследствии получает отказ. Чувство во все продолжение действия не вызвало у него ни одного живого, задушевного, нерассчитанного слова.

3) Он не понимал и не знал любимой девушки; разговор их вертелся в общих сферах музыки, живописи, поэзии. Он говорил о них как дилетант и светский человек. Она слушала его равнодушно и отвечала прилично, потому что в разговоре не было одушевления, не было и откровенности. Зная одну наружность девушки и довольствуясь этим знанием, он не мог любить сильно; в тот самый день, когда неблагоприятно решилась его судьба, он с живейшим удовольствием пел, играл в карты и вел пустой разговор с женщиною, не заслуживавшею ни уважения, ни сочувствия развитого человека. Вот каков Паншин!

Лаврецкий — человек много переживший, испытавший и радость и горе, вдумывавшийся в себя и в свои отношения к людям и выработавший себе наконец, путем серьезных занятий, путем размышлений и опыта, уменье владеть своим внутренним миром, сдерживать порывы чувства и мириться с жизнию, несмотря на ее мрачные стороны, несмотря на те страдания, которые выпадают в ней на долю людей с развитым умом и нежным чувством. Все участие Лаврецкого в действии романа представляется рядом незаслуженных страданий, среди которых крепнет и формируется его мужественная личность, крепнет, не черствея, не теряя живой восприимчивости ко всему изящному в природе и в человеке. Его, как он сам выражается, с детства вывихнули уродливым воспитанием, от последствий которого ему трудно оправиться до зрелого возраста; в нем пробудили любознательность и не направили ее, ему не дали даже элементарных сведений, а между тем бросили в его свежую и здоровую голову несколько идей, взятых из философии XVIII века, пересаженных на русскую почву и понятых особенным, оригинальным образом; суровым, почти спартанским воспитанием ему придали полноту и крепость физических сил — и не указали исхода этим силам. До двадцатитрехлетнего возраста его не познакомили ни с жизнию, ни с наукою, в нем развили только твердость воли, и эта твердость пригодилась ему на то, чтобы, не пугаясь упущенного времени, приняться за перевоспитание самого себя. Но между тем жизнь не ждет и предъявляет свои права, заставляет его идти вперед тогда, когда нет еще ни опытности, ни уменья осмысливать свои поступки, когда дело перевоспитания только что началось. Лаврецкий делает промах в жизни, — промах, не легший пятном на его совесть, но окончательно испортивший его будущую участь. Последствия этого промаха — неудачного и неосторожного выбора жены по первому впечатлению — развиваются в романе и составляют его главную завязку. Лаврец-

кий является на сцену уже человеком 35 лет, уже знакомый с тяжелым страданием. Первое впечатление горести уже пережито им; но в душе остались неизгладимые следы. Он не дал горю опутать и обессилить себя, не стал им рисоваться перед самим собою, но, вглядевшись в свое положение, сказал себе просто, что не видит впереди возможности счастия и наслаждения; он мирится с этою безнадежностию и при этом примирении умеет уберечься от той апатии, в которую часто впадают люди, обманутые жизнию. Наслаждения жизни кончились, говорит он себе, но остались обязанности, и это сознание неисполненного долга, — сознание, что он может и должен быть полезен окружающим и зависящим от него людям, дает ему силы жить, не ожидая и не требуя ничего от жизни. Лаврецкий не признает себя разочарованным, и он действительно не разочарованный: он не возводит собственного, случайного несчастия в общее правило, не смотрит с недоверием и насмешкою на чужие радости, не чувствует к людям отвращения, не отвергает в них существования добра, хотя, конечно, не верит ему с прежним, юношеским увлечением. Он не может себе представить, чтобы сам он мог еще раз помолодеть душою и испытать счастие взаимной любви; но, когда это счастие встречается с ним, он не отталкивает его, начинает ему верить и предается своему новому чувству без боязни, без мрачных предчувствий, с полным, святым наслаждением, которым он дорожит тем более, что уже знает ему цену и что не смел более надеяться на него. Несчастие действует на людей различно, смотря по степени их ума и нравственных сил: одних оно убивает, повергает в апатию или ожесточает; это люди с слабою волею, тратящеюся на исполнение мелких прихотей и изменяющею им тогда, когда нужно бороться и терпеть, или это люди с узким и не вполне развитым умом, — люди, неспособные обсуживать своего положения, — люди, выводящие общие правила из мелких случайностей, становящиеся на ходули и считающие себя какими-то несчастными избранниками, жертвами, гонимыми роком. Их бессильная злоба на то, что́ они называют своею судьбою, кажется им законным и великим чувством; а ежели посмотреть на дело со стороны, то увидишь, что эта злоба так же беспредметна, как смешон гнев ребенка, ударившегося об стол и старающегося выместить на нем свою боль. К числу таких жалких, больных людей, окисляющихся под влиянием несчастия, принадлежат все герои Байрона и его последователей, — герои, возбуждавшие такое благоговение и сочувствие в начале нынешнего столетия. Других людей несчастие возвышает и очищает. В них спят не сознанные ими самими душевные силы; чтобы пробудить эти силы, нужен иногда сильный толчок, который, разрывая связь человека с окружающими его внешними предметами, принудил бы его оглянуться на себя и привести в известность свое внутреннее достояние. Таким толчком бывает несчастие. После такого толчка эти люди становятся терпимее к другим; они полнее понимают чужие страдания

и живее сочувствуют чужим радостям, хотя подчас и грустно становится у них на душе; несчастие делается для них школою; из тяжелого опыта они выносят уменье сдерживать и осмысливать свои порывы, уменье различать людей, уменье выбирать наслаждения и довольствоваться тем, что есть, не требуя невозможного и не мучаясь произвольно создаваемыми фантазиями и сомнениями. Только таких людей можно назвать людьми крепкими и нравственно здоровыми. К числу таких людей принадлежит Лаврецкий. Он не отступает от борьбы, пока можно бороться, и умеет покоряться молча, с мужественным достоинством, там, где нет другого исхода. Последнею способностью обладают немногие. На личности Лаврецкого лежит явственно обозначенная печать народности. Ему никогда не изменяют русский, незатейливый, но прочный и здравый практический смысл и русское добродушие, иногда угловатое и неловкое, но всегда искреннее и неприготовленное. Лаврецкий прост в выражении радости и горя; у него нет возгласов и пластических жестов, не потому, чтобы он подавлял их, а потому, что это не в его природе; он, как русский человек, страдает про себя и способен скорее к тихому чувству, к заунывности, к продолжительной тоске, о которой поют наши народные песни, нежели к бурным взрывам отчаяния и к стремительным движениям страсти. В драматические минуты его жизни в нем иногда шевелятся грубые, дикие чувства; но они не омрачают рассудка и, тотчас подавленные размышлением, замирают в груди, не найдя себе выхода. У Лаврецкого есть еще одно чисто русское свойство: легкий, безобидный, полузадумчивый, полуигривый юмор проникает собою почти каждое его слово; он добродушно шутит с другими и часто, смотря со стороны на свое положение, находит в нем комическую сторону и с тою же добродушною шутливостью относится к собственной личности и затрогивает такие предметы, которых воспоминание заставляет сердце обливаться кровью. Когда случается ему укорять себя в чем-нибудь, он редко укоряет серьезно, с желчью или с негодованием. Он никогда не впадает в трагизм; напротив, отношение его к собственной личности тут остается юмористическим. Он добродушно, с оттенком тихой грусти, смеется и над собою и над своими увлечениями и надеждами. Личность Лаврецкого рельефно выдвигается в романе Тургенева, тем более что она оттенена с двух сторон: с одной стороны ее оттеняет космополит и мелкий эгоист Паншин, с другой — энтузиаст, мечтатель, претендующий на титул фанатика, Михалевич. В первом господствует копеечный расчет; во втором непомерно развито чувство, не допускающее никакого рассуждения и не обращающее внимания на опыт; в первом все искусственно и размеренно, во втором все широко и размашисто — и стремления, и надежды, и внешнее обращение; первый смотрит на жизнь как на спекуляцию, в которой можно выиграть столько-то выгод, столько-то почестей, столько-то наслаждений; второй видит в ней фанатическое самоотвер-

женное служение какому-то долгу, обширному, великому, о котором он, впрочем, сам не составил себе ясного понятия. Лаврецкий держит средину между тем и другим; его рассудок сдерживает чувство, а чувство охраняет его от сухости и черствости; он не выходит из границ здравого смысла, но и не останавливается на чисто положительной, сухо практической стороне жизни; он живет всеми сторонами своего существа и стремится к полной, примиряющей гармонии. Столкновение Лаврецкого с Паншиным показывает различие между заносчивым дилетантом-космополитом, судящим о народности, которой он не знает, и человеком жизни, патриотом без претензий, основательно знающим нужды своих соотечественников и действительно сочувствующим интересам их развития. Столкновение Лаврецкого с Михалевичем обнаруживает слабые стороны их обоих. Бесцельный энтузиазм Михалевича составляет резкую противоположность с медленностию и нерешительностию Лаврецкого. Первый кричит о долге и деятельности, но не выходит из общих мест и сам не может определить, чего он требует; второй знает свои обязанности, но, по свойственной русским людям обломовщине, долго собирается взяться за дело, мешкает и бесполезно тратит время. Лаврецкий — не энергический человек, хотя в нем много жизненных сил и здорового ума; недостаток энергии, которым вообще страдает русская народность, происходит в нем, быть может, просто от физиологических или климатических условий. Оттеняя собою его хорошие качества, эта черта придает его личности последнюю определенность и сообщает его образу печать поэтической жизненной правды. Личность Лаврецкого во все продолжение романа совершенствуется и очищается путем тяжелых испытаний; она достигает полного своего развития уже в эпилоге. Лаврецкий является там человеком пожилым; он кончил навсегда личные расчеты с жизнию, взялся за серьезное и полезное дело и в этом деле нашел себе ежели не счастие, то по крайней мере разумное, достойное мыслящего человека успокоение. Г. Тургенев показывает нам Лаврецкого в такую минуту, при такой обстановке, которая может служить пробным камнем его нравственных сил; он приводит его после восьмилетнего отсутствия в те места, в которых он думал во второй раз найти счастие, в которых быстро промелькнул его роман, получивший такую печальную развязку. На знакомых местах уже нет знакомых людей; их место заменило новое поколение, которое резвится и смеется, перед которым широко и безоблачно открывается жизнь. Лаврецкий погружается в свои воспоминания и в то же время прислушивается к шумным восклицаниям свежих, молодых голосов. Он задумывается, ему становится грустно, в его душу напрашиваются образы и звуки былого, а между тем вокруг него роскошная, расцветающая жизнь громко и смело предъявляет свои права на настоящее, и Лаврецкий от чистого сердца, без желчи и без зависти, признает эти права и желает счастия молодому поколению.

Ему грустно от воспоминаний, а не от чужого веселья. Эта черта, превосходно выраженная в конце эпилога, доказывает, что Лаврецкий достиг полной гармонии, полной победы над мелким и завистливым эгоизмом, растравляющим душевные раны и служащим основою той мизантропии, которою отличаются другие, менее благородные страдальцы.

Говоря о личности Лаврецкого, мы не можем не обратить внимания наших читательниц на те замечательные главы, в которых автор представляет генеалогию своего героя и рисует ряд фамильных портретов, начиная от прадеда Лаврецкого, русского барина старого покроя, мрачного, жестокого и своенравного, жившего, вероятно, еще тогда, когда реформа Петра едва коснулась верхних слоев нашего общества. В этих главах очерчено широкими штрихами несколько чрезвычайно характерных личностей, не похожих друг на друга и между тем носящих на себе один общий отпечаток русской народности. Значение духа нашей старины, значение тех идей и влияний, которые выносило в себе наше общество с половины XVIII века, и, наконец, то удивительное пониманье русского человека разных времен и слоев общества, которое отличает собою произведения Тургенева, выразились в этих главах как в группировке личностей, так и в выборе немногих, но чрезвычайно характерных подробностей.

В начале нашей статьи мы заметили, что все действующие лица «Дворянского гнезда» целиком взяты из современности, что ни одно из них ни в каком отношении не обогнало своего века, хотя многие относятся к его лучшим представителям. Это замечание оказалось применимым к личностям Паншина и Лаврецкого. Один из них — чистое порождение испорченного общества; другой, успевший выработать себе более самостоятельную нравственную физиономию, также является нам сыном своего народа, русским человеком, выносившим в себе все влияния, или, по выражению одного современного критика, все веяния эпохи.[2] Эти веяния выразились и в его воспитании и в событиях его жизни. Но самым ярким подтверждением нашего замечания мы считаем характер Лизаветы Михайловны Калитиной, одной из самых грациозных женских личностей, когда-либо созданных Тургеневым. Лиза — девушка, богато одаренная природою; в ней много свежей, неиспорченной жизни; в ней все искренне и неподдельно. У нее есть и природный ум и много чистого чувства. По всем этим свойствам она отделяется от массы и примыкает к лучшим людям нашего времени. Но богато одаренные природы родятся во всякое время; умные, искренне и глубоко чувствующие девушки, не способные на мелкий расчет, бывают во всяком обществе. Не в природных качествах души и ума, а во взгляде на вещи, в развитии этих качеств и в их практическом применении должно искать влияния эпохи на отдельную личность. В этом отношении Лиза не обогнала своего века; личность ее сформировалась под влиянием

тех элементов, которых различные видоизменения мы ежедневно встречаем в нашей современной жизни. Чтобы яснее высказать нашу мысль, мы позволим себе провести параллель между Ольгою Сергеевною Ильинскою, стоящею на несколько десятилетий впереди нашего времени, и Лизою, современною русскою девушкою. У той и другой природные качества почти те же: та же искренность и естественность, тот же природный здравый смысл, та же женственная мягкость и грация поступков и душевных движений. Обе они резко отделяются от массы светских барышень, обе они стоят неизмеримо выше их; но на этом и останавливается сходство. В Ольге есть живая любознательность, в Лизе ее не заметно; в Ольге женственность совмещается с ее смелостию мысли, со способностию оценивать и критиковать личности, со стремлением к умственной самостоятельности; в Лизе женственность выражается в робости, в стремлении подчинить чужому авторитету свою мысль и волю, в нежелании и неумении пользоваться врожденною проницательностию и критическою способностию. Ольга, любя Обломова, разгадывает его личность и честно, открыто говорит ему, что он ей не по плечу, что они вместе не могут быть счастливы; Лиза, не любя Паншина, отказывается обсуживать его личность и, по воле матери, готова сделаться его женою. От этого ложного шага в жизни ее спасает не собственное размышление, выручившее Ольгу, а постороннее влияние. Ежели при этом взять во внимание, насколько личность Обломова чище и возвышеннее личности Паншина, ежели сообразить, какое влияние должно было иметь на суждение девушки чувство, то нетрудно будет убедиться в том, что между Ольгою и Лизою существует значительное различие. Ольга сознает свое личное достоинство; на нее уже пахнуло воздухом свободы, до нее коснулось веяние новых идей о самостоятельности женщины как человеческой личности, имеющей полное право на всестороннее развитие и на участие в умственной жизни человечества. Эти идеи пустили в ней такие глубокие корни и принесли такие прекрасные плоды, каких еще в наше время нельзя и ожидать. Лиза стоит вне действия этих идей; она попрежнему считает покорность высшею добродетелью женщины; она молча покоряется, насильно закрывает себе глаза, чтобы не видать несовершенств окружающей ее сферы. Помириться с этою сферою она не может: в ней слишком много неиспорченного чувства истины; обсуживать или даже замечать ее недостатки она не смеет, потому что считает это предосудительною или безнравственною дерзостию. Потому, стоя неизмеримо выше окружающих ее людей, она старается себя уверить, что она такая же, как и они, даже, пожалуй, хуже, что отвращение, которое возбуждает в ней зло или неправда, есть тяжкий грех, нетерпимость, недостаток смирения. При случае, где только есть какая-нибудь возможность, она даже готова уверить себя, что чужой проступок или чужое горе произошли по ее вине, что она слезами и молитвою должна загла-

дить свое невольное, никогда даже не совершённое, но тем не менее тяготеющее над нею преступление; ее чуткая совесть находится в постоянной тревоге; не выработав в себе критической способности, боясь предоставить себя своему природному здравому смыслу, избегая обсуживания, которое она смешивает с осуждением, Лиза во всяком движении своем, во всякой невинной радости предчувствует грех, страдает за чужие проступки, упрекает себя в том, что заметила их, и часто готова принести свои законные потребности и влечения в жертву чужой прихоти. Она — вечная и добровольная мученица. Личность ее получает от этого особенную, трогательную прелесть; но ежели взглянуть на дело серьезно, не поддаваясь той инстинктивной симпатии, которую внушает с первого взгляда привлекательный образ молодой девушки, то нельзя не заметить, что Лиза идет по ложной и опасной дороге. Истинным можно назвать только такое развитие, которое ведет нас к нравственному совершенству и заставляет нас находить счастие в самом процессе самосовершенствования. Такое развитие должно пробуждать в нас потребности и в то же время должно давать нам средства удовлетворять этим потребностям, должно вести эти стремления к определенной и разумной цели. Но ежели мы будем требовать от себя невозможного, ежели, во имя неправильно понятой буквы нравственного закона, мы постоянно будем недовольны собою, ежели мы постоянно будем тратить свою энергию на совершение ненужных подвигов смирения и самоотвержения, тогда мы только измучим и истомим себя, отравим себе самые благородные и невинные радости жизни, выпустим из рук собственное разумное счастие и омрачим спокойствие и счастие близких людей своими добровольными и бесполезными страданиями. Ежели самодовольствие ведет к умственной неподвижности, то и постоянное, фанатическое стремление к недостижимому идеалу, стоящему выше человечества, ведет к ослаблению нравственных сил, как неумеренные гимнастические упражнения изнуряют физические силы. Истинное развитие должно вести к равновесию всех сил человеческой души. У Лизы равновесие было нарушено. Воображение, настроенное с детства рассказами набожной, но неразвитой няньки, и чувство, свойственное всякой женской, впечатлительной природе, получили полное преобладание над критическою способностию ума. Считая грехом анализировать других, Лиза не умеет анализировать и собственной личности. Когда ей должно на что-нибудь решиться, она редко размышляет: в подобном случае она или следует первому движению чувства, доверяется врожденному чутью истины, или спрашивает совета у других и подчиняется чужой воле, или ссылается на авторитет нравственного закона, который всегда понимает буквально и всегда слишком строго, с фанатическим увлечением. Словом, она не только не достигает умственной самостоятельности, но даже не стремится к ней и забивает в себе всякую живую мысль, всякую

попытку критики, всякое рождающееся сомнение. В практической жизни она отступает от всякой борьбы; она никогда не сделает дурного поступка, потому что ее охраняют и врожденное нравственное чувство и глубокая религиозность; она не уступит в этом отношении влиянию окружающих, но когда нужно отстаивать свои права, свою личность, она не сделает ни шагу, не скажет ни слова и с покорностию примет случайное несчастие как что-то должное, как справедливое наказание, поразившее ее за какую-то воображаемую вину. При таком взгляде на вещи у Лизы нет орудия против несчастия. Считая его за наказание, она несет его с благоговением, не старается утешиться, не делает никаких попыток стряхнуть с себя его гнетущее влияние: такие попытки показались бы ей дерзким возмущением. «Мы были наказаны», — говорит она Лаврецкому. За что? на это она не отвечает; но между тем убеждение так сильно, что Лиза признает себя виновною и посвящает всю остальную жизнь на оплакивание и отмаливание этой неведомой для нее и несуществующей вины. Восторженное воображение ее, потрясенное несчастным происшествием, разыгрывается и заводит ее так далеко, показывает ей такой мистический смысл, такую таинственную связь во всех совершившихся с нею событиях, что она, в порыве какого-то самозабвения, сама называет себя мученицею, жертвою, обреченною страдать и молиться за чужие грехи. «Нет, тетушка, — говорит она: — не говорите так. Я решилась, я молилась, я просила совета у бога. Все кончено; кончена моя жизнь с вами. Такой урок недаром; да я уж не в первый раз об этом думаю. Счастие ко мне не шло; даже когда у меня были надежды на счастие, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грехи и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо. Вас мне жаль, жаль мамаши, Леночки; но делать нечего. Чувствую я, что мне не житье здесь, я уже со всем простилась, всему в доме поклонилась в последний раз. Отзывает меня что-то, тошно мне, хочется мне запереться навек. Не удерживайте меня, не отговаривайте; помогите мне, не то я одна уйду...» И так кончается жизнь молодого, свежего существа, в котором была способность любить, наслаждаться счастием, доставлять счастие другому и приносить разумную пользу в семейном кругу... и какую значительную пользу может принести в наше время женщина, какое согревающее, благотворное влияние может иметь ее мягкая, грациозная личность, ежели она захочет употребить свои силы на разумное дело, на бескорыстное служение добру. Отчего же уклонилась от этого пути Лиза? Отчего так печально и бесследно кончилась ее жизнь? Что сломило ее? Обстоятельства, скажут некоторые. Нет, не обстоятельства, ответим мы, а фанатическое увлечение неправильно понятым нравственным долгом. Не утешения искала она в монастыре, не забвения ждала она от уединенной и созерцательной жизни: нет! она думала принести собою очистительную жертву, думала совершить последний, высший

подвиг самоотвержения. Насколько она достигла своей цели, пусть судят другие. Говоря о воспитании Лизы, г. Тургенев дает нам ключ к объяснению как нравственной чистоты ее убеждений, не потускневших от вредного влияния неразвитого общества, так и излишней строгости и односторонности ее взгляда на жизнь.

В воспитании Лизы все было направлено к развитию чувства. Важнейшим элементом этого воспитания было пламенное религиозное чувство ее няни, попечениям которой она почти исключительно была предоставлена. Наука, до сих пор не приобретшая права гражданства в женском образовании, не могла благотворно подействовать на ее ум. Искусство, именно музыка затронула ее эстетическое чувство, но не расширила круга ее понятий. Раскрывавшаяся душа ее жадно воспринимала серьезные рассказы няни, проникнутые восторженным, правдивым чувством. Воображение ребенка получило несоразмерное развитие, а ум остался робким и неразработанным. Лиза сделалась набожною, она горячо полюбила добро и истину, она вынесла из своего детства теплую веру и твердые нравственные правила, но на этом она и остановилась; распоряжаться своими правилами, применять их к жизни, находить присутствие духа во всяком положении, обдумывать свои поступки и определять свои обязанности размышлением, а не слепым порывом чувства — этого она не умеет, потому она руководствуется инстинктом или авторитетом, создает себе призраки, изнемогает в неестественной борьбе с самыми законными своими побуждениями, ставит себе в вину это изнеможение и, наконец, утомленная внутренними волнениями, решается покинуть все, что ей дорого, и принести последнюю жертву. Из женских характеров, существующих в нашей литературе, Лиза представляет всего более сходства с Татьяною Пушкина: в той и в другой заметен перевес чувства и воображения над умом; разница только в том, что у Татьяны чувство и воображение, воспитанные на романах, порождают в ней болезненную мечтательность, работают над созданием романического героя и, наконец, воплощают этого героя в лице Евгения Онегина, неспособного составить счастье умной и чувствительной женщины. У Лизы чувство и воображение воспитаны на возвышенных предметах; но они все-таки развиты несоразмерно, берут перевес над мыслительною силою и также ведут к болезненным и печальным уклонениям. Это преобладание чувства над рассудком выражается в самых разнообразных формах и составляет в современных женщинах явление до такой степени распространенное, что в педагогической литературе неоднократно высказывалось мнение, будто оно так и должно быть, будто и преподавание в женских учебных заведениях должно сообразоваться с этим необходимым свойством женской природы. Мы уже позволяли себе выражать противоположное мнение; [3] повторяем его и теперь; женщине, как и мужчине, дана одинаковая сумма прирожденных способностей; но воспитание женщины, менее реальное,

менее практическое, менее упражняющее критические способности (нежели воспитание мужчины), с молодых лет усыпляет мысль и пробуждает чувство, часто доводит его до неестественного, болезненного развития. Истинная цель реформы, совершающейся на наших глазах в женском воспитании, состоит, насколько мы ее понимаем, именно в том, чтобы уравновесить в женщине ум и чувство, чтобы приучить ее самостоятельно думать, анализировать себя и других и последовательно, без увлечения, но с искренним и глубоким чувством проводить в жизнь добытые убеждения. В этом пробуждении женщины к действительной жизни, к умственной деятельности в самом обширном значении этого слова, — в этом пробуждении, говорим мы, заключаются задатки прогресса для всего нашего общества. Повторяя теперь уже высказанное нами мнение, мы считаем себя вправе подтвердить наши слова авторитетом двух замечательнейших художников нашего времени, Тургенева и Гончарова. Первый высказал свое мнение об образовании женщины в создании личности Лизы и в своем отношении к этой личности: он сочувствует ее прекрасным качествам, любуется ее грацией, уважает твердость ее убеждений, но жалеет о ней и вполне сознается, что она пошла не по тому пути, на который указывают человеку рассудок и здоровое чувство. Гончаров сказал свое слово в личности Ольги, уравновешивающей в себе мысль и чувство. Поднялось множество голосов, сказавших, что женщин, подобных Ольге, в нашем обществе нет; но никто не говорил, чтобы образ Ольги был неженствен, чтобы в нем не было поэтической правды. Это суждение дает нам право сказать, что Ольга — русская женщина нового поколения, еще не вступавшего в жизнь. Требования, которые выразил Гончаров в создании этой личности, невыполнимы теперь; но они законны и могут быть выполнены впоследствии, быть может в скором времени. Сравнивая современную девушку Лизу с будущею девушкою Ольгою, мы можем определить тот путь, по которому должно пойти образование женщины, можем заранее рассчитать те результаты, которых оно должно достигнуть.

В заключение нашей статьи еще раз возвратимся к Лизе и обратим внимание читательниц на то, как ее личность оттенена двумя женскими фигурами: матери ее, Марьи Дмитриевны, и тетки, Марфы Тимофеевны. Первая представляет собою тип очень распространенный в нашем обществе: это взрослый ребенок, то есть женщина без убеждений, женщина, не привыкшая к размышлению и почти потерявшая способность мыслить; она живет и дышит одними светскими удовольствиями, свойственными ее уже пожилым летам; ей нравятся пустейшие и безнравственные люди; семейною жизнию она не живет, любви детей и влияния над ними приобрести не умела; она любит чувствительные сцены и щеголяет расстроенными нервами и сентиментальностию. Словом, она ребенок по развитию, только лишена ребяческой грации

и чистоты. Марфа Тимофеевна — умная и добрая женщина старого века, не получившая никакого образования, но одаренная здравым смыслом и тою проницательностию, которую обыкновенно приобретают под старость умные люди, много видевшие на своем веку и не пропускавшие виденного без внимания. Марфа Тимофеевна — старушка энергическая и деятельная, с резкими и угловатыми манерами, говорящая правду в глаза и не скрывающая ни своего отвращения к некоторым сомнительным личностям, ни своего доброго расположения к тем, кого она любит. Марфа Тимофеевна набожна, но без фанатизма; она не терпит лжи и безнравственности, но допускает терпимость убеждения, не стесняет свободы совести окружающих ее людей. Ей противны гости Марьи Дмитриевны, как пустые и вздорные люди, а Лаврецкого она любит, хотя знает, что расходится с ним в самых существенных понятиях. Практический смысл, мягкость чувств при резкости внешнего обращения, беспощадная откровенность и отсутствие фанатизма — вот преобладающие черты в личности Марфы Тимофеевны, превосходно очерченной в романе Тургенева. Поставленная между этими двумя женскими личностями, Лиза является в самом выгодном свете: резкость приговоров, неженственная смелость и придирчивость Марфы Тимофеевны оттеняют собою ее скромность, стыдливость и грациозную нерешительность. Что касается до Марьи Дмитриевны, то вся ее неискренняя, жеманная, бесцветная личность составляет разительный контраст с серьезною, сосредоточенною, строгою фигурою дочери, проникнутой и воодушевленной одним принципом, истинным и прекрасным, но доведенным до крайности. Контраст этот действует тем сильнее, что Марья Дмитриевна — живой тип, такая женщина, каких очень и очень много. Как истинный художник, Тургенев не мог и не должен был высказать свою мысль резко: он показал в личности Лизы недостатки современного женского воспитания, но он выбрал свой пример в ряду лучших явлений, обставил выбранное явление так, что оно представляется в самом выгодном свете. От этого идея автора не бросается прямо в глаза. Ее надо отыскать, в нее надо вдуматься; но зато она тем полнее и неотразимее подействует на ум читателя. Чем менее художественное произведение сбивается на поучение, чем беспристрастнее художник выбирает фигуры и положения, которыми он намерен обставить свою идею, тем стройнее и жизненнее его картина, тем скорее он достигнет ею желанного действия. Ежели изображена действительность во всем блеске и разнообразии ее явлений и ежели все эти явления, как бы нечаянно выхваченные художником из известной нам жизни, говорят нам одно и то же, тогда нельзя не убедиться. Тут мы уже верим не слову художника, а тому, что говорят факты, что засвидетельствовано самою жизнию.

ТРИ СМЕРТИ

Рассказ графа Л. Н. Толстого
(«Библиотека для чтения» 1859 года) [4]

Читательницы наши, без сомнения, знакомы со многими из произведений замечательного писателя, графа Толстого, о котором мы до сих пор не имели случая говорить с ними. Они прочли, вероятно, его «Детство, Отрочество и Юность», «Утро помещика», «Из записок князя Нехлюдова. Люцерн», «Метель», «Севастопольские воспоминания». Прочтя эти произведения, легко составить себе понятие о направлении таланта автора, об его характеристических, индивидуальных особенностях и о тех предметах, на которые он, в процессе своего творчества, обращает преимущественное внимание. Толстой — глубокий психолог. В этом нетрудно убедиться, ежели только припомнить выдающиеся черты его произведений, те черты, которые, даже при самом поверхностном чтении, поражают читателя, приковывают к себе его внимание и оставляют в уме его неизгладимое впечатление. Картины природы, дышащие жизнью и отличающиеся свежею определенностью, отчетливая обработка характеров, выхваченных прямо из действительности, смелость общего плана и жизненное значение идеи, положенной в основание художественного произведения, — все это общие свойства, составляющие принадлежность всех наших лучших писателей и отражающиеся во всех наиболее зрелых произведениях нашей словесности. Кроме этих общих свойств, у Толстого есть своя личная, характеристическая особенность. Никто далее его не простирает анализа, никто так глубоко не заглядывает в душу человека, никто с таким упорным вниманием, с такою неумолимою последовательностью не разбирает самых сокровенных побуждений, самых мимолетных и, повидимому, случайных движений души. Как развивается и постепенно формируется в уме человека мысль, через какие видоизменения она проходит, как накипает в груди чувство, как играет воображение, увлекающее человека из мира действительности в мир фантазии, как, в самом разгаре мечтаний,

грубо и материально напоминает о себе действительность и какое первое впечатление производит на человека это грубое столкновение между двумя разнородными мирами — вот мотивы, которые с особенною любовью и с блестящим успехом разработывает Толстой. Чтобы убедиться в этом, стоит только припомнить, например, описание сна и пробуждения в «Метели», главу из «Отрочества», в которой изображено состояние Николеньки, ожидавшего появления St. Jérôm'а и наказания, место из «Юности», в котором Иртеньев ждет духовника в его келье; не знаем, нужно ли даже указывать на отдельные места: какую бы сцену мы ни припомнили, везде мы встретим или тонкий анализ взаимных отношений между действующими лицами, или отвлеченный психологический трактат, сохраняющий в своей отвлеченности свежую, полную жизненность, или, наконец, прослеживание самых таинственных, неясных движений души, не достигших сознания, не вполне понятных даже для того человека, который сам их испытывает, и между тем получающих свое выражение в слове и не лишающихся при этом своей таинственности. Это направление таланта Толстого имело влияние на выбор сюжета того рассказа, о котором мы теперь будем говорить с нашими читательницами. Автор положил себе задачею изобразить чувства умирающего и его отношения к тем предметам, среди которых он жил и которые, переживая его, представляют своим спокойным равнодушием разительную противоположность с нравственным томлением, происходящим в его душе. Рассказ Толстого состоит из трех отдельных эскизов, связанных между собою только характером содержания; общей нити рассказа нет. Автор изобразил только три момента, три смерти, происшедшие при различных условиях, при различной обстановке, и, обрисовав самыми яркими красками это различие, выставил во всех трех те общие явления, которые сопровождают собою разрушение всякого организма. Мы рассмотрим оба первые представленные автором момента, сближая между собою общие черты и указывая нашим читательницам на постоянное противоположение между свежею, кипучею, деятельною и беззаботною жизнью, с одной стороны, и медленным, безнадежным увяданием, с другой; что касается до третьего момента, то он представляет собою смелую, грациозную фантазию художника, — фантазию, которая, как музыкальный аккорд, заканчивает собою поэтическое произведение, оставляя в душе читателя какую-то тихую, грустную задумчивость. Мы коснемся содержания, сюжета рассказа, чтобы быть в состоянии обратить внимание наших читательниц на подробности, чтобы указать им в этих подробностях художественные красоты. Повредить интересу рассказа мы не боимся, потому что думаем, как уже замечали не раз, что достоинства изящного произведения заключаются не во внешнем плане, не в нити сюжета, а в способе его обработки, в группировании подмеченных частностей, которые дают целому жизнь

и определенную физиономию. Кто стал бы в повестях и рассказах Толстого искать романической завязки, интереса событий, тот, во-первых, обманулся бы в своих ожиданиях, а во-вторых, следя только за нитью действия, упустил бы из виду то, что составляет главную прелесть, самое прочное достоинство этих рассказов, упустил бы из виду глубину и тонкость психологического анализа. Читая Толстого, необходимо вглядываться в частности, останавливаться на отдельных подробностях, поверять эти подробности собственными пережитыми чувствами и впечатлениями, необходимо вдумываться, и только тогда чтение это может обогатить запас мыслей, сообщить читателю знание человеческой природы и доставить ему, таким образом, полное, плодотворное эстетическое наслаждение.

Первый эскиз рассказа, о котором мы говорим, заключает в себе описание последних дней в жизни больной барыни, умирающей от чахотки. Больная эта принадлежит ежели не к высшему, то по крайней мере к среднему, богатому классу общества; она окружена всеми удобствами, которые только могут доставить денежные средства; она едет за границу, в спокойной карете, с мужем, глубоко преданным ей, и с доктором, тщательно наблюдающим за малейшим изменением ее здоровья, и между тем при всем этом комфорте, при всей угодливости, с которою все окружающие предупреждают ее малейшие желания, болезнь развивается не по часам, а по минутам, организм слабеет, и больная сама, напрасно стараясь поддержать какую-нибудь надежду на выздоровление, замечает в себе все признаки полного упадка сил и начинающегося разложения. Это внешние условия, обстановка той страшной драмы, которая разыгрывается в душе больной и которую во всех подробностях развил Толстой. Больная не хочет умирать: она еще молода и имеет право требовать от жизни многих наслаждений, многих радостей, которых она едва коснулась. Она с сверхъестественным напряжением всех сил души хватается за малейший проблеск надежды, за малейший остаток жизни, дотлевающий в ее истомленной, наболевшей груди; но силы изменяют, энергия падает, грозный образ смерти с ужасающею ясностью носится перед расстроенным воображением больной, преследует ее с неотвязчивым постоянством; надежда замирает в сердце; в уме уже нет доводов, которыми можно было бы отогнать страшную мысль; остается только покориться ей, убедиться очевидностью и перейти из томительной борьбы, из колебания между страхом и надеждою в спокойное ожидание неотразимого удара. Такую дорогу обыкновенно выбирают люди с сильным характером, — люди, способные взглянуть в лицо действительности, как бы ни была она мрачна. Такие люди желают знать истину и отгоняют мечты и неопределенные надежды; но не таков характер, изображенный Толстым. Его больная с самого начала рассказа не верит своему выздоровлению, ее раздражает всякое проявление здоровой жизни; она завидует таким проявле-

ниям и видит в них почти умышленный намек на свое собственное безотрадное положение; она чувствует, что смерть близка, и между тем не хочет обратить это смутное чувство в спокойное сознание, боится самого слова: «умереть», умышленно закрывает себе глаза на свое положение, потому что проникнута чувством отчаянной безнадежности. Больная Толстого похожа на человека, чувствующего сильную робость и между тем боящегося не только дать волю этому чувству, но даже сознаться перед самим собою в его существовании. Чтобы заглушить свою робость, этот человек обыкновенно начинает храбриться, громко говорить, петь, стараясь, таким образом, привить к себе извне бодрость духа, которую он напрасно ищет в собственном сознании. Больная чувствует, что ей не выздороветь; но чем сильнее в ней это чувство, тем громче говорит она себе, что ее болезнь вздор, что ее воскресят теплый воздух, приятное путешествие и спокойный образ жизни. Не веря собственным словам, не имея в запасе доводов против очевидности, она требует таких доводов от других, и сердится, страдает, и томится, когда вместо желанных доводов слышит изъявления соболезнования; это соболезнование пугает ее, потому что напоминает о том, что постоянно, глухо твердит ей собственное чувство. Мучительная нравственная борьба больной заставляет ее изнемогать и разрешается бессильными вспышками отчаяния и горести. Приводим небольшую сцену, замечательную по силе выражения, по глубине и верности психического анализа; в этой сцене читательницы наши могут проследить развитие целого ряда чувств и мыслей: здесь, во-первых, противополагается жизнь и разрушение жизни; здесь представлены враждебные отношения умирающей ко всему здоровому и живому, ко всему, что дает ей повод делать неутешительные сравнения с собственным положением; здесь, наконец, видна ее попытка ободрить себя надеждою: попытка эта не нашла себе поддержки в окружающих и разбила временно возникшую в больной энергию.

— Что, как ты, мой друг? — сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Все один и тот же вопрос, — подумала больная, — а сам ест!»

— Ничего, — пропустила она сквозь зубы.

— Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иваныч то же говорит. Не вернуться ли нам?

Она сердито молчала.

— Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

— Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась, я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...

— Дети здоровы, а я нет.

— Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой... тогда по крайней мере дома.

— Что ж, что дома?.. Умереть дома? — вспыльчиво отвечала больная. Но слово *умереть*, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся; и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

— Нет, я поеду, — сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова. — Боже мой! за что же? — говорила она, и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась; но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же осенняя мгла, не чаще, не реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...

Обратим внимание читательниц на картину русской природы и русской жизни, набросанную художником в последних словах приведенного нами отрывка. Эта картина возникла от одного взмаха пера, в ней нет отчетливости описания, нет отдельных подробностей, но есть удивительная яркость целого, есть изобразительность и сила, которая придает этому беглому очерку особенное художественное значение. Впечатление, производимое этим очерком, особенно сильно по тому отношению, в котором он находится к главному действию, совершающемуся среди этой обстановки. Печальная физиономия серого осеннего дня гармонирует с безнадежным положением больной, а живая, обыденная деятельность, происходящая на станционном дворе, служит поразительным контрастом напряженному, торжественно унылому настроению ее души. Читатель угадывает по этому расположению подробностей, что больная, представленная графом Толстым, испытывает на себе все впечатления, какие только можно вынести из созерцания изображенной автором картины, расстилавшейся перед окнами ее кареты. В природе ищет она себе подкрепления; но в природе все пасмурно, все напоминает о поблекших надеждах и о предстоящем прощании с жизнью. К людям обращается она, надеясь найти в них сочувствие; но люди вокруг нее заняты своим делом, им некогда, и их здоровые лица, их шумная, хлопотливая деятельность поражают больную своим равнодушием, надрывают ей сердце полнотою жизни и избытком веселости. Последние минуты больной изображены с тою же силою анализа, которая ни на минуту не оставляет Толстого, как бы ни были таинственны и, повидимому, недоступны для наблюдения выбранные им моменты внутренней жизни человека. Изображая эти последние минуты, автор представил со стороны больной те же чувства, ту же борьбу между любовью к жизни и ожиданием смерти, — борьбу, которую мы уже видели в приведенном нами отрывке. Здесь эти чувства и эта борьба носят на себе особый оттенок — перед смертью наступает минута величественного спокойствия; не замирая вполне, земные помыслы затихают в душе человека; больная приближается к состоянию полной безнадежности, к состоянию, похожему на полное спокойствие; она при-

ближается к нему, но еще не достигла его; изредка проблескивает луч какой-то надежды, неопределенной, несбыточной, но дорогой сердцу, — надежды, к которой по временам, находя свою прежнюю энергию, устремляются все силы ее души. За минутами тревоги, возбужденной этими прощальными проблесками надежды, наступает грустная, покорная тишина, которая опять нарушается каким-нибудь страстно болезненным раздражительным порывом к жизни, и все тише и тише волнуется в больной груди чувство, реже и тоскливее становятся его последние движения, неопределеннее и несбыточнее делаются те формы, в которых показывается надежда. Наконец исчезает последний призрак надежды, и остается только тихое, полное невыразимой тоски желание жить во что бы то ни стало. Больная понимает, что желание это неисполнимо, а между тем оно живет в ней до последней минуты и под конец выражается только непреодолимым страхом перед приближающеюся смертью. Вот целый мир чувств, почти непонятных для человека в спокойном состоянии, мир чувств, в который вводит нас граф Толстой, представляя сцену между умирающею больною и ее родственниками, вошедшими в ее комнату после того, как она причастилась святых таин.

Кузина и муж вошли. Больная тихо плакала, глядя на образ.

— Поздравляю тебя, мой друг, — сказал муж.

— Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю, — говорила больная, и легкая улыбка играла на ее тонких губах. — Как бог милостив! Не правда ли, он милостив и всемогущ? — И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа.

— Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу, — сказала она слабым и недовольным голосом.

Муж, вытянув шею, покорно слушал ее.

— Что, мой друг?

— Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают, есть простые лекарки, они вылечивают... Вот батюшка говорил... мещанин... Пошли.

— За кем, мой друг?

— Боже мой! ничего не хочет понимать... — И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня, — говорила больная: — это отнимает у меня последнее спокойствие.

— Ты ангел! — сказала кузина, целуя ее руку.

— Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

Переходим ко второму эскизу рассказа. Главное действующее лицо этого эскиза взято автором из низшего класса и поставлено в такую обстановку, которой бедность и несложность составляют прекрасно выдержанный контраст с изящною обстановкою больной барыни. Бедный ямщик, человек, не имеющий ни роду, ни племени, умирает на чужой стороне, в душной кухне, на печи,

среди громких разговоров и обычных хлопот своих товарищей-ямщиков, почти забывших о существовании больного и вспоминающих о нем только тогда, когда он сам напомнит о себе судорожным кашлем или стонами. Различие обстановки производит различие в образе действий обоих больных: барыня, окруженная попечениями и предупредительными услугами близких ей людей, стремится высказаться и ищет облегчения в их словах, в выражении их физиономии; она взыскательна в своих требованиях, и не всякое выражение участия способно удовлетворить и успокоить ее. Ямщик, напротив того, молча страдает, молча переносит ворчание кухарки, недовольной тем, что он занял ее угол, молча смотрит на занятия своих товарищей и слушает их толки, в которых редко проглядывает участие к его страданиям. Поставленный в такое положение, больной не боится смерти или по крайней мере не выражает своей боязни. К его телесным страданиям почти не примешивается то нравственное томление, которое так глубоко понял и так мастерски изобразил автор в первом эскизе. Это нравственное томление существует в нем, правда, потому что оно неизбежно сопровождает собою приближение смерти и даже обусловливается, быть может, особенным, болезненным настроением нервов и всего организма; итак, томление существует, но не прорывается наружу. Больной боится беспокоить здоровых и сделаться им в тягость; он считает себя как бы виноватым перед ними, виноватым в своем беспомощном положении, виноватым тем, что загромоздил собою угол и стеснил товарищей. Поэтому в обращении больного проглядывают трогательная мягкость, ласковость, вместо которой мы в первом эскизе видели требовательность и беспокойную, хотя и извинительную раздражительность. Стоит сравнить самые простые слова больной барыни и больного ямщика, и из одного этого сравнения разом откроется перед читателем различие как их общественного положения, так и внутреннего настроения каждого из них. Контраст между разрушением и живою, сильною жизнью, представленный так рельефно в первом эскизе, нашел себе место и во втором и выразился в формах еще более определенных, почти резких, потому что формы эти обусловливаются тем бытом, в котором происходит все действие. В первом эскизе здоровые изъявляют свое участие, соболезнуют и только не изменяют естественных условий своего существования и своей деятельности, и это уже кажется больной оскорбительным равнодушием, насмешкою над ее положением. Здесь, напротив того, здоровые ворчат на больного, тяготятся его присутствием, стараются извлечь из него какие-нибудь выгоды, основывают на его болезни и смерти разные меркантильные расчеты, о которых с самым наивным видом говорят с самим больным, не понимая, да и не желая понимать, что подобные разговоры должны мучительно действовать на расстроенные нервы и напряженное воображение страдальца. И больной молчит, терпит и просит проще-

ния. Как в первом эскизе не должно обвинять больную барыню в том, что она несправедливо капризничает и требует невозможного, так и во втором не должно осуждать здоровых в том, что они грубо обходятся с своим товарищем: первая действует под влиянием болезни, которая заставляет ее забывать все, что не относится к ее положению; вторые не настолько развиты, чтобы уметь поставить себя на место больного и соразмерять каждое свое слово с его положением, поэтому обращение их неровно; за чисто человеческими движениями сострадания следуют проявления несправедливой досады или грубого эгоизма. Что касается до личности больного ямщика, то это личность забитая, загнанная своим положением, привыкшая страдать молча и робко переносить упреки за свои же страдания. Такие личности встречаются во всяком неразвитом обществе, в котором уважается не человеческая личность, а случайные ее атрибуты: физическая сила, богатство, здоровье и т. п. Эти черты неразвитого общества и забитой личности выразились во второй главе рассказа. Не делаем здесь выписок, а отсылаем наших читательниц к этой главе.

Ежели мы сравним между собою приемы, которые употребляет автор в первом и во втором эскизе, то найдем, что в первом — он преимущественно следит за внутренним развитием мыслей и чувств, а во втором — почти исключительно обращает свое внимание на изображение внешней обстановки, при которой умирает больной, внешних условий его быта, внешних отношений его к окружающим товарищам. Причину этого объяснить не трудно. В первом эскизе обстановка ничего не значит: она не увеличивает собою страданий больной и не может дать читателю средств заглянуть в ее внутренний мир; там весь интерес борьбы сосредоточен в этом внутреннем мире, самая борьба происходит от чисто внутренних причин, и, следовательно, там автор не мог быть простым наблюдателем, изображающим то, что можно видеть и слышать: ему нужно заглядывать в душу больной, ловить ее сокровеннейшие движения и подвергать их тонкому, проницательному анализу. Во втором случае, напротив того, больной подавлен обстановкою: в этой обстановке все, начиная от душного воздуха в избе и кончая неосторожным обращением ямщиков, все заставляет страдать больного; борьба его с неудобствами и лишениями так сильна и так очевидна, что она поглощает собою все его силы, не оставляет времени для мучительных мыслей, не позволяет ему уходить в свой внутренний мир и прислушиваться к беспокойным биениям собственного сердца. Мысль лениво движется в утомленной голове, бесцветны и однообразны ее видоизменения; мучительная боль в груди, телесное беспокойство, душный воздух, которым он дышит, жесткая печь, на которой он лежит, вот что бросается в глаза в положении больного ямщика, вот что дало материал для эскиза Толстого. В этом эскизе самое отсутствие психического анализа, то есть то обстоятельство, что автор ограничивается одним рельеф-

ным воспроизведением внешних подробностей, имеет важное значение и составляет необходимую принадлежность самого содержания. Не потому здесь нет анализа, что анализ слишком труден для автора, а потому, что нечего анализировать. Загляните в душу больного ямщика, выведенного Толстым, и вы не найдете в его чувствах ни порывистой силы и твердости, ни сложности и разнообразия, вас поразит в них забитость и безответная покорность, по временам переходящая в какое-то отупение, покорность, выработанная длинным рядом однообразных трудов, привычных обыденных страданий и бесцветных, постоянно серых дней жизни. Эта покорность выражается во всем существе больного ямщика: в его словах и движениях, во всех его отношениях к окружающей обстановке и к другим людям. Достаточно изобразить эти отношения, описать движения и передать слова, и перед читателем откроется весь его внутренний мир с его бедностью и несложностью. Так поступил Толстой, и это обстоятельство положило своеобразный отпечаток на второй эскиз его рассказа.

Переходим к третьему эскизу, чрезвычайно оригинальному по своей художественной концепции. Третья смерть есть смерть срубленного дерева: рука человека играет здесь роль судьбы, и картина природы, замечательная по свежести красок, по осязательности линий и контуров, заканчивает собою весь рассказ. Так как этот третий эпизод очень невелик, то мы позволяем себе привести его целиком, чтобы не дробить общего впечатления.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновенье все затихло; но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки, спеша, разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое, сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом.

Опять то же потрясающее душу противоположение между жизнью и смертью, противоположение, напоминающее по своей идее известные стихи Пушкина:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Замечательно то, что это противоположение не режет глаз, а, напротив, образует какое-то гармоническое сочетание, общую картину, в которой отдельные черты жизни и смерти дополняют и оттеняют друг друга. Замечателен, наконец, оригинальный взгляд на природу, выраженный художником в приведенном нами отрывке. Он угадывает, подслушивает проблески мысли и чувства в жизни и говоре леса, в шелесте листьев, в веселом щебетанье и чириканье птичек. При этом он не снимает с природы покрова ее таинственности, не заходит в область фантастического вымысла, не навязывает природе ничего чисто человеческого, несвойственного ей, насилующего законы растительной жизни. Картина срубленного дерева, медленно склоняющегося макушей на сырую землю, представлена во всей своей простоте, без всяких фиоритур, и между тем в этом простом изображении простого, обыденного явления художник умел уловить идею общей жизни природы, медленно и неохотно уступающей напору постороннего, враждебного влияния. Он проследил борьбу между жизнью и смертью сначала на разных степенях общественного развития, а потом в двух различных царствах природы. Чем ниже спускался он, тем глуше был протест жизни, тем молчаливее совершалась борьба, так что, наконец, в последнем эскизе наблюдатель сомневается даже в существовании подобной борьбы и не знает, к чему отнести ту впечатлительность, которою художник наделил растительную природу, — к области ли действительности или к творческой фантазии поэта, отыскивающего в природе отражение или подобие человеческого духа. Вот глубокое, художественное значение рассказа Толстого.

Читательницам нашим может показаться странным, что мы так долго останавливались на рассмотрении этого небольшого рассказа. На это есть причины. Целью нашей было не только заинтересовать читательниц к прочтению этого рассказа, но преимущественно обратить их внимание на те художественные красоты, которых должно искать, на которых должно останавливаться при чтении произведений Толстого. Сверх того, сюжет и построение рассмотренного нами рассказа заставляли нас останавливаться на подробностях потому, что подробности и частности сосредоточивают в себе здесь весь художественный интерес. Здесь нет развития характеров, нет действия, а есть только изображение некоторых моментов внутренней жизни души, есть

анализ; а чтобы оценить верность анализа, необходимо вглядеться в него и вникнуть в подробности. Где нет анализа душевных движений, там есть, как мы уже видели, наглядное и точное до мелочей воспроизведение внешних подробностей. Как в первом, так и во втором случае необходимо при оценке обращать внимание на художественное выполнение подробностей: иначе останется непонятою лучшая часть произведения, та часть, которая составляет характеристическую особенность таланта Толстого. Чтобы обратить внимание наших читательниц на эту важнейшую часть, мы позволили себе подробно распространиться насчет рассматриваемого нами рассказа и привели в нашем отчете некоторые наиболее замечательные отрывки, объяснив их значение.

НЕСОРАЗМЕРНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

(Уличные типы. Текст А. Голицынского, с 20-ю рисунками М. Пикколо. Издание К. Рихау. 1860. Москва)

«Если хотите знать народ, изучайте его на улице», — сказал один философ. К русскому человеку скорей всего можно сделать такое приложение. Наш простолюдин — гость у себя дома, и часто гость очень церемонный; тут вы от него иногда слова не добьетесь. Он является домой большею частью для того только, чтобы поесть, отдохнуть, да, пожалуй, умереть. Вся его жизненная и общественная деятельность выражается на улице: здесь он работает, пьет, гуляет, бранится, торгует, мошенничает, значит, весь нараспашку; наблюдай и рисуй, сколько хочешь».

Так г. Голицынский начинает вступление к своей книге «Уличные типы». Это его программа. Из этих слов видно, что автор придает своему произведению довольно важное значение; он полагает, что оно может познакомить читателя с народною жизнью, и, конечно, всякий образованный читатель согласится, что узнать свойства и потребности нашего народа — насущная задача нашего времени. Мы с живейшим сочувствием встречаем комедии Островского и Писемского, потому что они открывают черты народного характера; каждое собрание песен, сказаний, легенд подвергается серьезной критике и внимательному изучению; каждая черта народной жизни, занесенная в летописи или в разгульную песню бурлака, с любовью и с жадным вниманием отмечается талантливыми и добросовестными исследователями нашей отечественной истории. — Мы недавно принялись за изучение народности и как будто в разъяснении ее хотим проверить свои недостатки, слабости, несчастия, одним словом, подметить и определить истинные черты своего характера. Мы приходим к сознанию, что историческая маска вовсе не передает верного портрета народной физиономии. И вот нам обещают представить ряд картин, изображающих жизнь народа на московских улицах. Это любопытно. Не ожидая глубокого изучения, мы, однакож, позволяем себе

надеяться, что встретим несколько сцен, полных жизни и здорового юмора, несколько метко схваченных черт народного характера, несколько типических, бойко очерченных фигур. Надеемся наконец, что автор, согласно своему обещанию, отнесется к предмету серьезно и тепло, как должно относиться к свежему, молодому организму, не успевшему развернуться, но представляющему задатки здоровой силы и будущей самостоятельной деятельности. Во имя этих задатков надо извинить и оправдать существующие безобразные уклонения и ошибки; молодостью этого народа, его неразвитостью объясняется большая часть его слабостей и недостатков. Мы не требуем оптических обманов, мы не боимся тяжелого впечатления, не отвертываемся от нравственного зла, но настоятельно требуем, чтобы это зло было нам объяснено, чтобы наше обличение было не клеветой на действительность, не камнем, брошенным в грешника, а осторожным и бережным раскрытием раны, на которую мы не имеем права смотреть с ужасом и отвращением. Наука и искусство должны мирить нас с жизнью, объясняя нам ее смысл и внушая мягкое и осмысленное сострадание к самым, повидимому, неизвинительным уклонениям ее от законов разума. Закон осуждает уголовного преступника, отделяет его от общества, наказывает его физическою или гражданскою смертью, повинуясь грустной необходимости оберегать большинство и во имя его интересов и безопасности жертвовать отдельною личностью; но человек, и тем более художник, должен видеть в преступнике человека, смотреть на него как на больного и не клеймить его своим презрением. Объясняя преступление, мы уже до некоторой степени его извиняем; человек дурно воспитанный, не видевший с детства ни ласки, ни совета, может сделаться бездушным эгоистом, мелким или крупным взяточником, уличным вором или грубым деспотом в семействе, смотря по тем обстоятельствам, при которых сложилась его жизнь, смотря по тому положению, которое он займет в обществе, смотря по тем жизненным средствам, которые достанутся ему на долю. Порок, которому он предается, конечно будет противен нашему нравственному и эстетическому чувству, но одержимая им личность возбудит наше сострадание; если дерево растет в сук, его надо выправлять, разузнав сначала причины, заставившие его уклониться от нормального направления; если ребенок капризен или склонен ко лжи, надо изучить его характер и подыскать средства, способные действовать на него благотворно, а не презирать его и не глумиться над его слабостями. А разве больной не тот же ребенок? А разве человек, испорченный в нравственном отношении, — не больной? А разве пороки целого сословия или даже целого народа не болезни? Относиться к этим порокам с легкою шуткою — непростительно. Это значит зубоскалить над тем, от чего многие страдают и плачут. Относиться к ним с беспощадным осуждением, хладнокровно презирать их значит бить ребенка за то, что он не пони-

мает заданного урока. Есть, конечно, нравственное зло до такой степени наглое, есть люди до такой степени испорченные, что против них возмущается вся наша природа; от таких людей отступится самый гуманный педагог, самый великодушный филантроп, как самый просвещенный медик может отказаться от больного, уже превращающегося в труп. Но с такими исключениями литературе нечего делать. Раскапывать грязь, чтобы показать, как она грязна, раскапывать ее без малейшей надежды и даже без желания отыскать в ней что-нибудь, заслуживающее оправдания или объяснения, — труд бесплодный и неблагодарный. Что говорят нам злодеи разных парижских и лондонских тайн, наводнявших французскую литературу? Что есть негодяи, мошенники и разбойники. Это всякий знает. Кто желает по этому предмету навести статистические справки, тому всего удобнее обратиться в архивы уголовных судов. Там по крайней мере найдется действительность, а не подделка, не вымысел. Со стороны художника нельзя считать законным ни враждебное отношение к выводимой им действительности, ни холодное равнодушие. Кто смотрит на предмет неприязненно, тот видит или слишком мало, или слишком много, тот вместо картины представит карикатуру. Кто смотрит на предмет совершенно холодно, тот не имеет достаточной побудительной причины вглядеться в него и изучить его, тот не имеет достаточно внутренней силы и теплоты, чтобы выносить его в груди и вдохнуть ему живое дыхание жизни. Фотография — не картина, и ремесленник — не художник, хотя бы он довел до высокого совершенства техническую отделку своих произведений. Дайте нам в художнике человека, и хорошего человека, способного хоть в минуты творчества любить горячо и сильно, стремиться к добру и красоте и, ненавидя зло, прощать и щадить злодея, как слабого и больного человека! Чтобы воссоздавать сцены народной жизни, всего необходимее эта способность любить, способность спускаться в миросозерцание людей, стоящих ниже нас по своему развитию, и не относиться к их радостям и горестям, к их ошибкам и страданиям с холодной высоты отвлеченной мысли.

Эти замечания вызваны не самою книгою г. Голицынского, а теми ожиданиями и требованиями, на которые дает нам право самоуверенный и самодовольный тон его вступления. Трудно, впрочем, согласиться с теми словами, которые я привел в начале статьи. Россия — не Италия, Москва — не Рим; ни климат, ни характер народа не располагают к такому обширному развитию наружной жизни, при котором изучать народ было бы всего удобнее на улице. Мысль о том, что русский «простолюдин — гость дома, и часто гость очень церемонный», высказана г. Голицынским смело и голословно, как неопровержимая аксиома. Доказательства, которые он выдвигает на поддержку ее, состоят в общих фразах, которые в свою очередь должны быть доказаны. «Вся его жизненная и общественная деятельность, — говорит

автор, — выражается на улице». В чем же состоит эта жизненная и общественная деятельность? Вот в чем: «здесь, — продолжает г. Голицынский, — он работает, пьет, гуляет, бранится, торгует, мошенничает, значит, весь нараспашку...»

Работает русский человек, сколько мне известно, не на улице, а в мастерских или у себя дома, — стало быть, с этой стороны изучить его на улице мудрено; сам г. Голицынский, кроме извозчиков, не нашел в уличных типах ни одного ремесла, производимого на улице. Торгует русский народ действительно отчасти и на улице, но что же из этого? Если вы будете наблюдать русского человека с одной этой стороны, то рискуете или не сделать никакого заключения о его характере, или прийти к неверным выводам. Глядя на суетливость московских мелких торговцев, вы, пожалуй, подумаете, что деятельность и подвижность составляют основные черты народного характера. Затем, из всех проявлений «жизненной и общественной деятельности» русского человека остается только то, что он на улице «*пьет*, (?), гуляет, бранится и мошенничает». Чтобы по этим проявлениям составить себе понятие о народном характере, надо быть ясновидящим или пророком, а ясновидящему не нужно вовсе никаких наблюдений; он и так угадает дух народа. Но г. Голицынский — не пророк, и потому ему следовало бы вглядеться в свой предмет попристальнее и подумать посерьезнее. Считать вычисленные им проявления существенными моментами народной жизни значит не понимать народа, не любить и не уважать его. Если мы хотим знать о народе только то, как он работает, торгует, пьет, гуляет, бранится и мошенничает, то мы этим самым или отвергаем в нем присутствие других, более благородных инстинктов, или не интересуемся ими. Как мужик любит, как он живет в семействе, как он воспитывает своих детей, что думает и чувствует — этого мы, стало быть, и знать не хотим. Если народность дает нам повод сострить, рассказать забавный анекдот или нарисовать бойкую карикатуру, тогда мы ей рады, как случаю выказать наше остроумие, а иначе нам до нее и дела нет. Приступать с такими идеями к изучению русского народа — по меньшей мере несовременно. Но может быть, подумает читатель, это только неудачное выражение, употребленное в предисловии г. Голицынского случайно и не имеющее логической связи с характером всей книги.

Посмотрим же, что дает нам книга и насколько в своих очерках автор остается верен идеям, высказанным в вступлении. Во всей книге четыре очерка: «Нищие», «Приезжие мужички», «Прислуга» и «Представители толкучего рынка». В очерках «Приезжие мужички» автор описывает те иллюзии и мистификации, которые приходится встретить простолюдину-провинциалу на московских улицах. Вот идет по тротуару мужик, спрашивая у каждого встречного, где живет «немка Мантилья Карловна, белобрысая такая, дюжая из себя» (стр. 24); вот мужик хлебнул московской

водки и отплевывается, говоря, что у них «водка в Смоленске хмельнее и лучше» (стр. 25); далее мужики разговаривают о том, как «немец по пружине на телеграпе чихвири пишет» (стр. 25). Далее заезжий извозчик-ванька терпит горькую долю то от господ, дешево платящих за далекие концы, то от казака, везущего в часть арестанта, то от таких людей, которые от извозчиков уходят в проходные дворы. В этом очерке остроумие г. Голицынского разыгрывается самым роскошным образом. Не смешно ли в самом деле, что мужик говорит *Мантилья* вместо *Матильда*, *телеграп* вместо *телеграф*, *чихвирь* вместо *цифра*? Не смешно ли, что мужик не знает, что справляются об адресах в адресном столе или в полиции, что в московских кабаках продают разбавленную водку, что от Сухаревой башни до Зубова очень далеко и что бывают дома с проходными дворами? Выставить напоказ это незнание и посмеяться над ним с полным удовольствием и с беззаветным увлечением — вот цель автора в названном очерке, и, конечно, цель достигается вполне. Народность выводимых личностей тоже выражается вполне, как в их незнании, так и в их произношении. У нас еще до сих пор не перевелись писатели, которые характеризуют русского мужика тем, что он почесывает затылок, говорит *эфтот* вместо *этот* и коверкает иностранные слова. Гуманность этих писателей вообще, и г. Голицынского в особенности, заключается по большей части в том, что они, считая слово *мужик* грубым и обидным, представляют его в смягченном виде *мужичок*. Совершенно одобряя такого рода гуманное смягчение, я позволю себе заметить, что в таком случае было бы очень хорошо и удобно, а главное дело, гуманно говорить: *казачок* вместо *казак*, *солдатик* вместо *солдат*, *бабочка* вместо *баба*, смягчая таким образом постоянно слова, обозначающие собою низшие ступени сословий.

В рассказе «Прислуга» вся соль заключается в том, что лакеи, кучера, кухарки и горничные на чем свет стоит ругают своих господ, рассказывают о их любовных похождениях и отпускают друг другу площадные любезности и такие же остроты. Вот, например, сцена за воротами (стр. 35):

— Какой же это клуб на Цветочном бульваре? — спросили лукаво девушки.

— А мы там свой завели (отвечает кучер), тальянский, значит, с французским угощением... на немецкий лад.

Кучер опять откашлянулся, наклонил голову на сторону и запел под свою гармонию: «Вот на-а пути-и-и село-о большо-о-е, туда...» — Что ж орешками-то не попоштуете, — крикнул он неожиданно, щипнув за талью одну из слушательниц.

— Ах, чтоб тебе лопнуть! Жид ты эдакий! Перепугал до смерти! — крикнула та в свою очередь, изо всех сил треснув его по спине ладонью.

— Попоштуйте орехами-то, хоть крепки ли зубы попробовать.

— Нате вот, берите, коль не побрезгаете.

— Из вашего платочка завсегда очинно приятно, — отвечал ловелас с необыкновенною галантерейностью.

— Почему ж это?

— А потому не в пример скуснее орехи будут...«Его забилось ре-е-ти-во-ое и по-о-тих...» и т. д.

Были и до сих пор есть писатели, принимающие тривиальность за народность; употребляя слова *треснуть*, *лопнуть*, *тальянский*, *галантерейность*, *поштовать*, *скуснее* и восклицания вроде: *жид ты эдакий*!, г. Голицынский убежден в том, что, во-первых, он уловил букет народности и что, во-вторых, он создал сцену, исполненную неподдельного комизма и самого живого юмора. Писатели с посредственным талантом и с ограниченным даром наблюдательности не умеют воссоздавать народное миросозерцание и часто вовсе не подозревают его существования. Они подмечают только внешние угловатости и резкости, и потому их сцены из народной жизни, при бедности и бесцветности внутреннего содержания, отличаются аффектациею и подделкою народного разговорного языка. Иным это нравится, и немудрено; романы гг. Зотова и Воскресенского находят себе многочисленных читателей; выходки фарсёров в водевилях, дающихся для съезда и разъезда публики, возбуждают в райке громкий хохот и рукоплескания. Эстетические понятия и требования различных людей отличаются бесконечным разнообразием; почему же и г. Голицынскому не прослыть в известном кругу читателей юмористом и знатоком русской народности? Наше дело — показать, что́ в его книге можно встретить, чтобы предостеречь более разборчивую публику от разочарования. Комизм г. Голицынского далеко не изящен, но смеется каждый тому, что ему кажется смешным; смеялся же сослуживец Жевакина [1] над тем, что ему показывали палец, а между тем у кого же достанет духу быть за это в претензии на добродушного мичмана? Но если писатель позволит себе смеяться над тем, что в каждой гуманной личности должно возбудить чувство грусти, сострадания или ужаса, тогда мы вправе сказать и доказать, что такой смех — кощунство и что влияние его, по крайней мере на ту часть публики, которая верит авторитету печатной буквы, безнравственно и вредно. Это гаерство, которому нужен канат и дурацкая шапка, чтоб развлекать публику, а не любовь и симпатия к народу. Читая очерки г. Голицынского «Нищие» и «Представители толкучего рынка», я не мог отдать себе отчета в том, с какою целью написал их автор. Я даже сомневаюсь, чтобы сам автор сознавал в них какую-нибудь цель. Хотел ли он обличить плутни нищих и московских жуликов и должно ли поставить эту статью наряду с книгою г. Зоркина, обличающего плутни шулерской игры? Хотел ли он представить ряд очерков с чисто эстетическою целью, как писатель, изображающий «бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни»? Что он хотел сделать, мы не знаем; посмотрим же, что он сделал.

В очерке «Нищие» представлены *салопница*, «*бедный, но благородный человек*», *шарманщик*, и, наконец, очерчен вертеп или

подвал, в котором живут калеки-нищие, пробавляющиеся милостынею у входа в церкви, на паперти, на бульварах и на улицах. Почти во всех этих сценах мы имеем дело с поддельною бедностью, и автор везде обращает внимание не на степень материального недостатка, а на средства, которые употребляют бедняки, чтобы возбуждать сострадание народа. Он относится к самой бедности их холодно, а по поводу их пронырства и искусства притворяться дает полную волю своему натянутому юмору. Он чрезвычайно игриво острит и над салопницею, и над *«бедным, но благородным человеком»*, и даже над бедною девочкою, сопровождающею шарманщика и делающеюся жертвою разврата в таком возрасте, когда еще ни физические, ни нравственные силы не окрепли и не способны поддержать и предохранить ее от пагубного влияния окружающей среды. О салопнице он говорит например, что салоп «служит таким же отличительным признаком ее звания, как, например, для испанки мантилья» (стр. 9). О *«бедном, но благородном человеке»* приводится целая сцена (стр. 11), в которой такой проситель на ломаном французском языке обращается к состраданию порядочно одетого господина. Остроумие г. Голицынского остается верно себе: вся соль этой сцены заключается в искажении французских слов, которые даже для большей картинности напечатаны русскими буквами. Например:

«— Vous demandez *l'aumône?* * (спрашивает господин).

— Фи дон, лимон... (отвечает проситель), жё при сюр поврете, мусье». **

Веселость г. Голицынского не помрачается даже тогда, когда он рассказывает о том, что одного *«бедного, но благородного человека»* нашли замерзшим на улице. Остроумие его не сдерживается и перед трупом. Дело вот в чем. Однажды отставной чиновник выпросил у г. Голицынского гривенник, говоря, что ему необходимо ехать на Амур; на другой день утром, в присутствии г. Голицынского, поднимают на улице чей-то замерзший труп. «Представьте же мое удивление, когда, взглянув на его посинелое лицо, — продолжает автор, — я узнал вчерашнего амурца. И даже бронзовая медаль болталась у него в петлице. Доехал! — подумал я и спросил у квартального: куда ж вы теперь его повезете?» — Человек умер как собака, под забором, без приюта, без ласки и не возбуждает в г. Голицынском даже той жалости, какую невольно чувствуешь к страданиям животного. Я могу объяснить этот факт только гипотезою; вероятно, г. Голицынский заподозрил своего амурца в пьянстве и, возмущенный этою слабостью, отнесся к его жалкой кончине с добродетельным равнодушием и презрением. Но любопытно то обстоятельство, что сцена, расска-

---

* Вы просите милостыни *(франц.)*. — *Ред.*

** Испорченное франц.: «Fi donc, l'aumône... je prie sur pauvreté» — «Что вы, милостыню... я прошу на бедность». — *Ред.*

занная г. Голицынским, производит на читателя совсем не то впечатление, какого ожидал автор. Если кто из трех личностей, действующих в сцене, рассказанной г. Голицынским, способен подействовать на читателя тяжело и враждебно, то это, конечно, тот *я*, от лица которого идет весь рассказ. Бродяга, собиравшийся ехать на Амур, умер мучительною смертию, он погиб, как «собака под забором». Если квартальный отзывается о смерти человека совершенно равнодушно, то это извиняется его необразованностью или давнишней привычкою. Но что же сказать в оправдание того *я*, который, закутываясь в шубу, думает о замерзшем бедняке: «доехал!», что значит другими словами: «околел! туда и дорога!» А всего любопытнее то, что г. Голицынский даже не выделяет себя из этого *я*, не замечает, что это *я* нуждается в оправдании или в презрительном сострадании, и, довольный своею теплою шубою и неиссякаемым остроумием, переходит к другим забавным сценам. К числу таких забавных сцен относится аукцион на ребенка, происходящий в вертепе (стр. 18). К числу таких же сцен относится смерть ребенка в этом вертепе, смерть, которая рассказана так: «Мать видит, что ребенок действительно кончается, и начинает выть и причитать по привычке. Жильцы вертепа, бог знает почему, хохочут. Через час маленький герой наш умирает, и — finita la commedia» * (стр. 20). Что за наглый цинизм! Кто дал право г. Голицынскому относиться так грубо к лучшим чувствам человеческой природы! Мать — нищая, развратная, безносая женщина, как неоднократно (стр. 19, 20) с каким-то особенным удовольствием повторяет г. Голицынский; так что же из этого? Разве она не может любить своего ребенка? Она отдает его напрокат другим нищим старухам, она торгует им, она поступает отвратительно, но что же из этого? Разве в минуту агонии ребенка в ней не может проснуться материнское чувство, усиленное внезапно выступившими угрызениями совести. Надо быть сердцеведцем, надо быть богом, чтобы осмелиться сказать, что эта несчастная мать воет и причитает *по привычке*. Жильцы вертепа смеются — немудрено! Образованный человек, литератор находит сказать только — finita la commedia; было бы удивительно, если бы нищие не смеялись и не глумились над смертью бедного ребенка; осуждать их за это несправедливо, можно только заметить, что сцены, подобные описанной, составляют клевету на человечество. Они могут войти только в протокол уголовного процесса; многое совершенно неправдоподобное случается иногда в действительности, но мы не поверим художнику, если он представит нам в своей картине эти случайности и исключения, потому что исключительные положения не дают материала для типа, а только могут быть до некоторой степени объяснены случайным и странным стечением обстоятельств. В природе встре-

* Конец (букв.: комедия кончена) *(итал.)*. — *Ред.*

чаются, может быть, совершенные злодеи, но нужен колоссальный талант, чтобы заставить поверить в возможность такого злодея, представленного в литературном произведении. Если смерть ребенка в вертепе нищих происходила перед глазами самого г. Голицынского, тогда холодный цинизм, с которым она рассказана, приведет читателя в ужас. Если эта сцена создана фантазиею автора, тогда это лишний камень осуждения, брошенный без особенной причины в класс людей, который нуждается в сострадании и который безусловно презирать — несправедливо, чтоб не сказать больше. Народные пороки — вопрос до такой степени серьезный, что к нему надо относиться осторожно, с знанием и пониманием дела, с полною способностью сочувствовать несчастному и с полным желанием простить и оправдать то, что упало в грязь случайно и стремится из нее выйти. В подобных случаях всегда лучше быть слишком мягким, нежели слишком жестоким; изящнее, справедливее и гуманнее тот сердобольный купец или мужик, который подаст нищему грош, не справляясь даже о его нравственности, чем тот писатель-обличитель, которому во всяком оборванном просителе мерещится тунеядец, обманщик или мошенник. Г. Голицынский так презирает поддельную бедность, что рядом с нею решительно не дает места истинной бедности. Эта брезгливость не достойна ни художника, ни развитого человека. Подумайте, что такое поддельная бедность! Заслуживает ли она действительно такого безжалостного осуждения? Если просит милостыню человек, имеющий состояние, то это болезнь, мономания. Если человек, действительно не имеющий средств и даже работы, прикидывается калекою, то он выставляет только яркую вывеску того положения, в котором действительно находится. Нищенство — занятие очень неизящное; нищенство развращает того, кто им питается, — это справедливо, но нищенство не излечивается тем величавым презрением, с которым вы будете смотреть на бедняка. Амурец, которому г. Голицынский дал гривенник, был очень здоров, однако это не помешало ему замерзнуть; стало быть, он действительно был в крайности, потому что даже автор «Уличных типов», строгий censor morum, * не говорит положительно о том, что он замерз в пьяном виде. Зачем, скажете вы, здоровому человеку нищенствовать и пить, когда он может работать? Да разве, отвечу я, всякому здоровому человеку так легко найти себе работу? Вы без рекомендации не наймете дворника, не пустите к себе в дом кухарку, тем более не дадите работы человеку, протягивающему вам руку на улице. А может быть, есть между нищими и такие люди, которые душою рады были бы найти себе занятия. Может быть, униженные случайно, эти люди стремятся выйти из своего тяжелого положения, но их отталкивает окружающее общество, и они медленно развращаются

---

* Блюститель нравов *(лат.)*. — *Ред.*

и мирятся с жизнью тунеядца и бродяги. Сидя без хлеба и без места, отведавши случайно, в крайности, дарового пропитания, молодой и здоровый малый может совершенно испортиться, отбиться от работы и поступить в разряд поддельных калек. Жалкое падение, скажем мы, но это падение, как и бо́льшая часть человеческих пороков, простительно и заслуживает сострадания, а не презрения. С распространением грамотности развивается обыкновенно трудолюбие, и, следовательно, уменьшается число тунеядцев и нищих. Содействовать такого рода усовершенствованиям — дело каждого честного гражданина, но кто же станет этому содействовать. У кого хватит духу смеяться над тем, в чем проявляется слабость человеческой природы во всей своей ужасающей наготе? Кто способен стать к очерку г. Голицынского в критические отношения, тому он покажется жалок и смешон; кто увлечется юмором автора, тот вместе с ним погрешит против справедливости и здравого смысла.

«Представители толкучего рынка», конечно, бледнеют перед очерком «Нищие». Автору не приходится иметь дело с такими мрачными явлениями жизни, и потому остроумие его уже не производит на читателя такого сильного и странного впечатления. В этом очерке любопытно и поучительно заметить только то, что автор с особенным удовольствием напирает на подробности, напоминающие романы Поль де Кока; но у Поль де Кока эти подробности наивны и веселы, а у г. Голицынского они просто плоски и грязны. Он любит останавливаться на таких подробностях, в которых, по его мнению, лежит и особенность русского народа и местный колорит московского толкучего рынка. Как ест русский мужик, и чем от какой рыбы пахнет, и как поддерживается теплота в кушанье на открытом воздухе — все это описано с такою любовью, что иностранец мог бы подумать, что русская народность без этих особенностей невообразима. Опять мы скажем: «вольному воля!» Остроумие г. Голицынского мне кажется плоским и натянутым, но ведь много у нас на Руси такой публики, для которой двусмысленный, часто очень топорный анекдот стоит любой комедии Островского; что же с этим делать? Как ни грустно признаться в этом, а можно быть уверенным, что книга «Уличные типы» разойдется хорошо и что, читая ее, многие православные будут надрывать животики. Приятно по крайней мере встретить в этой же самой книге приговор над нею в беседе двух букинистов. Обсуживая состояние современной книжной торговли, один из этих промышленников замечает между прочим, что книжка «Старичок-весельчак, рассказывающий старинные московские были», [2] вышла шестым изданием и «ходко идет». Этими словами букиниста г. Голицынский, очевидно, дает публике урок и старается показать ей, что она раскупает дрянь и ею услаждает свои досуги. Но мы пожалели бы и букиниста и публику, если б этот урок послужил в пользу и был применен к оценке разобранной нами книги. «Улич-

ные типы» г. Голицынского составляют на русской почве подражание бесчисленным юмористическим изданиям, наводняющим французскую литературу и потешающимся над смешными и плачевными сторонами народности. Все эти издания, начиная с самого роскошного «Le diable à Paris», * отличаются гласированною бумагою, прекрасным выполнением рисунков и замечательною пустотою содержания. Все эти качества замечаются в книге г. Голицынского, конечно в ослабленном виде, как и следует ожидать от подражания. О пустоте содержания мы уже говорили; о внешности издания нельзя не отозваться с похвалою. Бумага и шрифт хороши; а рисунки напоминают собою манеру Гаварни и выполнены опытной и искусной рукой. Даже жаль, что издержки издателя и талант художника потрачены на такую ничтожную книгу. Эта книга сама по себе, конечно, не стоила такого подробного разбора, но я решился отдать ей несколько страниц, потому что она грубо и неловко затрогивает предмет, близкий сердцу каждого честного человека. Грустно видеть, когда гримасничают, кривляются и глумятся над таким предметом, который любишь горячо, искренно и сознательно, над предметом, которому даровитые деятели посвящают лучшие труды свои, к которому избранные люди приступают с любовью и уважением. Тут поневоле зашевелится в душе негодование, и невольно подумаешь, что, проходя молчанием постыдное кощунство, делаешься его пассивным соучастником и ободрителем. В оправдание книги г. Голицынского сказать нечего. В извинение самого автора можно привести разве то обстоятельство, что он сам не ведает, что́ творит; и в этом лучшее оправдание его перед судом критики.

1861 г. Январь

---

* «Черт в Париже». [3] — *Ред.*

НАРОДНЫЕ КНИЖКИ

(Русская азбука для народных школ и для домашнего обучения по новейшей простейшей методе. Издание Лермантова и комп. 1860. — Русская азбука с наставлением, как должно учить. Второе издание, значительно дополненное. В. Золотова. Издание товарищества «Общественная польза». 1860. — Хрестоматия. — 28 басен русских баснописцев Измайлова, Хемницера, Дмитриева и Крылова. Издание Лермантова и комп. 1861. — Беседы в досужее время. Рассказы для чтения простому народу. Издание А. Станюковича. 1860. — Дедушка Назарыч. Рассказ А. Погосского. 1860. — Первый винокур. Древнее сказание. — Механик-самоучка Кулибин. Соч. И. Троицкого. Из «Народного чтения». 1860. — Дядя Тит Антоныч учит, как надо любить ближнего. Соч. Н. С. 1861. — Княгиня Ольга, первая русская правительница-христианка. Соч. Н. С. 1861)

Наконец общество начинает сознавать, что на нем лежит обязанность — делиться с народом знаниями и идеями. Вероятно, многие из книг, поименованных в заглавии моей статьи, написаны с добросовестным желанием принести пользу; вероятно также, что некоторые из них составлены с промышленною целью; но и это не беда. Составить предмет спекуляции может только такое предприятие, которого необходимость вошла в общественное сознание. Разумеется, книга, написанная для народа только ради торгового сбыта, не делает чести нравственному чувству ее составителя, но самое существование подобной спекуляции — факт отрадный, потому что он указывает на большой запрос или по крайней мере на возможность подобного запроса в ближайшем будущем. Необходимость народного образования вошла в общественное сознание, но между теоретическим и практическим решением вопроса лежит целая бездна. Давно ли в наших журналах рассуждали и спорили о том, нужна ли и полезна ли для народа грамотность? [1] Вопрос этот решен утвердительно, но самая возможность подобного спора, самая необходимость доказывать аксиому служит осязательным примером того, как ново и непривычно для нас дело народного образования. И это не удивительно. Потребность умственного

прогресса была отодвинута в нашей жизни на задний план, и мы вместо истинного образования довольствовались одними внешними условиями его; мы не видели или, лучше, не хотели видеть, что позади нас есть миллионы других людей, которые имеют одинаковое право на человеческую жизнь, образование и социальное усовершенствование. Теперь мы сознаем, что без этих миллионов людей мы не далеко уйдем с своей привозной цивилизацией и с своим просвещением, взятым напрокат. Таким образом, великой задачей нашего времени становится умственная эманципация масс, через которую предвидится им исход к лучшему положению не только их самих, но и всего общества. Школой нашего воспитания является весь народ, а воспитателем его образованное меньшинство. В теории мы знаем, что надо делать. Надо изучить характер воспитанника, взвесить те обстоятельства и обстановку его прежней жизни, которые могли иметь влияние на склад его способностей и жизни, надо честным и откровенным обращением приобресть его доверие, надо узнать его насущные потребности и наконец, ощупав действительную почву, взяться за дело так, как потребуют обстоятельства, как бог на душу положит, не ожидая от теории решения таких вопросов, которые должны решаться на месте, путем какого-то наития и творческого вдохновения. С такими требованиями каждый развитой человек имеет право обратиться к любому порядочному воспитателю, и, вероятно, в этих требованиях не будет ничего преувеличенного. Если же нельзя браться кое-как, с налета, за воспитание ребенка, то тем более нельзя с кой-какими теоретическими сведениями приступать к воспитанию народа. В первом случае мы рискуем приготовить обществу дурного гражданина, может быть несчастную жертву порока; во втором — мы принимаем на себя тяжелую ответственность за свою нацию. И если жалко видеть отдельное лицо, испорченное ложным воспитанием, то с каким же чувством мы должны смотреть на умственный разврат всего народа? К сожалению, мы редко задумываемся над этим вопросом и, облачаясь в сан воспитателя его, оказываем ему услугу, подобную той, какую в басне Крылова оказал медведь спавшему пустыннику. Говоря вообще, мы плохо понимаем требования народной жизни, хотя и много кричим на эту тему. Теоретики, фразеры, реформаторы с высоты величия отвлеченной мысли, доктринеры, фанатики, готовые умереть на словах за честь своего знамени, энтузиасты, крикуны и махатели руками расплодились неимоверно в нашем рассыропленном обществе. Предприятия возникают и лопаются; теории в один день создаются и распадаются; все как будто заняты, а дело двигается медленно вперед. Мы никогда не отличались особенной энергией, но теперь на всех заметна апатия, лихорадочные порывы и вслед за ними какая-то нравственная усталость и беспощадное равнодушие. Первое препятствие охлаждает нас, первая неудача отбрасывает наши силы в совершенное бездействие. Притом мы

давно привыкли думать, что великие дела можно делать посредством маленьких людей, между тем для добросовестного выполнения и маленького дела нужен если не великий, то хороший человек. Мы эту истину ценим мало; и я уверен, что, остановив на улице тридцать встречных и предложив им быть воспитателями народа, мы получим отказ разве от одного: все прочие точно так же возьмутся за этот труд, как они взялись бы за переписывание бумаг. Это признак совершенного непонимания общественных интересов и крайнего презрения к ним.

Встречаясь с слабыми и бледными попытками провести в народное сознание несколько светлых мыслей, я прежде всего считаю нужным выяснить до некоторой степени те формы, в которых вообще может и должна проявиться пропаганда. И педагог, и поэт, и учитель, и профессор — пропагандисты, которых влияние, конечно, обусловливается их личными свойствами и достоинствами; но между пропагандою поэта и педагога нельзя не заметить существенной разницы. Поэт не видит перед собою публики и не рассчитывает на нее, не взвешивает каждое слово и не предлагает себе на каждом шагу вопроса: какое впечатление произведу я на современное общество. Создавая по внутренней необходимости, выделяя из себя то, что накопилось и накипело в груди, он весь занят своим предметом, весь живет в мире вызванных им образов и, кроме этих образов, в минуту творчества не видит ничего, да и не должен ничего видеть. Связь между поэтом и обществом неизбежна, но она существует помимо воли поэта, и поэт не делает, да и не должен делать ни шагу, чтобы скрепить или ослабить эту связь. Связь эта основана на том, что поэт переживает с современниками и горе, и радость, и надежды, и опасения, и моменты юношеской веры, и годы мучительных сомнений и тяжкого раздумья. Он переживает все это вместе с нами, но чувствует живее нас, оттого наша неясная грусть или тревожная, но еще не сознанная и почти беспричинная радость в созданиях поэта принимают плоть и кровь; оттого-то поэт учит нас, не говоря нам ничего нового.

В пропаганде педагога, напротив того, все соображено, размерено и клонится к пользе воспитываемой личности. Его пропаганда должна быть последовательна и строго сообразна условиям времени, личности и степени ее развития. Насколько поэту необходима искренность чувства, настолько педагогу необходима постоянная наблюдательность и осторожность как в выборе предмета, так и в процессе его изложения. Чистый тип поэта и педагога, вероятно, не встречается в природе, потому что вообще не встречается воплощений отвлеченных качеств. Чтобы быть поэтом в деле народного образования, надо стоять на одной почве с народом, надо горячо любить его, и притом любить просто и без претензий, надо силою непосредственного чувства понимать и его невысказанное горе, и несознанные надежды, и невыяснившиеся

стремления. Кроме Кольцова, вряд ли кто-нибудь из наших замечательных поэтов умел в своих произведениях жить одною жизнью с той массою людей, которая нуждается в умственном содействии со стороны образованного меньшинства. Ни Пушкин, ни Лермонтов не могли проникнуть творческою мыслью исключительно в народное миросозерцание, потому что все их внимание было поглощено анализом окружающей их полурусской среды, сложившейся под влиянием акклиматизации европейского этикета, европейских предрассудков и отчасти европейских идей и воззрений. Эту среду, в которой они выросли и развились, наши поэты поняли и изучили; что же касается до простого народа, с которым каждый из нас имеет чисто внешние отношения, то из него наши поэты брали некоторые характерные фигуры, но при этом постоянно останавливались на одной внешней стороне явления. Они представляли лакея, крестьянина, фабричного и т. п., но, кроме подробностей костюма и обстановки, кроме копирования домашнего быта и языка, кроме воспроизведения внешних отношений, в их произведениях не было ничего такого, в чем выразилось бы понимание внутренних и существенных особенностей русской жизни. Осип в «Ревизоре», Петрушка и Селифан в «Мертвых душах» — живые люди, это бесспорно, но они схвачены только с внешней стороны, как лица, составляющие декорацию, обстановку и потому не заслуживающие особенно тщательного рассмотрения. Все, что они говорят, — верно; все это непременно было бы сказано русским дворовым человеком, находящимся в их положении, но все это, взятое вместе, так незначительно, что никаким образом не дает читателю средства проникнуть во внутренний мир этих личностей. После Гоголя дело сближения образованного класса с народом подвинулось вперед; главными действующими лицами романов и повестей стали являться русские мужики и бабы, но и здесь анализ скользит по одной поверхности. Романы из народного быта рисовали и рисуют нам не столько характеры, сколько положения. Если есть драматическая борьба, то она замыкается в круг чисто внешних происшествий. Через это все характеры являются в напряженном состоянии, и мы видим не естественное и спокойное развитие жизни, а нравственные судороги, которые не позволяют нам делать какие бы то ни было заключения о выражении лиц в обыденные, будничные минуты жизни. На это мне, может быть, скажут, что трудовая, пасмурная жизнь крестьянина так бесцветна и однообразна, что собственно человеческие стороны его личности выражаются только проблесками, в те минуты, когда заговорит ретивое и когда наш простолюдин на несколько мгновений стряхнет с себя тяжелую и вынужденную апатию.

Но это возражение опровергается песнями Кольцова, относящимися так часто и с такою любовью к этой заунывной, трогательной стороне народной жизни, состоящей из длинного ряда

однообразных трудов, крупных и мелких лишений. Притом замечу, что только незнание русского человека и человека вообще может решить так смело и голословно, что обыденная жизнь простолюдина сама по себе бесцветна и пуста. Народ ближе нас стоит к природе и смотрит на окружающий его мир яснее, чем мы, потому что взгляд его не омрачен предубеждениями и ложными понятиями нашей жизни. Но потому-то нам и трудно наблюдать и анализировать внутреннюю сторону народной жизни. Мы обыкновенно подступаем к ней с предвзятыми идеями и даем свой собственный, произвольный смысл действительным явлениям. Кто, например, понял и верно выразил отношения крестьянина к любимой им женщине? Изображая отношения между влюбленными, наши романисты большею частью рисовали нам сцены, созданные воображением, сцены, за верность которых не поручится ни сам автор, ни внутреннее чутье читателя. «Свидание», описанное в «Записках охотника» Тургенева, составляет в ряду подобных сцен редкое исключение, но при этом не должно упускать из виду обстоятельство, которое придает всей сцене живой и своеобразный колорит. Тургенев выставляет контраст между девственною, свежею душою молодой крестьянки и засушенною и пошлою натурою лакея, любимца барина. Внешнее положение действующих лиц само по себе так характеристично, что оно совершенно овладевает вниманием читателя и совершенно выкупает в его глазах недостаток анализа самого чувства. Семейные отношения точно так же были недоступны правильному наблюдению наших писателей; мы знаем, что отец — хозяин в доме, что муж распоряжается с женою деспотически, что жена считает такой порядок вещей естественным и законным, что взрослые дети ходят в страхе перед стариком отцом; но все эти сведения очень похожи на приметы, выставляемые в паспортах и отпускных билетах; живое явление жизни трудно исчерпать описанием; его надо прочувствовать и пережить на самом себе; если бы какой-нибудь путешественник, проживший лет десять в Парагвае или на Сандвичевых островах, написал роман из тамошних нравов, мы, вероятно, с большим любопытством остановились бы на описании местных обычаев, обрядов, образа жизни, быта и предрассудков, но в то же время имели бы полное право усомниться в жизненной верности и полноте выведенных характеров и изображенных личностей. А между тем, читая романы из народного быта, публика наша думает, что имеет дело с действительной народной жизнью. Спрашивается: разве различие между каким-нибудь парагвайцем и европейским туристом значительно больше того различия, которое существует между русским простолюдином и русским писателем? Разве между простолюдином и писателем есть какая-нибудь связь, кроме единства языка и места рождения? Разве отношения простолюдина к писателю искреннее, задушевнее и ближе отношений парагвайца к заезжему евро-

пейцу? Мы любим народ или по крайней мере воображаем себе, что любим, потому что мудрено действительно любить того, кого мы почти не знаем, но народ не любит нас и не верит нам. Мы для него до сих пор ровно ничего не сделали, мы его трудами жили в течение столетий, и он это помнит тою самою памятью, которая до сих пор хранит в народной песне воспоминания о Дунае-реке и о Владимире—Красном солнышке. Кто станет винить нашего мужика в том, что он в каждом одетом по-европейски господине видит человека, с которым надо держать ухо востро и с которым пускаться в откровенность не следует ни под каким видом? — Как бы то ни было, мы должны признаться, что при настоящем положении дел изучение народности только что начинается; мы едва начали распознавать ее существенные признаки, мы не можем даже дать внешнего описания народного типа, стало быть, вывести этот тип в художественном произведении еще нет никакой возможности. История разлучила нас с ним гораздо ранее Петра. До сих пор, сколько можно припомнить, народная инициатива выразилась только в эпоху самозванцев да в 1812 году; во все остальное время народ наш представлял собою огромную массу, повиновавшуюся данному извне толчку по силе инерции и принимавшую любую форму, смотря по тому, откуда чувствовалось давление. — На основании всего сказанного можно допустить предположение, что едва ли поэтическая и педагогическая пропаганда по силам нашему поколению. Нашей поэтической пропаганды народ не поймет, потому что мы говорим на двух разных языках, живем в двух разных сферах и в умственных наших интересах не имеем ни одной, да, ведь ни одной точки соприкосновения. Что волнует лучших людей нашего общества, что заставляет их стремиться к отвлеченной истине, к знанию ради знания, что заставляет их страдать и радоваться муками творческого рождения, то, конечно, покажется всякому здравомыслящему, но неразвитому простолюдину искусственною потребностью, прихотью барства, следствием изнеженной и праздной жизни. Эстетические понятия наши расходятся так же сильно с понятиями нашего народа; что нам кажется превосходным, вызывает наш ум на усиленную деятельность, а в душе будит целый мир неясно сознаваемого чувства, то, наверное, покажется народу слишком бледным, потому что требования его фантазии и сердца гораздо шире и проще наших. Словом, расстояние между нашими воззрениями и наклонностями до сих пор еще так велико, что оно исключает всякую возможность непосредственного понимания. Нам достаточно было бы развернуть перед народом наше миросозерцание во всей его полноте, чтобы внушить ему недоверие и боязнь. Есть такие народные верования и предрассудки, которые невозможно затрогивать грубо и неосторожно; их надо разрушать исподволь, надо вести народное развитие, не касаясь их прямо и предоставляя их устранение времени и здравому смыслу. —

Стало быть, надо действовать педагогически, т. е. приноравливать свое изложение к понятиям слушателя и не сходить с его точки зрения. Но для педагогической деятельности необходимо, чтобы, во-первых, воспитатель знал своего воспитанника вдоль и поперек и чтобы, во-вторых, между воспитателем и воспитанником существовало полное доверие. В последнем случае нам представляется величайшее затруднение. Мы можем возвратить доверие народа только тогда, когда станем к нему снисходительными братьями. Доселе мы искали только одних прав и расширения произвола в отношении массы, но не хотели знать, что, кроме прав, есть и обязанности с нашей стороны.

Высказав свое мнение о народной литературе вообще, приступлю к разбору фактов, т. е. вышедших для народа книжек. Этот разбор фактов подтверждает мое заключение, сделанное *a priori;* скажу более: он приводит к результату гораздо более печальному, чем можно было ожидать. Если бы принять совокупность лежащих передо мною книжек за *maximum* того, что может дать народу пишущая Россия, то можно было бы подумать, что у нас нет ни одного таланта, ни одного человека, любящего народ.

В этих книжках даже нельзя указать на слишком большие ошибки, потому что они ниже ошибок. Если бы составители этих книжек имели какое-нибудь понятие о своей задаче (т. е. о народе, для которого пишут, и о предмете, по которому пишут), то, хотя бы это понятие было ложное, самое существование его отразилось бы в большей жизненности и теплоте изложения. Но в этих книжках нет ни мысли, ни направления, ни понимания народности; это даже не книги, это бумага, более или менее серая, напечатанная более или менее убористым шрифтом, с большим или меньшим числом опечаток. — Четыре книжки, именно две азбуки и два сборника стихотворений, по многим причинам должны быть изъяты из общего разбора, и потому я теперь же скажу о них несколько слов. Обе азбуки составлены по новой методе, и в них обучение начинается не с букв, а с целых слов; эта метода, признанная современною педагогикою, действительно рациональнее прежней методы и отличается большими практическими удобствами. Когда русскому человеку говорят русское слово, он его понимает, но когда неграмотному человеку называют букву, он решительно не в состоянии понять, что это такое. Факты доказывают нам, что в истории изобретения письмен буквенная система занимает высшую и последнюю степень и что гораздо прежде разделения слов на буквы находилось в употреблении письмо, изображающее самые предметы или символически указывающее на идею того слова, которое нужно было написать. Не слово составилось из букв или звуков, а, напротив того, звуки произошли оттого, что аналитическая деятельность ума разложила существующие слова и нашла в них общие составные части, элементы, которые сами по себе, самостоятельно никогда не су-

ществовали. Требовать такой аналитической деятельности от человека неграмотного и мало мыслившего нельзя; поэтому необходимо, чтобы учитель на наглядных примерах показал ему, как слова делятся на слоги, а слоги на буквы, и на этом основании метода, предлагаемая двумя названными мною азбуками, во многих отношениях облегчает первоначальное обучение, которое было так скучно и утомительно для учителя и для ученика. Честь изобретения этой методы принадлежит европейским педагогам; применена она в обеих азбуках недурно, но, сколько мне кажется, она лучше применена в издании Лермантова и комп. В азбуке г. Золотова воспитанник, прочтя при помощи учителя девять двусложных слов, в первом же упражнении переходит к слогам и даже к буквам; в азбуке Лермантова этот переход делается нечувствительно; там ученик прочитывает ряд слов, очень коротких и сходных между собою по своим составным частям, например: *ты, то, та, — ты, мы, вы*. Видя сходство в написании и созвучие в произношении, он естественно проводит параллель между тем и другим и собственным умом доходит до понимания отдельных букв; это возбудительное влияние, которое азбука может оказать на самодеятельность мысли, особенно важно и полезно, потому что оно ободряет ученика и облегчает учение. В обеих азбуках есть несколько страниц упражнений; на них, как это бывает во всех дюжинных азбуках, есть и нравоучения, и арифметика, и статистические сведения о России; все там есть, и зачем оно туда попало — единому богу известно. Азбуки изъявляют желание быть энциклопедиями и через это перестают быть хорошими азбуками. Достаточно было бы, кажется, дать ученику, выучившемуся читать, страниц 20 занимательного и понятного чтения, чтобы приохотить его или, пожалуй, просто чтобы дать ему средства с удовольствием почитать под руководством учителя; но из чтения истории, арифметики, правил общежития и из всех этих отрывочных полусведений выходит такая скучная и бесполезная смесь, что ученик, конечно, не в состоянии будет ни прочесть ее с удовольствием, ни приобрести из нее какое-нибудь действительное знание. На двух страницах азбуки г. Золотова (26 и 27) говорится об именованных числах, о календаре, о древней истории, о сотворении мира, о рождестве христовом, евангелии и об основании российского государства. Прочтя такие две страницы, невольно вспомнишь о том уездном учителе, который в один урок прочитал от ассириян и вавилонян до Александра Македонского и даже в заключение сломал казенный стул. Вот, например, о древней истории: «Во все это время (от сотворения мира до 1860 года) жили разные народы; самыми древними из них были египтяне, вавилоняне, евреи, римляне, греки и многие другие», а далее уже следует об откровенном законе Моисея и о рождестве христовом. А вот из азбуки Лермантова статья из отдела «Основные законоположения»: «Власть родительская про-

стирается на детей обоего пола и всякого возраста, с различием и в пределах, законами для сего постановленных (Св⟨од⟩ Зак⟨онов⟩. Т. X, ст. 158)». Насколько, прочитав эти строки, ученики получат понятие о древней истории и о пределах родительской власти в России — это я предоставляю решить самим составителям. Есть родители и воспитатели, которые, желая своим детям и воспитанникам добра, говорят: пускай всему учится, все пригодится; не узнает всего вполне, по крайней мере получит какое-нибудь понятие. В отношении к понятию эти педагоги чрезвычайно нетребовательны; они часто называют понятием одно слово, одну фразу, часто просто имя собственное.

С этой точки зрения можно, пожалуй, оправдать приложения к азбукам Золотова и Лермантова, но я позволю себе держаться мнения диаметрально противоположного и потому замечу, что нехорошо и недобросовестно заваливать память человека, которому придется в будущем многому учиться; это значит злоупотреблять правами учителя и терпением ученика. — Оба сборника стихотворений отличаются вычурностью обертки и совершенною случайностью в выборе помещенных пиес. Любопытно было бы спросить у господ составителей, какой цели старались они достигнуть своими сборниками, нравственной или эстетической? Хотели ли они дать народу назидательное чтение или просто познакомить его с лучшими произведениями русской поэзии? Отвечать на этот вопрос я предоставлю им самим, а от себя скажу только, что они не достигли никакой цели. Первая цель вообще недостижима, потому что исправить нравственность человека баснями и поучениями невозможно. Вторая цель не достигается по причине крайней неразборчивости составителей. Плохие басни Дмитриева и Измайлова без малейшего выбора ставятся рядом с баснями Крылова; и к чему все это, и почему это предназначается для народа, и что может, по расчетам составителя, найти народ в этих книжках — не знаю, да и считаю лишним исследовать. До сих пор я имел дело с такими книгами, которых идеи собственно не подвергались критике. В азбуках мы видели применение известной методы; в сборниках — перепечатку давно известных произведений. Составителям принадлежали только расположение частей и выбор. И то и другое оказалось неудовлетворительным; посмотрим, что дадут нам книги, не *составленные*, а *написанные* для народа.

В числе этих книг есть беллетристические опыты («Первый винокур» и «Дедушка Назарыч»), нравственные рассуждения («Дядя Тит Антоныч учит, как надо любить ближнего»), попытки популярно изложить начала физики («Беседы в досужее время») и два биографические очерка («Княгиня Ольга» и «Механик-самоучка Кулибин»). Рассмотрю сначала повести. Древнее сказание «Первый винокур» написано с дидактическою и полемическою целью и напоминает наивные проповеди против пьянства, кото-

рыми так богата наша древняя церковная литература. Глас вопиющего в пустыне раздается до нашего времени; желание наговорить читателям множество душеспасительных поучений, желание исправить народную нравственность фразами живет, как видно, и в нашем веке. Кто берет в руки перо, чтобы писать для народа или для детей, тот непременно задает себе какую-нибудь благонамеренную задачу, неуклонно стремится к достижению своей добродетельной цели, не обращая внимания на бедность собственной фантазии, и заканчивает свое скучное произведение — нравоучением, которое выражает собою всю идею и венчает дело. В этом разряде литературных произведений применяется, как видно, самым оригинальным образом знаменитое положение Макиавелли: «цель оправдывает средства». Автор древнего сказания «Первый винокур» ставит себе великую и полезную задачу отучить народ от пьянства и очернить в общественном мнении не только откупщиков, но даже и винокуров.

Желая внушить мужику отвращение к пьянству, он рассказывает, что курение вина идет от дьявола и что первый винокур был чертенок, посланный на землю самим сатаною, чтобы сотворить людям великую пакость. Автор не сообразил, какое влияние может произвести его брошюра. Я с своей стороны думаю, что она будет совершенно оставлена без внимания, но автор, решившийся писать и издавать рассказ с нравоучительною целью, по всей вероятности рассчитывал на то, что народ поверит его доводам и будет сочувствовать его идеям. Если автор таким образом смотрел на вещи, то он сделал непростительную педагогическую ошибку. Пьянство вредно, в этом спору нет, но народное суеверие, исключающее всякую возможность разумного и здорового миросозерцания, составляет не меньшее зло, и притом такое зло, против которого может и должна бороться литература. Что же делает рассказ «Первый винокур»? Поражая пьянство, он поддерживает дикие народные предрассудки. Он ратует против пьянства теми самыми доводами, которыми народ ополчался против табаку, против картофеля, против железных дорог, словом, против всякого заморского изобретения. «Православные люди, — говорит автор, — это дьявольское наваждение; отплевывайтесь и открещивайтесь от него». И с такою логикою, с такими литературными приемами люди берутся учить народ, просвещать и гуманизировать его. Наш народ верит во все сверхъестественное, в чертей, в колдунов, в домовых, в леших, в водяных, в русалок, в ведьм, оборотней и знахарок; и вдруг ему представляют нравоучительный рассказ, которого главные действующие лица взяты из преисподней и созданы самою безобразною и в то же время бессильною фантазиею. Хороши народные воспитатели, которые укореняют и узаконяют народные предрассудки и делают из них пугала для поддержания народной нравственности и первобытной простоты нравов. К сожалению, должно сознаться, что, несмотря на дикое

направление, этот рассказ написан живым языком и что народ может понять его и, сколько мне кажется, прочесть с удовольствием. Художник, если бы его воображению представились гибельные последствия пьянства для народной нравственности, воплотил бы эту идею в простом, безыскусственном образе, взял бы материалы из живой действительности и написал бы такую картину, которая для читателей всех сословий имела бы свой смысл и всем им сказала бы свое слово. Взялся за ту же идею проповедник, нагородил вздору, состроил фантастическую историю, не принес ни малейшей пользы, а может быть, даже сбил с толку какого-нибудь простодушного и доверчивого читателя.

Другая повесть г. Погосского «Дедушка Назарыч», не представляя никаких положительных достоинств, не бросается в глаза яркими недостатками. Г. Погосский недурно владеет языком, не употребляет высокопарных выражений, непонятных для народа, но в его литературных приемах есть некоторые странности, показывающие, что он не художник; он подделывается под солдатский говор и испещряет свои страницы разными замысловатыми метафорами, непонятными для непосвященных. Огород он сравнивает с фронтом солдат, кочни капусты расставлены у него по ранжиру и образуют шеренги, словом, фантазия автора черпает из военного артикула богатый запас сравнений и образов.

Такого рода приемы встречаются очень часто в такой литературе, которая предназначается для публики, стоящей ниже автора по умственному своему развитию. Вместо того чтобы возвысить ее до себя, автор сам унижается до нее и перенимает ее дурные привычки или невольные ее уклонения от разумности и естественности. Не может быть, чтобы г. Погосский сам находил свои воинственные сравнения изящными и уместными. Скалозубы вообще не любят литературу и относятся к ней с пренебрежением, а г. Погосский, как издатель «Солдатской беседы», [2] сам доказывает фактически, что не таковы его наклонности и убеждения. А подделываться под вкус публики, которую желаешь развить и гуманизировать, значит подчиняться нравственному влиянию своего ученика и исполнять и предупреждать его нелепые капризы. Мы знаем, чтó наш народ считает изящным, и однако, стараясь подвинуть вперед его эстетическое образование, не станем распространять по дешевой цене лубочные картины с безграмотными и бессмысленными подписями. Современная педагогика дошла до того убеждения, что надо воспитывать преимущественно и прежде всего человека, что даже склад ума и наклонности воспитанника должны иметь влияние на состав энциклопедического преподавания, т. е. что будущий гуманист, [3] будущий математик, юрист, офицер, администратор, технолог должны получить прежде всего одинаковое общее образование, которое бы возвысило и укрепило в них чувство и сознание собственного человеческого достоинства. Узкая специальность и неорганическое обособление

отдельных сословий ведут к духу исключительности и нетерпимости, дробят народность и сознание национального единства. Дельность специалиста не исключает в нем общительности и не должна развиваться в ущерб человеческим качествам ума и сердца. Можно быть храбрым солдатом и не класть всю душу в выправку и ружейные приемы. Можно быть опытным фронтовиком и выражаться общечеловеческим и общепонятным языком. Кроме несовершенств внешнего изложения, можно еще заметить в рассказе г. Погосского один существенный недостаток. Спрашивается: почему именно старый солдат выбран г. Погосским для того, чтобы украситься всеми лучшими качествами человека. Почему именно идеалом добродетельного старика является старый солдат. Если это сделано в назидание читателям-солдатам, то я упрекну г. Погосского в дидактизме, который, как неоднократно бывало доказано, никогда не достигает даже своей узкой и ограниченной цели. Жизнь, полная деятельности, тревог и лишений, жизнь походная и бивачная, отсутствие своего крова, оторванность от семьи заставит неразвитого человека съежиться в самом себе, но никак не доведет его до той идиллической мягкости, которою отличается все поведение Назарыча.

«Беседы в досужее время» до некоторой степени напоминают те энциклопедические сведения, которые сообщают азбуки Золотова и Лермантова. На 72-х крошечных страничках автор уместил и предостережение против деревенских знахарей, и панегирик ученым врачам, и магнетизм, и гальванизм, и электрическую машину, и паровозы, и телеграф. Люди, читавшие или изучавшие физику Ленца, конечно поймут, что́ хочет сказать автор, но поймет ли это народ и вынесет ли он из книжки что-нибудь существенное — это вопрос, да еще очень важный. Да, наконец, допустим, что народ поймет, как устроен вольтов столб и как производится гальванопластическое золочение. Какая ж в этом будет польза? Представьте себе, что я бы прочел путешествие Герберштейна по России, потом палеонтологию Кювье, потом исследование о языке кави Вильгельма Гумбольдта, потом геральдику Лакиера, потом «Radices linguae slavicae»* Добровского и т. д. — неужели тысячи страниц и целые полки томов, поглощенных таким образом, обогатили бы хоть на одну йоту мой внутренний мир? Мне кажется, что, напротив, надо было бы быть чуть не гением, чтобы при таком чтении не сделаться круглым дураком. А ведь народное образование, выражающееся в грошовых изданиях, ведется именно таким образом. Если бы народ прочел и усвоил себе то, что специально для него пишут, то это было бы для него величайшим несчастием; это заволокло бы тусклою тиною живую струю народного ума. Образование народа пойдет мимо этих бездарных попыток, и пойдет неудержимою волною, когда дремлющие силы сознают соб-

---

* «Основы славянского языка» *(лат.)*. — *Ред.*

ственное существование и двинутся по внутренней потребности. Скажите, какую живую мысль даст нашему мужику описание вольтова столба? Улучшится ли от этого его материальное благосостояние, прибудет ли хлеба на гумне, перестанет ли он бить свою хозяйку, внесет ли он человеческую логику в свои верования и убеждения? Придет время говорить и о вольтовом столбе, да ведь не теперь же и не таким образом. Ведь нельзя же забрасывать человека незнакомыми словами, до которых ему нет дела, ведь зарябит в глазах и зашумит в ушах от этой бесцветной пестроты. «Беседы в досужее время» могли бы быть хорошею книжкою, если бы они не захватили разом такое множество предметов, если бы они о чем-нибудь одном поговорили подробно, занимательно и общепонятно. Но тут-то и является препятствие: чтобы говорить подробно, надо прочесть что-нибудь, кроме учебника, да и подумать о том, что выбрать и как изложить. Сказать же вскользь о громе, потом об электрических машинах, потом о гальванизме, выказать при этом просвещенное сочувствие к прогрессу и привести этимологию этого слова, порадоваться на свою образованность и ткнуть мужику в глаза его невежество и суеверие — на это способен любой гимназист, перешедший в старший класс и гордый своим общественным положением. Если что при таком изложении забудется — не беда, можно заглянуть в учебник; а переврешь что-нибудь — и то не штука, благо публика ничего не знает и взыскать не сумеет. Если народные книжки не являются у нас сотнями и тысячами, то разве только потому, что книгопродавцы боятся типографских издержек и не уверены в сбыте. За авторами не стало бы дело; народная книжка всякому по плечу; она не требует от составителя ни стараний, ни сведений, ни любви к своему делу, ни даже уменья порядочно писать по-русски. Захотел и написал, а что из этого выйдет, об этом смешно и спрашивать. Конечно, ничего не выйдет, и это самое утешительное, что можно сказать в этом случае. Было бы страшно за будущее нашего народа, если бы можно было думать, что недоучившиеся или ничему не учившиеся бездарности могли бы иметь какое-нибудь влияние на его образ мыслей. Народ, который можно было бы вылечить от вековых предрассудков грошовою книжкою, был бы пустой народ, который не стоило бы воспитывать, которого убеждения никогда не приобрели бы стойкости и самостоятельности. — Из дряблого и мягкого дерева трудно выточить хорошую вещь, а твердое дерево уступает с трудом и как будто борется с обработывающим его инструментом; часто бывает и то, что плохой инструмент ломается о хороший материал.

Книжка «Дядя Тит Антоныч учит, как надо любить ближнего» стоит ниже всякой критики. Это скучная, бесцветная проповедь, облеченная неизвестно зачем в диалогическую форму, обставленная неправдоподобными личностями, не существующими ни в русском, ни в каком-либо другом быту. Дело вот в чем: у хо-

зяина-мужика живет батрак, тоже мужик, который в деревне играет роль проповедника и которому сам хозяин и соседние поселяне кланяются в пояс. Этот деревенский патриарх, поступивший в батраки для процесса самоуничижения, объясняет текст из евангелия собравшимся соседям; все слушают с благоговением и выносят из его речи то незамысловатое заключение, что турки, немцы и французы такие же люди, как и русские, и потому имеют право на нашу любовь и на наше участие. — Мне кажется, все рассуждение в высокой степени бесполезно и сверх того изложено языком растянутым, витиеватым и в то же время водянистым. Ни одно слово не бьет в сердце; ни разу оратор не возвышается до пафоса и не покидает старчески-византийского тона речи, [4] ни в одной строке не слышно живого чувства; везде условная, клерикальная риторика, везде холодная, бесстрастная наставительность. Знаний эта брошюра не дает, на чувство подействовать не может, стало быть, больше нечего об ней и говорить.

На эту брошюру похожа по своей внешности биография княгини Ольги; кажется, она составлена тем же автором; на обеих книжках написано «соч. Н. С.», и обе они представляют значительное сходство в литературном отношении. Приемы построения совершенно те же. Точно так же какая-то личность, называющая себя, т. е. говорящая от своего имени, подходит к группе деревенских мальчиков и девочек, собравшихся вокруг учителя. Роль дяди Тита Антоныча в этой брошюре играет приходский священник отец Павел. От перемены имени не переменяется манера изложения; она представляет ту же утомительную бесцветность, которою в высокой степени отличалось повествование дяди Тита; в этой брошюре эта утомительность еще заметнее, потому что от исторического рассказа мы требуем того, чего нельзя ожидать от поучительного слова. Но уж таково свойство бездарности, что она вносит холод и скуку во все, за что ни берется. Рассказ о жизни Ольги шибко сбивается на проповедь; он составлен по житию св. Ольги и осязательно показывает, как мало автор умел воспользоваться своими источниками. История, сколько мне кажется, даже в настоящее время нужна для народного образования: фон исторической картины, колорит места и времени, подробности, рисующие громадную, хотя отвлеченную личность народа, должны обратить на себя все внимание историка, способного писать для народа, т. е. излагать свои идеи просто и популярно. Пусть на этом фоне выделяются и выступают перед воображение читателя личности отдельных исторических деятелей и работников. Народу необходимы исторические идеи; из этих идей формируются убеждения, составляется миросозерцание. Но чем нужнее какой-нибудь предмет, тем строже надо быть в его выборе, тем неумолимее надо клеймить неудачные и бессмысленные попытки. В биографии княгини Ольги — бедность содержания, бесцветность изложения и отсутствие всякой исторической идеи поражают

на каждой строке. Автор рассказывает, что древляне убили Игоря; что жена Игоря Ольга отмстила за него, что потом в 955 году она приняла христианство, потом видела видение, а наконец умерла. Вот вам и историческая идея, и местный колорит, и физиономия фактов. Точно так же можно было бы рассказать какую-нибудь деревенскую сплетню, не изменяя обстановки, потому именно, что обстановки нет и тени. О древлянах не сказано даже, что они жили в лесистой стране и отличались от полян дикостью и суровостью; имени полян не встречается во всем рассказе. Сказано, что князь Рюрик был первый русский государь, и это последнее выражение оставлено без всякого пояснения. Грамотный мужик, имеющий понятие о теперешних границах России и о значении слова государь, может себе представить, что Рюрик был то же, что теперь император, что он владел такою же территориею, имел такой же двор и штат министров, что он вел такой же образ жизни и, пожалуй даже, что его резиденциею был Петербург и Зимний дворец. Ведь популярное изложение состоит именно в том, чтобы каждое слово было объяснено и вызывало в уме читателя именно то представление, которое вы хотите вызвать. Вы должны предвидеть самое полное незнание, предполагать возможность самой грубой ошибки и приступать к делу, почувствовав в себе достаточно сил, чтобы разбить это невежество и устранить упорное заблуждение. Это очень трудно, но кто же и говорит, чтобы добросовестное исполнение задачи популяризатора было легко; сделать дело, как следует, всегда трудно, а такими популяризаторами, какие у нас теперь развелись, хоть пруд пруди, да что же в них толку. Говорится, например, что «Ольга сочла нужным принять на себя управление русским государством». А что такое было тогдашнее русское государство и в чем состояло его управление, как совершался в то время механизм государственной деятельности, это не пояснено ни одним словом. Далее говорится, что Ольга была «язычницею и поклонялась идолам и не знала, что первый долг человека состоит в том, чтобы прощать обиды». Этими словами объясняется то, что она погубила древлян, присланных просить ее руки для своего князя Мала. В этих словах есть две ошибки: во-первых, об язычестве Ольги не сказано ни слова, а выражение *«поклонялась идолам»* ничего не поясняет, потому что само по себе требует пояснения. Во-вторых, эти слова дают неверное и неправдоподобное объяснение поступка Ольги с древлянами. Древляне были избиты, потому что идея родовой мести, идея «кровь за кровь» господствовала во всем славянском мире в то время, когда еще слабо развиты были юридические понятия. Христианство не могло сразу искоренить эти понятия и подкапывало их настолько, насколько оно постепенно содействовало смягчению нравов. Заглушить голос человеческих страстей и подчинить их нравственному закону оно не могло, и стоит взглянуть на историю Византии, где императоры резали друг другу носы и выкалывали глаза, стал-

кивая друг друга с престола, чтобы убедиться в том, что христианство было бессильно, когда ему приходилось бороться с корыстным расчетом или с дикою страстью. Ольга потому убила древлян, что не была христианкою, а почему же христианин Владимир святой собирался идти войною на непокорного сына своего Ярослава? Почему христианин Святополк перебил своих братьев Бориса, Глеба, Святослава? Почему христианин Святополк-Михаил выколол глаза Васильку Ростиславичу? Почему, наконец, в XV столетии христиане Дмитрий Шемяка и Василий Темный позволяли себе во время междоусобий такие кровавые и бесполезные злодеяния? — Говоря о жестокостях Ольги, автор старается показать высокое значение христианства; но, выводя эти жестокости из язычества, он навязывает христианству ответственность за те злодеяния, которые были совершены после крещения Руси. Это опять плачевное следствие дидактизма, который так же неуместен в истории, как в художественном произведении. Читая историю, надо учиться тому, чему учит сама жизнь, сами факты; если же автор желает вставлять нравоучения, до которых он дошел собственным умом, тогда лучше писать проповеди вроде Тита Антоныча, нежели статьи с претензиею на историческое знание. Первые не оставляют никакого сомнения насчет своего характера, а последние обманывают и заинтересовывают своим заглавием. Рассказывая о прибытии Ольги в Константинополь, автор делает грубую историческую ошибку. «Греческий император Константин Багрянородный, — говорит он, — в золотой колеснице, сопровождаемый патриархом и всеми высшими чиновниками, выехал навстречу русской княгине». Нелепее этого известия трудно что-нибудь придумать. Кажется, в летописях Византии не было примера, чтобы император выехал навстречу какому-нибудь иностранному государю, и вдруг он выезжает навстречу Ольге, на которую он не мог даже смотреть как на государыню и в которой он должен был видеть просто полудикую искательницу приключений. Но не нужно в этом случае делать предположений насчет возможности подобного факта. Наши летописи и сочинения Константина Порфирородного опровергают эту нелепую выдумку; из рассказа наших летописей видно, что Ольга была недовольна приемом, который сделал ей император, и по возвращении в Киев жаловалась на то, что ее заставили долго стоять в гавани Константинополя. У Константина Порфирородного в «Церемониях византийского двора» подробно описан прием Ольги русской (Ἔλγης τῆς Ῥωσαίνης); прием этот происходил в золотом триклинии (столовой), сопровождался обедом, и, конечно, в описании этого приема ни о золотой колеснице, ни о встрече не упоминается ни одним словом. Я подозреваю в этой выдумке г. Н. С. нравоучительную цель. Он, вероятно, имел поползновение показать величие русского государства даже в те времена, которые для самого повествователя покрыты густым мраком неизвестности. Но добро-

детель не всегда торжествует, и добродетельный и благонамеренный патриотизм г. Н. С. разбился о скалу исторических свидетельств и фактов. Выдумка г. Н. С. может служить ярким подтверждением моей мысли о том, что книжки для народа составляются по плохим учебникам и что, где понадобится, факты учебников пополняются и подкрашиваются сообразно с наклонностями и глубокомысленными соображениями недоучившихся составителей. Научная и литературная добросовестность неизвестны в низших слоях нашей письменности, в толкучем рынке нашей журналистики и книжной торговли. Нашарлатанить, наврать, привести цитату из нечитанного сочинения или утаить источник, из которого заимствована какая-нибудь идея, — подобные подвиги позволяют себе и не одни составители грошовых книжек. Но кто посмышленее да пообразованнее, тот мошенничает умно, так, что трудно будет поймать и уличить; кто же берется за перо, едва умея писать, без дарований и без сведений, тот попадается на первой же выдумке и обнаружит в полном блеске все свое невежество и все свое неуважение к истине, к своим читателям и к предмету своего рассказа. Пусть г. Н. С. примет в расчет это обстоятельство и постарается быть осторожнее или хитрее в последующих своих изданиях для народа. Пусть он чаще справляется с учебниками и реже увлекается преследованием побочных целей в историческом изложении.

Биография механика-самоучки Кулибина, составленная г. Троицким и продающаяся как отдельный оттиск из журнала «Народное чтение», [5] интересна по сообщаемым фактам, но изложена так дурно, как только может быть дурно изложена статья, написанная для народа. Г. Троицкий как будто нарочно старается нарушить своим изложением все условия, которых соблюдение необходимо для того, чтобы народ мог понять то, что для него пишут. Отвлеченные рассуждения, составляющие собою начало статьи, написаны таким тяжелым языком, такими длинными и запутанными периодами, что ими затруднится даже тот, кто привык к чтению и к книжным выражениям. Например: «Будучи убеждены, что благое провидение, оделяя человечество своими бесчисленными дарами, соблюдает строгую справедливость, мы не можем, однако, оспаривать, что многие исторические события, а также и различные условия окружающей местности имеют весьма сильное влияние на каждый народ и вырабатывают ему если не всегда, то на известный промежуток времени особенный характер, отличающий его от других народов». Так много наговорить и так мало сказать — на это надо особенное искусство. Ведь ни один порядочный журнал не принял бы на свои страницы статью, написанную таким языком, а написать таким образом для народа считается делом позволительным, между тем как для народа хороший язык составляет не прихоть, а насущную потребность, при неудовлетворении которой он не будет в состоянии понимать то, что ему стараются

передать. Если бы г. Троицкий принес свою статью в редакцию одного из наших больших журналов, то его, вероятно, попросили бы переделать введение и повсеместно исправить язык. Печатая ее в «Народном чтении», редакция должна была сделать гораздо бо́льшие изменения. Отвлеченные рассуждения надо было совершенно уничтожить; связь между отдельными фактами жизни Кулибина надо было провести яснее; личный характер механика-самоучки, очерченный в беглом очерке под конец статьи, должен был осмысливать и окрашивать собою все сообщаемые эпизоды. Язык надо было переделать de fond en comble;* больше жизни, больше движения мысли и художественности и меньше отвлеченных рассуждений, больше критики и меньше панегиризма — и тогда биография Кулибина могла бы быть прекрасным подарком для грамотной части нашего народа. В настоящем своем виде книга г. Троицкого для народа недоступна, и ее прочтут только те грамотные простолюдины, которые читают для процесса чтения.

Небрежность, с которою пишут для народа даже люди, толкующие о сочувствии ко всему русскому и о народном благе, превышает всякое вероятие. Я рассмотрел десять книжек для народа, изданных в прошлом и в нынешном году, и какие же результаты дало нам это обозрение? — Оно убедило меня и моих читателей в отсутствии хороших книг для народа, и хотя это убеждение, как всякая истина, имеет свою хорошую сторону, оно тем не менее крайне не утешительно. Мы сознаем свое бессилие — это хорошо, но существование самого бессилия — явление очень печальное. Начиная свою статью, я надеялся указать на разбираемые книги как на неудачные попытки, которые могут по крайней мере иметь свое значение как первая ступень в истории развития литературы для народа. Но чем внимательнее я вглядываюсь в преобладающий характер этих книг, тем более убеждаюсь в том, что видеть в них неудачные попытки, предполагать в них зародыши будущего развития — значит впадать в доктринерство и оказывать слишком много чести этим топорным произведениям промышленного пера. Гг. составители этих книжек делали, кажется, только одну попытку — выручить за свою работу деньги; насколько эта попытка удалась им — не наше дело; что из подобных книжек ничего не разовьется ни в близком, ни в отдаленном будущем и что первому человеку, который выступит вперед с добросовестным и просвещенным желанием служить народному образованию, будет так же трудно начать, как будто бы он первый пошел по этому пути, в этом, кажется, усомниться трудно. Дело нашей народности не стоит на одном месте, но его двигают не грошовые издания. Его несут на плечах наши публицисты, наши ученые и художники. Знакомя наше общество с государственными

* Совершенно, до основания *(франц.)*. — *Ред.*

идеями и учреждениями Европы, изучая прошедшее нашего народа в его словесности, в его государственной, юридической и семейной жизни, выясняя мало-помалу, черту за чертою, характеристические особенности народного типа, публицисты, ученые и художники постепенно вырабатывают и проводят в общественное сознание тот идеал, к которому стремится наше современное общество.

14 марта 1861.

ИДЕАЛИЗМ ПЛАТОНА

(Обозрение философской деятельности Сократа и Платона, по Целлеру; составил Клеванов)

Есть такие привилегированные личности, которых имена пользуются особенною, часто незаслуженною и не всегда лестною популярностью. Вы встретите имя такой личности и в учебнике, и в собрании анекдотов для детей, и, пожалуй, даже в прописях. Действительная физиономия этой личности от частого употребления ее имени как-то стирается и заменяется каким-то условным понятием; личность делается представителем целого типа или воплощает в себе какое-нибудь отдельное качество и доводит его в себе до небывалых и невозможных размеров. Кто, например, в дни детства или юношества не воображал себе Баярда представителем рыцарства, хотя Баярд жил в такое время, когда рыцарство, особенно во Франции, превращалось уже в анахронизм? Кто не видел в Генрихе IV, короле французском, воплощения кротости и какого-то простоватого добродушия? Кто не смотрел на Платона, Сократа и Сенеку как на светила мира, воплотившие в себе всю мудрость греков и римлян? Эти светила мира, эти фокусы добродетели прославляются в учебниках, в которых, конечно, вы не найдете о них ничего, кроме возгласов, более или менее бесцветных и риторичных. Не подражая голословности учебников, многие серьезные исследования разделяют с ними подобострастное отношение к этим избранным личностям. Ослепленные блеском имени, имеющего за себя двухтысячелетний авторитет, исследователи, особенно немцы, проходя перед этими личностями, обезоруживают свою критику, скромно потупляют взоры и ограничиваются в отношении к ним ролью почтительного и аккуратного передатчика. Видно, что над ними тяготеет авторитет предания и школы. Излагая историю греческой философии, принято как-то относиться покровительственно к элеатской школе, к Гераклиту и Демокриту, к Пифагору и Анаксагору, потом с негодованием упомянуть о софистах, потом умилиться над личностью и судьбою Сократа, покло-

ниться в пояс Платону, его Димиургу[1] и Идеям, назвать Аристотеля великим учеником его, часто несправедливым к великому учителю, потом разругать Эпикура, посмеяться над скептиками и выразить добродетельное сочувствие возвышенным доблестям стоиков. Это принято; этого требуют интересы *нравственности*,[2] которую так ревниво берегут многие псевдохудожники и многие действительные труженики на обширном и так часто неблагодарном поле науки. Эти нравственные воззрения, которые чуть ли не две тысячи лет проводятся в книгах и рукописях, часто не имеющих ни малейшего отношения к вопросам практической нравственности, поставили Сократа и Платона на тот несокрушимый пьедестал, с которого я, конечно, не попытаюсь свести почтенных стариков. Пусть они остаются на этих пьедесталах, но только повыше, подальше от нас; пусть их идеи почитаются святынею, непонятною и непригодною для нашего ветреного и безнравственного века и поколения. Пусть их возвышенный идеализм служит предметом благоговения для немногих избранных и пусть эти избранные гонят прочь непосвященную чернь, которую так не любит фешенебельный Гораций[3] и в ряды которой охотно вмешаемся мы и охотно вмешали бы нашего читателя. Но мы не шутим: мне кажется, что книга г. Клеванова уже по выбору предмета может быть признана высоко-бесполезною и бесполезно-высокою попыткою популяризировать то, что не может и не должно быть популярно; кто хочет писать для всей читающей публики, тот должен обработать предмет живою, самородною критикою, взяться за дело с смелыми литературными приемами, произнести свое суждение, сказать живое, задушевное слово, хотя бы о мертвом и застывшем предмете. Что же касается до пионеров общества, до специалистов, то вряд ли извлечение из Целлера будет для них особенно драгоценным приобретением. Специалисты — народ упрямый и склонный к сомнению; они любят добираться до источников и не загребают жара чужими руками. Диалектические тонкости, наполняющие собою бо́льшую часть книги г. Клеванова, для публики слишком тонки, бесцветны и бесцельны, слишком недоступны здравому смыслу, а для специалиста они слишком не новы. В одном только пункте г. Клеванов мог придать своему труду свежий колорит и живое биение; он мог бы показать отношение Сократа и Платона к практической действительности, к вопросам общественной жизни, к интересам народа, отдельной личности и государства. Он мог бы остановиться на практических следствиях идеализма и взвесить трезвою критикою особенности того влияния, которое этот идеализм мог оказать на человеческую личность и на отношения между людьми в семействе и государстве. Г. Клеванов этого не сделал; не сделал он этого потому, что над ним тяготеют два авторитета, Платон и Целлер; чтобы обсудить как следует, с современной или просто с человеческой точки зрения, поставленные выше вопросы, надо решиться думать своим умом, а это такая смелость,

до которой и теперь не всякий охотник. Перед тенями Платона и Сократа благоговеет г. Клеванов; от печатной буквы Целлера он отступить не решается; при таких условиях мудрено сказать живое слово об идеализме; мудрено, во-первых, потому, что мысли, взятые у другого, в чужих руках всегда отзываются холодною сухостью, а во-вторых, потому, что Целлер, как немецкий теоретик, рассматривает Платона, любуясь красотою и стройностью системы и не обращая внимания на степень ее внутренней состоятельности и практической пригодности. У немецких мыслителей и критиков есть один очень честный, но часто дон-кихотский прием — становиться на точку зрения противника и сражаться с ним его же оружием. Таким путем вы можете уличить его в непоследовательности, но не уличите в непрактичности, потому что практическая жизнь представляется каждому различно, смотря по его темпераменту, по его положению, по степени и по условиям его развития. Мне кажется, критик может идти по другому пути: он может не требовать от себя полной и бесстрастной объективности, не переноситься искусственно в чужое воззрение и оставаться полным человеком с живыми убеждениями, с ясно обозначенными и нимало не скрываемыми симпатиями и антипатиями. Он может представить читателю сущность разбираемых им мыслей, потом развить свои идеи, показать между теми и другими точки соприкосновения и разногласия, защитить свои положения от нападков и возражений, могущих прийти на ум читателю, и, наконец, представить самому читателю выбор между ним и предметом его рецензии.

«Du choc des opinions jaillit la vérité»,* говорит известная поговорка, и если это изречение справедливо, то объективность не всегда может быть признана в критике великим достоинством. Трудно быть субъективнее Маколея, а между тем никто не упрекнет знаменитого историка ни в пристрастии, ни в узкой односторонности. Личности оживают под его пером и отдают полный отчет в своих поступках, в своих мыслях и побуждениях; перед глазами читателя происходит величавый процесс, в котором живой и умный англичанин, оратор и парламентский боец, является то обвинителем, то адвокатом выводимой личности, смотря по тому, куда влечет его голос совести и личного убеждения. Кроме описываемой и разбираемой исторической личности, читатель видит перед собой образ критика, видит, как меняется выражение этого умного и подвижного лица, слышит в его дикции то сочувствие, то негодование, то иронию, то одушевление, которые возбудили бы во всяком энергическом человеке те или другие явления жизни и человеческой мысли. Излишнее увлечение может, конечно, повредить ясности взгляда, но с даровитым критиком этого случиться не может. У кого деятельность анализирующей мысли преобла-

---

* Из столкновения мнений рождается истина *(франц.)*. — *Ред.*

дает над потребностью самостоятельного творчества, кто по темпераменту более критик, чем художник, тот даже в минуту энтузиазма не вдается в фантазерство. В эти минуты, когда полнее дышит грудь, когда живее бьется сердце, в эти минуты быстрее работает мозг, смелее и оригинальнее льются мысли, и кропотливый контроль над этой ускоренною деятельностью анализирующего ума оказывается так же бесполезен, как бесполезно труженическое шлифование лирических стихов, вылившихся из души истинного поэта в минуту искреннего волнения. Талант всегда имеет свою оригинальную физиономию, и ему трудно отрешиться от этой физиономии; что́ бы он ни писал, художественное ли произведение или критическое исследование, он положит на него свою печать и не погонится за искусственным спокойствием тона и за умышленною объективностью. Когда говорят о Платоне, то всякий развитой человек понимает, что от него нельзя требовать того, чего мы теперь потребовали бы от любого студента; никто не думает сравнивать его даже с каким-нибудь современным обскурантом, никто не ставит ему в вину ребячество многих его политических воззрений и тенденций; но, воля ваша, признавая его сыном своего народа и своей эпохи, мы не можем относиться с почтительною и бесстрастною вежливостью к его нравственным и политическим теориям. Предмет близок к сердцу, потому что Платон захватывает в свои исследования такие вопросы, которые постоянно на очереди и которые человечество в каждом поколении решает и перерешает по-своему. К таким вопросам остается совершенно равнодушною только кабинетная ученость почтенного Целлера и похвальная скромность его усердного последователя г. Клеванова. В благоговении к Платону, выражающемся в книге г. Клеванова, не слышно горячего сочувствия; г. Клеванов на каждой странице свидетельствует Платону свое почтение, но ни разу, излагая его мысли, не обнаруживает того воодушевления, с которым живой человек всегда выскажет свою задушевную мысль, свое заветное убеждение. Язык г. Клеванова везде остается гладок, ровен, методичен; мысли медленно развиваются одна из другой; изложение ясно, правильно, вяло и утомительно. С этой минуты я могу устранить личность г. Клеванова из моей критической статьи; он верно следует Целлеру и передает мысли Платона, не разбирая их и не обнаруживая к ним действительного сочувствия. По общему тону изложения можно предположить, что г. Клеванов— идеалист, но дальнейшее разъяснение этого вопроса представляет так мало общего интереса, что мы предпочитаем перейти к самому Платону. В личности этого греческого философа можно видеть на первом плане сильное поэтическое дарование, т. е. богатую фантазию и огромное стремление к творчеству. С отзывчивостью, свойственною поэту, Платон откликнулся всею своею жизнью, всею деятельностью на самый животрепещущий интерес эпохи, воплотившийся в личности Сократа. Дело Сократа было действительно

так красиво и величественно на взгляд, что им немудрено было увлечься. Человек незнатный, небогатый, неученый, невзрачный берется быть учителем нравственности для целого народа, старается влить живые соки в истощенное национальное сознание, побеждает одною непосредственною искренностью убеждений знаменитейших диалектиков своего времени, перетягивает на свою сторону всю даровитую молодежь и, наконец, падает жертвою реакции и до конца жизни сохраняет непоколебимую твердость и спокойное присутствие духа. Смерть Сократа часто обезоруживает даже новейшую критику, готовую приступить с анатомическим ножом к диссекции его философской системы. Философия Сократа, говорят многие, хороша уже потому, что поддержала его в минуту смерти; он своею мученическою кончиною, говорят многие, запечатлел свое учение. Этот аргумент будет иметь свою силу, если мы безусловно примем положение Сократа о том, что знать истину и делать добро — одно и то же; но мы этой ошибки не сделаем и сумеем, конечно, отделить область воли от области знания. Сократ умер как мужчина, потому что был мужчиною, а не потому, что его поддерживали в минуту смерти положения его философии. Одна и та же мысль производит на различных людей различное впечатление; из одной и той же школы выходят люди с различными наклонностями и стремлениями; человек — не пустая бутылка, в которую можно влить какую угодно жидкость. Смерть Сократа рисует только личность этого человека, не говоря ничего ни *pro,* ни *contra* его учения. Смерть Сократа доказывает, что Сократ был не фразер, но не говорит нам, что он не мог ошибиться в теории или в жизни. Факты подтверждают мое мнение о том, что честность и стойкость Сократа принадлежали его личности, а не его учению. В числе учеников и друзей Сократа мы находим Алкивиада и Крития, главного предводителя олигархии, одного из 30-ти тиранов, — человека, которого имя по справедливости было ненавистно его современникам и согражданам. Ни Алкивиад, ни Критий не отличались ни политическою честностью, ни стойкостью убеждений, стало быть, учение Сократа оказалось несостоятельным, когда нужно было исправлять нравственность и переделывать природу человека. Но тем не менее личность Сократа не могла не зарекомендовать в глазах Платона проповедуемого им учения; Платон увлекся личностью и сделался ее ревностным прозелитом, тем более что философия Сократа открывала широкий простор фантазии и творчеству мысли.

Поэтический гений Платона получил решительный толчок и стал творить в том направлении, которое было ему указано любимым наставником. Во всем этом еще не было большой беды, хотя, быть может, позволительно пожалеть о том, что поэт оставил светлый мир образов и картин и переселился в возвышенные, но холодные сферы отвлеченной мысли. Красота, к которой Платон стремился как художник, стала являться ему отрешенная от всякой

внешней формы, или, вернее, он сам старался отрешить ее от формы, проникнуть в ее общую сущность, уловить ее в полной отвлеченности. Началось стремление к идеалу, т. е. к призраку, к галлюцинации. Богатая полнота жизни, рельефность материи, переливы линий и красок, пестрое разнообразие явлений — все, чем красна и полна наша жизнь, стало казаться Платону злом, ширмою, за которою насильно скрыта, как красавица в заколдованном тереме, истина мира, нетленная, неизменная, вечная красота. Пылкая фантазия усилила эти мечты; галлюцинация Платона дошла до того, что он верил в действительное существование идеи отдельно от явления; идеализм сразу поднялся на такую поэтическую высоту вымысла и вместе с тем сразу дошел до такого полного отрицания самых элементарных свидетельств опыта, какого, вероятно, он не достигал никогда ни прежде, ни после Платона. Под творческою, размашистою кистью его создалась целостная, фантастически-величественная картина мира. Димиург, идеи, мировая душа, масса материи с ее тупою инерциею, звезды и светила, живущие своею жизнью и мыслящие в бесконечном пространстве, — все это создается под пером Платона, начинает жить и дышать, все это производит такое впечатление, как будто бы оно действительно существовало, и все это только потому, что Платон крепко верит в свое создание, да еще потому, что Платон — великий художник, подобный Гомеру, Данту или Мильтону. Вся физика Платона есть чистое создание фантазии, не допускающее в слушателе тени сомнения, не опирающееся ни на одно свидетельство опыта, развивающееся само из себя и основанное на одной диалектической разработке идеи, положенной в основание. Платонизм есть религия, а не философия, и вот почему он имел такой громадный успех в мистическую эпоху падения язычества; вот почему он сохранен и взлелеян византийскими учеными, передан Италии и Европе в эпоху Возрождения, поставлен на незыблемый пьедестал и под разными именами живет и теперь. У кого нет самостоятельного творчества, тот примыкает к чужой фантазии и делается ее адептом. Из многих подобных фантазий фантазия Платона отличается высоким полетом мысли и смелою концепциею общей картины. Немудрено, что к его идеям примыкают с полным сочувствием многие мистики, отличающиеся развитым умом и тонким эстетическим чувством. Платон верил в создания своей фантазии; он считал их за безусловную истину и ни разу не становился к ним в критические отношения; одна секунда сомнения, один трезвый взгляд могли разрушить все очарование и рассеять всю яркую и великолепную галлюцинацию. Но этой роковой секунды в его жизни не было, и на всех сочинениях Платона легла печать самой фантастической и в то же время спокойной веры в непогрешимость своей мысли и в действительность вызванных ею призраков. Вера в самого себя тесно связана с умственною нетерпимостью, а умственная нетерпимость ждет только удобного случая, чтобы воздвигнуть действи-

тельное гонение на диссидентов. Пока Платон остается в сферах отвлеченной мысли или, вернее, свободного вымысла, до тех пор он является чистым поэтом. Когда он входит в область существующего, он становится доктринером. Как вам понравится, например, понятие Платона о любви! Он в беседе «Пиршество» определяет любовь как стремление конечных существ обессмертить и увековечить себя в постоянно новых порождениях. Первая степень любви, по мнению Платона, есть любовь к прекрасным чувственным формам; вторая — любовь к прекрасным душам; третья и высшая степень любви — к прекрасным наукам и, наконец, как результат и венец дела, любовь к идее, которая порождает истинное познание и истинную добродетель (стр. 128). Очень понятно, что у человека, дошедшего до этой высшей квинтэссенции любви, не должно быть места для любви к женщине; стало быть, нравственное оскопление человечества во имя идеи должно быть конечною целью нормального развития. Вот к каким красивым результатам приводит доктринерское желание внести общую искусственно созданную идею во все живые явления и отправления жизни. Доктринерство Платона идет вразрез с действительностью и даже с его собственным жизненным опытом. Как художник, Платон был очень восприимчив к пластической красоте; как здоровый и сильный мужчина, развившийся под небом цветущей Греции, он не думал останавливать своих эротических стремлений, и любовь к идее не мешала ему любить направо и налево... отдавая дань эпохе и народу... Но зло было сделано; зерно аскетизма и вражды к материи было брошено; в эпоху Римской империи оно разрослось в учение новопифагорейцев и новоплатоников и, опираясь на Платона, принесло человечеству обильный плод добровольных заблуждений и бессмысленных самоистязаний. Кто не был поэтом подобно Платону, тот требовал от себя последовательности и страдал от разлада, существовавшего между идеею и жизнью, не понимая того, что идея берется из жизни, а не жизнь располагается по данной программе. Для такого человека являлась необходимость бороться с самим собою, и лучшие силы несчастного идеалиста уходили на бесплодную нравственную гимнастику, на отчаянную ломку, на искоренение страстей, на сглаживание самых своеобразных и жизненных черт своей физиономии. Такого рода идеализм тяготел над Рудиными и Чулкатуриными[4] прошлого поколения; он породил наших грызунов и гамлетиков, людей с ограниченными умственными средствами и с бесконечными стремлениями. Смешно выводить этих господ от Платона, но можно заметить, что эти дряблые и хилые личности страдают именно тою болезнью, которую Платон воспел в своих философских творениях как лучшую принадлежность человечества и как единственное отличие человека от животного. Доктринерство Платона проходит чрез все его нравственное учение. Платон здесь, как и в своей физике, не смотрит на то, что дает жизнь; он не изучает естественных стремлений человеческой

природы, да и к чему изучать? Абсолютная истина, в существование которой всею душою верит поэт-мыслитель, находится не в явлении, а где-то вне его, высоко и далеко, в таких сферах, куда может залететь пылкое воображение, но куда не поведет критическое исследование, основанное на изучении фактов. Платон считает себя полным обладателем этой драгоценной, хотя и невесомой истины; он утверждает, правда, что «душе в здешней жизни невозможно достигнуть вполне чистого воззрения на истину» (стр. 141); но это положение вовсе не ведет к тем следствиям, каких можно было от него ожидать; видно, что оно не проникает особенно глубоко в сознание Платона; Платон допускает то обстоятельство, что смерть может открыть его духу более обширный мир знаний, но не видно, чтобы он сознавал неудовлетворительность своего наличного капитала; не видно, чтобы он сомневался в верности своих идей; то, что он знает или создает творческою фантазиею, кажется ему безусловно верным и не допускает над собою никакого контроля. Вследствие этого Платон говорит в своей нравственной философии: должно думать так-то, поступать так-то, стремиться к тому-то. Эти приказания отдаются человечеству с высоты философской мысли, не допускают ни комментариев, ни возражений и требуют себе безусловного повиновения. Черты народного характера, коренные свойства человеческой природы возмущаются против этих указов Платона, но это нисколько не смущает гордого мыслителя, упоенного созерцанием своих творений.

Все, что не согласно с его инструкциями, признается ложным, случайным, незаконным, препятствующим общему благу всего человечества. А кто же, спросите вы, создал это понятие общего блага? Генерал-от-философии Платон, отвечу я, — и бедное человечество, опекаемое его неусыпными трудами, лишено даже права голоса в таком деле, которое называется его общим благом. Добро, по словам Платона, должно быть предметом всякой человеческой деятельности; к добру должен стремиться каждый человек, потому что обладание добром составляет собою благополучие (стр. 209). Добро, или благо, — понятие чрезвычайно широкое и способное расширяться до бесконечности; для голодного кусок хлеба есть высшее благо, для влюбленного — благосклонный взгляд любимой женщины, для служащего человека — внимание начальника, повышение в чине и орден в петличку, для поэта — минута творчества и т. д. и т. д. И все эти господа правы с своей точки зрения; и если мы отнесемся иронически ко многим людским стремлениям и в то же время с уважением упомянем о других, то мы сделаем это только потому, что сами стоим ближе к одним и можем их лучше понимать и полнее им сочувствовать. Если один гастроном любит пить за обедом херес, а другой портвейн, то, вероятно, в целом мире не найдется такого критика, который мог бы доказать ясно и осязательно, что один из двух любителей прав, а другой ошибается. По логическому закону надо допустить, что предпочте-

ние г. А к хересу, а г. Б к портвейну происходит или от физиологической причины, т. е. от особенностей нёба, гортани или желудка, или от исторической причины, т. е. от приобретенной привычки. Пристрастие г. А к хересу, а г. Б к портвейну может подвергнуть того и другого разным неприятностям и испытаниям. Если г. А попадет в общество любителей портвейна, то, при неумении нашего общества уважать чужое мнение, вкус его найдут странным, быть может даже испорченным; вокруг него будут пожимать плечами, на него будут смотреть удивленными глазами; далее, если г. А попадает в какой-нибудь маленький уездный городок, в котором нет порядочного хереса, то ему будет предстоять печальная альтернатива: отказаться от любимого напитка и приняться за другое вино или остаться верным самому себе и с несокрушимою твердостью переносить лишение. Находясь в положении г. А, одни пошли бы по одному пути, другие по другому, и мне кажется, можно выразить предположение, что ни тех, ни других не осудило и не прославило бы общественное мнение. Но вот в чем беда: когда надо судить о хересе и портвейне, мы остаемся спокойными, хладнокровными, мы рассуждаем просто, здраво и довольно искусно, хотя часто бессознательно, владеем диалектическим оружием; но когда заходит речь о высоких предметах, тогда мы сейчас же принимаем постную физиономию, становимся на ходули и начинаем говорить высоким слогом, согласно с эстетическими требованиями прошлого столетия. Мы позволяем нашему ближнему иметь свой вкус в отношении к закуске и десерту, но беда ему будет, если он выразит самостоятельное мнение о нравственности, и еще более беда, чуть не побиение камнями, или *Камнем,*[5] если он проведет свои идеи в жизнь, даже в своем домашнем быту. Если взвесить дело простым здравым смыслом, то мы имеем право требовать от нашего соседа только того, чтобы он не вредил нашей особе материальным насилием, чтобы он не портил умышленно нашей собственности и чтобы он не присвоивал ее себе мошенническими проделками. Рассуждать о его поведении вне этих трех случаев мы, конечно, имеем полное право, потому что, сколько мне кажется, нет той вещи в мире, которую нельзя было бы взять предметом разговора или критического анализа. Но, рассуждая таким образом о личности и поведении нашего соседа, мы должны помнить, если желаем быть логичны, что наши суждения о его нравственности настолько же имеют безусловное значение, насколько имеет его, например, мнение о том, что брюнетки красивее блондинок или наоборот. Ведь пора же, наконец, понять, господа, что общий идеал так же мало может предъявить прав на существование, как общие очки или общие сапоги, сшитые по одной мерке и на одну колодку. Если вы станете носить чужие очки, вы испортите глаза, если пройдете верст пять в чужих сапогах, вы в кровь изотрете ноги, если вы навяжете себе на спину котомку чужих убеждений, вы изнеможете под этою неестественною обузою;

вы выбьетесь из сил, поправляя и привязывая ее к себе покрепче, а кончится все-таки тем, что котомка отвалится и пропадет где-нибудь на пыльной дороге, но воротить потраченные силы часто бывает очень мудрено, воротить потерянное время всегда невозможно, и свежесть первой молодости, доверие к самому себе почти всегда отрывается вместе с котомкою идеала и вместе с нею заваливается в дорожной пыли. Надо же, наконец, понять, что идеал не есть даже отвлеченное понятие, а просто сколок с другой личности; всякий идеал имеет своего автора, как всякая народная песня имеет не только родину, но даже и составителя. Добраться до имени того и другого всегда бывает очень трудно и в большей части случаев совершенно невозможно; но, составляя нравственный портрет одного лица, — портрет иногда польщенный, иногда просто обесцвеченный, — идеал годится только для того, с кого он снят, или для тех людей, которые совершенно подходят к нему по темпераменту, по внешнему положению и по внутренним силам. Но трудно найти двух людей, совершенно сходных лицом; полное же нравственное сходство двух самостоятельно развившихся личностей составляет такое редкое явление, какого, кажется, и не встретишь во всей истории человечества; есть много бесцветных и безличных субъектов, задавленных какими-нибудь внешними обстоятельствами, пригнанных на одну колодку общественною дисциплиною или отшлифованных на один образец тираническими законами моды и этикета; посмотришь на них, — они все покажутся похожими между собою и лицом, и голосом, и манерами; всякая оригинальность, выражающаяся в образе жизни, в прическе, в одежде, кажется в подобном обществе дерзостью, нарушением закона, оскорблением нравственности. Живой человек с сожалением посмотрит на такое общество; зачем, подумает он, эти господа добровольно поддерживают придуманные законы, от которых каждому отдельному лицу приходится терпеть лишения? Этот вопрос, вероятно, кажется вам здравым, а между тем все эти господа, стесняющие свою личную свободу во имя придуманных или наследованных законов, все до последнего — идеалисты, хотя, конечно, многие из них и не слыхали никогда этого слова. Наше светское общество, наш beau monde битком набиты идеалистами, сознательно и бессознательно стремящимися к отвлеченному совершенству. Un jeune homme comme il faut, une jeune personne charmante* — эти два почетные титула, которыми награждает общество за усердное исполнение его устава, составляют в то же время заглавие двух идеалов, к которым, смотря по различию полов, стремится множество молодых людей, одаренных свежими силами и задатками развития. Эти молодые люди гибнут в нравственном отношении, сохнут и мельчают, оттого что стара-

---

* Благовоспитанный молодой человек, очаровательная девица *(франц.)*. — *Ред.*

ются во имя идеала уничтожить свою личность или те зародыши, из которых, при благоприятных условиях, могла бы развиться самостоятельная индивидуальность. Множество браков по расчету, множество проделок сомнительного свойства, множество дуэлей делаются не для удовлетворения той или другой страсти, а во имя идеала или из страха перед общественным мнением, стоящего у подножия воздвигнутого им кумира. «Это принято», «это не принято» — вот те слова, которыми в большей части случаев решаются житейские вопросы; редко случается слышать энергическое и честное слово: «я так хочу» или «не хочу», а между тем каждый имеет разумное право произнести это слово, когда дело идет о нем и об его личных интересах. Принято и не принято значит другими словами согласно и не согласно с модным идеалом; следовательно, идеализм тяготеет над обществом и, сковывая индивидуальные силы, препятствует разумному и всестороннему развитию. Отвергая общий идеал, я не думаю отвергать необходимость и законность самосовершенствования. Я не считаю стремление к совершенству обязанностью человека. Сказать, что это обязанность, так же смешно, как сказать, что человек обязан дышать и принимать пищу, расти кверху и толстеть в ширину. Самосовершенствование делается так же естественно и непроизвольно, как совершаются процессы дыхания, кровообращения и пищеварения. Чем бы вы ни занимались, вы с каждым днем приобретаете бóльшую техническую ловкость, больший навык и опытность. Это делается совершенно бессознательно и помимо вашего желания, и это правило может быть применено не только к какому-нибудь ремеслу, но и к жизни. Все мы, несмотря на различие состояния, образования и положения в обществе, живем мыслью и чувствами, хотя деятельность нашей мысли тратится на самые разнородные интересы и хотя деятельность наших чувств возбуждается самыми разнокалиберными предметами. Все мы воспринимаем и переработываем впечатления, и чем больше мы живем, тем бóльшую техническую ловкость мы приобретаем в этом занятии. Существование житейской опытности не подлежит сомнению; ее признают и уважают грамотный и неграмотный, образованный европеец и австралийский дикарь; эта опытность есть результат самосовершенствования; процесс ее приобретения есть процесс бессознательного, чисто растительного умственного развития; этот процесс может встретить себе случайное содействие или случайное препятствие в окружающей обстановке, точно так же как процесс пищеварения может быть нарушен нездоровою пищею или восстановлен моционом и воздержанием. Наблюдения над природою человека, приведенные в систему и составившие собою собирательную науку, медицину, указывают на те предметы и на те отправления, которые вредят человеческому организму или приносят ему пользу. Сообразуясь с предписаниями науки, человек может вести правильный образ жизни, сберегающий его силы и содействующий его

физическому благосостоянию. Но ни один порядочный медик не предпишет всем своим пациентам общую гигиену; он непременно изучит сначала темперамент каждого и потом расположит свои предписания, сообразуясь с собранными материалами. В образованном обществе люди вообще больше думают о себе, нежели в простом народе, отчасти потому, что на это представляется больше средств и досуга, отчасти потому, что образование развивает и укрепляет самосознание. Образованный класс более простого народа заботится о своем здоровье, поддерживает его искусственными средствами и разными предосторожностями старается предотвратить могущее произойти расстройство. Точно такие же гигиенические меры по отношению к своему умственному развитию и нравственному совершенствованию принимает человек, сознавший в себе умственную личность и заботящийся о нормальности своих интеллектуальных отправлений. Положим, я сознал в себе стремление и способность к научным занятиям и, следуя внутреннему побуждению, принимаюсь читать и изучать историков и мыслителей. Не поставлю же я себе, подобно Берсеневу,[6] идеалом Т. Н. Грановского или П. Н. Кудрявцева. Не стану же я подражать ни Маколею, ни Нибуру, ни Тьерри, ни Гизо, как бы велико ни было мое уважение к этим передовым представителям человеческой мысли. Я себе не поставлю впереди никакой цели, не задамся никакою предвзятою идеею; я не знаю, к каким результатам я приду, и меня вовсе не занимает вопрос о том, что́ я сделаю в жизни; меня занимает самый процесс делания, я вижу, что никому не мешаю своей деятельностью, и на этом основании считаю себя правым перед собою и перед целым миром; я работаю и стараюсь облегчить себе труд или (что то̀ же самое) вынести из каждого своего усилия возможно большее количество наслаждения; это, по̀ моему мнению, альфа и омега всякой разумной человеческой деятельности. Процесс умственного развития и нравственного совершенствования допускает некоторые гигиенические приемы, но, конечно, одни и те же приемы не могут быть применены даже к двум неделимым.[7] Эти приемы состоят, конечно, не в том, чтобы пригонять личность к известному образцу; основанные на изучении самого неделимого, эти приемы клонятся только к тому, чтобы дать больше простора и разгула индивидуальным силам и стремлениям. Эмансипировать собственную личность не так просто и легко, как кажется; в нас много умственных предубеждений, много нравственной робости, мешающей нам свободно желать, мыслить и действовать; мы сами добровольно стесняем себя собственным влиянием на свою личность; чтобы избегнуть такого влияния, чтобы жить своим умом в свое удовольствие, надо значительное количество естественной или выработанной силы, а чтобы выработать эту силу, надо, может быть, пройти целый курс нравственной гигиены, который кончится не тем, что человек приблизится к идеалу, а тем, что он сделается *личностью*, получит разумное право

и сознает блаженную необходимость быть самим собою. — Я стану избегать вредного для меня общества пустых людей по тому же побуждению, по которому с простуженными зубами не подойду к открытому окну, но я нисколько не возведу этого себе в добродетель и не найду нужным, чтобы другие подражали моему примеру. Надеюсь, что я достаточно оттенил различие, существующее между стремлением к идеалу и процессом самосовершенствования. Вероятно, я не сказал ничего нового, но полагаю, что всякое самостоятельное убеждение имеет право выразиться в слове, хотя бы сотни людей исповедывали его в продолжение десятков и сотен лет. Кроме того, вопрос об идеализме живет и будет жить до тех пор, пока будут существовать мистические теории и неосуществимые стремления; стало быть, разъяснение этого вопроса, как бы ни было оно слабо и поверхностно, теперь еще не может быть излишним и несвоевременным.

Возвращаюсь к нравственной философии Платона. Как я уже говорил выше, добро, по мнению Платона, должно быть для человечества предметом деятельности и источником высших наслаждений. *Понятие* добра существует у него как абсолютная идея и не приводится ни в малейшую зависимость от личности и положения *понимающего* субъекта. Что это самостоятельное, абсолютное понятие добра на самом деле есть произведение мозга Платона, это, кажется, не требует доказательства; человек мыслит только своим мозгом, точно так же как он варит пищу только своим желудком и дышит только своими легкими. Любопытно заметить, что Платон, ставящий служение добру в непременную обязанность всему человечеству, сам не вполне выяснил себе свои собственные представления о сущности и физиономии этого добра. В своих беседах «Теэтет» и «Федон» и в трактате о государстве Платон смотрит на все чувственные явления — как на зло, на наше тело — как на враждебное начало, на нашу жизнь — как на время заточения в глубоком и мрачном вертепе. Смерть представляется минутою освобождения, так что при этом воззрении остается только непонятным, почему Платон не ускорил для себя этой вожделенной минуты, почему он в теории не оправдал самоубийства и почему он воспел благость Димиурга, виновника нашего заточения и всех связанных с ним зол и страданий. В других беседах Платона, например в «Филебе», высшее добро определяется как полное примирение чувственного начала с духовным, как гармоническое слияние того и другого, и средствами произвести это слияние почитаются изящные искусства и в особенности музыка. В враждебном отношении Платона к чувственному миру видно усилие могучего ума оторваться от родимой почвы, которая его вскормила и возрастила. Поэт-мыслитель хочет отрешиться от народного характера, от колорита окружающей действительности, от своей собственной плоти и крови. Грек, гражданин свободного города, здоровый и красивый мужчина, к которому по первому призыву соберутся на роскошный

пир друзья и гетеры, старается во что бы то ни стало доказать себе, что в этом мире все — зло: и. полная чаша вина, и жгучая ласка красивой женщины, и аромат цветов, и звуки лиры, и звучный гекзаметр, и даже дружба, которая, по мнению греков, была выше и чище любви. Эти усилия доказать себе и другим то, против чего говорит свидетельство пяти чувств, не вызваны никакой действительною причиною и потому решительно не носят на себе печати искреннего воодушевления. Романтизм возникает обыкновенно в эпоху бедствий и страданий, когда человеку нужно где-нибудь забыться, на чем-нибудь отвести душу; я несчастлив здесь, мне здесь душно, тяжело, больно дышать, так я успокоюсь по крайней мере в той вечно-светлой, вечно-тихой и теплой атмосфере, которую создаст мое воображение и куда не проникнут ни горе, ни заботы, ни стоны страдальцев. Романтизм искренний, вызванный самою почвою, зарождается в эпоху Римской империи и развивается с особенною силою в средние века; отрицание доходит до ужасающих размеров; пропадает всякая вера в благородные стороны и побуждения человеческой природы, и вместо этой здоровой веры в действительность доходит до степени галлюцинации вера в действительное существование и недостижимое совершенство призрачного, заоблачного мира фантазии. Сенека, Тацит, Марк Аврелий в своих сочинениях выражают с полною искренностью и с замечательною силою момент грусти, негодования против настоящего и полного сомнения в будущем. Новоплатоники, ессеяне и египетские терапевты,[8] средневековые рыцари, монахи и отчасти трубадуры воплощают в себе момент романтического стремления оторваться от действительности и унестись в лучший, сверхчувственный мир. У всех этих господ романтизм был потребностью души; в Риме после Августа порядочному человеку невозможно было жить полною жизнью; каждый день совершались самые отвратительные злодеяния: предательства, доносы, пытки, казни, игры гладиаторов, истязания рабов, апофеозы разных нравственных уродов и кретинов — все это поневоле должно было ожесточить самого добродушного оптимиста. Мыслящим людям того времени оставались только две дороги: или удариться в самый широкий разгул чувственности, или дать полную свободу своему воображению, утешаться его светлыми созданиями и во имя этих созданий вступить в открытую вражду со всею действительностью, начиная с собственного тела. По первому пути пошли эпикурейцы, по второму между прочими — новоплатоники. Люди с трезвым критическим умом не могли верить в создания собственной фантазии и предпочитали, за неимением лучшего, грубые, но действительные наслаждения более тонким, но совершенно призрачным утешениям. Эпикуреизм и новоплатонизм, разгул чувственности и умерщвление плоти вызваны одною историческою причиною. Идти путем средины, т. е. проводить в жизнь теоретические убеждения и черпать свои идеи из житейского опыта, сделалось невозможным,

потому что жизнь располагалась по воле немногих личностей и делалась жертвою случайности и произвола; тогда явились две крайности; одни совершенно отказались от идеи и стали искать наслаждения в физических отправлениях жизненного процесса; другие совершенно отказались от жизни и стали любоваться построениями своего мозга. Оба направления должны быть оправданы как непроизвольные и естественные отклонения от обыкновенного порядка вещей. Но если мы перенесемся к эпохе Платона, то трудно будет себе представить, что́ могло вызвать с его стороны враждебные отношения к физическому миру явлений. Ни нравственное, ни политическое состояние Греции во время Пелопоннесской войны и после ее окончания не было до такой степени плохо, чтобы привести мыслителя в отчаяние и вызвать с его стороны безусловное осуждение. Многие стороны греческого быта, например рабство и *известного рода разврат*, могли бы возмутить человека нашей эпохи, но Платон не относился к ним строго и не понимал их отвратительности. Рабы остаются рабами в его идеальном государстве, а разврат он идеализирует, видя в нем эстетическое стремление и набрасывая покрывало на физические последствия... Платон, как известно, составил проект идеального государственного устройства и, кажется, старался даже осуществить свой политический идеал в Сиракузах, в Сицилии. Из этого следует заключение, что он верил в возможность земного счастия и что существующие в наличности материалы не казались ему настолько негодными, чтобы из них было невозможно построить прочное и красивое здание. Как же после этого понимать враждебное отношение Платона к чувственному миру? Мне кажется, его должно понимать только как теоретический вывод Платоновой мысли, которому не сочувствовала и на который даже не обращала внимания живая человеческая природа поэта-мыслителя. Все скверно в материальной жизни, говорит доктрина Платона; напротив, все прекрасно и способно сделаться еще лучше, возражает его поэтическое чувство, и этот голос непосредственного чувства поддерживается примером его собственной жизни, светлым колоритом его фантазий и чувственною яркостью самых, повидимому, отвлеченных его представлений. Поэт-мыслитель постоянно ищет образа и воплощает свои идеи в формы, заимствованные из мира материи; этим самым он показывает, что этот мир вовсе не внушает ему отвращения и что великая идея не оскверняется от соприкосновения с чувственным явлением. Но Платону было необходимо указать на источник и возможность зла; это такой вопрос, которого не обойдешь ни в какой философской системе, ни в каком поэтическом миросозерцании. Приписать зло воле Димиурга было мудрено; против подобной мысли возмущалась и здравая логика и эстетическое чувство Платона. Навязать доброму и мудрому существу все гадости и несовершенства человеческой жизни значило уничтожить возможность его существования и перевернуть

вверх дном всю красивую систему Платонова мироздания. Олицетворить зло в отдельном понятии, создать идею зла и противопоставить ее идее добра было также невозможно. Это подало бы повод к неисчислимым и неразрешимым вопросам и противоречиям. Если зло вечно, то, стало быть, оно естественно, а если оно естественно, то оно не есть зло. Если Димиург воплощает в себе идею могущества и отличается самыми благими стремлениями, то он хочет и должен истребить зло, а если он не истребляет его, то, стало быть, он не в силах сделать этого. Чтобы избежать подобных противоречий, Платон обращается к материи и путем диалектических доводов доказывает, что она-то есть невольная и бессознательная причина зла. Принужденный признать инертное могущество и вечность материи, существующей помимо воли Димиурга и только получающей от него свою форму, Платон доходит до теоретического убеждения, что зло есть свойство материи. Создавая какое-нибудь существо, Димиург кладет на материю печать известной идеи, но материя слишком груба, чтобы воспринять этот отпечаток в полной ясности и чистоте; материал сопротивляется руке художника, и это невольное сопротивление даже олицетворяется у Платона под именем неразумной мировой души; в этом сопротивлении и лежит начало зла. Из этого видно, что пессимизм Платона не вытек живою струею из его непосредственного чувства и не был вызван обстоятельствами и обстановкою его жизни, а выработан путем умозаключений и никогда не проникал глубоко в его личность. Противоречие, в которое впадает Платон, развивая почти рядом два, чуть не диаметрально противоположные, миросозерцания, открывает нам одну из симпатичнейших сторон его личности. Это противоречие ясно показывает, что доктринер не мог победить в Платоне поэта и человека и что живые инстинкты и живые симпатии его души вылились наружу, не стесняясь мертвою буквою писаной системы. Но между тем доктрина развивается своим чередом; Платон как мыслитель выводит крайние следствия своей философской системы, а Платон как человек и жизнью и словом протестует против порождений своей собственной мысли. Впечатлительный, изменчивый и подвижный, как истинный поэт, он противоречит самому себе и сам того не замечает, сам не думает о том, чтобы как-нибудь сблизить и примирить два противоположные воззрения. Обращаясь так нецеремонно с собственными теориями, Платон не допускает подобной свободы для других; его возмущают существующие непоследовательности и уклонения от разумности в сфере частной и государственной жизни. Не будучи в состоянии внести строгое единство даже в мир собственной мысли, он хочет подчинить неизменным законам все явления человеческой жизни, водворить строгую правильность и разумность во все отношения между людьми в семействе и в государстве. На место живого развития жизни он хочет поставить неизменное и неподвижное создание своей творческой мысли. Трактат Платона о государстве

не есть произведение свободной фантазии, не есть красивая игрушка, которой житейскую бесполезность и неприменимость сознавал бы сам творец. Это почти проект, и любимою мыслью Платона было привести его в исполнение. Перестроить общество на новый лад, заставить целый народ жить не так, как он привык и как ему хочется, а так, как, по моему убеждению, ему должно быть полезно,— это, конечно, такая задача, за которую теперь не взялся бы ни один здравомыслящий человек. Во время Платона такая задача была, вероятно, так же неисполнима, как и теперь, но на вид она должна была казаться гораздо легче уже потому, что греческая народность была разбита на множество мелких государств и что оратор, стоя на площади в Афинах, мог говорить чуть не с целою национальностью. Сословие свободных и полноправных граждан было очень ограничено в сравнении с целым народонаселением; это сословие одно имело возможность изменять по своему благоусмотрению физиономию государства, а умами этого сословия действительно мог управлять любимый оратор или писатель. Это обстоятельство, конечно, не могло повести к тому, чтобы законы и учреждения, придуманные одним лицом и не воспитанные самою почвою, могли остановить поток исторической жизни или дать ему произвольное направление; но оно могло по крайней мере внушить Платону обманчивые надежды; оно могло уверить его в возможности составлять и прикладывать к делу проекты государственного устройства.

Мы до сих пор видели Платона как поэта, как доктринера; не разделяя его фантастических бредней, мы принуждены были признавать в его созданиях много искреннего воодушевления, много смелости и силы воображения; не сочувствуя его нравственным принципам, мы не могли отказать им во внутренней стройности и последовательности. Этой последовательности не повредила даже двойственность его воззрений на материю и ее отношения к человеческому духу; как мыслитель, задавшийся известною идеею, Платон смело дошел до крайних выводов; как живой человек, он пошел совершенно другою дорогою и доказал, таким образом, в одно и то же время силу своей творческой мысли, крепость своей физической природы и невозможность втиснуть жизнь в узкие рамки теории.

Словом, в конце концов можно вывести заключение, что Платон имеет несомненные права на наше уважение как сильный ум и замечательный талант. Колоссальные ошибки этого таланта в области отвлеченной мысли происходят не от слабости мысли, не от близорукости, не от робости ума, а от преобладания поэтического элемента, от сознательного презрения к свидетельствам опыта, от самонадеянного свойственного сильным умам стремления вынести истину из глубины творческого духа, вместо того чтобы рассмотреть и изучить ее в единичных явлениях. Несмотря на свои ошибки, несмотря на полную несостоятельность своей системы,

Платон может быть назван по всей справедливости родоначальником идеалистов. Составляет ли это обстоятельство важную заслугу пред лицом человечества — это, конечно, такой вопрос, на который ответят различно представители различных направлений в области отвлеченной мысли; но как бы ни был решен этот вопрос, все-таки никто не откажет Платону в почетном месте в истории науки. Есть такие гениальные ошибки, которые оказывают возбудительное влияние на умы целых поколений; сначала увлекаются ими, потом к ним становятся в критические отношения; это увлечение и эта критика долгое время служат школою для человечества, причиною умственной борьбы, поводом к развитию сил, руководящим и окрашивающим началом в исторических движениях и переворотах. Но Платон не остановился в области чистого мышления и не понял того, что, пренебрегая опытом и единичными явлениями, нельзя понимать истинного смысла исторической и государственной жизни. Он взялся за решение практических вопросов, не умея их даже поставить как следует; его попытки в этом роде до такой степени слабы и несостоятельны, что они распадаются в прах от самого легкого прикосновения критики; в этих попытках нет ни разумной любви к человечеству, ни уважения к отдельной личности, ни художественной стройности, ни единства цели, ни нравственной высоты идеала. Представьте себе причудливое и некрасивое здание, с арками, фронтонами, портиками, бельведерами и колоннадами, не имеющими никакого практического назначения, и вы получите понятие о том впечатлении, которое производят на читателя трактаты Платона о *государстве* и о *законах*. «Первая цель государства, по мнению Платона, сделать граждан добродетельными, обеспечить вещественное и нравственное благосостояние всех и каждого» (стр. 223). Новые исследователи, например Вильгельм Гумбольдт («Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen» *), смотрят на дело иначе и определяют государство как охранительное учреждение, избавляющее отдельную личность от оскорблений и нападков со стороны внешних и внутренних врагов. Этим определением они избавляют взрослого гражданина от своеобразной и непрошенной опеки, которая в продолжение всей жизни тяготеет над ним в государстве Платона. Оставляя в стороне неверность основного взгляда, мы увидим, что даже та цель, которою задается Платон, не может быть достигнута теми средствами и приемами, которые предлагаются в его трактатах. Граждане должны быть добродетельны, а между тем Платон предписывает им такие оскорбительные стеснения, против которых возмущается нравственное и эстетическое чувство; уму читателя представляется такая дилемма: или граждане, как порядочные люди, не вынесут этого

---

* «Мысли к опыту определения границ деятельности государства» *(нем.)*. — *Ред.*

стеснения, и тогда все учреждения Платона пойдут прахом; или они подчинятся этим стеснениям и, систематически развращенные ими, потеряют способность быть добродетельными. Добродетель, даже как понимает ее Платон, и соблюдение законов в его идеальном государстве составляют два несовместимые начала. Мудрость, мужество, самообладание и справедливость представляются четырьмя главными добродетелями в нравственной философии Платона. Спрашивается, которая из этих четырех добродетелей отнимает у человека право свободной критики и приводит к безусловному повиновению? Если же ни одна из этих добродетелей не пригодна для послушных граждан идеального государства, то это значит, что Платон отделяет идеал человека от идеала гражданина. Многие мыслители древности, между прочими и Аристотель в своей «Политике», говорят, что добродетель доступна только полноправным гражданам и не существует ни для раба, ни для ремесленника, ни для женщины. Но Платон, подчиняя *всех* граждан своего государства неестественным и оскорбительным стеснениям, идет гораздо дальше. Он дает обществу такое устройство, которое самым фактом своего существования делает невозможным не только осуществление идеала, но даже стремление к нему. Со стороны мыслителя, по понятиям которого вне идеала нет спасения, такого рода распоряжения должны показаться чрезвычайно оригинальными. Если идеал человека неосуществим даже теоретически в гражданском обществе, то из этого следует заключение, что человеку следует жить и развиваться вне общества или же что пресловутый идеал есть бесполезная игрушка праздного воображения. Ни то, ни другое заключение не понравилось бы Платону, но устранить оба заключения можно, только отказавшись от утопической теории или перестроив идеал. В государстве Платона есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, но людей нет и не должно быть. Каждая отдельная личность есть известной формы и величины винт, шестерня или колесо в государственном механизме; кроме этой служебной должности, он ни в каком кругу не имеет никакого значения; он не сын, не брат, не муж, не отец, не друг и не любовник. С минуты рождения его отрывают от груди матери и помещают в воспитательный дом; его не показывают родителям в продолжение нескольких лет, и его происхождение умышленно забывается; его воспитывают наравне со всеми детьми его возраста, и он, как только начинает помнить и сознавать себя, чувствует, что он — казенная собственность, не связанная ни с кем и ни с чем в окружающем его мире. Он вырастает и получает известную должность; его делают воином, и военные упражнения становятся главным его занятием и развлечением; в эти упражнения он, как хороший гражданин, обязан влагать те остатки энергии и души, которых не успело засушить школьное воспитание. Когда у него появляется борода и развивается мужская сила, его осматривает и свидетельствует *особый сановник* (стр. 265) и потом при-

водит к нему молодую девушку, которая, по его убеждению, годится ему в жены. Приплод идет на пользу общества, и с ним поступают точно так же, как поступали с его родителями. Когда мужчина становится стариком, его делают гражданским чиновником и определяют в одно из существующих ведомств; он становится судьею, казначеем или воспитателем юношества, смотря по тому, на что его найдут годным. Занятие торговлею или ремеслом считается унизительным для полноправного гражданина и запрещено законами.

Внешние формы, в которые должны воплотиться эти политические убеждения, едва набросаны в сочинениях Платона. Он считает нужным, чтобы во главе государства стояли достойнейшие и мудрейшие, но ему решительно все равно, будет ли там один мудрейший или несколько мудрейших. Демократическая форма правления ему противна как аристократу по рождению и как человеку, считающему себя неизмеримо выше массы по умственным силам и по нравственному достоинству. Вот несколько выписок из книги г. Клеванова, в которых эта сторона теории Платона очерчена довольно ясно. «Относительно вопроса: правительство должно ли быть основано на согласии народа или действовать на него силою, Платон прямо высказывает убеждение, что если нужно согласие масс народа, то никакие самые благоразумные учреждения не могут быть никогда приведены в действие. Сознающий свои обязанности правитель должен поступать с зависящими от него людьми как благоразумный врач; не спрашиваясь их согласия, волею-неволею должен давать он им горькое, но полезное лекарство» (стр. 225). «Далее Платон говорит, что неблагоразумно было бы мудрого правителя стеснять законами» (стр. 225). «Вообще Платон приходит к решительному убеждению, что массы народа неспособны управлять сами собою и что невозможно требовать, чтобы им когда-нибудь было доступно и понятно истинное искусство управления» (стр. 226). «Но Платон, имея самое невыгодное понятие о степени нравственного развития масс народных, не мог допустить, чтобы большинство людей подвластных терпеливо и с покорностью сносило власть мудрецов; а потому Платон должен был вооружить своих правителей-философов такою властью, которой было бы достаточно для приведения в исполнение их распоряжений; вследствие этого они должны были иметь всегда под руками достаточное число деятельных и способных исполнителей. Таким образом уяснилась для Платона потребность в отдельном сословии воинов, которое должно иметь целью своей деятельности не столько защиту государства извне, сколько поддержание внутри него порядка и общественного спокойствия» (стр. 229). «А потому Платон в своем трактате о государстве, запрещая ложь частному человеку, допускает обман как средство управления в руках властителей» (стр. 218). Эти выписки прямо показывают, что, по понятиям Платона, со стороны правителей не существует

обязанности в отношении к управляемым личностям; обман, насилие, произвол допускаются как средства управления. Законы нравственности, существующие для частных лиц, теряют обязательную силу для государственных деятелей. Они должны быть мудрыми, но право судить о степени их мудрости отнимается у наиболее заинтересованных личностей и предоставляется, кажется, одному Димиургу. С одной стороны, произвол имеет только те границы, на которых он сам заблагорассудит остановиться. С другой стороны, покорность не имеет никаких пределов. Если она начинает ослабевать, ее следует подкреплять искусственными средствами, нравственными или физическими, слабыми или сильными, смотря по комплекции пациента и по благоусмотрению врача. Устранение вредных влияний должно играть важную роль в курсе воспитания или лечения, которому должны подвергаться граждане идеального государства. Гомер изгоняется как безнравственный сказочник. Мифы пересочиняются и пропитываются высокими идеями. Статуи Аполлона и Афродиты в интересах приличия прикрываются костюмом. Чтобы соседние народы не могли вводить в соблазн граждан идеального государства, сношения с иностранными землями должны быть по возможности затруднены и ограничены: «Путешествия за границу дозволены только людям зрелого возраста, и притом не иначе, как или для собственного образования, или для государственных целей. По возвращении граждане должны подвергаться испытанию, не принесли ли они с собою вредных убеждений» (стр. 267). Разбирать подобные положения бесполезно; они сами говорят за себя очень громко и красноречиво.

Позволю себе заметить, что, к чести человечества, дух политических идей Платона никогда не пытался завоевать себе место в действительности. Сумасброднейшие деспоты — Ксеркс персидский, Калигула и Домициан — никогда не пробовали почерком пера уничтожить семейство и поставить свой народ на степень конского завода. К счастью для своих подданных, эти господа не были философами; они казнили людей для препровождения времени, но по крайней мере они не реформировали человечества и не старались систематически развратить своих сограждан. Просвещенные и умные деспоты вроде Людовика XI, Тиверия и Фердинанда Католического оказывали на своих подданных сознательное влияние, но их проекты и отдаленнейшие мечты никогда не достигали того величия и той смелости, которыми отличаются идеи Платона. Стремления у них были общие; но, увлекаясь поэтическим гением, Платон проводит эти стремления с беспримерною силою; злейшим врагом этих стремлений был могучий дух критики и сомнения, элемент свободного мышления и личной оригинальности, и этот элемент ненавистен Платону; нравственною опорою им служила вывеска народного блага, и этою же вывескою пользуется Платон; материальною поддержкою их было войско, и эта же самая сила имеет важное место в государстве Платона. Эти

правители, подобно мудрецам идеального государства, считали себя достойнейшими и лучшими из своих сограждан людьми, призванными быть воспитателями и врачами неразвившегося и нравственно больного человечества. Римские пытки и казни, испанская инквизиция, походы против альбигойцев, клетка кардинала La Balue,[9] костер Гуса, Варфоломеевская ночь, Бастилия и проч. и проч. могут быть названы *горькими, но полезными* лекарствами, которые в разные времена и в разных дозах врачи человечества давали своим пациентам *волею-неволею, не спрашиваясь их согласия*. Принцип, проведенный Платоном в его трактатах о государстве и о законах, небезызвестен новейшей европейской цивилизации.

1861 10 апреля.

СХОЛАСТИКА XIX ВЕКА

I

Развитие русской журналистики с каждым годом становится шире; возникают новые журналы и в короткое время приобретают себе значительный круг читателей; между тем старые журналы продолжают свое существование, и число их подписчиков нисколько не уменьшается. Периодические издания расходятся по всем концам России, и идеи, выработанные в тиши кабинета, за письменным столом, становятся достоянием целой обширной страны, становятся почти единственною умственною пищею для нескольких десятков тысяч людей. Большинство публики читает одни журналы, это факт, в котором мог наглядно убедиться всякий, кто жил в провинции и бывал в обществе какого-нибудь уездного города. Один экземпляр «Современника» или «Русского вестника»[1] читается целым городом, переходит из рук в руки и возвращается обыкновенно к владельцу в самом жалком, истрепанном виде, так что ему приходится только сказать: «Расчитали вдребезги». При этом некоторые отделы остаются совершенно не тронутыми и даже не разрезанными; отметить подобные отделы было бы, конечно, любопытно для физиологии общества, но я не с этою целью повел речь о распространении журналов в массе читающей публики. Кроме журналов, этой публике действительно читать нечего. Отдельные книги издаются теперь чаще прежнего, но их все-таки мало; кроме того, они имеют или ученый, или учебный характер; это — или исследования, или популярные руководства, а учиться большинство нашей публики не желает, вероятно потому, что воспитание, данное ей в школе, было дурно и оставило после себя на всю жизнь полнейшее отвращение к тому, что отзывается школою или книжною ученостью. Сочинения Пушкина, Лермонтова и Гоголя знают почти наизусть люди, одаренные эстетическим чувством и сколько-нибудь развитые в литературном отношении; что же касается до большинства, то оно или вовсе не читает их, или прочитывает их один раз, для соблюдения обряда, и потом

откладывает в сторону и почти забывает. Перечитать во второй раз художественное произведение потому только, что оно художественно или проникнуто глубокою мыслью, — это такой подвиг, которого возможность понимают далеко не все и на который решаются очень немногие. Между тем журналы неотразимою силою привлекают к себе этих господ: во-первых, они дают свежие новости; во-вторых, разнообразие, часто даже пестрота оглавления дает каждому все средства выбрать себе чтение по вкусу и по плечу; в-третьих, одна книжка не успевает еще приглядеться, как она сменяется новою, и провинциальный читатель следит за идеями и интересами века, не успевая соскучиться и не утомляя свой мозг усиленною работою. Все это было бы очень хорошо; литераторы и публика удовлетворяли бы друг друга, но дело в том, что на практике выходит совсем не то, что выходило в теории.

Пишущие люди забывают, что они пишут не для себя, а для общества, литераторы составляют замкнутый кружок; этот кружок внутри себя вырабатывает идеи и убеждения и передает публике результаты, которые часто оказываются понятными только тогда, когда мы знаем, как они вырабатывались и формировались; один кружок сталкивается в мнениях с другим, начинается спор, которого предмет остается темен для публики; между тем публика читает полемику, видит, как горячатся оба противника, и с любопытством следит за скандальною стороною дела. Не вините в этом публику; поставьте себя на ее место; представьте себе, что при вас происходит спор на непонятном для вас языке. Если вы не выйдете из комнаты, то вы, вероятно, почти невольно будете следить за выражением лица и за мимикою спорящих личностей. То же самое делает публика. О предмете ученого или литературного спора она судить не может, потому что спорящие литераторы большею частью забывают о ее существовании и не делают ни шагу для того, чтобы пояснить ей, в чем дело. Они ссылаются на иностранные авторитеты, на собственные сочинения или статьи, разбросанные по разным журналам или напечатанные лет десять тому назад, наконец на голос внутреннего чувства, как сделал Погодин на диспуте с Костомаровым или покойный Хомяков, восставая в «Русской беседе» против материализма.[2] Справляться по всем этим ссылкам мудрено; у публики недостало бы на это ни досуга, ни терпения. Следовательно, останется ей две дороги: или вовсе не читать спора, или, читая его, втихомолку посмеиваться над тем, как горячатся спорящие стороны. Публика так и делает.

II

Вопрос о народности, сближение с народом, изучение народности — эти слова слышатся на каждом шагу и встречаются на каждой странице наших больших журналов. Идее этих слов мудрено не сочувствовать, трудно в этих святых словах не видеть ве-

ликой задачи времени, самого животрепещущего интереса нашей будущей истории. Но, с другой стороны, нужно быть в высшей степени доверчивым и добродушным оптимистом, чтобы от наших журналов ожидать действительного сближения с народом. «Русская беседа» в течение нескольких лет печатала дельные и основательные исследования Хомякова, Киреевских, Аксаковых, Беляева; «Отечественные записки» в прошлом году приложили к своему журналу целый сборник песен г. Якушкина; в «Светоче» во всех подробностях описана русская свадьба; «Современник» принужден выслушивать замечания со стороны «Отечественных записок» за то, что мало занимается народным элементом; новый журнал «Время» на интересах народности строит всю свою программу,[3] и что же из этого выходит, какие практические следствия ведут за собою все эти благородные стремления? Ровно никаких. Они дадут только будущему библиографу материалы, по которым он будет в состоянии сделать ошибочный вывод такого рода: «В половине XIX столетия вопрос о народности возбуждал к себе сильное сочувствие в читающей части русского общества». Этот вывод будущего библиографа я смело решаюсь назвать ошибочным, на том основании, что «Современник» и «Русский вестник» пользуются наибольшею популярностью, несмотря на то, что первый отличается космополитическим направлением, а второй занимается гражданскою жизнью Западной Европы гораздо пристальнее, нежели интересами нашей народности.[4] Если, сверх того, принять в соображение тот факт, что «Русская беседа» существует почти без подписчиков, то нетрудно будет убедиться в том, что наша журналистика не успела приохотить к ознакомлению с народностью даже ту часть публики, на которую она может иметь непосредственное влияние. О влиянии на простой народ, о фактическом сближении с ним путем журнальной литературы — смешно и говорить. Наш народ, конечно, не знает того, что о нем пишут и рассуждают, и, вероятно, еще лет тридцать не узнает об этом. Житейских, осязательных результатов он, вероятно, долго не увидит, потому что стремления не переходят в дело и остаются на страницах журналов, к обоюдной выгоде редакции и сотрудников. Что вопрос об эмансипации разрешился независимо от журнальных толков, в этом, конечно, нельзя винить журналистику; эмансипация была делом правительства и совершается административным путем. Но воскресные и бесплатные школы?[5] Это было делом общества, а между тем этот вопрос прошел мимо журналистики, и журналы ограничились тем, что отметили совершившийся факт на страницах своей современной летописи или хроники. Не журналы возбудили этот вопрос, и литература не указала обществу на его насущную потребность, а только оговорила эту потребность уже тогда, когда ее существование было сознано всеми, когда уже были приняты меры для удовлетворения этой потребности. Любопытно было бы знать, можно ли указать хоть на

одно полезное дело, хоть на один живой вопрос народной жизни, который был бы возбужден и решен нашими журналами и который не остался бы на бумаге, а хоть на одну йоту увеличил бы материальное и нравственное благосостояние нашего народа. Я почти уверен, что ответ на этот вопрос получится отрицательный. Причины этого явления я постараюсь разобрать в самых общих чертах.

III

Внешняя физиономия нашего общества слагается, конечно, помимо литературы. Наша журналистика не может иметь никакого влияния на решение административных вопросов, [6] следовательно, эту сторону дела я могу совершенно выпустить из моего рассуждения. Само собою понятно, что статьи «Русского вестника» об английском *jury* * или об английском парламенте имеют для нас интерес чисто научный и нисколько не могут содействовать нашему гражданскому воспитанию, потому что граждан воспитывает жизнь, а не книга. Точно так же понятно, что сблизиться с народом мы путем журналистики не можем; сближается с народом тот, кто живет среди его, кто видит его каждый день в разных видах и положениях, у кого есть с ним общие интересы и общие стремления. Нет сомнения, что помещики лучше петербургских и московских литераторов знают быт и характер простого народа; они знают народ в самом будничном и непривлекательном виде; у них происходят с ним ежедневные столкновения, которыми ожесточаются обе стороны; под влиянием этих столкновений у впечатлительного человека портится характер и формируется мрачный и негуманный взгляд на личность русского простолюдина; все это справедливо, но зато в основу этого взгляда ложится не теория, а непосредственный опыт, и вследствие этого понятие, которое сложилось в голове практического хозяина о типических особенностях русского крестьянина, будет всегда ярче и определеннее в частностях, чем понятие теоретика-литератора, воодушевленного самыми бескорыстными и гуманными стремлениями. [7] Практическое сближение с народом — дело до такой степени важное, что его нельзя предпринять между прочим, толкуя о Бокле и Стюарте Милле; какая-нибудь поездка по России может оставить в воображении несколько типических фигур, которые годятся для альбомного рисунка или для легкого литературного очерка; но внутренний смысл этих фигур дается не сразу и постепенно изменяется по мере того, как вы подходите к ним ближе и вглядываетесь внимательнее в их выражение и обстановку. Словом, журналистика, проводящая общечеловеческие идеи в русское общество, нуждается

---

* Суд присяжных *(франц.)*. — *Ред.*

в посредниках, которые проводили бы эти идеи к народу. В настоящее время народ еще не в состоянии сознавать эти идеи, обращать их в свое умственное достояние, органически перерабатывать их силою собственного мышления; пусть он по крайней мере чувствует на себе их благотворное, согревающее влияние. Русский крестьянин, быть может, еще не в состоянии возвыситься до понятия собственной личности, возвыситься до разумного эгоизма и до уважения к своему *я*: пускай же он почувствует по крайней мере какую-то перемену в окружающей атмосфере, пускай почувствует, что с ним обращаются *господа* как-то не попрежнему, а как-то серьезнее и мягче, любовнее и ровнее. Такого рода перемена в обращении не укрылась бы от его внимания и изменила бы его нечувствительно для него самого. «Чем более вы будете обращаться с мальчиком как с джентльменом, тем скорее он действительно превратится в джентльмена» — это основное положение американской педагогики, и это положение может быть применено к делу везде, где эмансипация идет не снизу вверх, а сверху вниз. Чтобы русский мужик почувствовал эту благодетельную перемену, нужно, чтобы наше провинциальное дворянство и мелкое чиновничество перестало быть тем, что оно теперь. Гуманизировать это сословие — дело литературы и преимущественно журналистики. Это дело, конечно, исполнимее сближения с народностью или гражданской реформы путем журнальных статей. Это дело требует дружных усилий и долговременного труда, но какое же действительное усовершенствование в сфере гражданской жизни не требует времени, труда, траты сил и единодушия? По крайней мере можно сказать одно: это — цель достижимая, и это, может быть, единственная задача, которую может выполнить литература и которую притом только одна литература и в состоянии выполнить.[8] Это среднее сословие, гуманизированное общечеловеческими идеями, может сделаться посредником между передовыми деятелями русской мысли и нашими младшими братьями — мужиками, в избу которых, конечно, никогда не заходят книжки журналов, стоящих 15 руб. сер. в год. Ни грошовые издания, о которых было говорено в мартовской книжке «Русского слова», ни «Народное чтение»,[9] о котором нужно будет поговорить со временем, не принесут народу никакой чувствительной пользы. Эти книги написаны людьми, имеющими какое-то отвлеченное, книжное понятие о народе, старающимися приноровиться к его потребностям и обнаруживающими в своих попытках полнейшую непрактичность, полнейшее незнание той почвы, которую они хотят возделывать. Но не забывайте, что в нашем обществе есть тысячи людей, понимающих наш книжный язык, носящих наш костюм, словом — *господ*, которые в состоянии прочесть и понять ученую статью в журнале и которые в то же время живут среди народа, в деревнях и уездных городах нашего обширного отечества. Эти люди поневоле

выучиваются говорить с народом и присматриваются к его потребностям; эти люди по самому своему положению стоят на рубеже двух элементов, общества и народа, и как будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаний сверху вниз. Отчего же мы ими не пользуемся? Оттого, мне кажется, что до сих пор мало обращали на них внимания. Наша журнальная критика и журнальная наука могла особенно благодетельно действовать на это сословие, но, к сожалению, ни критика, ни наука не имели в виду этого класса читателей и не заботились даже о том, чтобы сделаться доступными им по форме. В настоящее время вы не найдете почти ни одной критической статьи, которая была бы вполне понятна человеку, не имеющему специальных сведений по тому кругу предметов, к которому относится статья. Обыкновенному читателю такая статья представится непрерывным рядком намеков, в которых он будет смутно чувствовать какую-то общую связь, но в чем состоит эта связь и что говорят эти намеки, это останется ему совершенно непонятным. Опять-таки доказательство того, что если целые отделы наших журналов остаются неразрезанными, то виновата в этом не публика. Наши журналисты мечтают о гражданской жизни и о сближении с народом, и эти бесплодные мечты отвлекают их от настоящего дела, от действительной обязанности, от живого общения с тою сферою читателей, которая ждет от них притока знаний и идей. Кроме того, кроме этого мира благородных, но неосуществимых мечтаний,[10] у наших журналистов есть целый мир закулисных тайн, и намеками на интересы этого мира пересыпаны их критические обозрения и полемические статьи. Этот мир мелких личных неприятностей, мир литературного кумовства и нелитературных перебранок дает себя чувствовать по временам в каком-нибудь журнальном скандале, которого причина и истинная физиономия остаются непонятными для массы читающей публики. А между тем публику потчуют этими скандалами, и она volens-nolens * узнает факты, непонятные для нее и вовсе неинтересные.

IV

Но что же может и что должна сделать журналистика для той публики, которая исключительно занимается чтением журналов? Она должна разбить ее предрассудки и помочь ей выработать себе разумное миросозерцание. При этом она должна иметь в виду ту часть публики, которая способна подвинуться вперед, людей молодых и свежих, людей, способных принять истину и отрешиться от отцовских заблуждений. Для таких людей талантливый критик с живым чувством и с энергическим умом, критик,

* Волей-неволей *(лат.)*. — *Ред.*

подобный Белинскому, мог бы быть в полном смысле слова учителем нравственности, да не той условной нравственности, которая осуждает г-жу Толмачеву,[11] а той широкой нравственности, которая желает только, чтобы человек был самим собою, чтобы всякое чувство проявлялось свободно, без постороннего контроля и придуманных стеснений.[12] Литература во всех своих видоизменениях должна бить в одну точку; она должна всеми своими силами эмансипировать человеческую личность от тех разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость собственной мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все стороны. А то ли делает наша литература? К большей части вопросов жизни, науки или искусства она относится как-то нерешительно, как-то вполовину, оглядываясь по сторонам, боясь колыхнуть авторитет, боясь оскорбить историю; эти оглядки, эти опасения часто имеют место в таком деле, в котором можно смело положиться на голос здравого смысла, в котором можно даже отдаться внушению непосредственного чувства. Возьмем пример: пермская дама прочла на публичном чтении стихотворение Пушкина; корреспондент одной газеты описал это чтение, стараясь для удовольствия публики блеснуть яркостью красок и не жалея риторических украшений; сотрудник другой газеты, также для удовольствия публики, начинает глумиться над описанием первого и, давши волю своему неопрятному юмору, с размаху задевает имя и личность читавшей дамы. Дело, кажется, ясное! Оно ясно до такой степени, что о нем, может быть, и вовсе не стоило говорить, но правильное чутье некоторых наших журналов показало им, что это — вопрос, для нас еще не решенный и требующий оговорки. Юморист газеты «Век» получил от лица нашей журналистики серьезный выговор за свои цинические выходки против личности женщины и за ретроградное направление своей статьи. Этот выговор можно было бы назвать донкихотством, если бы общественное мнение в России определилось настолько, чтобы все образованные люди решали в один голос важнейшие вопросы жизни. Но у нас решительно нет общественных убеждений; в каждом семействе происходит борьба между старыми понятиями и молодыми стремлениями; эта борьба и эти колебания порождают в жизни общества много противоречащих друг другу явлений; например, молодая девушка приходит в университет учиться, а профессор старается выжить ее из аудитории циническим тоном своей лекции.[13] Очевидно, эта девушка и этот профессор расходятся между собою во взгляде на такой простой и понятный предмет, как образование женщины; они представляют борьбу двух диаметрально-противоположных начал, Домостроя и XIX века. Обе стороны открыто несут свое знамя и понимают свою несовместимость. Но не все члены общества становятся

решительно на ту или на другую сторону; большая часть так называемых серьезных людей держат нейтралитет и становятся в самые разнообразные положения в отношении к предмету спора; они обсуживают его, вводя в свои суждения такое множество оговорок и ограничений, что сущность дела становится мало-помалу неясною для самых жарких защитников того или другого мнения; качая мудрыми головами, эти рассудительные люди обвиняют обыкновенно обе спорящие стороны в крайности и в увлечении и сами стараются выбрать золотую середину. А возможна ли эта середина? Попробуйте стать посередине между негром и плантатором, между самодуром-отцом и дочерью, которую насильно выдают замуж, между мистицизмом и рационализмом. Примирения нет, и держать нейтралитет значит стоять совершенно в стороне и не принимать никакого участия в обсуждаемом вопросе. Нейтралитет, который стараются держать люди рассудительные, есть в сущности оптический обман, и, как оптический обман, он может быть опасен для неопытных глаз.

В нашем обществе есть много людей молодых, которые душою рады были бы пойти за светлыми и привлекательными идеями века, но которых останавливает, во-первых, то, что результаты этих идей совершенно расходятся с существующими формами жизни, и, во-вторых, голос рассудительных людей, выбравших мнимую золотую середину. Робость их неокрепшей мысли останавливается на существующем порядке и на авторитете. Чтобы помочь этим людям, надо пользоваться случаем, брать примеры прямо из жизни и на этих примерах показывать приложение общих правил и руководящих идей.[14]

Протест наших журналов против Камня Виногорова был положительно полезен; он показал обществу, как наше литературное большинство понимает права женщины, и показал не в теоретическом рассуждении, а на живом примере. Но нерешительность отношений к простому и ясному делу нашла себе представителей в двух значительных органах нашей журналистики. «Отечественные записки» приняли шутливый тон, говоря об этом событии в отделе русской литературы (1861, апрель, стр. 143); осмеяли как школьническую проделку всю историю протеста и посетовали о том, что толки о женщине не уяснили значения семейного начала в России. «Русский вестник» отнесся к делу гораздо строже; у него все оказались виноваты: и г-жа Толмачева, и фельетонист «Петербургских ведомостей», и юморист «Века», и в особенности г. Михайлов и *спущенная им стая*.[15] На 17 страницах разбирается это дело, и разбор приводит к самым неожиданным результатам; сплеча высказываются смелые, повидимому, мнения, которые на следующей же странице встречают себе такое же смелое опровержение. На стр. 24 говорится о том, что женщина в нашем обществе пользуется всеми разумными правами, а на

стр. 36 прорывается признание, что «у нас девушка не легко отважится пройти одна по улице». Концы с концами сведены так, что вы при чтении не заметите противоречий, но если вы захотите отдать себе отчет в прочитанном, то общее впечатление выйдет самое смутное. Дело в том, что в подобном вопросе надобно отвечать ясно и категорически: да или нет. Меттерниховские полумеры, ответы и *да* и *нет* или *ни да, ни нет* не приложимы и бессмысленны. Молодые женщины и девушки нашего общества чувствуют потребность учиться; у них пробуждается деятельность мысли; вопрос в том, дать ли им книги в руки или нет, пустить ли их в университет или нет. Давая им книги и пуская их в университет, мы, мужчины, собственно говоря, ничего не делаем, а только устраняем свое влияние и решительно не принимаем на себя никакой ответственности. Не давая книг и запирая двери университета, мы самым грубым образом посягаем на чужую свободу. Скажите же, в каком образованном обществе возможен такой вопрос? Ведь это все равно, что спросить печатно: нужно ли бить женщину кулаком или нет? Неужели для разрешения такого вопроса нужно обращаться к истории, уяснять значение семейного начала или ссылаться на права женщины перед Сводом законов, как то делает «Русский вестник»? Научный вопрос, историческое значение женщины в древней и новой России, можно обсуживать сколько угодно, и чем больше фактов вы наберете в летописях, тем полнее и серьезнее будет ваше исследование; но если вы в житейский вопрос вмешаете результаты ваших кабинетных трудов, то это будет напрасная трата времени.

А время вещь какая? [16]

Действительно, диалектические тонкости, в которые пускаются наши журналы по поводу самых простых и понятных вещей, как нельзя больше напоминают читающей публике знаменитого метафизика, свалившегося в яму и не решающегося без предварительного размышления схватить веревку, которую спускает к нему здравомыслящий человек. «Фразы заели нас», — говорит «Русский вестник» в своей статье о г-же Толмачевой (1861, март, стр. 37). Это совершенно справедливо. Когда нужно приложить к делу здравый смысл, когда можно дать волю непосредственному чувству, мы пускаемся в фразы и выдвигаем вперед вычитанную теорию; живой факт превращается в отвлеченное, безжизненное и бесцветное понятие; это понятие мы поворачиваем во все стороны; на целых страницах мы переливаем из пустого в порожнее и в заключение подводим такие результаты, которые на завтрашний же день, как мыльные пузыри, лопнут от движения жизни. Жизнь идет мимо литературы, и журнальные теории одна за другою сдаются в архив и умирают.

V

Жизнь наша бедна внутренним содержанием, а между тем и эта бедная жизнь с ее потребностями и стремлениями отражается довольно ясно только в изящной словесности. Наша изящная словесность во всех отношениях стоит выше нашей критики, так что во многих случаях критика не была в состоянии дать отчета о художественном произведении, возбудившем всеобщее сочувствие в читающей публике. О «Воспитаннице» Островского не было сказано ни слова, а между тем как много говорит эта небольшая драма, какие живые личности и положения выступают перед воображением читателя! Если молчание критики о «Воспитаннице» произошло от невнимания, то это непростительная оплошность; впрочем, трудно сделать подобное предположение; вернее то, что у нашей критики недостало сил разобрать аналитически те явления, которые в стройных образах явились перед творческим сознанием художника; сознание этого бессилия и нежелание отделаться фразами от замечательного произведения делает честь добросовестности наших критиков; но самый факт бессилия — явление действительно существующее и в то же время очень печальное. На изящную словесность нам решительно невозможно пожаловаться; она делает свое дело добросовестно и своими хорошими и дурными свойствами отражает с дагерротипическою верностью положение нашего общества. Во-первых, все внимание ее сосредоточено на среднем сословии, т. е. на том классе, который действительно живет и движется, для которого сменяются идеалы, взгляды на жизнь и веяния эпохи. Романы из жизни высшей аристократии и из простонародного быта сравнительно довольно редки, а явление писателя, подобного Марку Вовчку, писателя, сливающего свою личность с народом, составляет совершенное исключение. Это предпочтение наших художников к среднему сословию объясняется тем, что к этому сословию принадлежит почти все то, что пишет, читает, мыслит и развивается. Высшая аристократия и простой народ в сущности мало изменились со времен, например, Александра I; народ остался тем, чем был, и не переменил даже покроя платья; аристократия переменила костюм, приняла какие-нибудь новые привычки, но образ мыслей, взгляд на жизнь остались те же и попрежнему напоминают век Людовика XIV. Что же касается до среднего сословия, то каждое десятилетие производит в нем заметную перемену; поколение резко отличается от поколения; идеи европейского Запада действуют почти исключительно на высшие слои этого среднего класса; этот класс наполняет собою университеты, держит в руках литературу и журналистику, ездит за границу с ученою целью, словом, он выражает собою национальное самосознание. Художник, который ищет человеческих черт, а не бытовых подробностей, психологического, а не этнографического

интереса, естественно обращается к этому классу и из него черпает материалы. Борьба идей, а не личностей, столкновение понятий и воззрений возможны только в этом классе. Предмет борьбы и столкновения характеризуют собою эпоху, и притом так верно, что хороший критик по одному внутреннему содержанию художественного произведения, которого герои взяты из среднего сословия, может определить безошибочно то десятилетие, в котором оно возникло. Сравните «Героя нашего времени», «Кто виноват?» и «Дворянское гнездо», и вы увидите, до какой степени изменяются характерные физиономии и понятия из десятилетия в десятилетие.

Занимаясь преимущественно средним сословием, наша изящная словесность обращает свое внимание не столько на общество, сколько на человеческую личность. Психологический интерес в большей части наших романов и повестей преобладает над бытовым и социальным. Действие происходит обыкновенно внутри семейства и почти никогда не приводится в связь с каким-нибудь общественным вопросом. В этом обстоятельстве также отражается явление русской жизни; дело в том, что у нас, собственно говоря, нет общества, и до сих пор не бывало таких движений, которые бы заинтересовали всех и дали почувствовать каждому, что он не только Петров или Иванов, но в то же время гражданин России; у нас есть множество отдельных кружков, которые друг друга не знают и знать не хотят; внутренняя связь этих кружков иногда имеет очень определенный смысл, а иногда вовсе не имеет смысла; в некоторых случаях кружок составляется из людей, связанных между собою симпатиею, единством убеждений, сходством характеров; большею частью кружки основаны на связи чисто случайной, на родстве или на свойстве́, на соседстве по деревне, на товариществе по службе, на встрече за бутылкою вина. Физиономию кружка часто очень удачно схватывает художник; в этой физиономии есть обыкновенно несколько типических черт, которые каждому русскому понятны и знакомы; другие черты, составляющие индивидуальную особенность того или другого кружка, тоже могут войти в роман, потому что идея художника должна выразиться в самом определенном обособлении, так, чтобы выведенные личности были живыми людьми и в то же время представителями известного типа. Но для критики отсутствие связи между отдельными кружками составляет решительно камень преткновения; как судить об обществе, как наблюдать за проявлениями его жизни, когда общества нет и когда жизнь общества ни в чем не проявляется! Задача действительно мудреная, и за решение этой задачи критика наша берется, сколько мне кажется, не так, как следовало бы. За неимением общества она старается его выдумать; она пытается привить к нам общественные интересы и истощается в благородных, но бесполезных усилиях; она хочет сделать слишком много и потому ровно ничего не делает;

она забывает, что критика может только обсуживать существующие явления, выражать потребности, носящиеся в обществе, а не порождать новые явления и не будить в обществе такие потребности, для которых еще нет почвы в действительности. Забегать вперед не дело критики; это значит разрушать живую связь между собою и читающим обществом; если критика 1861 года осталась не прочитанною или по прочтении не произвела на читателя никакого впечатления, то она навсегда пропала; ведь будущее поколение не станет же разрывать старые журналы, чтобы искать в них идеи, приходящиеся по душе. Журналистика — дело нынешнего дня; что не прочитано сегодня, то уже устарело назавтра. Белинского издают и читают теперь преимущественно потому, что его с жадностью читали его современники, потому что он был учителем целого поколения, а не потому, что в его критике заключаются вечные истины. Белинский дорог нам не как мыслитель, а как выражение известной эпохи. Самые недостатки Белинского, его увлечения, порывы страстности, вредящие порою ясности критического взгляда, могли только содействовать успеху его критики. Эти недостатки принадлежали времени; их разделяли с Белинским лучшие люди той эпохи, и потому эти самые недостатки скрепляли связь между критиком и читателем.

Ничего подобного не встретишь в теперешней критике, потому что усвоить себе все сочувствия известной эпохи, все ее сильные и слабые стороны, словом, воплотить в себе эпоху может только сильный талант, а нашим критикам именно недостает силы и таланта. У них есть кой-какие знания, есть честные убеждения, благородные стремления, но нет той жизни, той энергии и огня, которые неотразимым обаянием действуют на общество и увлекают за собою умы читателей. Этим недостатком таланта объясняются ошибки нашей критики, ее бестактность и, главное, ее поразительная мертвенность. Человек талантливый творит по внутренней потребности; он увлекается процессом творчества за пределы всякой теории и увлекает за собою слушателей или читателей; он иногда ошибается, противоречит себе, потому что впечатлительность и подвижность мысли часто мешают ему размерять каждый шаг и взвешивать каждое слово. Трудолюбивая посредственность часто найдет случай уличить его в поверхностности, в поспешности выводов, в недостаточном знакомстве с фактами, но во всех этих ошибках, в самых противоречиях видна самородная сила мысли, от них веет жизнью, и во имя этого обаятельного дыхания жизни вы охотно извините талантливому человеку отдельные пробелы и недосмотры; задаться какою-нибудь теориею и не отступать от нее в течение всей своей деятельности — это невозможно для талантливого человека; оторваться от интересов действительной жизни он решительно не в состоянии; его природа слишком восприимчива и впечатлительна, чтобы не отозваться на то, «что просит у сердца ответа». Он может расходиться с своими

современниками в понимании житейских вопросов и важнейших интересов эпохи, он может вступить с ними в открытую борьбу на жизнь и на смерть, но предметом этой борьбы будет действительная почва, а не отвлеченная, схоластическая теория, созданная одностороннею работою мозга.

Современная критика грешит именно тем, что она задается теориями и изобретает жизнь, вместо того чтобы приглядываться и прислушиваться к звукам окружающей действительности. Бедны, однообразны эти звуки, не слагаются они в стройную гармонию, — все это правда, но ведь все-таки это действительность, и самая ее бедность и однообразие представляют нам факт, способный вызвать слово сочувствия у действительного поэта или навести истинного критика на плодотворные размышления. Эту бедность не замаскируешь самыми пестрыми декорациями фантазии, да и кого обманут эти декорации? Детей, не выучившихся отличать мишуру от золота, да тех жалких людей, у которых воображение преобладает над чувством и которые способны жить одною головою и удовлетворяться тем, что в их мозгу господствует строгая систематичность и существует гармоническое согласие между поселенными в нем идеями. Витать мыслью в радужных сферах фантазии или уноситься куда-нибудь за море к лучшему порядку вещей в то время, когда окружающие нас люди терпят горькую судьбу или несут тяжелый труд, — это такая способность сибаритства, которою обладают многие, но которая, к сожалению, недоступна человеку, одаренному живым чувством. Возле меня человек работает и страдает, терпит голод, холод и оскорбления, а я, сидя на мягком диване, после сытного обеда, боюсь даже пошевелить своею мыслью и подумать о его положении; вздохнув ex officio* о несовершенствах жизни, я отворачиваюсь от некрасивого зрелища, отгоняю прочь серенькие впечатления и начинаю строить воздушные замки или рассуждать о парламентской реформе в Англии. Нет сомнения, что подобные спокойные и светлые размышления полезны для головы и для желудка; пульс бьется ровно, и пищеварение идет нормальным порядком, но что эти размышления — сон наяву, это, мне кажется, тоже не требует доказательств.[17]

VI

Наша изящная словесность представляет интерес преимущественно психологический; она рассматривает человека, а не гражданина, не представителя известной эпохи, не члена известного общества. Черты народности, эпохи и общества встречаются в изобилии в создаваемых ею образах, потому что эти образы действительно художественны и, следовательно, вполне опреде-

---

* По обязанности *(лат.)*. — *Ред.*

лены; но эти черты составляют только необходимые аксессуары; что же касается до главных пружин романического интереса, то они обыкновенно скрываются во внутреннем развитии отдельных характеров, в колорите личных и семейных отношений главных действующих лиц. У нас не было исторического романа, за исключением «Капитанской дочки» Пушкина; у нас нет до сих пор социального или нравоописательного романа. В этом отношении литература служит верным отражением жизни; у нас каждый занят собою и своим семейным бытом; гражданские доблести и патриотическое чувство пробуждаются только тогда, когда всем угрожает опасность, как то было, например, в 1812 году; вызванное общею опасностью, это патриотическое чувство равносильно чувству самосохранения, возбужденному одновременно в нескольких миллионах людей. Эти миллионы поднимаются не для того, мне кажется, чтобы отстоять какую-нибудь общую идею, а для того, чтобы защитить свои личные интересы. Поднимаются все вместе потому, что каждому отдельно грозит опасность. Эта разрозненность не подлежит сомнению. Хороша ли она или нет, это вопрос, и, мне кажется, вопрос далеко не решенный. Она мешает единству гражданского действия, но зато развивает личную оригинальность и самостоятельность. Трудно также решить a priori, составляет ли эта разрозненность черту русского характера или простое, временное следствие внешней организации нашего общества; как бы то ни было, факт существует, и, если можно, из него нужно извлечь пользу.

Вместо того чтобы проповедовать голосом вопиющего в пустыне о вопросах народности и гражданской жизни, о которых молчит изящная словесность, обладающая бо́льшим тактом, наша критика сделала бы очень хорошо, если бы обратила побольше внимания на общечеловеческие вопросы, на вопросы частной нравственности и житейских отношений. В уяснении этих вопросов нуждается всякий; эти вопросы затемнены и запутаны разным старым хламом, который не мешало бы отодвинуть в сторону, чтобы всем и каждому можно было непредубежденными глазами взглянуть на свет божий и на добрых людей. С важным видом взойти на кафедру и ни с того ни с сего начать проповедь о человеческих обязанностях и добродетелях было бы, конечно, смешно; я этого и не требую от нашей критики; но вы не забудьте того, что в каждой книжке каждого толстого журнала появляются повести и романы; хорошие произведения представляют нам характеры и образы, посредственные — выражают стремления и воззрения авторов; и те и другие могут дать повод к обсуждению разных сторон нашей вседневной жизни; а эти стороны нуждаются в пересмотре и в расчищении; это выразил еще в «Петербургском сборнике» талантливый и рыцарски-честный человек, автор статьи «Капризы и раздумье», [18] и эта мысль нашла себе полное сочувствие в теплой душе Белинского. Отношения между мужем и женою, между

отцом и сыном, матерью и дочерью, между воспитателем и воспитанником — все это должно быть обсуживаемо и рассматриваемо с самых разнообразных точек зрения. Это обсуждение не должно привести к составлению законов семейной нравственности. Боже упаси! Догматизм вреден в таких отношениях, в которых не должно быть ничего условного, в которых понятие обязанности должно совершенно уступить место свободному влечению и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убеждения об условиях домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смелому пересмотру существующие формы, освященные веками и потому подернувшиеся вековою плесенью. Говорить мельком об условной или мещанской нравственности принято в современной литературе. Слово «условная нравственность» сделалось даже общим местом; повторяясь ежеминутно, это слово потеряло свой живой смысл и обратилось в побрякушку, не пробуждающую в нас никакого определенного представления; почему это так случилось? Нас заели фразы, мы пустились в диалектику, воскресили схоластику и вращаемся в заколдованном кругу слов и отвлеченностей, которые мешают нам видеть настоящее дело. Вот, например, г. Григорьев пишет целую статью об отношении искусства к нравственности, [19] статья по своему направлению соответствует духу времени, а между тем автор не выходит из сферы отвлеченностей и ни одного литературного типа не разбирает по отношению к затронутому вопросу; имен встречается довольно много, но по поводу этих имен высказываются замечания, относящиеся к истории литературы, но не бросающие никакого света на понятие условной и истинной нравственности. Прочитав статью в 23 страницы, читатель убеждается в том, что г. Григорьев протестует против «условной нравственности», но самое понятие «условная нравственность» остается для него так же мало определенным, как, например, выражения того же критика: «литые формы» Карамзина («Время», 1861, март) или «казовые концы» нашего общества («Светоч», 1861, апрель). [20] Заявить в себе присутствие того или другого убеждения не трудно; тот факт, что вы прогрессист или обскурант, касается только вас самих и ваших ближайших знакомых; публика не нуждается в вашем голословном исповедании веры; оно ни для кого не поучительно и, может быть, даже не интересно; но если вы дадите себе труд развить отдельные мысли вашего миросозерцания, если вы покажете их приложение к делу в различных столкновениях с жизнью, тогда публика увидит степень самостоятельности и искренности ваших убеждений, степень их жизненности и практической применимости; она увидит, что можно задуматься над выраженными вами идеями, и, может быть, скажет вам спасибо за то, что вы дали ей повод к тем или другим размышлениям. Есть множество истин простых

и понятных, которые, однако, не совсем легко применить, даже в теоретическом рассуждении, к отдельным случаям жизни. «Уважайте в себе и в других человеческую личность», — что может быть проще этого правила; вероятно, не найдется ни одного человека в мире, который решился бы спорить против этой мысли, выраженной в догматической форме; вероятно, никто не найдет этого изречения безнравственным; а между тем посмотрите вокруг себя — вы встретите на каждом шагу противоречия этому простому правилу практической нравственности; загляните в историю человечества, и вы убедитесь в том, что оно даже теоретически не уяснило себе этой идеи; религиозные войны, утопические теории, реформы с высоты административного величия или отвлеченной мысли доказывают ясно, что необходимость уважать человеческую личность не была сознана во всем своем объеме ни мыслителями, от Платона до Гегеля, ни практическими деятелями, от Кира Персидского до Наполеона III.[21] Можно сказать решительно, что приложение принципа к делу гораздо важнее самого принципа; под одним знаменем могут стоять люди самых несходных характеров и даже до некоторой степени разноречивых убеждений. Вероятно, «Русский вестник» не решится выставить на своем знамени цитату из Домостроя; вероятно, он скажет смело, что ратует за прогресс и за свободу человеческой мысли и личности, а между тем он с ожесточением восстает против тех людей, которые выразили свое неудовольствие по поводу статьи Камня Виногорова, называет их стаею, спущенною г. Михайловым, а всю историю протеста клеймит именем возмутительного гама на площадях русской литературы. Споры возникают в наше время не столько за принцип, сколько за отдельные частности в его приложении к делу; в основном принципе все порядочные люди более или менее согласны между собою; кто не сходится с нами в основании, с тем мы считаем всякий спор совершенно бесполезным; вероятно, ни один порядочный журнал не вступит в полемику с «Домашнею беседою»[22] и не откликнется ни одним словом на кривляния г. Аскоченского. Из всего этого следует, что критика будет тем живее и плодотворнее для общества, чем меньше будет в ней отвлеченности и общих взглядов, чем неуклоннее она будет следить за движением жизни и чем внимательнее будет обсуживать отдельные явления науки и искусства, даже отдельные случаи вседневной жизни.

Помилуйте, вы низводите критику на степень городской сплетницы, — скажут с ужасом те литераторы, которые прежде всего гонятся за серьезностью направления и за величием и строгостью идеи. — Господа, — отвечу я, — не будем обманывать самих себя: ведь мы должны писать для общества, следовательно, должны заниматься тем, что всем доступно и всем может принести пользу. Какой-нибудь общественный скандал в данную минуту интересует публику гораздо больше, нежели решение вопроса о том, суще-

ствуют ли у нас западники и славянофилы; по поводу этого общественного скандала вы можете развить несколько светлых идей и заронить в ваших читателей кое-какие задатки развития и движения вперед. Спрашивается, по какому же побуждению вы не воспользуетесь этим случаем? — Потому, — скажете вы, — что не желаете уронить достоинства идеи, не желаете вмешаться в толпу крикунов и свистунов, etc., etc. [23] Что за щепетильность, что за брезгливость, что за фешенебельное и в то же время педантическое презрение к тем интересам, которые волнуют окружающих вас людей! Как критик, вы должны помогать общественному самосознанию и не оставаться сложа руки, когда общество рискует ошибиться или когда является возможность высказать ему несколько истин. Олимпийское спокойствие может быть очень уместно в ученом собрании, но оно никуда не годится на страницах журнала, служащего молодому, еще не перебродившему обществу. Если ваш утонченный слух не терпит резких звуков, откажитесь от критической деятельности, приводящей вас в соприкосновение с живым и безалаберным миром людей; плохой тот медик, который бледнеет при виде крови и падает в обморок, когда нужно перевязывать рану больного; плохой тот критик, который не в состоянии вынести шума житейских толков и потому может познакомиться с жизнью только по книгам, написанным высоким слогом и проникнутым олимпийским спокойствием. Но, извините, между медиком и критиком большая разница. Медик не виноват в том, что у него слабы нервы; он борется с собою и не может победить себя; что же касается до щепетильного критика, то он, очевидно, напускает на себя дурь и даже любуется тем величавым презрением, с которым он относится к суетящейся мелюзге. «Время» говорило о литературных генералах; [24] помилуйте, да у нас есть не только литературные генералы, а просто литературные богдыханы, которые сердятся за всякое громкое слово и пушат нас, как мальчишек, за отсутствие серьезности и за то, что мы смеем беспокоить их барские уши и нарушать их величавую полудремоту. Попробуйте написать резкую критическую статью: «Отечественные записки» сейчас обвинят вас в гарцевании, в срамословии и скверномыслии (sic!), а «Русский вестник» крикнет из Москвы: «Молчать, мальчишки, [25] не смейте рассуждать, когда я говорю!»

Все это было бы почти грустно, если бы не было в высшей степени смешно.

VII

Стремление к серьезности, господство теорий, переходящих порою в рутину, отвлеченность и вследствие этого безжизненность содержания и неясность внешней формы составляют неотъемлемое достояние нашей современной критики. Она гордится этими свойствами и держит в запасе несколько казенных фраз, которыми

эти слабости и недостатки возводятся в высшие достоинства; отворачиваться от явлений действительности значит служить вечным интересам мысли; туманные отвлеченности называются философиею; даже самый осязательный недостаток — неясность формы — не встретил себе до сих пор определенно выраженного протеста в печати. Словом, средневековая схоластика и египетская символистика живут в нашей периодической литературе, несмотря на изобретение Гутенберга, которое, как мы знаем по самым элементарным учебникам, должно было разбить замкнутость ученого сословия и сделать науку достоянием массы. Схоластика оправдывается условиями своего времени; египетская символистика вытекла из религии и поддерживалась народным характером, любившим таинственность и мистический мрак; но в наше время схоластическое отчуждение от жизни и символическая загадочность выражения составляют печальный анахронизм. Попытки некоторых критиков построить эстетическую теорию и уяснить вечные законы изящного решительно не удались, и не удались именно потому, что наш век уже не ловится на теории и не повинуется слепо вымышленным законам. Прошли те времена, когда Буало и Батте, законодатели ложного классицизма, могли произвольно обрезывать область творчества и выбрасывать из нее все низкое (т. е. невысокое) и пошлое (т. е. обыденное). У нас в журнальной критике был момент, когда теория сразилась с интересами жизни и употребила все усилия, чтобы поворотить движение мысли туда, куда требовалось, согласно с буквою эстетического закона; схватка, происшедшая между теоретиками и практиками, была жаркая, и, как того следовало ожидать, теоретики не остановили течения жизни и отошли в сторону, пожимая плечами. Дело шло об обличительной литературе. Надо было решить, законное ли оно явление или нет. Собственно говоря, в решении этого вопроса никто не нуждался; публика с наслаждением читала «Губернские очерки» Щедрина, нисколько не заботясь о том, осудит или оправдает его наша критика; но рьяные систематики, любящие систему для системы, не могли быть спокойны, пока не нашли той категории, в которую можно было включить произведения нового беллетриста. Эти систематики восстали против обличительной литературы и с фанатическим жаром вступились за отвлеченное понятие искусства. Г. Ахшарумов поместил даже в «Отечественных записках» 1858 года статью под громким заглавием: «Порабощение искусства». [26] Словом, господа теоретики так горячо вступились за отвлеченное понятие, как вступаются только за живого человека, когда ему наносят тяжелое оскорбление. Слушая их, можно было подумать, что не повести и романы пишутся для того, чтобы удовлетворить творческому стремлению авторов и доставить публике эстетическое наслаждение, а наоборот — писатели и публика существуют: первые для того, чтобы писать, а последние для того, чтобы читать художественные произ-

ведения. Теория здесь, как и везде, посягала на свободу писателей и читателей; здесь, как и везде, она обнаруживала крайнюю близорукость и крайнее незнание жизни. Она хотела переделать жизнь по-своему и подчинить своим приговорам творчество художника и вкус ценителя. Она не поняла того, что протест был насущною потребностью русского общества в лице наиболее развитых его представителей; она не захотела вникнуть в то, что протест мог выразиться только в изящной словесности и что на этом основании наши протестанты с жадностью ухватились за эту форму. Критика отстала от общества и от изящной словесности и, толкуя об истории, сама забыла приложить историческую оценку к невиданному явлению. Она заговорила об абсолютных законах творчества и не сообразила того, что абсолютной красоты нет и что вообще понятие красоты лежит в личности ценителя, а не в самом предмете. Что на мои глаза прекрасно, то вам может не нравиться; что приходилось по вкусу нашим отцам, то может наводить на нас сон и дремоту. Негритянка, которая своему соотечественнику покажется воплощением красоты, наверное не понравится европейцу. Красота чувствуется, а не меряется аршином; требовать, чтобы художественное произведение приводило зрителей или слушателей в одинаковое настроение, значит желать, чтобы у всех этих господ равномерно бился пульс, а сделать это очень трудно; нам известно из истории, что Карл V, во время своего пребывания в монастыре св. Юста, [27] при всех усилиях не успел привести к равномерному ходу двух стенных часов. Человеческий организм будет посложнее стенных часов; к тому же он образуется и развивается помимо нашей воли; из этого следует заключение, что законодатели-эстетики напрасно стараются добраться до таких законов, которые на практике признало бы все человечество. Вы можете рядом силлогизмов доказать мне, что такое-то произведение художественно, но если это произведение не подействовало на мою нервную систему, то, прочитавши вашу рецензию, я останусь к нему так же холоден, как и прежде. — Если, стоя перед картиною, вы предварительно отдаете себе отчет в правильности рисунка, в верности выражения и в живости колорита, а уже потом начинаете наслаждаться общим впечатлением, то это доказывает, что картина писана не художником, а трудолюбивым и ученым техником, или что вы, ценитель, до такой степени пропитаны теоретическими знаниями, что научный элемент задушил в вас живое чувство и непосредственную восприимчивость к явлению красоты. Это значит, что вы заучились и что ваши мыслительные силы развились в ущерб остальным отправлениям вашего организма. Мы, обыкновенные люди, идем обратным путем, от синтеза к анализу, т. е. сначала чувствуем впечатление, а потом отдаем себе отчет в причинах этого впечатления. Если я не почувствовал красоты, то не стану справляться с мнением знатоков, а подожду, пока большее количество жизненного опыта не даст мне средств

самостоятельно насладиться данным произведением или пока тот же жизненный опыт не покажет мне, что я был прав перед собственною личностью, пройдя совершенно равнодушно мимо этого произведения.

Личное впечатление, и только личное впечатление может быть мерилом красоты. Пусть всякий критик передает нам только то, как на него подействовало то или другое поэтическое произведение; пусть он дает публике отчет в своем личном впечатлении, и тогда каждая критическая статья будет так же искренна и жива, как лирическое стихотворение истинного поэта; тогда рецензия будет создаваться, вытекать из души критика, а не строиться механически, как строится она теперь. Тогда критика будет делом таланта, и бездарность не будет в состоянии укрыться за чужую теорию, превратно понятую и превратно передаваемую. Это, конечно, pia desideria. * Бездарность никогда не откажется от критической деятельности уже потому, что не сознает себя бездарностью. Бездарность никогда не откажется от теории потому, что ей необходим критериум, на котором можно было бы строить свои приговоры, необходима надежная стена, к которой можно было бы прислониться. Ведь высказывается же в нашей журналистике мнение о том, что литература наша *страдает* отсутствием авторитетов («Отеч⟨ественные⟩ зап⟨иски⟩», 1861, февраль, «Рус⟨ская⟩ лит⟨ература⟩», стр. 76), [28] точно будто вера в авторитет или в теорию составляет необходимое условие жизни. Если такое мнение до сих пор высказывается даже в догматической форме, то, очевидно, оно будет жить очень долго, может быть даже никогда не умрет, потому что, вероятно, не переведутся в обществе такие люди, которые по вялости и робости мысли не решаются стать на свои ноги и постоянно напрашиваются к кому-нибудь под умственную опеку. Тем не менее было бы очень хорошо, если бы вера в необходимость теории была подорвана в массе читающего общества. Строго проведенная теория непременно ведет к стеснению личности, а верить в необходимость стеснения значит смотреть на весь мир глазами аскета и истязать самого себя из любви к искусству.

В вопросе об обличительной литературе теория эстетики высказала всю свою несостоятельность. Дело было так просто, что возвести его в теоретический вопрос и толковать о нем больше трех лет могли только метафизик Хемницера [29] да наша заучившаяся критика. Дело состояло в том, что в журналах рядом с некоторыми замечательными очерками Щедрина стали появляться посредственные рассказы и сцены с обличительными стремленьицами и с худо скрытою нравоучительною целью. Посредственные беллетристические произведения ни в какой литературе не составляют редкости, а у нас ими хоть пруд пруди; каждый журнал ежемесячно вносит на алтарь отечества свою посильную лепту,

---

* Благие пожелания *(лат.)*. — *Ред.*

в течение года возникает от 60 до 80 повестей, и, конечно, в этом числе по крайней мере $^9/_{10}$ никуда не годятся. Литературные посредственности обладают обыкновенно значительною гибкостью, потому что они делают, а не творят свои произведения. Увидя успех щедринских рассказов, эти господа пустились в подражание, и можно сказать положительно, что они хорошо сделали. Их повести не могли иметь художественного значения ни в каком случае; когда они взялись за обличение, их очерки получили житейский интерес. Пушкин в своем стихотворении «Поэт и чернь» спрашивает:

Жрецы ль у вас метлу берут?

и, как известно, выражает ту мысль, что поэты созданы для песнопений, для звуков сладких и молитв. Я совершенно согласен с мнением Пушкина, но позволю себе один нескромный вопрос: неужели можно назвать жрецами искусства гг. Колбасина, Карновича, С. Федорова, Основского, г-жу Вахновскую, Нарскую, г. Кугушева etc., etc.? Мне кажется, эти господа могут смело взять метлу в руки, нисколько не роняя своего достоинства. Красота формы им недоступна; пускай же они рассказывают интересные житейские случаи, это будет гораздо занимательнее для читателя, чем те сентиментально-бледные романы, которые производят г-жи Нарская и Вахновская. Но наша критика увидала в наплыве обличительных очерков новое направление, опасное для искусства, точно будто сфера искусства доступна для людей без дарования и точно будто истинное дарование может сбиться с пути каким-нибудь господствующим направлением. Явились также защитники обличительной литературы, доказывавшие, что гражданский протест есть прямая обязанность искусства. Спорящие стороны были достойны друг друга и одинаково смешны для беспристрастного наблюдателя. Я бы им посоветовал проехать мимо Академии художеств, прочитать на фронтоне надпись: «Свободным художествам» и подумать о смысле этих слов. Спорящие стороны вспомнили бы, может быть, что свобода в выборе и обработке сюжета так же необходима для художника, как для нас с вами воздух и пища; что ни наталкивать художника на какую-нибудь задачу, ни насильно оттаскивать его от нее нельзя; они поняли бы тогда, может быть, что искренний крик негодования, вырвавшийся у художника при виде общественных гадостей, составляет такой же драгоценный момент его творческой деятельности, как спокойное созерцание прекрасного образа; другая сторона поняла бы, что этот крик негодования только тогда действительно силен, когда он не подделан, а вырывается невольно из груди действительно раздраженного человека; она поняла бы, следовательно, что сердиться на художника за отсутствие подобных криков — значит посягать на его личную свободу и заставлять человека плакать или смеяться, когда ему не грустно или не

смешно. Что же касается до обличительного мусора, завалившего наши журналы 1857 и 1858 годов,[30] то обе стороны хорошо бы сделали, если бы совершенно не спорили о нем. Мусор — явление неизбежное, и никакое направление литературы его не уничтожит; если же выбирать из двух зол лучшее, то, конечно, можно выбрать обличительный род, который хоть не изображает жизни, но по крайней мере рассказывает о ней. Замечательно, что до сих пор состязание двух направлений нашей критики не прекратилось или не забыто. Г.—бов[31] до наших времен в начале каждой статьи прохаживается насчет эстетической критики, а г. Григорьев оплакивает падение истинной поэзии, видит в Тургеневе последнего могикана чистого искусства и даже в последней, очень туманной статье своей «Об идеализме и реализме»[32] («Светоч», 1861, апрель) является робким ходатаем идеализма, который, по его мнению, воплотился в Тургеневе. — Обе стороны, т. е. критики, старающиеся запрячь поэзию в воз, и критики, стремящиеся к беспредельности и к вечной красоте, спорят между собою, делают друг на друга колкие намеки, обижаются ими, отвечают на них упреками, — и хоть бы один раз, на досуге, они подумали: «Из чего мы хлопочем? Кого интересуют наши кровавые споры? Зачем и на что мы тратим энергию? На кого наши слова будут иметь влияние?» Да, господа, Крылов не умрет, и его басня «Муха и дорожные» не раз найдет себе приложение.

VIII

Наше время решительно не благоприятствует развитию теорий. Народ хитрее стал, как выражаются наши мужики, и ни на какую штуку не ловится. Ум наш требует фактов, доказательств; фраза нас не отуманит, и в самом блестящем и стройном создании фантазии мы подметим слабость основания и произвольность выводов. Фанатическое увлечение идеею и принципом вообще, сколько мне кажется, не в характере русского народа. Здравый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, самое заметное свойство чисто русского ума; мы более склоняемся к Гамлету, чем к Дон-Кихоту; нам мало понятны энтузиазм и мистицизм страстного адепта. На этом основании мне кажется, что ни одна философия в мире не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный, здоровый и свежий материализм. Диалектика, фразерство, споры на словах и из-за слов совершенно чужды этому простому учению. До фраз мы, конечно, большие охотники, но нас в этом случае занимает процесс фразерства, а не сущность той мысли, которая составляет предмет рассуждения или спора. Русские люди способны спорить о какой-нибудь высокой материи битых шесть часов и потом, когда пересохнет горло и охрипнет голос, отнестись к предмету спора с самою

добродушною улыбкою, которая покажет ясно, что в сущности горячившемуся господину было очень мало дела до того, о чем он кричал. Эта черта нашего характера привела бы в отчаяние добросовестного немца, а в сущности это пресимпатичная черта. Фанатизм подчас бывает хорош как исторический двигатель, но в повседневной жизни он может повести к значительным неудобствам. Хорошая доза скептицизма всегда вернее пронесет вас между разными подводными камнями жизни и литературы. Эгоистические убеждения, положенные на подкладку мягкой и добродушной натуры, сделают вас счастливым человеком, не тяжелым для других и приятным для самого себя. Жизненные переделки достанутся легко; разочарование будет невозможно, потому что не будет очарования; падения будут легкие, потому что вы не будете взбираться на недосягаемую высоту идеала; жизнь будет не трудом, а наслаждением, занимательною книгою, в которой каждая страница отличается от предыдущей и представляет свой оригинальный интерес. Не стесняя других непрошенными заботами, вы сами не будете требовать от них ни подвигов, ни жертв; вы будете давать им то, к чему влечет живое чувство, и с благодарностью, или, вернее, с добрым чувством, будете принимать то, что они добровольно будут вам приносить. Если бы все в строгом смысле были эгоистами по убеждениям, т. е. заботились только о себе и повиновались бы одному влечению чувства, не создавая себе искусственных понятий идеала и долга и не вмешиваясь в чужие дела, то, право, тогда привольнее было бы жить на белом свете, нежели теперь, когда о вас заботятся чуть не с колыбели сотни людей, которых вы почти не знаете и которые вас знают не как личность, а как единицу, как члена известного общества, как неделимое, [33] носящее то или другое фамильное прозвище.

Возможность такого порядка вещей представляет, конечно, неосуществимую мечту, но почему же не отнестись добродушно к мечте, которая не ведет за собою вредных последствий и не переходит в мономанию. Мир мечты может тоже сделаться обильным источником наслаждения, но этим источником надо воспользоваться с крайнею осторожностью. Самый крайний материалист не отвергнет возможности наслаждаться игрою своей фантазии или следить за игрою фантазии другого человека. В первом случае на первом процессе основан процесс поэтического творчества; на втором — процесс чтения поэтических произведений. Но, с другой стороны, самый необузданный идеализм происходил именно от того, что элемент фантазии получал слишком много простора и разыгрывался в чужой области, в области мысли, в сфере научного исследования. Пока я сознаю, что вызванные мною образы принадлежат только моему воображению, до тех пор я тешусь ими, я властвую над ними и волен избавиться от них, когда захочу. Но как только яркость вызванных образов ослепила меня, как только я забыл свою власть над ними, так эта власть и пропала;

образы переходят в призраки и живут помимо моей воли, живут своею жизнью, давят меня как кошмар, оказывают на меня влияние, господствуют надо мною, внушают мне страх, приводят меня в напряженное состояние. Так, например, пелазг создавал свою первобытную религию и падал во прах перед созданием собственной мысли. Галлюцинация его была ослепительно ярка; критика была слишком слаба, чтобы разрушить мечту; борьба между призраком и человеком была неровная, и человек склонял голову и чувствовал себя подавленным, пригнутым к земле...

Шутить с мечтой опасно; разбитая мечта может составить несчастие жизни; гоняясь за мечтою, можно прозевать жизнь или в порыве безумного воодушевления принести ее в жертву. У так называемых положительных людей мечта принимает формы более солидные и превращается в условный идеал, наследованный от предков и носящийся перед целым сословием или классом людей. Идеал человека comme il faut, * человека дельного, хорошего семьянина, хорошего чиновника — все это мечты, которым многое приносится в жертву. Эти мечты более или менее отравляют жизнь и мешают беззаветному наслаждению. Да как же жить, спросите вы, неужели без цели? Цель жизни! Какое громкое слово и как часто оно оглушает и вводит в заблуждение, отуманивая слишком доверчивого слушателя. Посмотрим на него поближе. Если вы поставите себе целью такую деятельность, к которой стремится ваша природа, то вы дадите себе только лишний труд: вы бы сами пошли по тому пути, на который навело вас размышление; непосредственный инстинкт натолкнул бы вас на прямую дорогу, и натолкнул бы, может быть, скорее и вернее, нежели навел тщательный анализ; если же, боже упаси, вы поставите себе цель, несовместную с вашими наклонностями, тогда вы себе испортите жизнь; вы потратите всю энергию на борьбу с собой; если не победите себя, то останетесь недовольны; если победите себя, то вы сделаетесь автоматом, чисто рассудочным, сухим и вялым человеком. Старайтесь жить полною жизнью, не дрессируйте, не ломайте себя, не давите оригинальности и самобытности в угоду заведенному порядку и вкусу толпы — и, живя таким образом, не спрашивайте о цели; цель сама найдется, и жизнь решит вопросы прежде, нежели вы их предложите.

Вас затрудняет, может быть, один вопрос: как согласить эти эгоистические начала с любовью к человечеству? Об этом нечего заботиться. Человек от природы существо очень доброе, и если не окислять его противоречиями и дрессировкой, если не требовать от него неестественных нравственных фокусов, то в нем естественно разовьются самые любовные чувства к окружающим людям, и он будет помогать им в беде ради собственного удовольствия,

---

* Как следует, приличного (по понятиям светского общества) *(франц.)*.— *Ред.*

а не из сознания долга, т. е. по доброй воле, а не по нравственному принуждению. Вы подумаете может быть, что я указываю вам на état de la nature, * и обратите мое внимание на то, что дикари, живущие в первобытной простоте нравов, далеко не отличаются добродушием и доводят эгоизм до полнейшей животности. На это я отвечу, что дикари живут при таких условиях, которые мешают свободному развитию характера: во-первых, они подчинены влиянию внешней природы, между тем как мы успели уже от него избавиться; во-вторых, они верят в те призраки, о которых я говорил выше; в-третьих, они более или менее стремятся к условному идеалу, и идеал у них один, потому что вся деятельность ограничивается охотою и войною; присутствие этого идеала оказывает самое стеснительное влияние на живые силы личности. Из всего этого следует заключение, что развитие неделимого можно сделать независимым от внешних стеснений только на высокой степени общественного развития; эмансипация личности и уважение к ее самостоятельности является последним продуктом позднейшей цивилизации. Дальше этой цели мы еще ничего не видим в процессе исторического развития, и эта цель еще так далека, что говорить о ней значит почти мечтать. Набросанные мною мысли, вылившиеся из глубины души, составляют основу целого миросозерцания; вывести все последствия этих идей не трудно, и я надеюсь, что читатель, если захочет, будет в состоянии по начертанному плану воссоздать в воображении все здание. К сожалению, наша критика не высказала до сих пор этих идей и относилась к эгоизму как к пороку, а в фокусах и подвигах самопожертвования видела высокую добродетель. До сих пор, касаясь философии жизни, она считает идеал совершенною необходимостью и в стремлении к идеалу, в сознании долга видит самые живые стороны человеческой личности и деятельности. Стремление к наслаждению она называет свойством чисто животным, но допускает однако, что из этого же источника может развиться благородное и высокое стремление к самосовершенствованию. Система глубоко вкоренилась в нашу нравственную философию и хозяйничает в области человеческих мыслей и чувств, не обращая никакого внимания на самого хозяина. Теоретикам нет дела до того, что есть в наличности; они говорят: так должно быть, поворачивают все вверх дном и утешаются тем, что внесли симметрию и систему в живой мир явлений. Кто хоть понаслышке знаком с философией истории Гегеля, тот знает, до каких поразительных крайностей может довести даже очень умного человека мания всюду соваться с законами и всюду вносить симметрию. Если вы читали в «Отечественных записках» прошлого года прекрасную статью г. Вагнера «Природа и Мильн-Эдвардс», [34] то вы могли убедиться в том, что в сфере естественных наук рьяное систематизирование ведет к по-

* Естественное состояние (*франц.*). — *Ред.*

разительным и осязательным нелепостям. Внесенная в область человеческой нравственности, система не ведет к таким явным нелепостям только потому, что мы привыкли смотреть на вещи ее глазами; мы живем и развиваемся под влиянием искусственной системы нравственности; эта система давит нас с колыбели, и потому мы совершенно привыкаем к этому давлению; мы разделяем этот гнет системы со всем образованным миром и потому, не видя пределов своей клетки, считаем себя нравственно свободными.

Но, оставаясь для нас незаметным, это умственное и нравственное рабство медленным ядом отравляет нашу жизнь; мы умышленно раздваиваем свое существо, наблюдаем за собою, как за опасным врагом, хитрим перед собою и ловим себя в хитрости, боремся с собою, побеждаем себя, находим в себе животные инстинкты и ополчаемся на них силою мысли; вся эта глупая комедия кончается тем, что перед смертью мы, подобно римскому императору Августу, можем спросить у окружающих людей: «Хорошо ли я сыграл свою роль?» Нечего сказать! Приятное и достойное препровождение времени! Поневоле вспомнишь слова Нестора: «Никто же их не биша, сами ся мучиху». [35]

IX

Материализм сражается только против теории; в практической жизни мы все материалисты и все идем в разлад с нашими теориями; вся разница между идеалистом и материалистом в практической жизни заключается в том, что первому идеал служит вечным упреком и постоянным кошмаром, а последний чувствует себя свободным и правым, когда никому не делает фактического зла. Предположим, что вы в теории крайний идеалист, вы садитесь за письменный стол и ищете начатую вами работу; вы осматриваетесь кругом, шарите по разным углам, и если ваша тетрадь или книга не попадется вам на глаза или под руки, то вы заключаете, что ее нет, и отправляетесь искать в другое место, хотя бы ваше сознание говорило вам, что вы положили ее именно на письменный стол. Если вы берете в рот глоток чаю и он оказывается без сахару, то вы сейчас же исправите вашу оплошность, хотя бы вы были твердо уверены в том, что сделали дело как следует и положили столько сахару, сколько кладете обыкновенно. Вы видите таким образом, что самое твердое убеждение разрушается при столкновении с очевидностью и что свидетельству ваших чувств вы невольно придаете гораздо больше значения, нежели соображениям вашего рассудка. Проведите это начало во все сферы мышления, начиная от низших до высших, и вы получите полнейший материализм: я знаю только то, что вижу или вообще в чем могу убедиться свидетельством моих чувств. Я сам могу поехать в Африку и увидать ее природу и потому принимаю на

веру рассказы путешественников о тропической растительности; я сам могу проверить труд историка, сличивши его с подлинными документами, и потому допускаю результаты его исследований; поэт не дает мне никаких средств убедиться в вещественности выведенных им фигур и положений, и потому я говорю смело, что они не существуют, хотя и могли бы существовать. Когда я вижу предмет, то не нуждаюсь в диалектических доказательствах его существования; *очевидность есть лучшее ручательство действительности*. Когда мне говорят о предмете, которого я не вижу и не могу никогда увидать или ощупать чувствами, то я говорю и думаю, что он для меня не существует. *Невозможность очевидного проявления исключает действительность существования.*

Вот каноника материализма, и философы всех времен и народов сберегли бы много труда и времени и во многих случаях избавили бы своих усердных почитателей от бесплодных усилий понять несуществующее, если бы не выходили в своих исследованиях из круга предметов, доступных непосредственному наблюдению.

В истории человечества было несколько светлых голов, указывавших на границы познавания, но мечтательные стремления в несуществующую беспредельность обыкновенно одерживали верх над холодною критикою скептического ума и вели к новым надеждам и к новым разочарованиям и заблуждениям. За греческими атомистами следовали Сократ и Платон; рядом с эпикуреизмом жил новоплатонизм; за Бэконом и Локке, за энциклопедистами XVIII века последовали Фихте и Гегель; легко может быть, что после Фейербаха, Фохта и Молешотта возникнет опять какая-нибудь система идеализма, которая на мгновение удовлетворит массу больше, нежели может удовлетворить ее трезвое миросозерцание материалистов. Но что касается до настоящей минуты, то нет сомнения, что одолевает материализм; все научные исследования основаны на наблюдении, и логическое развитие основной идеи, развитие, не опирающееся на факты, встречает себе упорное недоверие в ученом мире. Не последовательности выводов требуем мы теперь, а действительной верности, строгой точности, отсутствия личного произвола в группировке и выборе фактов. Естественные науки и история, опирающаяся на тщательную критику источников, решительно вытесняют умозрительную философию; мы хотим знать, что есть, а не догадываться о том, что может быть. Германия — отечество умозрительной философии, классическая страна новейшего идеализма — породила поколение современных эмпириков и выдвинула вперед целую школу мыслителей, подобных Фейербаху и Молешотту. Филология стала сближаться в своих выводах с естественными науками и избавляется мало-помалу от мистического взгляда на человека вообще и на язык в особенности. Известный молодой ученый Штейнталь, комментировавший Вильгельма Гумбольдта в замечательной брошюре

«Языкознание В. Гумбольдта и философия Гегеля», откровенно сознается в том, что умозрительная философия сама по себе существовать не может, что она должна слиться с опытом и из него черпать все свои силы; он понимает философию только как осмысление всякого знания и вне области видимых единичных явлений не видит возможности знания и мышления.

Не забудьте, что это голос из противоположного лагеря, голос со стороны гуманистов, [36] — людей, не привыкших обращаться с микроскопом и с анатомическим ножом и по самому роду своих занятий расположенных искать высших причин и двигательных сил; если эти люди сходятся в своих идеях с натуралистами, то это доказывает, что доводы последних действительно имеют за себя неотразимую силу истины. Признание Штейнталя далеко не представляется нам единичным фактом, исключением из общего правила. Вот, например, что говорит Гайм в своем предисловии к лекциям о философии Гегеля («Гегель и его время», стр. 9): «Есть души, которые никак не в состоянии обойтись без так называемых Бэконом *idola theatri* * и потому постоянно будут страшиться скачка через широкий ров, отделяющий метафизическое от чисто исторически-человеческого. К числу таких людей принадлежат те, которые точку опоры ищут не в самих себе, но над собой и вне себя». Далее (стр. 11): «Господствующее в наше время удаление от занятий философиею и все более и более возрастающая самостоятельность исторической науки и естествоведения должны пользоваться, как всякий согласится, по крайней мере теми же правами, как и всякий другой факт».

Из этих слов Штейнталя и Гайма можно, кажется, вывести заключение, что умозрительная философия упала в общественном мнении ученого мира и что падение это признано даже теми людьми, которые ex officio, как ученики Гегеля и люди, занимающиеся философиею, должны были отстаивать ее права на существование. Посмотрим теперь в беглом очерке, как отнеслась к этим современным явлениям и вопросам наша критика и ученая литература.

X

Прилично писать о философии для нас дело новое; семинарская философия существует уже давно, но она, к счастью, не находит себе читателей и ценителей вне пределов известной касты. Мертвая доктрина г. Новицкого и составителя «Философского лексикона» [37] ни для кого не может быть опасна. Она не от мира сего, и мир ее не поймет. Эти дряхлые явления могут быть смело пропущены критикою и оставлены без всякого внимания публикой. Можно

---

* «Призраки театра» *(лат.)*; по Бэкону — заблуждения, возникающие под влиянием ложных теорий. — *Ред.*

сказать, что г. Антонович в своей рецензии «Философского лексикона»[38] («Современник», 1861, февраль) сражается с ветряными мельницами; было бы гораздо проще предложить читателям две-три выписки из этого произведения; читатели сразу поняли бы, в чем дело, и, вероятно, потеряли бы всякое желание платить деньги за философский лексикон такого сорта; бороться с идеями «Философского лексикона» недостойно развитого человека, да и просто не стоит, потому что эти идеи ни для кого не опасны уже по той допотопной форме, в которую они облечены; нужно было просто предохранить публику от бесполезных расходов, а эта цель могла быть достигнута с гораздо меньшею тратою труда и времени. Вполне сочувствуя свежему и здоровому направлению мысли, высказавшемуся в статье г. Антоновича, я позволяю себе выразить сожаление о том, что эти свежие силы потратились на опровержение чепухи, которая никого даже не введет в соблазн, которую, наверное, не возьмет в руки ни один читатель «Современника».

В последние четыре года у нас стали появляться статьи философского содержания, до некоторой степени доступные читающей публике; в них толкуют, правда, об общем идеале, в них есть много туманных мест и бесполезной диалектики, но по крайней мере они не призывают небесных громов на головы не соглашающихся с ними мыслителей и спорят с ними умеренным тоном, не употребляя старославянских выражений, не приходя в священный ужас и не обнаруживая благочестивого негодования. Статьи г. Лаврова[39] о гегелизме, о механической теории мира, о современных германских теистах и др. обнаружили в авторе обширную начитанность и основательное знакомство с внешнею историею философских систем. Эти два качества, довольно редкие в пишущих людях нашего времени, доставили г. Лаврову журнальную известность. Добраться до слабых сторон г. Лаврова наша критика не могла, потому что ей самой крепко приходятся по душе неопределенность выводов и диалектические тонкости. Между тем слабая сторона этого писателя заключалась именно в отсутствии субъективности, в отсутствии определенных и цельных философских убеждений. Эта слабая сторона могла укрыться от глаз общества тогда, когда г. Лавров писал исторические очерки по философии и занимался изложением чужих систем; в подобном труде неопределенность личных убеждений автора может прослыть за историческое беспристрастие, за объективность и обратиться в положительное достоинство в глазах читателя. Но в нынешнем году в январской книжке «Отечественных записок» напечатаны три публичные лекции г. Лаврова под общим заглавием: «Три беседы о современном значении философии».[40] Уже это заглавие должно было подать надежду на то, что г. Лавров выскажет *свои* понятия о философии и открыто примкнет к одной из двух партий, составляющих великий раскол в современном философском мире, т. е. или заявит

невозможность умозрительной философии, или станет отстаивать ее права на существование. Заглавия каждой отдельной беседы подавали еще более заманчивые надежды; в них г. Лавров обещал объяснить, что такое философия в знании, что такое философия в искусстве и что такое философия в жизни. Читающее общество было вправе ожидать от этих бесед, что они уяснят ему современное движение в области философских наук и что они выдвинут вперед целое миросозерцание, выработанное или по крайней мере переработанное самодеятельным умом современно развитого русского человека. Судя по предыдущим работам г. Лаврова, общество могло заключить, что у него в распоряжении находится много материалов и что в его беседах оно получит в популярной форме существеннейшие результаты его долговременных и добросовестных занятий.

Вышло совсем не то. Беседы не коснулись современного значения философии, совершенно обошли вопросы, поднятые в этой области новейшею школою мыслителей, и не представили никакого определенного миросозерцания. Г. Лавров с особенным старанием скрыл свою личность так, что вы до нее решительно не доберетесь. Не решаясь высказать ни одного ясного и определенного суждения, г. Лавров не выходит из общих мест элементарной логики, психологии и эстетики, которую преподают в гимназиях под названием теории словесности. Мысли вытекают одна из другой; между ними есть связь, есть логическая последовательность, но для чего они текут, что вызвало их течение и к чему оно, наконец, приводит, — это остается совершенно непонятным. Да что же такое, наконец, философия? Неужели это медицинская гимнастика мысли, шевеление «мозгами», как говорит купец у Островского, [41] которое начинается по нашей прихоти и прекращается по нашему благоусмотрению, не приведя ни к чему, не решив ни одного вопроса, не разбив ни одного заблуждения, не заронив в голову живой идеи, не отозвавшись в груди усиленным биением сердца? Да полно, философия ли это?.. Так разве ж не философия двигала массы, разве не она разбивала дряхлые кумиры и расшатывала устарелые формы гражданской и общественной жизни? А XVIII век? А энциклопедисты?.. Нет, воля ваша, то, что г. Лавров называет философиею, то отрешено от почвы, лишено плоти и крови, доведено до игры слов, — это схоластика, праздная игра ума, в которую можно играть с одинаковым успехом в Англии и в Алжире, в Небесной империи и в современной Италии. Где же современное значение подобной философии? Где ее оправдание в действительности? Где ее права на существование? — Г. Лавров предлагает вопрос: что такое *я*? бьется над этим вопросом в продолжение целой страницы и кончает тем, что находит вопрос о нашем *я* научно не разрешимым. Зачем же было его поднимать? Какая естественная, жизненная потребность влечет к разрешению вопроса: что такое *я*? К каким результатам в области мысли, частной

или гражданской жизни может привести решение этого вопроса? Искать разрешения подобного вопроса все равно, что искать квадратуры круга. Философский камень, жизненный элексир и perpetuum mobile * — чрезвычайно полезные вещи в сравнении с этими гимнастическими фокусами мысли. Этих вещей никто не добудет, но по крайней мере кто стремится к ним, тот стремится к осязательным благам и идет к ним путем опыта, так что может на этом пути сделать случайно какое-нибудь неожиданное и полезное открытие. Самый вопрос о том, что такое *я*, и попытки г. Лаврова осветить этот вопрос с разных сторон останутся непонятными для человека, одаренного простым здравым смыслом и не посвященного в мистерии философских школ; это обстоятельство, как мне кажется, служит самым разительным доказательством незаконности или, вернее, полнейшей бесполезности подобных умственных упражнений. Отгонять непросвещенную чернь (profanum vulgus) от храма науки — не в духе нашей эпохи; это негуманно, да и опасно; г. Лавров этого, конечно, не желает, потому что сам открывает *публичные* лекции; если же все вообще, а не одни избранные, должны и желают учиться и размышлять, то не мешало бы выкинуть вон из науки то, что понимается немногими и не может никогда сделаться общедоступным. Ведь странно было бы называть гениальнейшим произведением Гете вторую часть «Фауста», которую никто не понимает; точно так же странно назвать мировою истиною или мировым вопросом такую идею или такой вопрос, которые смутно понимает незначительное меньшинство односторонне развитых людей. А как не назвать односторонним и уродливым развитие таких умов, которые на всю жизнь погружаются в отвлеченность, ворочают формы, лишенные содержания, и умышленно отворачиваются от привлекательной пестроты живых явлений, от практической деятельности других людей, от интересов своей страны, от радостей и страданий окружающего мира? Деятельность этих людей указывает просто на какую-то несоразмерность в развитии отдельных частей организма; в голове сосредоточивается вся жизненная сила, и движение в мозгу, удовлетворяющее самому себе и в себе самом находящее свою цель, заменяет этим неделимым тот разнообразный и сложный процесс, который называется жизнью. Давать такому явлению силу закона так же странно, как видеть в аскете или в скопце высшую фазу развития человека.

Отвлеченности могут быть интересны и понятны только для ненормально развитого, очень незначительного меньшинства. Поэтому ополчаться всеми силами против отвлеченности в науке мы имеем полное право по двум причинам: во-первых, во имя целостности человеческой личности, во-вторых, во имя того здорового принципа, который, постепенно проникая в общественное

---

* Вечное движение *(лат.)*. — *Ред.*

сознание, нечувствительно сглаживает грани сословий и разбивает кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизм — явление опасное именно потому, что он действует незаметно и не высказывается в резких формах. Монополия знаний и гуманного развития представляет, конечно, одну из самых вредных монополий. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массе? Что за искусство, которого произведениями могут наслаждаться только немногие специалисты? Ведь надо же помнить, что не люди существуют для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли из естественной потребности человека наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мешают жить, если они разъединяют людей, если они кладут основание кастам, так и бог с ними, мы их знать не хотим; но это неправда: истинная наука ведет к осязательному знанию, а то, что осязательно, что можно рассмотреть глазами и ощупать руками, то поймет и десятилетний ребенок, и простой мужик, и светский человек, и ученый специалист.

Итак, с какой стороны ни посмотришь на диалектику и отвлеченную философию, она всячески покажется бесполезною тратою сил и переливанием из пустого в порожнее. Если разбирать публичные лекции г. Лаврова, то нужно, мне кажется, говоря о первых двух беседах, не следить шаг за шагом за автором, не опровергать его отдельные положения, не ловить его на частных противоречиях, а просто в нескольких крупных чертах показать полнейшую бесполезность всего предпринятого им труда. Г. Антонович («Современник», 1861, апрель) написал обширную рецензию первых двух лекций г. Лаврова, [42] провел в этой рецензии свежий и современный взгляд на философию, но, сколько мне кажется, пустился в совершенно ненужные частности и тонкости. Восставая против диалектики, он сражается с нею диалектическим оружием; он доказывает логическую непоследовательность тогда, когда следовало бы доказать практическую бесполезность. Дело не в том, верно ли решаются вопросы о сущности вещей и о том, что такое *я*, а в том — нужно ли решать эти вопросы. Г. Антонович спорит с г. Лавровым, как адепт одной школы с адептом другой; было бы, мне кажется, проще и полезнее для публики, если бы он стал на точку зрения совершенного профана и спросил бы: а какими знаниями и идеями обогатит меня ваша хваленая философия? Один этот вопрос был бы, мне кажется, серьезнее и радикальнее всего длинного ряда доказательств, которые г. Антонович выводит против г. Лаврова.

Обратив все внимание свое на одну личность русского мыслителя, г. Антонович упускает из виду умозрительную философию вообще, между тем как ее давно бы следовало отпеть и похоронить. — Г. Лавров сделал попытку поговорить с нашим обществом об умозрительной философии; этот факт можно обсудить с двух

сторон. Можно спросить, во-первых, уместна ли эта попытка? и, во-вторых, удачно ли она выполнена? Первый вопрос имеет общий интерес; обсуживая его, мы толкуем о нуждах нашего общества и рассматриваем характер нашей эпохи. Второй вопрос относится чисто к личности г. Лаврова и имеет совершенно частный и, сравнительно с первым, узкий интерес. — Между тем г. Антонович усиленно работает над вторым вопросом и не решает первого; мы узнаем от него, что г. Лавров — эклектик, и не узнаем того, годится ли на что-нибудь для нашего времени и для нашего общества умозрительная философия вообще. — Словом, статья г. Антоновича наполнена прекрасными частностями, но этих частностей так много, что в них тонет общая идея, а именно эту общую идею и следовало выставить как можно резче. Замечу еще, что г. Антонович напрасно ограничился разбором двух первых бесед г. Лаврова; третья беседа (о философии в жизни) отличается от двух первых бо́льшим количеством внутреннего содержания. Философские убеждения г. Лаврова высказываются, наконец, в более определенной форме и ведут к реальным выводам в сфере практической жизни. Об этой беседе стоит сказать несколько слов.

Г. Лавров говорит, во-первых, что цель жизни находится вне ее процесса, который *«в каждое мгновение есть только переходное случайное выражение для того, что не может воплотиться вполне, что составляет высшее, существенное, относительно неизменное в человеке, — для его нравственного идеала»*.

Во-вторых, г. Лавров говорит, что самый грубый и элементарный взгляд на жизнь есть тот, при котором мы стремимся только к наслаждению; *«первое правило: ищи то, чем наслаждаемся, — доступно животному наравне с человеком, дикому наравне с образованным человеком, ребенку наравне с мужем. Последнее: пренебрегай всем, кроме высшего блага, есть изречение, от которого не откажется самый строгий аскет; а, как известно, истинные аскеты — большая редкость между людьми»*.

Замечу мимоходом, что уроды тоже составляют большую редкость между людьми; их сохраняют даже в спирту!

В-третьих, г. Лавров говорит, что *«человечность есть совокупление всех главных отраслей деятельности в жизни одной личности. Но она есть совокупление, а не смешение. Каждая деятельность, ставя свой вопрос, свою цель, свой идеал, резко отличается от другой, и одно из главных зол человечества заключается в недостаточном различении этих вопросов, в перенесении идеалов из одной области деятельности в другую»*.

А ведь если бы вовсе не было идеалов, тогда и переносить нечего было бы, и путаницы никакой не могло бы быть. Так зачем же ставить идеал необходимым условием развития?

Приведенные выписки показывают ясно, что г. Лавров склоняется к такому миросозерцанию, которое существенно отличается

от мыслей, высказанных мною на предыдущих страницах. Я все основываю на непосредственном чувстве; г. Лавров строит все на размышлении и на системе; я требую от философии осязательных результатов; г. Лавров довольствуется бесцельным движением мысли в сфере формальной логики. Я считаю очевидность полнейшим и единственным ручательством действительности; г. Лавров придает важное значение диалектическим доказательствам, спрашивает о сущности вещей и говорит, что она непостижима, следовательно, предполагает, что она существует как-то независимо от явления. В области нравственной философии взгляды наши почти диаметрально противоположны. Г. Лавров требует идеала и цели жизни вне ее процесса; я вижу в жизни только процесс и устраняю цель и идеал; г. Лавров останавливается перед аскетом с особенным уважением; я даю себе право пожалеть об аскете, как пожалел бы о слепом, о безруком или о сумасшедшем. Г. Лавров видит в человечности какой-то сложный продукт разных нравственных специй и ингредиентов; я полагаю, что полнейшее проявление человечности возможно только в цельной личности, развившейся совершенно безыскусственно и самостоятельно, не сдавленной служением разным идеалам, не потратившей сил на борьбу с собою.

Я говорил, что, по моему мнению, критику лучше всего высказывать *свой* взгляд на вещи, делиться с читателями *своим* личным впечатлением; я так и сделал в отношении к г. Лаврову. Я поставил рядом с его воззрениями мои воззрения и предоставляю читателям полнейшую свободу выбрать те или другие или отвергнуть и те и другие. Я не старался убеждать в верности моих мыслей, не задавал себе задачи во что бы то ни стало поставить читателя на мою точку зрения. Умственная и нравственная пропаганда есть до некоторой степени посягательство на чужую свободу. Мне бы хотелось не заставить читателя согласиться со мною, а вызвать самодеятельность его мысли и подать ему повод к самостоятельному обсуждению затронутых мною вопросов. В моей статье, наверное, встретится много ошибок, много поверхностных взглядов; но это в сущности нисколько не мешает делу; если мои ошибки заметит сам читатель, это будет уже самодеятельное движение мысли; если они будут указаны ему каким-нибудь рецензентом, это опять-таки будет очень полезно; du choc des opinions jaillit la vérité, * — говорят французы, и читатель, присутствуя при споре, будет сам рассуждать и вдумываться. Смею льстить себя одной надеждой: если бы статья моя вызвала какое-нибудь опровержение, то спор стал бы вертеться в кругу действительных и жизненных явлений и не перешел бы в схоластическое *словопрение*. Я обсуживал явления нашей критики, руководствуясь голосом простого здравого смысла, и надеюсь, что если мне будут возра-

---

* Из столкновения мнений рождается истина *(франц.)*. — *Ред.*

жать, то возражения эти будут вытекать из того же источника и не будут сопровождаться непонятными для публики ссылками на авторитеты Канта, Гегеля и других.

Говоря о нашей философской литературе, я упомянул только о статьях г. Лаврова и считаю совершенно лишним обсуживать гг. Страхова и Эдельсона; эти явления так бледны и чахлы, что об них не стоит упоминать, да и сказать-то нечего. Утомление и скука — вот все, что можно вынести из чтения этих произведений; и возражать нечему и поспорить не с чем, так все элементарно, утомительно ровно и невозмутимо спокойно. Г. Страхов считает нужным доказывать, что между человеком и камнем большая разница, а г. Эдельсон ни с того ни с сего начинает восторгаться идеею организма, [43] а потом, также без видимой причины, начинает предостерегать ученых от излишнего увлечения этою идеею.

Вскую шаташася языцы? *

XI

В майской книжке «Русского слова» я высказал несколько мыслей о безжизненности нашей критики и изложил те идеи, которыми я руководствуюсь при разборе этих чахлых и бесцветных явлений. С тех пор, в течение трех месяцев, в которых журнальная полемика разгорелась особенно ярко, критический отдел большей части периодических изданий украсился многими любопытными статьями; эти статьи подают повод к размышлению; они подтверждают высказанные мною замечания, которые могли показаться голословными читателям моей первой статьи; поэтому я намерен воспользоваться ими как материалом и, обсуживая их, договорить то, что было недосказано, яснее и обстоятельнее изложить то, чего я прежде коснулся слегка. Я не восстаю против полемики, не зажимаю ушей от свиста, не проклинаю свистунов; и Ульрих фон Гуттен был свистун, и Вольтер был свистун, и даже Гете вместе с Шиллером свистнули на всю Германию, издавши совокупными силами свой альманах «Die Xenien»; ** у нас на Руси свистал часто и резко, стихами и прозою, Пушкин; свистал Брамбеус, которому, вопреки громовой статье г. Дудышкина: «Сенковский — дилетант русской словесности», [45] я не могу отказать ни в уме, ни в огромном таланте. А разве во многих статьях Белинского не прорываются резкие, свистящие звуки? Припомните, господа, ближайших литературных друзей Белинского, людей, которым он в дружеских письмах выражал самое теплое сочувствие и уважение: вы увидите, что многие из них свистали,

---

* Зачем волновались народы (фраза из старославянского перевода Псалтыри). — *Ред.*

** «Ксении». [44] — *Ред.*

да и до сих пор свищут тем богатырским посвистом, [46] от которого у многих звонит в ушах и который без промаха бьет в цель, несмотря на расстояние.

Оправдывать свистунов — напрасный труд: их оправдало чутье общества; на их стороне большинство голосов, и каждое нападение из противоположного лагеря обрушивается на голову самих же нападающих, так называемых людей серьезных, деятелей мысли, кабинетных тружеников, русских Гегелей и Шопенгауэров, профессоров, сунувшихся в журналистику, или литературных промышленников, прикрывающих свою умственную нищету притворным сочувствием к вечным интересам науки. «Русский вестник» и «Отечественные записки» убиваются над развратом русской мысли и заживо оплакивают русскую литературу; их книжки — бюллетени сердобольного врача, писанные у постели больного, умирающего от последствий беспорядочной жизни. Главные *благонамеренные* органы нашей журналистики составляют консилиум, ищут лекарства, щупают пульс и с ужасом сообщают друг другу о быстрых успехах болезни; за ними выдвигается группа постных журналов и газет, советующих больному познать тщету и суетную гордыню дольнего мира сего, воспарить духом к высотам сионстим и, отложив надежду и попечение о выздоровлении, приготовиться к мирной, христианской кончине живота. А в это время больной мечется в бреду, лепечет в лихорадочном полусне бессвязные слова, «извергает хулы», называет громкие имена всех веков и народов: Кавур, Россель, Платон, Страхов, Пальмерстон, Аскоченский... Что за сумбур! И все-то он ругает, над всем-то он смеется, все-то ему нипочем. «Белая горячка», говорят врачи. «Delirium tremens!», * важно повторяет г. Леонтьев. «Дьявольское наваждение», шепчет, отплевываясь, Аскоченский. «Как ему не умереть! Он отрицает общие авторитеты, все, чем красна и тепла наша жизнь», говорит печально г. Н. Ко.

Кто же, наконец, играет роль больного? Кто же, как не «Современник» вместе с «Русским словом»? Кто же, кроме этих двух отверженных, осмеливался относиться скептически к деятельности Росселя и Кавура? [47] Кто находил сухими и бесполезными ученые труды гг. Буслаева и Срезневского? [48] Кто советовал сдать в архив стройные, красивые, величественные системы идеализма, [49] внутри которых темно, сыро и холодно, как в старом готическом соборе? Кто дерзнул обвинить Гизо в историческом мистицизме, г. Лаврова — в неясности формы и неопределенности направления, г. Буслаева — в наивности и староверстве, г. Юркевича — в отсталости и в любомудрии, Н. И. Пирогова — в патриархальности педагогических приемов, «Отечественные записки» — в вялости тона и в отсутствии направления, «Русский вестник» — в мещанском пристрастии к золотой середине?.. [50] Можно было бы исписать

* Белая горячка *(лат.)*. — *Ред.*

десять страниц и все-таки не перечислить всех преступлений, в которых были уличены в течение 1861 года «Русское слово» и «Современник». Каждая статья составляла crime des autorités, * сшибая с пьедестала какой-нибудь кумир, которому кричали другие журналы: «Выдыбай, боже!» Человек в нормальном положении, в здравом уме не мог бы найти в себе столько продерзости. Статья Чернышевского о Гизо, «Полемические красоты», политические статьи Благосветлова, «Схоластика» Писарева и его статья о Молешотте, рецензия стихотворений Сковороды и ответ Крестовского г. Костомарову, «Дневник Темного человека» и «Свисток» [51] — все это бред больного, последнее напряжение сил, за которым будет и должна следовать реакция, агония. — Аминь! — речет «Домашняя беседа», и, к своему крайнему удивлению, благонамеренные врачи русской журналистики в первый раз в жизни вторят г. Аскоченскому. Но позвольте, господа врачи, doctores augustissimi, ** я не понимаю вашего огорчения. Отчего же вы так взволнованы? Здоровый человек, владеющий полным рассудком, не станет беспокоиться попусту, скликать пожарную команду, когда у соседа топится овин и когда не предвидится ни малейшей опасности. Надо предположить одно из двух: или действительно свистуны сильны в области литературы, или благонамеренные люди сами больны и, по расстройству нервов, вздрагивают от малейшего шума. Каждая выходка «Современника» или «Русского слова» осуждается синедрионом так называемых солидных журналов; осуждение обыкновенно занимает больше места, чем самая выходка; стало быть, эти выходки действительно опасны, или же, извините, вам больше не о чем говорить, и вы ловите случай, раздуваете скандал для того, чтобы наполнить книжку, и, следовательно, поступаете сами как неудавшиеся фельетонисты.

Разберем оба предположения. Кому и чему могут быть опасны выходки свистунов? Вероятно, только идеям или же таким личностям, которые перед лицом всего образованного мира служат представителями той или другой тенденции. Ведь вы, господа врачи, вступаетесь не за Козляинова, не за Вергейма, [52] а за Кавура, за Росселя, за историю, за философию, за серьезную науку. Всем этим лицам и идеям вы своим заступничеством оказываете очень плохую услугу. Прикосновения критики боится только то, что гнило, что, как египетская мумия, распадается в прах от движения воздуха. Живая идея, как свежий цветок от дождя, крепнет и разрастается, выдерживая пробу скептицизма. Перед заклинанием трезвого анализа исчезают только призраки; а существующие предметы, подвергнутые этому испытанию, доказывают им действительность своего существования. Если у вас есть такие предметы, до которых никогда не касалась критика, то вы бы хорошо

---

* Преступление против начальства *(франц.)*. — *Ред.*

** Высокочтимые ученые мужи *(лат.)*. — *Ред.*

сделали, если бы порядком встряхнули их, чтобы убедиться в том, что вы храните действительное сокровище, а не истлевший хлам. Если же вы для себя уже сделали этот опыт, то позвольте же и другим сделать то же для себя. Вы, положим, убеждены в том, что умозрительная философия есть мать всех добродетелей и источник всякого благосостояния. А вот для меня, например, это положение составляет еще недоказанную теорему. Что же, мне вам на слово прикажете верить? Или прикажете до тех пор не писать ничего, пока не выработаю себе абсолютно верного, незыблемого убеждения, пока не превращу в аксиомы все теоремы? На второй мой вопрос вы ответите утвердительно, а я вам докажу сейчас, что этот утвердительный ответ — нелепость. Каждое поколение разрушает миросозерцание предыдущего поколения; что казалось неопровержимым вчера, то валится сегодня; абсолютные, вечные истины существуют только для народов неисторических, для эскимосов, папуасов и китайцев. Вы мне скажете, что $2 \times 2 = 4$ — абсолютная истина для всех веков и народов, а я вам отвечу, что $2 \times 2 = 4$ не есть идея; тут подлежащее повторяется в сказуемом; в первой и второй части уравнения предмет один и тот же, и изменяются только формы выражения. «Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками» — это тоже не идея; вы тут связываете между собою не два предмета, а два названия, из которых одно сжато, другое пространно. Эти так называемые математические истины могут быть сведены на общую формулу *определения*: «Остров есть кусок земли, окруженный со всех сторон водою». Тут объясняется слово, а не предмет. Кроме того, математические определения вообще имеют дело с рамками, с самыми общими, совершенно бесцветными отвлеченностями, к которым человек не может иметь никаких личных отношений. *Два, прямая линия* — все это не предметы, не явления жизни, а рамки, в которые можно вставить что угодно. Математические истины незыблемы, потому что они безжизненны; вне математики посмотрите куда угодно, — все понятия наши о природе и человеке, о государстве и обществе, о мысли и деятельности, о нравственности и красоте меняются так быстро, что последующее поколение не оставляет камня на камне в миросозерцании предыдущего. Кто устал идти, тот может сесть в стороне от дороги и помириться с тем, что его обгонят. Так сделал «Русский вестник», так поступил г. Тургенев. Мнения «Русского вестника» соответствовали требованиям нашего общества года три тому назад; теперь они многим покажутся ретроградными. Образ Елены в «Накануне» мог казаться безукоризненно прекрасным года три тому назад; в 1860 году в нем уже могли заметить несмелые отношения автора к идее равноправности мужчины и женщины.

Вы видите таким образом, что не писать до тех пор, пока не установятся убеждения, значит без толку пожертвовать лучшими годами деятельности. Убеждения ваши *остановятся* на каком-

нибудь результате только тогда, когда вместе с костями и хрящами начнет твердеть и сохнуть мозг; вы остановитесь не потому, что достигли истины, а потому, что утомились работою жизни и мысли, потеряли ту эластичность, гибкость и подвижность ума, которыми обладали в молодости; остановившись, вы начинаете жить прошедшим, и если вы писатель, то этим же прошедшим вы делитесь с публикой. А прошедшее движущемуся обществу может дать материалы для размышления, а не норму для деятельности. Стало быть, ваши слова будут живее и плодотворнее, если вы выскажете их тогда, когда ваша личность и деятельность еще принадлежат будущему. Страстный бред или пылкая диалектика юноши всегда западают в душу слушателя глубже и шевелят ее живее, чем мудрый совет старика, высказанный осторожно, бесстрастно и торжественно. Юноша способен ошибаться, — согласен, но зато он и не учит общества, не читает лекций; он сам ищет, сам стремится, а стремление к истине, поступательное движение всегда лучше обладания ею уже потому, что последнее есть самообольщение, а первое — действительный факт. Итак, позвольте людям, не достигшим крайних пределов своего развития, т. е. еще не остановившимся, — говорить, писать и печатать; позвольте им встряхивать своим самородным скептицизмом те залежавшиеся вещи, ту обветшалую рухлядь, которые вы называете общими авторитетами и которые, по вашему признанию, греют и красят вашу жизнь. Согласитесь с тем, что «спрос — не беда» и что общему авторитету не больно от того, что его подвергнут сомнению. Если авторитет ложный, тогда сомнение разобьет его, и прекрасно сделает; если же он необходим или полезен, тогда сомнение повертит его в руках, осмотрит со всех сторон и поставит на место. Словом, вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бэй направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть. Клеветать, конечно, не следует; лгать в фактах — нехорошо, но в подобной лжи еще никто не уличил свистунов; их уличали в ложных воззрениях, а воззрения не могут быть ни истинны, ни ложны: есть мое, ваше воззрение, третье, четвертое и т. д. Которое истинно? Для каждого свое, и потому я совершенно согласен с словами г. Н. Ко., которые он хотел сказать мне *в пику*: «Давайте все мыслить самостоятельно, и — чур! — один другому не мешать». [53] Нашел в чем упрекнуть! в самостоятельности мысли. Давай бог побольше таких обличителей, которые, желая обругать, говорят комплименты.

Я заметил выше, что серьезные журналы делают из мухи слона, потому что им больше нечего делать; это положение я поддерживаю; только полнейшая умственная праздность может возводить в событие каждую статью «Свистка», каждую выходку Темного человека. Люди толкуют о серьезных интересах науки и общества и в то же время сотни страниц посвящают г. Чернышевскому,

которого сами называют свистуном и верхоглядом. И что это за страницы! сколько глубокомыслия, сколько проницательной критики, сколько высоконравственного негодования тратится на опровержение «Полемических красот»! Судя по тому значению, которое придают г. Чернышевскому современные серьезные люди, надо думать, что если энциклопедический словарь дойдет до буквы *Ч*, [54] то ему будет посвящена обширная статья. Подлинно, г. Чернышевский имеет полное право произнести известное стихотворение Пушкина: «Ex ungue leonem», кончающееся так:

Я по ушам узнал его как раз.

XII

«Полемические красоты» г. Чернышевского взволновали журнальный мир; никакое научное открытие, никакое серьезное исследование не обращало на себя так внезапно всеобщего внимания гг. серьезных литераторов. «Русский вестник» с несвойственною ему поспешностью, в июньской книжке своего издания, отвечал на статью, помещенную в июньской же книжке «Современника»; [55] «Отечественные записки» в продолжение двух месяцев не спускают глаз с «Современника», лишающего их сна и покоя; даже безвредный «Светоч» не преминул заявить свой протест против нарушения литературных приличий г. Чернышевским. [56] Мысль невольно переносится к той давно прошедшей эпохе, когда памфлет Ульриха фон Гуттен «Письма темных людей (Epistolae obscurorum virorum)» прошумел по Германии и нарушил умственную апатию записных ученых. Доктора и монахи принялись ругаться на все лады и доказали две вещи: во-первых, меткость ядовитого памфлета, во-вторых, собственную духовную нищету, связанную с нахальною заносчивостью и карикатурным самообожанием. Такого рода происшествия возможны во всякое время. Люди ленивые или от природы малосильные всегда сердятся на людей деятельных и даровитых, которые, идя скорее их, увлекают за собою большинство и пользуются его заслуженным сочувствием. Сердятся они не всегда из корыстных видов: иному действительно обидно; он, может быть, лет пятнадцать рылся в библиотеках и архивах, трудился в поте лица, считал себя полезным специалистом, предъявлял права на признательность соотечественников, и вдруг — о, разочарование! — является какой-нибудь неизвестный юноша, высказывает о предмете специальных исследований мысли, ошеломляющие специалиста своею оригинальностью и новизною, и прямо называет долголетние труды вышеописанного ученого сухим хламом, из которого не выжмешь ни идеи, ни важного фактического результата. Как же такому непонятому специалисту не озлиться? Как ему не пуститься с азартом в несвойственное ему поле журнальной полемики? Как ему в проклятиях

против свистопляски не дойти до того пафоса задорности, каким отличается переписка Ивана IV с Курбским? Кто же решится сознаться даже перед самим собою (не то что перед публикою) в том, что он в продолжение десятков лет не знал, что делал и с какою целью трудился. Чтобы решиться на такое признание, надо быть почти великим человеком, а великие люди не тратят жизни на перепечатку летописей и на копировку старинных шрифтов. Раздражение г. Погодина, выразившееся в его письме к г. Костомарову и в изобретении слова «свистопляска», негодование г. Буслаева, напечатавшего в «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исках⟩» письмо к г. Пыпину, и гнев г. Вяземского, посвятившего свистунам сатирическую песнь лебедя, [57] объясняются только что выписанными мною побудительными причинами. Ярость «Русского вестника» и «Отечественных записок» объясняется проще. Винить журналиста в том, что он желает увеличения подписки, было бы смешно. Кто же себе враг? Фразам о бескорыстном служении идее и обществу наше время плохо верит. Как ни кричите против меркантильности эпохи, вы ее криком не прогоните. Эта меркантильность есть современная форма эгоизма, выражавшегося в прежние времена властолюбием, жаждою славы, донжуанством и т. д. Восставать против корыстолюбия журналов я не буду; постараюсь только посмотреть, какие средства они пускают в ход, чтобы выдвинуть себя вперед и отбросить совместников на задний план. Буду обращать внимание не столько на нравственное достоинство этих средств, сколько на их практическую пригодность. Можно быть отличным, честнейшим человеком и очень плохим литератором и тем более негодящимся журналистом. «Хоть пей, да дело разумей» — это мудрое правило надо особенно крепко помнить в наше время, когда развелись легионы печатающих людей, которые

Немножечко дерут,
Зато уж в рот хмельного не берут.

Впрочем, опять-таки этого нельзя сказать ни об «Отечественных записках», ни о «Русском вестнике». Те и дерут и чистотою литературных нравов не отличаются. Об «Русском вестнике» довольно будет заметить, что он не уважает умственной самостоятельности своих сотрудников (история о Свечиной), [58] попрекает г. Чернышевского саратовскою семинариею и даже пишет о том, что у него крадут книги и четвертаки. [59] Что же касается до «Отечественных записок», этого притона современной схоластики, кладезя недоступной премудрости, то я намерен посвятить им все продолжение этой статьи. Надо раз навсегда высказаться насчет этого ученого журнала, против которого почти невозможна серьезная критика. Почему? А потому что в нем нет живой мысли, стало быть, надо или смеяться над тупым педантством, или закрыть книгу и лечь спать с отяжелевшею головою.

Легион редакторов «Отечественных записок», [60] чего доброго, назовет эти слова нарушением литературных приличий; они скажут, пожалуй, что мне следует спорить с ними, а не отделываться брошенною фразою; они, может быть, сочтут мои слова уловкою; ведь требовали же они от Чернышевского, чтобы он состязался с Юркевичем; ведь считали же они отказ Чернышевского за доказательство его несостоятельности. [61] Поймите, господа, что спорить с вами и с г. Юркевичем — значит ломать себе голову, следя за извилинами ваших аргументаций, написанных тяжелым, неясным языком 30-х годов, входить в мрачный лабиринт вашей буддийской науки, [62] от которой мы сторонимся с немым благоговением. Скажите, ради чего нам с Чернышевским брать на себя такой труд? Чтобы убедить вас? Да мы этого не желаем. Чтобы убедить публику? Да она и без того на нашей стороне. Ей смертельно надоедает ваша наука и критика. Читает она в «Отечественных записках» повести, переводные романы (которых всегда довольно), исторические статейки; что же касается до критики, ее редко разрезывают; вопросы, которые г. Дудышкин, как сфинкс современной литературы, задает на разрешение журналам (например, о Пушкине), [63] прочитываются для смеха журналистами и, как следует того ожидать, не разрешаются никем.

Убеждать публику нам, стало быть, не в чем; кроме того, смех и свист лучшие орудия убеждения. Если бы мы стали вас опровергать по пунктам, статьи наши вышли бы так же скучны и головоломны, как ваши критические исследования, а этого-то мы и не желаем. Итак, спорить с вами мы не будем, а смеяться, если придет расположение, не преминем. Спора вы требуете, а смеха боитесь. Вот смехом-то мы вас и доконаем. Вы непременно рассердитесь и в сердцах выкажете свои больные места, которых у вас очень много. Вы уже рассердились на г. Чернышевского и высказали много диковинных вещей. Кроме того, вы напрягли все свои силы, ничего не успели сделать и, следовательно, обличили свое беспомощное состояние, свою убогость, которою вы нас все-таки не разжалобите.

XIII

Шестьдесят пять страниц в разных отделах «Отечественных записок» 1861 года за август выдвинуто против второй коллекции «Полемических красот». Упрек в отсутствии направления подействовал слишком хорошо; все редакторы ополчились, как один человек, и пошли четверо против одного; впрочем, на флоте лилипутов, который увел в плен капитан Лемуил Гулливер, было гораздо больше четырех храбрых бойцов; все были воодушевлены патриотическим жаром, все они тоже защищали народность, и между тем все сдались на капитуляцию. Что делать, гг. идеалисты, спиритуалисты и супранатуралисты! Дух бодр, плоть не-

мощна. Крестовый поход политической умеренности, исторического глубокомыслия, критической серьезности и откровенной запальчивости против наглого, насмешливого невежества кончился бесславным поражением. Ряды нападающих смешались; разнокалиберность союзников и непривычка стоять под одним знаменем взяли свое; пошли ученые рыцари кто в лес, кто по дрова; своя своих не познаша, и предполагавшийся стройный натиск превратился в беспорядочное гарцевание, достойное Благосветлова, но нисколько не приличное для пуристов русской мысли. Бедные пуристы! Они были не на своем месте; они напоминали несчастного Франца Горна, комментатора Уильяма Шекспира, попавшегося в дикую охоту и скакавшего за своим любимым поэтом на осле, держась за гриву и творя молитву дрожащим голосом (Heine. «Atta Troll»).[64] И что за охота? Ведь говорил вам Чернышевский: куда вам полемизировать![65] а вы его не послушали; вы, вероятно, думали, что он говорит это от зависти; вот и додумались. А все — самолюбие вас губит. Ну, ему ли вам завидовать! Вот видите ли, в чем дело: нам (т. е. «Современнику» и «Русскому слову») позволительно посвящать вам обширные критические статьи; мы — люди задорные; мы в вашем лице осмеиваем рутину и, следовательно, остаемся верны своему характеру. Вам, напротив того, совсем не следует с нами говорить: всякая попытка свистнуть с вашей стороны доставляет нам перевес; вы беретесь за наше оружие, стало быть, полагаете, что оно лучше вашего, и, следовательно, этим самым осуждаете вашу всегдашнюю деятельность. Нельзя служить богу и мамону, а то выйдет ни богу свеча, ни черту кочерга. Вы должны показывать вид, будто чувствуете к нам полнейшее, холодное, равнодушное презрение, будто *игнорируете* нас; вы иногда стараетесь поступать таким образом, но солидность ваша не выдерживает разъедающего прикосновения меткой насмешки. Наш сарказм жжет вас, как раскаленное железо; вы теряете всякое хладнокровие, забываете *роль* и, не умея язвить шуткою, начинаете браниться, почерпая ваши слова то из церковно-славянского (например, срамословие, скверномыслие), то из площадного народного. Вот в эти-то минуты вы крайне занимательны; тут-то вас и нужно изучать и списывать с натуры.

Августовская книжка «Отечественных записок» доставила мне самое живое наслаждение своею полемическою частью. Она дорисовала те образы, которые складывались уже в моем уме; она показала мне, как говорят и действуют рутинеры, выведенные из терпенья и чувствующие, что почва колышется под их ногами. Мне случалось читать в истории об отчаянной борьбе отживающего с начинающим жить, и теперь мне очень приятно проследить в маленьких размерах процесс этой борьбы между представителями русской мысли. Тяжело смотреть на агонию человека или животного, но агония идеи, принципа, направления представляет любопытное и приятное зрелище. Весело смотреть на то, как защитники

этого умирающего принципа мечутся, суетятся, теряют голову, противоречат сами себе, сбивают друг друга с ног, говорят все вдруг, как Добчинский и Бобчинский, и все-таки лишаются постепенно своих прозелитов; а между тем новая идея, как пожар, разливается по сцене действия, не останавливается никакими преградами, просачивается сквозь щели стен и дочиста сжигает старый хлам, как бы ни был он плотно закупорен и под каким бы крепким караулом его ни содержали. Чернышевский говорит, что в «Отечественных записках» нет единства направления, и г. Дудышкин торжественно соглашается с ним от лица всех главных членов редакции (август, «Русск⟨ая⟩ лит⟨ература⟩», стр. 148). Я позволю себе не согласиться ни с тем, ни с другим. Статьи «Отечественных записок» часто противоречат друг другу — это правда; но у них есть что-то общее, есть свой букет, который принадлежит им одним; этот букет они называют *серьезностью*; в переводе на общеупотребительный русский язык это значит — недоступность живым интересам, неумение и нежелание отнестись к возникающим вопросам откровенно и ясно, *игнорирование* живых и больных мест нашей частной и общественной жизни. Возникает ли какой-нибудь литературный спор о предмете общеизвестном, имеющем практическое значение во вседневной жизни, — «Отечественные записки» тотчас превращают спор в научную теорему; предмет уносится учеными критиками на вершины Олимпа российской мысли, и густой туман скрывает его от глаз обыкновенных зрителей; кто попроще, тот начинает благоговеть, ничего не понимая, а кто смелее, тот закрывает книгу и говорит, что начинается «ерунда». В обоих случаях вопрос, поставленный жизнью, остается нерешенным и понемногу замирает. Достоинство журнала спасено, а между тем не высказано ничего резкого, что могло бы раздразнить гусей; и волки сыты, и овцы целы.

Вот видите ли, в нашем общественном мнении есть множество оттенков, нечувствительно переливающихся один в другой. Крайними полюсами этого общественного мнения можно назвать, с одной стороны, Аскоченского, с другой — ну, хоть бы Чернышевского, благо мы часто о нем упоминаем. У Аскоченского есть положительная сторона — ханжество, и отрицательная — ненависть к человеческому разуму. Эта отрицательная сторона, эта ненависть у него выражается грубо, рьяно, нелепо; если от Аскоченского мы будем постепенно подвигаться к Чернышевскому, эта ненависть будет находиться в убывающей прогрессии; мракобесие перейдет в мраколюбие, наконец, в довольство мраком, в терпение мрака; доводы против разума будут видоизменяться, но полную эмансипацию разума мы найдем только на противоположном полюсе. Дух Аскоченского веет не в одной «Домашней беседе»; с его веянием можно встретиться даже за пределами любезного отечества; ослабленные и смягченные Аскоченские есть и в Европе, даже в Англии, даже в партии вигов. Авторитеты их, пожалуй,

благообразнее наших, но в сущности все равно, пеньковая или шелковая веревка вяжет вас по рукам и по ногам! Шелковая даже хуже; от нее не так больно, и потому связанный легче мирится с своим положением. Отношения «Отечественных записок» к разуму отличаются робостью; самодеятельность мысли отошла от них вместе с Белинским; новая идея не найдет себе приюта на страницах этого журнала; риск велик! Кто ее знает, эту идею? Вдруг окажется вздором, не примется в обществе; начнут над нею смеяться; нет, лучше не рисковать; лучше идти себе битою дорогою, печатать новости задним числом, хвалить то, что уже все признали хорошим, и бранить то, в чем еще сомневается большинство. Внешним образом эта черта характера «Отечественных записок» выразилась в том, что, сколько мне помнится, ни один литератор не начинал своей карьеры в «Отечественных записках». Когда имя делалось известным, г. Краевский допускал его на Олимп; талантливый юноша, не печатавший до того времени нигде, не мог прямо попасть в «Отечественные записки», хотя бы он был семи пядей во лбу. Это было очень благоразумно со стороны г. Краевского. Когда нет творчества, не надо творить; когда нет собственной критической способности, надо поневоле полагаться на мнение других; «нечем петь, когда голоса нет», говорит русская пословица. Откровенное сознание собственной несостоятельности — дело очень похвальное, хотя, конечно, было бы еще похвальнее совсем не браться за такое дело, в котором не смыслишь ни аза.

Итак, робость и неясность отношений составляют букет «Отечественных записок». Причина этих свойств заключается отчасти в дипломатической осторожности, отчасти в слабости мысли. Ширина и смелость взгляда, неумолимая последовательность логики, ясность и простота в решении вопросов свойственны только живому уму, а его нет в редакции «Отечественных записок». Посредственность не любит быстрого поступательного движения; оно ее утомляет; довольствоваться наличным умственным капиталом, старою философскою системою, шлифовать и полировать уголки, любоваться деталями — вот ее дело, вот сфера ее муравьиной деятельности. А тут вдруг придет какой-нибудь нахал, все переворочает, все переломает, нашумит, напылит, так что после его вторжения хозяин не может узнать своего уютного кабинета, в котором все было так аккуратно, так невозмутимо-спокойно, так тихо и безмятежно. Собирается он с силами, чтобы после нашествия нового Аттилы привести в прежний порядок свою крошечную системку, в которой ему было тепло, в которой он чувствовал себя безопасным, как улитка в раковине, и к которой он даже, может быть, успел приохотить кружок почтительных и кротких прозелитов. Хлопочет он о том, чтобы истребить следы разрушительного набега, да что-то не ладится; прозелиты ошеломлены; одних прельстила смелость вражеского натиска, других она удивила, третьих привела в негодование, но во всяком случае

все они уже не те невинные, непосредственные, нетронутые слушатели, какие были прежде. Да и система не доставляет добродушному хозяину прежнего умственного комфорта. Молча перенести дерзкое нападение невозможно: самолюбие мешает, да и опасно; мальчишки — народ заносчивый, зазнаются, примут молчание за признак слабости; надо спорить, да и притом как спорить! Состязаться с человеком одной школы с вами приятно; говоря с ним, вы можете сослаться на положения учителя, и, лишь бы статья вашего общего кодекса была подведена верно, ваш противник согласится с вами и даже будет смотреть на вас с сугубым уважением, как на человека, которому полнее доступна неизреченная мудрость. Но спорить с человеком другой школы совсем не то; вы сошлетесь на авторитет, а он вам скажет, что знать его не хочет; вы скажете: «Это говорит Гегель!», а он ответит: «А мне что за дело!» — Вам придется доказывать основные положения, шевелить такие стропила учения, которые вы считали незыблемыми и неприкосновенными, придется переделывать сызнова дело учителя, и притом при таких условиях, которые значительно усложняют задачу. Когда жил и действовал учитель, тогда люди его времени еще не могли приготовить против его учения разрушительных доводов, по той простой причине, что учение было ново, свежо, способно развиваться и не похоже на жреческую символистику; когда жил этот предполагаемый учитель, он уловил последнее слово своего времени и развил его в систему; теперь настали другие времена; выработалось другое последнее слово, и можно сказать наверное, что если бы учитель жил в наше время, то и учение его вышло бы не такое, каким он его сделал. В наше время Гегель, наверное, не был бы гегельянцем, потому что только узкие и вялые умы живут в области преданий тогда, когда можно выйти в область действительно живых идей и интересов.

Итак, умственная посредственность всегда отличается пассивным консерватизмом и противопоставляет натиску новых идей тупое сопротивление инерции. Бывает и прозелитическая посредственность; иные нищие духом стремятся, очертя голову, вслед за увлекающим их талантом; слепой фанатизм и дешевый скептицизм одинаково часто встречаются в людях ограниченных; но в нашем обществе дешевый скептицизм, кажется, преобладает, потому что мы вообще страстностью не отличаемся. Вот эту-то тупую оппозицию инерции и беспричинного скептицизма вы встретите на каждой странице «Отечественных записок».

Слова «оппозиция» и «скептицизм» требуют некоторого пояснения. Оппозиция есть гарантия личности против посягательств большинства или силы; осмысленная оппозиция возбуждает к себе искреннее сочувствие и заслуживает полное уважение со стороны всякого благородного человека; но что вы скажете, например, об оппозиции помещицы Коробочки, не желающей про-

дать мертвые души на том основании, что она не знает городских цен? Ведь источник этой оппозиции заключается в неспособности понять предмет, в неумении или нежелании сделать малейшее усилие мысли. Оппозиция многих староверов очень напоминает оппозицию Коробочки. Ему толкуют об удобстве какой-нибудь земледельческой машины, — он слушает из пятого в десятое и потом наотрез отказывается сделать нововведение. Вы добиваетесь причины его упорства, считаете вашего собеседника фанатиком наследованного от отцов экономического порядка вещей, строите в голове целую теорию об исторической памяти русской народности, а между тем ваш дубиноголовый противник способен ответить вам только словами Лазаря Елизарыча: «Для того, что не для чего!..»[66] Он упирается, потому что не ясно понимает, а не понимает и не хочет понимать оттого, что не привык работать мыслью, — а на старости лет привыкать мудрено!

Скептицизм велик и законен как следствие разлагающей деятельности мысли, как результат тщательного анализа; но скептическое отношение к предмету мало известному обличает только нежелание вглядеться в него и ближе с ним ознакомиться; такой скептицизм вытекает часто из очень мелкого и мутного источника. Возьмем пример. Положим, что моя статья возбудит к себе недоверие в двух читателях: один прочтет ее внимательно и, положим, заметит в ней противоречия, тон страстного раздражения, натяжки в выводах; это наведет его на мысль, что статья написана пристрастно, он отнесется к ней скептически. Такого рода скептицизм вполне уважителен; он основан на знакомстве с предметом; ошибка тут возможна, но не неизбежна. Другой читатель перелистует статью, увидит, что дело идет об «Отечественных записках», и скажет: «Это брань журналистов, старающихся переманить подписчиков. Вздор! не стоит читать!» — Это уже дешевый скептицизм, хватающий вершки, судящий по внешности, не желающий или не умеющий приложить анализа к самому предмету. У человека, способного к такому скептицизму, есть в голове несколько десятков готовых суждений, и он подводит под них разные случаи жизни, нимало не заботясь о их действительной физиономии. Развиваться такой человек не способен; вращаясь в безвыходном кругу готовых суждений и выветрившихся фраз, он не видит действительного мира и не дает себе труда взглянуть на него просто и серьезно. Эта оппозиция и этот скептицизм выражаются в самых разнообразных формах. «Отечественные записки» выражают их тем, что не высказывают никогда определенного мнения; в них вы не найдете такого слова, из которого можно было бы вывести осязательное, практическое заключение. У них есть два молчалинские таланта: умеренность и аккуратность, которую они называют серьезностью. До «степеней известных» они уже дошли. Разве двадцать три года существования журнала, и притом от 1838 ⟨до⟩ 1861 года, не «степени известные»?

XIV

Букет «Отечественных записок» я нашел; их цвет — бесцветность; их тактика состоит в том, чтобы говорить, ничего не высказывая, числиться в рядах прогрессистов, не разделяя с ними трудов и опасностей, отуманивать своих читателей книжною ученостью и отводить им глаза от живых идей, вопросов и интересов. Почему они молчалинствуют — по расчету или по умственной убогости,— решить не берусь; может быть, по тому и по другому вместе. Посмотрим лучше, какая общая тактика журнала выдерживается в различных отделах. Первая полемическая статья, встречающаяся в августовской книжке, принадлежит перу г. Альбертини; с нее я и начну. [67]

Г. Альбертини вступается за Кавура, стыдит г. Чернышевского его незнанием и советует ему побольше читать и учиться. О Кавуре г. Альбертини спорит, нимало не обобщая вопроса; он полагает, что нападки «Современника» направлены против личности, а не против типа, против отдельных поступков Кавура, а не против целого направления его политики. Г. Альбертини не понимает или не хочет понимать, что г. Чернышевский восстает против Кавура за то, что, находясь по своему положению во главе современной Италии, сардинский министр сдерживал воодушевление народа (боясь, чтобы оно не хватило через край), вместо того чтобы поддерживать его и давать ему направление. Кавура осуждают за то, что он был более пиемонтским подданным, чем гражданином свободной Италии. Если вы, г. Альбертини, способны возвыситься до синтетического взгляда на личность Кавура, тогда доказывайте нам противное; мы вас послушаем. Но если вы любите изучать факты, не обладая способностью обобщения, тогда вам нельзя спорить с Чернышевским; да он и не станет с вами спорить. Замашка останавливаться на голом факте, на заглавии обнаруживается также в том месте, где г. Альбертини говорит о Пальмерстоне и Брайте. Г. Чернышевский в «Полемических красотах» говорит, что для удобства и для краткости называет один тип прогрессистов — Пальмерстоном, другой — Брайтом. Предупредив таким образом читателя, он говорит: «Пальмерстон только тогда непоколебим, когда опирается на Брайта, и теряет власть, когда отталкивает от себя Брайта». Ясно, что это надо понимать так: «Английское правительство, выставляющее на своем знамени девиз прогресса, только тогда непоколебимо, когда опирается на ту часть народа, которая действительно воодушевлена прогрессивными стремлениями». Против этой мысли должен был возражать г. Альбертини, если он с нею не согласен. Но он сделал совсем не то. Он совершенно утаил от своих читателей тот смысл, который г. Чернышевский придал именам Пальмерстона и Брайта; он берет слова г. Чернышевского au pied de la lettre * и начинает

* Буквально *(франц.)*. — *Ред.*

объяснять различие между Пальмерстоном и Брайтом, невозможность их соединения и грубость ошибки, сделанной критиком «Современника». Вся тирада эта, пущенная не против г. Чернышевского, а против какого-то воображаемого противника, завершается так: «О таких вещах, об азбуке современной политики, совестно толковать порядочным людям, а вы меня хотите уверить, будто Пальмерстон тогда и силен, когда слушается Брайта. Как вам не совестно?» Кто не понимает мысли своего противника, когда она выражена ясно, тот обнаруживает слабоумие. Кто не хочет понимать и умышленно искажает мысль противника, тот поступает бесчестно и унижается до степени литературного фокусника («Отечественные записки» сказали бы даже: «мазурика»). Которое из этих двух объяснений благоволит принять г. Альбертини, не знаю, но думаю, что третьего не сумеют приискать ни сам он, ни литературные его сподвижники. Совестно-то будет, должно быть, не г. Чернышевскому.

Далее следует статья того же г. Альбертини об Токвиле,[68] как значится в заглавии, но героем статьи является все тот же г. Чернышевский. Из этой статьи я выпишу несколько умилительных мест и ничего не скажу об общей идее, потому что общей идеи нет. Автор силится доказать, что Токвиль — прекрасный человек, а Чернышевский — нахал и невежда; но, прочтя его статью, читатель не выносит никакого понятия о французском публицисте, и даже обвинение в сумбурности, неосновательно взведенное на него г. Чернышевским, не оказывается снятым. Избави бог от защитников, подобных г. Альбертини! Они способны затемнить самое чистое дело и запутать самый простой вопрос. В некоторых местах, казня своего лютого врага, г. Альбертини возвышается до пафоса иронии. «Неужели, — восклицает он, — после этого (т. е. обругавши Кавура и Токвиля) вы (Чернышевский) осмелитесь еще требовать от нашей молодежи, чтоб она серьезно училась? Полноте! Вы гордитесь, кажется, что вас читают с удовольствием. Знаете ли, кто читает вас с истинным удовольствием? Все господа Якубовичи да Кондыревы (безграмотные переводчики Токвиля). Оттого-то они и перевели так безобразно Токвиля, что вас они читают с удовольствием и позаимствовались от вас тем пренебрежением к науке, к серьезной мысли и к серьезному труду, которого проповедник всегда найдет себе приверженных адептов. Отчего же вы так несправедливы к своему адепту, г. Якубовичу? Отчего же вы его обвиняете в бессмыслице? Если бы вы были последовательны, вы его должны были бы погладить по головке за то, что он так дико перевел писателя, по-вашему, сумбурного».

Когда г. Альбертини говорит хладнокровно, тогда ему почти не нужна логика; рассказывать события можно в хронологическом порядке; рассуждения можно заимствовать из плохих немецких газет; отсутствие собственных приговоров можно выдавать читателям за осторожность и серьезность. Недостаток логической связи

и последовательности может пройти незамеченным, тем более, что русская публика читает невнимательно и с обзором политических событий знакомится не столько по ежемесячным журналам, сколько по ежедневным газетам. Но в полемике с г. Чернышевским вопрос становится иначе. О Чернышевском за границей не пишут, стало быть, о нем надо говорить свое. Кроме того, сонливое спокойствие, или, что то же, историческое беспристрастие, хранившееся в груди г. Альбертини, когда он рассуждал о Кавуре, Росселе и Пальмерстоне, исчезло; г. Чернышевский задел самолюбие нашего публициста, и г. Альбертини начал свое знаменитое: «quo usque tandem». * Тут понадобилась хоть бы внешняя связь — и логика г. Альбертини (именно его собственная, исключительная логика) обозначилась. Проскользнула вместе с индивидуальною логикою и нравственная исповедь. Спохватитесь во-время, г. Альбертини! Вы расточаете перед нами сокровища вашей рыцарской литературной честности!

Вы находите: 1) что г. Чернышевский должен был похвалить работу г. Якубовича, потому что г. Якубович — его адепт, и 2) что г. Чернышевский должен был обрадоваться безобразному переводу Токвиля, потому что он не соглашается с его идеями. Вы упрекаете Чернышевского в непоследовательности за то, что он не поступает таким образом; значит, вы на его месте поступили бы так, как советуете ему поступить; таким образом, вы даете нам право воспроизвести две следующие статьи вашего нравственного кодекса: 1) должно хвалить своих адептов, хотя бы они говорили вздор и делали гадости; 2) должно ругать наповал своих противников, чернить их всеми правдами и неправдами и радоваться, если чернит их кто-либо другой. Эти статьи вашего кодекса дают нам ключ к пониманию вашей выходки против Чернышевского по поводу Брайта и Пальмерстона; ясно, что она сделана не по наивности.

Понятным делается также следующее место: «Мы могли бы трактовать его (Чернышевского), как трактовали некогда г. Благосветлова, как обыкновенно трактуют балаганных паяцев, которых все дело — выкинуть штуку половче, показистее». И Чернышевский и Благосветлов известны как ваши литературные противники, *ergo*: ** надо ругать. Дайте срок, г. Альбертини. Напишите еще две-три статьи, подобные разбираемой нами, проврitесь еще раза три так, как проврались теперь, и ваша брань сделается так же почетною, а похвала так же позорною, как брань и похвала юродствующего редактора «Домашней беседы». Вот еще одна выписка, в которой проведено то же нравственное воззрение. «Люди «Современника» находят, следовательно, что авторитет

---

* Доколе (начало знаменитой обличительной речи Цицерона против Катилины). — *Ред.*

** Следовательно *(лат.)*. — *Ред.*

Токвиля может помешать воспринятию и усвоению в нашем обществе их собственных идей о тех самых предметах, о которых рассуждает Токвиль; вот отчего и понадобилось им сокрушить его авторитет. Иначе зачем бы им было собирать грозу против Токвиля, доказывать его сумбурность, убеждать своих читателей не читать Токвиля?» — Г. Альбертини хотел бросить в Чернышевского большим комом грязи и сам по локоть выпачкал себе руки; всего смешнее то, что он сам этого не замечает и что другие со стороны должны говорить ему: «Посмотрите на себя! что вы с собою сделали? на что вы похожи?» Ведь по-вашему выходит, что назвать белое белым, а черное черным можно только в том случае, если это доставляет вам прямую выгоду, если у вас в этом деле свои расчеты. Представитель серьезной науки, служитель идеи, поборник истины, что вы говорите! Ведь после этого честному человеку нельзя спорить с вами, потому что вы в отвлеченном споре преследуете только ваши выгоды и в собеседнике вашем предполагаете такие же тенденции. Вы говорите возмутительные вещи, и на вас нельзя сердиться только потому, что вы сами не понимаете веса своих слов. Вы несведущи, как ребенок, но как развращенный ребенок; вы говорите громко то, что многие думают про себя; но то, что вы говорите, — все-таки дурно. Вашею непосредственностью уничтожается вменяемость преступления, но публике остается только недоумевать, как это бессознательно лепечущий младенец может писать и печатать серьезные статьи? Впрочем, в наш век удивительных изобретений все возможно. Есть молотильная машина, швейная машина, скоропечатная машина. Кто знает, может быть г. Краевский прославится изобретением машины, доставляющей за умеренную плату журнальные статьи произвольного объема и направления! О г. Альбертини довольно. Его, вероятно, достаточно поняли мои читатели. Перехожу к г. Бестужеву-Рюмину.

XV

Статья г. Бестужева-Рюмина [69] направлена против статьи г. Чернышевского «О причинах падения Рима». Бестактность редакции «Отечественных записок» обнаруживается вполне в помещении этой статьи в августовской книжке. Статья г. Чернышевского напечатана в мае. Спрашивается, отчего г. Бестужев-Рюмин ждал два месяца и пустил свою статью именно после июльских «Полемических красот»? Вот единственный возможный ответ: «Отечественные записки» верны тому принципу, который с детскою откровенностью высказал г. Альбертини. Г. Чернышевский вдвойне враг их: как член редакции «Современника» и как автор «Полемических красот»; его надо ругать, придираясь ко всякому удобному и неудобному случаю. Г. Бестужеву-Рюмину попадается в руки

подлая книга Дюбуа-Гюшана о Римской империи. [70] Чернышевский тоже писал о Римской империи. Прекрасный случай! Как отказать себе в удовольствии поставить рядом имена Дюбуа и Чернышевского; как не провести между ними параллели. Общего нет ничего — ни во внешности, ни в содержании, ни в направлении их трудов нет ни малейшего сходства, но зато впечатление на читателя будет произведено; иной доверчивый добряк (а на такую публику, кажется, сильно рассчитывают «Отечественные записки») в самом деле поверит, что Чернышевский и Дюбуа-Гюшан— одного поля ягоды; вот и цель сопоставления будет достигнута.

Позднее появление статьи г. Бестужева-Рюмина и ее заголовок предрасполагают против нее; трудно себе представить, чтобы человек мог написать что-нибудь хорошее, когда он берется за перо с твердым намерением очернить своего противника. Искреннее воодушевление, кипучая диалектика, разительность доводов возможны при полемике только в том случае, если вы спорите как представитель известной идеи. Если же существуют личные отношения между полемизирующими сторонами и если эти личные отношения всплывают в споре, тогда полемика превращается в перебранки, надоедает публике и возбуждает в ней законное презрение. Чтение статьи г. Бестужева-Рюмина оправдало мое неприязненное предрасположение. Говоря о Дюбуа-Гюшане, он ни с того, ни с сего вставляет язвительные (по его мнению) намеки насчет поверхностности убогих фельетонистов, которые, черпая «свои идеи из юмористических стишков, а познания из кой-каких полубеллетристических книг», ненавидят «самое имя науки», потому что «некогда профессор срезал его на экзамене на каких-нибудь грамматических формах», и так далее, в том же ядовитом роде. Не правда ли, намеки так тонки, что читатель, не приготовленный специально, т. е. не знающий скрытых страданий серьезного журнала, не поймет, в чей огород г. Бестужев-Рюмин мещет камни. Он говорит, что, встречаясь с произведением такого убогого фельетониста, «можно только улыбнуться и пойти прочь; избиение невинных — дело очень легкое и потому мало привлекательное». Какой шутник г. Бестужев-Рюмин! Он в продолжение двух месяцев собирался *улыбнуться*, а *пойти прочь* решается, только написавши 15 страниц; и все это ради убогого фельетониста, ради невинного малютки, г. Чернышевского, которого наш ученый критик может так легко убить статьею, взмахом могучего пера. Только серьезные люди способны шутить так естественно, мило и, главное, правдоподобно, как шутит г. Бестужев-Рюмин. Серьезная часть статьи представляет в патологическом отношении такое же замечательное явление, как и запоздавшая улыбка. Книга Дюбуа-Гюшана, нравственное состояние современной французской литературы, римский мир, цезаризм и наполеонизм — все это только декорации; живет и действует среди этой грандиозной обстановки все то же лицо, убогий фельетонист, которого не стоит

даже оспаривать. Образ г. Чернышевского, как неотвязчивый призрак, как мысль о любимой женщине, преследует г. Бестужева-Рюмина, и наконец, наскоро развязавшись с Дюбуа, пустив стороною несколько тяжеловесных сарказмов в школьников, вооружающихся «детской пращею против голиафов умственного мира», наш ученый критик всецело посвящает себя статье г. Чернышевского. Статьи этой он, однако, не понимает. Как и следует ожидать, он, как сотрудник «Отечественных записок», останавливается на букве и не возвышается до идеи. «Г. Чернышевскому, — говорит он, — захотелось доказать, что новым обществам не грозит той катастрофы, которая разрушила древний мир». Помилуйте, г. Бестужев-Рюмин. Чтобы доказывать такую штуку, надо быть Кифою Мокиевичем, [71] а не г. Чернышевским. Кто же боится подобной катастрофы? Даже заклятые руссофилы [72] перестали называть Запад гнилым и предрекать ему неминуемое разложение. Как же это вошла в голову Чернышевского мысль доказывать то, против чего никто не спорит, о чем даже никто (кроме Дюбуа-Гюшана разве) не говорит? Статья Чернышевского вызвана книгою Гизо, появившеюся в русском переводе; [73] в этой статье г. Чернышевский восстает против исторического мистицизма и исторического фразерства, которые можно заметить даже у такого строгого мыслителя, как Гизо. Большинство историков, в том числе и доктринер Гизо, говорят, что древний мир *должен* был пасть; что его опрокинула не стихийная сила, не германцы, а внутренняя необходимость. Германцы являются какими-то chargés d'affaires * исторического промысла, являются потому, что понадобились живые соки в историческом организме. Словом, эти историки видят в цепи событий общую разумную идею. Г. Чернышевский смотрит на вещи проще и хладнокровнее. Он говорит, что за классическою цивилизациею наступило варварство не потому, что так было необходимо, а потому, что так случилось. Классический мир погиб оттого, что его буквально задавили варвары. Не будь варваров, он бы жил до сих пор и, наверно, выработал бы себе и новые идеи, и новые стремления, и новые бытовые формы. Против этого возражать мудрено. Как же бы в самом деле погибла классическая цивилизация, если бы никто не разорял городов, не жег книг и не бил людей? Положим, пролетариат бы с каждым годом увеличивался, — что ж из этого? Если вы слишком натянете струну — она лопнет. Если голодный народ дойдет до крайней степени страдания — он взбунтуется. [74] Так или иначе произойдет переворот; оппозиция сделается правительством, и пойдут новые порядки. Как бы ни было тяжело жить, а не могли же все жители Рима разбежаться в леса, уничтожить свои жилища и превратиться в полудиких. Все эти события, обозначающие собою падение цивилизации, возможны только при напоре грубой мате-

---

* Поверенные в делах *(франц.)*. — *Ред.*

риальной силы, т. е. опять-таки при нашествии варваров или, что почти то же самое, при геологическом перевороте. Стало быть, основная мысль г. Чернышевского остается верною: не будь варваров, не было бы и падения древней цивилизации. Внутренней необходимости падения не было. Но, доказывая верную мысль, г. Чернышевский, как с ним часто бывает, заходит слишком далеко и впадает в парадокс. Он начинает утверждать, что общество не бывает ни молодым, ни зрелым, ни старым, что изменяются и старятся только отдельные люди и что на место 20-летнего Петра выдвигается 20-летний Иван, потом 20-летний Андрей, обладающий тою же свежестью сил и теми же юношескими стремлениями, какими в свое время обладали состарившиеся Иван и Петр. Парадоксальное положение это опровергается двумя-тремя простыми вопросами: г. Чернышевский, неужели вы думаете воспитать вашего сына в тех идеях, в каких вас самих воспитали ваши родители? Г. Чернышевский, неужели вы теперь пишете то же самое, что в 1841 году писал барон Брамбеус? Г. Чернышевский, неужели вы разделяете верования и предрассудки вашего дедушки? Или неужели ваш дедушка с удовольствием прочел бы вашу статью об антропологическом принципе? Ответив себе на эти вопросы, г. Чернышевский немедленно убедится в том, что он теперь не то, чем был, лет 20 тому назад, его отец, и что сын его (г. Чернышевского) будет, лет через 20, не то, что теперь г. Чернышевский. Убедившись в этом, он допустит для общества возможность крепнуть и дряхлеть, но все-таки никогда не согласится с тем, чтобы общество могло одичать, а цивилизация погибнуть без внешнего напора материальной силы.

Философскую часть статьи г. Чернышевского г. Бестужев-Рюмин совершенно оставляет без внимания. Он приступает к разбору журнальной критической статьи как к оценке специального исторического исследования. Он сражается не с идеею, а с отдельными фактами, и, сказать правду, сражается крайне неудачно. «Точно ли, — спрашивает он, — Риму нужно было ждать варваров, чтобы погибнуть? Что же, Марий с своими когортами, Сулла с проскрипциями, триумвиры с своими знаменитыми пожертвованиями были лучше варваров?.. Не изменилось ли под влиянием всех этих событий римское общество, не переменился ли самый состав его, не перемешались ли его элементы?» Ну, что же из этого следует? — Общество изменяется, элементы перемешиваются, а классическая цивилизация все-таки живет, и люди все-таки не превращаются в дикарей, несмотря ни на когорты Мария, ни на проскрипции Суллы, ни на пожертвования триумвиров. Но приходят варвары, режут целые населения, сжигают города, — и цивилизация тонет в крови, задыхается под пеплом и мусором. Вы сами, г. Бестужев-Рюмин, возражая г. Чернышевскому, говорите то, что сказал он в своей статье. После Мария, Суллы и триумвиров классический мир дышал целые пять столетий,

сопротивляясь даже внешнему напору германцев. А если бы не было этого внешнего напора, мы не знаем, как бы повернулись дела. Протест против военного деспотизма, против угнетения рабов, против господствовавшего разврата слышался с разных сторон; протестовали философы, поэты, историки; протестовали жизнью и смертью христианские мученики, египетские терапевты и чисто эллинские новоплатоники. [75] В законодательстве и в судебной практике замечаются около времени Антонинов некоторые смягчения, участь рабов облегчается, увольнение раба становится легче и прочнее. Очень правдоподобно, что древний мир извернулся бы своими средствами, если бы его не скрутили внешние обстоятельства. Мало того, иначе даже и не могло бы случиться. Мыслимо ли, чтобы какой-нибудь народ умер естественною смертью, если его не теснят снаружи? А ведь древний мир представлял собою, как выражается сам г. Бестужев-Рюмин, «конгломерат народов». Каково бы ни было истощение его духовных сил, а умереть он не мог. Переворот был неизбежен, но самый этот переворот и предупредил бы гибель; как только зло или, проще, неудобство общественного устройства становится невыносимым для большинства граждан, так это устройство и сваливается, как засохший струп, как бесполезная чешуя. Так, без сомнения, случилось бы и с Римом. Но г. Бестужев-Рюмин, как идеалист, не может помириться с трезвым воззрением г. Чернышевского. «Жаль, — говорит он, — что вы не взглянули на римскую империю еще с другой, весьма поучительной точки зрения. В Риме материальная цивилизация была доведена до последних пределов; житейский комфорт, роскошь — все это развивалось до размеров громадных. Кажется, чего бы лучше; человечество должно бы благоденствовать. Мало того: равенство было совершенное; правда, существовали рабы, но и с ними, как непобедимо доказывает г. Дюбуа, обходились человеколюбиво... Чего же недоставало Риму? Тех учреждений, которыми он некогда был силен, и тех деятелей, тех воззрений, которые немыслимы в душной атмосфере цезарского Рима. Вот чего ему недоставало; недоставало сознания, что «не о хлебе едином жив будет человек», недоставало даже возможности и силы всецело принять в себя это сознание».

Это место характеристично как по своей фразистости, так и по полному незнанию предмета, которое обнаруживает в нем г. Бестужев-Рюмин. Разврат, чувственность, преобладание материи над духом — вот те свойства, которые сплеча приписывают древнему миру люди, знающие его кое-как, из вторых и третьих рук. «Древний Рим утопал в роскоши и в разврате; древние доблести его померкли», — скажет вам любой гимназист по Кайданову или Смарагдову; то же самое говорит нам и серьезный критик. «Риму недоставало сознания, что не о хлебе едином будет жив человек», т. е. недоставало аскетизма. Странно! Справьтесь с любою историею древней философии (возьмите, например, 4-й том Генриха

Риттера), и вы увидите, что во времена императоров философы всех школ (кроме эпикурейцев) сошлись между собою в аскетических и мистических стремлениях. Но что же мог сделать аскетизм? Высосать те живые силы, которые могли составить энергическую оппозицию. Так он и сделал. Чистые аскеты, новоплатоники и новопифагорейцы удалились в мир призраков и галлюцинаций, изморили себя постною пищею и пустыми обрядами и, стремясь стать выше земного, сделались не способны ни к чему земному. У них были живые идеи, но эти идеи были завалены хламом самоистязания и фантазерства, — тем сознанием, над которым умиляется г. Бестужев-Рюмин. Чего другого, а аскетизма и суеверия было в Риме довольно. Изумительно также то проворство, с которым г. Бестужев-Рюмин отделывается от рабства, составляющего самую больную сторону древней цивилизации. Шутка ли это над г. Чернышевским или действительное мнение г. Бестужева-Рюмина — все равно. В нашем молодом обществе шутить вещами, подобными рабству, — неуместно; обходить такие вопросы в серьезной статье серьезного журнала или относиться к ним слегка — просто непозволительно. Это значит играть словами, маскируя от читателя их истинной смысл. «Нет, г. Чернышевский, мало одной материальной цивилизации, мало накормить народ, — продолжает наш критик: — надо еще способствовать его развитию; а этого Рим не мог сделать». Я узнаю в этих словах дух того журнала, в котором был помещен проект г. Щербины о «читальнике». [76] Учить народ, пускать в продажу правительственным путем книги для чтения — все это дело известное. А не лучше ли бы было «накормить народ», не заваливая его непосильною работою. Досуг и материальное довольство порождают цивилизацию; упрочьте экономический быт, обеспечьте материальную сторону, и народ, скорее, чем вы думаете, примется читать и даже писать книги. А на голодный желудок как-то плохо действует книжное учение. «Отечественные записки» говорят: «Помогайте народу развиваться», а мы говорим: «Не мешайте народу, удалите препятствия, он сам разовьется». Кто из нас прав?

Далее г. Бестужев-Рюмин винит статью г. Чернышевского в том, что ее последнее слово — «преобладание материальных интересов над всеми другими условиями существования общества, т. е. именно то, что так долго старались втолковать нам, и, кажется, не без успеха, но от чего пора нам излечиваться: общества чисто материальные создают «движимый кредит», книгу г. Дюбуа и цезаризм». Что значат слова: «*что так долго старались втолковать нам*»? Кто же это втолковал нам доктрину материализма? Да и возможна ли пропаганда материализма в таком обществе, где до наших времен, до нынешнего года существовало крепостное право? Ведь только идеалистическое воззрение, говорящее, что высокая степень духовного развития дает *право* одному человеку брать опеку над другим, только такое воззрение, говорю я, может

оправдывать порабощение личности. Да и кроме того, пора взять в толк, что неудовлетворение какой бы то ни было материальной потребности кладет непреодолимое препятствие дальнейшему развитию, физическому, духовному, нравственному, интеллектуальному — какому угодно, назовите, как хотите. Когда человек голоден — прежде всего накормите его; когда у человека спина болит от побоев — позаботьтесь прежде всего о том, чтобы вылечить его и обеспечить его от подобных пассажей на будущее время; когда человек изнурен непосильною работою — дайте ему отдохнуть. Прежде всего надо устранить физическое страдание личности, а потом учить ее и развивать, или, даже лучше всего, предоставить это дело на благоусмотрение каждого отдельного лица, давая средства желающим и снимая путы с связанных. Аргумент, приводимый г. критиком: «общества чисто материальные создают движимый кредит» и т. д., — звонкая фраза. Вообразите себе, что даровитый молодой человек в течение 20 лет жизни испытывает разные неудачи, утраты и разочарования; в 40 лет он — старик по взгляду на жизнь; он — полнейший материалист, скептик в отношении к людям, эгоист в общепринятом, узком смысле этого слова, человек сухой, холодный, брюзгливый и тяжелый. Правильно ли вы поступите, если свалите на счет его материалистических убеждений причину всех его недостатков? Эти недостатки пришли к нему вместе с материалистическими убеждениями, но не вследствие этих убеждений; этого человека окислила жизнь; эта же жизнь дала ему трезвость взгляда, в которой надо видеть искупляющую сторону, возмездие за понесенные страдания и испытанные нравственные повреждения. Путей, ведущих к материалистическим убеждениям, очень много; одни легче, другие тяжеле, один дойдет до них простым, теоретическим размышлением, не состарившись душою, или, точнее, чувствами, другой доберется до них жизнью и купит их дорогою ценою молодости и свежести; винить в этом он все-таки должен не воспринятые убеждения, а обстоятельства своей собственной жизни.

Что применяется к отдельному человеку, то можно применить и к обществу. Современное французское общество испорчено политическими событиями последнего пятидесятилетия; лучшие французские писатели сознаются в том, что ряд неудачных революций породил поколение людей, смотрящих на государственные перевороты как на азартную игру и ставящих на карту последнюю копейку, в надежде пробить себе дорогу к почестям, удовлетворяющим требованиям мелкого самолюбия. Играя таким образом великими словами и интересами, эти господа дошли до политического скептицизма, до меркантильности и вместе с тем добрались, путем чистого опыта, до материалистических убеждений. Материалист может быть брюнетом и блондином, честным и бесчестным человеком, страстным и холодным, — неужели же все эти

свойства выработались из его умственных убеждений? Повторяю, аргумент г. Бестужева-Рюмина — просто звонкая фраза. Вся критическая статья его не современна ни по своему направлению, ни по своей фактической стороне. Изложение ее неясно, доказательства неубедительны и разбросаны. Полемическая тенденция бросается в глаза читателю и не гармонирует с тоном серьезного беспристрастия, который автор напрасно усиливается принять и выдержать до конца.

XVI

Если вы, гг. читатели, желаете посмотреть, как г. Дудышкин умеет быть игривым и остроумным, то приглашаю вас пробежать «Обзор русской литературы» в августовской книжке «Отечественных записок» от стр. 140 ⟨до⟩ 146. Тут г. Чернышевский сравнен с траппистом, [77] с аскетом; причем г. Дудышкин сознается, что сам не знает, почему это ему так кажется; тут приведены два куплета из лермонтовского «Пророка»; тут г. Дудышкин удивляется г. Чернышевскому, «как редкости, как антику»; всего не перечтешь. Чтобы передать весь комизм этой чисто полемической части, нужно было бы переписать целые шесть страниц, но я полагаю, что игра не стоит свеч, и спешу перейти к тем отделам статьи, в которых г. Дудышкин излагает мысли, а не играет словами. Натешившись едкими выходками против г. Чернышевского, г. Дудышкин начинает с того, что отстаивает свой журнал против упрека в отсутствии направления и единства; этот упрек г. Дудышкин обращает в похвалу. «А вы нашли дурным, — говорит он, — что в «Отечественных записках» несколько частных редакторов, заведывающих отделами! Беда не в том, что несколько редакторов, а в том, что их не больше. Чем больше в журнале специалистов, тем он меньше живет общими местами, непригодными для жизни; тогда только возможны не теоретические, вычитанные из иностранных книжек, суждения о предметах русского мира, а более практические, применимые к делу».

Г. Дудышкин прикидывается, будто вовсе не понимает того, о чем говорит г. Чернышевский. Я говорю: «прикидывается», потому что решительно не могу себе представить, чтобы журналист, занимающийся своим делом больше десяти лет, не знал азбучных правил этого дела. Ему говорят о том, что редакторы и сотрудники его ходят как впотьмах, сталкиваются мнениями, противоречат друг другу и этим затемняют все представляющиеся вопросы, а он отвечает на это: «Нет, вы не говорите, что нас слишком много. Кабы больше было, было бы лучше». Да бог с вами, господа! Будь вас хоть сто человек, публике это все равно, лишь бы вы говорили толком, так, чтобы можно было понять, чего вы хотите, с чем спорите, с чем соглашаетесь. Специалисты по разным отделам могут, сколько мне кажется, сходиться в области

общечеловеческих убеждений, точно так же как в этой же области могут сходиться между собою люди различных темпераментов. Если же принимать слова г. Дудышкина за чистую монету, то надо предположить, что он не подозревает существования этой области общечеловеческих убеждений и что он, кроме того, не имеет никакого понятия о том, что идея, которую проводит журнал, составляет его единственное право на существование, его разумное оправдание и объяснение перед лицом читающей публики. Из продолжения статьи оказывается, впрочем, что этот ответ г. Чернышевскому был сделан только для того, чтобы представить его нападение смешным. Эти тенденции я заметил уже у гг. Альбертини и Бестужева-Рюмина. Они существуют и у г. Дудышкина и выражаются чаще и страстнее. Продолжение его статьи говорит нам, как он понимает направление «Отечественных записок». Эта исповедь «Отечественных записок» в лице их второго редактора в высшей степени замечательна. Г. Дудышкин доказывает, что «Отечественные записки» постоянно поддерживали следующие воззрения:

1) В области экономических наук — они, пользуясь сотрудничеством Бунге, Бабста и других людей, разделяющих их убеждения, хваля Кэри, Милля, Бастиа, были постоянно на стороне практичности и постоянно боролись с утопистами и с экономическими статьями г. Чернышевского.

2) В области политической — *они во всех отделах* хвалили Кавура, Маколея, Токвиля, Гизо, как людей теории, близкой к делу, как людей, высоко ценивших и высоко поставивших закон исторической постепенности.

3) Литературу и поэзию они считали тесно связанною с народною жизнью и ее лучшими духовными проявлениями, высшим проявлением всего великого и прекрасного в человеке.

Итак, практичность в делах житейских и уважение к чистому искусству — вот девиз «Отечественных записок». Такое благообразное слово, как *практичность,* способно подкупить в свою пользу многих читателей, но, как это часто бывает, название и предмет оказываются двумя различными вещами. Всегда ли практичность есть хорошее качество? Практичностью называется способность применяться к существующему порядку вещей, мириться с ним, извлекать из него пользу. Если существующий порядок хорош, т. е. удобен для всех, тогда практичность — великое достоинство. Если же он дурен, тогда практичность достается на долю людей дюжинных, робких, ограниченных, дряблых или плутоватых; эти люди или молча покоряются «обстоятельствам», «судьбе», или ловят рыбу в мутной воде. Люди замечательные в такие эпохи бывают или восторженными мечтателями, или суровыми отрицателями, или презрительными скептиками. Утопия, ювеналовская сатира и демонический смех слышатся с высот умственного мира; между тем золотая посредственность, люди, мелко плавающие,

с удивлением и с неприязненным чувством прислушиваются к этим резким звукам. «Что за странный народ эти мыслители и поэты! — говорят они. — Чего им хочется! Нам хорошо, покойно. Жили бы они себе, как мы живем». Воля ваша, эти люди практичнее тех чудаков, которые попусту надсаживаются, толкуя о возможности лучшего, ругая безобразия существующих понятий и отношений или смеясь над теми системками и идейками, которыми тешатся современники. Быть практичным — значит соглашаться с мнением большинства или силы. Чиновник, берущий взятки там, где все берут, практичен; практичен тот, кто не умнее и не глупее большинства; все, что стоит выше уровня массы, непрактично; оттого-то всех великих людей ценят обыкновенно после их смерти; оттого-то гениальная личность при жизни встречает столько страданий, столько насмешек, столько грубого непонимания. «Вы находите, — говорит г. Дудышкин г. Чернышевскому, — политические убеждения таких людей, как Кавур, мизерными, — мы их находим практичными». Этими словами, г. Дудышкин, вы охарактеризовали превосходно себя, свой журнал, своих сотрудников, все свое направление. Вы хвалите то, что вам по плечу,— а по плечу вам то, что кажется мизерным утопистам, т. е. людям, смотрящим дальше, чувствующим глубже и говорящим смелее. Если бы вы жили во времена Галилея, вы были бы в числе его судей; в наше время вы ограничитесь тем, что назовете Сен-Симона сумасшедшим, а Оуэна — старым идиотом. Так, что ли? А ведь я вам укажу на противоречие, г. Дудышкин. Если ваше уважение к чистому искусству — не фраза, если вы действительно способны чувствовать прекрасное, то вы, как художник, должны восхищаться утопиями, величественными построениями человеческого ума, сбросившего всякие оковы и идущего вперед с неудержимою силою, с неотразимою последовательностью. Как художник, вы при оценке их должны быть способны стать выше мизерного взгляда сухой практичности; если же вы хоть на минуту посмотрите на них как на создания сильного ума, а не как на бред сумасшедшего, если вы только дадите себе труд взглянуть на них серьезно, то вы, как критик, должны будете сознаться, что во всех этих утопиях есть одна хорошая сторона: отрицание существующих нелепостей и желание стать выше их. Вы цитируете как практических мыслителей Бокля и Милля. Да ведь Бокль и Милль — англичане. Поймите это, г. Дудышкин.

Говоря об отношениях «Отечественных записок» к эстетическим интересам, г. Дудышкин самодовольно противопоставляет свободное искусство искусству, порабощенному интересом общественного и экономического быта. Я разделяю с г. Дудышкиным его отвращение к дидактизму, к поучительным повестям и к комедиям с добродетельною целью. Но позволю себе заметить, что бывают такие деловые эпохи, когда все мыслящие и чувствующие люди, а следовательно и художники, поневоле заняты насущными

нуждами общества, не терпящими отлагательства и грозно, настоятельно требующими удовлетворения. В такие эпохи вся сумма умственных сил страны бросается в омут действительной жизни. Тогда историк поневоле делается страстным адвокатом или беспощадным судьею прошедшего; поневоле поэт делается в своих произведениях поборником той идеи, за которую он стоит в своей практической деятельности. Беспристрастие, эпическое спокойствие в подобные эпохи доступны только людям холодным или мало развитым, людям, которые или не понимают, или не хотят понять, в чем дело, о чем хлопочут, отчего страдают, к чему стремятся их современники. Читая Фета или Полонского, я буду отдавать справедливость благоухающей грации их картин и мотивов, но решительно откажу и тому и другому в обширности горизонта, в глубине кипучего чувства, в смелости и зоркости взгляда. Замечательный поэт откликнется на интересы века не по долгу гражданина, а по невольному влечению, по естественной отзывчивости. Стоит стать на эту точку зрения, чтобы увидать, что все споры о назначении искусства — просто переливание из пустого в порожнее. На поверку-то и выйдет, что девиз «Отечественных записок»: «практичность и служение чистому искусству» — сводится на возглас: «Vivat aurea mediocritas!» (да здравствует золотая посредственность!), потому что только золотая посредственность способна наслаждаться идеями, не выходящими из уровня мещанской практичности, только она способна в деле искусства руководствоваться предвзятою теориею, а не живым непосредственным чувством; исповедь «Отечественных записок» подтверждает то, что я сказал в их общей характеристике. Ненависть к свистунам, отстаивание серьезной науки, т. е. неумение возвыситься от факта до идеи, бесцветность литературной критики, отсутствие ясных житейских убеждений при вывеске практичности — все объясняется одним словом: «золотая посредственность», или, что то же, бесплодное трудолюбие и бесцельная кропотливость.

XVII

Не довольно ли, читатель? Не пора ли кончить? Скажу еще несколько слов. В деле г. Юркевича «Отечественные записки», конечно, стоят на его стороне, во-первых, потому, что он против г. Чернышевского; во-вторых, потому, что он за рутину; в-третьих, потому, что его доводы чрезвычайно туманны, как вообще доводы идеалистов, старающихся поддержать свои построения путем диалектики. Спорить с г. Юркевичем уже потому было бы смешно, что за этим спором не стала бы следить публика. Если уж комунибудь придет желание поспорить с ним, то гораздо лучше сделать это путем частного письма, вместо того чтобы заваливать журнал неудобоваримыми статьями. «Отечественные записки» госте-

приимно предлагают г. Чернышевскому свой журнал для ведения полемики с Юркевичем. В этом предложении они остаются строго верны себе. Они любят те статьи, которые ошеломляют публику сухостью предмета, туманностью изложения и баснословным количеством мудреных терминов. Признавая себя круглым невеждою в деле философии, г. Дудышкин обнаруживает в этом случае общую черту людей темных — охоту послушать то, чего не понимаешь. Но что касается до г. Чернышевского, то мы надеемся, что для увеселения г. Дудышкина он не примет радушного приглашения «Отечественных записок» и не возобновит с ними тех сношений, которые, как язвительно замечает г. Дудышкин, были прерваны по поводу его знаменитой диссертации. [78]

В заключение моей статьи мне остается только довести до сведения публики неблагообразный поступок г. Дудышкина, касающийся уже лично меня. В июльской книжке «Русского слова» я поместил статью об одной книге Молешотта; [79] статья эта, как и следовало ожидать, не понравилась г. Дудышкину, как почитателю г. Юркевича. Желая побить Чернышевского его же оружием, г. Дудышкин воспользовался моею статьею, чтобы показать, до каких нелепых заключений доводит гибельное лжемудрие. «Школа, к которой принадлежит г. Чернышевский, — пишет ученый критик, — говорит нам: ни нравственных, ни общественных причин в развитии общества не существует, существуют одни материальные причины». Затем следует выписка из моей статьи, выписка изумительно нелепая по своему содержанию; вот она: «Бедная Ирландия никогда не выйдет из того несчастного положения, в котором находится, пока будет есть картофель и не заменит его чечевицею или бобами; реформация, сильно развившаяся на севере Германии, обязана своими успехами введению в употребление чаю; английская революция обязана своим страстным характером кофею; повсеместное развитие идей в начале XVIII столетия происходит от введения в общее употребление чаю и кофе». Прочитав эту выписку, я ужаснулся. Неужели я мог написать такую чепуху? Неужели я нашел в английской революции страстный характер и вывел его из кофе? Неужели я объяснил реформацию чаем? Во мне шевельнулось сомнение, я внимательно просмотрел всю мою статью и совершенно успокоился. Того места, которое выписал г. Дудышкин, в ней *положительно нет*. Говорится в ней и об Ирландии, и об северной Германии, об чае и кофе, но только в разных местах и совсем не так, как выписывает г. Дудышкин. Вот, например, об Ирландии («Русское слово», 1861, июль, «Иностр⟨анная⟩ лит⟨ература⟩», стр. 31):

«Может ли, — восклицает Молешотт, — ленивая картофельная кровь придавать мускулам силу для работы и сообщить мозгу животворный толчок надежды? Бедная Ирландия! Твоя бедность родит бедность! Ты не можешь остаться победительницею в борьбе

с гордым соседом, которому обильные стада сообщают могущество и бодрость».

А вот что сказано о реформации и о чае (стр. 50): «Генрих Кениг говорит, что кофе принадлежит католикам, а чай — протестантам. Действительно, тщательные наблюдения показали, что кофе развивает силу воображения, а чай изощряет критическую способность ума; в северной Германии преобладает чай, в южной — кофе. Движение идей, начавшееся в XVIII столетии, совпадает с введением в Европе чая и кофе во всеобщее употребление». Эти слова составляют почти буквальный перевод из Молешотта. О страстном характере английской революции, о распространении реформации посредством чая — ни слова. Нелепости, сочиненные г. Дудышкиным, по всем правам принадлежат ему самому. Не знаю, как оправдает или объяснит свой поступок г. Дудышкин; я считаю этот поступок бесчестным и печатно называю его *литературным подлогом*.

1861 г. 3 сентября.

СТОЯЧАЯ ВОДА

(Сочинения А. Ф. Писемского. Том I. 1861)

I

Говоря о сочинениях Писемского, я не буду решать вопроса о степени таланта автора и о художественном достоинстве его произведений; эти вопросы давно рассмотрены и решены. Стоит раскрыть любую повесть или драму, любой роман Писемского, чтобы силою непосредственного чувства убедиться в том, что выведенные в них личности — живые люди, выражающие собою в полной силе особенности той почвы, на которой они родились и выросли. Толковать на нескольких страницах читателю то, что совершенно очевидно, значит понапрасну тратить время и труд; на этом основании я постараюсь в моей статье заняться делом более интересным и, как мне кажется, более полезным. Вместо того чтобы говорить о Писемском, я буду говорить о тех сторонах жизни, которые представляют нам некоторые из его произведений. — Чтобы не растеряться во множестве разнообразных явлений, я ограничусь одною повестью Писемского. Эта повесть — «Тюфяк» — очень проста по завязке и при этой простоте так глубоко и сильно захватывает материалы из живой действительности, что все серые и грязные стороны нашей жизни и нашего общества представляются разом воображению читателя. Эти стороны жизни стоит рассматривать и изучать. Над ними задумываются и будут постоянно задумываться люди с пытливым умом и с теплым сердцем; их не выкинешь из жизни и не заставишь самого себя забыть о их существовании. Гнет, несправедливость, незаконные посягательства одних, бесполезные страдания других, апатическое равнодушие третьих, гонения, воздвигаемые обществом против самобытности отдельных личностей, — все это факты, которых вы не опровергнете фразой и к которым вы не останетесь равнодушны, несмотря ни на какое олимпийское спокойствие. Эти факты заставляли страдать наших отцов и дедов; эти же факты тяготеют над нами и, вероятно, будут еще отравлять жизнь нашего потомства; все мы терпим одну участь, но между тем наши отношения

к тому, что заставляет нас страдать, существенно изменяются; каждое новое поколение относится к своим бедствиям и страданиям проще, смелее и практичнее, чем относилось предыдущее поколение. Вероятно, ни один образованный человек не будет теперь жаловаться на свою судьбу и не увидит наказания свыше в постигшей его неудаче; вероятно, ни одна порядочная девушка не считает своею обязанностью в выборе мужа руководствоваться вкусом дражайших родителей; наша личная свобода, конечно, стесняется общественным мнением или, вернее, светским qu'en dira-t-on, * но по крайней мере мы уже потеряли веру в непреложность этих светских законов и руководствуемся ими большею частью по силе привычки, потому что недостает сил и энергии восстать в жизни против того, что наша мысль признала стеснительным и нелепым. Все мы — большие прогрессисты в области мысли; на словах мы доводим до геркулесовых столбов уважение наше к личности человека; в жизни нам представляется, конечно, другая картина; наши Уильберфорсы и Говарды часто являются поборниками произвольных законов этикета, книжниками и фарисеями, или даже просто мандаринами и столоначальниками. Но этим иногда забавным, а часто и очень печальным противоречием между прогрессивным суждением и рутинным поступком смущаться не следует; и то хорошо, что думать начинают по-человечески; вы не забудьте, что эти человеческие мысли подхватывает на лету молодежь; эта молодежь не умеет двоить свое существо, не умеет хитрить сама с собою и принимает за чистую монету те слова, которые вы произносите в минуту увлечения и от которых вы, может быть, завтра отречетесь вашими поступками. За поколением людей много говорящих выдвигается незаметно поколение людей, делающих дело. Pia desideria ** мало-помалу перестают быть неуловимыми мечтами. Всякому поступку предшествует размышление; отдельный человек размышляет в продолжение нескольких минут или часов; общество находится в раздумье целыми десятилетиями, и это время наружного бездействия было бы несправедливо считать потерянным. Умственная зрелость наших отцов идет нам на пользу, и хотя мы перерешаем по-своему большую часть решенных ими вопросов, но перерешаем-то мы их именно потому, что их решения оказались неудовлетворительными, избавляя нас, таким образом, от дорого стоящих заблуждений.

II

Много ли мы подвинулись вперед с того времени, как написан «Тюфяк»? С тех пор прошло одиннадцать лет, [1] и много воды утекло. Открылись поезды по Московской железной дороге, откры-

* Что скажут *(франц.)*. — *Ред.*
** Благие пожелания *(лат.)*. — *Ред.*

лось пароходство по Волге, возникло множество акционерных компаний, появилось в свет и упало множество журналов и газет, взят Севастополь, заключен Парижский мир, поднят крестьянский вопрос, родились воскресные школы, появились в университете женщины, [2] а между тем, читая повесть Писемского, поневоле скажешь: знакомые все лица, да и до такой степени знакомые, что всех их можно встретить в любой губернской зале дворянского собрания, где так бесцветно, безжизненно и вяло. В этих углах уходит много свежих сил на бессмысленные попытки подладиться под тон окружающей среды; многие люди, слабые от природы, делаются совершенною дрянью оттого, что не умеют быть самими собою и ни в чем не могут отделиться от общего хора, поющего с чужого голоса. Этот хор следует моде в образе мыслей, в политических убеждениях, в семейной жизни, начиная от устройства столовой и кончая воспитанием детей. Таким образом плывут по течению два разряда людей. Одни пронюхивают, откуда дует ветер, и, соображаясь с своими личными выгодами, расставляют свои паруса и меняют убеждения. Другие совершенно бескорыстно, как зеркало, отражают в себе то, что проходит мимо них, только потому, что в них нет решительно ничего своего. Их дело сочувствовать, восторгаться или негодовать, аплодировать или шикать, либеральничать или подличать, смотря по тому, что делается кругом. Кто-нибудь крикнет в толпе, десять голосов подхватят, еще не зная хорошенько, к чему клонится дело; возглас, поддержанный десятью бескорыстными клакерами, превращается уже в крик и получает уже авторитет и обязательную силу. Chaque sot trouve un plus sot qui l'admire; * комок снега, сорвавшийся с верхушки горы, катится вниз и растет от прилипающих к нему снежинок; он превращается в безобразную лавину и давит своим нелепым падением все, что попадается на пути: дома, деревья, скот, люди, все поглощается и гибнет. Спросите у лавины: к чему она это сделала? Вы не получите от нее ответа, и точно так же не узнаете от толпы побудительной причины ее слов и поступков, от которых, может быть, страдает ваше доброе имя и душевное спокойствие. Да, можно сказать решительно, что лучше ошибаться по собственному убеждению, нежели повторять истину только потому, что ее твердит большинство. Кто ошибается, тот может сознать свою ошибку, того можно убедить, в том можно встретить сопротивление или действительное сочувствие. Но что же вы сделаете с человеком, у которого нет личности, на которого нельзя ни понадеяться, ни рассердиться, потому что причина его действий, слов и движений лежит в окружающем мире, а не в нем самом? Что вы сделаете с этими вечными детьми, для которых последнее произнесенное слово служит законом и для которых

---

* Каждый глупец находит еще более глупого, который им восхищается *(франц.)*. — *Ред.*

против бессознательного крика большинства нет апелляции? — Безличность, безгласность, умственная лень и вследствие этого умственное бессилие — вот болезни, которыми страдает наше общество, наша критика; вот что часто мешает развитию молодого ума, вот что заставляет людей сильных, ставших выше этого мещанского уровня, страдать и задыхаться в тяжелой атмосфере рутинных понятий, готовых фраз и бессознательных поступков.

III

Семейная драма, составляющая сущность повести Писемского «Тюфяк», разыгрывается именно в той душной атмосфере, в которой старые и молодые, мужчины и женщины с утра до вечера играют в гости, сплетничают друг на друга и занимаются картами, как существенно важным делом. Три молодые личности, не обиженные природою, измучиваются, вянут и погибают в этой атмосфере. В этих личностях нет ничего особенного ни в дурную, ни в хорошую сторону; они — не гении и не уроды; одаренные достаточною долею ума и практического смысла, они могли бы прожить себе в свое удовольствие, вырастить с полдюжины детей и умереть спокойно, оставив по себе приятное воспоминание в сердцах признательного потомства, т. е. своих детей и внучат. Выходит совсем не то, чего следовало ожидать. Один из трех — Павел Бешметев — спивается с кругу и умирает в молодых летах. Другая — жена Бешметева — проводит молодость в грубых семейных сценах и остается вдовою тогда, когда уже не знает, что делать с своею свободою; третья — сестра Бешметева — посвящает жизнь свою служению обязанности, живет для своих детей, терпит дурака-мужа, полу-Ноздрева, полу-Манилова, и медленно хилеет, потому что с одною обязанностью не проживешь жизни.

И это жизнь!.. Стоит ли заботиться о своем пропитании, поддерживать свое здоровье, беречься простуды только для того, чтобы видеть, как день сменяется ночью, как чередуются времена года, как подрастают одни люди и стареются другие? Если жизнь не дает ни живого наслаждения, ни занимательного труда, то зачем же жить? зачем пользоваться самосознанием, когда сам не находишь для него цели и приложения? Странно! Этот вопрос представляется сам собою, как только взглянешь на себя, как только отдашь себе отчет в своем прошедшем, в настоящем и в предполагаемом будущем; между тем из десяти знакомых вам личностей вряд ли одна будет в состоянии отвечать на этот вопрос удовлетворительно, вряд ли одна сумеет представить причины и оправдания своего бытия; сказать проще, редкий человек окажется довольным своею судьбою, и между тем из этих недовольных редкий старается выйти из своего положения и устроить свою жизнь так, как бы ему самому хотелось. Мы опутаны разными свя-

зями и отношениями, мы стеснены разными соображениями, не имеющими ничего общего с нашею свободною волею, но стеснены не фактически, а нравственно; над нами в большей части случаев тяготеет не материальная сила, а scrupule de conscience, * и мы так робки и слабы, что не можем сбросить с себя даже этого ничтожного ограничения. Безличность, безгласность, инерция — куда ни поглядишь — так и лезут в глаза; эти свойства в большей части случаев составляют основу ненормального положения, начиная от чисто комического и кончая страшно трагическим. Возьмите, с одной стороны, «Женитьбу» Гоголя, где безличность воплощена в надворном советнике Подколесине, с другой стороны, «Тюфяк» Писемского, где вы видите вынужденную безгласность со стороны Юлии Кураевой, которую отец насильно выдает замуж за Бешметева. В первом случае вы от души смеетесь, и если дадите себе труд вглядеться в личность Подколесина, то просто назовете его колпаком, как не раз величает его услужливый приятель Кочкарев. Во втором случае вам будет не до смеху; искреннее негодование и глубокое сочувствие к оскорбляемой личности заговорит в вашей душе тогда, когда вы прочтете, например, такого рода сцену:

Юлия, проплакав целый день после помолвки, к вечеру слегла в постель с сильною головною болью. Отец ее, проездив целый день с Бешметевым за разными покупками, приводит его в спальню своей дочери, показывая вид, что доставляет ей этим величайшее удовольствие. Но этим еще не кончается дело.

— А что, голова болит? — спрашивает он у дочери.
— Болит, папа.
— Хочешь, я тебе лекарство скажу?
— Скажите.
— Поцелуй жениха. Сейчас пройдет; не так ли, Павел Васильевич?
— Что это, папа? — сказала Юлия.
Павел покраснел.
— Непременно пройдет. Нуте-ка, Павел Васильевич, лечите невесту смелей.
Он взял Павла за руку и поднял со стула.
— Поцелуй, Юлия: с женихом-то и надобно целоваться.
Павел дрожал всем телом, да, кажется, и Юлии не слишком было легко исполнить приказание папеньки. Она нехотя приподняла голову, поцеловала жениха, а потом сейчас же опустилась на подушку и, кажется, потихоньку отерла губы платком, но Павел ничего этого не видал.

Хороши все актеры этой грязной сцены! Хорош отец, торгующий поцелуями своей дочери и распоряжающийся ее телом, как своею собственностию; хорош тюфяк-жених, целующий свою невесту по мановению папеньки; да, коли говорить правду, хороша и та девушка, которая не смеет выйти из-под родительской власти, несмотря на то, что эта власть наталкивает ее на такие гадости, от которых возмущается ее физическая и нравственная природа.

---

* Беспокойство совести *(франц.)*. — *Ред.*

Невольное презрение к рабской безгласности продаваемой девушки сменится в вашей душе состраданием и сочувствием к оскорбляемой личности только потому, что вы видите весь механизм домашнего гнета, тяготеющего над несчастною жертвою, вы слышите строгое приказание в словах Владимира Андреича: «Поцелуй, Юлия», вы понимаете, что после ухода жениха может начаться такая семейная сцена, которой грязные подробности не будут даже прикрыты флером внешнего приличия; Владимир Андреич зачнет делать внушения, потом браниться и кричать, потом никто не поручится нам за то, что он не прибьет или не высечет непочтительную дочь. Все это будет происходить в тесном семейном кругу, без посторонних свидетелей; все это будет тщательно скрыто от ближайших соседей, насколько можно скрыть семейную тайну в губернском городе, где все слуги знакомы между собою и где все господа имеют обыкновение выспрашивать у своих лакеев подробности скандальной хроники; все это, повторю, совершится без официальной огласки, но побои останутся побоями и не сделаются приятнее и сноснее оттого, что их не станут считать посторонние зрители. Юлия систематически развращена холопским воспитанием; она забита приемами военной дисциплины, примененными к патриархальному быту русского семейства; она боится папеньки даже после своего замужества; она в отношении к нему на всю жизнь остается девчонкою, и потому от нее нельзя многого требовать. Чтобы бороться с семейным деспотизмом, неразборчивым в средствах, надо обладать значительною силою характера. Сила характера развивается на свободе и глохнет под внешним гнетом. Юлия не виновата в том, что она сделалась дрянью под ферулою своего нежного родителя, но в ту минуту, когда мы ее видим, она является уже вполне дрянью, женщиною, от которой невозможно ожидать ни благородного порыва чувства, ни живого проблеска мысли. Это — губернская барышня в полном смысле этого слова. Ум ее не занят никакими серьезными интересами и скользит по поверхности окружающих явлений, не вглядываясь в них и не отдавая себе отчета в собственных своих впечатлениях. Она наряжается, выезжает, выслушивает любезности, поддерживает салонные разговоры, шепчется с своими подругами, читает попадающиеся под руку романы, ездит с визитами и возвращается домой, ложится спать и встает, словом, живет со дня на день, ни разу не спросив себя о том, есть ли в ее жизни какой-нибудь смысл, хорошо ли ей живется на свете и нельзя ли жить как-нибудь полнее и разумнее. Она умеет мечтать о будущем, о том, что «выйдет за какого-нибудь гвардейского офицера, который увезет ее в Петербург, и она будет гулять с ним по Невскому проспекту, блистать в высшем свете, будет представлена ко двору, сделается статс-дамой».

Чего, чего нет в этих мечтах! Гвардейские эполеты мужа, Невский проспект, высший свет и, наконец, двор, как конечная

цель всех стремлений! Характер этих мечтаний находится в строгой гармонии с характером того образа жизни, который ведет Юлия в родительском доме. Все наслаждения, о которых она мечтает, оказываются наслаждениями чисто внешними и, кроме того, совершенно условными и искусственными. Мечтая об этих наслаждениях, девушка мечтает не от своего лица, а от лица того кружка, в котором она выросла. Почему приятнее выйти замуж за гвардейского офицера, чем за губернского чиновника? Почему приятнее блистать в высшем свете, чем в среднем кругу? Неужели эстетическое чувство удовлетворяется созерцанием красных отворотов гвардейского мундира или бриллиантовых фермуаров, надетых на дамах высшего света? Неужели звание гвардейского офицера или великосветской дамы достается только людям, отличающимся замечательным умом, нежностью чувства и высоким образованием? Неужели всякий гвардейский офицер способен быть хорошим мужем, а всякая великосветская дама — приятною собеседницею? Как ни была Юлия мало развита, а мне кажется, и у ней хватило бы здравого смысла на то, чтобы найти подобные вопросы совершенно бессмысленными. Стало быть, что же ее привлекало? Что вызывало в голове ее эти заветные мечты? Ясно, что она мечтает именно так только потому, что точно так же мечтают ее подруги. Все говорят, что блистать в высшем свете весело; как же не поверить всем? Как не положиться на общий говор, когда нет ни собственного суждения, ни ясных собственных желаний? Мечтая с чужого голоса, Юлия точно так же с чужого голоса ведет свою действительную жизнь, вышедши замуж за Бешметева. Она выезжает и наряжается и кроме этого ничего не делает. Да что же ей делать? Когда она жила в родительском доме, ей иногда приходилось отказаться от какого-нибудь предполагаемого выезда собственно потому, что этот выезд мог нарушить финансовые или дипломатические соображения главы семейства. Очень понятно, что в подобных случаях Юлия мечтала о замужестве, как о вожделенной минуте освобождения. Было бы странно, если бы она не воспользовалась этою минутою. Действительность разбила бо̀льшую часть ее воздушных замков. Петербург, гвардейские эполеты и высший свет оказались миражем. Надо же было хоть чем-нибудь вознаградить себя; надо было пожить в свое удовольствие хоть в тех узеньких и бедненьких пределах, которые очертила вокруг нее судьба. А как жить в свое удовольствие? Ведь это, воля ваша, вопрос очень важный. Немногие в состоянии решить его совершенно ясно и удовлетворительно для самих себя, а кто на это способен, тот почти наверное устроит себе жизнь по-своему и не будет ни в каком случае несчастным. Юлия не могла решить этого вопроса удовлетворительно; ей недоставало для этого двух вещей: знания жизни вообще и знания своей собственной личности; она не знала, чего можно требовать от жизни, и не знала, чего требует именно она. В подобном затруднительном

положении надо было поневоле пойти торною дорогою, по которой раньше ее шли сотни губернских барышень, сделавшихся дамами по воле заботливых родителей. Двинувшись вперед по этому пути, Юлия не могла остановиться; пустая жизнь отнимает силы даже подумать о серьезном деле; если бы Юлия даже подозревала существование и возможность какой-нибудь другой жизни, она не пожелала бы ее выбрать; если бы даже она пожелала этого, у ней не хватило бы энергии на то, чтобы осуществить это желание; ни в себе самой, ни вокруг себя она не нашла бы поддержки, и только бессильное отрицание и инстинктивное недовольство своим настоящим положением были бы результатом этих желаний. Впрочем, бессознательное недовольство, скука и пресыщение неминуемо выпали бы на долю Юлии, если бы ей никто не мешал идти по той дороге, на которую навело ее влияние общества. Юлия, наверно бы, соскучилась от выездов и нарядов, если бы никто не мешал ей выезжать и рядиться. Но жизнь ее изменилась под влиянием двух обстоятельств: разлад с мужем и зародившаяся в ее душе любовь к постороннему мужчине поневоле отвлекли ее внимание от выездов и нарядов; пришлось отстаивать свою свободу от пассивной оппозиции тюфяка-Бешметева; пришлось ежеминутно жить с образом любимого человека, и внешние удовольствия губернской светской жизни потеряли половину своей практической важности и бо̀льшую часть своей прелести; дрязги жизни воплотились в личности докучливого мужа, поэзия жизни, которой почти не подозревала Юлия, сказалась сама собою в восторженном поклонении красивому, идеализованному образу Бахтиарова. Юлия в первый раз перестала быть куклою и почувствовала себя женщиною, существом любящим и требующим сочувствия. Дурно ли, хорошо ли она пристроила свое чувство — это уже совсем другой вопрос. Главное дело в том, что она любила; одним этим фактом она становилась неизмеримо выше той Юлии, которая мечтала о гвардейском офицере и о Невском проспекте. Любя красивую фигуру, она выражала свою личность, жила своею жизнью, своими глазами принимала и своим умом обсуживала впечатления. Она ошибалась, но ошибалась, как свойственно человеку ошибаться; она по крайней мере переставала быть обезьяною или глупым ребенком, требующим себе зажженной папироски единственно потому, что вокруг него курят взрослые. В любви Юлии к Бахтиарову есть недостаток разборчивости, есть неумение вглядываться в людей и отличать сусальное золото от настоящего, но этому чувству нельзя отказать в некоторой высоте нравственных требований. Юлия не умеет распознать настоящего Бахтиарова, но тот Бахтиаров, которого она любит, т. е. то воображаемое лицо, которое она ставит на место действительно существующего, вовсе не дурной и даже не дюжинный человек. Как только Бахтиаров оказывается подлецом, так он погибает в глазах Юлии; женщина поумнее и поопытнее Юлии разобрала бы своего героя

раньше — об этом спору нет; но дело в том, что умственная неразвитость Юлии, а не нравственная испорченность ее, была причиною ее увлечения. Она любила хорошую и красивую личность и только не видела того, что эта личность не имеет ничего общего с настоящим Бахтиаровым. Кто еще не жил, тот и не умеет жить; кто никогда не мыслил и не наблюдал, тот не может распознавать характеры окружающих людей. Юлия не виновата в своей ошибке. Как жертва своего воспитания и своего общества, она может возбудить к себе сострадание; горести и радости ее внутреннего мира так мелки и ничтожны, что им мудрено сочувствовать; рассматривая их, придется только пожалеть о человеческой личности, тратящей нравственные силы на пустые и бессвязные тревоги. Словом, Юлия — личность очень обыкновенная по врожденным способностям, испорченная безобразною домашнею дисциплиною и постепенно мельчающая под влиянием нелепых условий семейной и общественной жизни. Личность ее очень неизящна именно потому, что в большей части случаев она сливается с окружающим обществом, боится от него отшатнуться, по рукам и по ногам связана его предрассудками и разделяет почти все его вкусы и наклонности. Она почти нигде не составляет исключения ни в худшую, ни в лучшую сторону. Любя Бахтиарова, она порой увлекается и делает неосторожный поступок; эти минуты увлечения выражают собою лучшие, живые стороны ее характера; но, к сожалению, она увлекается дрянным человеком, и недостойная личность ее героя бросает грязную тень на чистоту ее порывов. К тому же эти порывы слишком слабы; она делает неосторожный шаг и оглядывается по сторонам, прячется, боится и папеньки и мужа. На ее месте женщина, способная сильно любить, увлеклась бы за пределы всякого приличия и наделала бы множество ярких глупостей. На ее месте женщина с твердым и честным характером не стала бы прятаться и гордо пошла бы навстречу домашним сценам и общественному стыду. Но Юлия не из тех; ей хочется служить и богу и мамону, и вследствие этого из нее выходит ни то ни се, ни богу свеча ни черту кочерга, как выражается наше простонародье.

IV

А что за человек муж Юлии? — Учился он в университете и мечтает о магистерском экзамене. В нем есть сходство с Обломовым, и самое существенное различие между этими двумя личностями заключается в различии манеры Гончарова и Писемского. Гончаров щадит и любит своего героя, а Писемский безжалостно продергивает свое создание где только можно, и продергивает его без злобной раздражительности, спокойно, холодно и почти весело. При всей своей объективности Гончаров может быть на-

зван лириком в сравнении с Писемским. Гончаров сочувствует отдельным личностям своих произведений и отдельным поступкам своих героев; иное он осуждает, иное объясняет и оправдывает; критик часто уравновешивает в нем художника. Ничего подобного не встретите вы у Писемского; его воззрений и отношений к идеалу вы нигде не встретите, они даже и не просвечивают нигде. Он никому не сочувствует, никем и ничем не увлекается, ни от чего не приходит в негодование, никого не осуждает и не оправдывает. Грязь жизни остается грязью; сырой факт так и бьет в глаза; берите его как он есть, осмысливайте, осуждайте, оправдывайте — это ваше дело; голос автора не поддержит вас в вашем критическом процессе и не заспорит с вами. — Бешметев и Обломов похожи друг на друга тем, что оба зависят от окружающей обстановки, несмотря на то, что стоят выше ее по умственному развитию. Отсутствие активной инициативы, отсутствие твердой оппозиции, шаткость и слабость — вот основные черты их характера. Бешметев так же слаб, как Обломов, и притом нисколько не ленив; он был бы способен двигаться вперед, если бы кто-нибудь вел его за собою или толкал его сзади; общество, в которое он попадает, употребляет все усилия, чтобы задержать и отодвинуть его назад; он страдает от этого, но подается и опускается с ужасающею быстротою. Неопытный в житейских делах, он позволяет женить себя через сваху и не понимает того, что невеста его терпеть не может, а что родители смотрят на него как на владельца пятидесяти незаложенных душ. Не умея ни отразить нападок крикливой родни своей, ни отмалчиваться от них, он, по их настоянию, отказывается от предположенной ученой карьеры, отлагает попечение о магистерском экзамене и превращается в столоначальника губернского присутственного места. Мечты о взаимной любви сменились нелепою женитьбою; мечты о разумной деятельности уснули под вицмундиром чиновника, не отказывающегося от безгрешных доходов. Писемский не говорит ничего о доходах, но надо думать, что было не без того, потому что у Бешметева уже не было денег тогда, когда он поступил на службу; надо было чем-нибудь жить, и место столоначальника досталось Бешметеву по рекомендации Владимира Андреевича Кураева, которого практические воззрения мы уже видели, говоря о воспитании и замужестве Юлии. Далее падение Бешметева идет еще скорее; когда человек сбился с настоящей дороги, тогда всякое случайное обстоятельство путает и портит его. Нет настоящей деятельности, нет желанного наслаждения — так что же делать? Надо проживать жизнь, убивать время, забивать в самом себе лучшие потребности своей природы, лучшие результаты своего развития; чтобы не страдать, надо опошливаться, тупеть и черстветь. Все это случилось бы с Бешметевым; он отрастил бы брюшко, стал бы мечтать о счастье получить крестик и об удовольствии составить вечерком преферансик, начал бы нюхать табак,

получил бы лысину и репутацию исполнительного чиновника и, наконец, умер бы, оставив своим детям состояние, исправленное и дополненное. Все это произошло бы тогда, когда бы жизнь потекла спокойно, когда бы мечты не разбивались насильственно, а просто медленно рассеялись бы, как утренний туман. Если бы Юлия Владимировна Бешметева постепенно высказалась в настоящем своем свете, тогда ее ослепленный муж помирился бы с своим разочарованием так же тихо, как он помирился с бюрократическою деятельностью. Но толчок, полученный Бешметевым со стороны его семейной жизни, был так резок и силен, что ему только и оставалось или вдруг выпрыгнуть на прежнюю дорогу и утешить себя разумною деятельностью, или головою вперед броситься в омут грязи и гадости, запить и с горя ухнуть остаток физических и нравственных сил. Вообразите себе, что человек любит свою жену и надеется, что она его оценит и полюбит в свою очередь. Он работает над ее нравственным возвышением и не отчаивается от видимой неудачи своих первых попыток; вдруг он замечает, что она не только любит другого, но даже вешается этому другому на шею и заодно с этим другим дурачит его, любящего мужа и усердного наставника. Чистая, непорочная, неопытная девочка вдруг превращается в его глазах в очень опытную, очень хитрую и совершенно испорченную женщину, которая проведет и выведет полдюжины наставников и надзирателей, подобных ему, Бешметеву. Сделав подобное открытие, человек твердый и решительный, вероятно, плюнул бы на все это, разорвал бы всякую связь с своим прошедшим, понял бы то, что умный мужчина может быть счастлив собственными силами, и поступил бы сообразно с этими размышлениями. Будь он в положении Бешметева, такой человек вышел бы в отставку, поехал бы в Москву, занялся бы серьезно магистерским экзаменом и в освежающем труде мысли нашел бы себе полное утешение, достойное развитого человека. Впрочем, надо сказать правду, несчастье, поразившее Бешметева, до такой степени важно, что и покрепче его люди могут над ним позадуматься. Лаврецкий — не чета Бешметеву, а и Лаврецкий, узнавши об измене Варвары Павловны, считает себя очень несчастным человеком. Большая часть людей умеют еще кое-как перенести холодность любимой женщины, но не переносят того, что они называют ее неверностью. Акт неверности сваливает любимое существо с высокого и роскошного пьедестала в грязную лужу; как ни широки эмансипационные стремления нашей эпохи, а до сих пор большая часть развитых мужчин нечувствительно для самих себя смотрит на женщину как на движимую собственность или как на часть своего тела. Когда женщина, уступая силе чувства, начинает располагать собою как свободною и полноправною личностью, тогда вдруг забываются все широкие теории; тот мужчина, который по своему общественному положению стоит к этой женщине в отношениях друга и защитника, вдруг выступает на сцену судь-

ею и палачом; он призывает на нее громы общественного мнения, он отступается от нее с добродетельным отвращением, и общество, конечно, с величайшею готовностью начинает кидать грязью в оставленную и обиженную личность. При более грубых нравах мужчина преследует женщину более чувствительным оружием, начиная от грязных намеков и кончая побоями. Бешметев, при своем полном незнании жизни и при полном отсутствии настоящего, гуманного развития, никогда не думал о правах женщины и об отношениях ее к мужчине; он только мечтал, лежа на диване, о наслаждениях взаимной любви; мечтам этим не пришлось осуществиться — и Бешметев просто озлился на жизнь и на женщину, не спрашивая у себя, прав ли он в своем озлоблении и имеют ли какое-нибудь разумное оправдание его мечты о любовном счастии? Если посмотреть глазами самого Бешметева на неприятности его семейного быта, тогда можно оправдать все глупости, к которым его приводят житейские испытания; но если посмотреть на дело со стороны, то увидим, что все несчастья эти составляют естественное и неизбежное следствие поведения самого героя. Молодой человек женится на девушке почти насильно и почти зажмурив глаза; он видит, что она хороша собою, и правильные линии ее лица мешают ему видеть всю уродливость их взаимных отношений; любит ли его будущая жена, уважает ли его, сходятся ли они между собою в понятиях и склонностях, об этом он забывает справиться; он женится и после свадьбы начинает требовать семейного счастия. Нелепые требования! Человек сам положил руку на раскаленное железо и удивляется тому, что ему больно, и сердится на несчастную плиту, которая жжет его без всякого злого умысла, вследствие вечных законов природы. А между тем, будь вы на месте этого человека, и вы положили бы руку на раскаленную плиту; ведь хватаются же дети за горячие жаровни, потому что им нравится их странный блеск и яркий цвет. Дело вот в чем: характер отдельного человека развивается под влиянием окружающей среды и обстоятельств жизни; в человеке может воспитаться преступник или эксцентрик гораздо прежде того времени, когда он будет в состоянии делать действительные глупости и фактические преступления. Скажите же, кто в подобном случае более виноват: тот ли материал, из которого выкраивается та или другая фигура, или та рука, которая ее выкраивает? Рука эта большею частью действует бессознательно; ее называют случаем, судьбою, силою обстоятельств, влиянием обстановки; последние два термина представляют некоторый смысл, между тем как первые два отличаются крайнею мистическою неопределенностью. Сваливая вину на силу обстоятельств, на влияние обстановки, мы снимаем ответственность с известного лица, но тем прямее и строже относимся к той идее, которая лежит в основе известного общества, к тем условиям быта, к тем житейским отношениям, от которых неделимому [3] трудно отрешиться и которые

с самой колыбели тяготеют в известном направлении над его мыслью и деятельностью. Вглядитесь в личности, действующие в повести Писемского, — вы увидите, что, осуждая их, вы собственно осуждаете их общество; все они виноваты только в том, что не настолько сильны, чтобы проложить свою оригинальную дорогу; они идут туда, куда идут все; им это тяжело, а между тем они не могут и не умеют протестовать против того, что заставляет их страдать. Вам их жалко, потому что они страдают, но страдания эти составляют естественные следствия их собственных глупостей; к этим глупостям их влечет то направление, которое сообщает им общество. Сочувствовать тому, что нам кажется глупостью, мы не можем. Нам остается только жалеть о жертвах уродливого порядка вещей и проклинать существующие уродливости. Тем и замечательна повесть Писемского, что она рисует нам не исключительные личности, стоящие выше уровня массы, а дюжинных людей, копошащихся в грязи, замаранных с ног до головы, задыхающихся в смрадной атмосфере и не умеющих найти выхода на свет. Чтобы действительно оценить всю грязь нашей вседневной жизни, надо посмотреть на то, как она действует на слабых людей; только тогда мы в полной мере поймем ее отравляющее влияние; сильный человек легко выкарабкается из нее; но людей слабых или неокрепших она душит и мертвит. Читая «Дворянское гнездо» Тургенева, мы забываем почву, выражающуюся в личностях Паншина, Марьи Дмитриевны и т. д., и следим за самостоятельным развитием честных личностей Лизы и Лаврецкого; читая повести Писемского, вы никогда, ни на минуту не позабудете, где происходит действие; почва постоянно будет напоминать о себе крепким запахом, русским духом, от которого не знают куда деваться действующие лица, от которого порой и читателю становится тяжело на душе.

V

Трудно себе представить более яркую и сжатую картину грязной жизни губернского города, чем та, которую нарисовал Писемский в повести «Тюфяк». И это не карикатура, даже не сатира. Каждая отдельная фигура так твердо убеждена в полной правоте своих притязаний, в полной законности своих действий, что она живет мимо воли автора и что вам кажется, будто иначе она и не может жить. Это правда; иначе не может она жить; машина заведена в известном направлении и пойдет себе своим порядком, пока не размотается пружина, или не изотрутся колеса, или же пока не замеченное, но постепенно увеличивающееся внутреннее расстройство не остановит разом всего развихлявшегося механизма. Семейный деспотизм развращает младших членов семейств и готовит из них будущих деспотов, которых рука будет тяготеть над будущими подчиненными личностями так же тяжело, как

тяготели над ними самими руки отцов и матерей. Та молодая девушка, которая сегодня возбуждала ваше участие, как несчастная жертва, задыхавшаяся от сдержанных рыданий при помолвке с немилым человеком, через несколько недель явится перед вами молодою барынею, держащею в ежовых рукавицах свою прислугу, терзающею мужа капризами и истериками и тратящею с возмутительным цинизмом его трудовые копейки на украшение своей особы. Несчастный муж, которого вы пожалеете теперь как мученика, явится скоро домашним тираном и будет с систематическою жестокостью отравлять существование той самой женщины, на которую он в былое время чуть-чуть не молился. Любящая мать, старающаяся устроить счастье своих детей, часто связывает их по рукам и ногам узкостью своих взглядов, близорукостью своих расчетов и непрошенною нежностью своих забот. Чувство ее сильно и искренно, но убеждения односторонни и ложны, и потому сумма ее влияния вредна и губительна. Голосом этой любящей матери говорит почва, на которой она росла и прозябала, и молодой человек, слышавший вдали от родительского дома что-то новое, рванувшийся душою к этому новому, еще неизвестному, но уже привлекательному образу жизни и деятельности, рискует остановиться в нерешительности, растрогаться и расплакаться, раскаяться в завиральных идеях, увидать свой долг в сыновнем повиновении и нечувствительно заглохнуть в том омуте, из которого он было старался выкарабкаться. Когда два направления мысли вступили между собою в борьбу на жизнь и на смерть, когда нейтралитет оказывается невозможен, тогда людям с мягкими чувствами и с нерешительным умом приходится очень тяжело. Кто не способен сжечь за собою корабли и идти смело вперед, шагая через развалины своих прежних симпатий, верований, воздушных замков и идеалов и слыша за собою ругательства, упреки, слезы и возгласы негодующего изумления со стороны близких людей, тот хорошо сделает, если заглушит в голове работу критического ума и даже простого здравого смысла, если заблаговременно начнет отплевываться от лукавого демона, сидящего в мозгу каждого здорового человека, смотрящего на вещи собственными глазами. Кому жаль расставаться с прошедшим, тому нечего и пытаться заглядывать в лучшее, светлое будущее. Идти, так идти, смело, без оглядки, без сожаления, не унося за собою никаких пенатов и реликвий и не раздваивая своего нравственного существа между воспоминаниями и стремлениями. Этого никак не могут взять в толк люди мягкие и нежные; им все хочется или согласить между собою две противоположности, или переубедить людей неисправимых, состарившихся в своих понятиях и косящихся на все незнакомое; соглашая противоположности и добиваясь от самих себя исторического беспристрастия, эти господа делаются сами совершенно нерешительными и бесцветными; переубеждая застарелых противников, они нечувствительно мирятся с ними и переходят

на их сторону, устроивают свою жизнь по заведенному порядку и увеличивают собою слой грязной почвы, подобно тому как прошлогодние растения увеличивают слой чернозема. Те условия, при которых живет масса нашего общества, так неестественны и нелепы, что человек, желающий прожить свою жизнь дельно и приятно, должен совершенно оторваться от них, не давать им над собою никакого влияния, не делать им ни малейшей уступки. Как вы попробуете на чем-нибудь помириться, так вы уже теряете вашу свободу; общество не удовлетворится уступками; оно вмешается в ваши дела, в вашу семейную жизнь, будет предписывать вам законы, будет налагать на вас стеснения, пересуживать ваши поступки, отгадывать ваши мысли и побуждения. Каждый шаг ваш будет определяться не вашею доброю волею, а разными общественными условиями и отношениями; нарушение этих условий будет постоянно возбуждать толки, которые, доходя до вас, будут досаждать вам, как жужжание сотни мошек и комаров. Если же вы однажды навсегда решитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мнение, которое слагается у нас из очень неблаговидных материалов, то вас, право, скоро оставят в покое; сначала потолкуют, подивятся или даже ужаснутся, но потом, видя, что вы на это не обращаете внимания и что эксцентричности ваши идут себе своим чередом, публика перестанет вами заниматься, сочтет вас за погибшего человека и, так или иначе, оставит вас в покое, перенеся на кого-нибудь другого свое милостивое внимание... «Тюфяк» дает нам необходимые материалы для того, чтобы определить характер нашего общественного мнения. В губернском городе суетятся и хлопочут столько же, сколько и в столице, с тою только разницею, что в столице большее количество людей собрано в одном месте, и потому, когда все разом суетятся, то происходит гораздо больше шума, движения и толкотни. Побудительные причины, заставляющие столичных жителей суетиться, гораздо разнообразнее именно потому, что жителей очень много и что они стоят на самых различных ступенях общественной лестницы и умственного развития. В провинции аристократическое сословие состоит из чиновников и помещиков; литераторы, художники, ученые составляют большую редкость; им нечего там делать, и они бывают в провинции не иначе как на правах гостей; да и где эти господа не гости в нашем отечестве? где их влияние на жизнь и понятия общества? где та сфера жизни, в которой они распоряжаются как хозяева и заявляют свои права? Если и чувствуется в последнее десятилетие какое-то взаимнодействие между мыслями передовых людей и жизнью общества, то как еще оно слабо и как немногие признают действительность его существования! Итак — чиновники и помещики, с женами и детьми, составляют собою губернскую аристократию. Помещики, живущие в губернском городе, поручают свои имения приказчикам и бурмистрам, из их рук принимают свои доходы, проживают их,

навещают иногда свои поместья и, произведя ревизию, получив должные суммы, снова возвращаются в город, чтобы наслаждаться жизнью. Эти господа пользуются обыкновенно обеспеченным состоянием, так что с материальной стороны они не встречают себе препятствий и стеснений. Что же они делают? Они ездят в гости и принимают гостей, приглашаются на званые обеды и дают такие же обеды у себя, танцуют и играют в карты на вечерах и балах и устраивают у себя такие же балы и вечера. Это называется пользоваться общественными увеселениями. Интервалы между увеселениями вроде званых обедов и вечеров наполняются визитами и разговорами, для которых самою интересною темою служат городские события. Вставая утром с постели, губернский аристократ, если ему не предстоит какого-нибудь приглашения, обыкновенно не знает, что предпринять, куда девать день, и отправляется к кому-нибудь от нечего делать, говорит что-нибудь от нечего делать, берет в руки книжку журнала, садится играть в карты, выпивает рюмку водки, — все от нечего делать. Да и в самом деле, что же ему делать? — Доходы получаются исправно, нужды ни в чем не предвидится, ехать никуда не надо. Что же делать? — Сесть за книгу, что ли? Легко сказать; посмотрите-ка на дело поближе, и вы увидите, что ничто не может быть скучнее, как читать для процесса чтения, без последовательности и системы. Ведь не станете же вы, без особенной надобности, читать листок полицейских ведомостей. Что за охота утруждать зрение и напрягать ум только для того, чтобы убить несколько часов? Предпочитать, как препровождение времени, книгу живым явлениям жизни несвойственно человеческой природе. Желая рассеяться, человек ищет смены впечатлений. Чем живее впечатления и ощущения, тем более они его удовлетворяют; на этом основании он отправляется в общество, болтает с знакомыми, садится за зеленое сукно, танцует и кружится в освещенной зале. Вся беда в том, что ему нечего делать, что он рассеивается в продолжение всей своей жизни. Ведь не задавать же себе самому задач, не трудиться же для препровождения времени, когда сама жизнь не шевелит своим потоком, не задает никаких задач и не требует никакого труда. Жизнь эта — странная штука! Губернские чиновники, кормчие провинциального общества, работают нередко машинально, почти не сталкиваясь в своей работе с явлениями жизни и не выходя из сферы тех неизменных канцелярских форм, для которых нет прогресса даже в языке. Утро занято у этих господ, но их машинальная деятельность оставляет по себе такую же пустоту, какую производит бездействие в людях праздных. Ум все-таки остается незанятым и набивается чем попало, а попадают в него обыкновенно бюрократические интриги, городские сплетни, преферансовые соображения и воспоминания вроде похождений Чичикова. И вот из этих-то элементов составляется общественное мнение, и отделиться от него не совсем легко.

Исключение из общего правила составляют те немногие, которых жизнь исходит в борьбе или в совершенном отчуждении от окружающей среды. Это люди сильные, которых не легко надломить даже губернскому обществу. Но сильных людей, к сожалению, у нас немного; наша литература до сих пор не представила образа сильного человека, проникнутого идеями общечеловеческой цивилизации; большею частью из наших университетов выходили люди, пламенно любящие идею, страстно привязанные к теории, но потерявшие способность руководствоваться простым здравым смыслом, чувствовать просто и сильно, действовать решительно и в то же время умеренно. Они готовились воевать с крокодилами и драконами, которых не бывает в наших провинциальных болотах, и в то же время забывали отмахиваться от мошек и комаров, которые носятся над ними целыми мириадами. Они выходили против мелких гадин с таким оружием, которым поражают чудовищ; они со всего размаха убивали дубиною целого комара и к ужасу своему замечали, что колоссальная трата энергии и воодушевления оплачивалась совершенно незаметным результатом. Герои обессиливали, постоянно махая тяжелыми дубинами; мошки лезли им в глаза, в уши, в нос и в рот, облепляли их со всех сторон, оглушали их своим жужжаньем, очень больно кусали и кололи их едва заметными жалами и, высасывая из них кровь, постепенно охлаждали их боевой жар, их добродетельную отвагу и великодушный пафос. Жизнь подступала к нашим героям так незаметно, она обхватывала их со всех сторон так искусно и такими тонкими сетями, что не оставалось теоретикам никакой возможности не только сопротивляться, но даже заметить надвигавшуюся опасность. Уступка за уступкой, шаг за шагом, и к концу концов восторженные энтузиасты становились достойными детьми своих отцов. Одни, бывшие идеалисты или энтузиасты, просто превращались в *толстых*, о которых говорит Гоголь;[4] другие, более прочного закала, с грустью сознавали свою бесполезность и, никуда не пристроившись, слонялись по белому свету, нося в расстроенной груди не вылившуюся любовь к человечеству и разбитые надежды; немногие, очень немногие собирали и пересчитывали свои силы после первого поражения и, приведя их в известность, принимались за мелкие дела действительности, внося в свои практические занятия ту любовь к истине и к добру, которую они, бывши юношами, громко исповедывали в теории.

Да, масса нашего общества не без основания относилась с недоверием к людям мысли, принимавшимся за житейские дела. Лаврецких и Штольцев немного! О том и другом мы знаем только, что они что-то работали, но процесса их работы мы не видим; Штольц отзывается искусственностью постройки; словом, все говорит нам, что в действительности очень мало положительных деятелей и что попытка представить таких деятелей в литературе не удалась именно от недостатка наличных материалов.

VI

До сих пор еще жизнь нашего общества не поддавалась такому влиянию, которое могло бы шевельнуть стоячую воду и спустить вниз по течению тину, накопившуюся в продолжение целых столетий. Почти никто не занят полезным и разумным делом, почти никто не знает, где отыскать себе такое дело, почти никто не сознает в себе потребности чем-нибудь заняться, и между тем почти все чем-то недовольны и отчего-то скучают. Праздность и скука ведут за собою много последствий. Беспрерывная умственная праздность нескольких поколений сохраняет для позднейших внуков те формы быта, те воззрения на отношения между людьми, от которых даже дедам и прадедам солоно было жить на свете. Патриархальность понятий еще живет в нашем обществе, несмотря на заграничные моды, которые с замечательною быстротою приносятся из Парижа в разные захолустья православной Руси. Господа в английских визитках и барыни в кринолинах подчас разыгрывают такие семейные и вообще домашние сцены, на которые с удовольствием могли бы посмотреть бородатые бояре допетровской эпохи. Отражается ли в этих сценах народность — это я предоставляю решить знатокам и любителям; знаю только, что от этих сцен больно достается пассивным и подчиненным личностям; может быть, эти сцены делают честь исторической памяти русского народа, но в них страдает человек, в них топчут в грязь человеческое достоинство, и потому — бог с ним, с этим призраком прошедшего, откуда бы мы его ни почерпнули! Далее, праздность нашего общества ведет за собою существование искусственных интересов; надо же чем-нибудь заняться, — и вот придумываются какие-нибудь цели; настоящей жизни нет, является подставная жизнь, которая никому не приносит ни пользы, ни наслаждения, но от которой не отрешается почти никто. Трехмесячные доходы ухлопываются, например, на званый обед или бал, на котором, может быть, не будет ни одного человека, действительно дорогого и близкого для хозяев. Бал дается с особенным великолепием из тщеславия, чтобы заставить говорить в городе; многие из гостей, бывших на бале, говорят, приехавши домой, что надо и им устроить что-нибудь подобное, и говорят это иногда с сокрушенным сердцем, потому что денег мало, а между тем из кожи лезут — и устраивают. Вот вам и наполнена жизнь, вот и борьба интересов, вот и драма, переходящая то в комический, то в трагический тон. Иной почтенный отец семейства чуть не за пистолеты хватается, уверяя своих домашних, что жить нечем; глядя на него, подумаешь, что всему семейству придется завтрашний день без обеда сидеть, а на поверку окажется, что все отчаяние происходит оттого, что ему нельзя дать больше одного бала в нынешнем сезоне. Это комедия! Но между тем вместо одного бала дается два или три; дела запутываются, имения закладываются

и просрочиваются, долги растут, кредит падает; являются серьезные финансовые расстройства; начинается мещанская трагедия. Придуманные прихоти считаются в искусственном мире нашей общественной жизни необходимыми потребностями; им жертвуют часто действительными удобствами жизни. Сколько семейств среднего круга отказываются от сытного обеда для того, чтобы обить комнаты новыми обоями, чтобы купить старшей дочери шелковое платье или чтобы в нанятой карете поехать куда-нибудь на вечер! Если бы еще подобные распоряжения делались с общего согласия, их можно было бы извинить; но ведь делами семейства заведуют только папенька с маменькой, остальные члены — лица без речей, не имеющие даже совещательного голоса, — терпят лишения для того, чтобы покрыть расходы таких удовольствий, в которых они не принимают участия.

Согласитесь, что это возмутительно! А разве не возмутительны те мелкие интриги, которые все клонятся к тому, чтобы можно было занять и удержать за собою известное место, известную роль в обществе? Не уважая почти никого в отдельности, члены общества уважают всех вместе; для них ничего не значит огорчить или оскорбить соседа и приобрести в нем личного врага; но возбудить об себе толки, навлечь на себя внимание всего общества какою-нибудь эксцентричностью или потерять ту долю общественного внимания, которою они пользовались за роскошный образ жизни, — это для них невыносимо тяжело. Чтобы удерживать баланс в общественном мнении, надо прибегать к самым разнообразным средствам, надо тратиться и разоряться, надо занимать деньги, не теряя кредита, надо принимать у себя важных лиц, надо внушать своим детям такие идеи, которые не могли бы произвести диссонанса, надо направлять сыновей по такой дороге, которую общество считало бы блестящею, надо располагать по своему произволу и благоусмотрению судьбою дочерей и выдавать их замуж за людей родовитых, чиновных и богатых. Если вы — отец семейства, то вы отвечаете перед обществом не за одного себя; проступок вашей жены, вашей дочери, вашего сына, брата или племянника падает на вас более или менее тяжело, смотря по тому, насколько близок к вам провинившийся. Взыскивая таким образом со всех членов семейства за вину одного, общественное мнение, конечно, оправдывает или даже поощряет вмешательство родственников и родственниц в такие дела, которые, собственно говоря, нисколько до них не касаются. Простой здравый смысл говорит ясно, что каждый отдельный человек может отвечать только за себя, да разве еще за малолетнего своего ребенка, который должен быть под хорошим присмотром, чтобы не иметь возможности повредить как-нибудь своему здоровью и не нанести соседу убытка или неприятности. Наше русское общественное мнение, не имеющее ничего общего с здравым смыслом, судит совсем не так: оно предполагает между членами семейства и

даже рода такую крепкую связь, такую солидарность отношений, которые возможны только в патриархальном быту и о которых наше время, к счастью, не имеет понятия. Требования общественного мнения в полном объеме неисполнимы, но эти требования дают известное направление индивидуальным силам; при всех ваших стараниях вы не усмотрите за всею своею роднею и не будете в состоянии привести все их действия к должной мерке; но важно уже то, что вы будете стараться, будете вмешиваться и, следовательно, сталкиваясь с сильными характерами, будете надоедать им, а имея дело с людьми слабыми, будете сбивать их с толку. Сильные характеры я могу оставить в стороне; они не поддаются общественному мнению, не слушают чужих советов и, следовательно, не страдают от уродливых особенностей почвы. Что же касается до людей неглупых, сколько-нибудь развитых, но не настолько сильных, чтобы отстоять результаты своего развития, то легко можно себе представить, как тяжело их положение. Доходящие до них слухи о городских толках волнуют и смущают их; советы какого-нибудь нелепого родственника или доброжелателя приводят их в недоумение; голос собственного просвещенного убеждения говорит им одно, почва требует совершенно другого, и они повинуются требованиям почвы, не успевая заглушить в себе невольного протеста. Они унижаются и сами сознают свое унижение; это внутреннее раздвоение мучит, озлобляет их и возбуждает в них желание срывать зло на окружающем, они делаются несправедливыми и, чувствуя это, еще более окисляются и становятся еще несноснее. Эти люди, конечно, неспособны внушить к себе уважение или сочувствие, но они-то всего более и нуждаются в исцелении; они действительно очень больны; к тому же их очень много, и об них стоит подумать. Переменить окружающую их атмосферу невозможно; для этого нужно было бы перевоспитать все общество; стало быть, надо сделать их по возможности нечувствительными к миазмам этой атмосферы; надо настолько возвысить их над уровнем окружающего общества, чтобы они могли смотреть à vol d'oiseau * на его гнев, негодование и волнение; чтобы жить в провинциальном обществе не окисляясь и не опошливаясь, надо уметь презирать людей без злобы, презирать их холодно, сознательно, отказываясь от всякой попытки возвысить их до себя и понимая совершенную невозможность сойтись с ними на каком-нибудь воззрении. Когда дети играют в куклы, было бы смешно подойти к ним и начать им доказывать, что они тратят попусту драгоценное время; отнестись к обществу взрослых как к группе играющих детей, — и кроткая улыбка сменит собою тяжелое негодование, накопившееся в вашей груди. «Пустые люди!» — подумаете вы. Да что же из этого? Ведь не насильно же наполнять их внутренним содержанием. Есть только

* С птичьего полета *(франц.)*. — *Ред.*

одна сторона жизни, с которою никак нельзя помириться; к счастью, эта сторона скрыта внутри домов и не напрашивается на глаза посторонним зрителям. Бывая в обществе, вы увидите только пустоту его жизни, мелочность и ложность его интересов; это еще небольшая беда, каждый живет для себя и потому волен, лично для себя, забавляться чем вздумается и работать над чем угодно, но только *лично для себя*. Приневоливать к чему бы то ни было членов своего семейства, располагать их судьбою по своему близорукому благоусмотрению, определять карьеру сыновей и выдавать замуж дочерей — о! это такие права, против которых глубоко возмущается человеческая природа; заметьте притом, что человек тем более расположен пользоваться этими возмутительными правами, чем менее он способен употребить их на благо подчиненных личностей. Необразованный, безнравственный, пьющий губернский чиновник обыкновенно является деспотом в семействе, крутит и ломит всякую оппозицию, не слушает ни резонов, ни просьб, — с пьяных глаз определяет сыновей на службу, отправляет дочерей под венец, — и при всем этом опирается на свои природные и законные права, ссылается на свою родительскую любовь и заботливость. С этою стороною жизни невозможно помириться; к ней нельзя даже отнестись с равнодушным презрением; здесь страдают и гибнут люди, и притом люди молодые, не успевшие испортиться. Но сцены притеснения, драмы семейного деспотизма разыгрываются внутри семейства; их можно предполагать и отгадывать, но видеть их можно только самим актерам, потому что эти сцены происходят без посторонних зрителей, тогда, когда ничто не требует приличных декораций и благообразной костюмировки. Прекратить эти халатные сцены, развертывающие свое полное безобразие в спальнях, детских, кухнях и других жилых комнатах, недоступных для гостей, — не может ни законодательство, ни общественное мнение. Пока жена будет зависеть от мужа в отношении к своему пропитанию, пока муж будет так груб, что будет находить удовольствие в притеснении слабого и зависимого существа, пока родители и дети не будут иметь ясного понятия о своих человечески-разумных правах, — до тех пор можно будет обходить букву самого мягкого и справедливого закона, до тех пор можно будет обманывать контроль самого чуткого и просвещенного общественного мнения. Но на наше общественное мнение полагаться нельзя; оно составлено из голосов тех самых семьян, которые тяготеют над своими домочадцами; оно проникнуто духом Домостроя и только облагообразило до некоторой степени внешние приемы, рекомендуемые попом Сильвестром. Оно признает за родителями право распоряжаться судьбою детей и, обязывая последних к пассивному повиновению, вознаграждает их за потерю свободы правом угнетать со временем других. Наше общественное мнение может быть возмущено только скандалом; оно прощает несправедли-

вость и систематическую жестокость, лишь бы не было крика, лязга пощечин, кровавых синяков и истерических припадков; впрочем, это общественное мнение умеет быть глухо и слепо, умеет смотреть сквозь пальцы и часто оказывается до того пропитанным духом патриархальности, что принимает сторону притеснителя; часто оно обвиняет жертву деспотизма в том, что она не умела избежать срама и покориться молча. Недаром говорит пословица: «из избы сору не выноси»; кажется, все члены чисто русского семейства только и заботятся о том, чтобы хранить свой сор чуть не под образами, и ни за что не решаются с ним расстаться и вышвырнуть его на улицу. Тайна, в которую ложный стыд облекает разные семейные неприятности, искусственный мрак, который стараются поддержать в семейном святилище, — мрак, непроницаемый ни для какой гласности, конечно, содействуют сохранению в семейных нравах и отношениях той дикости, которая уже выводится в отношениях общественных и междусословных. Реформировать семейство может только гуманизация отдельных лиц и возвышение личного самосознания и самоуважения. Человек, действительно уважающий человеческую личность, должен уважать ее в своем ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок почувствовал свое *я* и отделил себя от окружающего мира. Все воспитание должно измениться под влиянием этой идеи; когда она глубоко проникнет в сознание каждого взрослого неделимого, всякое принуждение, всякое насилование воли ребенка, всякая ломка его характера сделаются невозможными. Мы поймем тогда, что формировать характер ребенка — нелепая претензия; мы поймем, что дело воспитателя — заботиться о материальной безопасности ребенка и доставлять его мысли материалы для переработки; кто старается сделать больше, тот посягает на чужую свободу и воздвигает на чужой земле здание, которое хозяин непременно разрушит, как только вступит во владение. Когда мы поймем все это? — не знаю; все это, может быть, утопии, над которыми засмеются практики в деле педагогики и семейной жизни. Смейтесь, гг. практики, смейтесь! Но не удивляйтесь тому, что возникают утопии; когда рутина довела до того, что приходится барахтаться и захлебываться в грязи, тогда поневоле отвернешься от действительных фактов, проклянешь прошедшее и обратишься за решением жизненных вопросов не к опыту, не к истории, а к творчеству здравого смысла и к непосредственному чувству.

VII

Грозная филиппика моя против нашего общества вообще и провинциального в особенности выставила таким образом на вид два главные свойства: 1) пустоту жизни, порождающую искусственность и ложность интересов, и 2) патриархальную рутин-

ность понятий и отношений, ведущую за собою семейный деспотизм. Эти два свойства имеют, конечно, значительное влияние на формирование тех нравственных воззрений и правил, которые признает и отстаивает общественное мнение. Эти нравственные воззрения не раз назывались в нашей критике условною или мещанскою нравственностью. Оба названия довольно метки. Действительно, принято, условлено не позволять себе того или другого поступка, хотя бы в этом поступке самая тщательная критика не открыла бы ничего предосудительного или неизящного; принято, условлено — и все так и делают; кто не повинуется обычаю — навлекает на себя нарекания; осуждая человека за нарушение обычая, мы не разбираем его поступка собственным здравым смыслом, а просто подводим его под букву того кодекса, который успели заучить в различных столкновениях с людьми и с обстоятельствами. Мы как будто условились признать авторитет этого незримого кодекса, и, следовательно, наша общественная нравственность вполне заслуживает названия условной. *Мещанская* — эпитет довольно выразительный. Нравственные понятия, установленные общественным кодексом, узки, мелки, робки, непоследовательны, как мещанский либерализм, эмансипирующий личность *до известных пределов*, как мещанский скептицизм, допускающий критику ума *в известных границах*. В основе общественной нравственности лежат существенные черты того ложного идеала, которому поклоняется общество, того идеала, который изобразил Пушкин в «Евгении Онегине», в стихах:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто во-время созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов;
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек!

Общество не любит резкостей и оригинальностей: его возмущают яркие пороки, проявления сильной страсти, живые движения мысли; новые идеи кажутся ему так же предосудительными, как нарушения чужого права; эмансипация человеческой личности смешивается в его глазах с отсутствием всякого человеческого чувства, с явным посягательством на интересы, на личность и собственность ближнего; протест против патриархального начала, против обязательности родственных отношений вызывает такую же бурю негодования, какую могло бы вызвать какое-нибудь грубое насилие. Горячее слово за свободу и полноправность

женщины может упрочить за вами в обществе репутацию развратного и опасного человека, умышленно подрывающего лучшие чувства человеческой жизни. Общий уровень умственного развития стоит в нашем обществе так низко, что ни одна идея не доступна ему в полном своем объеме, в полном величии и достоинстве своего значения. Общество наше знает какое-нибудь одно узенькое, жалкое приложение этой идеи; опошлившись в этом приложении и не будучи доступна обществу в чистом своем понятии, идея великая, широкая и прекрасная встречает себе в обществе тупое недоверие и наглую насмешку. Представьте себе, что вас обманул купец, торгующий рожью. Что́, если бы вы на этом основании стали считать мошенниками всех купцов, занимающихся этою отраслью торговли? Ведь всякий здравомыслящий человек имел бы право обвинить вас в бессмысленном и несправедливом недоверии; между тем все приговоры, которыми наше общество поражает незнакомые ему идеи, основаны на подобном процессе мысли. Судить о целой идее по тому мизерному ее извращению, которое находится перед вашими глазами, так же нелепо и несправедливо, как судить о целом сословии по худшему его представителю. — Личная свобода, например, дает ленивцу возможность пролежать несколько дней на печи, а пьянице — возможность спустить в кабаке последние сапоги. Если бы ленивец был негром-невольником, то его принудили бы встать и выйти на работу; если бы пьяница сидел где-нибудь под присмотром, то на нем уцелело бы необходимое платье. Ну, что ж! Не угодно ли из этого вывести заключение, что рабство гораздо лучше личной свободы? Такого рода попытка не имела бы даже прелести новизны и оригинальности. Так рассуждали многие помещики и помещицы. Любовь часто ведет за собою многие глупости, или, вернее, многие глупости прикрываются фирмою любви; во имя любви заключаются экспромтом браки, в которых не соблюдаются ни соразмерность лет, ни соответствие характеров и наклонностей, ни экономические требования простого практического здравого смысла; старик женится на молоденькой институтке, не имеющей понятия о жизни; человек умный и серьезный — на пустой и ветреной девочке; человек бедный и неспособный трудиться — на девушке бедной и также неспособной трудиться: начинаются семейные огорчения, начинается нужда, во всем оказывается виноватою любовь, — и нежные матери предостерегают сыновей и дочерей, указывая на роковые примеры и приговаривая со вздохом: «А уж как влюблены-то были!» Поневоле умному и развитому молодому существу, слушая такие речи, приходится отвечать: «Я не влюблен, я люблю». Это не диалектическая тонкость, это — необходимое разграничение. Общество наше понимает только влюбленность, какую-то febris erotica, * в которой человек беснуется и делает

* Любовная лихорадка *(лат.)*. — *Ред.*

такие же пошлости, какие предпринимал добрый рыцарь Дон-Кихот в горах Сиерры-Морены. Надо же заявить этому обществу, что я, дескать, в своем уме и потому в опеке не нуждаюсь, что я способен руководствоваться здравым смыслом и между тем все-таки нахожу величайшее наслаждение в сближении с такою-то женщиною, а не в том, чтобы приобретать много денег, и не в том, чтобы быть самым блестящим кавалером на бале или самым исполнительным столоначальником в департаменте. Видя дурачества своих влюбленных, общество отожествляет любовь с дурачеством и сердится на то, чего оно не знает. Многие женщины нашего общества удерживаются от того, что называется падением, страхом отцов или мужей, страхом стыда и осуждения; они сами сознают это, и это же самое понимают и мужчины, заботящиеся о поддержании их нравственной чистоты; узкость и мелкость их воззрений мешает этим господам и барыням видеть в женщине что-нибудь, кроме материальных половых влечений и нравственных обязанностей жены и матери.

Между тем до этих господ, которые, при всей своей неразвитости, суются толковать о назначении женщины, подкладывая под это слово, как и под многие другие, свой доморощенный смысл, — доходят изумительные для них слухи. Они узнают, что в Европе и в Америке передовые люди толкуют о том, что женщина такой же человек, как и мужчина, что она вовсе не обязана только о том и думать, чтобы готовить мужу обед, рожать ему детей и кормить их сначала грудью, а потом манной кашкой; что она может мыслить, чувствовать и действовать, не спрашивая позволения ни у отца, ни у мужа. Задумываются наши господа; им говорят о правах женщины, и они сейчас же понятие женщины воплощают в тех образах, которые суетятся и пищат перед их глазами; они себе представляют, что случилось бы, если бы их жены и дочери были отпущены на волю, т. е. эмансипированы, — и с ужасом зажмуривают глаза и начинают отмахиваться от эмансипационных идей, потому что их воображению представляются неблаголепные картины. Они думают, что женская нравственность и целомудрие, супружеская верность и материнская заботливость поддерживаются только стараниями отцов и мужей да гнетом общественного мнения, и вдруг им предлагают отказаться от своего господства над женщинами и устранить гнет общественного мнения. Да как же так? — спрашивают они, — да где же тогда граница, где будет плотина, которая до сих пор сдерживала безнравственные наклонности? где возможность, где обеспечение семейного счастия? — Словом, они видят, что можно употребить во зло идею, и уже кроме злоупотребления в этой идее ничего не видят. Действительно, в такой стране, где женщина признается полноправною личностью, ей легче завести себе любовника, чем у нас, точно так же, как у нас это легче сделать, чем в Турции или в Персии; в этом не ошибаются противники эман-

сипации. Но захочет ли эмансипированная женщина удариться в разврат из любви к разврату — об этом они не спрашивают. Дурно ли делает женщина, если, действительно любя мужчину, она отдается ему, — до этого вопроса они не умеют возвыситься.

Если бы к киргизам проникла какая-нибудь европейская идея, то, конечно, она произвела бы такой диссонанс, такой сумбур, которого бы не было, если бы она оставалась неизвестною. Беспорядок продолжался бы до тех пор, пока эта идея не была бы задушена или пока бы она решительно не восторжествовала и не переработала весь строй народных понятий. К числу таких резких диссонансов бесспорно принадлежит разлад между нашими средневековыми понятиями о семействе и совершенно новыми по своей ширине идеями о полноправности женщины. Многие ли из наших образованных умников достаточно приготовлены, чтобы только понять обширность и величие этой идеи? Чтобы всецело провести ее в собственной жизни, надо располагать такими силами, которые достаются на долю немногим единицам. А между тем посмотрите и послушайте. Полукретины, не умеющие ни мыслить, ни уважать мысли другого, судят и рядят, оплевывают и закидывают грязью то, что для них — пустой звук, а для людей с умом и с душою — сознательное и дорогое убеждение. Личная свобода, любовь, полноправность женщины понимаются нашим обществом только в опошленном, одностороннем и извращенном виде. Точно так же понимается ими идея эгоизма, неразрывно связанная с идеею свободы личности и составляющая необходимое основание всякой истинной любви. Эгоист, по понятию нашего общества, — тот человек, который никого не любит, живет только для того, чтобы набивать себе карман или желудок, и наслаждается только чувственными удовольствиями или удовлетворением своей алчности или честолюбия. Тут прямо пододвинули под слово такое понятие, которое не имеет ничего общего с его подлинным значением. Почему же эгоист должен быть недоступен эстетическому наслаждению? Почему он не может любить? Почему он не может находить наслаждения в том, чтобы делать добро другим? Эгоизм, т. е. любовь к собственной личности, ставит целью жизни наслаждение, но не ограничивает выбора наслаждения тем или другим кругом предметов. Я наслаждаюсь тем, что мне приятно, а что приятно — это уже подсказывают каждому его наклонности, его личный вкус. Стало быть, внутри понятия *эгоист* открывается необъятный простор личным особенностям и стремлениям. Эгоистами могут быть и хорошие и дурные люди; эгоист — человек свободный, в самом широком смысле этого слова; он делает только то, что ему приятно; ему приятно то, чего ему хочется, следовательно, он делает только то, чего ему хочется, или, другими словами, остается самим собою во всякую данную минуту и не насилует себя ни из угождения к окружающему обществу, ни из благоговения перед призраком нравственного долга. Что

ему приятно, в этом весь вопрос, и тут начинается нескончаемое разнообразие, и ни один человек не имеет права подводить это естественное и живое разнообразие под какую-нибудь придуманную им или наследованную откуда-нибудь норму. Отсутствие нравственного принуждения — вот единственный существенный признак эгоизма, но этого, конечно, не понимает наше общество; именем эгоиста оно называет непременно человека сухого и черствого, не понимая того, что такой человек даже и самого себя любит слабо и вяло, что он даже самому себе не умеет доставлять те наслаждения, которые можно вынести из сношений с другими людьми. Называть эгоизмом бедность крови и худосочие, мешающие энергическому восприниманию впечатлений, совершенно нелепо; и надо согласиться с тем, что только бедность крови и худосочие могут сделать человека нечувствительным к наслаждениям любви, семейной жизни и дружбы, недоступным тому волнению, которое возбуждают в нас истинно художественные произведения, неспособным к творчеству мысли и к искреннему воодушевлению. Эгоизм — система умственных убеждений, ведущая к полной эмансипации личности и усиливающая в человеке самоуважение; а между тем этим словом обозначают совокупность нравственных, а может быть, и чисто физических свойств, мешающих развитию полной человечности и, следовательно, не позволяющих человеку сильно любить, сильно желать и сильно наслаждаться жизнью. Отчего происходит эта ошибка в определении понятия? Вероятно, оттого, что мы обыкновенно очень поверхностно смотрим на вещи. Мы видим например, что человек никого не любит, держит жену и детей в черном теле, копит деньги без всякой цели или тратит их на грязные удовольствия, в которых он один принимает участие; из этого мы заключаем, что этот человек любит только самого себя и что, следовательно, он — эгоист; он никого, кроме самого себя, не любит — это верно; но следует ли из этого заключения, что он самого себя любит сильнее, чем тот человек, который находит наслаждение в том, чтобы доставлять другим удовольствия и счастье? Эти два человека расходятся между собою только во вкусах; оба идут к одной цели — к наслаждению; первый пускает в ход те жалкие средства, которые отыскивает его узенький ум и до которых дощупывается его бедная, хилая природа; второй живет всеми фибрами своего организма, дышит полною грудью, смотрит на мир весело, любовно, радуется свежей жизни окружающей природы и довольству, разлитому на лицах близких и дорогих ему людей; один вечно бесстрастен, вял, почти болен; другой здоров, свеж, бодр и вследствие этого восприимчив к радостям окружающего мира; различие, как видите, лежит скорее в темпераменте, чем в системе умственных убеждений. Повторяю: эгоизм, если понимать его как следует, есть только полная свобода личности, уничтожение обязательных трудов и добродетелей, а не искоренение добрых влечений и благородных

порывов. Пусть только никто не требует подвигов, пусть никто не навязывает влечений и порывов, пусть общество уважает личность настолько, чтобы не осуждать ее за отсутствие влечений и порывов, и пусть сам человек не старается искусственно прививать к себе и воспитывать в себе эти влечения и порывы — вот все, чего можно желать от последовательного проведения и сознательного воспринятия идеи эгоизма. Гнет общества над личностью так же вреден, как гнет личности над обществом; если бы всякий умел быть свободен, не стесняя свободы своих соседей и членов своего семейства, тогда, конечно, были бы устранены причины многих несчастий и страданий. Другими словами, если бы всякий был эгоистом по-своему, не мешая другим быть эгоистами по-своему, тогда не было бы в среднем кругу ни ссор, ни сплетен, ни скандалов. В *среднем кругу*, говорю я, потому что для низших слоев общества есть такое зло, которое до сих пор не могли устранить, при всех своих усилиях, лучшие мыслители Европы. Это зло — пролетариат[5] со всеми своими ужасными последствиями. Отыскание средства, долженствующего устранить это зло, принадлежит еще будущему времени.

Бо̀льшая часть идей, находящихся в обращении между передовыми людьми нашего века, превратно понимается массою нашего общества и вследствие этого не находит себе доверия. Ничтожный и дешевый скептицизм, с которым встречаются у нас самые честные воззрения, самые теплые выражения человеческого чувства, самые благородные и широкие стремления мысли, доказывает, что наше общество вообще равнодушно к истине и красоте или что оно не понимает, в чем дело. Последнее, мне кажется, вернее; схватив вершки образования, слыша слова, знакомые по французским учебникам и романам, наша публика всякую идею понимает по-своему, т. е. вкривь и вкось, а наши критики, не давая себе труда разъяснить ей самые элементарные понятия, проповедуют в пустыне и не производят на своих читателей никакого влияния, потому что эти читатели принимают их за педантов, фразеров или шарлатанов. Видя то, как общество относится к идеям, составляющим славу нашего века, можно уже до некоторой степени составить себе понятие о достоинстве его нравственных воззрений. Покорность существующему порядку вещей и отношений составляет одно из главных нравственных требований. Протест, как бы ни был он законен и неизбежен, в какой бы форме он ни выразился, всегда осуждается как преступление. Семейная иерархия во всей своей строгости поддерживается общественным мнением; это общественное мнение карает как тех, кто снизу возмущается против этой иерархии, так и тех, кто сверху ослабляет оковы семейного деспотизма. Первых оно называет непочтительными детьми, вторых — слабыми родителями. Отношения между молодыми людьми разных полов находятся под самым деятельным надзором общественного мнения. В правильности этих отношений

и заключается весь мистический смысл условной нравственности. Всякое проявление чувства между молодыми людьми, не связанными узами брака и даже не помолвленными, считается наглым оскорблением общественной нравственности. Честная девушка должна больше всех любить папеньку с маменькой, а потом, когда ее выдадут замуж, она должна всю сумму своей любви перенести на мужа, а потом, когда у нее родятся дети, — на детей. Жить таким образом — значит исполнять свой долг. Если девушка замечает в своих родителях недостатки, она должна убеждать себя в том, что это ей только так показалось или же что эти свойства не недостатки, а хорошие качества; если она страдает от этих недостатков, она должна принять эти страдания с покорностью и считать их крестом, возложенным на нее богом; стараться об устранении этих страданий — грешно. Если родители — люди дурные, то дочь должна считать их хорошими людьми и любить их как таковых; впрочем, брать с них пример общественное мнение не велит. Если девушке случится полюбить молодого человека, она немедленно должна во всем признаться своим родителям или по крайней мере маменьке, хотя бы она со стороны последней не могла ожидать себе сочувствия, хотя бы даже ей пришлось за это выслушать упреки и испытать препятствия; если маменька посоветует ей прервать сношения с любимым человеком или, говоря языком патриархального быта, велит выкинуть дурь из головы, она должна немедленно повиноваться; если родители приищут ей жениха, способного составить ее счастье, человека солидного, т. е. прилично-пожилого, одаренного состоянием, чинами и знаками отличия, она должна с благодарностью принять от них это доказательство их заботливости; в подобном случае общественное мнение поощряет только со стороны невесты обильные слезы, долженствующие служить доказательством неизменной привязанности к родительскому дому; впрочем, эта привязанность, очень похвальная, если она проявляется до свадьбы, может показаться странною и даже предосудительною, если она слишком сильно будет выражаться после замужества. Молодые должны быть, или казаться, счастливыми; молодая женщина должна быть довольна своею участью, хотя бы ее супругу было под семьдесят лет и хотя бы ей приходилось быть сиделкою, а не женою; если она покажется недовольною и если — боже упаси! — в числе знакомых ее мужа отыщется какой-нибудь юноша, которого нельзя будет назвать уродом, — общественное мнение отметит ее и возьмет ее под присмотр; при малейшем предлоге молодая женщина будет обвинена в нарушении супружеской верности, и репутация ее будет замарана; об ней никто не пожалеет, никто не вменит ей в заслугу многолетнего повиновения родителям; все прежнее образцовое поведение будет вменено ей в вину. «Какова! — скажут все, — а еще какою смиренницею прикидывалась! Уж подлинно в тихом омуте...» Я нарочно выбрал женщину для того,

чтобы по ее личности проследить требования общественной нравственности.

По физическим силам, по сумме умственных сил, вырабатывающихся в ней воспитанием, по положению и правам своим в обществе женщина является нам существом слабым, подчиненным, подавленным. И общественное мнение только к тому и стремится, чтобы представить эту слабость нормальным положением, чтобы упрочить гнет, чтобы еще больше подавить и без того подавленную личность. Vae victis! * — вот варварский девиз этого общественного мнения. Нет в нем ни человеколюбия, ни справедливости. Поклонение силе, к чему бы она ни применялась, узаконение существующего порядка вещей, как бы ни был он безобразен, осуждение слабого, как бы ни были справедливы его притязания, перевес авторитета над здравым смыслом, — словом, необузданный консерватизм патриархального быта, — вот чем отличается наше общественное мнение. Оно знает и поощряет только два рода добродетелей: со стороны старших и начальников — строгость, твердость, настойчивость, не допускающие рассуждения, не смягчаемые уважением к подчиненному, не признающие в нем самобытной личности; со стороны младших и подчиненных — пассивное, бессмысленное, чисто внешнее повиновение, несовместное с умственною самостоятельностью и обидное для человеческого достоинства. Это общественное мнение формирует только рабов и деспотов; свободных людей нет; кто не чувствует над собою гнета, тот гнетет сам и вымещает на своих подчиненных то, что ему приходилось терпеть в молодые годы. Что нарушит эти преемственные предания школы, семейства и общественного быта? когда произойдет это нарушение? — на все это ответит будущее. Но так жить, как жило и до сих пор живет большинство нашего общества, можно только тогда, когда не знаешь о возможности лучшего порядка вещей и когда не понимаешь своего страдания.

VIII

Все, что я говорил о нашем провинциальном обществе, — искусственность занимающих его интересов, грубость семейных отношений, неестественность нравственных воззрений, подавление личной самостоятельности гнетом общественного мнения, — все это выразилось в повести «Тюфяк». Мое дело будет обратить внимание читателя на те факты, которые всего более дают материалов для размышления. В «Тюфяке» есть две женщины; одну из них мы знаем — это жена Бешметева; ее все осуждают, с нею никто не знакомится; знакомые с нею дамы прерывают с нею сношения; все это делается за то, что ее подозревают в интриге

* Горе побежденным *(лат.)*. — *Ред.*

с Бахтиаровым. Вот вам образчик общественной логики: выйти замуж за человека, которого не любишь, — не беда; отдаться любимому человеку — стыдно и грешно. Другая женщина — сестра Бешметева; ее муж — лгун, мот, игрок, человек пустой и ограниченный; в нем нет сильных страстей и пороков, но зато нет ни одной светлой человеческой черты, за которую можно было бы простить ему его гаденькие свойства; с таким джентльменом живет умная, честная, хоть и неразвитая женщина; в отношении к нему она хранит супружескую верность; она страдает от его пошлости; ей просто нечем жить, нечем дышать, и она действительно медленно истлевает, сохнет от пустоты жизни, от недостатка внутреннего содержания. Общественное мнение не жалеет об ней и не возмущается ее бесполезным самоотвержением; оно говорит, что Лизавета Васильевна Масурова — добродетельная женщина, исполняющая свои обязанности! Если бы Лизавета Васильевна любила и уважала своего мужа, тогда в исполнении ее обязанностей не было бы ничего оскорбительного для ее человеческого достоинства, тогда она сама была бы счастлива, и в ее образе действий не видно было бы подвигов самоотвержения. Именно по этой причине наше общество, воспитанное в правилах принижения личности, не поставило бы ей в заслугу ее хорошего поведения; в нашем обществе глубоко коренится взгляд на добродетель как на насилование природы. Вы услышите на каждом шагу: «Что ж за важность, что такой-то не пьет? — Он не расположен к вину. Что за важность, что такая-то хорошо живет с мужем? — Она его любит». Если судить таким образом, то надо всегда ставить раскаявшегося преступника выше человека, неспособного сделать преступление. Естественное расположение к добру считается в таком случае счастливою принадлежностью человеческой природы, счастливым преимуществом, а не результатом акта свободной воли. По нравственным понятиям нашего общества, свободная воля человека должна быть направлена на то, чтобы ломать врожденные наклонности, искоренять те слабости, которые всего более свойственны нашему нравственному организму, и прививать те добродетели, которые ему всего более антипатичны. Идеализм, т. е. выкраивание людей на один образец и вражда к материи, как к источнику всякого зла, лежит в основании этих нравственных воззрений, которые разделяют с массою даже лучшие люди общества. Они восхваляют женщину за то, что она исполняет свои обязанности в отношении к нелюбимому мужу; — они не понимают того, что выйти замуж за нелюбимого человека — возмутительно. Они не понимают того, что женщина, соглашающаяся принадлежать человеку, которого она разлюбила, подавляет в себе естественный голос женской гордости и стыдливости и профанирует акт любви, сводя его на степень хладнокровно-исполняемого, условного обряда. Здесь, как и везде, приговоры общественного мнения клонятся к тому, чтобы извратить и изуродовать чувство

человеческого достоинства, чтобы в угоду необязательному принципу раздавить и уничтожить живую личность. Сам Бешметев может служить нам ярким примером того нравственного развращения, которое в грязной среде выпадает на долю молодой и слабой личности, стоявшей на хорошей дороге, но не сумевшей на ней удержаться. Поддержало ли, остановило ли его хоть на минуту общественное мнение? Напротив, оно постоянно толкало его к падению, и потом, когда он повалился в пропасть, оно отреклось от своего поступка и резко осудило его за нравственное унижение. Переход от ученой карьеры к бюрократической деятельности, нелепые отношения к жене, посягательства на ее свободу, грубая ревность, притеснения и попреки — все это оправдывало общественное мнение, ко всему этому оно подзадоривало доверчивого Тюфяка, и все это привело к чему же? — К внутренней пустоте, к озлоблению против жены, к недовольству собою и людьми, к желанию забыться, к пьянству запоем, к грязному падению нравственных сил, к разрушению здоровья, к преждевременной смерти. И что же сделали те старшие родственники, которые, как проводники общественного мнения, управляли действиями Бешметева? Увидали ли они по крайней мере, что слишком хорошо повиноваться их советам — нелепо? Поняли ли они свою оплошность? Сознали ли они свою неспособность руководить действиями молодых и свежих личностей? — Нимало! Они отступились от своего дела и не захотели понять того, что несчастия, свалившиеся на Бешметева, составляют естественные следствия их советов; они обвинили самого же Бешметева, презрительно сожалели о нем и потом, вероятно, забыли о несчастной жертве своей нелепости.

И это судьи! Это законодатели общественного мнения!

1861 г. Октябрь.

ПИСЕМСКИЙ, ТУРГЕНЕВ И ГОНЧАРОВ

(Сочинения А. Ф. Писемского, т. I и II. Сочинения И. С. Тургенева)

I

Писемский, Тургенев и Гончаров принадлежат к одному поколению. Это поколение уже давно созрело и теперь клонится к старости; дети этого поколения уже способны решать по-своему вопросы жизни, и потому отцы постепенно становятся деятелями прошедшего времени, и для них настает суд ближайшего потомства. Пора проверить результаты их работ, не для того, чтобы выразить им свою признательность или неудовольствие, а просто для того, чтобы пересчитать умственный капитал, достающийся нам от прошедшего, узнать сильные и слабые стороны нашего наследства и сообразить, чтó в нем можно оставить на старом основании и чтó надо фундаментально переделать. Всего этого наследства разом не оглядишь; оно, как и все русское, велико и обильно. Посмотрим на первый раз, что оставили нам наши первоклассные романисты, лучшие представители русской поэзии сороковых и пятидесятых годов. Вопрос, поставленный мною, шире, чем может подумать читатель. Романы Писемского, Гончарова и Тургенева имеют для нас не только эстетический, но и общественный интерес; у англичан рядом с Диккенсом, Теккереем, Бульвером и Эллиотом есть Джон Стюарт Милль; у французов рядом с романистами есть публицисты и социалисты; а у нас в изящной словесности да в критике на художественные произведения сосредоточилась вся сумма идей наших об обществе, о человеческой личности, о междучеловеческих, семейных и общественных отношениях; у нас нет отдельно существующей нравственной философии, [1] нет социальной науки; стало быть, всего этого надо искать в художественных произведениях. Я говорю: *надо искать*, потому что не может же быть, чтобы люди, имеющие знакомых, жену, детей, состоящие на государственной или частной службе, и притом сколько-нибудь способные размышлять, не составляли себе известных понятий о своих отношениях, о жизни и ее требованиях;

не может быть, чтобы, составив себе эти понятия, они не делились ими с теми, кто может их понимать. Вместо того чтобы сообщать результаты своих наблюдений в отвлеченной форме, они стали облекать идею в образы. Многие из наших беллетристов сделались художниками потому, что не могли сделаться общественными деятелями или политическими писателями; что же касается до истинных художников по призванию, то они также должны были какою-нибудь стороною своей деятельности сделаться публицистами.

Кто, живя и действуя в сороковых и пятидесятых годах, не проводил в общественное сознание живых, общечеловеческих идей, того мы уважать не можем, того потомство не поместит в число благородных деятелей русского слова. Гг. Фет, Полонский, Щербина, Греков и многие другие микроскопические поэтики забудутся так же скоро, как те журнальные книжки, в которых они печатаются. «Что вы для нас сделали? — спросит этих господ молодое поколение. — Чем вы обогатили наше сознание? Чем вы нас шевельнули, чем заронили в нас искру негодования против грязных и диких сторон нашей жизни? Сказали ли вы теплое слово за идею? Разбили ли вы хоть одно господствующее заблуждение? Стояли ли вы сами, хоть в каком-нибудь отношении, выше воззрений нашего времени?» На все эти вопросы, возникающие сами собою при оценке деятельности художника, наши версификаторы ничего не сумеют ответить. Мало того. Они не поймут этих вопросов и остановятся в недоумении; они в наивности души уверены в величии своих заслуг и в правах своих на всеобщую признательность; они думают, что, шлифуя русский стих, баюкая нас своими тихими мелодиями, воспевая на тысячу ладов мелкие оттенки мелких чувств, они приносят пользу русской словесности и русскому просвещению. Они считают себя художниками, имея на это звание такие же права, как модистка, выдумавшая новую куафюру.

Чтобы эти слова не казались бессмысленною выходкою, лаянием на луну, я считаю не лишним сказать несколько слов о том, что̀ я понимаю под словом «художник». Вот видите ли, все мы смотрим на какой-нибудь уличный скандал, но не во всех нас это зрелище западет одинаково глубоко, не всех нас оно потрясет одинаково сильно. Чего, чего ни передумал бы человек впечатлительный, присутствуя, положим, при подвиге расправы над извозчиком; [2] одна эта сцена показалась бы ему только эпизодом длинной, никому не ведомой драмы, разыгрывающейся каждый день без свидетелей в разных бедных квартирах, на улицах, «под овином, под стогом», [3] — везде, где бедный и слабый терпит горькую долю от богатого и сильного. Воображение дорисовало бы недостающие подробности; естественное, гуманное чувство, воспитанное разносторонним образованием, согрело бы всю картину, и вот из грубой уличной сцены возникло бы художественное произве-

дение, которое, наверное, подействовало бы на читателя, шевельнуло бы его или заставило бы его задуматься. Кто по природе и по воспитанию впечатлителен да кто усвоил себе умение передавать свои впечатления другим так, чтобы они могли перечувствовать то, что он сам чувствует, тот и художник. Умение передавать составляет техническую сторону искусства и приобретается навыком и упражнением. Способность воспринимать, или впечатлительность, составляет принадлежность человеческого характера художника; эта способность кроется в строении нервов, рождается вместе с нами и, конечно, развивается или притупляется обстоятельствами жизни. Умение передавать, или виртуозность формы, сама по себе не может сильно и обаятельно подействовать на читателя; не угодно ли вам, например, описать самым ярким и подробным образом лицо вашего героя так, чтобы читатель видел каждую морщинку на его лбу, каждый волосок на его бровях, каждую бородавку на лбу или щеке? На каждой академической выставке есть несколько подобных картин: тут, положим, художник нарисовал палитру, карандаш и куски красок; в другом месте — корзину с цветами или разрезанный арбуз; в третьем — портрет какого-нибудь господина, у которого бобровый воротник и пуговицы на шинели выделаны так тщательно, что не знаешь, портрет ли это или вывеска меховщика. Ах, как натурально, — скажете вы, но представить себе, чтобы художник, рисуя все эти прелести, что-нибудь думал или чувствовал, вы решительно не будете в состоянии. Вы увидите, что такой-то господин хорошо составляет краски и ловко владеет кистью, но человеческого характера этого господина вы не увидите; ни мысли его, ни чувства вы не уловите; отходя от картины, вы будете вправе сказать, что такой-то NN тратит свое замечательное уменье на совершеннейшие пустяки; почему это происходит — на это могут быть многие причины: или г. NN не настолько умен, чтобы составить в голове своей план картины, или не настолько развит, чтобы уметь обставить свою идею, или не настолько впечатлителен, чтобы нечаянно наткнуться на сюжет и, почти помимо собственной воли, выносить и взлелеять его в груди. Во всяком случае, этот NN — художник только наполовину, настолько же, насколько может быть назван художником повар, отлично изготовивший кулебяку. Г. NN совершенно волен рисовать палитры, арбузы и меховые воротники всех цветов и достоинств, но мы, зрители, также совершенно вольны восхищаться или не восхищаться его малеваниями.

Перенесем теперь то, что было сказано о живописи, на поэзию. К сожалению, область поэзии в некоторых отношениях далеко не так обширна, как область живописи. Вы можете, например, нарисовать картину, не выразив ровно никакой идеи и никакого чувства; эта завидная привилегия совершенно отнимается у вас, когда вы берете орудием своим — слово; тогда надо непременно

что-нибудь сказать; читая самое наглядное описание какого-нибудь плетня или огорода, читатель никак им не удовлетворится, а все будет спрашивать: что же дальше? Если же вы ему ничего дальше не дадите, то он подумает, что вы над ним подшутили, и, чего доброго, найдет вашу шутку довольно плоскою. На этом основании каждый поэт, как бы он ни дорожил своею художническою свободою и как бы ни был ему враждебен элемент мысли, старается, чисто для приличия, прикинуться в своих произведениях мыслящим и чувствующим. Никто, конечно, не упрекнет гг. Фета, Мея и Полонского в том, чтобы они были глубокие мыслители, а между тем и в их лирических стихотворениях есть подобия мыслей и чувств; случается, правда, что вы прочтете маленькое стихотворение в три-четыре куплета и тотчас же забудете его, как забываете докуренную сигару; но зато это стихотворение подействовало на вашу нервную систему почти так же, как сигара; первые два стиха подкупили вас своею благозвучностью, первые четыре рифмы убаюкали вас своим мерным падением, и вы дочитываете до конца, находясь в состоянии приятной полудремоты и потеряв всякую способность, да и всякое желание отнестись критически к прочитанному произведению. Такого рода чтение действительно хорошо в гигиеническом отношении после обеда, и кроме того, такого рода стихотворения очень полезны в типографском отношении, для пополнения белых полос, т. е. страниц между серьезными статьями и художественными произведениями, помещающимися в журналах. Но знаете ли, что часто случается? Джентльмен, наполнивший гладкими пустячками штук полтораста таких белых полос, производится в русские поэты, становится авторитетом, издает собрание своих стихотворений и начинает помышлять о признательности потомства, о монументе aere perennius. * Я совершенно согласен признать за ними права на монумент, но позволю себе только дать читателю таких поэтов один совет: попробуйте, милостивый государь, переложить два-три хорошенькие стихотворения Фета, Полонского, Щербины или Бенедиктова в прозу и прочтите их таким образом. Тогда всплывут наверх, подобно деревянному маслу, два драгоценные свойства этих стихотворений: во-первых, неподражаемая мелкость основной идеи и, во-вторых, колоссальная напыщенность формы; вам покажется, будто вы по ошибке раскрыли том сочинений Марлинского, вы припомните семейство Манилова или даже надписи на конфектных билетиках, вы закроете книгу и, вероятно, согласитесь с моим мнением. Мне кажется, что в стихах, как и в прозе, прежде всего нужна мысль; отсутствие мысли может быть замаскировано фантастическими арабесками и затушевано гладкостью и музыкальностью стихов; но то, что лишено мысли, никогда не произведет сильного впечатления.

---

* Прочнее меди (выражение из оды Горация). — *Ред.*

У наших лириков, за исключением гг. Майкова и Некрасова, нет никакого внутреннего содержания; они не настолько развиты, чтобы стоять в уровень с идеями века; они не настолько умны, чтобы собственными силами здравого смысла выхватить эти идеи из воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающие их явления обыденной жизни, отражать в своих произведениях физиономию этой жизни с ее бедностью и печалью. Им доступны только маленькие треволнения их собственного узенького психического мира; как дрогнуло сердце при взгляде на такую-то женщину, как сделалось грустно при такой-то разлуке, что шевельнулось в груди при воспоминании о такой-то минуте, — все это описано, может быть, и верно, все это выходит иногда очень мило, только уж больно мелко; кому до этого дело и кому охота вооружаться терпеньем и микроскопом, чтобы через несколько десятков стихотворений следить за тем, каким манером любит свою возлюбленную г. Фет, или г. Мей, или г. Полонский? Поучитесь-ка лучше, гг. лирики, почитайте да подумайте! Ведь нельзя, называя себя русским поэтом, не знать того, что наша эпоха занята интересами, идеями, вопросами гораздо пошире, поглубже и поважнее ваших любовных похождений и нежных чувствований. Впрочем, опять-таки говорю, вы вольны делать, как угодно, но и я, как читатель и критик, волен обсуживать вашу деятельность, как *мне* угодно. И деятельность ваша, вероятно, не на одни мои глаза покажется больно пустою и бесцветною.

Не трудно, конечно, понять, почему я из числа наших лириков выгородил Майкова и Некрасова. Некрасова, как поэта, я уважаю за его горячее сочувствие к страданиям простого человека, за честное слово, которое он всегда готов замолвить за бедняка и угнетенного. Кто способен написать стихотворения: «Филантроп», «Эпилог к ненаписанной поэме», «Еду ли ночью по улице темной», «Саша», «Живя согласно с строгою моралью», [4] — тот может быть уверен в том, что его знает и любит живая Россия. Майкова я уважаю, как умного и современно развитого человека, как проповедника гармонического наслаждения жизнью, как поэта, имеющего определенное, трезвое миросозерцание, как творца «Трех смертей», «Савонаролы», «Приговора» и т. д. [5] Всякий согласится, что эти два лирика, Майков и Некрасов, по уму, по таланту, по развитию и по отношению своему к современной жизни стоят неизмеримо выше тех версификаторов, о которых я говорил на предыдущей странице. Но все-таки, если мы желаем изучить тот запас общечеловеческих идей, который находится в обращении в мыслящей части нашего общества, если мы хотим проследить, как эта мыслящая часть относилась к жизни массы, то мы преимущественно должны обратить наше внимание на тех трех романистов, которых имена выписаны в заглавии статьи. Их личности, их манера писать, условия их развития, склад их таланта, взгляд на жизнь — все это представляет самое пестрое разнообразие;

между тем все трое пользуются постоянною любовью нашей публики, следовательно, или каждый из них какою-нибудь стороною своего таланта удовлетворяет требованиям этой публики, или, извините за откровенность, эта публика не предъявляет никаких определенных требований и кушает без разбору все, что ей ни поднесут. Оба эти предположения имеют некоторую долю основательности. Действительно, публика наша не взыскательна и мало развита как в эстетическом, так и во всяком другом отношении; с другой стороны, каждый из трех названных романистов имеет свою характерную особенность; в Гончарове, например, развита та сторона, которая слаба в Тургеневе и Писемском; в Писемском есть такие достоинства, которых вы не найдете ни в Тургеневе, ни в Гончарове; Тургенев заденет в вас такие струны, которых не шевельнет ни Гончаров, ни Писемский; стало быть, публика наша, читая их вместе и находя всех троих по своему вкусу, поступает очень основательно; она для своего умственного продовольствия распоряжается точно так же благоразумно, как опытная хозяйка, заказывающая хороший обед и инстинктивно устроивающая так, чтобы одно кушанье дополнялось другим, чтобы питательные вещества, не находящиеся в мясе, приносились в соусе и приправе и чтобы таким образом организм вынес из-за стола возможно большее количество обновляющего материала.

Чтобы открыть характерные особенности каждого из наших трех романистов, надо поговорить довольно подробно о каждом из них в отдельности. Я начну с Гончарова; он написал меньше Писемского и Тургенева; его романы менее замечательны для характеристики русской жизни, и потому с ним легче справиться; покончивши с ним, я остановлю все внимание читателей на параллели между Писемским и Тургеневым.

II

Гончаров написал только два капитальные романа: «Обыкновенную историю» и «Обломова». Первый из этих романов сразу поставил его в ряды первоклассных русских литераторов, и его «Очерки кругосветного плавания» [6] и «Обломов» были встречены журналами и публикою с такою радостью, с какою редко встречаются на Руси литературные произведения. Мне кажется, причины этого замечательного явления заключаются преимущественно в том, что Гончаров по плечу всякому читателю, т. е. для всякого ясен и понятен. Он везде стоит на почве чистой современной практичности, и притом практичности не западной, не европейской, а той практичности, которою отличаются образованные петербургские чиновники, читающие помещики, рассуждающие о современных предметах барыни и т. п. Прочтите Гончарова от начала до конца, и вы, по всей вероятности, ничем не увлечетесь, ни над чем

не замечтаетесь, ни о чем горячо не заспорите с автором, не назовете его ни обскурантом, ни рьяным прогрессистом и, закрывая последнюю страницу, скажете очень хладнокровно, что г. Гончаров — очень умный и основательно рассуждающий господин. У Гончарова нет никакого конька, никакой любимой идеи; утопия всякого рода ему совершенно враждебна; ко всякому увлечению он относится с легким и вежливым оттенком иронии; он — скептик, не доводящий своего скептицизма до крайности; он — практик и материалист, способный ужиться с фантазером и идеалистом; он — эгоист, не решающийся взять на себя крайних выводов своего миросозерцания и выражающий свой эгоизм в тепловатом отношении к общим идеям или даже, где возможно, в *игнорировании* человеческих и гражданских интересов. Этот эгоизм проглядывает во всех его произведениях; кто читал «Фрегат Палладу» и «Обломова», тот не найдет удивительным мое мнение. Постоянно спокойный, ничем не увлекающийся, романист наш развязно подходит к запутанным вопросам общественной и частной жизни своих героев и героинь; бесстрастно и беспристрастно осматривает он положение, отдавая себе и читателю самый ясный и подробный отчет в мелких его особенностях, становясь поочередно на точку зрения каждого из действующих лиц, не сочувствуя особенно сильно никому и понимая по-своему всех. Он обсуживает положение и свойства своих действующих лиц, но всегда воздерживается от окончательного приговора. Прочитавши «Обыкновенную историю», читатель не может сказать, чтобы автор сочувствовал старшему Адуеву, и не может также сказать, чтобы он находил его неправым; сочувствия к младшему Адуеву также не видно ни в ту минуту, когда он составляет совершенную противоположность с своим дядей, ни в тот момент, когда он становится на него похожим. Вследствие этого, оканчивая последнюю страницу романа, читатель чувствует себя неудовлетворенным. «Обыкновенная история» производит такое впечатление, какое могла бы произвести отлично нарисованная, но неясно освещенная картина; мы чувствуем, что автор романа — человек умный, наблюдательный и способный осмысливать свои наблюдения; этот человек говорит с нами о явлениях нашей жизни, описывает их подробно и наглядно, изображает влияние этих явлений на молодое существо, знакомящееся с жизнью, но изображает чисто внешним образом, перечисляя только симптомы перемен, происходящих в его герое.

Очень естественно, что читатель, заинтересованный настолько же личностью рассказчика, насколько нитью самого рассказа, ждет на каждой странице, чтобы автор в постановке образов или в лирическом отступлении выразил бы свои воззрения, сказал бы: я считаю это хорошим, а то дурным, по таким-то причинам. Мне могут возразить на это, что объективность — высшее достоинство эпического поэта; я отвечу, что это одна из тех наследован-

ных от прошедшего фраз, которыми пробавляются, за неимением лучшего, эстетика и критика, — одна из тех фраз, в которых многие сведущие, но робкие люди видят предел, «егоже не прейдеши». Во-первых, эпическая поэзия в чистом виде своем теперь невозможна; попробуйте рассказывать события без основной мысли, не группируя их так, чтобы читатель мог видеть просвечивающую идею, — вы собьетесь на Дюма-отца, Феваля и компанию, и ни один развитой человек не раскроет вашей книги и не скажет вам спасибо за ваше эпическое спокойствие. Рассказывать что-нибудь без особенной цели даже своим знакомым — свойственно только праздному болтуну или дряхлеющему старцу, а рассказывать для процесса рассказывания всей читающей публике — просто недобросовестно и невежливо; надо помнить, что публика за рассказы платит деньги и на чтение их тратит время. Зачем же так бесцеремонно обращаться с достоянием ближнего? Я этим не хочу сказать, чтобы необходимо было читать публике нравоучения и наставления. Боже упаси! Это еще скучнее! Но дело в том, что, собираясь рассказывать что-нибудь, писатель должен же сам иметь в голове понятие о том, что он будет сообщать другим. Если ему приходится описывать явление, зависящее от другого явления, то должен же он объяснить одно другим, вывести одно из другого, показать, что такая-то причина должна привести и приводит к такому-то следствию. Следовательно, рассказчик должен раскрыть перед читателем свой процесс мысли. Кроме того, читателю невольно придет в голову вопрос: да с какой стати г. NN рассказывает мне эти события? что, кроме желания получить авторский гонорар, побудило его написать несколько страниц, вывести на сцену десятка полтора лиц и следить за ними в продолжение нескольких лет их жизни? — Ответа на эти естественные вопросы надо искать в самом произведении; если произведение вылилось из души, то писатель, конечно, в этом произведении говорит о том, что, так или иначе, интересует его лично, что затрогивает его за живое, что он горячо любит или горячо ненавидит. Если предмет его рассказа для него равнодушен, то как объяснить себе то, что он обратил на него внимание, стал над ним задумываться, стал уяснять его самому себе и, наконец, довел его до такой степени наглядности, что он и для других людей стал заметен, понятен и осязателен? А если ничего этого не было, если писатель не вдумывался, не уяснял себе и т. д., то рассказ выйдет бледный и скучный; его действующие лица будут тени или марионетки, но никак не живые люди; таковы действительно бывают рассказы, писанные на заказ, без внутреннего желания, без живого участия к предмету.

Для того чтобы печатные строки казались нам речами и поступками живых людей, необходимо, чтобы в этих печатных строках сказалась живая душа того, кто их писал; только в этом соприкосновении между мыслью автора и мыслью читателя и заклю-

чается обаятельное действие поэзии; живопись говорит глазу, музыка — уху, а поэзия (творчество) — чисто одному мозгу; вы видите глазом черные значки на белом поле и при помощи этих значков узнаете то, что думал человек, которого вы, может быть, никогда в глаза не видали; на вас действует чисто сила мысли, а мысль и чувство всегда бывают *личные*; следовательно, что же останется от поэтического произведения, если вы из него вытравите личность автора? Вполне объективная картина — фотография; вполне объективный рассказ — показание свидетеля, записанное стенографом; вполне объективная музыка — шарманка; добиться этой объективности значит уничтожить в поэзии всякий патетический элемент и вместе с тем убить поэзию, убить искусство, даже науку, даже всякое движение мысли.

Личность автора для меня интересна, как всякая человеческая личность и, кроме того, как личность, чувствующая потребность высказаться, следовательно, воспринявшая в себя ряд известных впечатлений и переработавшая их силою собственной мысли. Личности же вымышленных действующих лиц я только терплю и допускаю как выражение личности автора, как форму, в которую ему заблагорассудилось вложить свою идею. Если я с идеею согласен, если я ей сочувствую, а выведенные личности оказываются бледными и неестественными, то я скажу, что автор — неопытный музыкант, что чувство в нем есть, а технического уменья мало; заметивши этот недостаток, я все-таки буду, может быть, некоторые отрывки читать с удовольствием, вероятно те отрывки, в которых сила внутреннего убеждения и воодушевления укрепляет неопытные руки виртуоза и заставляет его на несколько мгновений победить трудности техники. «Ничего, со временем будет прок, явится навык», — можно будет сказать, закрывая книгу, написанную таким образом, т. е. с неподдельною теплотою, но без достаточного знания жизни; читатель с добрым чувством расстанется с таким писателем и с радостью встретится с ним в другой раз. Но если в рассказе, великолепно обставленном живыми подробностями, не видно идеи и чувства, не видно личности творца, то общее впечатление будет совершенно неудовлетворительно. Вам покажется, что перед вами играет на фортепиано какой-нибудь заезжий искусник, выделывающий удивительные штуки пальцами, исполняющий с быстротою молнии невообразимые трели и рулады, возбуждающий ваше искреннее изумление беглостью рук, но ничем не дающий вам почувствовать, что он — человек. Тут уж нет никакой надежды; тут года не принесут пользы; приобрести фактические знания можно, усвоить технику какого угодно искусства тоже небольшая трудность, но откуда же взять свежести чувства, самодеятельной энергии мысли, той электрической, непонятной силы, которая берется в нас бог весть откуда и уходит с годами бог весть куда?

Словом, только личное воодушевление автора греет и раскаляет его произведение; где этого личного воодушевления не заметно, там, как бы ни были верно подмечены и искусно сгруппированы подробности, — там, повторяю, нет истинной силы, нет истинно обаятельного влияния поэзии, нет сочувствия между поэтом и читателем.

III

Между публикою и любимым писателем почти всегда устанавливаются известные отношения, основанные на сочувствии и доверии. Любя произведения какого-нибудь NN, невольно составляешь себе понятие о его личности, допускаешь в ней те или другие свойства и решительно отвергаешь разные темные пятна. Иногда случается разочароваться, и часто подобное разочарование бывает так же тяжело, как разочарование в близком и дорогом человеке. Гончаров — писатель, любимый публикою; в этом не может быть никакого сомнения, а между тем, странное дело, между ним и публикою положительно нет подобных отношений; его человеческой личности никто не знает по его произведениям; даже в дружеских письмах, составивших собою «Фрегат Палладу», не сказались его убеждения и стремления; выразилось только то настроение, под влиянием которого написаны письма; настроение это переходит от спокойно ленивого к спокойно веселому, и больше нам не представляется никаких данных для обсуждения личного характера нашего художника. Во всяком случае, если два большие романа, которых сюжеты взяты из современной жизни, не выражают ясно даже отношений автора к идеям и явлениям этой жизни, — это значит, что в этих романах есть умышленная или нечаянная недоговоренность и что эти романы продуманы и состроены, а не прочувствованы и созданы. Беглый взгляд на остов «Обыкновенной истории» и «Обломова» подтвердит эту мысль. «Обыкновенная история» говорит нам: вот что делается из молодого человека под влиянием нашей петербургской жизни. Ну, что же такое? спрашивает читатель. Что, она его формирует или портит? Что, она сама хороша или дурна? — На второй вопрос Гончаров отвечает так: петербургская жизнь вот какая, и описывает наружность этой жизни, тщательно избегая каких бы то ни было отношений к этой наружности. Положим, у вас спрашивают, хороша ли такая-то женщина? Вы отвечаете: — нос у нее такой-то длины и такой-то ширины, рот такой-то величины, зубов столько-то, такого-то цвета глаза, столько-то линий в длину и столько-то в разрезе, цвет их такой-то и т. д. Согласитесь, что из подобного беспристрастного описания не вынесешь сколько-нибудь целостного понятия о характере физиономии, каким бы увлекательным языком ни были записаны эти статистические данные. Точно так же описание петербургского житья-

бытья у Гончарова выходит неярким потому, что автор решительно не хочет выразить своего мнения, своего взгляда на вещи.

На вопрос о том, формирует или портит эта жизнь молодого Александра Адуева, Гончаров ничего не отвечает. Он нам рассказывает в конце романа, что Александр приобрел лысину, почтенную полноту и житейскую опытность, охладившую его мечтательность; тем дело и кончается. Читатель вправе сказать: г. Гончаров, я сам очень хорошо знаю, что у человека лет в пятьдесят вылезают волосы, что сидячая жизнь увеличивает в нас количество жира и что с годами мы становимся опытнее. Вы описали все это чрезвычайно подробно, верно и наглядно, но вы не сказали нам ничего нового и скрыли от нас внутренний смысл ваших сцен и картин. Действительно, крупные, типические черты нашей жизни почти умышленно сглажены писателем и, следовательно, ускользают от читателя; зато отделка подробностей тонка, красива, как брюссельские кружева, и, по правде сказать, почти так же бесполезна. Александр приходит в соприкосновение с миром чиновников — об этом сказано вскользь, и потом сообщен результат, что он привык к канцелярской работе и стал получать порядочное жалованье. Александр вступает в сношения с журналами, — об этом тоже упоминается мимоходом, и только для того, чтобы отметить приращение его годового дохода. Две такие важные стороны нашей жизни, как бюрократия и периодическая литература, не удостоиваются внимательного рассмотрения, а между тем приводятся от слова до слова длиннейшие разговоры между Петром Ивановичем и Александром, между Александром и Наденькою, Александром и Тафаевою и т. п. Это — ошибка, как перед изображением самой жизни, так даже и перед личностью самого героя. Положим, старшие родственники и любимые женщины имеют значительное влияние на формирование характера и убеждений; но ведь все-таки формирует-то самая жизнь, столкновение с ее дрязгами, с ее серыми, трудовыми сторонами; нам любопытно видеть, как живут герои Гончарова, а он нам показывает, как они резонерствуют о жизни или мечтают о ней, сидя рядом с героинями где-нибудь под кустом сирени, в тенистой беседке. Это очень хорошо и трогательно, но это не жизнь, а разве — крошечный уголок жизни. Конечно, таланту Гончарова должно отдать полную дань удивления: он умеет удерживать нас на этом крошечном уголке в продолжение целых сотен страниц, не давая нам ни на минуту почувствовать скуку или утомление; он чарует нас простотою своего языка и свежею полнотою своих картин; но если вы, по прочтении романа, захотите отдать себе отчет в том, что вы вместе с автором пережили, передумали и перечувствовали, то у вас в итоге получится очень немного. Гончаров открывает вам целый мир, но мир микроскопический; как вы приняли от глаза микроскоп, так этот мир исчез, и капля воды, на которую вы смотрели, представляется вам снова простою каплею. Если бы эта сила анализа,

невольно подумаете вы, была направлена не на мелочи, а на жизнь во всей ее широте, во всем ее пестром разнообразии, — какие бы чудеса она могла произвести! — Эта мысль ошибочна; кто останавливается на анализе мелочей, тот, стало быть, и неспособен идти дальше и подниматься выше. Гончаров останется на анализе мелочей потому, что у него нет побудительной причины перейти к чему-либо другому; он холоден, его не волнуют и не возмущают крупные нелепости жизни; микроскопический анализ удовлетворяет его потребности мыслить и творить; на этом поприще он пожинает обильные лавры, — стало быть, о чем же еще хлопотать, к чему еще стремиться? Словом, г. Гончаров как художник — то же самое, что г. Срезневский как ученый; [7] первый творит для процесса творчества, не заботясь о степени важности тех предметов, которые он воспевает, не спрашивая себя о том, высекает ли он своим резцом великолепную статую или вытачивает красивую безделушку для письменного стола богатого барина; второй точно так же исследует для процесса исследования, не спрашивая себя о том, стоит ли игра свечей и выйдет ли из его трудов какой-нибудь осязательный результат. Обе эти личности, представители одного типа, выработались под влиянием известных условий, сжились с ними и, почислив вопросы жизни решенными вполне удовлетворительно, обратили деятельность свою на шлифование подробностей, не имеющих даже относительной важности. «Как, — спросит с негодованием мой читатель, — и «Обломов» — шлифование подробностей?» Да, отвечу я с подобающею скромностью. — «Обломов», как нравоописательный роман, не что иное, как шлифование подробностей. Тип Обломова не создан Гончаровым; это повторение Бельтова, Рудина и Бешметева; [8] но Бельтов, Рудин и Бешметев приведены в связь с коренными свойствами и особенностями нашей зачинающейся цивилизации, а Обломов поставлен в зависимость от своего неправильно сложившегося темперамента. Бельтов и Рудин сломлены и помяты жизнью, а Обломов просто ленив, потому что ленив. Влияние общества на личность героя здесь, как и в «Обыкновенной истории», скрыто от глаз читателя; автор понимает, что оно должно существовать, но он держит его где-то за кулисами, и из-за этих кулис его герой выходит совершенно готовым и начинает рассуждать и ходить по сцене. Если читатель возразит мне, что «Сон Обломова» объясняет нам процесс его развития, то я на это отвечу, что «Сон» говорит только о младенческих годах нашего героя. Никакой характер не оказывается сложившимся в десяти- или двенадцатилетнем мальчике; тем более не мог сложиться в такие годы характер Обломова, которого и в тридцать пять лет можно было ворочать куда угодно; стало быть, зачем же автор, заговоривши о воспитании и развитии своего героя, не дал нам сцен из его гимназической, студенческой, чиновнической жизни? Ведь это, воля ваша, было бы не только плодотворнее, но даже интереснее многих сцен

между Обломовым и Захаром. Ведь любопытно знать, что именно формирует у нас Обломовых, гораздо любопытнее, чем смотреть на то, как уже сформированные Обломовы, т. е. люди, на которых надо махнуть рукою, валяются на диване и плюют в потолок. Но, как везде, интересный, живой вопрос обойден, а подробностей — гибель.

Изображая личность Обломова, Гончаров мог еще ограничиться тесною сферою, не выходить за пределы кабинета и спальни и занимать своего читателя пересказыванием того, что говорили между собою Илья Ильич и Захар. Но вот наш художник хочет противопоставить своему ленивому герою лицо деятельное, весело и дельно смотрящее на жизнь и энергически расправляющееся с ее дрязгами и невзгодами. Является Андрей Иванович Штольц, о котором даже сам автор возвещает не без торжественности, говоря, что это человек будущего, что много Штольцев кроется под русскими именами, что люди такого закала будут делать дело как следует. О, думаете вы, вот тут-то Гончаров выскажет то, что у него на душе, тут-то он воспользуется всеми собранными материалами, чтобы дать плоть и кровь этому человеку будущего, тут-то он приведет своего любимого героя в столкновение с разными сторонами и типическими особенностями нашей жизни. Вы продолжаете читать с возрастающим нетерпением и убеждаетесь в том, что Штольц ведет себя точно так же, как все гончаровские герои, т. е. много говорит, хорошо округляет периоды, самодовольно развертывает перед слушателем свои убеждения и ничего не делает: о его деятельности, которая составляет сущность его характера и замечательнейшее ее достоинство, автор рассказывает нам в самых общих выражениях. Штольц представлен вне жизни; а Штольц без жизни все равно, что рыба без воды. Он выведен из своего естественного положения, и потому сам бледен и неестествен до крайности. Так как он на наших глазах не действует, то ему, чтобы зарекомендовать себя читателю, поневоле приходится говорить самому о себе: «Я, дескать, человек деятельный, верьте мне на слово»; автору точно так же приходится обращаться к вере читателя и говорить ему: «Штольц у меня человек деятельный; деятельности вы его не увидите, но он, право, постоянно занят». Читатель, расположенный к скептицизму, подумает при этом так: «если романист приписывает одному из своих героев какое-нибудь качество, а между тем это качество не выражается в его действиях, то я, читатель, имею право заключить, что у автора не хватило сил вложить в образы то, что он выразил в отвлеченной фразе. Деятельный Штольц принадлежит к разряду лиц, подобных добродетельному становому г. Львова и знаменитому чиновнику его сиятельства графа Соллогуба».[9] Читатель-скептик не ошибется в своем предположении.

Впрочем, то обстоятельство, что Гончаров взялся за сооружение своего Штольца, и то обстоятельство, что это сооружение

вышло до крайности неудачным, так характерны, что об них стоит поговорить подробнее. Действующие лица романов Гончарова постоянно вращаются в безразличной атмосфере, живут в тех комнатах, в которые не проникает русский дух, и становятся друг к другу в такие отношения, которые зависят от особенностей их личного характера, а не от условий места и времени. Декорации у Гончарова русские; для обстановки он выводит русского лакея, русскую кухарку, но это — аксессуары, которые могут быть устранены, не нарушая завязки романа; главные действующие лица созданы головою автора, а не навеяны впечатлениями живой действительности. Задавшись своей идеею, набросав ее в общих чертах, г. Гончаров потом уже с натуры подрисовывает подробности, и все вместе выходит очень удовлетворительно и на первый взгляд кажется романом, взятым из русской жизни и воспроизводящим русские типы. Но это только на первый взгляд. Отделайтесь только от обаяния великолепного языка, отбросьте аксессуары, не относящиеся к делу, обратите все ваше внимание на те фигуры, в которых сосредоточивается смысл романа, и вы увидите, что в них нет ничего русского и, кроме того, ничего типичного. Если мы поступим таким образом с «Обыкновенной историей», то увидим, что смысл романа лежит в двух фигурах, в дяде и в племяннике, и что из этих двух фигур — одна неверна и неестественна, а другая совершенно пассивна и бесцветна.

Петр Иванович Адуев, дядя, — не верен с головы до ног. Это какой-то английский джентльмен, пробивший себе дорогу в люди силою своего ума, составивший себе карьеру и состояние и при этом нисколько не загрязнившийся. В нашем отечестве дорога к почестям и деньгам усеяна всякого рода терниями. Кто хочет преуспеть на том поприще, по которому путешествовал Петр Иванович, тот не много сохранит в себе гонора и фанаберии; под старость непременно дойдет до положения Фамусова, а ведь между Фамусовым и Петром Ивановичем — огромная разница. Петра Ивановича, видимо, уважает г. Гончаров, а к Фамусову он, по всей вероятности, отнесся бы с добродетельным презрением. Это видимое различие между Фамусовым и Петром Ивановичем не может быть объяснено различием времени. Скажите по совести, неужели мы так много ушли вперед с тех пор, как была написана комедия Грибоедова? Неужели вы до сих пор не встречаете между вашими знакомыми Фамусова, Молчалина и Скалозуба? Формы стали действительно поприличнее, но что же это за утешение! Неужели же г. Гончаров, выводя своего героя, обманулся внешнею благопристойностью формы и не умел заглянуть поглубже и распознать под гладкими фразами Петра Ивановича родовых свойств фамусовского типа? Вряд ли такой острый аналитик мог впасть в грубую ошибку, в которой может уличить его всякий школьник. Мне кажется, дело в том, что в самом Фамусове автор «Обыкновенной истории» осудил бы

не сущность, а внешнее неблагообразие. Потихоньку вести свои дела, заводить связи и поддерживать их из чистого расчета, заниматься таким делом, к которому не лежит сердце и которого не оправдывает ум, оставлять под спудом в практике те идеи, которые исповедуешь в теории, смотреть с скептическою улыбкою на порывы молодежи, стремящейся обратить слово в дело, — все эти вещи можно назвать благоразумием, лишь бы они не представлялись в полной наготе, без прикрас и смягчений. Своему герою г. Гончаров приписывает именно это благоразумие, утаивая и сглаживая те серенькие стороны, которые неизбежно связаны с этим благоразумием. Но утаить и сгладить эту обратную сторону медали можно было только с тем условием, чтобы показывать читателям одну сторону дела. Если бы г. Гончаров вздумал выдержать очерченный им характер, приведя его в столкновение со всеми фазами русской жизни, тогда ему пришлось бы все эти фазы выдумать самому, и тогда вопиющая неестественность бросилась бы в глаза каждому читателю. На этом основании надо было пройти молчанием все отношения Петра Ивановича к тому миру, который лежит за пределами его кабинета и спальни. На этом основании нельзя было сказать ни слова о том, как Петр Иванович вышел в люди; даже те средства и пути, которыми его племянник приобрел себе независимое положение, покрыты мраком неизвестности. Петр Иванович как чиновник, как подчиненный, как начальник, как светский человек — не существует для читателя «Обыкновенной истории», и не существует именно потому, что автору предстояло решить грозную дилемму: или выдумать от себя всю русскую жизнь и превратить Петербург в Аркадию, или бросить грязную тень на своего героя, как на человека, подкупленного этою жизнью и отстаивающего ее нелепости ради своих личных выгод. Чтобы не насиловать явлений жизни, чтобы не становиться к ним в ложные отношения и чтобы не закидать грязью своего героя, г. Гончаров заблагорассудил в «Обыкновенной истории» совершенно отвернуться от явлений жизни. Отнестись к ним с тем суровым отрицанием, с которым относились к ним все честные деятели русской мысли, открыто заявить свое non-conformity * г. Гончаров не решился. Почему? — Отвечать на этот вопрос не мое дело; пусть ответит на него сам романист. Во всяком случае в «Обыкновенной истории» он исполнил удивительный tour de force, ** и исполнил его с беспримерною ловкостью; он написал большой роман, не говоря ни одного слова о крупных явлениях нашей жизни; он вывел две невозможные фигуры и уверил всех в том, что это действительно существующие люди; он стал в первый ряд русских литераторов, не откликаясь ни одним звуком на вопросы, поставленные историческою жизнью народа, пропуская мимо ушей то,

* Несогласие *(англ.)*. — *Ред.*

** Ловкая штука; затруднительное предприятие *(франц.)*. — *Ред.*

что носится в воздухе и составляет живую связь между живыми деятелями. Исполнить такого рода tour de force, и притом исполнить его на глазах Белинского, удалось г. Гончарову только благодаря удивительному совершенству техники, невыразимой обаятельности языка, беспримерной тщательности в отделке мелочей и подробностей. Герои г. Гончарова ведут между собою такие живые разговоры, что, прислушиваясь к ним, невольно забываешь неверность их типа и невозможность их существования. А между тем эта неверность и невозможность, не заявленные положительно в нашей критике, заявляются в ней отрицательно. Рудина, Лаврецкого, Калиновича, Бешметева наши критики берут как представителей типов, как живых людей, служащих образчиками русской натуры, а героев г. Гончарова никто не берет таким образом, потому что, повторяю, в них нет ничего русского и нет никакой натуры.

Оба Адуевы, дядя и племянник, не обратились и никогда не обратятся в полунарицательные имена, подобные Онегину, Фамусову, Молчалину, Ноздреву, Манилову и т. п. Что сказать о личности Александра Федоровича Адуева, племянника? Только и скажешь, что у него нет личности, а между тем даже и безличность или бесхарактерность не может быть поставлена в число его свойств. Он молод, приезжает в Петербург с большими надеждами и с сильною дозою мечтательности; петербургская жизнь понемногу разбивает его надежды и заставляет его быть скромнее и смотреть под ноги, вместо того чтобы носиться в пространствах эфира. Он влюбляется — ему изменяет любимая девушка; он напускает на себя хандру — и понемногу от нее вылечивается; потом он влюбляется в другую, и на этот раз уже сам изменяет своей Дульцинее; с годами он становится рассудительнее; при этом он постоянно спорит с своим дядею и мало-помалу начинает сходиться с ним во взгляде на жизнь; роман кончается тем, что оба Адуевы сходятся между собою совершенно в понятиях и наклонностях. — «Это канва романа, — скажете вы, — это — общие черты, контуры, которые можно раскрасить как угодно». Это правда; и эти контуры так и остались нераскрашенными; бледность и недоделанность их опять-таки замаскированы тщательностью внешней отделки. Например, Александр едет к той девушке, которую он любит; он чувствует сильное нетерпение, и г. Гончаров чрезвычайно подробно рассказывает, в каких именно внешних признаках проявлялось это нетерпение, как сидел его герой, как он переменял положение, какое впечатление производили на него окрестные виды; потом эта девушка ему изменила, предпочла другого — и г. Гончаров опять-таки с дагерротипическою верностью воспроизводит внешние выражения отчаяния, а потом апатии своего героя. Он пишет вообще историю болезни, а не характеристику больного; поэтому если бы роман г. Гончарова попался в руки какому-нибудь разумному жителю луны, то этот господин

мог бы составить себе довольно верное понятие о том, как говорят, любят, живут, наслаждаются и страдают на земле животные, называемые людьми. Но мы, к сожалению, всё это знаем по горькому опыту, и потому те общие черты, которые наш романист разработывает с замечательным искусством, представляют для нас мало существенного интереса. Мы знаем, что, отправляясь на свидание с любимою женщиною, молодой человек чувствует усиленное биение сердца; как подробно ни описывайте этот симптом, вы охарактеризуете только известное физиологическое отправление, а не очертите личной физиономии. Описывать подобные моменты все равно, что описывать, как человек жует, или храпит во сне, или сморкается. Дело другое, если герой, отправляясь на свидание, перебирает в голове такие идеи, которые составляют его типовое или личное свойство; тогда его мысли стоит отметить и воспроизвести. Но г. Гончаров думает иначе; он с зеркальною верностью отражает все или, вернее, все то, что находит удобоотражаемым, все бесцветное, т. е. именно все то, чего не следовало и не стоило отражать.

Условия удобоотражаемости изменяются с годами; что было неудобно лет десять тому назад, то сделалось удобным и общепринятым теперь. Вследствие этих изменений в воздухе времени изменилось и направление г. Гончарова. Его «Обыкновенная история», за исключением последних страниц, которые как-то не вяжутся с целым и как будто приклеены чужою рукою, говорит довольно прямо, хоть и очень осторожно: «Эх, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремления в даль, к усовершенствованиям, к лучшему порядку вещей! — все это пустяки, фантазерство! — Наденьте вицмундиры, вооружитесь хорошо очиненными перьями, покорностью и терпением, молчите, когда вас не спрашивают, говорите, когда прикажут и что прикажут, скрипите перьями, не спрашивая, о чем и для чего вы пишете, — и тогда, поверьте мне, все будут вами довольны, и вы сами будете довольны всем и всеми». Эти мысли и воззрения в свое время были как нельзя более кстати, их надо было только выразить с некоторою осторожностью, чтобы не прослыть за последователя почтеннейшего Булгарина; а, как мы видели, дипломатической осторожности в «Обыкновенной истории» действительно гораздо больше, чем мысли, и несравненно больше, чем чувства. Но времена переменились, и пришлось настраивать лиру на новый лад; все заговорили о прогрессе, о разуме, и г. Гончаров также заблагорассудил дать нашему обществу урок, наставить его на путь истины и указать ему на светлое будущее. «Россияне! — говорит он в своем «Обломове», — все вы спите, все вы равнодушны к судьбе родины, все вы до такой степени одурели от сна и заплыли жиром, что мне, романисту, приходится в укор вам брать своего положительного героя из немцев, подобно тому как предки ваши, новгородские славяне,

из немцев призвали себе великого князя, собирателя русской земли». — И россияне, с свойственною им одним добродушною наивностью, умиляются над гениальным произведением своего романиста, всматриваются в утрированную донельзя фигуру Обломова и восклицают с добродетельным раскаянием: «Да, да! вот наша язва, вот наше общее страдание, вот корень наших зол — обломовщина, обломовщина!.. Все мы — Обломовы! все мы ничего не делаем! А дело ждет», и т. д.

Добрые люди! напрасно вы так на себя ропщете; да что же вы будете делать? Какая это вам пригрезилась работа? Это, должно быть, одно из следствий вашего продолжительного сна; перевернитесь на другой бок и усните опять. Вы можете быть или Обломовыми, или Молчалиными, Фамусовыми и Петрами Ивановичами; первые — байбаки, тряпки; вторые — положительные деятели; но всякий порядочный человек скорее согласится быть Обломовым, чем Фамусовым. Г. Гончаров, как автор «Обломова», * думает иначе; он думает, что дело ждет, а работники спят, так что приходится нанимать их за границею; спят они не потому, что их измучила работа, не потому, что их истомила жажда и пропекли жгучие лучи солнца, а потому, что — негодящий народ, лентяи, увальни, жиром заплыли! Вот уж это дешевая клевета, пустая фраза, разведенная на целый огромный роман. Г. Гончаров, как Паншин в романе Тургенева «Дворянское гнездо», думает, что стоит только захотеть, так сейчас и посыпятся в рот жареные рябчики, и l'idée du cadastre ** будет популяризирована; вот поэтому его «Обломов» и относится к тогдашнему пробуждению деятельности как замечание начальника, высказанное подчиненному: «Что же вы, дескать, любезный мой, спите? ведь так нельзя! Вы видите, я сам не жалею сил». Г. Гончаров, очевидно, думал этою мыслию попасть в ноту, и действительно многим показалось, что он попал, а на поверку выходит, что пенье было фальшивое, да и подтягивал-то он не тенором, а фистулою. Дело в том, что Обломов похож на Бельтова, Рудина и Бешметева, только гораздо резче обрисован; вот многим, если не всем, и покажись в то время, что г. Гончаров говорит то же самое, что Тургенев и Писемский; а г. Гончаров говорил другое, только с свойственною ему осторожностью. Бельтов, Рудин и Бешметев доходят до своей дрянности вследствие обстоятельств, а Обломов — вследствие своей натуры. Бельтов, Рудин и Бешметев — люди, измятые и исковерканные жизнью, а Обломов — человек ненормального телосложения. В первом случае виноваты условия жизни, во втором — организация самого человека. По мнению Тургенева, Писемского и др.,

* Как автор «Обыкновенной истории», г. Гончаров думает совсем не то: там он думает, что все хорошо и все хороши; стоит только приглядеться да втянуться.

** Идея кадастра *(франц.)*. — *Ред.*

наше общество нуждается в реформах; по мнению г. Гончарова, мы все — больные, нуждающиеся в лекарствах и в советах врача. Согласитесь, что это не совсем то же самое. Вот из этого-то взгляда и вытекла попытка г. Гончарова соорудить нелепую фигуру Штольца. Положительных деятелей нет; это факт, который решается признать наш романист; но почему их нет? — спрашивает он. Дать на этот вопрос удовлетворительный ответ он боится, потому что такой ответ может повести ужасно далеко, по русской пословице: «язык до Киева доведет». Вот он и отвечает: «Деятелей нет, потому что мы страдаем обломовщиною». Это не ответ, это повторение вопроса в другой форме, а между тем фраза облетела всю Россию, «обломовщина» вошла в язык, и даже талантливый критик «Современника» посвятил целую критическую статью на разбор вопроса: что такое обломовщина?

Далее, г. Гончаров рассуждает так: если мы страдаем припадками болезни, то, чтобы изобразить положительного деятеля, стоит только представить здорового человека; в нас недостает энергии, стало быть, если приписать энергию какому-нибудь джентльмену, если заставить его ходить большими шагами, говорить решительно и громко, решать, не задумываясь, теоретические вопросы, — великая задача будет решена; ключ найден, рецепт положительного деятеля составлен; остается только послать в аптеку, чтобы там подписали: «Ordinavit nobis doctor vitae russicae I. Gontcharow». * А ну, как в аптеке не найдется материалов? Что, если провизор усмехнется, прочитав рецепт, и ответит ученому доктору, что таких специй в целом свете нет и что такие химические соединения невозможны ни под какою широтою? Что тогда? Ничего. Доктор умоет руки, скажет, что больной непременно выздоровел бы, если бы можно было найти птичье молоко, о котором толкует его рецепт. В действительности больной не поправится, но зато доктор будет прав: он не задумался, он решил вопрос; его ли вина, что вопрос может быть решен только в теории или, вернее, в фантазии? Да и всего вернее, что робкий провизор не ответит доктору так резко, как мы это предположили. Благоговея перед репутациею ученого мужа, он начнет смешивать и размешивать и, если у него не выдет требуемого соединения, отнесет свою неудачу на счет собственной неловкости, вместо того чтобы обличить эскулапа в невежестве и шарлатанстве.

Благоговение перед авторитетами, общими и частными, одинаково сильно — в аптеках и в журналах. Если откинуть это благоговение, то надо будет сказать напрямик, что весь «Обломов» — клевета на русскую жизнь, а Штольц — просто faux-fuyant, ** подставное решение вопроса, вместо истинного; попытка разрубить фразами тот узел, над которым, не жалея глаз и костей,

---

* Предписал нам врач русской жизни И. Гончаров *(лат.)*. — *Ред.*
** Увертка *(франц.)*. — *Ред.*

трудятся в продолжение целых десятилетий истинно добросовестные деятели. Да! Автор «Обыкновенной истории» напрасно прикинулся прогрессистом. Обращаясь к нашему потомству, г. Гончаров будет иметь полное право сказать: не поминайте лихом, а добром нечем!

IV

Теплее и искреннее могут быть наши отношения к Тургеневу и к Писемскому. Оба они — честные деятели и прямые люди; оба смотрят на явления нашей жизни, понимая и чувствуя свое сродство с ними; оба говорят о них то, что думают в самом деле, говорят искренно и задушевно, не задавая себе задачи подделаться под господствующий тон. За эту правдивость, за эту честную стойкость им можно сказать большое спасибо; говорить, что думаешь, не насилуя себя, — совсем не так легко, как кажется; этого даже нельзя и требовать от всякого, но этим свойством надо дорожить в тех людях, в которых оно встречается. Имена двух романистов наших, Тургенева и Писемского, чисты; никто не обвинит их, как людей и как писателей, в потакании и нашим и вашим. Это отрицательное достоинство, — может заметить читатель; я с этим совершенно согласен, но именно это отрицательное достоинство в наше время так редко, что его стоит отметить там, где мы его замечаем. Читая романы Писемского и Тургенева, приятно сознавать, что каждая строчка их произведений — не фраза, брошенная для удовольствия тех или других читателей, а действительное выражение действительно существующего в авторе чувства или воззрения. С этими чувствами и воззрениями можно не соглашаться, но их нельзя не уважать, потому что право на уважение имеет всякое искреннее убеждение.

Существенное различие между Тургеневым и Писемским бросается в глаза при самом беглом обзоре их произведений; это различие было не раз отмечено в нашей критике; еще недавно г. А. Григорьев назвал Писемского представителем реализма, и Тургенева — представителем и чуть ли не последним могиканом идеализма.[10] Такого рода разграничение обыкновенно ведет к спору о сравнительном достоинстве этих двух направлений и, следовательно, заводит в такую глубь эстетики, которою, как мне кажется, было бы бесполезно и невежливо утомлять читателя. Для меня Тургенев и Писемский важны настолько, насколько они разъясняют явления жизни; следовательно, для меня всего интереснее отношения их к изображаемым ими типам. Что же касается до того, как каждый из них рисует явления и картины, то этот вопрос имеет для меня совершенно второстепенный интерес. Пусть один рисует крупными штрихами, а другой с любовью отделывает подробности — все равно; они могут сходиться между собою в результатах. Разбирать манеру писателя

и отделять ее от манеры другого писателя — почти то же самое, что писать стилистическое исследование; это, конечно, важно для характеристики писателя, но это не может служить ответом на наш вопрос: что сделали Тургенев и Писемский для нашего общественного сознания? — Чтобы сколько-нибудь разрешить этот важный и интересный вопрос, надо обратиться к остову романов и повестей наших литераторов, взглянуть на них почти à vol d'oiseau, * отметить выдающиеся типы и, главное, отдать себе ясный отчет в отношении авторов к этим типам.

При теперешнем положении женщины в обществе и в семействе мужчина является необходимым и единственным проводником идей, носящихся в воздухе эпохи, — в те домашние кружки, которые заменяют нам общество. Под влиянием этих идей, понятых так или иначе, складываются обстоятельства жизни, формируются характеры, определяются направления мысли и деятельности. Мужчины приходят в непосредственные столкновения с жизнью; они серьезно учатся, служат, обделывают жизнь в ту или в другую форму, смотря по своим силам и по обстоятельствам времени и места. Женщины в настоящее время зависят от мужчин в отношении к своему материальному положению, в отношении к своему развитию, к взгляду на жизнь, к тому складу и направлению, которое принимает все их существование. При анализе романа не мешает взять отдельно эти два ряда типов и личностей; одни лица — деятельные, распоряжающиеся обстоятельствами, испытывающие на себе их непосредственное влияние; другие лица — пассивные, зависящие от первых, получающие от них свет преломленный и видоизмененный. Мужчины зависят от общих условий; женщины — от частных условий, от отдельных личностей, от отца, от старшего брата, от любовника или мужа. Общие условия почти для всех одни и те же; следовательно, эти условия в известной сфере общества выработывают довольно определенное количество типов; личного разнообразия искать и требовать мудрено; один мирится с общими условиями, другой заявляет свой протест, — вот вам две главные категории, под которые можно подвести личности мыслящие и действующие; одни идут направо, другие налево; кроме того, одни идут по избранному направлению скорее, другие медленнее: одни идут сознательно, другие из обезьянства; одни легко устают, другие оказываются неутомимыми; но все эти второстепенные оттенки происходят уже от того, что у одного человека больше мозга в голове, у другого больше крови в жилах, у третьего больше лимфы в сосудах, у четвертого больше желчи выделяется из печени. Физиологу, может быть, очень интересно разграничивать эти оттенки и сортировать сообразно с ними людские характеры, но для физиологии общества подобные исследования будут довольно бесплодны.

---

* С птичьего полета *(франц.)*. — *Ред.*

Изучая общество, талантливый и умный романист выводит слабого, сильного, бесцветного человека и т. д. не для того, чтобы сказать читателю: «Вот посмотрите, господа, какие бывают люди!», а для того, чтобы сказать ему: «Вот посмотрите, как действуют на различных людей те условия жизни, те идеи и стремления, среди которых живете вы сами. Посмотрите, какие типы формируются под влиянием этих условий». Только тогда, когда романист доходит до таких размышлений, он является истинным художником, потому что только тогда он вполне овладевает своим предметом и переработывает его силою зиждущей мысли. Где нет этой переработки, там есть только списывание картинок с природы, списывание, предпринимаемое для препровождения времени, списывание, при котором ни сила мысли, ни сила чувства не подсказывают рисовальщику истинного общего смысла тех явлений, которые он кладет на полотно или на бумагу. Как бы ни был ярко нарисован поэтический образ, я имею полное право спросить: на что он мне нужен? что у меня с ним общего? отвечает ли он хоть на один жизненный вопрос? — Если эти вопросы останутся без ответа, я смело отнесу яркий образ к разряду пестрых игрушек, до которых всегда найдется много охотников между взрослыми детьми обоего пола.

Романы Тургенева и Писемского никаким образом не могут быть отнесены к разряду этих игрушек; все они слишком глубоко прочувствованы или слишком полно отражают картины жизни, чтобы не показаться каждому читателю серьезным и дельным словом мыслящего человека. В деятельности Писемского до сих пор нельзя отметить ни одной фальшивой ноты; в деятельности Тургенева, до его несчастного романа «Накануне», не было также значительных ошибок; * ни тот, ни другой не пробовали представить положительных деятелей, т. е. таких героев, которым вполне могли бы сочувствовать автор и читатели; ни тот, ни другой не давали даже нелепых обещаний, вроде того, которое дал Гоголь в первой части «Мертвых душ» и которое он так уродливо выполнил во второй части своей поэмы. Оба — Тургенев и Писемский — стояли в чисто отрицательных отношениях к нашей действительности, оба скептически относились к лучшим проявлениям нашей мысли, к самым красивым представителям выработавшихся у нас типов. Эти отрицательные отношения, этот скептицизм — величайшая их заслуга перед обществом. Сбить с пьедестала пустого фразера, показать ему, что он несет вздор, упиваясь звуками собственного голоса, что он только фразером и может быть, — это чрезвычайно важно; это такой урок, после которого отрезвляется целое поколение; отрезвившись, оно всматривается в окружающие явления... Поколение Рудиных — гегельянцы, заботившиеся

---

* Я не говорю о его стихотворениях и драматических произведениях, которые известны очень немногим читателям.

только о том, чтобы в их идеях господствовала систематичность, а в их фразах — замысловатая таинственность, мирили нас с нелепостями жизни, оправдывали их разными высшими взглядами и, всю свою жизнь толкуя о стремлениях, не трогались с места и не умели изменить к лучшему даже особенности своего домашнего быта. Развенчать этот тип было так же необходимо, как необходимо было Сервантесу похоронить своим Дон-Кихотом рыцарские романы, как одно из последних наследий средневековой жизни. Тип красивого фразера, совершенно чистосердечно увлекающегося потоком своего красноречия, тип человека, для которого слово заменяет дело и который, живя одним воображением, прозябает в действительной жизни, совершенно развенчан Тургеневым и представлен во всей своей дрянности Писемским.

Люди этого типа совершенно не виноваты в том, что они не действуют в жизни, не виноваты в том, что они — люди бесполезные; но они вредны тем, что увлекают своими фразами те неопытные создания, которые прельщаются их внешнею эффектностью; увлекши их, они не удовлетворяют их требованиям; усилив их чувствительность, способность страдать, они ничем не облегчают их страдания; словом, это — болотные огоньки, заводящие их в трущобы и погасающие тогда, когда несчастному путнику необходим свет, чтобы разглядеть свое затруднительное положение.

Тургенев исчерпал этот тип в Рудине, Писемский представил его в Эльчанинове («Боярщина») и в Шамилове («Богатый жених»). Все трое с самых юных лет всё собираются лететь, всё расправляют крылья, иногда машут ими до изнеможения, но ни на вершок не поднимаются от полу и для беспристрастного наблюдателя остаются смешными и пошлыми в самые пылкие минуты своего лиризма. В этих людях равновесие между головою и телом оказывается нарушенным с самого детства; уродливое воспитание не позволяет им развиться как следует в физическом отношении; они не отличаются в детстве ни здоровьем, ни силою, но зато, благодаря наемным гувернерам, очень рано начинают украшать свою голову разнообразными сведениями; они опережают немного сверстников и сами замечают это; воспитатели своим влиянием поддерживают в них это «благородное соревнование». У ребенка являются искусственные интересы, ему хочется не конфект, не игрушек, не беготни, не забав, а того, чтобы его похвалили, по головке погладили, отличили перед другими; он заботится не о том, что доставляет непосредственное приятное ощущение, а о том, что считается хорошим в глазах старших. Вот он подрастает, становится к своим педагогам в критические отношения, но вместе с тем привычка смотреть на себя со стороны не пропадает; когда ему было десять лет, ему хотелось хорошо ответить урок, чтобы учитель назвал его молодцом; а в семнадцать лет ему хочется совершить удивительнейший подвиг, чтобы его имя повторяли с уважением соотечественники и соотечественницы. «Благородная гор-

дость, благородные стремления», — говорят окружающие люди. Мне кажется, вернее было бы сказать, что началось махание крыльями, которое решительно ни к чему не поведет. Удивительнейший подвиг, конечно, не совершается, но мысль о таком подвиге раздражает нервы; молодой искатель великих дел говорит с увлечением и увлекательно; его слушатели — добрая, доверчивая молодежь уважает высоту его порывов и с умилением слушает его тирады; герой наш чувствует свою силу над кружком, воодушевляется своим торжеством, питается своим тщеславием, растет в своих собственных глазах и, одерживая постоянно в споре легкие победы, мечтая и говоря о широкой и великой деятельности, мало-помалу теряет всякую способность трудиться. Вот если бы тут, в кругу молодых слушателей и собеседников будущего великого человека, нашелся умный, едкий скептик, который, как дважды-два — четыре, доказал бы оратору, что он порет ахинею, — тогда, может быть, наш герой одумался бы и понял бы, что мечтать смешно, а не трудиться, когда есть силы, — глупо или по крайней мере нерасчетливо; но молодое пиво бродит, ничто не сдерживает его брожения, и оно бьет через край и утекает в мутной пене; года идут; силы, не освежаемые трудом, тупеют; материальное положение остается сомнительным; способность импровизировать восторженную гиль превращается в привычку говорить высоким слогом о мудреных вещах, как то: *жизнь, Русь, назначение человека, долг гражданина*; удивительный подвиг, который предполагалось совершить в начале поприща, откладывается: фразер начинает понимать, что он ничего не сделал и ничего не сделает, но отказаться от эффектничания перед самим собою он решительно не в состоянии; он начинает говорить: «У меня были силы, их разнесла жизнь; жизнь меня измяла, но я не уступил ее напору; теперь я бессилен, теперь я жалок, ничтожен, смешон». Даже в патетическом перечислении своих нравственных нарывов и струпов наш герой ищет картинной эффектности, подобно тому как уездная барышня ищет интересной бледности, если не может похвастаться свежим цветом лица и округлостью бюста. Роль, позы, трагическая мантия оказываются самыми насущными потребностями неудавшегося титана. Искренности, жизни, натуры — ни на волос.

На словах эти люди способны на подвиги, на жертвы, на героизм; так по крайней мере подумает каждый обыкновенный смертный, слушая их разглагольствования о человеке, о гражданине и других тому подобных отвлеченных и высоких предметах. На деле эти дряблые существа, постоянно испаряющиеся в фразы, не способны ни на решительный шаг, ни на усидчивый труд. Вглядитесь в Рудина: как он говорит о жизни, как его слова западают в душу двум молодым личностям, Наталье и Басистову, как он сам воодушевляется и становится почти велик, когда его увлекает поток его мыслей! И вдруг, что же выходит на деле? Рудин

трусит пред Волынцевым, трусит пред Натальей, спотыкается об ничтожнейшие препятствия, падает духом, выезжая из гостеприимного дома Дарьи Михайловны, и, наконец, является перед читателями измятым, забитым, бесполезным, как выжатый лимон; и тут он фразерствует, только несколькими тонами ниже. Но в Рудине есть выкупающие стороны; Рудин — поэт, голова, сильно раскаляющаяся и быстро простывающая для того, чтобы снова раскалиться от прикосновения других предметов. Он впечатлителен до крайности, и в этой впечатлительности заключаются и его обаятельность и источник его страданий. Если бы дело так же скоро делалось, как сказка сказывается, то Рудин мог бы быть великим деятелем; в ту минуту, когда он говорит, его личность вырастает выше обыкновенных размеров; он гальванизирует самого себя, он силен и верит в свою силу, он готов пойти на открытый бой со всею неправдою земли; вот почему он умирает со знаменем в руке; но в обыденной жизни нельзя устраивать свои дела одним взмахом руки; ничто не приходит к нам по щучьему веленню; надо выработать, надо срыть препятствия и разровнять себе дорогу; для этого необходима выдержка, устойчивость; взрывом кипучей отваги, вспышкою нечеловеческой энергии можно только ослепить зрителей; оно красиво, но бесплодно. Рудин умирает великолепно, но вся жизнь его не что иное, как длинный ряд самообольщений, разочарований, мыльных пузырей и миражей.

Всего печальнее то, что эти миражи обманывали не его одного; с ним вместе, за него и часто сильнее его самого, страдали люди, принимавшие его слова на веру, воспламенявшиеся вместе с ним и не умевшие остыть тогда, когда остывал Рудин. Особенно вредно Рудины действуют на женщин; женщины в нашем обществе нередко до седых волос остаются детьми; они не знают жизни, потому что сами не сталкиваются с нею; они не знают того, как лгут в жизни, поступками и словами, на каждом шагу и при каждом удобном случае, иногда даже лучшие люди и добросовестнейшие деятели; они видят этих людей и деятелей в домашнем костюме, когда вицмундиры сменяются простыми сюртуками; они слышат, как эти люди рассуждают о своей деятельности, и много фальшивой монеты принимают за наличную. Упоминая таким образом о женщинах, я, конечно, не говорю о тех несчастных личностях, которых горькая нужда слишком хорошо познакомила с грязью жизни или которых уродливое воспитание сделало нечувствительными к каким бы то ни было впечатлениям, кроме чисто физической боли и чисто физического наслаждения.

Некоторая независимость от внешних обстоятельств совершенно необходима для того, чтобы человек мог мыслить и чувствовать; если человек целый день работает для того, чтобы не умереть с голода, и утоляет свой голод для того, чтобы завтра опять целый день работать, то он прозябает, а не живет; он черствеет, тупеет, покрывается какою-то ржавчиною; в этом и заключается демора-

лизирующее, опошляющее влияние пауперизма, которого не испытывают животные и который страшным бременем тяготеет над человеком. Следовательно, говоря о психической жизни женщин, я поневоле принужден ограничиваться теми сферами, в которых эта психическая жизнь не подавлена и не забита ежечасною, тревожною заботою о куске хлеба; такие женщины, знающие жизнь настолько, насколько пожелают показать им эту жизнь их папеньки, опекуны или супруги, любят смелые речи Рудиных; они в этих людях надеются увидеть тех героев, к которым инстинктивно стремятся их желания; они надеются через них познакомиться с тою более полною и широкою жизнью, они привязываются к этим людям тою пылкою любовью, которою мы любим наши лучшие надежды, наши светлые мечты, наши благородные стремления; все то, что дает нам силы переносить тягости жизни, все это воплощается для женщины в образе того человека, который горячим словом шевельнул ее мозговые нервы; тут обмануться, тут разочароваться значит упасть с страшной высоты; вынести такое падение, окрепнуть после такого грубого удара удается очень немногим.

Вот в каком отношении Рудины принимают на себя страшную ответственность; кто будит в человеке его лучшие инстинкты, тот должен и удовлетворить их требованиям; кто ведет слабого ребенка на крутую гору, тот может сделаться преступником, если не поддержит до самого конца горы это существо, верующее в его силу и смело пошедшее за ним по его призыву; оставить такое существо на половине дороги, когда впереди страшная крутизна, а сзади страшный спуск в сырую трущобу, — это непростительно: тут извинением не может служить ни ошибка, ни слабость; когда берешься устроивать чужую жизнь, надо взвесить свои силы; кто этого не умеет или не хочет сделать, тот опасен, как слабоумный или как эксплуататор.

V

Выкупающие стороны, отмеченные мною в характере Рудина, не встречаются в личностях Эльчанинова и Шамилова. Сущность типа состоит, как мы видели, в несоразмерности между силами и претензиями; дух бодр, плоть немощна — вот формула рудинского типа. Несоразмерность эта может происходить или от избытка претензий, или от недостатка сил. Рудин воплощает в себе первый момент; Эльчанинов и Шамилов служат представителями второго. Рудин — человек очень недюжинный по своим способностям, но он постоянно собирается сделать какой-то фокус, перескочить à pieds joints * через все препятствия и дрязги жизни; этот фокус ему не удается, потому что он вообще удается только

* Обеими ногами, сразу *(франц.)*. — *Ред.*

немногим счастливцам или гениям; вследствие этого Рудин истощается в бесплодных попытках, разливается в рассуждениях об этих попытках и дальше этого не идет; деятельность обыкновенного работника мысли ему сподручна, да вот, видите ли, он — белоручка, он ее знать не хочет; ему подавайте такое дело, которое во всякую данную минуту поддерживало бы его в восторженном состоянии; он черновой работы не терпит, потому что считает себя выше ее. Эльчанинов и Шамилов, напротив того, представляют собою полнейшую посредственность; они даже в мечтах своих слишком высоко не забирают; им с трудом достаются даже такие рядовые результаты, как кандидатский экзамен; они — просто лентяи, не решающиеся сознаться самим себе в причине своих неудач.

В каждом обществе, дурно или хорошо устроенном, есть два рода недовольных; одни действительно страдают от господствующих предрассудков, другие страдают от побочных причин и только сваливают вину на эти предрассудки. Одни жалуются на то, что масса их современников отстает от них; другие — на то, что эти же современники идут мимо них, не обращая внимания на их возгласы и трагические жесты; к числу первых относятся Галилей, Иоанн Гус, аболиционист Броун; к многочисленной фаланге вторых принадлежат разные непризнанные дарования и непонятые души, люди, нищие духом и не решающиеся убедиться в своей нищете. Один, положим, оказался неспособным кончить курс и вследствие этого кричит, что система преподавания уродлива, а преподаватели — взяточники; другому возвратили нелепую статью из редакции журнала — он начинает жаловаться на тлетворное направление периодической литературы; третьего выгнали из службы за то, что он пьет запоем, —он становится в мефистофелевские отношения к современному порядку вещей. Критические отношения к действительности неизбежны и необходимы, но критиковать надо честно и дельно; кто кидается в отрицание с горя, с досады, чтобы сорвать зло за личную неприятность, тот вредит делу общественного развития, тот роняет идею оппозиции и подрывает в публике доверие к тем честным деятелям, с которыми он, повидимому, стоит под одним знаменем.

Когда вы горячо спорите о чем-нибудь, то нет ничего неприятнее, как услышать от другого собеседника плохой аргумент в пользу вашего мнения; нечестный или ограниченный союзник в умственном деле, в борьбе принципов — вреднее врага; поэтому псевдопрогрессисты мешают делу прогресса гораздо сильнее, чем открытые обскуранты, если только последние в борьбе с новыми идеями останавливаются на одной аргументации. Мелкие представители рудинского типа схватывают на лету свежие идеи, выкраивают себе из них эффектную, по их мнению, драпировку и, закутываясь в нее, до такой степени опошливают самую идею, что становится совестно за них и до слез обидно за идею. Возьмем, например,

Шамилова. Он пробыл три года в университете, болтался, слушал по разным предметам лекции так же бессвязно и бесцельно, как ребенок слушает сказки старой няни, вышел из университета, уехал восвояси, в провинцию, и рассказал там, что «намерен держать экзамен на ученую степень и приехал в провинцию, чтобы удобнее заняться науками». Вместо того чтобы читать серьезно и последовательно, он пробавлялся журнальными статьями и тотчас по прочтении какой-нибудь статьи пускался в самостоятельное творчество; то вздумает писать статью о Гамлете, то составит план драмы из греческой жизни; напишет строк десять и бросит; зато говорит о своих работах всякому, кто только соглашается его слушать. Рассказни его заинтересовывают молодую девушку, которая по своему развитию стоит выше уездного общества; находя в этой девушке усердную слушательницу, Шамилов сближается с нею и, от нечего делать, воображает себя до безумия влюбленным; что же касается до девушки, — та, как чистая душа, влюбляется в него самым добросовестным образом и, действуя смело, из любви к нему преодолевает сопротивление своих родственников; происходит помолвка с тем условием, чтобы Шамилов до свадьбы получил степень кандидата и определился на службу. Является, стало быть, необходимость поработать, но наш новый Митрофанушка не осиливает ни одной книги и начинает говорить: «Не хочу учиться, хочу жениться». К сожалению, он говорит эту фразу не так просто и откровенно, как произносил ее его прототип. Он начинает обвинять свою любящую невесту в холодности, называет ее северною женщиною, жалуется на свою судьбу; прикидывается страстным и пламенным, приходит к невесте в нетрезвом виде и, с пьяных глаз, совершенно некстати и очень неграциозно обнимает ее. Все эти штуки проделываются отчасти от скуки, отчасти потому, что г. Шамилову ужасно не хочется готовиться к экзамену; чтобы обойти это условие, он готов поступить на хлеба к дяде своей невесты и даже выпросить через невесту обеспеченный кусок хлеба у одного старого вельможи, бывшего друга ее покойного отца. Все эти гадости прикрываются мантиею страстной любви, которая будто бы омрачает рассудок г. Шамилова; осуществлению этих гадостей мешают обстоятельства и твердая воля честной девушки. Шамилов делает ей сцены, требует, чтобы она отдалась ему до брака, но невеста его настолько умна, что видит его ребячество и держит его в почтительном отдалении. Видя серьезный отпор, наш герой жалуется на свою невесту одной молодой вдове и, вероятно чтобы утешиться, начинает объясняться ей в любви. Между тем отношения с невестою поддерживаются; Шамилова отправляют в Москву держать экзамен на кандидата; Шамилов экзамена не держит; к невесте не пишет и, наконец, успевает уверить себя без большого труда в том, что его невеста его не понимает, не любит и не стоит. Невеста от разных потрясений умирает в чахотке, а Шамилов избирает

благую часть, т. е. женится на утешавшей его молодой вдове; это оказывается весьма удобным, потому что у этой вдовы — обеспеченное состояние. Молодые Шамиловы приезжают в тот город, в котором происходило все действие рассказа; Шамилову отдают письмо, написанное к нему его покойною невестою за день до смерти, и по поводу этого письма происходит между нашим героем и его женою следующая сцена, достойным образом завершающая его беглую характеристику:

— Покажите мне письмо, которое отдал вам ваш друг, — начала она.

— Какое письмо? — спросил с притворным удивлением Шамилов, садясь у окна.

— Не запирайтесь: я все слышала... Понимаете ли вы, что делаете?

— Что такое я делаю?

— Ничего: вы только принимаете от того человека, который сам прежде интересовался мною, письма от ваших прежних приятельниц и потом еще говорите ему, что вы теперь наказаны — кем? позвольте вас спросить. Мною, вероятно? Как это благородно и как умно! Еще вас считают умным человеком; но где же ваш ум? в чем он состоит, скажите мне, пожалуйста?.. Покажите письмо!

— Оно писано ко мне, а не к вам; я вашими переписками не интересуюсь.

— У меня не было и нет ни с кем переписки... Я играть вам собою, Петр Александрыч, не позволю... Мы ошиблись, мы не поняли друг друга.

Шамилов молчал.

— Отдайте мне письмо, или сейчас же поезжайте куда хотите, — повторила Катерина Петровна.

— Возьмите. Неужели вы думаете, что я привязываю к нему какой-нибудь особый интерес? — сказал с насмешкою Шамилов.

И, бросив письмо на стол, ушел.

Катерина Петровна начала читать его с замечаниями.

«Я пишу это письмо к вам последнее в жизни...»

— Печальное начало!

«Я не сержусь на вас; вы забыли ваши клятвы, забыли те отношения, которые я, безумная, считала неразрывными».

— Скажите, какая неопытная невинность!

«Передо мною теперь...»

— Скучно!.. Аннушка!..

Явилась горничная.

— Поди, отдай барину это письмо и скажи, что я советую ему сделать для него медальон и хранить его на груди своей.

Горничная ушла и, воротившись, доложила барыне:

— Петр Александрыч приказали сказать, что они без вашего совета будут беречь его.

Вечером Шамилов поехал к Карелину, просидел у него до полуночи и, возвратясь домой, прочитал несколько раз письмо Веры, вздохнул и разорвал его. На другой день он целое утро просил у жены прощения.

Вот он каков, Шамилов. Надо отдать Писемскому полную справедливость: он раздавил, втоптал в грязь дрянной тип драпирующегося фразера. Ни Тургенев в своем Рудине, ни Жорж-Занд в Орасе [11] не возвышались до такой удивительной, практической простоты отношений к личностям этих героев.

В выписанной мною заключительной сцене нет ни малейшей эффектности, ни тени искусственности; характер дорисовывается вполне; впечатление производится на читателя самое сильное,

и притом самыми простыми, дешевыми, естественными средствами. Пустой фразер наказан как нельзя больнее, и притом наказан не стечением обстоятельств, как Рудин в эпилоге, а неизбежными следствиями собственного характера. Он тщеславен, неспособен трудиться и сух — очень естественно, что он с удовольствием женится на богатой женщине, хотя бы она была и гораздо постарше его. Соблюдая перед самим собою благообразие отношений, он не сознается в том, что поставил себя в зависимое положение, — ему дают почувствовать эту зависимость; он видит, что дело некрасиво, и пробует возмутиться — ему затягивают мундштук потуже; он, чисто для приличия, произносит перед горничною гордую фразу — его заставляют отказаться от этой фразы; он уходит и надувается — его принуждают просить прощение, да еще целое утро; ему грозят, что его сгонят со двора, — и он становится шелковый. Собаке — собачья смерть, говорит пословица; но мне кажется, было бы правильнее сказать: «собаке — собачья жизнь». Смерть — случайность, потому что камень может свалиться и на героя и на негодяя, но жизнь с своим направлением и с своею обстановкою зависит от самого человека; жизнь Шамилова представляет полный оттиск его личности; каким бы героем этот джентльмен ни умер — все равно; мы видели, как он расположил свое существование, как напакостил себе и другим, и этого совершенно достаточно, чтобы оценить букет его характера.

В Шамилове, по моему мнению, больше жизненного значения, чем в Рудине: Шамиловых тысячи, Рудиных — десятки. Тургенев берет довольно исключительное явление. Писемский, напротив того, прямо запускает руку в действительную жизнь и вытаскивает оттуда таких людей, каких мы встречаем сплошь да рядом; между тем общий характер типа у Писемского проанализирован так же верно, как и у Тургенева, а очерчен даже гораздо ярче.

Виновато ли общество в формировании неделимых,[12] относящихся к этому типу? — На этот вопрос можно ответить так. Общество виновато во всем том, что совершается в его пределах; всякая дрянная личность самым фактом своего существования указывает на какой-нибудь недостаток в общественной организации. Что же делать обществу? спросит читатель. Вешать, что ли, преступников или усиливать полицейские меры для предупреждения преступлений? — Нет, отвечу я. Вор не мог родиться вором, потому что новорожденный ребенок не имеет никакого понятия о том, что такое собственность. Его испортило воспитание, а воспитание зависит от отношений, от условий экономического быта, от суммы гуманных идей, находящихся во всеобщем обращении; если воспитание плохо в каком бы то ни было отношении, в этом прямо виновато общество; ни вы, ни я, ни Петр, ни Сидор отдельно не заслуживают порицания, но те отношения, в которых Петр стоит к Сидору или я стою к вам, могут быть названы ложными, неестественными и стеснительными.

Отношения эти образовались помимо нас и до нашего рождения; их освятила история, их не устранит никакая единичная воля; верить и сомневаться мы не можем ad libitum; * мысли наши текут в известном порядке, помимо нашей воли; даже в процессе мысли мы стеснены условиями нашей физической организации и обстоятельствами нашего развития; если вы выросли при известной обстановке, свыклись с нею в течение вашей жизни и притом не обладаете значительною силою мысли, то вам, может быть, никогда не удастся обсудить эту обстановку совершенно свободно и смело; винить вас в этом было бы смешно, но заметить, что ваша робость оказывает вредное влияние на зависящие от вас личности, было бы совершенно справедливо; устранить это вредное влияние, хотя бы вам это было не по сердцу, также очень законно; но валить на вас ответственность за то, что вы поступаете сообразно с вашею природою, безжалостно и бесполезно. Если пороховые газы у вас в руках разорвут ружье, в котором уже образовался расстрел, то вы, вероятно, не станете сердиться ни на ружье, ни на порох, хотя бы от разрыва у вас перекалечило руки. Вы просто выведете заключение, что расстрелянное ружье может быть разорвано, если положить в него слишком крепкий заряд, и, вероятно, на будущее время будете осмотрительнее. Если бы только вы могли быть всегда последовательны, то и на человеческие слабости и погрешности вы смотрели бы так же бесстрастно, как на разрыв ружья; вы бы остерегались от вредных последствий этих слабостей, но на самые слабости не могли бы сердиться; поэтому необходимо хоть в критике становиться выше искусственного понятия; необходимо, говоря о личности человека, рассмотреть причины его поступков, привести их в соотношение с условиями его жизни, объяснить их влиянием обстоятельств и вследствие этого оправдать того грешника, в которого прежде летели камни. В заключение всего можно только сказать о подсудимой личности: такой-то слаб и не вынес гнета обстоятельств, а такой-то силен и победил все препятствия. Одного мы уважаем за его силу, другого презираем за его слабость по той же самой причине, по которой мы с удовольствием съедаем кусок свежего мяса и с отвращением выбрасываем в помойную яму гнилое яйцо. Кто же во всем этом виноват? Неужели сам субъект, т. е. продукт известных условий, совершенно не зависевших от его выбора? — Никто не виноват, да и что это за скверное слово: *вина*, *виноват*; от него пахнет уголовным наказанием. Это слово, это понятие исчезает теперь, и пенитенциарная система Северных штатов является нам первою удачною попыткою заменить наказание — перевоспитанием.

Шамилов и подобные им личности не имеют права претендовать на общество за то, что общество обращается с ними как с трутнями, но они имеют право жаловаться на то, что общество

* По желанию *(лат.)*. — *Ред.*

допустило их сделаться людьми дряблыми и никуда не годными. Они должны сказать: мы — лишние люди, нас нельзя пристроить ни к какому делу, но если бы нас иначе воспитывали в детстве и иначе направляли в молодости, мы, может быть, не обременяли бы собою земли и не относились бы к коптителям неба и к чужеядным растениям.

VI

Чтобы оттенить своих героев, принадлежащих к рудинскому типу, чтобы рельефнее выставить беспощадность своих отношений к их чахлым личностям и смешным претензиям, Тургенев и Писемский ставят их рядом с простыми, очень неразвитыми смертными, и эти простые смертные оказываются выше, крепче и честнее полированных и фразерствующих умников. Рудин пасует перед Волынцевым, перед отставным армейским ротмистром, не получившим никакого образования. Эльчанинов у Писемского в подметки не годится Савелию, мелкопоместному дворянину, пашущему вместе с своим единственным мужиком. Шамилов оказывается дрянью в сравнении с лихим гусаром Карелиным и даже в сравнении с тупоумным Сальниковым.

Рудин, Эльчанинов и Шамилов гораздо образованнее и даже развитее тех личностей, которым они противополагаются, а между тем неотесанные натуры последних внушают гораздо больше доверия, уважения и сочувствия. Отчего это происходит? Оттого, что в фразерах мы ничего не видим, кроме известной дрессировки, а в дичках видим человека, каков он есть, с самородными достоинствами и с прилипшими случайно странностями и шероховатостями. Но теперь возникает другой вопрос: с какою целью Тургенев и Писемский решаются делать эти сопоставления? Что они хотят этим доказать? Неужели то, что образование вредно действует на человека? На последний вопрос можно смело ответить: нет. Дело в том, что польза образования, на словах, если не на самом деле, до такой степени признана всеми, что этого положения никто не станет доказывать и что против этого положения, выраженного совершенно абстрактно, никто не станет спорить. Сам Аскоченский не скажет прямо: образование вредно, хотя и постарается под благовидным предлогом очернить самые светлые его результаты. Для порядочных же людей нашего времени вопрос о пользе образования давным-давно, чуть не с пеленок, перестал быть вопросом. К признанному же факту, стоящему на незыблемых основаниях, мы можем относиться совершенно смело, с самою беспощадною и последовательною критикою. Нам незачем ни миндальничать перед идеями цивилизации, ни благоговеть перед ее благодеяниями. Мы можем уже говорить другим тоном. Мы видим, что свет цивилизации исподволь распространяется в нашем обширном отечестве, и от всей души радуемся этому факту, но, признавая

его чрезвычайно важным, именно по этой причине и стараемся всмотреться в него как можно пристальнее. Великолепное растение, принадлежащее всем людям, но возделанное с особенною любовью западными европейцами и доставляющее им богатые плоды, перенесено на нашу почву и посажено на наших равнинах, где его и ветром качает, и снегом заносит, и засухой зажаривает. Ведь, право, не грешно будет спросить: каково принялось иноземное растение? есть ли надежда акклиматизировать его под нашим негостеприимным небом? Не грешно будет ответить на это: надежда, пожалуй, есть; да где же ее нет? А принялось-то нежное растение Запада не совсем хорошо; характер его извращен климатическими и другими условиями; плоды мелкие и горьковатые; зелень чахлая и тощая. Вот и стали кричать по этому случаю славянофилы: «Не надо нам этого растения! Оно нам не по климату; оно истощит всю нашу навозную почву, которую мы, отцы и деды наши удобряли с таким постоянным усердием, не щадя живота и животов. Проклятый тот народ, который возделывает это растение; чтоб ему подавиться теми плодами, которые оно приносит!»

Было бы грустно думать, что лучшие из наших современных художников вторят в своих произведениях этим нестройным крикам. Неужели Писемский и Тургенев славянофильствуют, ставя полудикие натуры выше фразеров? Если бы эта статья принадлежала перу славянофила, то наверное бы автор ее подвел такого рода заключение и пришел бы в неописанный восторг оттого, что наши повествователи преклоняются будто бы перед народною правдою и святынею. Я же, не имея счастья принадлежать к сотрудникам покойной «Русской беседы» и ныне процветающего «Дня»,[13] позволю себе взглянуть на дело более широким взглядом и постараюсь оправдать Тургенева и Писемского от упрека в славянофильстве.

Противополагая полудикую натуру — натуре обесцвеченной, наши художники говорят за человека, за самородные и неотъемлемые свойства и права его личности, они не думают выхвалять один народ на счет другого, один слой общества на счет другого, национальная или кастическая исключительность не может найти себе места в том светлом и любовном взгляде, которым истинный художник охватывает природу и человека; обнимая своим могучим синтезом все разнообразие явлений жизни, обобщая их естественным чутьем истины, видя в каждом из них его живую сторону, художник видит человека в каждом из выводимых типов, заступается за него, когда он страдает, сочувствует ему, когда он опечален, осуждает его, когда он гнетет других; — и во всех этих случаях только интересы человеческой личности волнуют и потрясают впечатлительные нервы художника. Спор о том, что годится нам лучше, западная ли наука или восточная рутина, не может иметь никакого интереса для художника; эпитеты: *западная* и *восточная*,

в которых, по мнению борцов различных партий, заключается вся сила, откидываются в уме художника или даже вообще умного человека. Он рассматривает просто науку и рутину, движение и застой, как два различные состояния человеческого мозга; он одинаково легко отрешается от узкой англомании московских доктринеров [14] и от тупого патриотизма славянофилов; способность сочувствовать всему человеческому, всему живому и естественному, способность, составляющая необходимую принадлежность истинного художника, дает ему возможность видеть хорошие стороны самых противоположных между собою явлений и ни под каким видом не позволяет ему делаться рабом какой бы то ни было головной теории.

Наш брат-работник часто вдается в крайность и вследствие этого противоречит самому себе; полемизируя против вредной идеи, мы противопоставляем ей тот принцип, который считаем хорошим, и часто, увлекаясь благородным жаром, проводим этот принцип до последних, в действительности невозможных, пределов; мы пересаливаем, как партизаны, как люди партии, и в эти минуты художник, понимающий как-то инстинктивно правду и ложь всякого дела, может нарисовать нас и воспроизвести в одно время и благородное побуждение, заставляющее нас кричать и беситься, и смешные крайности, до которых доводит нас увлечение. Так поступили Писемский и Тургенев в отношении к явлениям, произведенным у нас на Руси влиянием цивилизации; они отнеслись совершенно беспощадно к той дикой почве, на которой разбрасываются семена нежного, европейского растения; ни Писемского, ни Тургенева нельзя упрекнуть в тупом пристрастии к патриархальности; но, с другой стороны, их нисколько не подкупил блеск той цивилизации, которая делает чудеса в Америке и в Англии: «Блестеть-то она блестит, — говорят наши романисты, — да каково-то у нас она принимается? Ведь теперь период порыва и страсти, и много уродливых, много жалких явлений, много крикливых диссонансов происходит от сшибки общечеловеческого элемента с Домостроем».

Что делать художнику в такие эпохи? Что делать человеку, горячо любящему человеческие интересы и сильно нуждающемуся в нравственной опоре? На что ему надеяться? На силу идеи, внесенной в жизнь народа, или на энергию народа, который переработает доставшуюся ему идею и обратит ее в свою полную умственную собственность, в капитал, с которого он со временем будет брать богатые проценты? На что ему надеяться, повторяю я: на силу идеи или на энергию человека? Конечно, на силу идеи, подхватят идеалисты и доктринеры, на силу истины, которая всегда восторжествует и останется вечно истиною. Хорошо; пускай себе идеалисты говорят что им угодно, а я скажу, что надо надеяться на силу человека как живого, органического тела, и со мною в этом случае согласны, по смыслу своих произведений, Тургенев и Писемский. Увлечься идеею не трудно, подчиниться идее способен

человек очень ограниченных способностей, но такой человек не принесет идее никакой пользы и сам не выжмет из этой идеи никаких плодотворных результатов; чтобы переработать идею, напротив того, необходим живой мозг; только тот, кто переработал идею, способен сделаться деятелем или изменить условия своей собственной жизни под влиянием воспринятой им идеи, т. е. только такой человек способен служить идее и извлекать из нее для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеям многие, овладевают ими — избранные личности; оттого в тех слоях нашего общества, которые называют себя образованными, господствуют идеи, но эти идеи не живут; идея только тогда и живет, когда человек вырабатывает ее силами собственного мозга; как только она перешла в категорический закон, которому все подчиняются, так она застыла, умерла и начинает разлагаться.

Столкнувшись с целым миром новых, широких идей, наши рудинствующие молодые люди теряют всякую способность отнестись к ним критически и, следовательно, всякую способность переработать их в плоть и кровь свою; они благоговеют перед теми идеями, которых они наслушались, любуются на эти идеи, но жить ими не могут, потому что нельзя же жить такими вещами, на которые смотришь издали и которых не осмеливаешься взять в руки. Они — сами по себе, а идеи их — сами по себе. Очень может быть, что новыми идеями вообще увлекаются прежде других натуры впечатлительные, подвижные, не способные к критике и вследствие этого ничтожные в деле жизни; те кряжистые натуры, которые противополагаются Рудиным, воспринимают туго, недоверчиво, постепенно; но когда известная идея, как известный прием лекарства, расшевелила их мозговые нервы, тогда они начинают действовать; мысль не расходится с делом; они живут, вместо того чтобы рассуждать о жизни; таких людей у нас немного, но таких людей начинает признавать и уважать наше общество. К числу их принадлежал Зыков, которого представил Писемский в романе «Тысяча душ»; таким людям приходится только говорить, надсаживать легкие бесплодным криком, надрывать грудь над неблагодарною работою, иногда вдаваться в дикий кутеж с горя, сжигать жизнь дотла и умирать с горьким сознанием своего бессилия, умирать, как умирает человек, задыхающийся под стогом сена, которого он не в силах своротить с своей груди. Некрасивая и даже негромкая смерть. Эти мученики нашего тупоумия и нашей инертности до сих пор были разрозненными единицами, и художники наши не могли обращаться с ними как с представителями целого типа; в том, что называется у нас обществом, замечалось страшное раздвоение; одни повторяли на разные лады чужие мысли и воображали себе, что они *думают;* другие ничего не думали и ничего не воображали, росли в брюхо, ели и наедались, жили и умирали, словом, задавая себе маленькие цели, шли к ним бодрым, твердым шагом и всегда достигали их, если не слу-

чалось поскользнуться или если не расшибал паралич. Весь запас мыслей был на одной стороне, весь запас воли и энергии — на другой; между теми и другими лежала бездна...

Но от кого же ждать спасительного толчка: от фразеров или от дикарей? Ответ на этот вопрос ясен. Фразеры развились до последних пределов, настолько, насколько они способны развиться; развились — и остановились; они сделали все, что могли, и больше от них нечего ждать, это — выпаханное поле; а у дикарей — новь, дичь, глушь, репьи да крапива; но есть растительная сила, которую ничто не заменит. Кто заучился до такой степени, что потерял здравый смысл, на того остается махнуть рукой; кто ничему не учился, у того могут быть проблески самородного здравого смысла, и из этих проблесков может выработаться, смотря по обстоятельствам, живая мыслительная сила или горький, забулдыжный русский юмор. В живой силе, в здоровом теле, в мускулах, в костях и в нервах, а не в бумажных страницах и не в кожаных переплетах заключаются для человека задатки светлого будущего. Работать надо, работать мозгом, голосом, руками, а не упиваться сладкозвучным течением чужих мыслей, как бы ни были эти мысли стройны и вылощены.

VII

Кроме типа неисправимых фразеров, в произведениях Писемского и Тургенева можно отметить еще два главные разряда мужских характеров. Во-первых, заслуживают внимания люди, подобные Лежневу и Лаврецкому; во-вторых, люди, подобные Веретьеву (в повести Тургенева «Затишье») и Рымову (в рассказе Писемского «Комик»). Первые проникаются гуманными идеями и, не вступая во имя этих идей в борьбу с действительностью, располагают только свою собственную жизнь сообразно с этими идеями. Если они — помещики, они берут с своих крестьян легкий оброк, обращаются с ними кротко и ласково и, не ломая круто их предрассудков, стараются по возможности улучшать их материальный быт и смягчать грубость их нравов; если у них есть семейство, они предоставляют свободу жене своей, воспитывают детей своих вне предрассудков и не стесняют их свободной воли с той самой минуты, когда она начинает у них проявляться. Словом, это люди мягкие, не тяжелые, терпимые ко всему, что их окружает, и в том числе к глупостям и подлостям других людей. Как деятели, они никуда не годятся; но мерить достоинства человека только тою пользою, которую он приносит идее или окружающему обществу, было бы не совсем справедливо. Если человек не вредит другому, если он живет в свое удовольствие, не эксплуатируя других и не стесняя чужой свободы, то самое строгое нравственное jury * должно

* Суд *(франц.)*. — *Ред.*

признать его невиновным. Как деятель, он — нуль; но заставлять всех быть деятелями и клеймить презрением того, кто в этом отношении оказывается несостоятельным или, вернее, кто совершенно не выступает на это поприще, значит врываться в область личной свободы и смотреть на человека не как на самостоятельный организм, а как на винт или как на гайку в общем механизме общества. Предоставляю этот взгляд Платону, Аристотелю и новейшим их последователям; я же, с своей точки зрения, безусловно оправдываю Лежнева, Лаврецкого и Белавина; они делают, что могут, и больше от них нечего требовать, потому что требовать от человека самоотвержения совершенно неделикатно и негуманно, как бы велика и прекрасна ни была та идея, во имя которой мы его требуем.

Темперамент людей, подобных Лежневу и Белавину, обыкновенно очень спокоен; развиваются они при благоприятных условиях, т. е. обыкновенно пользуются обеспеченным состоянием, усвоивают себе свои убеждения без особенной боли, смотрят на жизнь светло и любовно, любят ровно и тихо, ненавидеть не умеют и спокойно презирают то, что возмущает до глубины души людей более страстных и раздражительных. Они — люди умеренные по самой натуре своей; их несправедливо было бы смешать с теми личностями, которые угождают нашим и вашим из чистого расчета, из боязни навлечь себе неприятности или из желания подслужиться; первые — люди, от природы лишенные жала и желчи; вторые — скрывают жало и желчь и пускают их в ход тогда, когда они могут сделать это.

Совершенную противоположность с этими спокойными натурами представляют люди, подобные Рымову и Веретьеву. Это — люди с кипучими силами, с огневым темпераментом, с огромными страстями, с резкими недостатками, но с яркими талантами и с могучими стремлениями. Дарования и силы этих людей разбрасываются, тратятся на пустяки, и сами они видят это, и самим им жаль себя, и досадно на себя, и хочется забыться, утопить тяжелое чувство, размыкать горе. Сколько могучих талантов гибнет в нашем отечестве от беспорядочной жизни, от пьянства и кутежа! Зачем пьют, зачем кутят?.. Человек с умом и с душою такого наглого вопроса не предложит. Кабы не было тяжело, так не стали бы пить. Пить с горя не изящно, я с этим согласен, но жалок тот человек, который постоянно смотрит на себя со стороны и всю свою жизнь думает о том, чтобы сохранить внешнее благообразие; у людей, полных души и чувства, бывают такие минуты, когда весь человек сосредоточен в одном стремлении, когда он им только и живет, в нем только и видит отраду и цель существования; и если что-нибудь остановит такого человека в то время, когда он идет к своей любимой цели, если что-нибудь станет между этим человеком и его призванием, тогда не пеняйте на него и не удивляйтесь его поступкам. Та самая сила, которая могла бы сделать чудеса, победить все внешние препятствия, осуществить беспокойное стре-

мление, та самая сила, перед проявлениями которой мы бы стали благоговеть и преклоняться, обращается против самого человека и разбивает вдребезги ту грудь, в которой она гнездится. Есть люди, которые могут помириться с неполною или помятою жизнью, с перекошенною и перекрашенною деятельностью; есть и другие люди, которые не умеют делать уступок; им подавай или все, или ничего; при первой разбитой надежде, при первой попытке жизни прибрать их к рукам и скрутить их по-своему они бросают все и с каким-то злобным наслаждением разбивают об дорогу и свой идеал, и свои стремления, и молодость, и силы, и жизнь. Являются вспышки отчаянной энергии, попытки повернуть дело по-своему и головою пробить себе дорогу к любимой деятельности; но такие попытки одному человеку не по силам, и за энергическим движением вперед следует обыкновенно страшная, часто отвратительная реакция. Кабы этим силам да другую сферу — было бы совсем другое дело. Тип широкой натуры, разбрасывающейся в простом народе на сивуху, а в среднем кругу — на шампанское, мог бы переродиться в тип талантливого, живого, веселого работника.

Отношения Писемского к этому типу теплее, симпатичнее и справедливее, чем отношения Тургенева. Тургенев смотрит на своего Веретьева как-то слишком легко и слишком презрительно: это невеликодушно; жертвы нашего собственного тупоумия, нашей собственной инертности имеют право на наше сочувствие или по крайней мере на наше сострадание; если жизнь одних вколачивает в могилу, других вгоняет в кабак, третьих превращает в негодяев, то согласитесь, что в этом не виноваты те личности, которые не выносят атмосферы этой жизни. «Комик» Писемского неподражаемо хорош, как выражение этой идеи в поразительно ярких образах. Вот, говорит автор, Рымов запил, превратился в тряпку, попал под башмак глупой жены своей, какого-то ходячего пуховика; а вот, полюбуйтесь, то общество, среди которого он живет, — все как на подбор: один глупее другого, и каждый подличает по-своему; Рымов пьяный умнее их всех трезвых. Как же ему не пить? Когда везде видишь, по выражению Гоголя, одни свиные рыла, тогда поневоле захочешь хоть на несколько минут закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. Рымов ищет одурения, самозабвения, бреда — и все это очень понятно, все это — протест против того, с чем борются все честные деятели и что ненавидят все порядочные люди.

VIII

В том, что я написал до сих пор, есть несколько мыслей о тех явлениях жизни, которые представлены Писемским и Тургеневым. Полной оценки их деятельности нет, а между тем статья вышла уже очень большая. Сознавая ее неполноту, я постараюсь в особой статье высказать свои мысли о женских типах, выведенных в произ-

веденпях Гончарова, Тургенева и Писемского. Кроме того, о таком романе, как «Тысяча душ», нельзя говорить вскользь и между прочим. По обилию и разнообразию явлений, схваченных в этом романе, он стоит положительно выше всех произведений нашей новейшей литературы. Характер Калиновича задуман так глубоко, развитие этого характера находится в такой тесной связи со всеми важнейшими сторонами и особенностями нашей жизни, что о романе «Тысяча душ» можно написать десять критических статей, не исчерпавши вполне его содержания и внутреннего смысла. Об таких явлениях говорить всегда кстати; говорить о них — значит говорить о жизни, а когда же обсуждение вопросов современной жизни может быть лишено интереса? Поэтому я теперь постараюсь в нескольких словах сгруппировать выводы, которые могут быть сделаны из теперешней моей статьи:

1) Я считаю трех названных мною романистов важнейшими представителями современной поэзии и отвергаю заслуги наших лирических поэтов, за исключением гг. Майкова и Некрасова.

2) В романе Гончарова я вижу только тщательное копирование мелких подробностей и микроскопически тонкий анализ. Ни глубокой мысли, ни искреннего чувства, ни прямодушных отношений к действительности я не замечаю.

3) В Писемском и в Тургеневе я дорожу преимущественно их отрицательным и совершенно трезвым воззрением на явления жизни.

4) Писемский глубже Тургенева захватывает эти явления, изображает их более густыми красками и по жизненной полноте своих творений, как «черноземная сила», стоит выше Тургенева.

1861 г. Ноябрь.

ЖЕНСКИЕ ТИПЫ

В РОМАНАХ И ПОВЕСТЯХ ПИСЕМСКОГО, ТУРГЕНЕВА И ГОНЧАРОВА

I

Сколько лет уже живут люди на свете, сколько времени толкуют они о том, как бы устроить свою жизнь поизящнее и поудобнее, а до сих пор самые простые и положительно необходимые отношения не установились как следует. До сих пор мужчина и женщина мешают друг другу жить, до сих пор они взаимно, самыми разнообразными и утонченными средствами, отравляют друг другу жизнь. Разойтись они не могут, сойтись как следует не умеют и, инстинктивно стараясь сблизиться, запутываются в такие сложные, мучительные, неестественные отношения, о которых свежий человек с здоровым мозгом не может себе составить даже приблизительно-верного понятия. Мужчина гнетет женщину и клевещет на нее. Взгляните на восточные гаремы, вспомните о тех законах, по котоным вдова должна была сжигаться на костре покойного мужа, вспомните те странные статьи первобытного уголовного кодекса, в силу которых нарушительница супружеской верности подвергалась смертной казни или по меньшей мере жестокому и унизительному телесному наказанию, — вспомните все это, и вы увидите ясно, что на стороне мужчины всегда находились сила, власть и неоцененное право мучить по своему благоусмотрению подчиненную, безответную и, сравнительно с ним, слабую спутницу. Загляните потом в литературу всех народов, начиная с древнейших времен, пересчитайте, если у нас на то хватит сил и сведений, все ядовитые или просто грязные обвинения, направленные против женщины вообще, и вы увидите так же ясно, что мужчина, постоянно развращавший женщину гнетом своего крепкого кулака, в то же время постоянно обвинял ее в умственной неразвитости, в отсутствии тех или других высоких добродетелей, в наклонности к тем или другим преступным слабостям. Обвинения эти делались, конечно, чисто с точки зрения самого обвинителя, который в своем собственном деле являлся обыкновенно истцом, судьею, присяжным

и палачом. Если, например, молодому образованному греку времен Перикла было скучно сидеть с своею женою, которая не знала ничего, кроме своих рабынь и шерстяной пряжи, то он громко обвинял ее в тупоумии и уходил с веселыми приятелями к модной гетере, где, конечно, находил полное сочувствие своему семейному горю, а вслед за сочувствием отыскивал и утешение. Жена, существо молодое, свежее, способное развиваться и наслаждаться, оставалась одна, не смея даже роптать, с тихим, затаенным вздохом принималась опять за пряжу, робко поджидала возвращения господина-супруга, стыдливо принимала его полупьяные ласки и, не получая ниоткуда притока свежего воздуха, постоянно тупела и с каждым днем сильнее и сильнее надоедала своему мужу. Возьмем другой пример.

Если богатый мусульманин, владетель великолепного гарема, не имел возможности любить с одинаковою силою всех своих жен и любовниц и если одна из оставленных одалиск искала себе утешения в какой-нибудь посторонней привязанности, если она успевала склонить стражу и украдкой ввести в гарем своего возлюбленного, — хозяин и властелин считал себя смертельно оскорбленным и самым жестоким образом вымещал свою обиду на своей возмутившейся собственности. Эта собственность зашивалась в мешок и отправлялась на дно ближайшей реки или немилосердно уродовалась палками, плетьми, розгами и другими исправительными орудиями, принадлежащими к той же категории.

Но все это, скажет читатель, примеры, взятые из отдаленного прошлого или из другой, уродливо сложившейся цивилизации! Хорошо, возьмем пример из наших времен и из нашего быта. Года четыре тому назад в нашем отечестве был поднят вопрос о воспитании; появилось несколько педагогических журналов, и в них, между прочим, заговорили очень речисто о женщине. На наших женщин напали с двух сторон: во-первых, их раскритиковали в пух как воспитательниц; во-вторых, — как часть воспитывающегося и вырастающего молодого поколения. Матерям и воспитательницам наша литература говорила безо всяких обиняков: «Вы воспитываете скверно, вы сами пусты, вы живете нарядами и выездами, вы не думаете о страшной ответственности, которая лежит на вас перед обществом, перед родиною, перед собственною совестью. Покайтесь и обратитесь на путь истины». Обращаясь к воспитанницам, литература наша даже их умела обвинить в том, что они получили с самых малых лет скверное направление, что они не любят науки, равнодушны к интересам своего развития, обожают своих учителей, начинают кокетничать чуть не с пеленок и, достигши шестнадцатилетнего возраста, норовят выйти замуж за кого попало. Я возьму только один факт этого обвинения и докажу ва́м, что по своей идее он нисколько не лучше тех двух примеров, которые я привел выше.

В первом примере грек дуется на свою жену за ее неразвитость, которую он же сам поддерживает в ней своим обращением с нею.

Во втором примере мусульманин колотит свою одалиску за неверность, которую он же сам вызывает своею невнимательностью.

В третьем примере литераторы наши ругают женщин за их ветреность, за их пустоту, которая поддерживается складом всего общества и в которой виноваты одни мужчины, как единственные деятельные члены этого общества.

Наши русские матери плохо воспитывают, — согласен; да где ж им было научиться приемам здравой педагогики? Где им было проникнуться человеческими идеями? Наши матери занимаются устройством своих куафюр или маринованием грибов, — опять-таки согласен. Да что же им делать, когда они ничего лучшего не знают? А не знают они потому, что с ними никто по-человечески не говорил. Виноваты же в этом одни мужчины, потому что мужчины дирижируют оркестром общественных убеждений и являются запевалами. Если выходит разладица, они же сами за это отвечают и на себя должны пенять.

Наши девушки кокетничают потому, что никто не умеет шевельнуть как следует их ума; молодые силы ищут себе исхода и, не находя себе разумного приложения, обращаются на пустяки и тратятся на нелепости; девушка старается выйти замуж — это очень похвально и благоразумно; желая этого, она повинуется естественному голосу физической природы и показывает в себе присутствие свежих сил, потребность любви и наслаждения; кроме того, она очень хорошо понимает, что, выходя замуж, она становится свободнее, чем была прежде, находясь в родительском доме; если она ищет для себя личной свободы, значит, она инстинктивно или сознательно понимает ее цену. Кто стремится к независимости, тот во всяком случае оказывается сильнее, умнее и энергичнее человека, мирящегося с своим подчиненным положением.

Чтобы выйти замуж, многие девушки пускают в ход неблагообразные средства; они стараются понравиться, продают товар лицом, кокетничают; все это очень нехорошо, но опять-таки в этом виноваты мужчины. Если бы мужчинам не нравились кокетки, если бы мужчины требовали от женщин серьезного ума, если бы они не довольствовались легкою грацией, тогда кокетство сделалось бы невозможным. А кричать в литературе против того зла, которое поощряешь в жизни, бесцельно и бесполезно. Валить нравственную ответственность на такое существо, которое в течение всей своей жизни находится в зависимости, несправедливо и неблагородно. Пора, мне кажется, сказать решительно и откровенно: женщина ни в чем не виновата. Она постоянно является страдалицею, жертвою или по крайней мере страдательным лицом. Если случается иногда, что женщина отравляет существование доброго, честного и умного мужчины, то в этом случае совершается только

круговая порука. Женщина вымещает на своем муже то зло, которое ей сделали в доме отца; ее испортили, — она и является испорченною; а все-таки в существовании портящих элементов виновата не женщина. Она в полном смысле слова — продукт известных бытовых форм и условий, и притом продукт, не имеющий никакой возможности заявить свой протест. Даже мужчина, недовольный тою жизнью, на которую обрекают его понятия, укоренившиеся в обществе, бывает принужден выдержать страшную борьбу, — такую борьбу, которая обыкновенно истощает до последней капли живые силы его личности; большая часть мужчин не доводят этой борьбы до конца, смиряются и склоняют голову, признавая себя побежденными; кто остается победителем, тот скоро умирает от последствий непомерных усилий.

Подумайте, что же при таких условиях может сделать женщина? Вспомните, что женщина у нас знает несравненно меньше, чем мужчина, изнежена несравненно больше и также несравненно больше мужчины сдавлена контролем общественного мнения. Мужчина приходит в столкновение с множеством разнообразных сфер; родительский дом, гимназия, университет, департамент или полк, маскарад, трактир, редакция журнала, прилавок торговой конторы — ведь это все школы жизни; положим, что каждая из этих школ сама по себе неудовлетворительна, но зато их довольно много, и каждая из них более или менее дает материалы для критики остальных. Если даже мы видим уродливые явления, то они оказывают на нашу мыслительную деятельность возбуждающее влияние, лишь бы только эти уродливые явления не были утомительно-однообразны. Мужчине есть на чем развиться; что это развитие пойдет вкривь и вкось — в этом нет почти ни малейшего сомнения; но тем не менее первобытный сон ребенка будет нарушен, придется не раз задуматься, рассердиться, опечалиться, явятся столкновения с разными личностями, с разными сферами; явится борьба, и эта борьба так или иначе начнет обтесывать личность молодого индивидуума, вступающего в жизнь. Те задатки способностей и страстей, которые лежали в темпераменте мальчика, разовьются в дурную или хорошую сторону, смотря по обстоятельствам; сделавшись молодым человеком, этот мальчик помирится с жизнью или восстанет против нее, но во всяком случае он обозначится, по-своему поймет сáмого себя и станет к окружающей его жизни в какие-нибудь отношения. Личность сложится так или иначе, а у женщины в большей части случаев и этого не бывает. Мужчину жизнь вертит и колышет круче, но женщину она давит сильнее. Для того чтобы одна женщина выделилась своим образом жизни из тысячеголовой массы необозначившихся, недоразвившихся и ничем не затронутых индивидуумов, необходимо соблюдение нескольких условий, которые в нашем обществе, при теперешнем складе воспитания и понятий, встречаются чрезвычайно редко.

Необходимо, во-первых, чтобы что-нибудь вызвало на размышления и на критику. Необходим какой-нибудь толчок, который нарушил бы ребяческую полудремоту девушки или женщины. Мужчина встречает такие толчки довольно часто; каждый из нас помнит, вероятно, теплое слово какого-нибудь учителя или профессора, старшего товарища или случайного знакомого, которого светлая личность рельефно вырисовывается на темном фоне будничных житейских воспоминаний; каждый испытал, вероятно, электрическое действие такого слова, после которого приходилось оглянуться на свою прежнюю жизнь, перебрать в уме свои неясные, непереебродившие чаяния и стремления и положить первый краеугольный камень будущим мужским убеждениям. — К таким словам женщины восприимчивее, чем вы думаете: такие слова для них не пропадают даром, они запоминают их чувством, они вырастают и развертываются мгновенно под живительным влиянием такого слова, они привязываются всеми силами молодой и пылкой души — и к этому слову и к тому, кто его произносит; но посмотрите, где, когда, от кого приходится им слышать такое слово? Много ли у нас таких людей, которые способны заговорить с женщиною по-человечески? а из тех людей, которые на это способны, много ли таких, которые достойны этого? Много ли таких, повторяю я, которые, вызвав доверие и сочувствие женщины смелою, вдохновенною тирадою, не обманут этого доверия и не окажутся мыльными пузырями и ничтожными фразерами? Оглянемся на самих себя; посмотрим, каковы мы сами; посмотрим, что мы, люди дела, люди мысли, дали и даем нашим женщинам? Посмотрим — и покраснеем от стыда! Порисоваться перед женщиною изяществом чувств, огорошить ее блестящею оригинальностью вычитанной мысли, очаровать ее красивою смелостью честного порыва — это наше дело, на это мы мастера. А дальше, дальше, когда надо эту же самую женщину поддержать, защитить, ободрить, — мы на попятный двор, мы начинаем делаться благоразумными, мы пугаемся того, что мы сделали, мы стараемся залить тот пожар, который сами, сдуру, не спросясь броду, раздули; мы говорим и себе, и другим, и даже женщине: вольно ж было так горячо принимать к сердцу! Надо помириться, надо покориться! Да, вот мы каковы, и туда же требуем от женщины, чтобы она была мыслящим существом. И смешно и досадно!

Вот видите ли: стало быть, если даже толчок дан, если даже мышление и критика пробудились, этого еще недостаточно. Женщина во всяком возрасте до такой степени лишена самостоятельности, что первые же проявления этой критики очень легко могут быть задавлены теми людьми, которые составляют обстановку. Молодое существо шевельнется, рванется к какой-то новой, незнакомой жизни, его круто осадят назад; оно заговорит — его осмеют; оно начнет протестовать — ему велят молчать; чтобы победить в неравной борьбе, которая завяжется между молодою женщиною

и обстановкою, необходимы или особенно благоприятные обстоятельства, или огромная сила характера. Осуждать ту молодую девушку или женщину, которая начнет борьбу и не выдержит ее до конца, — я не решаюсь. Сил у нее мало — да что же делать? Где было развиться этим силам? На что им опереться? Да и наконец, разве ей самой, этой побежденной личности, склонившей голову и смирившейся перед тем, что вызывает в ней глубокое отвращение, разве ей самой легко жить на свете? Обличать страдалицу, осуждать женщину, сломленную и изнывающую под ее бременем, — это, может быть, высоконравственно и глубоко справедливо, но я предоставлю подобные подвиги другим, тем более, что охотники всегда найдутся.

Итак, получивши расшевеливающий толчок, женщина должна еще получить извне или развить в самой себе силы для протеста и борьбы. Борьба будет самая разнообразная; сначала внутренняя борьба, ломка прежних убеждений и созидание новых; потом борьба с семейными властями, с маменьками, с тетушками, с их матримониальными планами, с их великосветскими предрассудками, с их мещанскою посредственностью и окоченевшею рутинностью; наконец — борьба с общественным мнением, с насмешками, намеками и сплетнями. Возьмем самую простую вещь — труд женщины. Мы знаем внешний факт: некоторые девушки ходили на лекции в университет и ходят до сих пор в Медико-хирургическую академию. [15] Но знаем ли мы внутреннюю, закулисную, семейную сторону этого факта? Сколько домашних споров вызывало, быть может, желание девушки учиться серьезно, сколько раз это желание бывало подавляемо, сколько слез тут было пролито, и какие святые слезы! Если вы, положим, видите сегодня десять девушек на лекции, то почему вы знаете, чего им стоило прийти? И почему вы знаете что на эту лекцию не пришло бы еще двадцать девушек, если бы их не задержали... доводами, насмешками, силою? Теперь идет речь о том, что женщины желают быть допущены к медицинской практике. Вопрос, как вы видите, поднят свежий, но какие иногда встречаются отзывы, — хоть святых вон неси! Например, киевская газета «Современная медицина» в своем фельетоне вздумала позубоскалить на эту тему; [16] она говорит, что женщины-медики будут поставлены в щекотливое положение, если им придется лечить специально-мужские болезни, и потом предлагает этим женщинам-медикам называться докториссами. Это только плоско и, конечно, не может иметь никакого влияния на разрешение поставленного вопроса, но вы посмотрите на дело вот с какой точки зрения: если такие шутки откалываются в печати людьми грамотными, чуть ли даже не учеными, то что же говорится на эту тему конфиденциально, в своих кружках, людьми темными и употребляющими прилагательное *ученый* не иначе, как с прибавлением существительного *гусь*... Каково тут будут острить и потешаться над тою женщиною, которая у нас в России первая решится объявить

себя практикующим медиком? И ведь эти остроты и потехи будут раздаваться в тех самых семейных кружках, в которых будут подрастать молодые существа, способные проникнуться до глубины души идеею о пользе и необходимости женского труда. Какова будет борьба! Каково будет слабой женщине с нежною, тонкою кожею проходить сквозь строй грубых насмешек, наглых взглядов в упор, благонамеренных советов и крупно посоленных острот и намеков! Подумайте-ка об этом, поставьте на место этой пробивающейся личности образ дорогой для вас женщины, и тогда найдите в себе силы бросить камнем в ту, которая ослабеет и спасует на половине дороги. Мне кажется, вы тогда согласитесь со мною в том, что женщина находится у нас в таком положении, при котором она не отвечает ни за что; когда она изнемогает и падает, мы должны ей сочувствовать как мученице; когда она одолевает препятствия, мы должны прославлять ее как героиню.

Если что-нибудь дурно в женщине, так дурна форма, в которую отлиты ее понятия, чувства и действия; а форму эту изготовили мы; изменить ее собственными силами женщина не может; а материал в ней так хорош, так свеж, несмотря на уродливую форму, в которую он втиснут, что он заставляет все забывать; любовь матери, сестры, любовницы, жены разливает на нашу серую жизнь светлые полосы счастья и поэзии. И за что нас любят эти милые существа? И чем мы это заслужили? На этот вопрос мы затруднимся ответить, если не захотим ответить фразой; но в этом избытке любви, которая вырывается из меры и тратится без разбора, в этой кипучей полноте покуда не осмысленного чувства, в этом отсутствии нравственной экономии и рассудочности — заключаются именно задатки будущего богатого развития, будущей широкой, разносторонней, размашистой жизни, будущей плодотворной, любвеобильной деятельности. Что сделает женщина, если она будет развиваться наравне с мужчиною? — это вопрос великий и покуда неразрешимый.

II

Из предыдущих общих рассуждений читатель может заметить две выдающиеся черты: во-первых, то, что я во всех случаях, безусловно оправдываю женщину; во-вторых, то, что я считаю теперешнее положение женщины крайне тяжелым и неутешительным. С этими двумя основными идеями я приступлю теперь к анализу женских типов, встречающихся в романах и повестях Гончарова, Тургенева и Писемского. Я буду выбирать только те личности, которые еще борются с жизнью и чего-нибудь от нее требуют. Женщины, уже помирившиеся с известною долею, не войдут в мой обзор потому, что они, собственно говоря, уже перестали жить.

Те конечные результаты, к которым приводит жизнь, не лишены интереса; их можно изучать как определившиеся факты, как

памятники прошедшего; но дело в том, что мы теперь живем тревожною жизнью настоящей минуты; мы чувствуем неотразимую потребность отвернуться от прошедшего, забыть, похоронить его и с любовью устремить взоры в далекое, манящее, неизвестное будущее. Поддаваясь этой потребности, мы сосредоточиваем все наше внимание на том, в чем видна молодость, свежесть и протестующая энергия, на том, в чем вырабатываются и зреют задатки новой жизни, представляющей резкую противоположность с нашим теперешним прозябанием. Наши романисты также поддаются этой потребности, изображая своих героинь именно в тот момент, когда они, под влиянием чувства к мужчине, развертывают все силы своей природы и поворачивают свою жизнь в ту или другую сторону. Этот поворотный пункт в жизни женщины особенно важен; редко удается женщине пойти по той дороге, которая обещает полное удовлетворение ее потребностям и стремлениям; большею частью ей приходится, споткнувшись об какое-нибудь препятствие, свернуть куда-нибудь в сторону и потом, убедившись в невозможности выйти снова на прежний широкий, светлый и ровный путь, жить день за днем, без цели, без определенных желаний, без живого наслаждения. Кто видит женщину в этой фазе развития, тот видит существо больное, слабое, увядающее, способное молча покоряться, но уже потерявшее силы и желание работать и бороться. В такой отживающей женщине вы не найдете следов той энергии, которая кипела в молодой девушке; в энергии этой заключаются залоги будущего развития, следовательно, чтобы составить себе понятие о том, на что способна женщина, какие силы таятся в ее мозгу, в ее нервах, изучайте ее тогда, когда она еще полна жизни и свежести, а не тогда, когда она измята, избита и обесцвечена влиянием пошлых людей и пошлой обстановки. Берите ее именно в ту минуту, когда она любит и когда, подавая руку избранному человеку, она готова с ним рядом весело идти навстречу труду, лишениям, суду света, упрекам родственников, словом — всем тем передрягам, которые закаляют человека и которые на нашем бесцветном и неточном разговорном языке называются горем и неприятностями.

Роман большей части наших женщин непродолжителен и нерадостен благодаря тому обстоятельству, что наши мужчины из рук вон плохи; а почему плохи наши мужчины, это я, насколько возможно, старался объяснить в предыдущей статье.[17] Большею частью мужчина влюбляется в женщину или тогда, когда он находится в положении неоперившегося птенца, или тогда, когда жуирование жизнью, мелкие дрязги и постоянный разлад между миром мысли и миром действительности измучили и утомили его до крайности. Свежести и силы нет у наших мужчин; они становятся стариками на другой день после того, как перестают быть ребятами; мало того, старческая дряблость живет в них рядом с ребяческою наивностью и неразвитостью; не умея ни одним

серьезным делом заняться серьезно, они уже начинают чувствовать себя лишними на белом свете в том возрасте, в котором при нормальном образе жизни должно еще продолжаться физическое и умственное развитие. Делать нечего, заняться нечем, болтать вдохновенную чепуху надоедает — и человек мечется из угла в угол, привязывается к разным искусственным интересам, чтобы хоть чем-нибудь заинтересоваться, и наконец, встретив на своей дороге женщину, которая ему нравится и способна понимать то, что он ей будет говорить, воображает себе, что он в пристани, что цель жизни найдена, что его счастье в руках этой любимой им особы. Но дело в том, что особа и ее обожатель совершенно различными глазами смотрят на жизнь.

Женщину заинтересовывает то, что мужчина говорит ей о жизни; она сама не жила, а покуда только росла или прозябала в родительском доме; а между тем сил пожить и желания пожить в ней набралось много, вот она и слушает с напряженным и постоянно возрастающим любопытством и участием то, что ей говорит ее собеседник о новом для нее процессе, о самостоятельной жизни, в которой человек сам пожинает посеянные плоды и сам несет ответственность за свои хорошие и дурные поступки. Она не замечает того, что ее собеседник устал жить, хотя в сущности очень мало жил; она не замечает того, что ее собеседник постоянно оставался школьником, хотя давно уже покинул университетскую скамью; она воображает себе, что деятельность ее собеседника действительно широка и плодотворна, что жизнь его полна и разнообразна; она готова была бы завидовать ему, если бы она его не любила и не надеялась разделить с ним все наслаждение и всю обаятельную тревогу этой, по ее мнению, деятельной жизни. Она не знает и не понимает, что ее обожатель никогда в жизни не являлся и не явится полноправною, самостоятельною, всесторонне развитою человеческою личностью; она не видит того, что избранник ее сердца бегает как белка в колесе и будет продолжать это общеполезное занятие до тех пор, пока не откажутся служить его руки и ноги; заглядывая из спертой атмосферы своей девической каморки в рабочий кабинет того человека, которого она желает назвать своим мужем, девушка не замечает того, что она только из одной клетки хочет перейти в другую; эта другая будет, пожалуй, попросторнее первой, да что же в этом толку? — клетка все-таки останется клеткою.

Ошибаясь насчет размеров и значения деятельности, девушка ошибается точно так же насчет самой личности того человека, который, поразивши ее воображение, начинает мало-помалу возбуждать в ней любовь. Она слушает его рассуждения о жизни с страстным воодушевлением и придает его личности часть того огня, который горит в ней самой: она воображает себе, что рассказчик чувствует то же самое, что чувствует она, слушательница; ведь случается же иногда, что человек, с которым произошло какое-нибудь счастливое событие, выходит на улицу и воображает себе

под влиянием своего господствующего настроения, что все окружающие предметы, одушевленные и неодушевленные, смотрят на него как-то особенно весело, дружелюбно и доверчиво. Если такой человек одарен значительною долею впечатлительности и фантазии, то с ним может случиться то, что он подойдет к цепной собаке, чтобы приласкать ее, и, конечно, очень быстро печальным опытом убедится в ошибочности своих оптимистических воззрений. Для молодой девушки, воспитывающей в груди своей первое чувство любви, такого рода ошибка почти неизбежна. Идеализировать личность нравящегося человека гораздо легче, чем идеализировать цепную собаку, а последствия от того и другого могут выйти одинаково скверные, хотя и существенно различные по внешним проявлениям.

Молодой человек, рассказывающий девушке о том, как он развивался, как боролся с обстоятельствами, что́ перенес и выстрадал, гальванизирует самого себя процессом рассказа и близостью нравящейся ему женщины; глаза его блестят, давно поблекшие щеки загораются ярким румянцем; дикция его оживляется по мере того, как он замечает впечатление, производимое его речью на свою собеседницу; он сам наслаждается своим торжеством: чувство удовлетворяемого самолюбия доставляет ему более сильное удовольствие, чем чувство разделенной любви; в самой пылкой сцене любви он является в одно время и актером и зрителем, и эта несчастная способность смотреть на самого себя со стороны в то время, когда существо свежее безраздельно отдается обаятельному впечатлению минуты, эта несчастная способность, повторяю я, есть верный симптом вялости и дряблости; мозг постоянно бодрствует и господствует над всеми отправлениями организма потому, что остальные нервы притупились и ослабели. А между тем девушка вся находится под обаянием: ни одно слово в рассказе, ни одна нота в голосе рассказчика, ни одно изменение в мускулах его лица или в выражении его глаз не пропадает для нее и не ускользает от ее напряженного, благоговеющего внимания. Новые, неиспытанные и неожиданные ощущения проходят через ее нервную систему с такою непостижимою быстротою, что она в течение получасового разговора переживает чуть ли не два-три года и почти внезапно из взрослого ребенка превращается в любящую женщину. И как она хороша в эту минуту перерождения! И как она, при всей своей чуткости, при всей напряженной силе внимания, не способна отнестись критически к своему собеседнику! Как она горячо верит и как жестоко ошибается! В ней вспыхивает энергия, и в нем вспыхивает энергия; но в ней это первые проблески разгорающегося пламени, а в нем это последние искры потухающего огня. Она после двух-трех теплых разговоров способна решиться на все, а он после двух-трех таких разговоров уже ровно ни на что не способен; она подойдет к нему и скажет: «Ну, что же! мы довольно говорили; пора действовать, пора жить; если между нами есть препятствия,

опрокинем их, перешагнем через них. Пойдем навстречу трудам, опасностям и наслаждению». А он, потративши остатки энергии на восторженную речь, чистосердечно удивится тому, что от него еще чего-то требуют; она думает, что разговор есть только начало действия, прелюдия жизни, а он после разговора отдыхает на лаврах в полном убеждении, что разговор есть полнейшее и единственно возможное проявление жизни. Увлеченная его речами, она кидается к нему на шею и в эту минуту забывает и папеньку, и маменьку, и то, что в комнату может войти посторонний человек, и даже то, что она — благородная девица, как неоднократно внушали ей воспитательницы. А он, при подобной вспышке действительного чувства, при подобном проявлении свежей жизни, теряется и опускает руки под влиянием чисто комического, глубокого испуга; он не знает, что ему делать с этою женщиною, принявшею его слова в таком серьезном смысле; он до такой степени теряет присутствие духа, что не понимает даже того, что ему из деликатности, почти из приличия следует приласкать любящее существо и ответить выражением теплого сочувствия на страстные объятия; он предобродушно просит взволнованную женщину успокоиться, прийти в себя, вспомнить, что их могут застать...

Если эта сцена происходит с девушкою впечатлительною, слабою и нервною, то она разрешается слезами, кончается истерическим припадком и не производит решительного перелома; девушка объясняет себе всю нескладность этой сцены тем обстоятельством, что она сама была расстроена и взволнована; любимый мужчина не теряет в ее глазах своего достоинства, и разочарование происходит уже впоследствии, после целого ряда подобных сцен и нескольких месяцев вялых отношений. Но если действующим лицом в этой нелепой сцене была девушка или женщина сильная, страстная и энергическая, то она сразу понимает, как пошло вел себя в этой сцене нравившийся ей мужчина, она быстро откидывается назад, одним холодным взглядом уничтожает впечатление всего разговора, в одну минуту сосредоточивается в самой себе, и только что начатой роман оказывается навсегда оконченным, без шуму, без слез, без эффектных выходок и, повидимому, к обоюдному удовольствию героя и героини. А между тем чувство женщины глубоко и несправедливо оскорблено; она обманута в лучших своих верованиях; первое проявление жизни прихвачено морозом, и самая жизнь оказывается надломленною. Зло, конечно, поправимое, но кому же его поправить? Где у нас те люди, которые умели и хотели бы понять страдания женщины и радикально излечить эти страдания любовью, ласкою, удовлетворением той потребности деятельности, которая постоянно волнует мыслящую человеческую личность? Если бы у нас было много таких людей, то во многих отношениях жизнь наша пошла бы не так, как она идет теперь.

III

Из женских личностей, выведенных в романах г. Гончарова, только Ольга Сергеевна Ильинская до некоторой степени заслуживает анализа. В доброе старое время, когда литература считалась роскошью и забавою жизни, от автора романа требовали только блестящего вымысла и разнообразия картин; самые строгие ценители требовали от него нравственного поучения и совершенно удовлетворялись его произведением, если оно изображало борьбу добра и зла и выводило на сцену воплощения разных добродетелей и пороков; одни критики требовали, чтобы непременно торжествовало добро; другие, более догадливые, позволяли злу одерживать победу, но желали только, чтобы зло, подавленное или торжествующее, было представлено в очень отвратительном виде, «во всей наготе своего безобразия», как выражались с добродетельным негодованием эти догадливые ценители. Для одних роман был источником благородной забавы, пособием для успешного пищеварения, чем-нибудь вроде хорошей сигары, рюмки ликера или коньяка; для других роман был нравоучением в лицах, и эти другие смотрели на первых как на жалких умственных недорослей, как на людей пустых и ничтожных. Эти другие, считавшие себя солью земли и светилами мира, очень много толковали об идеалах и искали идеалов в романах, повестях и драмах. Под именем идеала они разумели что-то очень высокое и хорошее; идеалом человека они называли совокупление в одном вымышленном лице всевозможных хороших качеств и добродетельных стремлений; чем больше таких качеств и стремлений романист нанизывал на своего героя, тем ближе он подходил к идеалу и тем больше похвал заслуживал он со стороны этих высокоразвитых ценителей. Ценители эти хотели, чтобы читатель, закрывая книгу, мог сказать с сердечным умилением: «Да! вот какие должны быть люди! Увы! зачем это я не похож на этого героя и зачем это в моей супруге нет ни малейшего сходства с изящною личностью этой героини?»

Доброе старое время, о котором я говорю, время Грандисонов и Кларисс, для многих добродушных людей еще не миновалось и для многих никогда не минует. До сих пор есть такие высоконравственные люди, которые смотрят на литературу как на проповедь, возвышающую душу и очищающую нравственность; есть и такие, которые видят в ней весьма позволительную забаву; есть даже и такие, которые видят в ней источник всякого зла. Люди последней категории не читают ничего, кроме календарей и деловых бумаг; но зато люди первых двух категорий с наслаждением читают «Обломова»; людей, наслаждающихся чтением романов после сытного обеда, нежит обаятельность языка и спокойствие рассказа; сверх того, их радует и умиляет тщательная отделка мелочей; нужны ли эти мелочи для понимания дела, об этом они не спрашивают; ощущение, доставляемое им романом, приятно,

и они совершенно довольны. Люди, ищущие назидания, восхищаются фигурою Ольги и видят в ней идеал женщины; каюсь, господа читатели, года два тому назад и я принадлежал к числу этих людей, и я восторгался Ольгою, как образцом русской женщины. [18] Но наш железный век, век демонических сомнений и грубо реальных требований, образует мало-помалу таких людей, которые даже романисту не позволяют быть фантазером и даже ученому специалисту не позволяют быть буквоедом. Мы нуждаемся, говорят эти люди, в решении самых элементарных вопросов жизни, и нам некогда заниматься тем, что не имеет прямого отношения к этим вопросам. Мы жить хотим и, следовательно, назовем деятелем жизни, науки или литературы только того человека, который помогает нам жить, пуская в ход все средства, находящиеся в его распоряжении.

Но создания г. Гончарова не выясняют нам ни одного явления жизни, и, следовательно, мы можем взглянуть на всю его деятельность как на явление чрезвычайно оригинальное, но вместе с тем в высокой степени бесполезное. Мы не требуем от художника мелкого обличения, но полагаем, что понимание жизни и ясные, сознательные и притом искренние отношения к поставленным им вопросам представляют необходимую принадлежность художника. Г. Гончаров попытался нарисовать образ русской девушки, одаренной от природы значительными умственными силами и поставленной при самых выгодных условиях развития. Картинка вышла, на первый взгляд, очень красивая. Благодаря пластичности гончаровского изложения большинство читателей приняли Ольгу за живую личность, возможную при условиях нашей жизни. Первое впечатление говорит в пользу героини «Обломова», но стоит только, не останавливаясь на мелочах, взглянуть на крупные черты этого характера, чтобы убедиться в том, что он выдуман, как и все то, что когда-нибудь выходило из-под пера г. Гончарова. При первом своем появлении на сцену Ольга выходит из головы автора совершенно сформированною, в полном вооружении, подобно тому как в доброе старое время Паллада-Афина вышла из черепа Зевеса.

Автор пытается объяснить происхождение выведенного им женского характера, но попытки эти оказываются совершенно неудачными. Говоря вскользь о развитии Ольги, г. Гончаров указывает только на два обстоятельства, отличавшие собою ее жизнь от жизни других девушек, принадлежащих к тому же слою общества. Первым обстоятельством является отрицательное влияние тетки, вторым — положительное влияние Штольца. Тетка, заменившая Ольге родителей, не мешала ей делать что угодно, а Штольц в досужные минуты учил ее уму-разуму; первое обстоятельство довольно правдоподобно: сироты обыкновенно растут свободнее, чем дети, воспитывающиеся в родительском доме; они терпят больше горя, но зато развиваются самобытнее и становятся тверже, именно потому, что их не охватывает со всех сторон расслабляющая атмо-

сфера слепой любви и неотразимого деспотизма. Ольге было удобнее развиваться под надзором тетки, чем под руководством матери; но ведь тетка могла дать только отрицательный элемент; она могла до известной степени не мешать развитию, а условия жизни, выбор чтения, кружок знакомых должны были направлять силы молодого ума в ту или другую сторону.

Что мог сделать Штольц? Если бы даже он с неуклонным вниманием следил за проявлениями мысли и чувства в молодой девушке, то и тогда ему одному было бы довольно трудно составлять противовес всему влиянию домашней и общественной обстановки. Но, кроме того, Штольц — «человек деятельный»; он с утра до вечера бегает по городу, он постоянно находится в разъездах; где ж ему быть руководителем и воспитателем молодой девушки? Сверх того, Штольц относится к Ольге как к ребенку даже во время той сцены, после которой он предлагает ей руку и сердце; когда Ольга говорит ему о своем романе с Обломовым, он ей отвечает на ее признания: «Вас за это надо оставить без сладкого блюда за обедом». Если этот деловой господин, сильно смахивающий вообще на commis voyageur, * относится так шутливо к серьезному рассказу девушки о серьезных чувствах и о действительных, пережитых ею страданиях, то можно себе представить, с какою покровительственною улыбкою он относился к этой девушке, когда она ходила в коротеньких платьях и когда она, как умный, развивающийся ребенок, всего более нуждалась в дружеском совете и в уважении со стороны взрослого. Кроме того, Штольц и сам не отличается значительною высотою развития; когда Ольга, сделавшаяся уже его женою, жалуется ему на какие-то стремления, на какую-то неудовлетворенную тоску, Штольц говорит на это: «Мы не боги», и советует ей покориться, помириться с этою тоскою, как с неизбежною принадлежностью жизни. Штольц, очевидно, не понимает смысла и причины этой тоски, но, как человек самолюбивый и самонадеянный, он не решается признаться в своем непонимании и пускается в фразерство. Человек, неспособный понять такую простую вещь, человек, неспособный в решительную минуту поддержать и разумным образом успокоить женщину, опирающуюся на него с полным доверием, конечно, не может иметь на развитие молодого существа того решительного и благотворного влияния, которое приписано Штольцу в романе г. Гончарова. Если Штольц не умеет направить к разумной деятельности силы женщины, уже сложившейся и окрепшей, то каким же образом может этот самый Штольц пробудить и вызвать к жизни силы, еще дремлющие в мозгу ребенка? Есть, конечно, такие люди, которые могут расшевелить, но потом не в силах поддержать доверившуюся им женщину; к числу таких людей принадлежит Рудин, Шамилов, герой стихотворения Некрасова «Саша»; такие

---

* Коммивояжер *(франц.)*. — *Ред.*

люди слабы и порывисты, а Штольц тверд и спокоен; такие люди очень хорошо знают, что́ надо делать, но у них не хватает сил на то, чтобы исполнить сознанное дело. Штольц, напротив того, мог бы все сделать, но он не знает, что́ надо делать. Из всего этого видно, что Штольц не имеет ничего общего с людьми рудинского типа; мало того, он поставлен в противоположность к этому типу; он, по мнению г. Гончарова, является живым укором этим людям. Спрашивается, как же этот высокоразвитой, металлически твердый, трезво и спокойно размышляющий человек оказался неспособным вывести жену свою из лабиринта осадивших ее сомнений и стремлений?

Те эпитеты, которые я здесь придаю Штольцу, не выражают моего личного мнения об этой фигуре; этими эпитетами я обозначаю только те свойства, которые г. Гончаров *хотел* придать своему созданию; я же с своей стороны не считаю Штольца ни высокоразвитым, ни металлически твердым, ни спокойно размышляющим; все эти свойства могут быть приписаны человеку, а я не считаю Штольца за человека. Я вижу в нем довольно искусно выточенную марионетку, двигающуюся взад и вперед по произволу выточившего ее мастера. Еще гораздо искуснее марионетки Штольца выточена другая очень красивая марионетка, Ольга Сергеевна Ильинская; но жизни нет ни в той, ни в другой. Поэтому, говоря о гончаровских лицах, нам приходится только следить за процессом мыслительной деятельности в голове автора; нам приходится не обсуживать выведенные им стороны жизни, а просто решать вопрос, последовательны ли и пригодны ли его суждения. Беру я на себя этот труд потому, что имя г. Гончарова пользуется значительною известностью и, следовательно, мнения его могут иметь некоторое влияние на мысли читателей.

Итак, мы видели, что́ г. Гончаров думает о развитии женщины: он полагает, что девушке достаточно пользоваться некоторою независимостью и встречаться порою с умным и твердым мужчиною, для того чтобы вполне развить свои природные силы. Те пределы, которых должна достигать эта независимость, не обозначены ясно, потому что отношения Ольги к тетке совершенно не обрисованы и отношения ее к обществу оставлены в тени, с тем замечательным умением, с которым г. Гончаров всегда набрасывает покрывало на то, о чем, по его мнению, неудобно распространяться. Те размеры, в которых должны проявляться ум и твердость мужчины, также не определены с достаточною ясностью; г. Гончаров не дал себе труда подумать о том, чем могут быть искренние и разумные отношения между развитым мужчиною и развитою женщиною, и вследствие этого отношения эти вышли бледны и фальшивы, как казенная фраза на избитую тему. В самом характере Ольги встречаются внутренние противоречия, которые ясно показывают, до какой степени туманны и сбивчивы понятия автора о том идеале

женщины, который он сам себе составил и который он хотел выяснить читателям своего романа.

Возьмем отношения Ольги к Обломову. Ольгу заинтересовывает грациозность этой честной, мешковатой личности, которой наивность и природный ум резко отделяются от вычурности и бесцветности тех светских джентльменов, которых до того времени приходилось видеть Ольге. Заинтересовавшись Обломовым, Ольга начинает в него вглядываться, убеждается в том, что он действительно умен, честен, мягок, симпатичен, и начинает чувствовать к нему влечение. Когда эта зародившаяся любовь сделалась заметна для самой Ольги, то она взглянула на свое чувство довольно оригинально; она посмотрела на него как на подвиг, который посылает ей судьба; она вообразила себе, что ей предстоит обновить Обломова, одряхлевшего от умственного сна, воодушевить его новою энергиею и сделать его способным к деятельной, человеческой жизни. Чтобы понимать таким образом свои отношения к любимому человеку, надо стоять на высокой степени умственного развития и обладать огромными природными силами. Кто стоит на такой степени и обладает такими силами, тот неспособен затосковать беспредметною тоскою и не понять причины своей тоски. Если Ольга понимает, что Обломову необходима деятельность, то как же она может не понять, что ей, как энергической личности, деятельность еще гораздо необходимее? Как же она не понимает, что вся ее тоска с любимым человеком, на южном берегу Крыма, среди роскошной, цветущей природы, — не что иное, как неудовлетворенная потребность разумной деятельности? Как, наконец, эта энергическая природа не рвется вон из душной атмосферы спокойного, сонного счастья в живую среду деятельности и тревоги? Как возможно, чтобы Ольга, решившаяся так резко разорвать свои отношения с Обломовым тогда, когда Обломов оказался тряпкою, чтобы эта самая Ольга, повторяю я, успокоилась на плоском ответе Штольца: «Мы не боги» и помирилась с такою жизнью, в которой, сколько нам известно, по словам г. Гончарова, не было ничего, кроме воркования любящего супруга, нянчания ребенка и забот по домашнему хозяйству? Энергическая женщина сама пробила бы себе дорогу к деятельности и взглянула бы с невольным презрением на того мужчину, который решился бы уверить ее, что надо быть богом, чтобы работать и наслаждаться. Но г. Гончаров, расходясь с моим мнением, доказывает, кажется, совершенно противное. Если сгруппировать в общую картину все черты, введенные им в фигуру Ольги, то смысл выйдет довольно оригинальный, гармонирующий с основною идеею «Обыкновенной истории». Ольга в крайней молодости берет себе на плеча огромную задачу; она хочет быть нравственною опорою слабого, но честного и умного мужчины; потом она убеждается в том, что эта работа ей не по силам, и находит гораздо более удобным самой опереться на крепкого и здорового мужчину. Положение ее очень прочно и комфорта-

бельно, но, как вспышка молодости, у нее является припадок тоскливого волнения. Этот припадок от времени до времени повторяется, постепенно ослабевая; наконец молодая женщина совершенно излечивается, делается спокойною и веселою, и жизнь ее начинает струиться тихим, прозрачным и отчасти усыпительно журчащим ручейком. Г. Гончаров находит, что это сонное спокойствие должно быть признано счастьем; я с ним не буду спорить, потому что у каждого свои понятия о счастье: это — дело личного вкуса. Г. Гончаров в изображении личности Ольги, точно так же как и в «Обыкновенной истории», производит вариации на известные русские пословицы: «жгуча крапива, да уварится», или «кабы на горох да не мороз, он бы и тын перерос»; он видит в проявлениях молодости и свежести дикие вспышки, бесплодные попытки перекрутить все по-своему и постепенно ослабевающие припадки сумасбродства, он смотрит на вещи трезвыми глазами благоразумного старца и считает развитие человека благополучно довершенным в ту эпоху, когда он начинает располагать свои слова и поступки, сообразуясь с внушениями приличного расчета.

Знаете ли, господа читатели, что вышло бы из «Обломова», если бы этот роман был рассказан писателем, смотрящим на вещи не так благоразумно, как смотрит г. Гончаров? Вышло бы вот что: Обломов оказался бы беззаботною головою, с поэтическими стремлениями, не находящими себе удовлетворения; он бы вышел похожим на Бельтова; и автор показал бы, что условия жизни, а не лимфатический темперамент мешают ему развернуть свои способности и удовлетворить тем стремлениям, которые от неудовлетворения чахнут и мелеют. Ольга оказалась бы очень умною девушкою, во всей личности которой совершается борьба между энергическим голосом чувственности — с одной стороны, и расчетом — с другой стороны. Ей нравится Обломов; она желала бы отдаться ему; ее привлекает грациозная беззаботность, спокойная размашистость этой честной личности; но, с другой стороны, эти самые свойства внушают ей серьезные и благоразумные опасения. «Ведь этот Обломов, — рассуждает она, — ужасный ротозей; его могут оплести и обмануть так, что он и ухом не поведет; растратит все состояние, работать не сумеет, служить не пойдет, потому что «прислуживаться тошно». Что же я с ним буду делать? Он милый, хороший; мне его поцеловать хочется, у меня к нему сердце лежит, да ведь страшно; ведь он по миру пустит». Пока девушка раскидывает таким образом своим рано созревшим рассудочком, чувство симпатии к Обломову в ней усиливается, она увлекается пылким темпераментом; случайно рука ее попадает в его руку; она наклоняется к нему, слышится звук поцелуя; случай этот повторяется, — она счастлива потому, что находится под обаянием минуты, и потому, что в ней громко говорит голос здоровой природы... Но в это время обаяние вдруг разрушается; ей делает предложение молодой человек, Штольц, находящийся на отличной дороге,

подвигающийся к видному положению в обществе, отлично устроивший свое имение и пользующийся репутациею красивого, умного и дельного джентльмена. «Из молодых, да ранний», говорят об этом юноше благоразумные старцы, и этот-то юноша с подобающею солидностью выражает Ольге искренность и силу своего чувства и, серьезно глядя ей в глаза, предлагает ей руку и сердце. Юноша Штольц действует не без расчета: он знает, что Ольга может рассчитывать на наследство от какой-нибудь тетушки или бабушки; «кроме того, — рассуждает он, — все же будет женщина в доме: больше порядка, изящества, представительности; в том положении, которое мне в скором времени придется занимать, это даже необходимо». Ну, да что тянуть рассказ! Расчет у Ольги берет верх над чувством; она круто обрывает отношения с Обломовым, называет его пустым человеком, хотя самой больно расстаться с милою личностью, и, наконец, скрепя сердце, выходит замуж за дельного Штольца, который представляет что-то среднее между Калиновичем Писемского и Паншиным Тургенева. Апофеоза расчета, скептическое отношение к чувству — вот альфа и омега обоих романов г. Гончарова. Эти черты составляют остов характера Ольги; не та девушка хороша, по мнению Гончарова, которая любит сильно и бескорыстно, а та, которая умеет выбирать себе мужа; не тот человек хорош, по мнению г. Гончарова, у которого есть и теплое чувство, и светлый ум, и широкие стремления, а тот, кто, живя с волками, умеет выть по-волчьи. Это совершенно справедливо, и эту глубокую истину, до которой мы, легкомысленные свистуны,[19] никак не можем додуматься, уже давно сознала ученая редакция учено-литературного журнала «Русский вестник».[20] Одно опасно в этом случае: желая понравиться волкам, подражая под них, как говорит наше купечество, можно завыть так нескладно и нелепо, что даже волкам придется тошно. Да и, наконец, неужели большинство нашей публики — волки? Не наговор ли это?

Итак, насчет Ольги Ильинской мы можем заметить, что это характер, неверно понятый и ложно представленный автором. Кто не может ужиться с нами, думает г. Гончаров, тот и дрянь; кто живет припеваючи, тот молодец. Коротко и ясно. Но справедливо ли будет, если я поступлю так: положим, я иду мимо высыхающего прудка и вижу, что карась издыхает от недостатка воды; в это самое время сотни лягушек прыгают и квакают, пляшут от радости и с наслаждением таскают червяков из жидкой грязи; я останавливаюсь над карасем и, указывая ему на лягушек, начинаю ругать его, зачем он не веселится и не наслаждается благами жизни. Прав ли я буду? Кажется, нет. — Не виноват карась в том, что он родился карасем, и не большая заслуга лягушкам от того, что они родились или сделались лягушками. Один дышит жабрами, другой — легкими; один любит светлую воду, другой — жидкую грязь. Ну, и с богом!

IV

С любовью и с полным доверием обращаюсь я снова к нашим менее благоразумным художникам, Писемскому и Тургеневу. У Тургенева мы находим разнообразие женских характеров, у Писемского — разнообразие положений. Тургенев входит своим тонким анализом во внутренний мир выводимых личностей; Писемский останавливается на ярком изображении самого действия. Романы Тургенева глубже продуманы и прочувствованы; романы Писемского плотнее и крепче построены. Тургенев больше Писемского рискует ошибиться, потому что он старается отыскать и показать читателю смысл изображаемых явлений; Писемский не видит в этих явлениях никакого смысла, и в этом случае, заботясь только о том, чтобы воспроизвести явление во всей его яркости, он, кажется, избирает верную дорогу. У Тургенева уловлен смысл нашей жизни, но, рядом с тонкими и верными замечаниями и соображениями, попадаются поразительно фальшивые ноты, вроде построения Инсарова. У Писемского букет нашей жизни, как крепкий запах дегтя, конопляника и тулупа, поражает нервы читателя помимо воли самого автора. Тургенев мудрит над жизнью, и иногда невпопад; Писемский лепит прямо с натуры, и создания его выходят некрасивые, грубые, кряжистые, как некрасива, груба и кряжиста самая жизнь наша, самая неотесанная наша натура. Общая атмосфера нашей жизни схвачена полнее у Писемского, но зато индивидуальные характеры у Тургенева обработаны гораздо тщательнее. Словом, романы Писемского представляют *этнографический* интерес, а романы Тургенева замечательны по интересу *психологическому*.

В повестях и романах Тургенева много великолепно отделанных женских характеров. Я остановлюсь только на некоторых; возьму Асю, Наталью (из «Рудина»), Зинаиду (из «Первой любви»), Веру (из «Фауста»), Лизу (из «Дворянского гнезда») и Елену (из «Накануне»).

Ася — милое, свежее, свободное дитя природы; как незаконнорожденная дочь, она в доме отца своего не пользовалась тем тщательным надзором, который душит в ребенке живые движения и превращает здоровую девочку в благовоспитанную барышню. Свободно играла и резвилась она, бывши ребенком; свободно стала она развиваться под руководством своего старшего законнорожденного брата, добродушного молодого человека, весело, светло и широко смотрящего на жизнь. «Вы видите, — говорит об ней ее брат, Гагин, — что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила... Полная независимость во всем, да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень. Она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая

жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел».

Эти слова Гагина характеризуют и того, кто их произносит, и ту девушку, о которой говорят. Мне могут возразить, что из этих слов не видно, чтобы Гагин смотрел на жизнь широко. На это возражение отвечу, что Гагин принадлежит к числу людей мягких, неспособных вступить в открытую борьбу с существующим предрассудком или завязать горячий спор с несоглашающимся собеседником. Мягкость и добродушие поглощают в нем все остальные свойства; он из добродушия посовестится уличить вас в нелепости; он даже с подлецом постарается разойтись помягче, чтобы не обидеть его; сам он не стесняет Аси ни в чем и даже не находит в ее своеобразности ничего дурного, но он говорит об ней с довольно развитым, но отчасти фешенебельным господином и потому невольно, из мягкости, становится в уровень с теми понятиями, которые он предполагает в своем собеседнике. Он высказывает о воспитании Аси те понятия, которые живут в обществе; сам он не сочувствует этим понятиям; находя на словах, что полную независимость вынести не легко, он сам никогда не решится стеснить чью-нибудь независимость; зато и не решится отстоять от притязаний общества свою или чужую независимость. Уступая требованиям общественных приличий, он отдал Асю в пансион; когда же Ася по выходе из пансиона поступила под его покровительство, он не мог стеснять ее свободы ни в чем, и она стала делать, что ей было угодно. Что же, спросит читатель, она, вероятно, наделала много непозволительных вещей? О да, отвечу я, ужасно много. Как же в самом деле! Она прочла несколько страстных романов, она одна ходила гулять по прирейнским скалам и развалинам; она держала себя с посторонними людьми то очень застенчиво, то весело и бойко, смотря по тому, в каком она была настроении, она... Ну, да что же! Неужели вам этого мало? *Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы. Полная независимость во всем! Да разве легко ее вынести?* О, эти две фразы имеют великое значение. Золотая середина! тебе я посвящаю их! «Русский вестник», «Отечественные записки»! [21] возьмите их в эпиграф.

Ася является в повести Тургенева восемнадцатилетнею девушкою; в ней кипят молодые силы, и кровь играет, и мысль бегает; она на все смотрит с любопытством, но ни во что не вглядывается; посмотрит и отвернется, и опять взглянет на что-нибудь новое; она с жадностью ловит впечатления, и делает это без всякой цели и совершенно бессознательно; сил много, но силы эти бродят. На чем они сосредоточатся и что из этого выйдет, вот вопрос, который начинает занимать читателя тотчас после первого знакомства с этою своеобразною и прелестною фигурою.

Она начинает кокетничать с молодым человеком, с которым Гагин случайно знакомится в немецком городке; кокетство Аси так же своеобразно, как и вся ее личность; это кокетство бесцельно

и даже бессознательно; оно выражается в том, что Ася в присутствии постороннего молодого человека становится еще живее и шаловливее; по ее подвижным чертам пробегает одно выражение за другим; она как-то вся в его присутствии живет ускоренною жизнью; она при нем побежит так, как не побежала бы, может быть, без него; она станет в грациозную позу, которую не приняла бы, может быть, если бы его тут не было, но все это не рассчитано, не пригоняется к известной цели; она становится резвее и грациознее, потому что присутствие молодого мужчины незаметно для нее самой волнует ее кровь и раздражает нервную систему; это не любовь, но это — половое влечение, которое неизбежно должно явиться у здоровой девушки точно так же, как оно является у здорового юноши. Это половое влечение, признак здоровья и силы, систематически забивается в наших барышнях образом жизни, воспитанием, обучением, пищею, одеждою; когда оно оказывается забитым, тогда те же воспитательницы, которые его забили, начинают обучать своих воспитанниц таким маневрам, которые до известной степени воспроизводят его внешние симптомы. Естественная грация убита; на ее место подставляют искусственную; девушка запугана и забита домашнею выправкою и дисциплиною, а ей велят при гостях быть веселою и развязною; проявление истинного чувства навлекает на девушку поток нравоучений, а между тем любезность ставится ей в обязанность; одним словом, мы везде и всегда поступаем так: сначала разобьем естественную, цельную жизнь, а потом из жалких черепков и верешков начинаем клеить что-нибудь свое и ужасно радуемся, если это свое издали почти похоже на натуральное. Ася — вся живая, вся натуральная, и потому-то Гагин считает необходимым извиниться за нее перед тою золотою серединою, которой лучшим и наиболее развитым представителем является г. Н. Н., рассказывающий всю повесть от своего лица. Мы так далеко отошли от природы, что даже ее явления меряем не иначе, как сравнивая их с нашими искусственными копиями; вероятно, многим из наших читателей случалось, глядя на закат солнца и видя такие резкие цвета, которых не решился бы употребить ни один живописец, подумать про себя (и потом, конечно, улыбнуться этой мысли): «Что это, как резко! Даже не натурально». Если нам случается таким образом ломить на коленку явления неодушевленной природы, которые имеют свое оправдание в самом факте своего существования, то можно себе представить, как мы бессознательно, незаметно для самих себя, ломаем и насилуем природу человека, обсуживая и перетолковывая вкривь и вкось явления, попадающиеся нам на глаза. Из того, что я до сих пор говорил об Асе, прошу не выводить того заключения, будто это — личность совершенно непосредственная. Ася настолько умна, что умеет смотреть на себя со стороны, умеет по-своему обсуживать свои собственные поступки и произносить над собою приговор. Например, ей показалось, что она чересчур рас-

шалилась, на другой день она является тихою, спокойною, смиренною до такой степени, что Гагин говорит даже об ней: «А-га! Пост и покаяние на себя наложила».

Потом она замечает, что в ней что-то не ладно, что она, кажется, привязывается к новому знакомому; это открытие ее пугает; она понимает свое положение, двусмысленное, по мнению нашего общества; она понимает, что между нею и любимым человеком может появиться такая преграда, через которую она, из гордости, не захочет перескочить и через которую он, из робости, не посмеет перешагнуть. Весь этот ряд мыслей пробегает в ее голове чрезвычайно быстро и отдается во всем ее организме; кончается тем, что она, как испуганный ребенок, порывисто отвертывается от неизвестного будущего, которое является ей в образе нового чувства, и с детским доверием, с громким плачем и в то же время с недетскою страстностью кидается назад к своему милому прошедшему, воплощающемуся для нее в личности доброго, снисходительного брата.

— Нет, — говорит она сквозь слезы: — я никого не хочу любить, кроме тебя; нет, нет, одного тебя я хочу любить — и навсегда.

— Полно, Ася, успокойся, — говорит Гагин, — ты знаешь, я тебе верю.

— Тебя, тебя одного! — повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

— Полно, полно, — твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Наша европейская цивилизация как-то так устроена, что она пугает дикарей и мало-помалу истребляет их; Ася в отношении к этой цивилизации находится почти в таком же положении, в каком может быть поставлен какой-нибудь краснокожий стрелок; ей предстоит решить грозную дилемму; надо или отказаться от того человека, к которому она начинает чувствовать влечение, или стать во фронт, войти в ранжир, отказаться от милой свободы; она инстинктивно боится чего-то, и инстинкт ее не обманывает; она хочет воротиться к прошедшему, а между тем будущее манит к себе, и не от нас зависит остановить течение жизни.

Настроение Аси, ее обращение к прошедшему скоро исчезают без следа; приходит Н. Н., начинается разговор, прихотливо перепрыгивающий от одного впечатления к другому, и Ася вся отдается настоящему, и отдается так весело и беззаботно, что не может даже скрыть ощущаемого удовольствия; она болтает почти бессвязный вздор, обаятельный, как выражение ее светлого настроения, и, наконец, прерывается и просто говорит, что ей хорошо. И это настроение совершенно неожиданно разрешается в весьма естественном желании — повальсировать с любимым человеком.

Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами: небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

— Посмотрите, как хорошо! — сказал я, невольно понизив голос.

— Да, хорошо! — так же тихо ответила она, не смотря на меня. — Если бы мы с вами были птицы, — как бы взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы.

— А крылья могут у нас вырасти, — возразил я.

— Как так?

— Поживете — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

— А у вас были?

— Как вам сказать?.. Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

— Умеете вы вальсировать? — спросила она вдруг.

— Умею, — отвечал я, несколько озадаченный.

— Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею, и, несколько мгновений спустя, мы кружились в тесной комнате под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически-строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное близкое дыхание, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

Во всей этой сцене Ася, очевидно, находится в напряженном состоянии; она переживает новую для себя фазу развития; она в одно время и живет и думает о жизни, как это всегда бывает с людьми, одаренными светлыми умственными способностями; она поддается новым впечатлениям, и в то же время боится их, потому что не знает, что́ дадут они ей в будущем; порою пересиливает страх, порою одолевает желание. Чувство растет с каждым днем; Ася объявляет г. Н., что крылья у нее выросли, да лететь некуда, а потом признается брату, что она любит этого господина. «Уверяю вас, — говорит Гагин в разговоре с Н., — мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза». Действительно, чувство Аси высказывается не одними словами и слезами; оно доводит ее до действия: забывая всякую предосторожность, отлагая в сторону всякую ложную гордость, она назначает любимому человеку свидание, и тут-то, при этом случае, высказывается в полной яркости превосходство свежей, энергической девушки над вялым продуктом великосветской, условно-этикетной жизни. Посмотрите, чем рискует Ася, и посмотрите, чего боится Н.? Идя на свидание, Ася, конечно, не знала, чем оно может кончиться; свидание это было назначено без всякой цели, по неотразимой потребности сказать любимому человеку наедине что-то такое, чего и сама Ася ясно не сознавала; свидевшись с Н. у фрау Луиз, она так безраздельно отдалась впечатлению минуты, что потеряла и желание и способность сопротивляться чему бы то ни было; она безусловно доверилась, не слыхавши от Н. ни одного слова любви; бессознательная робость молодой девушки и сознательная боязнь лишиться доброго имени —

все умолкло перед настоятельными, неотразимыми требованиями чувства.

Если можно благоговеть перед чем бы то ни было, то всего разумнее и изящнее будет с благоговением остановиться перед этою силою чувства: это такой двигатель, для которого не существует непреодолимых трудностей; при всякой борьбе между людьми одолеет рано или поздно та партия, на стороне которой находится наибольшая сумма энергического чувства; человек, вносящий в жизнь пылкое желание наслаждаться, горячую, энергическую любовь к жизни, наверное достигнет желаемого счастья, если ему не свалится на голову какой-нибудь нелепый камень. Только вялость и апатия вязнут в трясине, не умея осилить ни материальную нужду, ни людское недоброжелательство. Femme le veut, Dieu le veut * — эта поговорка живет у французов со времен рыцарства, и в ней есть значительная доля правды: чего, чего не наделает любящая женщина? Какие новые силы не пробудятся в ней под влиянием ее чувства? Если бы действительно (как утверждают противники так называемой эмансипации женщин) у женщины не было ничего, кроме способности любить, то и тогда еще неизвестно, чья природа оказалась бы крепче и богаче интеллектуальными дарами — природа мужчины или природа женщины? В разбираемой мною повести неразвитая, полудикая девушка одною силою своего чувства становится неизмеримо выше молодого человека, у которого есть и ум, и образование, и современное развитие. Она на все решилась, не остановилась даже перед тою мыслью, что может огорчить брата, единственного человека в мире, которого она любит; она пошла навстречу осуждению и позору, страданию и домашнему горю, а он, он... на чем он запнулся? Стыдно сказать, а умалчивать незачем. На том, читатели, что его жене на визитных карточках неудобно будет написать: m-me N., née une telle. ** На том, что он сам, г. Н., затруднится отвечать на вопрос какого-нибудь великосветского хлыща: «Как ваша супруга урожденная?» Потом он после двухдневной борьбы одолевает это препятствие, но эта победа оказывается не своевременною. Кроме того, читатель, подумайте сами, если мы будем бороться с такими плюгавыми препятствиями, как с каким-нибудь действительно существующим колоссальным врагом, то, не правда ли, как мы далеко уйдем вперед, как много сделаем дельного, а главное, как много успеем насладиться жизнью? А жизнь, ей-богу, коротка, и счастливые стечения обстоятельств бывают так редки, что ими необходимо пользоваться, если не хочешь глупейшим образом прозевать жизнь. На личность г. Н. можно взглянуть еще с одной очень поучительной стороны. Он приходит на свидание с твердым намерением объявить Асе, что они должны расстаться. «Жениться на

---

* Чего хочет женщина — того хочет бог *(франц.)*. — *Ред.*

** Г-жа Н., урожденная такая-то *(франц.)*. — *Ред.*

семнадцатилетней девочке (прибавьте еще, г. Н., на незаконнорожденной дочери), — говорит он сам себе, — с ее нравом (тут г. Н., очевидно, боится, чтобы у него, вследствие этого нрава, не выросли рога), как это можно?» (Да и не бойтесь, г. Н.: вам, конечно, нельзя, да вы и не женитесь. Это вам сказал уже и Гагин.) Твердое намерение г. Н. начинает колебаться, когда он видит грустную, робкую и обаятельную в этой грустной робости фигуру Аси, которая старается улыбнуться и не может, хочет сказать что-то и не находит ни слов, ни голоса. Ему становится жаль этой милой, любящей девушки; он снисходит к ней и называет ее ласкательным полуименем.

— Ася, — сказал я едва слышно.

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая полюбила, — кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами, я нагнулся и приник к ее руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидал ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл все, я потянул ее к себе — покорно повиновалась ее рука, все ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

— Ваша... — прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана...

«Ахти, беда! — подумает сердобольный читатель. — Погубит он, озорник, бедную девушку!» Да, действительно, всякий здоровый и крепкий человек увлекся бы до последних пределов и, конечно, в увлекающейся Асе не встретил бы ни малейшего сопротивления. Честный человек увлекся бы, и от последствий его увлечения не пострадал бы никто: он женился бы на Асе на другой день после свидания, и самое свидание осталось бы в жизни обоих супругов светлым, блестящим воспоминанием. Энергический негодяй, вроде Василия Лучинова (в повести Тургенева «Три портрета»), также не отказался бы от плодов свидания, воспользовался бы всеми наслаждениями, какие можно было бы добыть от Аси, и потом бросил бы ее, как прочитанную записку. Первый поступил бы как порядочный человек, второй — как отъявленный негодяй. Что же касается до тестообразного г. Н., то он поступил так замысловато и вследствие этого так глупо, как может поступить только существо, лишенное плоти и крови или одаренное весьма жалкою дозою крови плохого достоинства. Он сначала было растаял, а потом спохватился. У него недостало мозгу, чтобы с первой минуты окатить девушку ушатом холодной воды, а потом недостало полнокровия, чтобы, не заботясь о последствиях, дать этой девушке и самому себе несколько мгновений жгучего наслаждения. У него все перепутано:

чувство врывается в процесс мысли, мысль парализирует чувство. Воспитание ослабило его тело и набило мозг его идеями, которых тот не может осилить и переварить. У него нет физического здоровья, физической силы, физической свежести; это — ходячая теория, человеческая голова на курьих ножках, выжатый лимон без соку, без вкуса и без остроты. И таково большинство; и нам этот тип так привычен, что нас даже не поражают его вопиющие недостатки; многие читатели, наверное, сказали по прочтении «Аси», что Н. — очень честный человек, которому не посчастливилось в жизни. Да, честный. Никто у него и не отнимает этой честности...

Ася — такая личность, в которой есть все задатки счастливой, полной жизни; развившись помимо условий нашей жизни, она не заразилась ее нелепостями. Встреться она с свежим мужчиною, она бы показала нам, что значит быть счастливою, и дала бы нам самый спасительный и плодотворный урок, которого нам до сих пор никто не умел дать. Но где же взять такого мужчину? У нас их нет. И вот свежее, молодое, здоровое существо попало в лазарет, в котором стонут на разные лады субъекты, одержимые самыми разнообразными болезнями. Ну, конечно, из этого не могло выйти ничего путного; поневоле ей пришлось зачахнуть от аптечного воздуха или заразиться от дыхания окружающих субъектов. Виновата ли в этом женщина?

V

Наталья в «Рудине» похожа на Асю, или, вернее, в основу их личностей положена автором одна идея, разработанная различно в обоих романах. В Асе больше грации, в Наталье больше твердости; Ася отличается подвижностью, Наталья — сдержанностью и способностью глубоко вдумываться в предмет и долго вынашивать в голове идею или чувство. В Асе огонь вспыхивает сильно и внезапно; действие этого внутреннего огня тотчас отражается на ее физиономии, в ее поступках, во всем ее поведении; в Наталье этот огонь разгорается медленно, и действие его долгое время скрывается от нее самой и от других; а потом, когда она сама отдает себе отчет в своем настроении, она все-таки скрывает его от других и одна, без посторонних свидетелей, хозяйничает в своем внутреннем мире. Различий, как видите, очень много, а между тем сходство самое существенное: обе девушки сохранили свежесть и здоровье помимо обстановки, помимо тех людей, которые считали себя вправе распоряжаться их мыслями и чувствами. Наталье это было труднее сделать, чем Асе, и потому Наталья вышла из своей борьбы крепче и вынесла из нее больший запас сознанного опыта. Наталья — старшая дочь богатой барыни, окруженная с малолетства гувернантками, французскими грамматиками и душеспасительными наставлениями, произносимыми на разных европейских

языках. Как тут не опошлиться? Действительно мудрено, но тут выручает одно обстоятельство, именно то, что матери некогда постоянно наблюдать за воспитанием, а гувернантки большею частью довольно тупы.

Воспитанию детей посвящают себя обыкновенно те лица, которые, по ограниченности ума, ни на что другое не способны, да иначе и быть не может. Во-первых, материальное положение наставника всегда зависимо и всегда скудно обеспечено. Во-вторых, обречь себя на то, чтобы постоянно передавать другому то, что знаешь, значит отказаться от возможности идти дальше. Когда начинаешь учить другого, тогда уже интересы собственного развития отодвигаются на задний план. Кто хочет денег, тот не пойдет в педагоги, потому что место не хлебное. Кто хочет идей, тот не пойдет в педагоги, потому что занятия с детьми отнимают у человека время, не обогащая его внутренним содержанием. Стало быть, в педагоги идет, даже по призванию, только трудолюбивая посредственность; в гувернантки идут те девушки, которым не удалось выйти замуж. То обстоятельство, что место педагога не пользуется почетом и что вследствие этого на эти места идут люди, обиженные богом, не раз возбуждало в нашей педагогической литературе жалобные вопли; я осмелюсь самым скромным тоном выразить сомнение в основательности этих воплей. Осмелюсь даже предложить вопрос: велика ли та услуга, которую мы оказываем детям, занимаясь их нравственным воспитанием? Воспитывать — значит приготовлять к жизни; спрашивается, может ли готовить к жизни кого бы то ни было такой человек, который сам не умеет жить? А что мы не умеем жить, в этом, кажется, не усомнится благосклонный читатель. Воспитывая наших детей, мы втискиваем молодую жизнь в те уродливые формы, которые тяготели над нами; мы поступаем таким образом с такими личностями, которые сами не могут еще ни подать голоса, ни заявить протеста, ни оказать сопротивления; мы без спросу мнем чужие личности и чужие силы; когда владельцы этих сил и этих личностей начинают вступать в свои человеческие права, то они находят, что в их владениях все перепутано; мысль загромождена разными кошмарами и кикиморами; чувство извращено и болезненно нацарапано или насильственно притуплено педагогическими внушениями о долге, о чести, о нравственности; молодое тело изнурено бесплодною, одностороннею мозговою работою, отсутствием правильного моциона, чистого воздуха, часто даже недостатком здоровой пищи. Физическое здоровье подорвано, а что дано взамен? Насажен в мозгу по разным грядкам, с немецкою тщательностью и возмутительною аккуратностью, бурьян и чертополох, который надо вырывать с корнем, чтобы он не истощил всю умственную почву. И вот молодой хозяин поневоле посылает ко всем чертям услужливых огородников, вскопавших и засеявших ему мозг; он исподволь или вдруг, смотря по обстоятельствам, эмансипирует себя от их непрошенной опеки

и начинает жить по-своему и думать по-своему. Но на борьбу с сорными травами уходит много хороших сил, и часто человек оказывается освобожденным от бурьяна уже тогда, когда телесное развитие достигло полной зрелости и стоит уже на поворотном пункте.

Чем раньше молодая личность становится в скептические отношения к своим наставникам, тем лучше, потому что тем меньше последние успеют напортить и тем больше времени останется на поправление или, вернее, на радикальное уничтожение их работы. Стать в скептические отношения легче к дураку, чем к умному человеку, и потому я решаюсь признать положительно полезным то обстоятельство, что нашим воспитанием занимались и занимаются большею частью недалекие люди. Развиваться под руководством наставника, мне кажется, положительно невозможно, а развиваться помимо наставника тем удобнее, чем ограниченнее наставник. Но отчего же, однако, спросит читатель, умный и широко развитый человек не может принести своему воспитаннику существенной пользы? Оттого, любезный читатель, что умный и широко развитый человек никогда не решится воспитывать ребенка; он поймет, что врываться в интеллектуальный мир другого человека с своею инициативой — бесчестно и нелепо; он будет хорошо кормить ребенка, удалять от него вредные предметы, вроде бешеной собаки, каленого железа, сырой комнаты, угарного воздуха. На том он и остановится; если ребенок предложит ему вопрос, он ему ответит; если ребенок принесет на его суд какое-нибудь сомнение, он ему выскажет свое убеждение. Зрелый ум старшего будет иметь влияние на формирование суждений ребенка, но это влияние будет независимо от воли обоих действующих лиц; его не будут втискивать силою или всучивать педагогическою хитростью. Кто попытается сделать больше этого, тот, стало быть, не настолько умен или не настолько широко развит, чтобы быть безвредным сознательно и добровольно. Если он не может быть безвреден сознательно и добровольно, то пускай будет безвреден невольно, вследствие бессилия. Если нельзя найти человека очень умного, возьмите человека очень глупого. Результат получится почти в такой же мере удовлетворительный, а людей глупых много, особенно между педагогами. Стало быть, выдет и дешево и сердито.

Наталья, как умный ребенок, рано заявила свою умственную жизнь каким-нибудь озадачивающим вопросом, метким замечанием, вспышкою своеволия; это заявление, благодаря тупости воспитательницы, встретило себе холодный или даже недоброжелательный прием. На вопрос отвечали вскользь; на меткое замечание воспоследовало со стороны гувернантки не менее меткое замечание: «Маленькие девочки не должны так говорить». Маленькая девочка спросила: почему? Ей приказали молчать. Вспышку своеволия назвали капризом и подавили силою. Словом, так или

иначе, воспитывающая сторона уронила себя в глазах воспитывающейся стороны, а это, как известно всем, занимавшимся когда-нибудь воспитанием, вовсе не трудно сделать, когда имеешь дело с умным ребенком. Маленькая девочка широко раскрыла свои умные глаза, с удивлением посмотрела на старших недоумевающим взором и подумала про себя: какие они странные! А через несколько времени она подумала: а, так вот они какие! Вот и вошел в воспитание новый элемент, которого существование не подозревают воспитатели и который между тем постоянно путает алгебраические выкладки педагогических соображений. Приказания их исполняются, но «формировать ум и сердце» ребенка им не удается; приказания их не прохватывают вглубь; маленькая девочка, как улитка, ушла в себя и начинает строить себе свой мирок, в который она ни за какие коврижки не пустит ни мамашу, ни гувернантку; откровенность откладывается в сторону, и чем умнее ребенок, тем безуспешнее оказываются попытки старших разбить раковину улитки и подсмотреть нескромным взором тайну внутреннего развития.

Дети, начинающие развиваться помимо руководства наставников, выбирают обыкновенно один из двух путей: или они вступают в ожесточенную, отчаянную борьбу с посягательствами взрослых, или они, отказываясь от всякой борьбы, повинуются чисто внешним образом и уже постоянно держатся настороже, постоянно относятся к распоряжениям педагогов критически и скептически. Первые — будущие Дон-Кихоты жизни, всегда готовые ломать копье за свои идеи, всегда действующие открыто и смело и часто погибающие за доброе дело. Другие — те люди, о которых говорит наш народ: «в тихом омуте черти водятся». Невозмутимо спокойные по наружности, глубоко страстные в душе, непоколебимые и неподкупные, эти люди действуют медленно, бьют наверняка и редко промахиваются. Наталья принадлежала ко второй категории, а между тем промахнулась. Она полюбила Рудина и ошиблась в нем; но кто же бы и не ошибся в Рудине? Кого бы не подкупили его речи, если даже они подкупили Лежнева, мужчину, одаренного значительною дозою скептицизма и здравого смысла? Причины ошибки Натальи лежат не в ней самой, а в окружавших ее обстоятельствах. Рудин был лучшим из окружавших ее мужчин, она его и выбрала; что же делать, если и лучший оказался никуда не годным? И Лежнев и Волынцев крепче Рудина, — в этом спору нет; но ни Волынцев, ни Лежнев не могли шевельнуть молодую девушку, находящуюся в той поре жизни, когда ум требует яркости идей и когда весь организм просит сильных ощущений. Роман Натальи очень похож на роман Аси: и та и другая искала в любимом человеке жизни и силы; и та и другая наткнулась на вялое резонерство и на позорную робость. И опять приходится закончить главу вопросом: в чем тут виновата женщина?

VI

Но не всем же девушкам удается развиться помимо обстановки; многие, и очень многие, даже большинство, пропитываются насквозь атмосферою нашей жизни, в детстве принимают в себя зародыши разложения, живыми тенями проходят свое земное странствие и, как неизлечимые больные, рано начинают увядать и клониться к могиле.

К этому чрезвычайно многочисленному типу, допускающему внутри себя почти бесконечное разнообразие, принадлежат два замечательные женские характера: Вера (из «Фауста») и Лиза (из «Дворянского гнезда»).

Первая искусственно заморожена воспитанием; вторая заражена с детства миазмами нашей домашней атмосферы. Разберу отдельно ту и другую личность.

Вера воспитывается под руководством своей матери, женщины очень умной, очень энергичной, испытавшей много несчастий и сосредоточившей всю силу своей любви на единственной дочери. Сказа́ть по правде, трудно найти более невыгодные условия развития. Любящая мать, да еще к тому же энергичная, да еще к тому же умная, да еще к тому же испытавшая несчастья, наверное будет следить за каждым движением дочери, будет прокрадываться в ее мысли, будет решать за нее все представляющиеся вопросы жизни, будет оберегать ее от впечатлений так же заботливо, как от сквозного ветра. Вместо того чтобы жить в жизни, дочь будет обретаться в какой-то восковой ячейке, состроенной вокруг нее любящею рукою матери. Любить человека и не мешать ему в жизни, не отравлять его существования непрошенными заботами и навязчивым участием — это такой фокус, который немногим по силам. Родителям он совершенно не доступен. Они хотят во что бы то ни стало, чтобы их опытность шла на пользу детям; того они не понимают и не хотят понять, что самый процесс приобретения опытности чрезвычайно приятен и что этот процесс никак не может быть заменен чужим рассказом или описанием; когда вы голодны, вам надо есть, а не читать описания лакомых блюд и даже не смотреть на эти блюда; когда вы любите женщину, чтение самых разнообразных романов и рассказы о самых замысловатых любовных похождениях вашего папеньки не заменят вам двух минут разговора, созерцания, непосредственной близости; когда вы молоды, когда вы вступаете в жизнь, вам надо жить, а никак не слушать рассказы о том, как жили ваши родители.

Мать Веры вообразила себе, что она пожила за себя и за свою дочь, и решилась, во что бы то ни стало, избавить Веру от ошибок и страданий, выпавших на долю ее матери. Для этого нужно было обработать по-своему мягкий материал, попавшийся в руки, и г-жа Ельцова принялась за работу довольно ловко; она успела приготовить из дочери своей такую консерву, которая могла бы

десятки лет плавать по морю житейскому, постоянно сохраняя под свинцовою крышкою свою нетронутую, детскую невинность; борьба между умною, опытною женщиною, с одной стороны, и непробудившимися силами бедного ребенка, с другой стороны, была слишком неравна; мать победила без труда, и живые силы почти без сопротивления отправились под свинцовую крышку; и свинцовая крышка эта придавила их так рано, что они замерли, не заявив протеста; девочка даже не заметила существования этой крышки и выросла, считая свое положение нормальным или, вернее, не думая подвергать его анализу.

Во-первых, г-жа Ельцова приобрела полное доверие своей дочери и внушила ей страстную, доходящую до благоговения любовь к своей особе. Есть личности, которым очень приятна подобная любовь, исключающая критику. Мне кажется, существование такого чувства унижает человеческое достоинство того, кто его испытывает, и того, к кому оно обращено. Обожающее лицо теряет всякую самостоятельность, обожаемое — ставится в обидное положение китайского идола.

Веруя в опытность матери, в ее ум и непогрешимость, Вера Ельцова поневоле должна была безусловно подчиниться ее воззрениям; но убеждения отжившей старухи не могут быть убеждениями молодой девушки; они могут сделаться для нее только догматами веры; она может повторять их про себя, как магическое заклинание, не понимая их истинного смысла, потому что этот смысл дается только тому, кто пожил и кого помяла жизнь; принять на веру убеждения матери значило отказаться от знакомства с жизнью; при всей любви своей к матери молодая девушка могла бы не решиться на подобную жертву, если бы кто-нибудь представил ей эту жертву в настоящем свете; но такого Мефистофеля не нашлось, а старый ангел-хранитель, г-жа Ельцова употребила с своей стороны все усилия, чтобы отвести дочери глаза и показать ей только те уголки жизни, которые, по ее мнению, не могли произвести вредного влияния, т. е. не могли нарушить умственной и нервной дремоты девушки. Все, что могло сильно потрясти нервы, подействовать на воображение и сообщить сильный толчок критическому уму, было тщательно устранено; ни посторонний человек, ни посторонняя книга не могли пробиться сквозь ту китайскую стену, которою г-жа Ельцова отделила свою Верочку от всего живого мира; если бы Вере случилось поговорить с кем-нибудь, то этот разговор она же сама от слова до слова передала бы матери; если бы Вере попалась книга, она не стала бы ее читать, не спросся позволения матери; когда узник полюбил свою тюрьму, тогда нет средств освободить его; ведь не насильно же тащить его на свет божий! Вере до ее замужества не давали в руки ни одного романа; зато научное ее образование было так полно, что она удивляла кандидата своими обширными сведениями; сведения эти были, конечно, чисто фактические;

Вера знала, в котором году произошло, положим, Нердлингенское сражение, к какому роду и виду принадлежит божья коровка, сколько пестиков и тычинок в георгине, но значения Реформации она не понимала и общего взгляда на жизнь природы не имела.

Наверное, г-жа Ельцова боялась Вольтера и Фейербаха так же сильно и так же основательно, как Жорж-Занда или Бальзака. Верочке позволялось украшать свою память всякими антиками и диковинками, но работать мыслью или воспринимать какие-нибудь необыденные ощущения нервами было строго запрещено.

Строгий выбор книг был только административным средством в руках г-жи Ельцовой; цель, к достижению которой она стремилась, опираясь на подобные средства, лежала очень далеко; надо было устроить по известной программе всю жизнь молодой девушки, надо было искусно обежать опасный период любви; надо было выдать ее замуж за хорошего человека, укрепить ее в понятии долга и, наконец, поставить ее на якорь в такой пристани, в которую не заходят и не заглядывают житейские бури, смелые мысли, беспорядочные, кометообразные чувства. Чтобы дойти до такой пристани, надо было лавировать, и г-жа Ельцова лавировала не без успеха.

Молодой человек, заинтересованный Верою, с похвальною скромностью просит у г-жи Ельцовой позволения сделать ей предложение; заботливая маменька, видя, что этот молодой человек, несмотря на всю свою скромность, не похож на желанную пристань, отказывает ему прямо, не спросивши мнения дочери; она даже не считает нужным сказать ей потом, что за нее сватался такой-то. Одного этого факта достаточно, чтобы составить себе понятие о том, насколько г-жа Ельцова употребляла во зло доверенность своей дочери и как грубо она нарушала ее святые, человеческие права. Наконец желанная пристань находится; добродушный, простоватый господин, бывший в университете, не вынесший оттуда завиральных идей и превратившийся в помещика, несмотря на свои молодые лета, оказывается достойным субъектом; эврика! — говорит г-жа Ельцова, — и выдает за него свою дочь, которая, конечно, ставит себе за счастье исполнить волю божию и родительскую. Ельцова умирает, вполне спокойная. «Пристроила, — думает она, — теперь и без меня проживет; в сторону-то сбиться некуда».

Мы видели таким образом, как формировалась Вера Ельцова; посмотрим теперь, как она, несмотря на предосторожности маменьки, столкнулась с жизнью мысли и чувства. Вот уже она лет девять замужем, ей уже двадцать восемь лет, а она смотрит семнадцатилетнею девушкою. «То же спокойствие, та же ясность, голос тот же, ни одной морщинки на лбу, точно она все эти годы пролежала где-нибудь в снегу». И попрежнему незнакома с волнениями мысли и чувства, попрежнему не тронута жизнью, попрежнему не прочла ни одного романа, ни одного стихотворения.

Страшно становится за эту женщину! — Если сна проживет свой век и умрет, не любивши, не мысливши, не испытавши ни одного эстетического наслаждения, то, спрашивается, для чего же было жить? А если она вдруг проснется от какого-нибудь сильного потрясения, — что с нею будет? Вынесут ли ее нервы ту массу ощущений, которые нахлынут со всех сторон и поразят ее сильнее, чем кого-либо другого? Дети впечатлительнее взрослых; ребенок плачет о сломанной игрушке, о том, что мать едет куда-нибудь дня на два, так же горько, как взрослый заплачет о смерти дорогого человека; ребенок утешается также гораздо скорее, и это служит новым доказательством того, что он впечатлительнее взрослого. Мир детских радостей и детских горестей гораздо мельче и у́же, чем мир горя и радости у взрослого; если бы у ребенка было столько же серьезных интересов, сколько их у взрослого, и если бы ребенок на все эти интересы откликался с тою же живостью, с какою он радуется подарку или горюет о минутной разлуке, то наверное организм его не вынес бы этого избытка сильных ощущений. Входя в мир мысли и чувства постепенно, незаметно, втягиваясь понемногу в серьезные занятия и в интересы действительной жизни, ребенок мало-помалу теряет свою прежнюю раздражительность и восприимчивость. Нервы притупляются от часто повторяющегося раздражения; является привычка; человек черствеет и вследствие этого крепнет. Крайняя раздражительность несовместна с мужественною твердостью, и чтобы вынести передряги жизни, необходимо утратить невинность, свежесть, девственность чувства и тому подобные свойства, которыми особенно дорожат в своих воспитанниках добродетельные педагоги.

Недобрую штуку сотворила Ельцова с своею дочерью; сохранивши первобытную чуткость и отзывчивость ребенка, Вера смотрит на вещи как женщина; она понимает умом многое, чего не переживала чувством; силы в ней дремлют, но они созрели; стоит дать толчок, и вся эта личность преобразится; в ней мгновенно разыграется такая драма, которая удивит всех знающих ее людей порывистостью и силою борьбы. Положение ее страшно усложнено заботливыми распоряжениями матери: она никогда не любила, а между тем она замужем; она рискует полюбить тою свежею и сильною любовью, какая доступна и понятна только очень молодым существам, а между тем у нее есть семейство, есть так называемые обязанности, и в ней сильно развито чувство долга. Что-то будет?

Чего можно было ожидать, то и происходит на самом деле. Мужчина открывает Вере Николаевне доступ в тот мир сильных ощущений, который оставался ей неизвестным в продолжение целого десятка лет; мужчина пробуждает ее из того летаргического сна, в который погрузило ее воспитание; мужчина превращает мраморную статую в женщину, и эта женщина привязывается

к своему просветителю всеми силами богатой любящей женской души. Проспать с лишком десять лет, лучшие годы жизни, и потом проснуться, найти в себе так много свежести и энергии, сразу вступить в свои полные человеческие права — это, воля ваша, свидетельствует о присутствии таких сил, которые, при сколько-нибудь естественном развитии, могли бы доставить огромное количество наслаждения как самой Вере Николаевне, так и близким к ней людям. Вера Николаевна полюбила так сильно, что забыла и мать, и мужа, и обязанности; образ любимого человека и наполняющее ее чувство сделались для нее жизнью, и она рванулась к этой жизни, не оглядываясь на прошедшее, не жалея того, что остается позади, и не боясь ни мужа, ни умершей матери, ни упреков совести; она рванулась вперед и надорвалась в этом судорожном движении; глаза, привыкшие к густой темноте, не выдержали яркого света; прошедшее, от которого она кинулась прочь, настигло и придавило ее к земле. Она первая, прямо, без вызова со стороны мужчины, объявляет ему, что она его любит; она сама назначает свидание и идет твердым шагом к назначенному месту.

После чаю, когда я уже начинал думать о том, как бы незаметно выскользнуть из дому, она сама вдруг объявила, что хочет идти гулять, и предложила мне проводить ее. Я встал, взял шляпу и побрел за ней. Я не смел заговорить, я едва дышал, я ждал ее первого слова, ждал объяснений; но она молчала. Молча дошли мы до китайского домика, молча вошли в него, и тут — я до сих пор не знаю, не могу понять, как это сделалось, — мы внезапно очутились в объятиях друг друга. Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, ее — ко мне.

При потухшем свете дня ее лицо, с закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкою самозабвения и неги, и наши губы слились в поцелуй...

Этот поцелуй был первым и последним.

Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с выражением ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад...

— Оглянитесь, — сказала она мне дрожащим голосом: — вы ничего не видите?

Я быстро обернулся.

— Ничего. А вы разве что-нибудь видите?

— Теперь не вижу, а видела.

Она глубоко и редко дышала.

— Кого? Что?

— Мою мать, — медленно проговорила она и затрепетала вся.

Я тоже вздрогнул, словно холодом меня обдало. Мне вдруг стало жутко, как преступнику. Да разве я не был преступником в это мгновение?

— Полноте, — начал я: — что вы это? Скажите мне лучше...

— Нет, ради бога, нет! — перебила она и схватила себя за голову. — Это сумасшествие... Я с ума схожу... Этим шутить нельзя — это смерть... Прощайте...

Я протянул к ней руки.

— Остановитесь, ради бога, на мгновенье! — воскликнул я с невольным порывом. Я не знал, что говорил, и едва держался на ногах. — Ради бога, ведь это жестоко.

Она взглянула на меня.

— Завтра, завтра вечером, — поспешно проговорила она: — не сегодня, прошу вас... уезжайте сегодня... завтра вечером приходите к калитке сада,

возле озера. Я там буду, я приду... я клянусь тебе, что приду, — прибавила она с увлечением, и глаза ее блеснули... — Кто бы ни останавливал меня, клянусь! Я все скажу тебе, только пустите меня сегодня.

И прежде чем я мог промолвить слово, она исчезла.

А потом умерла. Организм не выдержал потрясения, и обаятельная сцена любви разрешилась смертельною нервною горячкою. Образы, в которых Тургенев выразил свою идею, стоят на границе фантастического мира. Он взял исключительную личность, поставил ее в зависимость от другой исключительной личности, создал для нее исключительное положение и вывел крайние последствия из этих исключительных данных. Старуха Ельцова и дочь ее — такие чистые представители двух типов, каких в действительности не бывает. Какая мать сумеет провести так последовательно свои идеи в воспитание дочери и какая дочь захочет с такою слепою покорностью подчиняться этим идеям? Размеры, взятые автором, превышают обыкновенные размеры, но идея, выраженная в повести, остается верною, прекрасною идеею. Как яркая формула этой идеи, «Фауст» Тургенева неподражаемо хорош. Ни одно единичное явление не достигает в действительной жизни той определенности контуров и той резкости красок, которые поражают читателя в фигурах Ельцовой и Веры Николаевны, но зато эти две почти фантастические фигуры бросают яркую полосу света на явления жизни, расплывающиеся в неопределенных, сероватых, туманных пятнах.

VII

Следует ли подвергать отдельному разбору личность Лизаветы Михайловны Калитиной, героини романа «Дворянское гнездо»? Этот роман написан так недавно, по поводу его выхода в свет появилось в нашей периодической литературе столько критических статей, что читателям, вероятно, приелись толки о Лизе и о Лаврецком, толки, в которых все-таки не договаривалось последнее слово. Я знаю, что мне тоже не придется договориться до последнего слова, и потому предпочитаю вовсе не говорить. Если же, паче чаяния, кто-нибудь из читателей пожелает знать мое мнение о Лизе, то я попрошу этого читателя внимательно просмотреть предыдущую главу моей критической статьи и потом перечитать «Дворянское гнездо». Зная, как я смотрю на Веру, читатель узнает также, как я смотрю на Лизу. Лиза ближе Веры стоит к условиям нашей жизни; она вполне правдоподобна; размеры ее личности совершенно обыкновенные; идеи и формы, сдавливающие ее жизнь, знакомы как нельзя лучше каждому из наших читателей по собственному горькому опыту. Словом, задача, решенная Тургеневым в абстракте в повести «Фауст», решается им

в «Дворянском гнезде» в приложении к нашей жизни. Результат выходит один и тот же; гниль одолевает, праведная смерть торжествует над греховною жизнью.

О Зинаиде Засекиной (из повести «Первая любовь») не скажу ни слова. Я ее характера не понимаю.

VIII

Совершенно уйти от влияния обстановки невозможно; так или иначе, обстановка дает себя знать; если вы живете с дурными людьми, то эти люди могут подействовать на вас двояким образом, смотря по тому, насколько стойки ваши убеждения и тверда ваша воля. Вы можете или заразиться от этих людей их преобладающим пороком, или довести в самом себе до уродливой крайности протест против этого порока. Большею частью случается так, что отдельная личность понемногу окрашивается под общий цвет массы; личности, одаренные значительными силами, обыкновенно немногочисленны; и эти немногие избранные личности окрашиваются обыкновенно в противоположный цвет и, нечувствительно для самих себя, доводят этот цвет до резкой крайности именно потому, что масса постоянно пытается заштукатурить их под одну тень с собою. Если вы жизнью и словами с особенным воодушевлением протестуете против господствующего в обществе порока, то вы протестуете так горячо именно потому, что порок стоит перед вашими глазами; причина протеста лежит не в вашей природе, а в том, что вас окружает; для вас самих протест — дело бесплодное и утомительное: ваш крик сушит вам легкие и производит охриплость в голосе; а между тем нельзя не кричать; вы кричите и этим самым платите дань тем идеям, которые уродуют жизнь ваших соотечественников. Если вы отмахиваетесь от комаров и не даете им укусить себя, то все-таки комары действуют на вас тем, что заставляют вас делать утомительные движения. Подлость и глупость раздражают ваши нервы, следовательно, производят в вас перемену, и можно сказать наверное, что, в каком бы направлении ни совершилась эта перемена, она никогда не может быть переменою к лучшему. Вот это-то последнее обстоятельство Тургенев упустил из виду, создавая характер Елены, и от этой ошибки произошла, мне кажется, вся нескладица, поражающая читателя в построении романа «Накануне».

Елена раздражена мелкостью тех людей и интересов, с которыми ей приходится иметь дело каждый день. Она умнее своей матери, умнее и честнее отца, умнее и глубже всех гувернанток, занимавшихся ее воспитанием; она раздражена и не удовлетворена тем, что дает ей жизнь; она с сознанным негодованием отвертывается от действительности, но она слишком молода и женственна, чтобы стать к этой действительности в трезвые отрица-

тельные отношения. Ее недовольство действительностью выражается в том, что она ищет лучшего и, не находя этого лучшего, уходит в мир фантазии, начинает жить воображением. Это болезненное состояние. Когда воображение забегает вперед, когда начинается сооружение идеала и потом бегание за ним, тогда живые силы уходят на бесплодные поиски и попытки, и жизнь проходит в каком-то тревожном, беспредметном, смутном ожидании. Елена все мечтает о *чем-то*, все хочет *что-то* сделать, все ищет *какого-то* героя; мечты ее не приходят и не могут прийти в ясность именно потому, что это мечты, а не мысли; она не критикует нашей жизни, не всматривается в ее недостатки, а просто отворачивается от нее и хочет выдумать себе жизнь. Так нельзя, Елена Николаевна! Что жизнь в дурных своих проявлениях вам не нравится, это делает вам величайшую честь, это показывает, что вы умеете мыслить и чувствовать; но жить и действовать вы решительно не умеете. Если не нравится жизнь, надо или исправить ее, или умереть, или уехать. Чтобы исправить жизнь, *для себя* лично, надо вглядеться в ее недостатки и отдать себе самый ясный отчет в том, что именно особенно не нравится; чтобы умереть, надо обратиться к оружию или к яду; чтобы уехать куда бы то ни было, надо взять паспорт и запастись деньгами. Но не мечтать, ни в каком случае не мечтать! Это совсем не практично; это растравляет раны, вместо того чтобы залечивать их; это губит силы, вместо того чтобы обновлять и укреплять человека. Мечты — принадлежность и утешение слабого, больного, задавленного существа, а вам, Елена Николаевна, нечего бога гневить, можно и другим делом заняться. Вы пользуетесь некоторою независимостью в доме ваших родителей, вас не бьют, не гнут в дугу, не выдают насильно замуж; этих условий слишком мало для того, чтобы наслаждаться, но их слишком достаточно для того, чтобы действовать и бороться; мечтать было позволительно в былые годы вашей крепостной горничной, точно так же как ей позволительно было пить запоем, но теперь и ей это будет не к лицу. Я не осуждаю Елену в том, что она мечтает; я бы не осудил человека, схватившего сильнейший простудный кашель, я бы сказал только, что он болен; точно так же я говорю и доказываю самой Елене, что она больна и что она ошибается, если считает себя здоровою. В этом отношении ошибается вместе с нею сам Тургенев; он глазами психически больной Елены смотрит на действующие лица своего романа; оттого он вместе с Еленой ищет героев; оттого он вместе с нею бракует Шубина и Берсенева; оттого он выписывает из Болгарии невозможного и ни на что не нужного Инсарова. Елена и вместе с нею Тургенев не удовлетворяются обыкновенными, человеческими размерами личностей; все это мелко, все это обыкновенно, все это пошло; давай им эффекта, колоссальности, героизма. «Жить скверно», говорят Тургенев и Елена. — Согласен. «Жить скверно потому, что люди скверны». — Не согласен! Отношения между

людьми ненормальны — это так, а люди ни в чем не виноваты, потому что переделать отношения, затвердевшие от десятивековой исторической жизни, и переделать их тогда, когда еще очень немногие начали сознавать их неудобства, — это, воля ваша, мудрено. Если несется шестерня бешеных лошадей, то я никак не решусь называть мелкими трусами всех тех людей, которые будут уклоняться в сторону и давать им дорогу. Инстинкт самосохранения и трусость — две вещи разные. Ставить самоотвержение в число необходимых добродетелей, обязательных для всякого человека, может только мечтательная девушка, Елена Николаевна Стахова, да замечтавшийся до забвения действительности художник, Иван Сергеевич Тургенев.

Бракуя людей за то, что они не герои, раскидывая направо и налево окружающую его мелюзгу, Тургенев доходит, наконец, до создания идеального человека. Человек этот — болгарин. На каком основании? Неизвестно. Принимать Инсарова за живое лицо я не могу; потому прослеживать его развитие и воссоздавать его личность критическим анализом я не берусь; выпишу только с буквальною верностью ряд фактов, совершенных этим героем, и ряд свойств, приписанных ему Тургеневым.

1) Инсаров — болгар; мать его убита турецким агою; отец расстрелян без суда.

2) В 48-м году Инсаров был в Болгарии, исходил ее вдоль и поперек, провел в ней два года и в 50-м году вернулся в Россию с широким рубцом на шее и с желанием образоваться в Московском университете и сблизиться с русскими.

3) Вот портрет Инсарова: «Это был молодой человек лет двадцати пяти, худощавый и жилистый, с впалою грудью, с узловатыми руками; черты лица имел он резкие, нос с горбиной, иссиня-черные прямые волосы, небольшой лоб, небольшие, пристально глядевшие, углубленные глаза, густые брови; когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под тонких, жестких, слишком отчетливо очертанных губ. Одет он был в старенький, но опрятный сюртучок, застегнутый доверху».

4) Когда Берсенев предлагает Инсарову переехать к нему на дачу, Инсаров соглашается только с тем условием, чтобы заплатить Берсеневу по расчету 20 руб. сер.

5) По уходе Берсенева Инсаров бережно снимает сюртук.

6) Берсенев говорит об Инсарове, что он ни от кого не возьмет денег взаймы.

7) Инсаров отказывается обедать с Берсеневым, говоря ему с спокойной улыбкой: «Мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете!»

8) Инсаров никогда не меняет никакого своего решения и никогда не откладывает исполнения данного обещания.

9) Инсаров учится русской истории, праву и политической экономии, переводит болгарские песни и летописи, собирает мате-

риалы о восточном вопросе, составляет русскую грамматику для болгар, болгарскую — для русских.

10) Инсаров не любит распространяться о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вообще говорит охотно со всяким.

11) Инсаров надевает на голову ушастый картуз и на прогулке выступает не спеша, глядит, дышит, говорит и улыбается спокойно.

12) Инсаров уходит куда-то на три дня с двумя болгарами, которые предварительно съедают у него целый огромный горшок каши.

13) В разговоре с Еленою Инсаров откровенно рассказывает историю своей отлучки, говорит, что он ездил за шестьдесят верст, чтобы помирить двух земляков, что его все знают и что все ему верят. Елена спрашивает у него: «Вы очень любите свою родину?» Он на это отвечает: «Это еще неизвестно. Вот, когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил». Потом он говорит так: «Но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что̀ одно неизменно, что̀ выше всех сомнений, чему нельзя не верить, после бога?» Эта, не лишенная риторики, речь заканчивается удивительною антитезою: «Заметьте, последний мужик, последний нищий в Болгарии и я, мы желаем одного и того же». Антитеза, ей-богу, очень хороша. А Елена-то слушает и только уши развешивает.

14) Инсаров бросает в воду пьяного немца, обеспокоившего дам на гулянии.

15) Инсаров замечает, что он полюбил Елену, и хочет уехать. Он говорит: «Я — болгар, мне русской любви не нужно».

16) Инсаров, накануне своего отъезда, на просьбу Елены прийти к ним на другой день утром — ничего не отвечает и не приходит. «Я вас ждала с утра», говорит Елена, встретившись с ним у часовни. Он отвечает на это: «Я вчера, вспомните, Елена Николаевна, ничего не обещал».

17) В объяснении с Инсаровым Елена постоянно является активным лицом и постоянно тащит его за собою; она первая говорит ему о любви.

18) По возвращении с дачи в Москву Инсаров опасно занемогает и две недели находится при смерти.

19) Елена приходит к Инсарову после его выздоровления; Инсаров в ее присутствии чувствует волнение и просит ее уйти, говоря, что он ни за что не отвечает; Елена не уходит и отдается ему.

20) Тайно обвенчавшись с Еленою, Инсаров уезжает вместе с нею в Венецию, чтобы оттуда пробраться в Болгарию.

21) Инсаров в Венеции умирает от аневризма, соединенного с расстройством легких.

Ради бога, господа читатели, из этого длинного списка деяний и свойств составьте себе какой-нибудь целостный образ; я этого не умею и не могу сделать. Фигура Инсарова не восстает передо мною; но зато с ужасающею отчетливостью восстает передо мною тот процесс механического построения, которому Инсаров обязан своим происхождением. Тургенев не мог остановиться на чисто отрицательных отношениях к жизни; ему до смерти надоели пигмеи, а между тем от этого жизнь не изменилась, и пигмеи не выросли ни на вершок. Ему захотелось колоссальности, героизма, и он задумался над тем, какие свойства надо придать герою; образ не напрашивался в его творческое сознание, надо было с невероятными усилиями составлять этот образ из разных кусочков; во-первых, надо было поставить героя в необыкновенное положение; положение придумано: Инсаров — болгар, и родители его погибли лютою смертью. Потом надо было устроить так, чтобы каждое слово и движение героя было проникнуто особенною многозначительностью, не сознаваемою самим героем; Тургенев достиг этого, заставив Инсарова разглагольствовать о любви к родине почти так же, как разглагольствует чиновник Соллогуба, с тою только разницею, что последний не делает блестящей антитезы (последний мужик — и я). Чтобы оттенить то воодушевление, которое овладевает Инсаровым, когда он говорит о родине, Тургенев заставляет его в остальное время быть очень спокойным; Тургенев напирает даже на то, что в Инсарове не видно ничего необыкновенного, что в нем все очень просто, начиная от ушастого картуза и кончая спокойною походкою. Чтобы показать благородную гордость героя, Тургенев упоминает о том, что Инсаров ни от кого не взял бы денег взаймы и даже от Берсенева не принимает даром комнаты, когда тот приглашает его к себе на дачу. Не знаю как другим, а мне эта гордость по поводу десяти или двадцати рублей кажется мелочностью. Не принимать одолжения от мало знакомого человека или от такого, которому тяжело быть обязанным, — это понятно, но с мелочною тщательностью отгораживать свои интересы от интересов товарища-студента или друга — это, воля ваша, бесплодный труд. Мое ли перейдет к нему, его ли ко мне, черт ли в этом? Я знаю, что сам с удовольствием сделаю ему одолжение, и потому с полною доверчивостью принимаю от него такое же одолжение. Чтобы показать, как земляки-болгары верят Инсарову, Тургенев рассказывает о поездке последнего за шестьдесят верст; чтобы дать образчик той колоссальной энергии, на которую способен герой, Тургенев изобрел бросание пьяного немца, и притом великана, в воду. Чтобы дать понятие о любви Инсарова к родине, Тургенев заставляет его бороться с любовью к Елене; Инсаров готов на пользу Болгарии пожертвовать любимою женщиною, — и это невольно переносит читателя в лучшие дни римской республики. Но вот что любопытно. Инсаров — герой, сильный человек; отчего же он постоянно предоставляет

Елене инициативу? Отчего Елена тащит его за собою и постоянно сама делает первый шаг к сближению? Отчего Инсаров постоянно принимает от нее разные доказательства любви не иначе, как после некоторого упрашивания с ее стороны? Что это за церемонии и уместны ли они между не-пигмеями? Инсаров видит, что девушка вышла к нему навстречу и с тоскою спрашивает у него: «Отчего же вы не пришли сегодня утром?» В этом вопросе сказывается любовь, недоумение, страдание, а Инсаров отвечает на это: «Я вам не обещал» и старается только отстоять ненарушимость своего слова. Точно будто хозяин торгового дома отвечает кредитору: «Срок вашему векселю не сегодня!» Освободит ли Инсаров Болгарию — не знаю, но Инсаров, каким он является в отдельных сценах романа «Накануне», не представляет в себе ничего целостно-человеческого и решительно ничего симпатичного. Что его полюбила болезненно-восторженная девушка, Елена, — в этом нет ничего удивительного: ведь и Титания гладила с любовью длинные уши ослиной головы;[22] но что истинный художник, Тургенев, соорудил ходульную фигуру, стоящую ниже Штольца, — это очень грустно; это показывает радикальное изменение во всем миросозерцании, это начало увядания. Кто в России сходил с дороги чистого отрицания, тот падал. Чтобы осветить ту дорогу, по которой идет Тургенев, стоит назвать одно великое имя — Гоголя. Гоголь тоже затосковал по положительным деятелям, да и свернул на «Переписку с друзьями». Что-то будет с Тургеневым? Кроме фальшивого понимания и уродливого построения, в романе «Накануне» есть еще недоговоренность, умышленная недоконченность в выражении главной идеи. Нет ответа на естественный вопрос: нашла ли Елена своего героя в Инсарове? Вопрос этот очень важен, потому что ведет к решению общего психологического вопроса: что такое мечтательность и искание героя? Болезнь ли это, порожденная пустотою и пошлостью жизни, или это — естественное свойство личности, выходящей из обыкновенных размеров? Есть ли это проявление силы или проявление слабости? Чтобы ответить на этот вопрос, надо было создать для Елены самые благоприятные обстоятельства, и тогда в картинах и образах показать нам, счастлива ли она или нет? А тут что такое? Инсаров скоропостижно умирает; да разве это решение вопроса? К чему эта смерть, обрывающая роман на самом интересном месте, замазывающая черною краскою неоконченную картину и избавляющая художника от труда отвечать на поставленный вопрос? Но, может быть, Тургенев и не задавал себе этого вопроса? Может быть, для него центром романа была не Елена, а был Инсаров? Тогда остается только пожалеть, что в плохом дидактическом романе, похожем на «Обломова» по идее, встречается так много таких великолепных частностей, как, например, личности Елены, Шубина, Берсенева, дневник Елены, сцена ожидания, сцена любви и, наконец, неподражаемый Увар Иванович.

IX

У Писемского я не буду брать отдельных женских характеров; постараюсь только показать общие отношения его к женщине; отношения эти в высшей степени гуманны; всепрощение доведено в них до последних пределов. «Женщина, — говорит нам Писемский своими произведениями, — никогда ни в чем не виновата. Ее бьют, ее угнетают, ее обижают делом и словом, ее потребности остаются неудовлетворенными и непонятыми; она страдает и своими страданиями мучит мужчину; мужчина на нее сердится и не понимает того, что он сам — причина ее страданий и своих мучений». Переберите все романы Писемского, и вы убедитесь в верности моих слов. Писемский не идеализирует женщин; у него есть дрянные женщины, есть и хорошие; но и самая дрянная женщина освобождается от всякого укора. Посмотрите на Юлию Владимировну в «Тюфяке», на Марию Антоновну в «Браке по страсти», на Катерину Александровну в «Богатом женихе». Некрасивы эти три барыни, куда некрасивы, но вы чувствуете и видите, что им не было никакого выхода из пошлости и грязи. Они увязли и перемарались, потому что не было никакой возможности пробраться в жизни сухими тропинками. И во всех трех случаях мужчина постоянно является ближайшею, непосредственною причиною унижения женщины. На Юлии женится почти насильно тюфяк-Бешметев; очень понятно, что Юлия пускается во все тяжкие; на Марии Антоновне женится по расчету хлыщ Хозаров; она выходит за него замуж по чистосердечной страсти; он оставляет ее в забросе и начинает ухаживать за другою женщиною; она от скуки начинает целоваться с офицером Пириневским. На Катерине Александровне женится фразер Шамилов, также по расчету; потом этот господин начинает показывать себя несчастным, не имея на то законного повода; Катерина Александровна чувствует себя оскорбленною и с своей стороны очень жестоко показывает своему неделикатному супругу его зависимое положение. — Вы видите таким образом, что эти три женщины находят себе оправдание в поведении своих мужей и в том воспитании, которое им было дано в родительском доме.

Когда Писемский симпатизирует выводимой женской личности, тогда все построение и изложение повести или романа согревается таким искренним и глубоким чувством, какое на первый взгляд трудно даже предположить в этом беспощадном реалисте. Это чувство выражается не в лирических отступлениях, не в идеализации любимого женского типа; оно, помимо воли и сознания самого автора, просвечивает в постановке фигур, в группировке событий; оно не нарушает правдивости; оно само вытекает из этой правдивости. Чтобы сочувствовать страданиям женщины, чтобы оправдать ее, не нужно подкупать себя в ее пользу; надо только

смотреть на вещи простыми, невооруженными и непредубежденными глазами.

Писемский вполне понял значение этой мысли и с свойственною ему неумолимою и притом бессознательною последовательностью провел эту мысль во всех своих произведениях.

Прочтите, господа читатели, его рассказ «Виновата ли она?», помещенный во втором томе его сочинений, и вы увидите, как просто и честно относится он к вопросу о женщине.

Хотелось бы мне подольше остановиться на отношениях Писемского к женщине, но я потратил много времени на разбор менее отрадных явлений, и потому приходится кончить.

1861 г. Декабрь.

МОСКОВСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

(Критический отдел «Русского вестника» за 1861 год)

I

Гейне в одном из своих посмертных стихотворений говорит, что мир представляется молодою красавицею или брокенскою ведьмою, смотря по тому, через какие очки на него взглянуть — через выпуклые или через вогнутые. Если верить на слово поэту, если предположить, что можно надевать себе на нос разные очки и вместе с тем менять взгляды на жизнь и на ее явления, то мы принуждены будем сознаться в том, что наше зрение радикально испорчено вогнутыми очками; чуть только мы попробуем заменить их другими или просто снять их долой, перед нашими глазами расстелется такой густой туман, который помешает нам распознавать контуры самых близких к нам предметов. Наше зрение слишком слабо для того, чтобы охватить все мироздание, но те крошечные уголки, которые нам доступны, кажутся нам такими неизящными шероховатостями и такими глубокими морщинами, которые гораздо легче себе представить на старой физиономии брокенской ведьмы, чем на свежем, прелестном лице молодой красавицы. Мы любим природу, но ее нет у нас под руками; ведь не в Петербурге же любоваться природою; не заниматься же, из любви к природе, метеорологическими наблюдениями над сырою и холодною погодою, не изучать же различные видоизменения гранита и не умиляться же над различными оттенками петербургского тумана. Поневоле придется, при всем пристрастии к безгрешной растительной природе, обратить все свое внимание на грешного человека, который здесь, как и везде, или сам страдает, или выезжает на страданиях другого. Как посмотришь на людские отношения, как послушаешь разнородных суждений, словесных, рукописных и печатных, как вглядишься в то впечатление, которое производят эти суждения, то мысль о выпуклых очках и о красавице отлетит на неизмеримо далекое расстояние. Уродливые черты брокенской ведьмы явятся перед глазами с такою

ужасающею яркостью и отчетливостью, что иному юному наблюдателю сделается не на шутку страшно; он быстро проведет рукою по глазам, в надежде сорвать проклятые очки и разогнать ненавистную галлюцинацию; но галлюцинация останется ярка попрежнему, и юный наблюдатель заметит не без волнения, что вогнутые очки срослись с его глазами и что ему придется зажмуриться, чтобы не видать тех образов, которые пугают его воображение. Иные, боясь за свои впечатлительные нервы, действительно зажмуриваются и постепенно возвращаются к тому вожделенному состоянию спокойствия, которое было нарушено неосторожным прикосновением к вогнутым очкам; другие, более крепкие и в то же время более увлекающиеся, продолжают смотреть, всматриваться, громко сообщают другим отчет о том, что видят, и не обращают внимания на то, что их речи встречают к себе равнодушие и насмешки в слушателях, что изображаемые ими картины принимаются за галлюцинации, за бредни расстроенного мозга; они продолжают говорить, воодушевляясь сильнее и сильнее; их воодушевление постепенно переходит в их слушателей; их речи начинают возбуждать к себе сочувствие; они волнуют и тревожат, они шевелят лучшие чувства, вызывают наружу лучшие стремления; вокруг говорящего группируется толпа людей, готовых переработывать жизнь и умеющих взяться за дело; но между тем сам говорящий изнурен колоссальным, продолжительным напряжением энергии; его измучили уродливые образы, на которых он долго сосредоточивал свое внимание; его истомила та борьба, которую ему пришлось выдержать с недоверием и недоброжелательством слушателей; его голос дрожит и обрывается в ту самую минуту, когда все окружающие прислушиваются к нему с любовью и с упованием; герой валится в могилу.

Такова общая биографическая история отрицательного направления в нашей литературе; [1] недаром большая часть писателей, изображавших темную сторону жизни, находили свой труд тяжелым и лично для себя неблагодарным; недаром Гоголь проводит параллель между двумя писателями; ту же параллель повторяет Некрасов, [2] конечно не из подражания Гоголю, а именно потому, что такого рода параллель естественно напрашивается в сознание и в чувство отрицателя. Тяжела, утомительна, убийственна задача отрицательного писателя; но для него нет выбора; ведь не может же он помириться с теми явлениями, которые возбуждают в нем глубокое физиологическое отвращение; нельзя же ему ни себя переделать под лад окружающей жизни, ни эту жизнь пересоздать так, чтобы она ему нравилась и возбуждала его сочувствие. Стало быть, приходится или молчать, или говорить горячо, желчно, порою насмешливо, волнуя и терзая других и самого себя. Неизбежность отрицательного направления начала понимать наша публика. Что само по себе это отрицательное направление представляет патологическое явление, в этом я нисколько не сомне-

ваюсь; доказывать его нормальность и законность quand même * значило бы доказывать вместе с тем нормальность и законность тех условий жизни, которые вызывают против себя сдержанную оппозицию и глухой протест. Те журналисты, которые подвергают серьезной критике существующие идеи, те писатели, которые выводят в своих эпических и драматических произведениях грязь жизни без выкупающих сторон, без утешительных прикрас, нисколько не думают дописаться до бессмертия. Что подумают о них потомки, скажут ли они им спасибо, раскупят ли они нарасхват какое-нибудь пятнадцатое издание их сочинений, все это, право, такие вопросы, которые нисколько не занимают честного писателя, честно выражающего свое неудовольствие против разных современных неудобств и странностей. Когда у такого писателя является потребность развить несколько мыслей по поводу того или другого явления, тогда он берется за перо только с одним желанием: чтобы те люди, которым попадется в руки его книга или статья, поняли, какие обстоятельства отразились в процессе его мышления и наложили свою печать на его литературное или критическое произведение. Надо только, чтобы между публикою и писателем существовало такого рода взаимное понимание, по которому бы публика видела и понимала связь между видимыми следствиями и необнаруженными причинами. Писателю надо желать, чтобы его произведение только будило в читателе деятельность мозга, только наталкивало его на известный ряд идей, и чтобы читатель, следуя этому импульсу, сам выводил бы для себя крайние заключения из набросанных эскизов. Такого рода читатели, договаривающие для самих себя то, что недосказано и недописано, начинают формироваться мало-помалу; дайте нашим писателям такую публику, которая бы понимала каждое их слово, и тогда, поверьте, они с величайшим удовольствием согласятся на то, чтобы их внуки забыли о их существовании или назвали их кислыми, бестолковыми ипохондриками. Работать для будущих поколений, конечно, очень возвышенно; но думать о лавровых венках и об историческом бессмертии, когда надо перебиваться со дня на день, отстаивая от разрушительного или опошляющего действия жизни то себя, то другого, то мужчину, то женщину, — это, воля ваша, как-то смешно и приторно; это напоминает Манилова, мечтающего о том, как он соорудит каменный мост, а на мосту построит каменные лавки.

Очень может быть, что «Русский вестник», с своею основательною ученостью, с своею эстетическою критикою, с своим солидным уважением к нашей милой старине и к нашему прекрасному настоящему, будет читаться и перепечатываться нашими потомками, которым, конечно, будут совершенно неизвестны имена задорных журналов, печатающих вздор, подобный теперешней

---

* Во что бы то ни стало *(франц.)*. — *Ред.*

моей статье. Мы не гонимся за «Русским вестником», не отбиваем у него прав на бессмертие, не составляем ему конкуренции; мы знаем, что не далеко ушли бы по той дороге, по которой шествуют московские мудрецы; [3] проклятая натура взяла бы свое, и, сквозь чинно отмеренные фразы серьезного беспристрастия, послышались бы звуки сдержанного хохота и негодующей иронии; да нам и нельзя подражать «Русскому вестнику»; нам никто не поверил бы; подумали бы, что мы все это неспроста говорим; стали бы доискиваться какого-нибудь скрытого смысла и доискались бы, благодаря своей догадливости, чего-нибудь такого, о чем мы бы сами и во сне не бредили. Дойдет или не дойдет «Русский вестник» до того храма бессмертия, в который он решительно возбраняет доступ всем писателям, опозорившим себя отрицательным направлением, этого я не знаю; это не мое дело, и я этим вопросом решительно не интересуюсь. Что̀ дает «Русский вестник» для нас, для наших современников, это совсем другой вопрос, и отвечать на этот вопрос я считаю очень не лишним; ведь у «Русского вестника» есть и в наше время читатели; не все же те люди, которые уважали его в первые годы его существования, махнули на него рукой за его литературные подвиги 1861 года. На этом-то основании я и решаюсь посвятить несколько страниц на то, чтобы с точки зрения человека, пишущего журнальную критическую статью в начале 1862 года, перебрать те литературные мнения, которые «Русский вестник» в последнее время подносил своим читателям.

II

Не думайте, господа читатели, чтобы я написал вам полемическую статью; когда я беседовал с вами о сатирической бывальщине Гермогена Трехзвездочкина, [4] я не полемизировал с автором этого произведения; полемизировать с «Русским вестником» так же невозможно, как полемизировать с автором «Победы над самодурами». У г. Трехзвездочкина свое оригинальное миросозерцание, несходное с миросозерцанием какого бы то ни было другого обыкновенного смертного; у сотрудников «Русского вестника» также совсем особенное миросозерцание; если бы я вздумал спорить с ними, то наш спор можно было бы сформулировать так: я бы стал доказывать этим господам, что они смотрят на вещи сквозь выпуклые очки, а они с пеной у рта стали бы уверять меня в том, что я имею глупость смотреть на вещи сквозь вогнутые очки; я бы кротко попросил их снять на минуту очки; они обратились бы ко мне с тем же требованием, пересыпая его бранными возгласами и убийственными намеками; кончилось бы тем, что, наспорившись досыта, мы замолчали бы, не сблизившись между собою в мнениях ни на одну линию; спор наш привел бы к таким же плодотворным последствиям, к каким приводит всякий спор, происхо-

дящий между людьми различных темпераментов, различных лет и, вследствие этих и многих других различий, несходных убеждений. Кроме того, сражаясь с «Русским вестником», я находился бы в самом невыгодном положении; «Русский вестник» победоносно развернул бы, на удивление всей читающей публики, полное свое исповедание веры, подвел бы, где бы понадобилось, цитаты, тексты и пункты, ссылки на авторитеты всех веков, не исключая XIX-го, засвидетельствовал бы мимоходом свое почтение той или другой великой идее и умилился бы над непризнанными заслугами какого-нибудь великого, но неизвестного России русского деятеля. А я? Что бы я ответил на все эти золотые речи? Я чувствую, что у меня оборвался бы голос при первых моих попытках оправдываться или защищаться. Непременно бы оборвался, и я бы замолчал. Вот видите ли, «Русский вестник» стоит на положительной почве, крепко упирается в нее ногами, скоро срастется с нею, и эта почва не выдаст его в минуту скорби и борьбы. А мы — что такое? Мы — фантазеры, верхогляды, говоруны; мы на воздушном шаре поднялись, а ведь воздушный шар, как говорит объявление «Времени»,[5] тот же мыльный пузырь. Так куда же нам бороться с «Русским вестником»? Повторяю вам, у меня оборвут голос в ту самую минутку, когда я попробую основательно возражать мнениям «Русского вестника». Да и к чему, для кого возражать? Если мои читатели не сочувствуют тем идеям, которые я выражал в моих статьях, то мне всего лучше не только не возражать «Русскому вестнику», но и совсем не писать. Если же мне сочувствуют, то мне будет совершенно достаточно передать, по возможности верно, литературные мнения «Русского вестника», для того чтобы высказать то, что лежит у меня на душе. Положим, что я воротился из какого-нибудь дальнего путешествия; положим, я посетил Персию и чувствую желание передать русской публике вообще и читателям «Русского слова» в особенности мои путевые впечатления; я, конечно, для полноты, верности и живости картины сочту необходимым воспроизвести те бытовые особенности, которые почему бы то ни было поразили мое воображение и врезались в мою память. Но я никак не поставлю себе в обязанность полемизировать против описываемых персидских обычаев; было бы и смешно и утомительно, если бы я описывал свои путевые впечатления так: «Персияне курят кальян; я нахожу, что гораздо лучше курить сигареты. Персияне запирают своих жен в гаремы; это возмутительный обычай, и я, как поборник эмансипации женщины, заявляю перед моими читателями мой торжественный протест против такого варварского устройства семьи». Вообразите себе, господа читатели, что я отправляюсь обозревать «Русский вестник» совершенно так же, как бы я мог отправиться обозревать Персию. У меня с «Русским вестником» так же мало общего в тенденциях, мнениях и литературных приемах, как в моих вседневных привычках мало общего с привычками какого-нибудь Аббаса-

Мирзы. Мы, грешные, вязнем в тине и барахтаемся среди всяких нечистот, а «Русский вестник» идет себе ровною дорогою и неспешною поступью пробирается к храму славы и бессмертия. Об чем же нам с ним спорить? Мы просто будем рассматривать его с живейшим любопытством и с напряженным вниманием, как рассматривают гостя из иного мира, создание, отличающееся особым сложением и подчиняющееся особым физиологическим законам. Установив раз навсегда такого рода спокойно-наблюдательные отношения к мнениям «Русского вестника», я намерен во всей последующей части этой статьи дать только фактический отчет о моих наблюдениях, хронику моих заметок.

Не ручаюсь, впрочем, и за то, чтобы кое-где, ошибкою, не прорвалось и критическое замечание.

III

В 1861 году в «Русском вестнике» совершилось немаловажное изменение. «Современная летопись» оторвалась от книжек журнала и превратилась в еженедельную газету. [6] Это событие, само по себе достопримечательное, повело за собою следующие, еще более достопримечательные последствия. Во-первых, книжки «Русского вестника» стали опаздывать с лишком на целый месяц; во-вторых, в состав книжек вошел новый отдел под заглавием: «Литературное обозрение и заметки»; в этом отделе редакция и сотрудники «Русского вестника» стали делиться с публикою своими взглядами на положение и события текущей литературы, и мы, благодаря этому обстоятельству, узнали много нового и любопытного.

В первой же книжке «Русского вестника» за 1861 год, в статье «Несколько слов вместо современной летописи»,[7] редакция отнеслась очень сурово к тем журналам, «где с тупым доктринерством или с мальчишеским забиячеством проповедовалась теория, лишающая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью все литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право на название национального поэта, а Гоголю оказывалось снисхождение только за его сомнительное свойство обличителя» (стр. 480). Этих уголовных преступников против законов эстетики и художественной критики редакция «Русского вестника» обещала преследовать со всею надлежащею строгостью. «Мы не откажемся также, — говорит она, — от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым людям в изловлении беспутных бродяг и воришек; но будем заниматься этим искусством не для искусства, а в интересе дела и чести» (стр. 484). Не могу удержаться, чтобы в этом месте не заявить «Русскому вестнику» моего полнейшего сочувствия; великие истины понятны и доступны каждому, начиная от развитого деятеля науки и кончая простым,

бедным тружеником; ловить беспутных бродяг и воришек из любви к искусству не согласится не только редактор «Русского вестника», но даже и простой хожалый; даже и тот понимает, что этим искусством надо заниматься в интересе дела, т. е. чтобы получать казенный паек и жалованье, или в интересе чести, т. е. чтобы дослужиться до унтер-офицерских нашивок. Конечно, редакция «Русского вестника» понимает интересы дела и чести не совсем так, как понимает их хожалый, может быть, даже не так, как понимает их английский полисмен; масштабы не те; между хожалым, сажающим в будку бездомного пьяницу, и русским ученым, издающим уважаемый журнал [8] и принимающим на себя, в интересе дела и чести, свою долю полицейских обязанностей в литературе, лежит, конечно, неизмеримое расстояние, неизмеримое до такой степени, что бедный хожалый, не привыкший группировать явления и сортировать их по существенным признакам, никогда не дерзнул бы подумать, что между ним и редактором ученого журнала есть так много общего. Признаюсь, я в этом отношении разделял неведение хожалого; я до сих пор думал в невинности души, что между обязанностями хожалого и занятиями литератора нет ни малейшего сходства; такого рода образ мыслей объясняется отчасти тем, что я не читал статью г. Громеки: «О полиции вне полиции», [9] бросающую, по всей вероятности, яркий свет на этот запутанный вопрос, отчасти тем, что я был очень молод и ветрен в те счастливые годы, когда газета «Северная пчела» находилась под ведением прежней своей редакции. [10] — Я думаю, впрочем, что я и впредь останусь при своем прежнем неведении, несмотря на то, что это неведение очень многим может показаться забавным и даже идиллическим. На русском языке существует поговорка: «с своим уставом в чужой монастырь не ходят». Эту поговорку можно перевернуть, и она от этого ничего не потеряет. Чужой устав, введенный в свой монастырь, может также оказаться в высшей степени неуместным; поэтому, не стараясь навязать редакции «Русского вестника» малейшую частицу моих понятий, я не буду стараться о том, чтобы заимствовать что бы то ни было из ее своеобразного миросозерцания. Я уже предупредил читателей: мы вступаем в новый мир, в котором все, начиная от крупнейшего травоядного животного и кончая мельчайшею букашкою, должно возбуждать удивление простого наблюдателя и лихорадочную любознательность зоолога. Мы с вами, господа читатели, простые наблюдатели, и потому мы просто будем удивляться:

Куда на выдумки природа торовата!

и заранее выражаем отчасти смелую надежду на то, что, выходя из кунсткамеры, нам не придется сказать с грустным чувством неудовлетворенного любопытства:

Слона-то я и не приметил!

Может быть, то обстоятельство, на которое я указал при самом входе в кунсткамеру, есть именно тот слон; может быть, мы сразу попали на самое характерное место; в таком случае мне остается только пожалеть, что я не естествоиспытатель; если бы к этому месту приложить анатомический нож и микроскоп, если бы исследовать его состав путем химического анализа, то могло бы открыться много любопытного; мы узнали бы законы питания, органы и отправления того организма, который находится перед нашими глазами; все это могло бы случиться только в том случае, если б я был естествоиспытателем; но я просто ротозей, описывающий внешнюю сторону явления, и потому, представив факт на рассмотрение читателей, я принужден идти дальше, хотя чувствую, что в представленном факте много необъясненного.

Беспутные бродяги и воришки, слоняющиеся по пустынным полям нашей литературы, повергают редакцию «Русского вестника» в самое мрачное раздумье.

«Ни одна литература в мире, — восклицает она, — не представляет такого изобилия литературных скандалов, [11] как наша маленькая, скудная, едва начавшая жизнь, литература без науки, едва только выработавшая себе язык».

Ну, вот наша литература выработала себе язык и на радостях показывает его на все четыре стороны, встречным и поперечным, а эти встречные и поперечные обижаются, не понимают шутки, жалуются: «Она нас дразнит; это — личность, это — оскорбление». Кто ж в этом виноват? Вольно им оскорбляться и вольно ж им, если они так обидчивы, смотреть на этот язык, который так добродушно показывает им наша литература. Когда наша литература выработает себе науку, она, может быть, вместе с языком будет показывать и науку или что-нибудь другое, смотря по обстоятельствам. А покуда ведь, кроме языка, нет ничего. Ну, так что же делать? На нет и суда нет!

Впрочем, я вообще не понимаю, какое отношение имеет отсутствие науки к присутствию литературных скандалов. Сколько мне кажется, редакция «Русского вестника» под названием литературного скандала подразумевает разные печатные разбирательства о литературных и нелитературных предметах.

Слово *скандал* дает нам почувствовать, что редакция «Русского вестника» входит в роль и готова с полным усердием взять на себя свою долю полицейских обязанностей. Скандалом, на языке образованной полиции, называется, как известно, всякое происшествие, нарушающее обычный ход действия в каком-нибудь публичном месте и возбуждающее в собравшейся толпе зевак какие бы то ни было толки. Если такого же рода событие произойдет на арене нашей литературы, то «Русский вестник», конечно, не станет калякать с зеваками, а примет именно ту позитуру, которую в подоб-

ном случае обязан принять исправный член благоустроенной полиции. Это я понимаю, но попрежнему продолжаю не понимать, почему отсутствие науки обусловливает собою присутствие скандалов. Мне кажется, что самая лучшая лекция по гражданскому праву не заменит вам того судебного заседания, в котором решается ваш процесс. Самое лучшее исследование о причинах зубной боли не заменит вам в минуту страдания нескольких капель опиума. Точно так же вся наука «Русского вестника» не заменит вам неоцененного права обратиться к суду общественного мнения, когда вы почувствуете себя несправедливо оскорбленным. Наука — вещь хорошая, но она в своей отвлеченности никак не может заменить нам своих практических применений к жизни. Какое бы великолепное исследование вы ни написали, а это исследование никак не выручит вас в том случае, когда вам понадобится обратиться к суду общественной гласности. Конечно, если те отвлеченные истины, которые вы будете развивать в научном трактате о нравственной философии, войдут в плоть и кровь всех людей, живущих на земном шаре, или по крайней мере в России, то вам не придется обращаться к суду гласности и поднимать литературные скандалы, потому что все будут уважать ваши права; но ведь согласитесь, тут долга песня; пока солнышко взойдет, роса глаза выест. Если даже литература наша создаст себе науку, то от существования науки еще не прекратятся скандалы. С прекращением же их наступит такой золотой век, о котором мы теперь не можем себе составить и приблизительного понятия; в этом золотом веке исчезнет потребность в литературной полиции. Кто знает? Может быть, вместе с этою потребностью исчезнет и потребность в «Русском вестнике» вообще. Теперь не то. Скандалы неизбежны, потому что вам на каждом шагу представляется неотвязная дилемма: терпеть насилие или подымать крик; а иногда приходится даже делать в одно время и то и другое. Теперь приходится удивляться тому обстоятельству, что «Русский вестник» жалуется на обилие скандалов. Разве было бы лучше, если бы несправедливые поступки проходили без огласки, если бы нелепые мнения принимались без спора? Восставать против обилия скандалов — значит, другими словами, проклинать зарождающуюся гласность. Если бы, приступая к обзору «Русского вестника», я не вошел в иной мир, то, мне кажется, я осмелился бы назвать эту вещицу проявлением обскурантизма. Но ведь опять-таки: с своим уставом в чужой монастырь не ходят. У нас это называется обскурантизмом, а у них, в «Русском вестнике», это, может быть, именуется совсем иначе: серьезностью, солидностью, ученостью или еще как-нибудь позамысловатее. Поэтому я удержу язык свой в должном повиновении, несмотря на то, что я его выработал и что меня ужасно разбирает охота показать его во всю длину противникам гласности, какой бы чин они ни занимали на иерархической лестнице литературной полиции.

IV

Приступаю к февральской книжке и встречаю на первом плане литературного обозрения статью загадочного содержания под многообещающим заглавием: «Старые боги и новые боги». [12] Судя по этому задорному названию статьи, можно было бы подумать, что «Русский вестник» вступает в ряды наших современных идолоборцев и старается сбить с пьедесталов тех Перунов и Волосов, которые, несмотря на честные усилия науки, еще до сих пор красуются в нашем неустановившемся миросозерцании. Действительно, в этой статье есть отдельные фразы, от которых не отказался бы ни один из свистящих журналов. [13] «Кто выдает себя за мыслителя, — говорится между прочим в этой статье, — тот не должен принимать на веру, без собственной мысли, ничего ни от г. Аскоченского, ни от Бюхнера, ни от Ивана Яковлевича, ни от Фейербаха». С этою мыслью нельзя не согласиться, если принять эту мысль в полной ее отвлеченности; можно только заметить, что два имени, вставленные в эту фразу, не гармонируют с общим ее содержанием; когда произносишь имена Бюхнера и Фейербаха, тогда вовсе не надо прибавлять то, что от них не следует ничего принимать на веру: это само собою разумеется. Как вы примете что-нибудь на веру от такого человека, который вовсе не хочет, чтобы вы ему верили, и убеждает вас не ссылками на авторитет, а доводами и аргументами? Эти доводы могут быть неудовлетворительными; слушая того мыслителя, который представляет эти доводы, вы можете не заметить их неудовлетворительности и впасть в ту ошибку, в которую впадает сам мыслитель. Но ошибка в процессе мысли не беда. В этом случае человек нечаянно упускает что-нибудь из виду, а не умышленно зажмуривает глаза и не говорит: я и смотреть не хочу. Если бы Фейербах или Бюхнер увидели последнее настроение в ком-нибудь из своих адептов, то, вероятно, они или отвернулись бы от этого субъекта, или посоветовали бы ему обратиться к какому-нибудь известному психиатру за помощью и советом. Человек, имеющий наклонность принимать чужие мысли на веру, никогда не сделается последователем Фейербаха и Бюхнера; по дороге к их учению он встретит великое множество школ и направлений, которые затянут его к себе именно потому, что они очень многое передают на веру. То возражение, что учение Фейербаха и Бюхнера теперь в моде, в ходу и на этом основании притягивает к себе тех людей, которые увлекаются подражательными стремлениями, не имеет ни малейшей силы. Не угодно ли вам справиться с нашею журналистикою? Не угодно ли вам прислушаться к тем разговорам о высоких материях, которые ведутся в наших салонах? Не думаю, чтобы в этих разговорах вы открыли зловредные тенденции материализма. Стало быть, моды на Фейербаха и Бюхнера нет. Стало быть, учение этих мыслителей принимается только весьма немногими людьми.

Может быть, эти люди ошибаются, но во всяком случае они мыслят согласно с Фейербахом и Бюхнером, а не признают непогрешимость Фейербаха и Бюхнера. Они не увлекаются общим стремлением, потому что общего стремления к материализму у нас не существует.

Статья «Русского вестника» клонится к тому, чтобы доказать, что наши скептики и отрицатели не умеют мыслить и, освистывая суеверие массы, сами с полным суеверием поклоняются кумирам, подобным Фейербаху и Бюхнеру; для большей убедительности автор статьи сравнивает наших журналистов с Иваном Яковлевичем, ответившим однажды на какой-то вопрос своего обожателя: «Без працы не бенды кололацы». [14]

«*Кололацы*! *кололацы*! — восклицает автор. — А разве многое из того, что преподается и печатается, — не *кололацы?* Разве философские статьи, которые помещаются иногда в наших журналах, — не *кололацы?*»

Для этого язвительного вопроса была написана и напечатана вся статья «Старые боги и новые боги». Вся эта статья представляет более или менее замысловатые вариации на этот вопрос: разве не кололацы? Пускаются в ход страшные усилия и натяжки для того, чтобы доказать, что гг. Чернышевский и Антонович, как две капли воды, похожи на Ивана Яковлевича и Аскоченского. Желание автора провести свою идею до конца с возможно большим успехом доводит его до высоких подвигов самоотвержения. Он решается печатно прикидываться дурачком и упрекает г. Антоновича в несправедливой ненависти к материализму. [15] Такого рода упрек имеет всю прелесть оригинальности и новизны.

Он доказывает, что можно писать критику на такую статью, которой смысл остается недоступным для самого рецензента. Впрочем, гораздо правдоподобнее будет предположить, что непонимание, обнаруженное в статье «Старые боги и новые боги», есть непонимание умышленное. Автор этой статьи, движимый разными побуждениями, решился над г. Антоновичем показать первый пример полицейской исправности «Русского вестника». Так как в критической статье г. Антоновича о «Философском лексиконе» «Русский вестник» не сумел придраться за какую-нибудь действительную погрешность, то он решился всклепать на него небылицу, и г. Антонович оказался без вины виноватым. Этим первым подвигом на поприще изловления бродяг и воришек «Русский вестник» показал наглядно, что он во имя принципа жертвует отдельною личностью. Его принцип — безусловное отрицание задорной журналистики, а задорным он называет каждое энергическое слово, выражающее самостоятельную, а не вычитанную идею; этот принцип требует себе жертв; выйдя на поле нашей литературы с твердым намерением поймать бродягу или воришку, «Русский вестник» не мог и не хотел воротиться домой без добычи; первый попался ему г. Антонович; виноват он в глазах «Русского

вестника», во-первых, тем, что помещает свои статьи на страницах ненавистного ему журнала; во-вторых, тем, что пишет о философии довольно понятным языком и не кланяется в пояс разным кумирам философского пандемониума. [16]

Этого было совершенно достаточно; г. Антоновича арестовали как подозрительного человека и привели пред судилище «Русского вестника». Как решилось его дело — я сказать наверное не могу, потому что протоколы суда (т. е. статья «Старые боги и новые боги») написаны крайне сбивчивым и неясным языком, наполнены голословными обвинениями и скорее похожи на лирическое излияние озлобленного человека, чем на спокойное исследование нелицеприятного судьи. Чем оказался г. Антонович, по мнению «Русского вестника», бродягою или воришкою — я тоже не знаю. Словом, из статьи «Старые боги и новые боги» усматривается только одно: «Русский вестник» из кожи вон лезет, чтобы как-нибудь поубийственнее побранить кого-нибудь из литераторов, пишущих в «Современнике»; где можно зацепить полицейскою алебардою двоих или троих разом, там он цепляет; где надо для большей силы обвинения прибавить, там он прибавляет; где надо прикинуться наивным, там он наивничает с неподражаемою естественностью. Почему и для чего он так поступает — не знаю. Что нам за дело до побуждений, руководящих г. Катковым, что нам за дело до степени его искренности? Мы видим результаты; эти же результаты видит общество, испытывающее на себе их влияние в том или в другом направлении; об этих результатах и следует говорить, нимало не пускаясь в психологические изыскания.

Может быть, редакция «Русского вестника» за свои убеждения готова (выражаясь высоким слогом) излить последние капли своей благородной крови, а может быть и то, что она проводит не свои идеи по разным, нелитературным расчетам. В первом случае редакция «Русского вестника» только заблуждается; во втором — она действует неискренно; но в том и в другом случае результат выходит один и тот же: под зеленоватою оберткою «Русского вестника» появляются статьи, толкующие вкривь и вкось о таких вопросах, на которых сходятся между собою все сознательно-честные люди в России; эти статьи с насмешкою и с порицанием относятся к стремлениям и к мыслям, выражаемым этими сознательно-честными людьми; с уважением и с подобострастием говорят они о том, что эти люди считают старым хламом; булгаринские тенденции скрываются в этих статьях под неясными терминами и оборотами, которыми любит драпироваться сомнительная ученость людей, не умеющих переварить в своей голове набранный запас сырых материалов и фактов.

Кто не умилится сердцем, читая драгоценную статью г. Грота, помещенную вслед за сердитою статьею «Старые боги и новые боги»? Кто не отдохнет душою на этом спокойном, прозрачном изложении, чистом и приятном на вкус, как дистиллированная

теплая вода? Кто, при чтении этой заметки, не поверит в будущее торжество добра, в наступление того золотого века, когда литераторы будут любить друг друга и когда на земле не будет другого зла, кроме сырой погоды и сухих туманов? Статья г. Грота называется: «Заметка о русской журналистике» и вся насквозь пропитана тем незлобием и тою наивностью, которые, вероятно, будут составлять преобладающие свойства литературы в счастливые дни золотого века, привлекающего к себе с неотразимою силою сердца и надежды людей, верующих в историю и в прогресс. Эта статья начинается и кончается разными любезностями и лестными комплиментами, которые автор, как вежливый кавалер, подносит нашей литературе; должно заметить, что к литературе вообще г. Грот относится как-то со стороны, как человек, взявший перо в руки в досужный час, чтобы высказать мысль, случайно зашедшую в голову. Знает он литературу как-то по слухам да, может быть, потому, что где-нибудь, случайно, пробежал страниц пятнадцать в какой-нибудь недавно вышедшей журнальной книжке. Оттого любезности у него выходят совершенно неопределенные, а замечания чисто внешние; так, например, выражается надежда, что движение, оживившее русскую литературу лет шесть тому назад (тогда, должно быть, когда начал издаваться «Русский вестник»), «конечно, приведет ее к самым счастливым результатам». В конце статьи встречается следующее трогательное место:

«Утешимся тем, что одна истина носит в себе неодолимую силу живучести и что во всяком человеческом обществе она, посреди всех заблуждений, пролагает себе путь хотя медленно, но твердо».

Эта фраза напомнила мне преуморительную сцену из комедии Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». Нелькин, нелепейший из когда-либо существовавших добродетельных героев, восклицает на сцене: «Правда, правда, где ж твоя сила?» А Расплюев очень основательно отвечает ему на это: «А поди, поищи ее!» Нелькин, как известно, уходит искать правду и вместо правды находит полицию, которую и приводит с собою на сцену. Как ни странно держит себя Нелькин, а все-таки он действует основательнее г. Грота; во-первых, Нелькин выражает свою мысль в вопросительной форме, т. е. до некоторой степени сомневается и даже отчаивается; во-вторых, он, не умея сам найти правду, призывает к себе на помощь частного пристава; что же касается до г. Грота, то он твердо уверен, что истина будет торжествовать, что она победит сама собою и что нам, слабым смертным, всего лучше сложить руки, уповать на прочность идеи и утешаться тем, что одна истина имеет неодолимую силу живучести.

В середине статьи г. Грота высказываются некоторые порицательные замечания насчет нашей журналистики; эти замечания прелестны по своей наивности; процесс мысли совершается в голове автора до такой степени своеобразно, что я не могу отказать себе в удовольствии произвести над этим процессом несколько

наблюдений. «В критике нашей, — говорит г. Грот, — на троне гуманности восседает покуда заклятый враг ее — нетерпимость». Этот приговор, выражающийся в такой образной форме, срывается с уст автора по тому поводу, что, «вследствие разных обстоятельств, в нашей литературе утвердились известные взгляды и мнения, которые присвоили себе монополию обращения в печатном мире». О какой это литературе мечтает г. Грот? Кажется, о русской. Где же издаются в одно и то же время журналы «Современник» и «Странник», «Русское слово» и «Русский вестник», «Отечественные записки» и «Искра», «Русский инвалид» и «День», «Северная пчела» и «Наше время»? [17] Кажется, в России? Как же это г. Грот ухитрится помирить существование стольких совершенно разнохарактерных изданий с монополиею известных взглядов и мнений? Но он и не думает об этом. Он говорит о нетерпимости с точки зрения литературной кротости, а уж мысль о монополии подвернулась как-то по дороге и забрела в его статью совершенно случайно. Г. Гроту хотелось бы, чтобы все наши писатели, при спорах между собою, все-таки сулили друг другу лавровые венки и говорили друг о друге в печати таким образом: «Почтенный автор в своей прекрасной статье, которой основную мысль мы, однако, осмелимся найти не вполне справедливою, доказывает с свойственным ему остроумием» и т. д. Да, во время оно, когда писатели говорили между собою таким языком, уцелевшим теперь только в официальных изданиях ученых обществ, было приятно и душеспасительно заниматься литературою. Теперь обмен сладостей между писателями сделался невозможным; одна часть русских литераторов превратилась, по словам «Русского вестника», в бродяг и воришек; другая часть, к которой не без самодовольства примыкает «Русский вестник», поступила на службу в литературную полицию. Но все эти события прошли, кажется, мимо г. Грота и не нарушили его очарованного сна, под влиянием которого он изредка произносил отрывочные восклицания, имеющие, может быть, некоторую связь с его грезами, но не имеющие ни малейшего отношения к физиономии нашей действительной жизни. Г. Грот не справляется даже, повидимому, с литературными мнениями того журнала, в котором он печатает свои заметки; он не соображает того обстоятельства, что требовать деликатности выражений в литературе значит упрекать «Русский вестник» в невообразимом нахальстве. Ведь если бы петербургские литераторы [18] не смотрели на выходки «Русского вестника» как на смешные проявления бессильной, старческой злобы, то они давно заставили бы редакцию ученого журнала дать полное и категорическое объяснение в своих намеках и формально, печатно отступиться от тех выражений, которые обнаруживают в себе стремление бросить тень на литературную честность лучших современных двигателей русской мысли. Если мы не поступаем таким образом, то это происходит единственно от того, что мы глубоко равнодушны к форме,

к выражению; тенденции «Русского вестника» кажутся нам неблагородными, — мы это и высказываем; мысли, выраженные «Русским вестником», кажутся нам бедными и рутинными, — мы это замечаем; что же касается до того частного и второстепенного обстоятельства, что эти тенденции проводятся в грубой форме, что эти мысли облекаются в неопрятные выражения, то нам до этого уже нет никакого дела. Не читать же нам для редакции «Русского вестника» лекции пиитики, не преподавать же ей уроки вежливости. Для нас решительно все равно, обругает ли нас «Русский вестник» бродягами и воришками или просто отнесется недоброжелательно к задушевной мысли наших статей. Сущность дела в том, за кого стоит «Русский вестник»: за нас или за наших литературных противников. Если он идет против тех стремлений, которые мы считаем полезными для нашего общества, тогда между нами нет и не может быть примирения, хотя бы целые страницы и статьи «Русского вестника» были посвящены восхвалению наших литературных талантов и нравственных достоинств. Дело в том, что через типографский станок должны проходить только те черты авторской личности, которые связаны с какимнибудь общим интересом. Мы не боимся гласности, проведенной до последних пределов; мы не боимся таких обличителей, которые по какой бы то ни было причине решились бы посвящать публику в мельчайшие и интимнейшие подробности нашей домашней жизни; но мы сами никогда не решимся навязываться публике с разными конфиденциями собственно потому, что щадим время каждого из наших читателей и желаем говорить с ними только о таких предметах, которые могут иметь для них живой интерес. Поэтому-то мы считаем совершенно излишним протестовать печатно против тона «Русского вестника». Обругал или не обругал «Русский вестник» меня или кого-нибудь другого — это вовсе не интересно. За что обругал? Это другой вопрос; в ответе на этот вопрос заключается уже до некоторой степени отчет об общих убеждениях того или другого литературного органа. Полемика имеет свою несомненную важность не тою диалектическою частью, в которой один из спорящих по пунктам опровергает другого и ловит его на мелочах, а тем общим направлением, по которому развивается мысль обоих полемизирующих писателей.

Форма полемики — пустое дело. Общая подкладка полемики, напротив того, имеет самую существенную важность. Поэтому жалоба г. Грота на нетерпимость в критике показывает в авторе «Заметки» такую первобытную, нетронутую наивность, которая возможна только в человеке, не имеющем ни малейшего понятия об интересах, волнующих нашу литературу. Разве у нас дерутся из-за литературных мнений? Разве у нас возникают тяжебные дела из-за несходства эстетических понятий? Упрекать в нетерпимости можно, сколько мне кажется, только такого писателя, который готов и желает всеми возможными средствами насолить

своему литературному противнику, а упрекать человека в нетерпимости за то, что он возражает горячо на такие мнения, которые кажутся ему нелепыми, это крайне оригинально, чтобы не сказать больше. В наше время нелепое мнение — то же самое, что нелепый поступок; кто говорит нелепую мысль, тот поступает так же уродливо, как поступает человек, держащий свою жену взаперти или отпускающий полновесные пощечины своим детям и домочадцам. Если вы увидите сцену насилия, вы, вероятно, подадите помощь страждущему и, может быть, затеете драку с обидчиком; точно так же, если вы прочтете в печати проповедь насилия и угнетения, вы вступитесь за те естественные человеческие права, которые покажутся вам нарушенными. Если ваши возражения будут горячо прочувствованы, если вы дадите понять проповеднику насилия, что считаете его убеждения достойными негодяя или дурака, то, вероятно, ни один благоразумный человек не обвинит вас в нетерпимости, потому что в противном случае пришлось бы доводить терпимость до того, чтобы позволять на своих глазах бить человека, не заступаясь за него и не заявляя даже своего негодования. Каждый волен держаться того или другого убеждения, но вместе с тем каждый точно так же волен критиковать убеждения своих соседей и называть их нелепыми или возмутительными, если они противоречат *его* логике или возмущают *его* личное, нравственное или эстетическое, чувство. «Журнальная гласность, — говорит г. Грот, — должна быть обоюдоострая, или, как бог Янус, иметь два лица, из которых одно было бы обращено к обществу, а другое к самой литературе. Но, повторяем, наша литература любит преследовать злоупотребления только вне самой себя, а относительно своих темных сторон предпочитает скромное молчание». Ну, скажите на милость, как же не назвать эти слова отрывочными восклицаниями, произносимыми сквозь сон! За минуту перед тем г. Грот жаловался на то, что наша журнальная критика нетерпима к тем идеям и мнениям, которые идут вразрез с ее убеждениями; а теперь он, прямо в связи с этою мыслью, начинает доказывать, что эта же самая критика предпочитает скромное молчание относительно своих темных сторон. Где же тут скромное молчание, когда существует страстное обличение и горячий протест? Ведь в критике встречаются сильные возражения против мнений, выраженных печатно, следовательно, выраженных в той же русской литературе. Ведь не возражают же наши критики тому, что они слышали где-нибудь на обеде или на вечере. Как же согласить скромное молчание с нетерпимостью к разноречивым мнениям? Или, может быть, представляя фигуру бога Януса, г. Грот этим образом хочет выразить свое желание, чтобы писатель в одно и то же время и доказывал и опровергал одну и ту же идею, чтобы критик в одной книжке журнала обличил какого-нибудь обскуранта, а в следующей книжке пролил слезы раскаяния над собственным своим увлечением? Это было бы очень трогательно,

и такого рода гласность была бы действительно обоюдоострая. Критическое самобичевание, которого, повидимому, требует г. Грот, напомнило бы публике зрелище, которое часто приходится видеть на наших почтовых дорогах; оно напомнило бы ей, как неопытный ямщик, желая стегнуть свою лошадь, замахивается кнутом так усердно, что попадает сначала по седоку, потом по своей собственной спине и, наконец, и то не всегда, по лошади. Это было бы, конечно, очень смешно, но публика имела бы полное право сказать такому наивному критику: «Милый юноша, предпринимайте все ваши исправительные меры в тиши вашего кабинета. Стегайте себя сколько угодно, но избавьте нас от тяжелого и бесплодного зрелища ваших самоистязаний. Давайте нам результаты вашего мышления, а не брожение вашего мозга. Набичуйте себя вдоволь и тогда выступайте перед нами человеком сложившимся, сознательно идущим по известному направлению». Если, например, «Современник» отзывается о какой-нибудь статье «Русского вестника» как о статье дикой, то, стало быть, критика наша не проходит собственных своих темных сторон скромным молчанием. Но требовать от «Современника», чтобы он бранил те самые статьи, которые он помещает на своих собственных страницах, это совсем нелепо, это что-то вроде пеликана, раздирающего свое чрево для удовольствия публики. Любопытно также то обстоятельство, что г. Грот в своей заметке высказывает мнения, диаметрально противоположные тем идеям, которые выражает редакция «Русского вестника».

И как вас бог не в пору вместе свел! [19]

Вот что говорит г. Грот: «Периодическая литература наша много занимается общественными вопросами, но очень мало сама собою... Наша литература бойко затрогивает все, что лежит вне ее самой, но в собственные свои дела не вглядывается пристально. А между тем первый шаг к самоусовершенствованию есть самоизучение, и для всего, что́ живет и мыслит, самое полезное дело есть занятие ближайшими предметами».

А вот что говорит редакция в январской книжке, на стр. 480: «Только праздные и больные умы занимаются сами собою; только хилое искусство превращается в эстетические курсы; только лишенная производительности, безжизненная и бессильная литература роется в собственных дрязгах, не видя перед собою божьего мира, и вместо живого дела занимается толчением воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями».

Как видите, эти два мнения диаметрально противоположны; г. Грот с укоризною замечает, что наша литература бойко затрогивает все, что лежит вне ее самой, а редакция «Русского вестника» резко упрекает ее в том, что она роется в собственных дрязгах, не видя перед собою божьего мира. Если мои читатели желают знать мое личное мнение об этом важном спорном пункте, то я за-

мечу, что схожусь скорее с воззрениями редакции, чем с идеями г. Грота, возводящего безгласность литературы в нормальное явление и дающего этой безгласности силу вечного закона. Любезная литература, говорит г. Грот своим вышеприведенным местом, ты, пожалуйста, не моги вмешиваться в вопросы общественной жизни. Там тебя не спрашивают, туда тебя не пустят, там тебе нечего делать; все будет улажено и устроено без тебя. Вы, почтенные господа писатели, творите стишки и поэмы, сооружайте повести и драмы, свидетельствуйте друг другу свое почтение и дружеское расположение в критических статьях, воспевайте на все лады красоту природы и благость провидения, и — довольно с вас. Дальше не ходите.

Признавая Карамзина и Жуковского образцовыми русскими писателями, остановившись, следовательно, на тех понятиях, которые составляли себе эти два джентльмена о деятельности литератора и гражданина, г. Грот не может думать и говорить иначе. Кто в шестидесятых годах повторяет то, что казалось новым и смелым в двадцатых годах, тот, конечно, должен представиться нам каким-то ископаемым литератором. Люди, начавшие в 1856 году издание журнала, не могут сходиться в мнениях с антиком, подобным г. Гроту; действительно, редакция «Русского вестника» говорит совсем другое; она очень сердится на нашу литературу за то, что та не видит перед собою божьего мира, и решительно не хочет принять в соображение того обстоятельства, что литература наша ни в чем не виновата; она делает все, что может, и если достигаемые ею результаты оказываются неудовлетворительными, то это значит только, что она, при всех своих добросовестных усилиях, не может прошибить ледяную кору, отделяющую ее от живого понимания народа.

В наше время пишут многие; пишут те люди, у которых есть действительная потребность высказаться; пишут и те люди, которые, научившись владеть языком, стараются заработать себе побольше денег; в числе книг и статей, появляющихся в течение года у нас в России, есть очень много фабричных изделий, но зато рядом с этими грошовыми работами лежат тут же, в этом ворохе книг и статей, труды лучших, наиболее честных и талантливых наших соотечественников. Искусства нам как-то не дались; ни живопись, ни скульптура, ни музыка, ни театральное искусство не привлекают к себе с особенною силою наших молодых деятелей; почти вся масса ума и таланта, порождаемая русскою почвою, с неудержимою порывистостью бросается в литературу и находит в ее различных родах полное удовлетворение своему стремлению к деятельности. Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему-нибудь научиться, и потому незрелость суждений, которую «Русский вестник» клеймит позорным именем литературной бесчестности, действительно бросается в глаза в самых замечательных произведениях нашей критики и публи-

цистики. Эта незрелость составляет существующий факт, но в существовании этого факта не виноваты наши писатели. Все мы воспитывались в душной среде, в узких понятиях, под влиянием мертвящих предрассудков; все мы, становясь на свои ноги, принуждены были разрывать связь с нашим прошедшим, переделывать сверху донизу весь строй наших понятий, выкуривать из нашего мозга ту нелепую демонологию, которая заменяла нам в детстве трезвые понятия о мире, о природе и человеке; вступая в борьбу с теми элементами, которые, благодаря влиянию родителей и педагогов, приросли к нашей природе, отрывая с болью и с кровью детские верования, детские привязанности, детские взгляды на жизнь, мы воодушевляемся и ожесточаемся в одно и то же время; проникнутые сознательным, глубоким отвращением к тем мрачным формам семейного быта, к тем суровым принципам лицемерной нравственности, к тем обессмысленным обычаям, которые давили в детстве наше естественное развитие и задерживали наш умственный рост, — мы с лихорадочным нетерпением выжидаем случая, когда бы нам можно было выразить свое негодование против всего того, что остановило развитие многих даровитых личностей и что до сих пор продолжает забивать способности детей и юношей, девушек и женщин наших. Когда мы беремся за перо, мы еще почти ничего не знаем, но сторона отрицания оказывается уже вполне развитою. Нелепостей и несообразностей насмотрелся на своем веку каждый ребенок; следовательно, каждый молодой человек, принимающийся за перо, имеет все данные для того, чтобы всею силою критики разбивать мир предания и рутины. Вместе с материалами жизнь дает нам импульс к отрицанию; кто развился настолько, чтобы понять неестественность своих ребяческих понятий, тот никак не остановится на хладнокровном созерцании этих понятий; ум не терпит неволи; когда он видит себя несвободным, он принимается разрушать свою клетку и не оставляет своей работы до той минуты, пока не будет совершенно окончено дело разрушения. Когда ум занят такого рода работою, тогда нет места для спокойного приобретения знаний; находясь в такой поре развития, мы с наслаждением хватаемся за сочинения, проникнутые полемическими тенденциями, и оставляем в стороне многотомные исследования кабинетных ученых. За это нельзя быть на нас в претензии. «Своя рубашка к телу ближе»; мы ищем того, что соответствует настоящим потребностям нашего ума, что отвечает на вопросы, встречающиеся нашей мысли на пути ее естественного развития. Когда ребенок растет, у него иногда обнаруживаются странные аппетиты: он ест с наслаждением мел, уголь, известку, глину, и эти вещества приносят ему больше удовольствия и даже больше пользы, чем питательная говядина или крепкий бульон; дело в том, что ему надо ввести в кровь именно те вещества, к которым он чувствует странное влечение; на пути нашего умственного развития мы часто бываем поставлены в такое

же положение; если нашему уму надо что-нибудь вроде известки или острой кислоты, тогда и не предлагайте нам ни телятины, вроде ученых исследований гг. Буслаева, Устрялова и Соловьева, ни миндального печения, вроде лирических стихов гг. Фета и Полонского. Та пища, на которой живут наши писатели, отражается, конечно, и на том, что они производят. Сами писатели проникнуты полемическими тенденциями, и те же тенденции проходят через их произведения. Мы не рассказываем публике о том, что мы знаем; мы просто делимся с нею нашими симпатиями и антипатиями; мы говорим ей: это мы любим, этого не любим, приводим с большею или меньшею полнотой, с большею или меньшею ясностью объяснения и доводы; мы говорим о том, что сами думаем и чувствуем, потому что полагаем, что вокруг нас живут такие же люди, как и мы сами, и что каждый из них думает и чувствует про себя почти то же самое, что думаем и чувствуем мы. Мы разбросаны по кружкам; надо ж нам подать друг другу голос, надо ж нам попробовать, нельзя ли нам понять друг друга, нельзя ли найти себе симпатии, отклика; для этого надо высказываться без утайки, без задней мысли; что в печи, то и на стол мечи, что на душе, то и на языке; только правдивость и откровенность, только искренность и задушевность способны вызвать сочувствие; кто пишет теперь по живой, внутренней потребности, тот хлопочет почти исключительно о том, чтобы высказать пред обществом свои стремления. Фактические подробности, которыми наши писатели обставляют свои идеи, не всегда удачно выбраны, часто неверны, но тут не в фактах дело; важно то, что писатель хочет выразить своим произведением, важна общая идея, тенденция, и если посмотреть с этой точки зрения на статьи лучших представителей нашей журналистики, то они окажутся безукоризненными и выдержат самую строгую критику.

Но редакция «Русского вестника» постоянно, при оценке явлений современной литературы, останавливается на их внешней стороне; она смотрит на писателя не как на живого человека, увлеченного своею идеею или возмущенного тою или другою стороною жизни, а как на фотографический станок, передающий с бессознательною верностью контуры предмета, находящегося перед ним. Она не переносится в положение писателя; она вся уходит в анализ мелочей и подробностей, которым сам писатель не придает никакого значения.

Г. Грот поступает еще оригинальнее; задумав говорить о русской журналистике, он высказывает об ней следующие замечания, которые самым наглядным образом показывают нам, насколько г. Грот понимает интересы нашего времени. Во-первых, он упрекает журнальную критику в том, что она обнаруживает мало сочувствия к Карамзину и Жуковскому. Во-вторых, — в том, что она измеряет годность человека только тем, принадлежит ли он к старому или к молодому поколению. В-третьих, — в том, что

«некоторые наши журналы и газеты начали употреблять также в виде насмешки и даже брани слово *ученый*». Вот вам, господа читатели, сумма мнений г. Грота о русской журналистике. Мне кажется, г. Гроту было бы удобнее писать заметки о шрифте, о бумаге, на которой печатаются наши журналы, о цвете их обертки, но только уж никак не о журналистике. Писать о журналистике, не будучи в состоянии отдать себе отчет в значении тех идей, которыми живут лучшие люди нашего общества, это чересчур оригинально.

Но если оригинально в этом случае положение автора заметки, то, конечно, еще гораздо оригинальнее поступок редакции, печатающей на страницах своего журнала такую статью, которая прямо противоречит мнениям редакции и обличает в авторе такую нетронутую глубину наивности.

V

Пропуская две статьи г. Лонгинова, отличающиеся полнотою библиографических сведений и полным отсутствием руководящей идеи, пропуская еще две статьи, из которых одна трактует о губернских памятных книжках, а другая о карте Самарской губернии, я перехожу к мартовской книжке, и встречаю ту статью о госпоже Толмачевой, [20] которая в свое время вызвала против себя заслуженное негодование в обществе и в периодической литературе. В этой статье редакция «Русского вестника» косвенно объявляет себя против эмансипации женщины и спрашивает: чего недостает нашим женщинам? Утешает их тем, что «у нас были знаменитые императрицы, на английском престоле восседает теперь королева, на испанском — тоже», и советует, вместо того чтобы эмансипировать женщину, — подчинить и мужчину известным ограничениям, ради охранения доброй нравственности. Этих фактов совершенно достаточно, чтобы дать понятие о букете этой статьи; о ней в свое время было говорено довольно много, и потому я ограничусь только беглым указанием на это произведение умеренного либерализма; в списке прошлогодних подвигов «Русского вестника» необходимо было поместить и эту статью, потому что в ней есть драгоценные выходки против эмансипаторов, против пустоголовых прогрессистов, против отрицателей общественных приличий, против губителей общественной нравственности. Добродетельный пафос, которым проникнуты многие отрывки этой замечательной статьи, представляет редкое и тем более отрадное явление в нашей легкомысленной литературе, посреди преобладания эгоизма, скептицизма, материализма и разных других безнравственных идей и стремлений. Не угодно ли вам, например, полюбоваться следующими строками. Ведь это просто оазис среди песчаной пустыни.

«Общественные приличия! Но что дает нам право ставить себя выше их? Можно ли допустить, чтоб общественные приличия нарушались во имя пошлых фраз, выражений ничтожества и пустоты? Что должно сказать при виде этого ничтожества, которое, под прикрытием громких слов: прогресса, просвещения, свободы, топорщится со свистом в голове стать выше целого общества, выше убеждений целого мира, клеймя их названием предрассудков? Общественные приличия имеют всегда какое-нибудь основание; вырабатываясь из жизни, они содержат в себе ее разум, и для того, чтобы судить о них, надо прежде понимать их» (стр. 36).

Не знаешь, чему больше удивляться, читая это неподражаемое место: силе ли пафоса, овладевшего автором, фразистости ли его произведения или же, наконец, тому изумительному отсутствию связи, которое мы видим между отдельными словами и предложениями. Можно сказать наверное, что если бы какая-нибудь модная барыня взялась защищать светские приличия против нападков разгулявшейся журналистики, то она сделала бы это дело гораздо успешнее, чем редакция «Русского вестника». Она бы твердо стала на хорошо знакомую ей практическую почву и не пыталась бы оправдывать общественные приличия с высшей, философской точки зрения. Такого рода диалектический прием имеет всю прелесть новизны в нашей литературе, и честь его изобретения принадлежит бесспорно редакции «Русского вестника». Вот еще одно место:

«Вы хотите возвыситься над общественными приличиями: остерегитесь, чтобы не упасть не только ниже их, но и ниже обнаженных отправлений скотской жизни. Вы домогаетесь благодати выше долга; но помните, благодатные люди, что она не исключает долга, а, возвышаясь над ним, дает только больше, чем может дать он. Вы лезете в гении, но не думайте, что для достижения этой чести надобно только отказаться от здравого смысла» (стр. 37).

Кого хочет поразить этими словами «Русский вестник», кого называет он благодатными людьми, кто лезет в гении и какое отношение вся эта тирада имеет к женщине, — этого я решительно не понимаю. Сомневаюсь даже в том, чтобы это было понятно самому автору статьи. Не мало курьезных цитат можно было бы привести из этой апологии Камня Виногорова, но мне предстоит еще пересмотреть много драгоценностей, и потому я поспешно иду дальше. Остановлюсь на минуту на статье г. Лонгинова о стихотворениях А. С. Хомякова. В этой статье начинает проявляться тот сладкий оптимизм, который составляет одно из преобладающих свойств критики «Русского вестника». Журнал этот относится чрезвычайно мягко и ласкательно ко всему тому, что не находится в связи с свистящею журналистикою. Все хорошо в нашей жизни, по мнению «Русского вестника», и только безмозглые отрицатели своими нестройными криками нарушают общую гармонию этой изящной жизни. Хомяков не принадлежал к безмозглым

отрицателям, следовательно, его можно возвеличить, и действительно, г. Лонгинов величает его так усердно, что статья его делается похожею на панегирик. Те стихотворения, которые он приводит в подтверждение своих хвалебных отзывов, могут быть очень возвышенны по своему духовному полету, но мотивы этих стихотворений покажутся современному читателю чересчур античными и затронут в нем это живое чувство так же мало, как мало затронут это живое чувство самые лучшие места из «Мессиады» Клопштока. Сомневаюсь например, чтобы на кого-нибудь могло подействовать следующее произведение, выписанное в статье г. Лонгинова:

Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе,
Лучший подвиг — в терпенье,
Любви и мольбе.
Если сердце заныло
Перед злобой людской
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной,
Если скорби земные
Жалом в душу впились,
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись:
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда, без усилья,
Выше скорбей земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской.

Если бы эти стихи принадлежали не Хомякову, а какому-нибудь неизвестному поэту, я бы, может быть, назвал их холодною декламациею на заданную тему. Но Хомяков, как говорят все люди, знавшие его лично, был человек в высшей степени честный и глубоко искренний; следовательно, надо поверить поэту на слово и предположить, что он в этом стихотворении действительно выразил то, что чувствовал, то, в чем он был горячо убежден. Такого рода предположение оправдает в наших глазах личность Хомякова, но оно никак не заставит нас восхищаться произведением Хомякова и сочувствовать тому настроению, под влиянием которого оно написано. Может быть, мы не стоим на той высоте духовного развития и просветления, на которой находился Хомяков; может быть, нам недоступны те высшие духовные радости, о которых повествует поэт, только потому, что мы испорчены скептическим направлением нашего века и придавлены к земле мелкими заботами и нелепостями действительности; все это может быть, но, как бы ни были унизительны для нас самих причины нашего непонимания, мы все-таки откровенно сознаемся в том, что не понимаем идеи стихотворения. Что же касается до крыльев

подвига и до возможности взлететь на них выше крыши темницы и выше многих других неприятных предметов, то нам, испорченным детям XIX века, подобные сочетания слов кажутся совершенными нелепостями, горячо прочувствованными самим поэтом, но решительно не выдерживающими самой элементарной критики.

То, чего не понимаем мы, по своему неразумению или по своей испорченности, то, конечно, мог бы понимать г. Лонгинов; если бы его критическая статья была проникнута тем духом, который веет в стихотворениях Хомякова, тогда я совершенно понял бы восторг рецензента перед личностью и произведениями вдохновенного поэта и понял бы вместе с тем, что мы с г. Лонгиновым живем в двух разных мирах, что в наших взглядах на жизнь нет ничего общего и что, следовательно, нам не надо спорить между собою и нельзя ни на чем сойтись. Но дело в том, что г. Лонгинов вовсе не восторгается теми идеями и образами, которыми наполнены стихотворения Хомякова; он голословно восхищается стихотворением, голословно называет его превосходным, голословно говорит, что «поэтическое наследие Хомякова не велико по количеству, но состоит из чистого золота», и голословно повторяет отзыв одного ценителя, что Хомяков «не написал *ни одного праздного стиха*». Из всего этого голословия читатель статьи г. Лонгинова никак не будет в состоянии понять красот хомяковской поэзии и тех точек соприкосновения, которые существуют между поэтом и критиком. Где же суждение г. Лонгинова о разбираемых им произведениях, где личные убеждения критика? Неужели их надо искать в эпитетах, вроде «ярко», «превосходное», «глубоко», «высокой», и в риторических фигурах, вроде «чистого золота поэтического наследия» или «строгие черты его целомудренной музы»? Но ведь эти эпитеты надо же чем-нибудь мотивировать, эти риторические фигуры надо чем-нибудь оправдать. Ведь не из одних же слов и библиографических сведений должна состоять критическая статья? Надо же, чтобы в ней была хоть какая-нибудь мысль. Знать, что такая-то книга была издана первым изданием в таком-то году и что такое-то стихотворение было помещено в такой-то книжке такого-то журнала, — не значит еще быть критиком. В противном случае большая часть библиотекарей, книгопродавцев и грамотных букинистов могли бы Белинского за пояс заткнуть. Кажется, г. Лонгинов так и думает, если принять в соображение его статью «Белинский и его лжеученики», статью, которой мы коснемся мимоходом, когда дойдем до разбора июньской книжки «Русского вестника».

Надеясь, что не все наши читатели разделяют мнение г. Лонгинова об обязанностях и достоинствах критика, я дам себе право обратить внимание тех людей, которые не согласятся с г. Лонгиновым, на то поразительное бессилие, на ту печальную безжизненность, которые обнаруживаются в критике «Русского вестника».

У нее есть только один *mot d'ordre*: * преследование свистунов; [21] когда она заговорит о свистунах, тогда она сколько-нибудь оживляется, начинает браниться, смеяться принужденным смехом, вздыхать о горькой участи русской литературы. Все эти различные оттенки негодования остаются нам довольно непонятными в своей исходной точке, в побудительной причине; все эти проявления возмущенного нравственного чувства похожи скорее на лирические излияния, чем на солидные выражения продуманных убеждений; но по крайней мере в этих выходках есть жизнь; в них авторы статей выражают свои собственные чувства и не стараются поднять себя на высоту невозможной и неестественной объективности, которая, как две капли воды, похожа на отсутствие собственного убеждения, на добровольное или вынужденное критическое молчалинство. Там, где речь идет не о свистунах, там критические статьи «Русского вестника» состоят из выписок, из вариаций на эти выписки, из библиографических или биографических указаний и из фраз, более или менее лестных для автора разбираемой книги. Часто в его рецензиях видно много эрудиции, часто они представляют очень тщательный разбор очень мелких фактов, но при этом общая идея автора всегда ускользает от рецензента и никогда не наводит его на критические размышления. Мысль расплывается в бесцветных фразах или задыхается под грудою мелких фактов.

VI

Относясь мягко и почти любовно ко всему, что не имеет связи с задорною журналистикою, и в то же время не решаясь слишком громко расхваливать то, что не представляет никаких особенных достоинств, «Русский вестник» держится дипломатической осторожности, хвалит так, что его похвалы можно принять за выражения светской вежливости или условного почтения. Похвалы эти голословны, как-то официальны; в них не видно действительного сочувствия; но, несмотря на эту дипломатическую осторожность, у «Русского вестника» прорываются порою довольно странные признания и суждения.

С этой точки зрения стоит привести в пример статью г. N. о «Солдатской беседе» [22] г. Погосского. Г. Погосский, как автор «Дедушки Назарыча», «Господина Колодника» и разных других рассказов, взятых из солдатского быта и переданных солдатским языком, известен своею замашкою идеализировать изображаемую среду и в особенности те личности, которые являются в его рассказах на первом плане. Как человек умный и не лишенный современного литературного образования, г. Погосский идеализирует довольно искусно и почти правдоподобно. Он не представляет

---

* Пароль *(франц.)*. — *Ред.*

своих героев сказочными богатырями, не заставляет их стучать себя в грудь и плакать навзрыд при слове «матушка Русь православная», не наваливает им на плечи невероятных подвигов героизма и самоотвержения и вообще не выходит, при построении своих характеров и положений, из масштабов серенькой действительности. «Его Назарычи, Савельичи, Кулики да Калинины, — говорит г. N., — народ все больше невзрачный, тихий, нехвастливый; это всё люди, которые тут же, о бок нас живут». Все это почти верно, а между тем это не мешает существованию страшной идеализации. Все эти солдаты — люди маленькие, но в высшей степени добродетельные. «А придет случай — глядишь, — говорит сам г. Погосский, — он (т. е. солдат) и встанет перед тобою в такой красоте душевной, такую добродетель окажет, ни перед каким злом непреклонную, что подивишься ты невзрачному человеку этому и за большое счастье почтешь называть его ровней, товарищем своим». Вот и возникает вопрос: откуда же добыл себе этот солдат такую отменную добродетель? Из деревни ли он ее принес или в казармах выработал? Если из деревни принес, то эта добродетель принадлежит или отдельному лицу, или целому народу, но никак не специальному сословию солдат. Если же он ее выработал в сфере своей служебной жизни, тогда г. Погосскому очень не мешало бы объяснить читателям, какие именно стороны этой жизни выработывают в солдате непреклонную добродетель и душевную красоту. Но г. Погосский, как художник, может быть увлечен своим предметом и вследствие этого может, в отношении к этому предмету, утратить до некоторой степени ту силу анализа, с которою человек, хладнокровно размышляющий, приступает к обсуждению каждого дела или вопроса. Может быть, г. Погосский видел действительно так много примеров непреклонной добродетели и красоты душевной, что для него понятие солдата совершенно неразлучно с понятием человека, обладающего именно такою добродетелью и красотою. Кроме того, г. Погосский преследует, может быть, нравственно-педагогическую цель и желает представить своим читателям-солдатам как можно больше хороших образцов, для того чтобы эти читатели, умиляясь сердцем, стремились подражать этим доблестным примерам и неуклонно подвигались вперед на пути своего духовного и нравственного совершенствования. Если г. Погосский увлекается как художник, если он, сочувствуя своим младшим братьям, видит их отчасти в розовом свете, — это делает величайшую честь мягкому сердцу и впечатлительным нервам издателя «Солдатской беседы», хотя в сущности не увеличивает правдоподобия характеров, подобных Назарычу, и даже не объясняет происхождения этих характеров из наличных элементов нашей действительности. Если г. Погосский хочет приносить пользу нашим нижним чинам представляемыми образцами, если его добродетельные герои — не что иное, как прописи, с которых солдату должно списывать свои поступки

и свою жизнь, то опять-таки нельзя не отнестись с величайшею признательностью к добродетельным тенденциям г. Погосского, нельзя не признать его за истинного филантропа и нельзя не пожалеть о том, что похвальная филантропия эта идет вразрез с жизненною правдою. Те аргументы, которые я привел для того, чтобы оправдать и объяснить увлечение г. Погосского своим предметом и выходящую из этого увлечения идеализацию, к сожалению, никак не могут быть приведены в пользу г. N. — критика «Русского вестника».

Дело критика состоит именно в том, чтобы рассмотреть и разобрать отношения художника к изображаемому предмету; критик должен рассмотреть этот предмет очень внимательно, обдумать и разрешить по-своему те вопросы, на которые наводит этот предмет, вопросы, которые едва затронул и, может быть, даже едва заметил сам художник. Художнику представляется единичный случай, яркий образ; критику должна представляться связь между этим единичным случаем и общими свойствами и чертами жизни; критик должен понять смысл этого случая, объяснить его причины, узаконить его существование, показать его *raison d'être.* * Г. Погосский рисует нам добродетельных солдат. Критик его произведений может соглашаться или не соглашаться с автором, признавать или отвергать действительность выводимых им явлений; в том и в другом случае он должен выставить на вид те соображения, которыми он руководствуется и при помощи которых он приходит к тому или другому результату. Если он считает Куликов и Назарычей действительно живыми типами, то должен объяснить нам, какие именно условия русской жизни вообще или солдатского житья-бытья в особенности содействуют формированию таких типов. Если он считает Куликов и Назарычей головными выдумками автора, построенными с поучительно-нравственною целью, то он опять-таки обязан, подвергнув анализу те же условия русской жизни, доказать, что при этих бытовых условиях личности, подобные добродетельным героям г. Погосского, существовать не могут. Словом, чтобы критическая статья не была переливанием из пустого в порожнее, надо, чтобы в ней высказывался взгляд критика на явления жизни, отражающиеся в литературном произведении; надо, чтобы в ней, с точки зрения критика, обсуживался и решался какой-нибудь вопрос, поставленный самою жизнью и натолкнувший художника на создание разбираемого произведения. Этого-то именно вы не найдете в статье г. N.; одобрительно-ласкательные отзывы о «Солдатской беседе» г. Погосского, выписки из упоминаемых повестей, рассказ содержания этих повестей — вот все, что вы встретите в этой soi-disant ** критической статье. Мы из этой статьи имеем право вывести одно

---

* Разумное основание, смысл *(франц.)*. — *Ред.*

** Так называемая *(франц.)*. — *Ред.*

заключение, что автор ее разделяет сладкие воззрения г. Погосского и вместе с ним готов восхищаться тою сферою, в которой живут и действуют наши крестьяне и солдаты. Я не намерен спорить ни с г. Погосским, ни с г. N., тем более, что последний не высказывает решительно своих мнений, а только принимает с полною верою все слова и рассказы «Солдатской беседы». Я спорить не намерен, потому что нахожу это в высшей степени неудобным и бесполезным; я ограничиваюсь только тем, что указываю на крайние выводы, к которым приводит сладкий оптимизм «Русского вестника». Затем иду дальше, к критическим диковинкам следующих книжек.

VII

В раздумье останавливаюсь я перед апрельскою книжкою; в ней критический отдел начинается выпиской из сочинения г. Юркевича («Из науки о человеческом духе»). [23] Возникает вопрос: говорить или не говорить об этой статье? Есть много аргументов за и против; но мне кажется, будет основательнее пройти эту статью молчанием, напомнив предварительно читателям, что она направлена против статьи г. Чернышевского об антропологическом принципе и заимствована «Русским вестником», как полемическое casse-tête, * из «Трудов Киевской духовной академии». Решаюсь я не говорить об этой статье собственно потому, что не вижу ни малейшей точки соприкосновения между мыслями г. Юркевича и моими собственными идеями. Процесс мысли, исходные точки, результаты, способ изложения — все это до такой степени различно, как будто бы мы жили в разные времена и говорили на двух разных языках. Очень может быть, что это признание сделано мною к моему собственному стыду, очень может быть, что жить не в том мире, в каком живет г. Юркевич, значит прозябать, вести жизнь скотоподобную, не иметь понятия о деятельности мысли; все это очень возможно, а между тем я все-таки с полною откровенностью скажу, что не понимаю, из чего хлопочет г. Юркевич, что и зачем он доказывает, какая польза и какая надобность в тех невыносимо-скучных диалектических тонкостях, которыми наполнена его обширная статья. Согласитесь, господа читатели, что если я не понимаю ни цели, ни сущности, ни пользы статьи г. Юркевича, то я никак не могу стать к ней в какие бы то ни было критические отношения. Для меня статья г. Юркевича написана на неизвестном языке, и притом на таком языке, которому я не хочу учиться, потому что очень хорошо знаю, что этот язык, сухой и бесплодный, ничем не вознаградит меня за те усилия, которые я употреблю на его усвоение. Если г. Юрке-

* Кастет, дубинка *(франц.)*. — *Ред.*

вич не умеет говорить ясно и просто о простых и ясных предметах, если надо пройти целый предварительный курс кабалистики для того, чтобы слышать его учение о природе, о человеке, о духе и разуме, то я полагаю, что большинство людей предпочтут остаться профанами. Вокруг нас кипит живая жизнь; что ни шаг, то предмет для размышления, и притом такой предмет, который непременно надо обсудить, чтобы иметь возможность идти дальше; тут сама жизнь задает вопрос и шевелит мысль; успевай только обдумывать и решать; успевай только пробиваться и разрушать действительные препятствия; а тут нам предлагают углубиться в самих себя, заняться диалектическими выкладками, воскресить покойный гегелизм и зарыться по уши в какую-нибудь отвлеченную систему, которая не успела даже выработать себе ясного языка. Мы с удовольствием готовы пользоваться философскою диалектикою как орудием борьбы, как средством разрушать предрассудки, но когда философская диалектика уходит в область слов, когда она, теряя из виду действительность, забывая условия места и времени, начинает расплываться в общих рассуждениях, не приводящих и не могущих привести ни к какому осязательно-практическому, жизненному результату, тогда мы отвертываемся от этой диалектики и находим, что заниматься ею скучно, а спорить с тем, кто ею занимается, бесполезно.

Как бы замысловаты ни были те приемы, которыми г. Юркевич уличает г. Чернышевского в непоследовательности, в нелогичности, в неумении мыслить, в противоречиях с самим собою, как бы остроумны и глубокомысленны ни были те доводы, которыми киевский мыслитель громит петербургского журналиста, все-таки статья киевского мыслителя прочтется очень немногими любителями и даже на этих любителей не произведет сильного впечатления, потому что она спорит из-за слов и останавливается на мелочах. Что же касается до статьи петербургского журналиста, [24] то ее прочло большинство читающей публики; идеи его вызвали деятельность мысли, критика ума усилена и напряжена этим притоком нового материала, следовательно, дело сделано, а там пускай кропотливые труженики, не умеющие окинуть одним взглядом целое направление мысли, возражают против отдельных подробностей, спорят против частных недосмотров и превращают живую идею в диалектическое толчение воды; этим они нисколько не остановят действительного развития идей в обществе; этим они покажут только свое собственное бессилие, против которого, конечно, людям дела и живой мысли не стоит предпринимать крестовый поход; достаточно указать на это бессилие как на существующий факт и пройти мимо к другим предметам, также заслуживающим наблюдения.

Полного внимания заслуживает статья г. Лонгинова о князе П. А. Вяземском. Эта статья вызвана отзывами разных петербургских журналов и газет о юбилее пятидесятилетней литературной

деятельности князя Вяземского,[25] праздновавшемся 2 марта 1861 года. В свое время было много говорено об этом юбилее, гораздо больше, чем стоило говорить о таком предмете, и потому я, конечно, в этой статье не буду поднимать этих улегшихся толков. Вообще я совершенно воздержусь от суждений о литературных заслугах г. Вяземского и буду иметь дело только с г. Лонгиновым, который, увлекаясь жаром антиквария и панегириста, высказывает много любопытных идей и эстетических взглядов. Исходная точка у г. Лонгинова та же, что и у г. Грота; он сурово упрекает наших литераторов или, как он говорит с оттенком укоризны, наших фельетонистов в том, что они не знают истории нашей словесности и потому не чувствуют к своим предшественникам на литературном поприще того уважения и той признательности, которую следует воздавать им по заслугам. Он указывает этим фельетонистам на гражданские и человеческие добродетели наших писателей прежнего времени и указывает на некоторых из них как на образцы, достойные подражания. «Карамзин, — говорит он, — на которого смеют нападать разные борзописцы за то, что он не думал и не писал в их духе, Карамзин был одарен гражданскою честностью и гражданским мужеством, каких дай бог поболее на Руси. Он отказывался от должности министра, пером Тацита писал приговор Иоанну, не угождал ни одному временщику, подавал государю записки о разных государственных делах первой важности, не взирая на то, что мысли его противоречили взглядам Александра. Благородство Жуковского вошло в пословицу. Шишков ошибался, но был честнейший из людей, твердый в правилах и не способный согнуться ни перед чем, словом, — достойный друг Мордвинова. Справьтесь, какая память живет в министерстве юстиции о Дмитриеве и теперь, через сорок пять лет после его отставки!»

Увлекаясь апологическим жаром, г. Лонгинов не замечает того, как странно он защищает своих клиентов. Карамзин не был льстецом, Жуковский — неблагородным человеком, Шишков — бесчестным человеком, Дмитриев — суровым чиновником. Слушая воодушевленные речи г. Лонгинова на эту тему, можно себе вообразить, будто наша текущая литература завалена обличениями и обвинениями, направленными против прежних деятелей с целью очернить навсегда их имена и смешать с грязью их память. Если бы большинство пишущих людей было занято изобретением разных клевет против Карамзина, Жуковского, Шишкова и Дмитриева, то тогда только можно было бы объяснить себе происхождение апологии г. Лонгинова. Но теперь к чему она? Кто клевещет на этих покойных литераторов? Кто говорит об них? Мы об них и думать забыли, у нас порвалась всякая связь с этими людьми; у них были свои интересы, свои воззрения; они отжили; теперь мы живем, и у нас свои интересы, свои воззрения, не имеющие ничего общего с прежними; когда нам случается заглянуть в том их сочи-

нений, мы остаемся холодны к тому, что их интересовало, и подчас, невольно, добродушно улыбаемся их восторженным тирадам. Даже приговор Иоанну, написанный пером русского Тацита, Карамзина, не вызывает в нас особенного сочувствия, между тем как строки настоящего римского Тацита, написанные слишком за полторы тысячи лет тому назад, до сих пор шевелят наши нервы. Что же делать? Надо с этим согласиться: Карамзин, Жуковский, Дмитриев и др. отжили для нас, и отжили так полно, так безнадежно, как, вероятно, никогда не отживут люди с действительным, сильным талантом, люди, подобные Шекспиру, Байрону, Сервантесу, Пушкину. Шекспира мы до сих пор читаем с наслаждением, а Жуковского вряд ли кто-нибудь возьмет в руки иначе, как с ученою или библиографическою целью; а на это г. Лонгинов горячо возражает, что Жуковский, Карамзин и Шишков — честнейшие люди. Ну, что ж из этого? — ответим мы. Мы их и не браним бесчестными, а думаем только, что честность в писателе — достоинство отрицательное. За отсутствие этого достоинства — клеймят презрением, а за присутствие его еще не венчают лавровыми венцами. Что Карамзин, Жуковский и Шишков были честными людьми — это при них и остается. Из этого никак нельзя вывести заключения, чтобы следовало превратить текущую литературу в поминальные списки. Мало ли в России со времен Рюрика или Гостомысла было честнейших людей! Неужели же их всех литература должна помнить и беречь только за то, что они были честнейшие? Если у нашей эпохи нет таких интересов, которые разделяли бы с нами Карамзин и Жуковский, то в чем же мы можем им сочувствовать, зачем мы будем к ним обращаться? Отчего мы не можем и не должны говорить, что прошедшее нашей литературы для нас не существует, что мы отделены от него целою пропастью, через которую нельзя и не следует перешагнуть? Почему, на каком основании мы будем помнить и уважать прошедшее нашей литературы? Потому ли, что оно — прошедшее и что глубокомысленная латинская поговорка велит говорить *de mortuis aut bene, aut nihil*, * или потому, что оно наше, родное, русское? Не знаю право, который из доводов лучше и сильнее. Что касается до г. Лонгинова, то он, кажется, охотнее примет первый аргумент, потому что уважение к прошедшему, по его мнению, должно быть принадлежностью образованного литератора и развитого человека. «Расин — не Мюссе, Шиллер — не Гейне, — говорит г. Лонгинов, — а попробуйте умному французу или немцу поговорить с презрением о Расине или Шиллере, — он, вероятно, даже не почтет за нужное продолжать с вами разговор». Умный француз или немец, не дающий в обиду своих стариков, приведен здесь собственно для того, чтобы показать нашим «борзописцам и фельетонистам» всю позорную опрометчивость их поведения; желая дать

* О мертвых или хорошее, или ничего. — *Ред.*

этим господам хороший, полновесный урок, г. Лонгинов говорит множество несообразностей; он ставит на одну доску Шиллера и Расина и находит, что умный француз, защищающий Расина, и умный немец, защищающий Шиллера, будут одинаково правы в своих суждениях.

В глазах г. Лонгинова оба правы, потому что оба защищают прошедшее; тут можно только скромно заметить, что ведь прошедшее прошедшему рознь. Отстаивать Шиллера как художника и человека, как вдохновенного защитника лучших прав и лучших инстинктов человеческой природы, отстаивать Шиллера как честного бойца своего времени, как гениального мыслителя и поэта — позволительно каждому порядочному человеку, будь он немец или француз, русский или татарин. Но отстаивать Расина, в сочинениях которого мы не встречаем ничего, кроме лжи и ходульности, отстаивать вместе с ним все направление литературы в век Людовика XIV — это такой подвиг, на который может решиться разве только французский академик и за который похвалить может только критик «Русского вестника». Сочувствие г. Лонгинова к прошедшему *quand même* доходит до того, что он с непритворным уважением отзывается о Французской академии, как о хранилище спасительных преданий. То, что говорит г. Лонгинов об академии, так неподражаемо хорошо, что я не могу отказать себе в удовольствии выписать несколько его подлинных строк. «Она, — говорит он, исчисляя заслуги академии, — напечатала несколько изданий словаря, сообразуясь с успехами языка, была постоянно органом здравой критики, а главное — трудами и заседаниями своими распространяла в публике тот эстетический вкус, развивала в ней то уважение к достоинствам бессмертных творений великих писателей, благодаря чему во Франции не может первый встречный заставить верить публику всему, что придет ему в голову говорить об этих писателях» (стр. 121). Не знаю, на каких это наивных и несведущих читателей рассчитывает г. Лонгинов; кто же это ему поверит, что французская публика отличается развитым эстетическим вкусом и что она обязана академии эстетическими понятиями? Что ж, это академия, что ли, рекомендовала ей романы Фудра, Дюма, Феваля, графини Даш, Ксавье де Монтепен и других неистощимых рассказчиков? И что же, это пристрастие к подобным романам — признак развитого вкуса? Или, может быть, г. Лонгинов не признает даже публикою тех людей, которые запоем читают Феваля и Дюма? От него это станется, потому что он, кажется, делает различие между обществом и толпою. Общество он уважает, но толпу, profanum vulgus, необразованную массу, он поражает самым убийственным презрением, причисляя к этой безобразной толпе и преступных фельетонистов и тех легкомысленных людей, которые читают эти фельетоны, не краснея от стыда и не бледнея от добродетельного негодования. «Общество французское, — продолжает г. Лонгинов, — настолько образовано,

что считает существование такого учреждения не только совместным с движением литературы и своим собственным, но совершенно необходимым, как убежище для истинного вкуса, для независимого голоса людей знающих и почтенных, для охранения вечных законов прекрасного от посягательств легкомыслия и невежества. Поэтому академия руководствуется при выборе своих членов не только степенью таланта, а еще менее популярностью того или другого автора, но считает условием для того классическое образование писателя, свойство его ученых приемов, мастерство его владеть языком, его вкус и критический дар. Она примет в члены скромного, малоизвестного толпе поэта Лапрада и едва ли скоро допустит в свою среду, например, блестящего, «популярного», бойкого Теофиля Готье».

Знаете ли что, господа читатели, — вглядываясь в чужую добродетель, мы всего глубже и живее можем почувствовать свои собственные несовершенства, мы всего скорее можем дойти до спасительного раскаяния и до горячего желания исправиться. Со вниманием всматриваясь в идеи г. Лонгинова, я замечаю, что его оптимизм отличается глубокою, непочатою искренностью, и с истинным огорчением обличаю самого себя в мрачном и недостойном недоверии ко всему истинному и прекрасному. Посмотрите, как тепло верит г. Лонгинов и в образованность французского общества, и в необходимость Французской академии, и в независимость голоса тех знающих и почтенных людей, которые удостоивались сделаться ее членами, и в вечность тех законов прекрасного, которые, несмотря на свою вечность, должны быть охраняемы от посягательств легкомыслия и невежества. Г. Лонгинов так твердо верит в существование добра и во всеместное его проявление, что от души сочувствует всем академическим выборам, которые, конечно, представляются ему независимым голосом людей знающих и почтенных. Его несказанно радует то обстоятельство, что академия не обращает внимания на мнение толпы и, бракуя «популярного» (заметьте кавычки) Теофиля Готье, принимает в члены скромного поэта Лапрада, вероятно за примерное благонравие и за похвальную скромность.

Да, вот как добропорядочные люди смотрят на вещи; мне становится стыдно за себя и за свои идеи, но я преодолеваю этот естественный стыд и публичным покаянием стараюсь до некоторой степени смыть с себя пятно моих неприличных воззрений. Каюсь перед читателями, вот в каких странных образах представлялись мне те факты, которые облил г. Лонгинов таким ярким потоком светлорозового света. Я думал, что Французская академия, основанная по капризу всемогущего министра, кардинала Ришелье, никогда не была живою потребностью для французского общества, а жила себе по силе инерции, как правительственное учреждение, созданное эдиктом и не отмененное никаким другим последующим распоряжением. Я думал, что существование Французской ака-

демии не имеет ничего общего с движением литературы и что французское общество не потеряло бы ровно ничего, если бы словаря академии вовсе не существовало; я думал, что истинный вкус не нуждается в убежище и что голос каждого человека — знающего или незнающего, почтенного или непочтенного — может быть гораздо чище и самостоятельнее, когда этот человек говорит только от своего собственного лица, чем тогда, когда он ораторствует на академических креслах, как член и представитель почтенной и ученой корпорации. Мне казалось, что Французская академия не охраняет вечных законов прекрасного по той простой причине, что таких мудреных законов не существует и что, думая хранить вечные законы, почтенное собрание бережет залежавшиеся академические предания, окоченевшие от времени и превратившиеся в сухую, мертвую рутину; при выборе своих членов академия руководствуется не степенью таланта автора, не популярностью его, а классическим образованием писателя, свойством его ученых приемов, мастерством его владеть языком, его вкусом и критическим даром. Я бы от души желал поверить на слово г. Лонгинову и принять сообщаемые им сведения за святую истину, но решительно не могу сделать этого, потому что в самых словах г. критика заключается неразрешимое противоречие: академия, изволите видеть, не обращает внимания на степень таланта и между тем требует мастерства владеть языком, вкуса и критического дара. Что же такое критический дар, если он не признается талантом и даже противополагается таланту? И мастерство владеть языком и вкус — это тоже не талант? Да что же такое талант? Поневоле приходится обращаться к переборке слов, когда люди начинают употреблять слова, не отдавая себе отчета в их значении.

Чтобы понять г. Лонгинова, надо обратиться к тем примерам, которыми он поясняет свою замысловатую идею, весьма похожую на пустую фразу. «Виктор Гюго, — говорит он, — в апогее своей славы не мог сделаться академиком до самого 1841 года, потому что, несмотря на свое блестящее дарование, грешил часто против чистоты языка и здравого вкуса, которые так уважены в учреждении, где заседали тонкие судьи их, этому качеству преимущественно обязанные общим почетом, их окружившим: Андриё, Фелец, Нодье, Сальванди и пр.». А, да, теперь дело начинает разъясняться. Академия требует правильности (Correctheit) и в этом отношении платит дань общей слабости всех академий. Одна академия требует правильности рисунка, другая — правильности музыкального выполнения, третья — правильности поэтического вымысла. Ставя подобные требования, каждая академия стесняет свободный полет мысли и втискивает в свои условные, узкие рамки творческую деятельность художника. По академическим понятиям, трудолюбивая посредственность, умеющая усвоить себе предания школы и не чувствующая в себе ни малей-

шей потребности выйти из рубрик официально предписанной программы, всегда будет поставлена выше независимого таланта, разбивающего всякие условные ограничения и не повинующегося в своем творчестве никому и ничему, кроме собственного внутреннего побуждения. Поэтому академии почти всегда расходятся в своих приговорах с неразвитою толпою; неразвитой толпе правится самородная сила, оригинальная смелость, творческая самобытность, а академии требуют выдержанности, дрессировки, применения к известному, условному образцу; толпа величает и любит своих поэтов, не обращая внимания на академические приговоры, а почтенные собрания, живя своею замкнутою, тепличною жизнью, знать не хотят о том, что делается за стенами их зал и кабинетов, и улыбкою презрения встречают все проявления мысли и чувства, прорывающиеся помимо их приговоров и находящие себе сочувствие в неразвитой толпе. Г. Лонгинов — вполне академик по своим воззрениям; он от души желает, чтобы толпа беспрекословно слушалась приговоров людей знающих и почтенных и чтобы все ее суждения были сколками с протоколов академических заседаний; рутину школы он называет вечными законами прекрасного; приговоры, произносимые с точки зрения этой рутины, называются независимым голосом, и все остальное обозначается именами, заимствованными из того же круга идей и понятий.

В элегическом излиянии г. Лонгинов представляет своим читателям те благодетельные следствия, которые могло бы иметь для нашего просвещения существование ученого собрания, подобного Французской академии. «При беспрерывном изменении вкуса и переворотах в языке, — говорит г. Лонгинов, — у нас была бы полезнее, чем где-либо, корпорация независимая, с авторитетом в деле словесности. Она нисколько не стесняла бы доброй воли всякого писать, как ему угодно (не правда ли, как это милостиво и великодушно!). Но она была бы хранилищем, где всякий мог бы почерпнуть сведения дельные; центром, где публика знакомилась бы с научными и литературными приемами, узнавала бы серьезно историю языка и словесности (очевидно, академия такого фасона была бы, по мечтам г. Лонгинова, чем-то средним между присутственным местом, адресным столом и учебным заведением). Наконец она была бы местом соединения, где сходились бы писатели разных партий, которые теперь сидят по большей части безвыходно в своих кружках, в ущерб публике, литературе и самим себе, потому что они ничего не видят, кроме своих же действий, ничего не слышат, кроме своих же речей, повторяемых близкими их, да разных литературных сплетен». (Благодушно отворяя двери этой желанной академии для писателей разных партий, г. Лонгинов, очевидно, не предвидит того обстоятельства, что могут найтись и такие писатели, которые и заглянуть не пожелают в такое спасительное учреждение. Впрочем, таких господ г. Лонгинов

не признает писателями, почти так же, как читателей их он не признает публикою; это, по его мнению, фельетонисты, башибузуки, зелье и язва нашей литературы, отравляющие здравый вкус публики и мешающие развитию солидных и серьезных понятий. Вспомнив об этих нечестивых фельетонистах, г. Лонгинов, как молочница в басне Лафонтена, [26] видит, что надежды и радужные мечты его разлетаются в прах.) «Но, — говорит он с умилительною грустью, — можно ли думать о том, когда фельетонисты завладевают вниманием читателей, уничтожают все, что было до них, и провозглашают, что они знать не хотят общества, т. е. соединения более или менее образованных людей, а ищут популярности между своею братией и в массах?» Грусть и негодование г. Лонгинова мне понятны, хотя, конечно, я, как фельетонист, не могу им сочувствовать. Кабинетная начитанность всегда претендует на авторитет, всегда считает себя головою выше толпы и всегда приходит в самое наивное негодование, когда эта толпа идет себе своею дорогою, не обращая никакого внимания на советы, предостережения и приговоры ученого собрания или отдельного ученого лица. В этом отношении люди кабинетов, архивов и библиотек очень похожи на тех деревенских книжников, которым, при невероятных трудах и усилиях, удалось одолеть дюжины полторы старых книг. Питая полное уважение к трудолюбию и к любознательности этих деревенских начетчиков, нельзя не заметить, что напряжение мозга над отдельными словами книг и часто безуспешные старания связать между собою в голове эти отдельные слова изнуряют мыслительные силы этих книжников; они зачитываются до такой степени, что теряют способность практического понимания, начинают вставлять в обыденный, житейский разговор отдельные выражения и цитаты из прочитанных книг, начинают говорить высоким слогом и в то же самое время, уважая себя за свои бесплодные труды и усилия, возвышаются в своем собственном мнении, становятся невыносимо самонадеянными и начинают смотреть свысока на «необразованных мужиков», которые с своей стороны смотрят на этих завирающихся книжников с лукавою усмешкою полупрезрительного сострадания.

Роль, которую играют эти книжники в деревнях, может быть, отчасти объясняет то положение, в котором некоторая часть наших цеховых ученых [27] находится в отношении к массе грамотного общества. Эти ученые работают много, и между тем мы не видим плодов их занятий; они читают и перечитывают рукописи и старые книги; они выбиваются из сил, наводя какую-нибудь мелкую хронологическую справку или отыскивая потерянное значение какого-нибудь устарелого слова, встречающегося раза два в летописи или в старом переводе; сухость этой работы, утомительность подобных разысканий подает самому труженику повод думать, что он совершает великий подвиг самоотвержения, за который ему должны быть благодарны и современники и потомки. Самому

труженику очень скучно возиться с старою рухлядью всякого рода, но от того, что он скучает и выбивается из сил, никто не чувствует для себя осязательной пользы или освежающего удовольствия и потому никто не говорит спасибо. А между тем труженик роется в архивах и библиотеках, поглощает огромные фолианты, отыскивает библиографические редкости и диковинки, уходит в тот мирок прошедшего, которого бледные отрывки сохранились на лоскутках бумаги и пергамента, и теряет способность понимать те побудительные причины, которые заставляют живых людей говорить и спорить, горячиться и приходить в негодование, страдать и радоваться, надеяться и тревожиться. Бедному труженику, постепенно убивающему в себе человеческие инстинкты, стремления и порывы свежего, здравого организма, начинает казаться, что жизнь состоит именно в том, чтобы преследовать слова и буквы из фолианта в фолиант, что мир истинный, широкий, великий лежит именно на полках его библиотеки. Он с досадою слышит за стенами этой библиотеки шум экипажей на улице, крики разносчиков, провозглашающих о своих товарах, песни мастеровых, мурлыкающих за работою, словом, все те звуки, в которых сказывается присутствие жизни. Все это кажется ему суетою, бессмыслицею, проявлением людской неразвитости, и только тот крошечный предмет, к которому присосались в эту минуту силы его ума, кажется ему действительно важным, одаренным самобытною, сильною, разумною жизнью. Относясь враждебно к звукам действительной жизни, цеховой ученый так же враждебно относится к отражению этих звуков и интересов в литературе. Оживленный спор о живом лице, о предмете вседневной жизни, об идее, к которой в интересах действительной жизни надо непременно отнестись так или иначе, кажутся заучившемуся труженику непозволительным скандалом, пустою тратою слов и времени, проявлением мальчишеского задора, следствием смешного желания заявить свои идеи перед лицом читающей публики.

С тех пор как журналистика сколько-нибудь оживилась, цеховые ученые стали к ней в враждебные отношения; они не понимают побуждений тех людей, которые, не щадя сил, не боясь трудностей, выражают в журналах свои убеждения и проводят свои тенденции; потерявши способность жить в атмосфере действительной жизни, они вместе с тем потеряли возможность судить об явлениях этой жизни; те мнения, которые им случается высказывать при нечаянном столкновении с вопросами, стоящими на очереди, отличаются такой античностью, о которой, не слыхавши подобных суждений, невозможно составить себе даже приблизительное понятие.

Винить записных ученых в этой античности идей и мнений, конечно, невозможно. Если работник, приводящий в движение какую-нибудь ручную машину, постоянно работает одною пра-

вою рукою, то с течением времени мускулы этой руки разовьются в ущерб мускулам всего остального тела, работник окажется изуродованным, и его уродство явится как естественное и неизбежное следствие его работы. Занятия труженика-специалиста точно так же односторонни, как работа ремесленника, пускающего в ход одну правую руку; у труженика-специалиста та или другая умственная способность, например память или наблюдательность, изощряются до последних пределов, между тем как остальные мыслительные способности глохнут и тупеют. И ремесленник, работающий одною правою рукою, и труженик-специалист, работающий именно только известными частицами мозга, могут быть очень полезны и даже совершенно необходимы для общества, но только надобно, чтобы каждый из них оставался на своем месте. Из хорошего ремесленника может выйти очень плохой музыкант, и труженик-специалист, очень полезный для составления словаря, хронологической таблицы или библиографического указателя, может до упаду насмешить читающую публику, если примется толковать об общественных интересах или пустится в эстетическую критику. Труд — дело почтенное; ветеран какого бы то ни было труда, предпринятого и веденного добросовестно, имеет право требовать себе под старость теплого угла от того общества, которому он посвятил свои силы и досуги; но если этот ветеран искалечен своею трудовою жизнью и, несмотря на свою благоприобретенную убогость, упорно лезет к такой работе, которую он не может выполнить как следует, тогда, при всем уважении к труду и к ветерану, каждый член общества будет иметь полное, разумное право дать ему дружеский совет: «Отойдите в сторону; это дело вам не под силу. Сидите себе на покое, не мешайте другим и, если вам скучно, занимайтесь для развлечения легкими штучками из вашей прежней работы, с которою вы успели свыкнуться в течение вашей жизни».

То, что я сказал о мнениях записных ученых вообще, то может быть в полном объеме применено почти ко всем статьям критического отдела «Русского вестника». Ярким представителем этого серьезного направления критической мысли является г. Лонгинов. Этот трудолюбивый библиограф, изумляющий публику обилием и точностью своих фактических сведений, касающихся истории нашей литературы в XVIII и в начале XIX века, оказывается крайне неопытным и неискусным на поприще журналистики. Как критик — он безличен; как мыслитель — он отличается только крайне развитою способностью благоговеть перед прошедшим и строить себе бесчисленное множество кумиров и авторитетов. Кто желает составить себе понятие об эстетическом вкусе г. Лонгинова, того я попрошу, в статье этого писателя о князе Вяземском, прочитать те стихотворения, которые г. критик находит очень замечательными. В этой статье приведено девять больших пьес, одна другой скучнее; голый дидактизм, не прикрытый

даже яркостью поэтического образа, утомляет внимание читателя и тяжелым, несваримым комом ложится в его голову, не шевеля нервов и не возбуждая никакого другого чувства, кроме непробудной, безотрадной, гнетущей скуки. Вот для примера самая коротенькая из этих пьес, которые, по мнению г. Лонгинова, упрочивают за г. Вяземским почетное место в истории русской поэзии. Выписываю ее собственно потому, что она очень коротка и потому не слишком утомит моих читателей.

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чем-то неземном,
Преданье темное о том, что было ясным,
И упованье того, что будет вновь,
Души, настроенной к созвучию с прекрасным,
Три вечные струны: молитва, песнь, любовь!
Счастлив, кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу
Благословлял всегда с любовью и мольбой
И песни внутренней был арфою живой!

Мне кажется, сама г-жа Юлия Жадовская не могла бы написать стихотворения более слезливого, сентиментального, фразистого и ничтожного по содержанию; мне кажется даже, что у г-жи Жадовской стихотворение на эту тему вышло бы понятнее и изящнее по внешней форме. Что же касается до выписанной пьесы, принадлежащей перу князя Вяземского, то можно сказать без преувеличения, что приходится делать синтактическую конструкцию, чтобы добраться до смысла, какой существует в этом наборе плаксивых слов. Замечу мимоходом, что стихотворение это написано в 1840 году, после смерти Пушкина, тогда, когда русский стих был уже почти окончательно выработан. Если г. Лонгинов восхищается подобными виршами, то это, очевидно, происходит оттого, что он к произведениям современных поэтов приступает с теми же требованиями, с какими он относится к какому-нибудь Сумарокову или Хераскову. Все дело сводится опять-таки на то, что антикварий — не критик, и библиограф — не журналист.

VIII

Критический отдел майской книжки открывается язвительною полемическою статьею, стремящеюся доказать, что все петербургские журналисты, пишущие легко, быстро и ясно, похожи на г. Аскоченского и достойны быть сотрудниками его «Домашней беседы». Об убийственном, неразборчивом в средствах и выражениях полемизме «Русского вестника» я уже говорил не раз, и потому общая мысль и направление этой статьи («Одного поля ягоды») не может ни удивить меня, ни вызвать с моей стороны

негодования. [26] Я не стану защищать петербургских литераторов, не стану спорить с «Русским вестником» о степени сходства «Времени» или «Современника» с «Домашнею беседою», [29] а просто вместе с моими читателями прогуляюсь по этой критической статье и осмотрю то, что в ней заслуживает внимания.

Поговорив об истории, о движении мысли, о великих началах, управляющих человеческою жизнью, автор статьи вдруг из области высокой отвлеченности спускается на почву действительной, да еще вдобавок русской жизни и начинает радоваться тому обстоятельству, что «у нас с недавних пор появилось много духовных изданий с разнообразными достоинствами» и что, следовательно, в нашем обществе существует «потребность этого рода чтения». Заявив свое удовольствие перед этим, без сомнения, *отрадным* фактом, г. критик переходит к частностям и начинает разбирать вопрос, нуждается ли божественная сила христианского слова в каких бы то ни было пособиях. «Не следует ли, — спрашивает автор, — довольствоваться одним размножением священных текстов в печати и ограничить ими одними всю духовную литературу?» Этот вопрос решается отрицательно, и критик «Русского вестника» приходит к тому убеждению, что должно, не ограничиваясь одним приведением текста, «изъяснять, истолковывать его, учить и убеждать людей и, стало быть, содействовать образованию в них таких нравственных и умственных настроений, каких требует христианская истина». Это мнение подкрепляется следующим историческим доводом: «Если Христос избрал некоторых учеников своих из среды людей простых и неученых, если эти рыбаки с одного слова, с одного взгляда его, покинув мрежи, пошли за ним, то кто решится применять к себе этот пример, вздумает, что одного взгляда, одного слова его будет достаточно подействовать на души?» Потом г. автор обращает внимание публики на то обстоятельство, что духовные лица и духовные корпорации издают журналы, в которых нет духа фанатизма, «нетерпимости или недоброжелательства к историческому ходу». «Напротив, — продолжает он, — если в нашей литературе оказывается нечто в этом духе, то все такое выходит не из среды духовенства, не имеет никакого отношения к церкви и есть плод досуга людей, столько же чуждых ей по своему положению, сколько и по духу». К числу людей, чуждых церкви по своему положению и по духу, причисляется г. Аскоченский, которому, конечно, подобный упрек покажется более чувствительным, чем все нападения прогрессистов. Критик «Русского вестника» доказывает с большим жаром и с немалою силою красноречия, что нет и не может быть ни малейшей солидарности «между изданиями, как «Маяк» [30] или «Домашняя беседа», и православною церковью или русским духовенством». *Совершенно справедливо* отрицая всякое соотношение между «Домашнею беседою» и русским духовенством, г. критик с замечательною изобретательностью и гибкостью ума сближает между

собою воззрения г. Аскоченского «с политическими и философскими статьями наших прогрессистов». «То же циническое глумление над человеческою свободой, — восклицает критик, — то же презрение к истине, то же наездническое обращение с действительностью, та же ухарская заносчивость в суждениях о фактах и лицах, тот же дух и тот же смысл, и из тех же причин те же результаты... Они совершенно сходятся в своих отрицаниях, а если и расходятся в некоторых из своих положений, то эти разности, отрывочные, бессильные и темные, ничем не отзовутся в результатах и сами собою исчезают в дружном содействии родственных и однозвучных отрицаний. Дух тьмы и слепой случай — кто будет взвешивать разницу этих понятий? А сходство их результатов несомненно. Возможно ли, чтобы христианская мысль могла прийти к такому воззрению на мир? Возможно ли, чтобы мысль, искренно ищущая истины, могла успокоиться на таком воззрении? И религиозному чувству, и мыслящему уму, и зрелому опыту жизни известно, что мир, в котором мы живем, не есть мир божественный; что во всем человеческом есть неизбежное семя зла, что самые высшие степени человеческого превосходства не изъяты от злоупотреблений и что никакая высота не спасет человека от падения. Но мир этот существует, и христианский смысл говорит нам, что если мир существует, то бог его терпит, что он в какой-либо мере положил в нем свое благоволение и что самое зло обращается в орудие к раскрытию истины, к осуществлению блага». Красноречие, вроде приведенного отрывка, продолжается на четырех страницах; постепенно разгорячая самого себя потоком своего красноречия, оглушая себя каскадом слов и периодов, г. критик доходит до пафоса и, как скандинавский берзеркер, [31] с глазами, налившимися кровью и желчью, кидается на вечных своих врагов, на петербургских фельетонистов, которых он ненавидит беспредельною ненавистью соперника-журналиста. На нашу бедную литературу сыпятся такие ругательства, каких, может быть, не сумел бы подобрать даже рассердившийся Иван Никифорович, такие ругательства, какие, может быть, поленился бы произнести даже мрачный Михайло Иваныч Собакевич. Журналистика равняется, по приговору «Русского вестника», океану «пустословия, пошлости, фальши, фраз без смысла, затопляющих нашу литературу, литературу без науки, без всяких норм, без значительных серьезных преданий».

Решительно приходится согласиться с тем, что мы живем в минуту всемирного потопа и можем покуда дышать только благодаря уродливому устройству наших легких; ковчег, в который, конечно, не пустят нас, нечестивых фельетонистов, плавает по водам и покуда не садился на мель ни на каком Арарате; из этого ковчега вылетает, как невинный голубь, «Русский вестник» и бесцельно, безнадежно кружится над мутными волнами, не представляющими его тоскливо-ищущему взору ничего отрадного; ему некуда опу-

ститься, не на чем отдохнуть, негде найти масличную веточку; бедный голубок! Ему придется, покружившись в пространстве, воротиться под спасительную крышу объемистого ковчега и навсегда отказаться от деятельной роли в грандиозной и вместе с тем хаотической драме потопа. Впрочем, критик «Русского вестника» начинает замечать, что он кружится в пространстве и тоскует беспредметною тоскою; чтобы разом прекратить это бесплодное и утомительное занятие, он внезапно опускается к океану пошлостей, пустословия и фальши, наудачу черпает из него полную пригоршню разной дряни и подносит ее своим читателям, говоря им торжествующим тоном человека, имеющего возможность доказать непреложную истину своих слов: «Видите, видите, что это за гадость; видите, сколько пустословия, пошлости и фальши!» Пригоршня, зачерпнутая г. критиком из мутного океана, затопляющего нашу литературу, оказалась одним из фельетонов г. Кускова, [32] который, конечно, настолько же может воплотить в себе тип русского журналиста, насколько он может воплотить в себе тип русского поэта. Было бы довольно дико, если бы какой-нибудь иностранец вздумал глумиться над пустотою русской поэзии и в подтверждение своих слов стал бы приводить многочисленные цитаты из поэтических произведений г. Кускова; такому господину можно было бы, я думаю, заметить, что поглумиться в русской поэзии есть над чем, но что для этого надо брать более крупных представителей поэзии, таких людей, в стихотворениях которых действительно выражаются рельефные, дурные или хорошие особенности нашей поэзии. Со стороны русского журналиста, подвергающего критическому анализу явления русской же журналистики, мы имеем полное право требовать основательного знакомства с делом; его приговоры должны быть произносимы над всею совокупностью литературных явлений, и потому бросить петербургской журналистике упрек в хлестаковстве и привести в подтверждение своих слов цитаты из фельетона г. Кускова — это, воля ваша, прием в высшей степени недобросовестный; тут, очевидно, автор рассчитывает на легкомыслие нашей публики и на то обстоятельство, что эта публика покуда остается довольно равнодушною к литературным прениям и к печатному слову вообще.

Действительно, при теперешней, еще не вполне нарушенной апатии нашего общества печатные обвинения всякого рода не вызывают в читающих людях ни особенного сочувствия, ни энергического протеста; теперь можно, не опасаясь общественного мнения, клеветать и на литературу и на литераторов; голословная клевета не упадет на самого клеветника и не замарает его имени только потому, что публика, не заинтересованная движением идей и столкновением мнений, завтра забывает то, что читает сегодня, и часто не дает себе труда справиться ни об имени автора или редактора, ни о степени достоверности печатного нападения;

делаясь таким образом безопасною для самого клеветника, печатная клевета в то же время становится безвредною и для того, против кого она направлена. Гг. Булгарин и Ксенофонт Полевой клеветали на Пушкина, [33] г. Аскоченский клевещет на все, что не участвует в «Домашней беседе», «Русский вестник» клевещет на всю петербургскую журналистику, «Искра» оклеветала недавно г. Писемского; [34] несмотря на все эти клеветы, следующие друг за другом как частые извержения мелких грязных вулканов, публика продолжает относиться к оклеветанным субъектам так же кротко и ласково, как она относилась к ним до выхода в свет клевещущих статей и статеек. Пушкин остался великим русским поэтом, несмотря на сиплые крики булгаринской партии; лица, не участвующие в «Домашней беседе», не считаются воплощениями антихриста, хотя г. Аскоченский твердит это на все лады; петербургская журналистика пользуется вниманием публики, несмотря на то, что «Русский вестник» уподобил ее океану пустословия, пошлостей и фальши; Писемский попрежнему останется первым русским художником-реалистом и попрежнему будет пользоваться сочувствием и уважением всех мыслящих людей России, несмотря на все восклицания хроникера «Искры», напоминающего собою моську в известной басне Крылова.

Печатное слово не начинало еще быть в нашем обществе опасным орудием, и потому старые дети, подобные редакторам «Русского вестника», шалят им, как тупым ножом, не боясь обрезаться. Шалости их иногда бывают чрезвычайно оригинальны. Автор статьи «Одного поля ягоды» дошалился до того, что закончил свою статью следующею загадочною выходкою, направленною опять-таки против Хлестаковых, господствующих в периодической литературе. «Таких молодцов, — восклицает он, — действительно нельзя не побаиваться. Зарезать они не зарежут, но не кладите вашего четвертака плохо». Тревожное настроение, под влиянием которого критик «Русского вестника» дошел до забвения всяких литературных и житейских приличий, произошло вследствие чтения фельетонов г. Кускова. Надо подивиться тому обстоятельству, что г. Кусков, писатель кроткий и безвредный до последней степени, мог возбудить против себя такую страшную бурю негодования. Г. Кусков, который в безвестной тиши мог бы в продолжение целых десятилетий писать гладким языком фельетоны и плачевные стихотворения, г. Кусков, который при конце своей жизни мог бы самого себя причислить к «явлениям, пропущенным нашею критикою», [35] вдруг осыпается из Москвы градом незаслуженных ругательств, обвиняется в нравственной изломанности, опозоривается именем Тряпичкина и сравнивается, наконец, с новой Мессалиною, «о которой рассказывают, что, не довольствуясь Европой, она ездила в Алжирию к кабилам». Вся эта буря в стакане воды поднялась против г. Кускова за то, что он осмелился в своем фельетоне провести следующую мысль: иногда

можно уголовного преступника уважать больше, чем того безукоризненного перед законом гражданина, который произносит над ним приговор. Заслышав эту еретическую мысль, «Русский вестник» восстает против нее во всем величии добродетельного негодования и доходит до такого пафоса, до которого, как мне казалось, может доходить только очень набожная старуха. «Возмутительный душегуб, за которым отказывается следить всякое человеческое чувство, всякий человеческий смысл, этот зверь, который бросается на свою жертву с тем, чтобы удовлетворить минутную прихоть, даже хуже, чем зверь, потому что у зверя по крайней мере нет прихотей, — это чудовище является, в глазах Тряпичкина, могучим человеческим образом, обаятельным и чарующим, подавляющим мелкие душонки, которые прячутся *под грудою правил, пестрящих прописи и азбуки*». Увлекаясь негодованием, критик «Русского вестника» не замечает того, что вопрос о преступнике ставится очень просто; тут является следующая дилемма: или он одарен кровожадными инстинктами, или он развращен воспитанием, влиянием, советами и примером окружающего общества или круга людей. В первом случае он — больной, которого надо только сделать безвредным, во втором случае он сам — несчастная жертва, о которой можно пожалеть, он сам — герой страшной трагедии, погибающий под гнетом враждебных обстоятельств. Наполеон I, желая потешить одну барыню, за которою он ухаживал, приказал сделать на неприятельский лагерь бесполезное нападение, которое стоило жизни нескольким солдатам; мы читаем этот факт в его истории и замечаем очень кротко, что Наполеон в молодости был непрочь подурачиться и пошалить; в то же самое время мы читаем в газетах, что какой-нибудь мужичонка с голоду зарезал купца и очистил его кошелек, — и мы возмущаемся, и мы находим, что наказание плетьми и ссылка в рудники едва покрывают его вину. Воришек бьют за те самые поступки, которые сходят с рук ворам.

IX

Скучно и утомительно следить за критическим отделом «Русского вестника»; не на чем остановиться; нет свежей идеи, которой можно было бы выразить свое сочувствие; нет живого слова, которое могло бы хоть сколько-нибудь шевельнуть мозговые нервы. Пять книжек (от января до мая) просмотрено; почти пятьдесят страниц написано по поводу их; стало быть, можно считать дело порешенным. Если продолжать подробный разбор отдельных критических статей, то это будет только накопление мелких фактов, способных, наконец, утомить внимание самого терпеливого и благосклонного читателя. Если выводить общее заключение из всего, что было сказано мною о критическом отделе «Русского вестника»,

то это будет сокращенное, сухое, бесполезное повторение всего того, что уже успели просмотреть читатели. Поэтому приведу еще два-три критические перла и покончу на том мою неумеренно разросшуюся статью.

Перл № 1. Г. Лонгинов в статье «Белинский и его лжеученики» признал влияние Белинского вредным на том основании, что Белинский плохо знал историю нашей литературы. В подтверждение этого обвинения, направленного против первого русского критика, приводится следующее обстоятельство:

«В обозрении русской литературы до Пушкина Белинский приводит (пишет г. Лонгинов) отрывок из предисловия Хераскова к повести его «Полидор», вышедшей в 1794 году. В этом предисловии автор обращается к известным русским писателям. У Хераскова имена их обозначены первыми буквами их фамилий. Белинский выставляет полные имена Ломоносова, Державина, Карамзина, Нелединского, Дмитриева, Богдановича и Петрова. Но тут же вышло и затруднение. После обращения к Л. (Ломоносову) Херасков говорит: «*Может ли кто не плениться нежными и приятными звуками С.?*» Очевидно, что Херасков разумел тут А. П. Сумарокова, с которым много лет шел по одному пути, как лирик и драматург, и сочинениями которого продолжал пленяться до своей смерти, подобно многим современникам. Но Белинский делает при букве С. следующую выноску: «*Должно быть, дело идет о Евстафии Станевиче, весьма плохом пиите того времени*».

Затем г. Лонгинов очень убедительно доказывает, что Станевича не мог хвалить Херасков и что Белинский сделал грубую ошибку, что он поддавался увлечению «собственных страстей и пристрастий» и что его литературные приговоры писаны «иногда в ослеплении пристрастия».

Все дело кончается тем, что г. Лонгинов приводит следующий отрывок из одного неизданного стихотворения:

Затем на скопище клевретов
Решил верховный их совет,
Что, так как нет авторитетов,
Белинский будь авторитет. [36]

Вред, принесенный Белинским, состоит, по подлинным словам г. Лонгинова, «в расположении самодовольных и пустозвонных горланов, думающих заставить человечество забыть все то, что было до появления их на журнальное поприще».

Перл № 2. Статья г. Густава де Молинари о книге Прудона «La guerre et la paix», * занимающая с лишком два листа и доказывающая непобедимыми доводами, что у Прудона нет ни сведений, ни способности логически мыслить, а есть только ученые эффекты, которые уже устарели и надоели публике.

---

* «Война и мир». — *Ред.*

Перл № 3. Стихотворение князя Вяземского «Заметка», [37] выражающее в самых оригинальных образах самые неожиданные идеи и оканчивающееся двумя классическими куплетами:

Свободен тот один, кто умирил желанья,
Кто светел и душой и помышленьем чист,
Кого не обольстят толпы рукоплесканья,
Кого не уязвит нахальной черни свист.
Нелепым равенством он высших не унизит,
Но, в предназначенной от промысла борьбе
Посредник, он бойцов любовным словом сблизит
И скажет старшему: «Я младший брат тебе».

Хотя «Заметка» князя Вяземского помещена не в критическом отделе и хотя вообще не принято писать критические или полемические статьи в стихах, однако всякий согласится с тем, что отнести эту вещицу к области поэзии нет никакой возможности. В ней нет ни одного образа, и вся разница между этою заметкою и элегическою заметкою, [38] помещенною в той же августовской книжке, в самом конце критического отдела, заключается в том, что первая написана шестистопным ямбом, а вторая — презренною прозою. Смысл и направление их тожественны, выражения одинаковы или по крайней мере сходны; голословность выходок и замашка направлять свои удары в пустое пространство замечаются как в произведении князя Вяземского, так и в элегическом воздыхании редакции «Русского вестника». Поэтому, помещая в число критических перлов стихотворение престарелого поэта, я вместе с тем обращаю внимание читателей на все критические статьи «Русского вестника», в которых веет дух раздраженной солидности, в которых выражается никем не признанное притязание учить общество, становиться во главе его и вести его за собою по пути разумного, умеренного прогресса.

Перл № 4. Статья «Кое-что о прогрессе», в которой свистуны сравниваются с гнилью и в которой в первый раз «Русский вестник» делает мне честь упомянуть об одной моей статье. Он не называет ни меня, ни заглавия моей статьи, ни даже того журнала, в котором я пишу, но он берет из «Схоластики XIX века» одну цитату, [39] которая осталась мне памятна по многим обстоятельствам. Я благодарю «Русский вестник» за его враждебный отзыв о моей статье и об этой цитате; мне приятно видеть, что мои идеи не нравятся московским мыслителям, и я уверен, что многие пишущие люди желают наравне со мною, чтобы «Русский вестник» относился как можно суровее к ним и к их литературной деятельности.

Пора, давно пора кончить. Надеюсь, что нам не придется больше встречаться с «Русским вестником» на поприще журнальной полемики; мы расходимся так сильно в мнениях и наклонностях, что мы можем прожить целый век, не встречаясь между собою, не пробуя до чего-нибудь договориться и не чувствуя ни малейшего желания сблизиться между собою на каком бы то ни было вопросе.

РУССКИЙ ДОН-КИХОТ

(Сочинения И. В. Киреевского, I и II т. Москва. 1861 год)

I

Ничто не может быть бесцветнее и неопределеннее общих выражений: обскурант, прогрессист, либерал, консерватор, славянофил, западник; эти выражения нисколько не характеризуют того человека, к которому они прикладываются; они надевают непрошенный мундир на его умственную личность и вместо живого человека, мыслящего и чувствующего по-своему, показывают нам неподвижную вывеску замкнутого круга убеждений. Чем даровитее и замечательнее рассматриваемая личность, тем пошлее кажутся мне общие эпитеты, прилагаемые к ней такими критиками, которые не хотят или не умеют вдуматься в ее личные особенности, проследить ее индивидуальное развитие и, таким образом, вместо голого термина дать оживленную характеристику.

Если бы подойти к сочинениям И. В. Киреевского так, как подошел к ним критик «Современника», то с ним порешить было бы очень нетрудно. Причислить его к самым мрачным и вредным обскурантам вовсе не мудрено; за цитатами дело не станет; из его сочинений можно выписать десятки таких страниц, от которых покоробит самого невзыскательного читателя; ну, стало быть, и толковать нечего; привел полдюжины самых пахучих выписок, поглумился над каждою в отдельности и над всеми в совокупности, поспорил для виду с автором, давая ему чувствовать все превосходство своей логики и своих воззрений, завершил рецензию общим прогрессивным заключением, и дело готово — статья идет в типографию.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Напасть на Киреевского не трудно, да толку-то в этом мало. Бороться с ним незачем, потому что его деятельность уже принадлежит прошедшему; если же мы останавливаемся на нем как на совершившемся факте, то мы должны или объяснить его по мере сил, или сознаться в том, что мы объяснять не умеем; а поработать над

объяснением личности Киреевского как любопытного психологического факта — право стоит. Друзья и единомышленники Киреевского скажут конечно, что его следует изучать как мыслителя, что его должно уважать как двигателя русского самосознания, что принесенная им польза будет оценена последующими поколениями. С подобными мнениями согласиться невозможно: Киреевский был плохой мыслитель, — он боялся мысли; Киреевский никуда не подвинул русское самосознание, он даже не затронул его; его статьи никогда не производили впечатления; их читали мало, и теперь их совсем забыли, несмотря на то, что последняя из них была написана всего лет семь тому назад; пользы Киреевский не принес никакой, и если последующие поколения по какому-нибудь чуду запомнят его имя, то они пожалеют только о печальных заблуждениях этого даровитого человека. Если бы Киреевскому удалось составить себе обширный круг читателей и приобрести себе значение в литературе, то влияние его идей составило бы самый яркий антагонизм с пропагандою Белинского. Всякому честному деятелю литературы пришлось бы воевать с ним всеми силами своего пера; против него поднялись бы все люди, сколько-нибудь дорожащие мыслию; за него стали бы только люди очень ограниченные или очень недобросовестные. А сам Киреевский был человек очень неглупый и в высшей степени добросовестный — отчего же он хотел остановить разум на пути его развития? Отчего он порывался поворотить его назад, к младенческим его годам? Вот в этих-то пунктах и заключается психологический интерес тех вопросов, на которые наводит чтение сочинений Киреевского и приложенных к ним материалов для его биографии.

II

И. В. Киреевский родился в 1806 году и вырос в деревне своих родителей. Отец его умер, когда ему было шесть лет, а мать его, через пять лет после смерти своего мужа, вышла замуж за Елагина. Молодой Киреевский привязался к своему вотчиму и вырос под его влиянием. Доброе согласие его с своим семейством продолжалось во время всей его жизни; ему не пришлось относиться критически к личностям своих родственников, и поэтому он не испытал того тяжелого разочарования, которое переживают почти все люди, начинающие мыслить. Вероятно, детство Киреевского оставило в его душе самое светлое воспоминание; до конца жизни он дорожил теми лицами, которые управляли его первоначальным воспитанием; его совершенно удовлетворяли их педагогические приемы, их воззрения на жизнь, их отношения к разным практическим и теоретическим вопросам; одобряя их понятия, Киреевский сам успокоивался на них и не чувствовал необходимости стремиться к чему-нибудь более разумному; спокойно

и приятно проведенное детство вместе с неизгладимыми воспоминаниями оставило в его уме такой густой осадок допотопных идей, которого не могли сдвинуть с места ни житейские волнения, ни теоретические размышления. Любознательность Киреевского была очень велика — он много читал, серьезно задумывался над прочитанным, но как только вычитанные идеи начинали разрушать образы, населявшие его детство, так он отстранял их прочь, чистосердечно называя их заблуждениями и не считая даже нужным останавливаться на вопросе — точно ли это заблуждения. Киреевский любил те понятия, с которыми он свыкся в детстве; а когда человек любит какую-нибудь идею, тогда бывает очень трудно убедить его в ее несостоятельности; чтобы опрокинуть в голове его эту любимую идею, необходим сильный толчок, крутой переворот или постоянное влияние другого человека, стоящего выше его по развитию и смотрящего на вещи непредубежденными глазами. Ни того, ни другого не пришлось испытать Киреевскому.

«Мы, — пишет он к г. Кошелеву, мечтая о жизни, — возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудив любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога».

В начале 1830 года Киреевский, воодушевленный этими *высокими* стремлениями, уехал за границу; ему в это время пришлось пережить глубокое огорчение; он сделал предложение любимой женщине и получил отказ; это событие потрясло его здоровье, и медики предписали ему путешествие как лучшее средство поправиться и развлечься. Его не манило вдаль стремление к широкой жизни мысли; ему было уютно в московском кругу родственников и друзей, и спокойное наслаждение ровными отношениями с окружающими людьми было для него дороже кипучей деятельности и разнообразных волнений умственной жизни. «Я возвращусь, возвращусь скоро, — писал он через несколько дней после своего отъезда из Москвы, — это я чувствую, расставшись с вами».

Мягкосердечный московский юноша пробыл за границею всего 10 месяцев, и заграничная атмосфера не успела произвести в нем никакого благотворного изменения. Он мерил западную мысль крошечным аршином своих московских убеждений, которые казались ему непогрешимыми и которые разделяли с ним все убогие старушки Белокаменной. Он слушал лекции известнейших профессоров, усвоивал себе фактические сведения, сообщал в письмах к родственникам и друзьям остроумные заметки о методе и манере их преподавания, и между тем сам оставался неразвитым, наивным ребенком, не умевшим ни на минуту возвыситься над воззрениями папеньки и маменьки.

Слушая лекции Шлейермахера, профессора теологии, Киреевский находил, что Шлейермахер слишком много рассуждает и

что современному мыслителю следует воздерживаться от анализа подробностей. Избавляю себя от обязанности выписывать то место, в котором Киреевский произносит суждение над Шлейермахером, и прошу читателей моих, желающих познакомиться с этим суждением, пробежать в I томе 42-ю страницу материалов. [1]

В Берлине Киреевский познакомился с Гегелем, и на него сильно подействовала чарующая мысль, что он окружен *первоклассными умами Европы*; он выразил эту мысль в письмах на родину; с первоклассными умами он говорил «о политике, о философии, о религии, о поэзии»; как на него подействовали суждения первоклассных умов об этих высоких предметах, он не пишет. Развивал ли он сам перед ними свои наивно-ребяческие понятия и нравилось ли им его нетронутое простодушие, он также не сообщает. Сношения Киреевского с Гегелем и его знакомыми продолжались очень недолго и поэтому не успели произвести прочного впечатления. Киреевский с любопытством осмотрел мнения первоклассных умов, как осматривают диковинки какого-нибудь музеума, и оставил эти мнения нетронутыми, вероятно потому, что они резко расходились с его стремлениями и казались ему непригодными для жизни.

В конце 1830 года Киреевский возвратился в Россию. Впечатления его заграничной жизни глубоко запали в его восприимчивый ум и выразились в искреннем сочувствии к западному просвещению, в сильном желании провести в русскую жизнь начала лучшей цивилизации. В течение 1831 года он собрал материалы для издания журнала, составил себе круг сотрудников и в 1832 году выпустил в свет две первые книжки журнала «Европеец». [2] Сочувствие Киреевского к западному просвещению обнаружилось в его статье «Девятнадцатый век», открывшей собою его журнал и выразившей в общих чертах ту программу, которой намерен был следовать издатель. В этой статье проведена мысль о необходимости постоянного умственного общения между Европою и Россиею. «Ибо просвещение одинокое, — говорит Киреевский, — китайски отделенное, должно быть и китайски ограниченное: в нем нет жизни, нет блага, ибо нет прогрессии, нет того успеха, который добывается только совокупными усилиями человечества». В этой статье можно заметить только один существенно важный недостаток — крайнюю голословность и бездоказательность. В подтверждение своих идей Киреевский не приводит ни одного факта. Вся статья вертится на отвлеченных умозрениях; Киреевский составляет себе какую-то химическую формулу европейской образованности и потом, отвернувшись от действительных фактов, смотрит только на эту формулу, передвигает и перетасовывает ее ингредиенты и подводит такие итоги, которые столько же похожи на действительность, сколько список примет, означенных в отпускном билете, похож на живого владетеля этой бумаги. Все сочувствие Киреевского к европейской цивилизации улетучивается

в общих местах и в фразах; если оно не выражается в междометиях и восклицаниях, то это происходит единственно оттого, что Киреевский старается везде выдерживать тон серьезного и основательного мыслителя. На самом же деле в его статье, кроме внешнего тона, нет ничего солидного и основательного; он берет из Гизо (не указывая на источник) его мнение о том, что европейская цивилизация сложилась из трех элементов: из остатков классического мира, из христианства и из германского варварства, и на эту тему начинает разыгрывать вариации очень однообразные, утомительные и бесполезные. Ни одна реальная сторона европейской жизни не затронута в этой характеристике девятнадцатого века. Мы не видим даже в общих чертах, как живут люди в Европе, как смотрят друг на друга различные сословия, к чему стремятся отдельные личности и целые партии, какие потребности жизни отражаются в литературе. Видно, что благоговение Киреевского перед первоклассными умами Европы еще продолжается; ему нет дела до того, что̀ ест французский блузник, [3] нет дела до того, что̀ говорит на своем митинге английский ремесленник, нет дела до того, как богатая буржуазия эксплуатирует пролетариев и как буржуа, хозяин в своем доме и в своей семье, давит индивидуальное развитие своих сыновей и дочерей; бытовые вопросы, возникающие в европейской жизни и составляющие ее животрепещущий и общечеловеческий интерес, проходят мимо его просвещенного ума, занятого недосягаемо высокими интересами и аристократическими идеальными стремлениями. Продолжая восхищаться первоклассными умами Европы, Киреевский, очевидно, думает, что эти-то первоклассные умы, т. е. дюжины две немецких профессоров философии, олицетворяют в своих особах самые характерные моменты европейской цивилизации. Киреевскому кажется, что мысль Шеллинга о сущности истинного познания имеет мировое значение и что, высказавши эту мысль в научной форме, Шеллинг сделал истинно великое открытие, просто вконец разодолжил все человечество. Придавая такое колоссальное значение немецкой умозрительной философии, Киреевский, конечно, забывает, что вряд ли одна сотая часть всего населения Западной Европы интересуется диалектическими построениями немецких профессоров и что даже эта сотая не выносит для себя из этих диалектических построений ничего существенного. Если под именем цивилизации подразумевать те формы, в которые укладывается жизнь отдельного человека и народа, то умозрительная философия получит право участвовать в картине цивилизации настолько, насколько она содействует развитию и изменению бытовых форм и жизненных отношений. В этом случае она электрическим током проходит через тысячи работающих голов; когда же эта умозрительная философия ограничивается построением формул, тогда она оставляется на долю досужим людям, которых не помяла железная рука вседневной заботы и которым приятно

носиться в отвлеченных пространствах, вместо того чтобы смотреть на горе окружающих людей и помогать им делом и советом.

Умозрительная философия — пустая трата умственных сил, бесцельная роскошь, которая всегда останется непонятною для толпы, нуждающейся в насущном хлебе. Этого не понимали ни Гегель, ни Шеллинг, этого, конечно, не понял и Киреевский. Вместо того чтобы взглянуть на умозрительную философию как на хроническое поветрие, как на болезненный нарост, развившийся вследствие того, что живые силы, стремившиеся к практической деятельности, были насильственно сдавлены и задержаны, Киреевский преклоняется перед философами как перед вожаками европейской мысли, любуется ими как цветом и надеждою европейской цивилизации. Замечательно, что масса читателей обыкновенно сочувствует мыслителю только в каком-нибудь одном, часто очень узком, часто чрезвычайно широком применении его идеи. Масса берет только практический вывод и обыкновенно делает этот вывод так смело и так резко, что сам мыслитель пугается и пятится назад. Анабаптисты и крестьянские войны были практическим выводом идей Лютера и Меланхтона, и Лютер вместе с Меланхтоном испугались и прокляли свое собственное дело. Так же точно Гегель, Шеллинг и все прочие предводители «немецкого любомудрия» прокляли бы те неожиданные выводы, которые делает Киреевский на основании их идей и их деятельности. Этим «первоклассным» умам Европы пришлось бы краснеть от стыда и досады, если бы они узнали, что их в России гладят по головке за то, что они показали неудовлетворительность чистого разума, составили реакцию против энциклопедистов XVIII века и, таким образом, натолкнули европейский Запад на возвратный путь. — — Киреевский как мягкосердный московский юноша, сросшийся с идеями своего родимого города, увидал и понял в немецких философах только то, что имело сходство с его стремлениями. Чтобы согласить свое уважение к первоклассным умам Европы с своею слепою привязанностью к тому, что толковали ему с детства маменька да нянюшка, Киреевский употребил довольно ловкий маневр: Киреевский говорит, что Гегель тем велик и полезен, что, доведя рационализм до крайних пределов, он показал недостаточность чистого разума и убедил людей в необходимости искать других источников познания, «очистил дорогу к храму живой мудрости». Вот, думает Киреевский, Запад увидал, что на своих философах далеко не уедешь; вот он погорюет, погорюет, да и обратится к нам за советом, а мы, конечно, дадим ему совет в московском духе; [4] Запад прислушается, увидит, что это «добро зело», скажет, подобно князю Владимиру, что, отведав сладкого, уже не хочешь горького, и заживем мы с Западом душа в душу, как жили с ним с лишком лет тысячу тому назад. В таких-то красках рисуются Киреевскому будущие отношения между цивилизациями России и Европы. Эти краски в его статье «Девятнадцатый

век» положены так легко, что они проходят незаметными для невнимательного читателя; Киреевский в этой статье напирает всего больше на то, что мы должны сближаться с Европою и заимствовать у нее образованность, но за этими словами слышится тайная надежда: будет и на нашей улице праздник; придет к нам Европа просить ума-разума, и мы великодушно поделимся с нею нашими духовными благами. В статье «Девятнадцатый век» выражались, таким образом, два главные момента умственной жизни Киреевского: на эту статью положили свою печать детство Киреевского и его путешествие за границу; первое отразилось в теплоте чувства и в робости мысли, второе — в искреннем, но голословном и не объясненном сочувствии к европейской цивилизации. Чему сочувствует Киреевский — мы не видим. На что ему нужна Европа — не понимаем. Словом, во всей статье переплетается московский сентиментализм с каким-то сердечным влечением к европейскому Западу. При этом должно заметить, что это неопределенное, сердечное влечение не имеет ничего общего с сознательным уважением зрелого человека к оцененной и проверенной идее.

III

Если бы Киреевский, управляя журналом, продолжал уяснять себе и публике свои стремления и симпатии, то, вероятно, он договорился бы до каких-нибудь осязательных результатов; он увидал бы противоречие между европеизмом и московскою сентиментальностью и склонился бы определенным образом на ту или на другую сторону. Пока впечатление заграничного путешествия было еще свежо и сильно, можно было надеяться, что западный элемент возьмет верх над воспоминаниями детства; но тут, к несчастью, непредвиденные обстоятельства насильственно прервали деятельность Киреевского. «Европеец» прекратился на первых двух книжках. Люди с сильным характером раздражаются неудачами; их энергия удваивается при борьбе с препятствиями; их убеждения становятся строже и последовательнее, обозначаются отчетливее, резче и неумолимее. Но с Киреевским этого не могло случиться; он упал духом, перестал писать, стал внимательно пересматривать свои убеждения и во многом изменил их основной характер. Он, конечно, не прививал к себе искусственно таких идей, которые гармонировали бы с обстоятельствами; он не стал бы себя насиловать, не поплыл сознательно по течению, но, как человек в высшей степени впечатлительный, он испытал от этой неудачи самое сильное потрясение; встревоженный и огорченный, он усомнился в самом себе; ему пришло в голову, что, может быть, это само *провидение* дает ему спасительный урок, что, может быть, он заблуждался и указывал своим согражданам такой путь развития, который не соответствует их потребностям. Когда

в уме Киреевского началось это тяжелое раздумье, когда ему, таким образом, представился случай под влиянием житейской невзгоды выковать себе убеждения зрелого человека, тогда воспоминания детства в полной яркости и отчетливости представились его встревоженному воображению. Окружающие впечатления, Москва и Долбино (родовое имение Киреевских), взяли верх над европейскими тенденциями, пробудившимися во время заграничной поездки и выразившимися в прерванной деятельности молодого журналиста. Эти тенденции, в которых было так много неясного, но вместе с тем так много искреннего, эти тенденции, из которых, при других условиях, могло выработаться много хорошего и разумного, отошли на задний план, завяли и зачахли, уступили свое место другим воззрениям, мрачным, бесплодным и безжизненным.

Если можно сближать литературный тип с личностью действительно существовавшего человека, то я позволю себе сравнить участь Киреевского с судьбою Лизы из «Дворянского гнезда» Тургенева. И Киреевский и Лиза носили в себе с детства зародыши того разложения, которое со временем погубило и извратило их богатые умственные силы; оба они, и Киреевский и Лиза, были способны жить разумною жизнью; если бы им благоприятствовало счастье, то Лиза не пошла бы в монастырь, а Киреевский остался бы верен чисто европейским тенденциям; но когда над ними обрушилась беда, тогда в них поднялись все их мистические инстинкты, и оба кончили очень дурно.

Прекратив издание «Европейца», Киреевский сосредоточился и, в продолжение двенадцати лет, написал только две небольшие статьи, когда он снова начал высказываться в печати, тогда направление его мыслей оказалось уже существенно измененным. Составитель материалов для биографии Киреевского [5] находит, конечно, что это изменение было важным шагом вперед; я скажу с своей стороны, что это изменение было глубоким и окончательным падением.

Обо многих людях, шедших по тому пути, по которому пошел Киреевский, можно сказать просто: туда им и дорога! Но о Киреевском нельзя не пожалеть, как нельзя, например, не пожалеть о Гоголе. Несмотря на то, что его ум никогда не дошел до самоосвобождения, ему невозможно отказать в значительной степени даровитости. Он не доводит никакой идеи до последних пределов, но в диалектическом развитии этой идеи он всегда обнаруживает гибкость ума и логическую находчивость. Логика Киреевского скована пристрастиями и предрассудками, но, отстаивая эти пристрастия и предрассудки, он пускает в ход самые разнообразные диалектические приемы и действует на читателя не силою последовательности, а разнообразием и наглядностью аргументов. Он не мыслитель; он просто человек, горячо чувствующий и старающийся убедить читателя в нормальности и законности

своих симпатий. Люди, одаренные от природы непобедимою логикою здравого смысла, конечно, увидят, к чему клонятся усилия Киреевского, и не поддадутся ни его доводам, ни теплоте чувства, разлитого в его статьях.

Что же касается до людей слабых, чувствительных и способных увлекаться, то на них могут подействовать в высшей степени — — тенденции Киреевского, прикрытые приличною литературною формою, соглашенные наружным образом с интересами гуманного развития и подкрашенные научными терминами и именами новейших философов.

Когда Киреевский толкует об общих исторических вопросах, о потребностях народа и человечества, тогда он оказывается совершенно не на своем месте. У него не хватает широты взгляда и силы ума, для того чтобы охватить подобные вопросы во всем их величии и чтобы, обсуживая их, не забиться в какую-нибудь трущобу, из которой нет выхода на свежий воздух. Об Европе и о России он судит вкривь и вкось, не зная фактов, не понимая их и стараясь доказать всему читающему миру, что и философия, и история, и политика нуждаются для своего оживления именно в тех понятиях, которые были привиты ему самому. Тот же Киреевский, имея дело с частным вопросом, с небольшим явлением, не превышающим понимания обыкновенного человека, оказывается очень тонким ценителем, очень остроумным критиком и беспристрастным судьею.

В его мелких статьях рассыпано много удачных замечаний о нашей вседневной жизни, об уродливых и смешных явлениях, встречающихся на каждом шагу в нашем несложившемся обществе. Вот, например, что говорит Киреевский в своей статье «Горе от ума» на московском театре»:

> Философия Фамусова и теперь еще кружит нам головы; мы и теперь, так же как в его время, хлопочем и суетимся из ничего, кланяемся и унижаемся бескорыстно, только из удовольствия кланяться; ведем жизнь без цели, без смысла; сходимся с людьми без участия, расходимся без сожаления; ищем наслаждений минутных и не умеем наслаждаться. И теперь, так же как при Фамусове, дома наши равно открыты для всех: для званых и незваных, для честных и для подлецов. Связи наши составляются не сходством мнений, не сообразностью характеров, не одинаковою целью в жизни и даже не сходством нравственных правил; ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай нас сводит, случай разводит и снова сближает без всяких последствий, без всякого значения.

Эти слова, по моему мнению, выражают верный и беспощадный взгляд на пустую жизнь нашего общества, на отсутствие в нем общих интересов, на узкую ограниченность той сферы, в которой мы живем и стараемся действовать. Ясно, что Киреевский, выражая подобные мысли, не мирился с несовершенствами нашей действительности и считал необходимым исправление этих недостатков. Причину недостатков он видит в том, что «из-под евро-

пейского фрака выглядывает остаток русского кафтана и что, обривши бороду, мы еще не умыли лица». Средство исцеления заключается, по его мнению, в сближении с Европою, в усвоении общечеловеческих идей, в уничтожении особенности и неподвижности. Все эти идеи здравы и верны; в положительной их части, т. е. там, где Киреевский указывает на то, что̀ должно делать, можно заметить ту же отвлеченную голословность, которую мы уже видели в статье «Девятнадцатый век». Что же касается до отрицательной части, т. е. до перечисления недостатков, то должно сознаться, что в ней много справедливого и даже оригинального. Киреевский глубоко чувствовал безалаберность русской жизни, и это чувство выразилось в его произведениях в очень разнообразных формах; порою он является обличителем житейских нелепостей, порою выражает свое сочувствие к тем лучшим единицам, которые страдают в душной атмосфере, порою сам тоскливо стремится вон из действительности в мир мечты или в область отвлеченного умозрения. В небольшой статье его «О русских писательницах» можно найти несколько горячо прочувствованных страниц. Киреевский понимает, что женщина, чувствующая потребность высказаться перед своими согражданами, принуждена бороться в России со многими и положительными и отрицательными препятствиями; он понимает, что труд женщины далеко не получил еще у нас права гражданства, что женщина, предоставленная своим собственным силам, принужденная преодолевать предубеждение одних, равнодушие других, непонимание третьих, рискует умереть с голоду, несмотря ни на свою даровитость, ни на свое образование, ни на искреннее стремление к честному и общеполезному труду. Если этого уже нет теперь, если в наше время даровитая писательница пользуется всеобщим уважением, то это было иначе в тридцатых годах, когда писал Киреевский; тогда вообще круг читающей публики был гораздо теснее, и, кроме того, предубеждение против литературного труда женщины имело свое значение в обществе и в семействе. Вот, например, краткий рассказ Киреевского об одном замечательном факте тогдашней литературы и тогдашней жизни:

Недавно, — говорит он, — Российская академия издала стихотворения одной русской писательницы, которой труды займут одно из первых мест между произведениями наших дам-поэтов и которая до сих пор оставалась в совершенной неизвестности. Судьба, кажется, отделила ее от людей какою-то страшною бездною, так что, живя посреди их, посреди столицы, ни она их не знала, ни они ее. Они оставили ее, не знаю для чего; она оставила их для своей Греции, — для Греции, которая, кажется, одна наполняла все ее мечты и чувства; по крайней мере о ней одной говорит каждый стих из нескольких десятков тысяч, написанных ею. Странно: семнадцати лет, в России, девушка бедная, бедная с всею своею ученостью! Знать восемь языков, с талантом поэзии соединять талант живописи, музыки, танцеванья, учиться самым разнородным наукам, учиться беспрестанно, работать все детство, работать всю первую молодость, работать, начиная день, работать отдыхая; написать три больших тома стихов по-русски, может быть, столько же на других языках;

в *свободное время* переводить трагедии, русские трагедии, — и все для того, чтобы умереть в семнадцать лет в бедности, в крайности, в неизвестности![6]

В этом живом рассказе о неизвестных трудах, об этой глухой борьбе с нуждою, об этой молодой жизни, испепелившейся в бесплодных усилиях, слышен голос человека, способного чувствовать и понимать чужое горе. В этом рассказе слышится страшный укор нашей жизни. Отчего девушка даровитая, работающая изо всех сил, обладающая значительными сведениями, тратит время на бесполезные стихи о Греции, не находит в русской жизни материалов для своей деятельности и умирает беспомощная, непризнанная, никому не нужная, никем и ничем не согретая?

Киреевский глубоко сочувствует тем постоянным огорчениям, которые впечатлительная душа женщины испытывает ежеминутно при разнообразных столкновениях с уродливыми явлениями *нашей* жизни. Он понимает, что женщина, одаренная живым эстетическим чувством, может и должна стремиться в какую-нибудь более изящную и гармоническую среду.

Италия, кажется, сделалась ее вторым отечеством, — говорит он об одной из наших писательниц, [7] — и, впрочем, кто знает? Может быть, необходимость Италии есть общая, неизбежная судьба всех, имевших участь, ей подобную? Кто из первых впечатлений узнал лучший мир на земле, мир прекрасного; чья душа, от первого пробуждения в жизнь, была, так сказать, взлелеяна на цветах искусств и образованности, в теплой итальянской атмосфере изящного; может быть, для того уже нет жизни без Италии, и синее итальянское небо, и воздух итальянский, исполненный солнца и музыки, и итальянский язык, проникнутый всей прелестью неги и грации, и земля итальянская, усеянная великими воспоминаниями, покрытая, зачарованная созданиями гениального творчества, — может быть, все это становится уже не прихотью ума, но сердечною необходимостью, единственным, неудушающим воздухом для души, избалованной роскошью искусств и просвещения.

Любуясь изящным произведением, Киреевский невольно сравнивает гармонию этого произведения с нестройностью окружающей жизни; он чувствует разлад, существующий между миром мечты и миром серенькой действительности, и самое эстетическое наслаждение переходит в тихое чувство грусти. «Все слишком идеальное, — говорит он, — даже при светлой наружности, рождает в душе печаль, оттененную каким-то магнетическим сочувствием; такова одинокая, чистая песнь, прослышанная сквозь нестройный, все заглушающий шум; такова жизнь девушки с душою пламенною, мечтательною, для которой из мира событий существуют еще одни внутренние». Пожалуйста, гг. читатели, не останавливайтесь на внешней сентиментальности, которою грешит это место; вглядитесь в основную мысль, вникните в то настроение, которое выразилось в этих тихих излияниях грусти, поставьте себя на место Киреевского, перенеситесь в его время, и вы увидите, что причины этой грусти были очень реальные.

У Киреевского рассеяно в его статьях много замечательных мыслей; чисто литературная критика его отличается верностью

эстетического чутья. Замечательнее других его произведений небольшая статья о стихотворениях Языкова. Приведу из этой статьи несколько выписок, выражающих общие отношения автора к общим вопросам жизни.

Мы часто, — говорит Киреевский, — считаем людьми нравственными тех, которые не нарушают приличий, хотя бы в прочем жизнь их была самая ничтожная, хотя бы душа их была лишена всякого стремления к добру и красоте. Если вам случалось встречать человека, согретого чувствами возвышенными, но одаренного притом сильными страстями, то вспомните и сочтите, сколько нашлось людей, которые поняли в нем красоту души, и сколько таких, которые заметили одни заблуждения. Странно, но правда, что для хорошей репутации у нас лучше совсем не действовать, чем иногда ошибаться, между тем как, в самом деле, скажите, есть ли на свете что-нибудь безнравственнее равнодушия.

Вот замечательная мысль Киреевского об отношениях между жизнью и искусством:

Но когда является поэт оригинальный, открывающий новую область в мире прекрасного и прибавляющий, таким образом, новый элемент к поэтической жизни своего народа, — тогда обязанность критики изменяется. Вопрос о достоинстве художественном становится уже вопросом второстепенным; даже вопрос о таланте является не главным; но мысль, одушевлявшая поэта, получает интерес самобытный, философический; и лицо его становится идеею, и его создания становятся прозрачными, так что мы не столько смотрим на них, сколько сквозь них, как сквозь открытое окно стараемся рассмотреть самую внутренность нового храма и в нем божество, его освящающее.

Оттого, входя в мастерскую живописца обыкновенного, мы можем удивляться его искусству; но пред картиною художника творческого забываем искусство, стараясь понять мысль, в ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить в воображении то состояние души, при котором она исполнена. Впрочем, и это последнее сочувствие с художником свойственно одним художникам же; но вообще люди сочувствуют с ним только в том, что в нём чисто человеческого: с его любовью, с его тоской, с его восторгами, с его мечтою-утешительницею, одним словом, с тем, что происходит внутри его сердца, не заботясь о событиях его мастерской.

Таким образом, на некоторой степени совершенства искусство само себя уничтожает, обращаясь в мысль, превращаясь в душу.

Вот суждение Киреевского об особенностях поэзии Языкова:

Если мы вникнем в то впечатление, которое производит на нас его поэзия, то увидим, что она действует на душу как вино, им воспеваемое, как какое-то волшебное вино, от которого жизнь двоится в глазах наших: одна жизнь является нам тесною, мелкою, вседневною; другая — праздничною, поэтическою, просторною. Первая угнетает душу, вторая освобождает ее, возвышает и наполняет восторгом. И между сими двумя существованиями лежит явная, бездонная пропасть; но через эту пропасть судьба бросила несколько живых мостов, по которым душа переходит из одной жизни в другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль об отечестве, мысль о поэзии и, наконец, те минуты безотчетного, разгульного веселья, когда собственные звуки сердца заглушают ему голос окружающего мира, — звуки, которыми сердце обязано собственной молодости более, чем случайному предмету, их возбудившему.

Я, может быть, утомил читателя выписками, но мне хотелось дать возможно полное понятие о светлой стороне литературной

деятельности Киреевского. В этой светлой стороне отразилась способность сочувствовать всем человеческим ощущениям и понимать чувством все человеческие слабости и страдания. Киреевский родился художником и, неизвестно почему, вообразил себя мыслителем. Он впечатлителен, восприимчив, отзывчив, способен подчиняться чужому влиянию, увлекаться чужими идеями; у него нет умственной самобытности; он постоянно отражает в себе идеи и симпатии той среды, в которой он живет и которую любит. Бывши юношею, он жил тем, что было втолковано ему в детстве; поехавши за границу, он увлекся «первоклассными умами» Европы и начал стремиться к западному просвещению, которое было известно ему как-то понаслышке да по философским трактатам Гегеля и Шеллинга. Воротившись на родину и заслышав гул московских колоколов, он крепко прирос к той родимой почве, о которой убивается журнал «Время», [8] и вообразил себя представителем славянского любомудрия, необходимого для спасения разлагающегося Запада. Но, как ни глубоко было заблуждение Киреевского, оно органически вытекало из основных свойств его характера, из тех самых свойств, которые выразились в нескольких блестящих мыслях и в нескольких горячо прочувствованных страницах.

Вот, видите ли, есть люди, которые не могут смотреть хладнокровным критическим взглядом на все, что их окружает; им необходимо горячо любить, горячо отдаваться чему-нибудь, с полным самоотвержением служить какому-нибудь принципу или даже какому-нибудь лицу. Когда эти люди успевают обречь себя на служение какой-нибудь великой, истинной идее, тогда они совершают великие подвиги, становятся благодетелями своего народа и заслуживают признательность современников и потомков. Когда же они ошибаются в выборе своего кумира, тогда они делаются беспутными людьми, поступают в число гасильников и становятся тем опаснее, чем ревностнее и чистосердечнее увлекаются своею привязанностью к превратной идее. Киреевский чувствовал, что многие потребности просвещенного ума не находят себе удовлетворения, что многие обыденные явления оскорбляют человеческое чувство. Что же оставалось ему делать в таком положении? Оставалось бороться против тех сторон жизни, которые можно было изменить, и мириться с тем, что было не под силу отдельному человеку. Мирясь с явлениями жизни чисто внешним образом, надо было оградить самого себя от развращающего влияния этой жизни. Надо было, отказываясь от фактической борьбы, оставаться настороже и хранить свою умственную самостоятельность среди хаоса невежества, насилия и предрассудков. Но жить таким образом, без деятельной борьбы и без страстных привязанностей, значило жить чистым отрицанием, не верить ни в себя, ни в других, ни в идею, сознавая безотрадность настоящего и сомневаясь в возможности лучшего будущего. Остановиться на

таком печальном воззрении на жизнь способны очень немногие люди; чтобы ужиться с чистым сомнением в области науки и жизни, надо обладать значительною трезвостью ума и недюжинною твердостью характера. Но у Киреевского не было ни того, ни другого; страдая от особенностей жизни, он не мог ни свыкнуться с этими особенностями, ни выстрадать себе полное равнодушие к этой жизни. Уродливые явления мешали ему действовать, но они не мешали ему мечтать, и он весь ушел в мир мечты, унося с собою свою диалектическую ловкость, которая помогала ему доказывать и себе и другим, что мечта его — не мечта, а живая действительность. Если бы Киреевский был мыслителем, если бы он заботился не об удобстве того или другого миросозерцания, а только о степени его действительной верности, тогда он не стал бы утешать себя произвольными фантазиями; если бы он был чистым поэтом, тогда он просто окружил бы себя созданиями собственного воображения, не стараясь связывать эти создания с явлениями действительной жизни. Но, к сожалению, в Киреевском соединились эти два редко совместимые элемента; он по природе своей художник, а по развитию ученик немецких философов. Он постоянно мечтает, но воспеваемые им предметы, к сожалению, вовсе не вяжутся с поэзиею; вместо того чтобы изображать свои собственные чувства, настроение своей души, наконец, то или другое, мелкое или крупное событие, он берет самые отвлеченные темы и пишет поэму в прозе о европейской цивилизации, об отношениях между Западом и Россиею, о новых началах в философии. Такого рода сочинения оказываются плохими поэмами и плохими рассуждениями. Личное настроение автора не может выразиться в свободном лирическом излиянии, потому что оно сковано логикою, диалектикою и физиономиею действительных фактов. Что же касается до логики автора, то она, конечно, стоит ниже всякой критики, потому что ее дело — доказывать то, во что Киреевскому приятно верить. «Логический вывод, — говорит собиратель материалов, думая похвалить своего героя, — был у Киреевского всегда завершением и оправданием его внутреннего верования и никогда не ложился в основание его убеждения». В сочинениях Киреевского хороши только те места, в которых он является чистым поэтом, те места, в которых он бессознательно выражает всю полноту своего чувства. Повести Киреевского (из которых окончена только одна — «Опал») очень плохи, потому что в них преобладает головной элемент; они сбиваются на аллегории или же на рассуждения на заданную тему. У Киреевского не хватило бы творческой силы на то, чтобы обдумать и создать художественно стройное целое; у него мечтательность выражается в общем направлении мысли, а сильное воодушевление появляется только проблесками и продолжается недолго; я выписал почти все те места, в которых Киреевский, увлекаясь лирическим порывом, производит на читателя сильное и вполне гармони-

ческое впечатление. Таких мест в двух томах очень немного, и эти места тонут в сотнях дидактических, утомительно-скучных и глубоко-бесполезных страниц.

IV

Направление, по которому пошел Киреевский после своего двенадцатилетнего бездействия, называется *православно*-славянским. [9] Задатки этого направления заключаются еще в основных положениях его статьи «Девятнадцатый век», но эти положения получили полное развитие и принесли обильные плоды впоследствии, в его ответе Хомякову, в письме к графу Комаровскому, в критических статьях, помещавшихся в «Москвитянине», и в последней его философской статье, украсившей собою страницы покойной «Русской беседы». [10] Все эти статьи большею частью посвящены сравнению европейской цивилизации с русскою. Существование самобытной русской цивилизации, процветавшей «во время óно» и задавленной реформою Петра, составляет в глазах Киреевского неопровержимый факт, не требующий никаких доказательств. Эта русская цивилизация восхваляется всеми возможными возгласами и причитаниями; сравнивая ее с западною, Киреевский находит, что она не в пример лучше; он останавливается на этом сравнении с особенною любовью и с трогательным патриотическим самодовольством; главное преимущество, которое он находит в русской цивилизации, заключается в том, что русская цивилизация не проникнута рационализмом и не подчинена господству разума. Чтобы доказать, что Киреевский считает это свойство действительным и важным преимуществом и что деятельность разума кажется ему в высшей степени опасною, я приведу следующую цитату из его письма к графу Комаровскому. Она очень длинна и скучна, но читатель узнает из нее замысловатое миросозерцание Киреевского и убедится в том, что русская цивилизация стоит неизмеримо выше западной:

Но остановимся здесь и соберем вместе все сказанное нами о различии просвещения западноевропейского и древнерусского; ибо, кажется, достаточно уже замеченных нами особенностей, для того чтобы, сведя их в один итог, вывести ясное определение характера той и другой образованности.

Христианство проникало в умы западных народов через учение одной римской церкви, — в России оно зажигалось на светильниках всей церкви православной; богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности, — в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа; там раздвоение сил разума, здесь — стремление к их живой совокупности; там движение ума к истине посредством логического сцепления понятий, здесь — стремление к ней посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточию разума; там искание наружного, мертвого единства, здесь — стремление к внутреннему, живому; там церковь смешалась с государством, соединив духовную власть со светскою и сливая церковное и мирское значение в одно устройство смешанного характера, —

в России она оставалась не смешанною с мирскими целями и устройством; там схоластические и юридические университеты, в древней России — молитвенные монастыри, сосредоточившие в себе высшее знание; там рассудочное и школьное изучение высших истин, здесь стремление к их живому и цельному познаванию; там взаимное прорастание образованности языческой и христианской, здесь — постоянное стремление к очищению истины; там государственность из насилий завоевания, здесь — из естественного развития народного быта, проникнутого единством основного убеждения; там враждебная разграниченность сословий, в древней России — их единодушная совокупность при естественной разновидности; там искусственная связь рыцарских замков с их принадлежностями составляет отдельные государства, здесь совокупное согласие всей земли духовно выражает неразделимое единство; там поземельная собственность — первое основание гражданских отношений, здесь собственность — только случайное выражение отношений личных; там законность формально логическая, здесь — выходящая из быта; там наклонность права к справедливости внешней, здесь предпочтение внутренней; там юриспруденция стремится к логическому кодексу, здесь, вместо наружной связности формы с формою, ищет она внутренней связи правомерного убеждения с убеждениями веры и быта; там законы исходят искусственно из господствующего мнения, здесь они рождались естественно из быта; там улучшения всегда совершались насильственными переменами, здесь — стройным естественным возрастанием; там волнение духа партий, здесь незыблемость основного убеждения; там прихоть моды, здесь твердость быта; там шаткость личной самозаконности, здесь крепость семейных и общественных связей; там щеголеватость роскоши и искусственность жизни, здесь простота жизненных потребностей и бодрость нравственного мужества; там изнеженность мечтательности, здесь здоровая цельность разумных сил; там внутренняя тревожность духа при рассудочной уверенности в своем нравственном совершенстве, у русского — глубокая тишина и спокойствие внутреннего самосознания при постоянной недоверчивости к себе и при неограниченной требовательности нравственного усовершения; одним словом, там раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение нравственного и сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов бытия человеческого, общественного и частного; в России, напротив того, — преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то *раздвоение* и *цельность*, *рассудочность* и *разумность* будут последним выражением западноевропейской и древнерусской образованности.

Читатель должен помнить, что все великие достоинства, о которых говорит Киреевский, принадлежат только древнерусской цивилизации. Мы, современные русские люди, должны только вздыхать о том, что нам не пришлось насладиться этими благами и что мы, по своей крайней испорченности, потеряли даже способность любить и уважать эту милую старину. Исследователь древнерусского быта мог бы, пожалуй, возразить Киреевскому, что в древней Руси было плохое житье, что там били батогами не на живот, а на смерть, что суд никогда не обходился без пытки, что рабство или холопство существовало в самых обширных размерах, что мужья хлестали своих жен шелковыми и ременными плетками, а блюстители нравственности, вроде Сильвестра, уговаривали их только не бить зря, по уху или по видению. Много

подобных возражений мог бы привести исследователь, но Киреевский не обратил бы на них никакого внимания; он сказал бы, что все это мелкие, внешние, случайные явления, не касающиеся внутренней идеи, что сущность нашей цивилизации остается неприкосновенною, что принцип ее велик и непогрешим, несмотря на все проделки, творившиеся под покровом этого принципа. На такие убедительные доводы исследователь, конечно, не нашел бы ответа. Подобно этому предполагаемому исследователю, мы преклоняемся перед непонятною мудростью мыслителя-поэта и с трепетом живой надежды прислушиваемся к его обетованиям, открывающим нам перспективу лучшей, просветленной жизни. Из следующих слов его мы узнаем, что мы еще не совсем погибли, что и для нас есть возможность спасения:

Но корень образованности России живет еще в ее народе, и, что всего важнее, он живет в его святой, православной церкви. Потому на этом только основании, и ни на каком другом, должно быть воздвигнуто прочное здание просвещения России... Построение же этого здания может совершиться тогда, когда тот класс народа нашего, который не исключительно занят добыванием материальных средств жизни и которому, следовательно, в общественном составе преимущественно предоставлено значение — вырабатывать мысленно общественное самосознание, — когда этот класс, говорю я, до сих пор проникнутый западными понятиями, наконец полнее убедится в односторонности европейского просвещения; когда он живее почувствует потребность новых умственных начал; когда с разумною жаждой полной правды он обратится к чистым источникам древней православной веры своего народа и чутким сердцем будет прислушиваться к ясным еще отголоскам этой святой веры отечества в прежней, родимой жизни России. Тогда, вырвавшись из-под гнета рассудочных систем европейского любомудрия, русский образованный человек в глубине особенного, недоступного для западных понятий, живого, цельного умозрения святых отцов церкви найдет самые полные ответы именно на те вопросы ума и сердца, которые всего более тревожат душу, обманутую последними результатами западного самосознания. А в прежней жизни отечества своего он найдет возможность понять развитие другой образованности.

Мне нечего прибавлять к этим словам. Они сами говорят за себя.

V

В заключение скажу несколько слов о критической статье, помещенной в «Современнике» под заглавием «Московское словенство». Эта статья своею бездоказательностью и голословием может поспорить с философскими поэмами самого Киреевского. Все представители православно-славянского направления — Хомяков, К. Аксаков, Киреевский — стушеваны под один колер; у всех на лбу прицеплен ярлык с надписью «славянофил», и все они совершенно лишены своей индивидуальной физиономии; славянофильство принимается за какое-то умственное поветрие, свалившееся на Москву, как снег на голову, и заразившее собою целый кружок людей, очень честных и очень неглупых. Внешние при-

знаки славянофильства описаны в общих чертах, но из этого описания читатель никак не может составить себе понятия о том, как возникло это направление мысли и почему именно оно пришлось по душе Киреевскому, Хомякову и компании. Если закоренелые обскуранты смотрят на нововведения как на дьявольскую прелесть, пущенную в мир для соблазна и погибели православных христиан, то должно сознаться, что некоторые отчаянные и чересчур запальчивые прогрессисты смотрят на явления, подобные славянофильству, как на какое-то чудовищное и необъяснимое порождение духа тьмы и зла. Обскуранты и прогрессисты нисколько не похожи друг на друга по образу мыслей, но те и другие, сражаясь с враждебными им явлениями, увлекаются за пределы всякого благоразумия, теряют способность хладнокровно анализировать и, впадая в декламацию, берут фальшивые ноты, вредящие тому делу, которое они защищают.

Вместо того чтобы проследить развитие Киреевского, Хомякова и других славянофилов, вместо того чтобы рассмотреть те свойства этих людей, которые породили в них недоверие к деятельности разума, словом, вместо того чтобы объяснить славянофильство как психологический факт, критик «Современника» вдается в совершенно бесплодную полемику с положениями славянофильских теорий.

Спорить с славянофилами — это, право, странно; благоразумный человек не станет ни опровергать отрывочных восклицаний, ни смеяться над несвязною речью. Он будет наблюдать — —, изучать развитие и причины — — и сообщать результаты своих исследований другим людям, способным и желающим его слушать.

Славянофильство — не поветрие, идущее неизвестно откуда, это — психологическое явление, возникающее вследствие неудовлетворенных потребностей. Киреевскому хотелось жить разумною жизнью, хотелось наслаждаться всем, чего просит душа живого человека, хотелось любить, хотелось верить... В действительности не нашлось материалов; а между тем он полюбил ее, объидеализировал ее, раскрасил ее по-своему и сделался рыцарем печального образа, подобно незабвенному Дон-Кихоту, любовнику несравненной Дульцинеи Тобозской. Славянофильство есть русское донкихотство; где стоят ветряные мельницы, там славянофилы видят вооруженных богатырей; отсюда происходят их вечно-фразистые, вечно-неясные бредни о народности, о русской цивилизации, о будущем влиянии России на умственную жизнь Европы.

Все это — донкихотство, всегда искреннее, часто трогательное, большею частью несостоятельное.

«СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ПОЭТОВ»

Переводы В. Д. Костомарова и Ф. Н. Берга. Москва. 1860

Грустное впечатление производят книги, о которых решительно нельзя сказать, для кого они написаны; одни не найдут в них ничего нового, другие — ничего замечательного, третьи — ничего понятного. Для детей пишут элементарные руководства витиеватым языком, народу сообщают первые необходимые сведения, не умея избегать научных терминов, для русской публики переводят иностранных поэтов так своеобразно, что человек, знающий подлинник, не узнает его в переводе, а незнающий, пожалуй, и вовсе не доищется смысла. К числу таких бесцельных и бесплодных явлений в области книжной торговли относится «Сборник стихотворений иностранных поэтов», изданный в Москве гг. Бергом и В. Д. Костомаровым. На их книжку стоит обратить внимание, во-первых, потому, что она своей внешностью и именами переведенных поэтов может расположить публику в свою пользу, во-вторых, потому, что гг. переводчики обещают продолжать свое издание, если первый выпуск будет иметь успех. В сборник вошли имена Гюго, Беранже, Гейне, итальянских патриотов-поэтов, Шамиссо, Трегера и двух датчан — Андерсена и Эленшлегера. Почему выбрали именно этих поэтов и почему из их творений выбрали именно такие-то стихотворения — остается неразрешимым вопросом. Сборник не носит на себе никакого определенного характера; руководящей идеи не видно ни в группировке поэтов, ни в выборе стихотворений. В переводах с итальянского господствует, конечно, политическое направление; об остальных нельзя сказать ничего общего; при чтении многих переведенных стихотворений рождается невольно вопрос: чем они обратили на себя внимание переводчика и для чего он тратил время и труд, чтобы познакомить русскую публику с бесцветными и даже не особенно грациозными лирическими стихотворениями. Стоило ли переводить с датского «Фиалки», где говорится, что «счастливый мальчик манит в сад цветочки-

глазки», а что «кругом звенят голоски: иди же в сад, иди же в сад». Все стихотворение написано для того, чтобы сравнить глазки девушки с фиалками, и это стихотворение переводится на русский язык в то время, когда наша критика серьезно и дельно упрекает некоторых наших лириков в бедности содержания. Зачем же брать от других то, чего у самих чересчур много, и брать в такое время, когда всякий здравомыслящий человек сознает излишество разных неудавшихся подражаний «Новой весне» Гейне.

Стихотворения с датского как-то особенно неудачно выбраны. Как вам понравится, например, «Умирающее дитя» (стр. 149)? Ребенок при смерти и говорит с своею мамашею о том, как прилетал к нему ангел; замечательно то, что он говорит так же спокойно и речисто, как учитель риторики. Всякий предмет обозначен эпитетом, и картина выходит очень яркая; есть радужное крыло и лазурное облако, и золотой круг, и пестрые цветы, и райский запах, — словом, нужно полное отсутствие эстетического чувства, чтобы не понять, что это стихотворение — набор слов, в котором нет ни естественности, ни чувства; а г. Берг перевел его. — Он перевел также стихотворение «У колодезя», и вот его содержание: девочка смотрит в колодезь и припоминает рассказы своей матери о том, как мудрая женщина приносит ей детей из колодца; при этом у нее рождается желание добыть себе ребенка и заменить им куколку. Это все очень наивно — спору нет, но ведь уж кроме наивности ровно ничего, а наивность как-то не прививается к русскому здравому смыслу и переходит в приторность. Если прибавить к этому, что стихотворение переведено размером «Конька-горбунка», то не покажется удивительным, что наивность датского подлинника принимает в русском переводе характер плоской двусмысленности. Затем следует стихотворение с припевом: «говорят, говорят!», которое можно было бы напечатать разве только в покойном «Весельчаке», [1] до такой степени при претензии на остроумие оно вяло и пусто. По этим четырем плохим стихотворениям русская публика осуждена составить себе понятие об Андерсене. Что можно подумать? Что это поэт без миросозерцания, без эстетического чувства, даже без фантазии. Чтоб оправдать Андерсена, посмотрим, что перевел из него Шамиссо, замечательный лирик и человек с тонким и развитым вкусом. Вот, например, буквальный перевод стихотворения «Märzveilchen», * взятого им из Андерсена; это же стихотворение вошло в «Сборник» под заглавием «Фиалки». Сравню их по строфам:

Шамиссо:	Берг:
Свод небесный блестит чистою синевою, Мороз расписал стекла цветами; На окне красуются сверкающие цветы;	Блеск солнца в небе голубом; И пенье и весна кругом; В окошке пестрые цветы Глядят на садик с высоты.

* «Мартовские фиалки». — *Ред.*

Юноша, глядя на них, стоит перед окном.
А за цветами еще цветет
Пара голубых, веселых глаз —
Мартовские фиалки, каких тот и не видывал;
Иней растает от живого дыхания;
Ледяные цветы начинают таять.
Убереги- бог молодого человека!

А из-за них смеясь глядят
Фиалки-глазки в пестрый сад.
Счастливый мальчик там стоит,
Цветочки-глазки в сад манит;
И голоски кругом звенят:
Иди же в сад, иди же в сад!

У Шамиссо мы видим легкую, остроумную шутку талантливого поэта, мы видим грациозный образ, в котором поэт выражает влияние женской красоты. У Берга ничего этого не видно. Из Андерсена можно было выбрать и получше; укажу, например, на стихотворение «Müllergesell», * переведенное Шамиссо, представляющее самый тонкий психологический анализ и проникнутое теплою задушевностью (Chamisso. S. 185). ** Из Эленшлегера г. Берг перевел сцену трагедии «Гакон Ярл». Сцена эта замечательно ничтожна и заключает в себе только взаимные угрозы двух витязей: Гакона и Олафа. Ни замечательной мысли, ни драматической живости действия, ни психологической верности анализа! Что понравилось тут г. Бергу, это остается совершенно непонятным. Если бы совершенно откинуть переводы из датских поэтов, от этого нисколько не потерял бы сборник.

С Шамиссо г. Костомаров обращается очень бесцеремонно. В стихотворении «Старая прачка» он откинул весь последний куплет, не пояснив причины. Физиономия стихотворения совершенно изменена. Шамиссо изображает деятельную, бодрую старуху, жившую честным трудом и сохранившую до седых волос физическое здоровье и нравственную энергию. Г. Костомаров представляет страдалицу, несшую тяжкий крест, плачущую над работою и не решающуюся роптать на господа. Может быть, оба типа одинаково законны и важны, но только Шамиссо написал не то, что перевел г. Костомаров. Шамиссо говорит: «она честным прилежанием наполняла тот круг, который отвел ей господь». Г. Костомаров переводит: «И без роптания на господа несла тот тяжкий крест, который ей послал он». Смешал ли г. переводчик Kreis и Kreuz *** или сознательно отступил от подлинника — все равно, колорит от этого во всяком случае изменяется.

Шамиссо:

Она несла долю жены; не было недостатка в заботах; она ходила за больным мужем, она родила ему троих детей; она положила его в гроб и не потеряла веры и надежды.

---

* «Мельничный подмастерье» *(нем.)*. — *Ред.*
** Шамиссо. Стр. 185. — *Ред.*
*** *Нем.* Kreis — круг; Kreuz — крест. — *Ред.*

Костомаров:

И с кроткою покорностью сносила
Обязанность суровую жены.
Муж у нее сварливый был, больной,
Трех дочек от него она имела,
И не осталось с нею ни одной —
Но все перенести она умела.

Сварливость мужа, суровая обязанность жены — две черты, прибавленные переводчиком.

Шамиссо:

Она стала работать ножницами и иголкою
И собственноручно сшила себе
Безукоризненный саван.

Костомаров:

Она берет наперсток и иголку,
Шьет саваны дрожащею рукою
Без ропота... Лишь плачет втихомолку.

Это совершенно не то, что говорит Шамиссо. Отчего плачет прачка, отчего у нее дрожат руки — это не пояснено никак, да и совершенно не в ее характере; в следующем куплете Шамиссо говорит, что она с удовольствием всякое воскресенье смотрит на свой саван. Об удовольствии, с которым делает это старая прачка, г. Костомаров умалчивает. Точно так же стихотворение «Нищий и его собака» представлено не в переводе, а скорее как вариация на данную тему. Бедный нищий, у которого разрывается сердце в то время, как он надевает петлю на шею своей собаки, назван у г. Костомарова «злодеем». О собаке сказано, что она «вдруг околела» на могиле хозяина, точно будто с нею сделался апоплексический удар. По признанию самих переводчиков, лучше всего переведены у них стихотворения Гюго «с сохранением как образов, так даже и эпитетов подлинника». Посмотрим, что это за перевод. Вот, например, картина разрушения Содома и Гоморра. Курсивом напечатано в подлиннике то, чего нет в переводе, а в переводе то, чего нет в подлиннике.

Ce peuple s'éveille,
Qui dormait la veille
Sans penser à Dieu.
Les grands palais croulent,
Mille chars qui roulent
Heurtent leur essieu;
Et la foule accourue
Trouve en chaque rue
Un fleuve de feu.
Sur ces tours altières
Colosses de pierre,

Туча грозная ревет,
Вихорь крыши с зданий рвет,
И проснулся тот народ,
Что вчера, забыв о боге,
В золотом уснул *чертоге,*
И в смятении, в тревоге
Все из города бегут
На долину, но и тут
Реки пламени текут.
Словно глыбы хрупкой глины,
Пали башни-исполины,

Trop mal affermis,
Abondent *dans l'ombre*
Des mourants sans nombre
Encore endormis.
Sur des murs qui pendent
Ainsi se répandent
De noires fourmis.
Se peut-il qu'on fuie
Sous l'horrible pluie?
Tout périt, hélas!
Le feu qui foudroie
Bat les ponts qu'il broie,
Crève les toits plats,
Roule, tombe et brise
Sur la dalle grise
Ses rouges éclats!
Sous chaque étincelle
Grossit et ruisselle
Le feu souverain. *

И, волнами снесена,
Пала белая стена.
Под развалинами сводов
Улиц крытых переходов,
Не опомнившись от сна,
Гибнут тысячи народа
В лавы огненных волнах.
Где же вам искать спасенья
От огня и разрушенья?
Все погибло, все, увы!
Все гранитные твердыни
Вашей суетной гордыни
В прах повергнуты, и вы,
Дети мрачного Эрева,
Не спасетеся от гнева
Бога сил, Иеговы.
Туча лопнула от жара,
*И от каждого удара (*чего?*)*
Ярче зарево пожара.

И так далее...

Из 32 строк переданы приблизительно верно 10, и это вы найдете в каждом стихотворении Гюго. Вот вам и сохранение образов и эпитетов; и хоть бы эти отступления выкупались художественностью языка, звучностью и верностью стихов. Что за рифмы, что за грамматические ошибки, что за нарушения исторической верности в самовольных отступлениях от подлинника! У г. Костомарова считается рифмами: *сна* и *волнах* (стр. 20), *шумом* и *другом* (21), *праздник* и *участник* (24), *огромный* и *верховный* (23), *помочь им* и *и очи* (25), *ни тени* и *теченье* (25), *рассекает* и *чаек* (27), *наряды* и *стадо* (27). Все эти примеры собраны на семи страницах, и между тем какие кровавые жертвы г. переводчик приносит рифме. Для того чтобы найти третью рифму к словам *своды* и *народы*, г. Костомаров употребляет выражение: *Лавы пламенные воды* (19). Для рифмы он называет жителей Содома и Гоморра *детьми мрачного Эрева* и сливает представления греческой мифологии с еврейскими преданиями. Он пишет: *шире пламенный поток*, и вслед за тем для рифмы небеса *сыплют огненный песок*, который для сожжения про-

---

* Подстрочный перевод:

Пробуждается народ,
Который еще спал накануне,
Не помышляя о боге.
Роскошные дворцы рушатся;
Тысячи катящихся колесниц
Задевают осями одна другую;
И сбежавшаяся толпа
Встречает на каждой улице
Огненный поток.
На гордых башнях
Каменные колоссы,
Плохо укрепленные,
Множат *во тьме*
Бесчисленных умирающих,
Еще не проснувшихся.
На рушащихся стенах
Так мечутся
Черные муравьи.
Возможно ли бежать
Под этим ужасным дождем?
Все погибает, увы!
Огонь, поражающий молнией,
Охватывает мосты, разрушая их,
Пронзает плоские кровли,
Катится, низвергается и обламывает
На серых плитах
Свои красные отблески!
С каждой искрой
Усиливается и растекается
Державный огонь. — Ред.

винившихся городов был уже собственно излишен при потоках огненной лавы, но для стиха именно при потоке и оказался необходимым. А главное хорошо то, что в подлиннике нет ни *пламенных вод лавы*, ни *детей Эрева*, ни *огненного песку*. Это все от г. переводчика и для рифмы. Г. Костомаров для рифмы сочиняет новые слова и даже не поясняет их значения:

Драгоценная тиара
Занялась на нем, как *фара*.

Что такое *фара*? Сличаю с подлинником и вижу там *phare*, рифмующее с *tiare* и переводящееся русским словом *маяк*. Но уж *тиара* и *маяк* даже на снисходительное ухо г. Костомарова не покажется рифмою. Он и создал *фару*, и рифма вышла богатая.

А вот и грамматическая ошибка во имя рифмы:

Валы пепла, волны пламя
И царя-волхва и знамя
Увлекали за собой.

Пламя, по мнению г. Костомарова, есть родительный падеж от существительного того же имени. Но уж зато, надо сказать правду, где г. Костомаров пожертвует здравым смыслом, историею или грамматикою, там интересы уха спасены, и рифма выходит блистательная.

Посмотрим, что же сталось под рукою непризванных переводчиков с грациозными, легкими созданиями Гейне и Беранже, которые так легко испортить и которые так часто портили у нас в России и в журналах и в отдельных изданиях. В сборнике мы находим между прочим перевод прелестной песни Беранже «La couronne retrouvée». * В подлиннике вложен в эту песню целый мир чувства. Тут есть и грусть, и добродушный юмор, и слезы сквозь улыбку, и то любовное отношение ко всему живому, ко всякой искренней радости, которое составляет вечно свежую и господствующую черту поэзии Беранже. Все это выражается просто как бог послал, все это как будто не сознает собственной прелести и оттого становится еще прелестнее. Добрый, честный, любящий старик смотрит на увядший венок и, вспоминая прошлое, поневоле с грустью относится к настоящему. Но уже самое это тихое настроение грусти исключает всякий цинизм, всякое ожесточение против настоящего. Вот как говорит поэт о той женщине, которую он когда-то любил, и вот как переводит это место г. Костомаров:

Et la beauté tendre et rieuse, Qui de ces fleurs me courrona jadis?	А та красавица, что белою рукой Вот в этот самый лавр мне розаны вплетала,

* «Вновь найденный венок». — *Ред.*

Vieille dit-on elle est pieuse; Tous nos baisers, les a-t-elle maudits? J'ai cru que Dieu pour moi l'aurait fait naître, Mais l'âge accourt qui vient tout effacer. O honte! et sans la reconnaître Je la verrais passer. *	Да, говорят, сварливою ханжой На старости-то лет моя красотка стала. Неужели ж и я об ней не пожалею И так же, как она, забуду страсть свою! О стыд, теперь и я, встречаясь с нею, Ее не узнаю.

Я не знаток живописи, но мне кажется, что если бы художник арзамасской школы взялся списать Сикстинскую мадонну, то результат его трудолюбия был бы похож на картину Рафаэля столько же, сколько перевод г. Костомарова похож на стихотворение Беранже. Посредственные дарования любят класть краски густо, ярко, чтоб в глаза било, чтоб издали было заметно. Вместо картины выходит вывеска. Но это не беда! блестит по крайней мере. Беранже говорит: «она богомольная старушка». Г. Костомарову это кажется слабо, и он ставит сварливую ханжу, что, конечно, выходит рельефнее. Беранже говорит: «я бы, может быть, не узнал ее». Г. Костомаров избавляет читателя от тягостного сомнения: «теперь и я, встречаясь с нею, ее не узнаю». Не правда ли, так будет гораздо яснее. Впрочем, гг. переводчикам бог простит; ведь у них разобрать трудно, что делается по глубоким эстетическим соображениям и что изменяется случайно, в угоду рифмы; замечу мимоходом, что *ханжой* рифмует с *рукой*, а *узнаю* с *свою*, и это, вероятно, играет не последнюю роль в ряду соображений, побудивших г. Костомарова исковеркать мысль своего подлинника. Следующее затем стихотворение «Фиалки» сплошь набито выдумками г. Костомарова. Например:

Фиалка бедняжка! Апрельский мороз
Уж стелет ковер серебристый,
И белой бахромкой по веткам берез
Раскинулся иней пушистый.

Оно гладко и по размеру и по рифмам, только, к сожалению, выходит бессмыслица, да и к тому же Беранже говорит совсем не то. Если в апреле мороз уже стелет серебристый ковер, значит к маю, должно быть, замерзнут реки, пойдут метели, и уж тут

* Подстрочный перевод:

А нежная красавица и хохотунья,
Та, которая некогда увенчала меня этими цветами?
Говорят, что она богомольная старушка.
Неужели она прокляла все наши поцелуи?
Я думал, что бог создал ее для меня,
Но прошли года, которые все изгладили.
О стыд! Может быть, и я, не узнав ее,
Пройду мимо. — *Ред.*

подлинно горе будет бедняжке фиалке; придется пуще прежнего *рыдать от стужи* (стр. 107). Не мешает заметить, что у Беранже нет ни серебристого ковра, ни берез, обшитых бахромкой инея, ни бедняжки, ни рыданий, ни даже апреля. Все дело происходит в начале марта; от весенних лучей солнца над снегом поднимается пар, фиалки только немного зябнут, и поэт предостерегает их, говоря, что разрыхленный снег может опять скрепиться морозом. Г. Костомаров по привычке усилил все это и, вероятно, приноровил свой перевод к русскому климату, перенеся действие на апрель.

Перейдем к Гейне. О внешности перевода говорить нечего; он нисколько не лучше всех остальных, а степень его совершенства я оценил уже достаточно, говоря о Гюго. Любопытно теперь посмотреть, как гг. переводчики *поняли* Гейне; этого поэта нужно знать, чтоб переводить его; иначе внутренний смысл выдохнется, и там, где у Гейне выражено миросозерцание, там в переводе окажется только претензия на оригинальную выходку, лишенную внутреннего содержания. Наша публика, незнакомая с немецким языком, положительно не знает Гейне, и в этом виноваты переводчики. Почти все лирические стихотворения Гейне переведены, но почти никто не переводил его по циклам. В книге «Neue Gedichte»* есть несколько лирических романов, из которых каждый назван именем женщины. «Анжелика», «Катарина», «Серафима», «Эмма» и т. д. состоят, как известно, из ряда лирических стихотворений, в которых изображены различные моменты в развитии чувства мужчины к женщине. Наши поэты переводили из этих циклов отдельные стихотворения, а физиономия Гейне выражается именно в их совокупности, в их связи между собою. Публика наша любит Гейне, но положительно не знает его. Переводы гг. Берга и Костомарова могут только повредить этому делу, потому что поэтическая личность Гейне ими не понята положительно. Во всяком сколько-нибудь характеристическом стихотворении Гейне самая замечательная черта или вовсе опущена, или извращена самым бесчеловечным образом. Судя по переводам г. Костомарова, можно предположить, что он был бы поставлен в крайнее затруднение, если бы его попросили написать критическую статью о Гейне; а тяжело, должно быть, переводить поэта, которого не знаешь и не понимаешь. За примерами этого непонимания дело не станет. Переведена между прочим «Песня океанид»; вот сюжет этого стихотворения, как я его понимаю. На берегу Северного моря сидит мужчина и хвалится перед морскими чайками своим блаженством. Тогда океаниды, вслушавшись в его слова, начинают петь ему песню следующего содержания:

«Глупый ты, глупый человек, хвастун нелепый! Гнетет тебя тоска! Погибли твои надежды, живые дети сердца, и, увы! сердце

---

* «Новые стихотворения». — *Ред.*

твое, подобно Ниобе, каменеет от горя. В голове у тебя наступает ночь, и сверкают в ней молнии безумия, и ты с горя хвастаешь! О, глупый ты человек, глупый хвастун. Ты упрям, как твой предок, великий титан, укравший у богов небесный огонь и давший его людям. Измученный коршуном, к скале прикованный, он грозил Олимпу и не покорялся и стонал, так что мы это слышали в глубине моря и пришли к нему утешать его песнью. Глупый, глупый ты человек, хвастливый глупец! ведь ты еще бессильнее. Ты бы сделал благоразумно, если бы стал уважать богов и терпеливо перенес тяжесть страдания; и нес бы ее терпеливо так долго, так долго, пока сам Атлас потеряет терпенье и сбросит с плечей тяжелый мир в вечную ночь».

А вот перевод Костомарова:

Дурак ты, дурак ты, хвастливый безумец!
Жалко тебя нам!
Там погибают твои золотые надежды —
Сердца шутливые дети!
И ах! твое сердце, подобно Ниобе,
Окаменеет от скорби великой,
И в голове твоей темная ночь поселится,
И молнии бешенства будут одни лишь блистать в ней.
Расхвастался ты перед горем-бедою! *и т. д.*

На это место перевода стоит обратить внимание. Не говоря уже о грубом незнании немецкого языка, выражающемся в том, что г. Костомаров переводит «Kummergequälter * — «жаль мне тебя», «*dahin* gemordet» ** — «*там* погибают», настоящие времена глаголов — будущими (versteinert — окаменеет, zucken — будут блистать), наконец, оборот: «du prahlst *vor* Schmerzen» *** — словами: «расхвастался ты *перед* горем», не говоря уже обо всем этом, любопытно посмотреть, как понята вся идея стихотворения.

Что хотел сказать Гейне, или, вернее, что сказалось в его поэтическом образе? — То, что человек с разбитым сердцем, с лопнувшими надеждами, с уничтоженными верованиями находит удовольствие в том, чтобы упорно говорить о своем счастье, с цинизмом хвастать им перед другими, давая им, впрочем, заметить свою неискренность, и громким, резким, ожесточенным хохотом заглушать голос тихой грусти или судорожные вопли страдания. Этот человек становится лицом к лицу с природою, смотрит на волнующееся море, на серое небо и в виду их беспредельности начинает смутно чувствовать мелочность своей неискренности,

---

* Измученный горем. — *Ред.*
** Убиты, погибли. — *Ред.*
*** Ты хвастаешь с горя. — *Ред.*

начинает понимать, что та несокрушимая сила, которою он хвастался перед людьми, даже не успокоивала страдания, а только закрашивала рану. Страдалец перестает рисоваться, фанфарон делается на минуту искренним человеком, и ожесточенный смех разрешается тихими, теплыми слезами ноющей грусти. Кто читал Гейне внимательно, да кто при этом знает немецкий язык лучше г. Костомарова, тот припомнит, что борьба между искреннею грустью и натянутым смехом не только составляет колорит его произведений, но во многих из них обращает на себя его собственное внимание и делается предметом поэтической обработки. Г. Костомаров этого не знает и потому принимает «Песню океанид» за какое-то пророчество о будущих страданиях и, кажется, вместо глубокой мысли видит во всей пьесе только причудливое творение фантазии. В стихотворении «Горные голоса» ошибка переводчика еще наивнее. Гейне представляет, что эхо отвечает на слова путника, расспрашивающего о своей судьбе. Оно отвечает, повторяя его последние слова, и эти ответы, случайно нося на себе характер грустного предзнаменования, наводят уныние на путника. В этом поэтическом образе лежит глубокая ирония, но в нее нужно вдуматься. Все, в чем есть доля мистицизма, все, что основано на одном веровании и не проверено критикою мысли, — все это случайно, и между тем всему этому слабое человечество придает суеверное значение, отказываясь во имя бредни от живых надежд и свежих радостей жизни. Вот смысл слов Гейне. Что г. Костомаров не понял этой затаенной иронии — это еще не беда, но он даже не понял, что этот горный голос — эхо, или забыл, что эхо повторяет последние слова. Путник в переводе говорит: «или с темной, холодной могилой». Эхо повторяет: с могилой.

В третьем куплете путник говорит: «пусть с любовью могилу встречают», а эхо отвечает: «там счастье». Что же это такое? ведь это значит переводить стихотворение, не прочтя его или не умея прочесть. Этак немудрено выпустить десять книжек, подобных разбираемой, немудрено перевести всего Гейне и Беранже, но что же в них толку? Такие книги сбивают публику с толку, портят эстетическое чувство или отбивают охоту от чтения. В личностях Гюго, Беранже и Гейне мы видим поэта фантазии, поэта чувства и поэта мысли. Создание фантазии искажено произвольными прибавками, опущениями и выдумками, в которых нет ни исторического значения, ни эстетического такта. Выражение чувства превратилось в грубую карикатуру, в которой нет даже психологического правдоподобия. Проявление творческой мысли и разумного миросозерцания не понято и искажено; где у Гейне ирония, там в переводе наивное оригинальничанье, которое само не понимает своего значения; где у Гейне истинное сдержанное чувство, там в переводе искаженное и водянистое подражание непонятому оригиналу.

«ПОЭТЫ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ»

Издание Костомарова и Берга. 1862

Полтора года тому назад, в декабрьской книжке «Рус⟨ского⟩ слова» за 1860 год, я разобрал «Сборник стихотворений иностранных поэтов» в переводе гг. В. Д. Костомарова и Ф. Н. Берга. Теперь явился второй выпуск того же издания под выписанным заманчивым заглавием. Этот второй выпуск отличается от первого своим планом и составом. Издатели сочли нужным поместить кроме стихотворных переводов четыре объяснительные статьи, написанные, конечно, прозою. Кроме того, число переводчиков значительно увеличилось; гг. Берг и Костомаров со времени издания первого выпуска успели набить руку, так что уже теперь в их переводах не встречается тех диковинок, которые я отметил полтора года тому назад. Общая цель предприятия, которое, кажется, намерено быть прочным, до сих пор остается не объясненною; почему гг. издатели берут тех или других поэтов, те или другие стихотворения — этого я не знаю, да и сами они, кажется, считают совершенно лишним отдать себе в этом отчет. Во втором выпуске мы встречаем Бёрнса и Гейне — ну, это понятно! Бёрнс и Гейне всегда кстати; затем мы встречаем А. Шультса, Г. Х. Андерсена и в виде приложения — легенды сербов. Русская публика, конечно, ничего бы не потеряла, если бы всего этого она и не встретила. Самую слабую часть книжки составляют, впрочем, не стихотворения, а объяснительные статьи г. Костомарова и коротенькое предисловие, подписанное словом: «издатели».

Тут, в этом предисловии гг. издатели стараются объяснить цель своих трудов и издержек, но это им плохо удается; оказывается, что предлагаемый сборник желает содействовать знакомству русской публики с поэзиею других народов, а что о пользе такого знакомства и говорить нечего, потому-де, что она признается всеми. Впереди, в туманном отдалении издатели видят перед собою заманчивую цель: составление на русском языке такой антологии, «какими так богата, например, хоть немецкая литература». Впрочем, эта цель кажется им настолько великою, что она, по их словам, может быть достигнута не скоро. Отдаленность великой цели не ослабляет, однако, самоотверженного усердия издателей; они надеются, что роскошное здание русской антологии сложится со временем и что их сборники будут служить кирпичами в руках будущего зодчего. Да, воля ваша, говорите, что хотите, смейтесь, сколько душе угодно, а все-таки издателям отрадно думать, что их внуки будут держать в руках толстый in-4°, в котором по алфавиту или по достоинству разместятся иностранные «поэты всех веков и народов», пересаженные на русскую почву трудолюбивыми руками гг. Берга, Костомарова и сотрудников. Приятно даже воображать себе в будущем плоды собственной общественной деятель-

ности. Ведь перевести на русский язык песенку Гейне, это — тоже общественная деятельность, хоть лыком шитая, а все деятельность. Я от души жалею о том, что не обладаю тою пылкостью воображения, которою одарены гг. издатели; иначе я бы непременно вообразил себе, что в настоящую минуту, болтая всякий вздор по поводу вздорной книжки, я занимаюсь общественною деятельностью, просвещаю вкус русской публики здравою критикою, разрушаю ветхие понятия... О, общественная деятельность, хорошо, что ты у нас в России — отвлеченная идея, иначе ты имела бы полное право обидеться, зачем ни к селу, ни к городу призывают твое почтенное имя? Кто только не воображает себя деятелем? все суетятся, все хлопочут, и все это делается для пользы общей. Вот, например, гг. издатели «Поэтов» составили книжку в 200 страниц и пустили ее в продажу по 1 р. 25 к. Подумайте: за 1 р. 25 к. читатель узнает, как г. Костомаров думает о Бёрнсе, как тот же г. Костомаров смотрит на Гейне и как наши русские стихотворцы переводят Бёрнса, Гейне, Шультса, Андерсена и сербов. Доставить столько наслаждения за такую умеренную цену — это заслуга.

Что же вы хотите доказать всеми вашими нелепыми насмешками?—спросит, наконец, раздосадованный читатель.

А вот видите ли, я хочу доказать, что претензии всегда бывают смешны. Гг. Костомаров и Берг перевели на досуге несколько десятков стишков; им захотелось их напечатать; желание понятное; потом, когда накопилось еще несколько пиес, захотелось повторить то же самое; ну, и печатали бы себе просто, без затей, не распространяясь о цели; какая тут цель! просто, отчего же не перевести, а потом, отчего же не напечатать? Нет, нельзя, самолюбие одолевает; надо, видите ли, объяснить появление книжки высшими побуждениями, надо привести ее в связь с потребностями общества, надо себя заявить. В каждом из нас сидит Петр Иваныч Бобчинский; недаром же Гоголь был великий знаток русского человека. У русского человека бывает охота работать, бывают и силы; недостает только простора и умения направить свои силы; поэтому он или тратит их зря в узенькой сфере, или ограничивает всю свою деятельность заявлениями о самом себе; в нашей литературе есть очень много пишущих людей, от которых мы до сих пор не узнали ни одной идеи; но зато им удалось раз двадцать или тридцать напечатать свою фамилию и известить почтеннейшую публику о том, что на белом свете живет такой-то Иванов, Арсеньев или Заочный. [2] Принадлежат ли гг. издатели к категории непроизводительных деятелей нашей литературы — этого еще нельзя решить; во всяком случае плоды их деятельности еще впереди, в будущем роскошном здании русской антологии.

Г. Костомарову удались некоторые переводы, но зато его характеристики Бёрнса и Гейне решительно никуда не годятся. Биография Бёрнса, занимающая 50 страниц, не что иное, как плохая компиляция из писем Бёрнса, из статьи Карлейля о шот-

ландском поэте и из разных английских биографий. Называя произведение г. Костомарова плохою компиляциею, я не думаю обвинять г. составителя в том, что он не воспользовался всеми источниками; источников за глаза довольно, да беда в том, что г. Костомаров не умеет с ними справиться, не умеет сгруппировать их и придать им даже внешнюю стройность. Одни и те же факты повторяются по нескольку раз. «Прекрасная душа» Бёрнса отлетает «на небо» на 16-й странице, и читатель, замечая, что впереди еще 34 страницы, начинает надеяться, что ему дадут подробный разбор произведений шотландского поэта; но он ошибается; на 16-й же странице начинается письмо Бёрнса к доктору Муру, в котором поэт рассказывает всю свою жизнь, т. е. то, что уже нам рассказал г. Костомаров. Это продолжается до 32-й страницы; мы принуждены сознаться, что рассказ Бёрнса лучше рассказа г. Костомарова, и потому мне кажется, что г. Костомаров мог бы ограничить свою биографическую деятельность приделыванием некоторых комментариев к письму Бёрнса; во всяком случае печатать подряд два рассказа об одном и том же предмете по меньшей мере бесполезно; как ни замечательна личность Бёрнса, а все-таки мне кажется, что русской публике незачем учить наизусть его биографию; достаточно прочесть ее один раз. С 36-й страницы начинается оценка поэтической деятельности Бёрнса. «Бёрнс, — говорит г. Костомаров, — был народный поэт в высшей степени». Должно сознаться, что эти слова ничего не поясняют; название народного поэта совершенно неопределенно; а усиливающее наречие «в высшей степени» показывает только, что г. Костомарову очень хочется расхвалить Бёрнса. Выписки из Карлейля также мало подвигают дело вперед. Как вам нравится, например, такая характеристика Бёрнса, заимствованная у Карлейля: «Добродетель живет в его стихотворениях, как будто на зеленых лужайках, и дышит воздухом гор; но в них глубоко залегли слезы, и раздирающий пламень, как молния, скрывается в каплях летнего облачка». Добродетель, слезы и раздирающий пламень — вот ингредиенты, из которых состоит поэзия Бёрнса; смешайте все это вместе в надлежащей пропорции, вообразите себе при этом зеленые лужайки, воздух гор и летнее облачко, и дело с концом; вы получили полное понятие об особенностях поэтического таланта Роберта Бёрнса; вы скажете может быть, что все эти разнородные ингредиенты слишком отвлеченны и слишком плохо вяжутся между собою в вашем воображении, — я с вами согласен; но г. Костомаров думает иначе. Вся 11-я глава (от стр. 36 до 48-й) завалена цитатами из Карлейля; все эти цитаты очень цветисты и, по правде сказать, совершенно лишены осязательного содержания. Что вы скажете, например, о такой тираде? «Он родился поэтом; поэзия была небесным элементом существа его; на ее крыльях он возносился в область чистейшего эфира и уже не думал больше ни о каком другом повышении. Он готов был перенести и бедность, и неиз-

вестность, и все бедствия, только бы не унизить себя и не осквернить искусства». Мысль очень простая: «Роберт Бёрнс был честный человек, никого не обманывал и ни перед кем не подличал»; но какими узорами расписана эта простая мысль! Тут и небесный элемент, и крылья поэзии, и вознесение в область чистейшего эфира, и осквернение искусства...

— О друг мой, Аркадий Николаевич, не говори красиво!

А вот образчик того исторического мистицизма, который у Карлейля доходит до галлюцинации. «Байрон и Бёрнс были оба миссионеры своего времени; цель их миссии была одна и та же — научить людей высочайшему учению, чистейшей истине; они должны были исполнить цель своего призвания; до тех пор они не могли знать покоя. Тяжко лежало на них это божественное повеление; они изнывали в тяжелой, болезненной борьбе, потому что не знали его точного смысла; они предугадывали его в каком-то таинственном предчувствии, но должны были умереть, не высказавши его ясно». Тут Карлейль не только говорит красиво, но даже думает красиво, так что вы, при всех усилиях, не дороетесь ни до какой простой, человеческой мысли. Г. Костомарову это должно нравиться, потому что чем другим, а обилием простых, человеческих мыслей его статьи не грешат. У него встречаются поползновения заговорить так же красиво, как говорит Карлейль, но эти попытки остаются слабыми подражаниями. Например: (стр. 4) «От берегов Дуна, из мазанки Шотландии выпорхнула полевая ласточка и запела свою честную звонкую песенку»; (стр. 14) «Напрасно его шотландская муза, полуодетая в национальный тартан, в венке из орешника и терна являлась к нему как благодетельная фея и ударом волшебной палочки превращала убогую мазанку в чудный замок, — он умер, как жил, бедным фермером, орошая кровавым потом жадную землю, которая кормила его нуждою». А не лучше ли было бы, вместо того чтобы с невероятными усилиями сооружать риторические фигуры, объяснить просто, почему Бёрнс всю свою жизнь терпел нужду; ведь из рассказа г. Костомарова этого не видать. Только и видно, что несчастного поэта гнетет злая судьба, но что же это за объяснение? Или, может быть, Костомаров верит в *fatum*, * точно так же как Карлейль верит в исторические миссии? В таком случае, конечно, и объяснять нечего.

Оценка произведений Бёрнса ограничивается тем, что г. Костомаров приводит несколько его песен и прибавляет к каждой из них эпитет: превосходная, прекрасная, прелестная. При таком образе действий роль критика оказывается в высшей степени легкою и приятною.

Из стихотворений Бёрнса, переведенных в этом выпуске, особенно замечательна по идее и выполнению небольшая песня:

---

* Фатум, судьба *(лат.)*. — *Ред.*

«Прежде всего». Приведу ее целиком, хотя петербургская публика уже слышала ее в нынешнем году на публичном чтении.

Бедняк, будь честен и трудись,
    Трудись прежде всего;
Холопа встретишь — отвернись
    С презреньем от него!
Прежде всего, прежде всего
    Пред знатным не бледней —
Ведь знатность штемпель у гиней
    И больше ничего!

Пусть черствый хлеб — весь твой обед,
    Из поскони кафтан;
Другой и в бархат разодет,
    Да плут прежде всего.
Прежде всего, прежде всего
    Ведь титул — глупый звон.
Бедняк, будь только честен он, —
    Король прежде всего!

Вот этот барин — знатный лорд,
    Да что нам из того,
Что он своим богатством горд,
    А глуп прежде всего!
Прежде всего, прежде всего
    Для нас, детей труда,
Его и лента и звезда
    Смешны прежде всего!

Холопа в графы произвесть
    Не стоит ничего;
Но честным сделать царь, — как есть, —
    Не может никого!
Прежде всего, прежде всего
    Да будут все честны:
Честь — наши высшие чины,
    И ум прежде всего.

Молитесь все, чтоб бог послал
    Нам царствие свое,
Чтоб честный труд на свете стал
    Почетнее всего!
Прежде всего, прежде всего,
    Отныне и вовек,
Чтоб человеку человек
    Был брат прежде всего.

Первые четыре куплета превосходно выражают гордое сознание человеческого достоинства и спокойное презрение к искусственным понятиям знатности и светской чести. Пятый куплет грешит пиетизмом, но последние две строки спасают общее впечатление. Во всяком случае надо сказать спасибо г. Костомарову за то,

что он перевел это стихотворение просто и изящно, сохраняя тот оттенок юмора и ту непринужденность оборотов, которыми отличается подлинник.

Статья г. Костомарова о Гейне еще более неудачна, чем его «Роберт Бёрнс». Эта статья прямо показывает, что г. Костомаров не понимает значения Гейне и даже непосредственным чувством не может оценить его поэзию.

Биографических данных очень немного, да и те, по правде сказать, бесполезны; вся наша читающая публика знает эти факты по многочисленным статьям, появлявшимся о Гейне в журналах и в предисловиях к отдельным изданиям переводов из Гейне. Стало быть, статья г. Костомарова имеет главною целью объяснить нашей публике значение Гейне как поэта. Посмотрим, как-то г. Костомаров справится с этою задачею. Наш критик разбирает сначала политическое значение поэзии Гейне и обрушивает на поэта всю тяжесть своего добродетельного негодования. Негодует он на него, во-первых, за книгу о Бёрне, во-вторых, за то, что Гейне получал пенсию от Людовика-Филиппа; и то и другое, может быть, очень нехорошо, но, к сожалению, и то и другое вовсе не относится к политическому значению поэзии Гейне. Бэкон брал взятки, Вольтер часто воздвигал ценсурные преследования против своих литературных врагов, но если мы будем говорить о политическом значении умственной деятельности Бэкона и Вольтера, то эти факты надо будет оставить в стороне, несмотря на то, что они дают обильную пищу добродетельному негодованию. Бэкон и Вольтер могли быть дрянными людьми, но организация их мозга была великолепная, и как великие мыслители и критики людских нелепостей они заслуживают нашу полную признательность. Политическое значение их деятельности заключается в том влиянии, которое их идеи оказывали на гражданскую жизнь их общества. Личные поступки этих людей часто не имеют с этим влиянием ничего общего, и до них нет дела тому критику, который рассматривает Бэкона или Вольтера со стороны их умственной деятельности. Но предположим даже, что г. Костомаров хочет оценить Гейне как человека; даже и в этом случае его добродетельное негодование бессмысленно и риторично; чтобы бросить камень в Гейне, надо чувствовать себя очень чистым и сильным; надо самому побывать на арене и пережить те испытания, которые выпадали на долю Гейне; надо выйти победителем из этих испытаний, чтобы иметь право винить в слабости того человека, который свихнулся с прямого пути; иначе строгого ценсора нравов можно самого притянуть к суду общественного мнения; можно сказать ему: посмотрите на себя, грозный обвинитель великого поэта, поройтесь в ваших недавних воспоминаниях, полюбуйтесь на вашу собственную общественную деятельность, и тогда, насладившись этим поучительным самосозерцанием, перестаньте декламировать против чужих слабостей и проступков, менее достойных презрения.

Не вашим подслеповатым глазам отыскивать пятна на светилах мысли, подобных Гейнриху Гейне.

Оценка Гейне как поэта, т. е. собственно эстетическая часть статьи г. Костомарова, отличается сильными претензиями и жалкою слабостью мысли. Г. Костомаров начинает эстетическую часть своего труда следующими словами: «чтобы вполне понять значение Гейнриха Гейне как лирика, необходимо»... Итак, г. Костомаров собирается «вполне понять значение Гейне». Посмотрим, что будет дальше. Дальше оказывается, что простота и непосредственность составляют главную силу поэзии Гейне. «Без этой заслуги, — говорит г. Костомаров, — несмотря на все богатство своего таланта, он никогда не занял бы такого почетного, чтобы не сказать первого, места между немецкими поэтами нового времени, потому что влияние его на литературу, как представителя юной Германии, как отвлеченного философа, как недовольного полемика и иронического юмориста, — далеко не так обширно» (стр. 85).

Вот это по крайней мере ново. Мы узнаем, что не содержание, не основная мысль, не направление поэтической деятельности Гейне имеет влияние на умы образованных европейцев, а форма выражения. Это открытие делает честь остроумию г. Костомарова. Если простота и непосредственность сами по себе, без посторонней помощи, производят такое сильное впечатление, то надо поставить монумент неизвестному автору следующего стихотворения:

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько,
Но и в стуже
Мне не хуже.

Это стихотворение помещено в грамматике Востокова; в нем так много простоты и непосредственности, что г. Костомаров, если желает быть последовательным, должен признать его лучшим перлом русской поэзии. Странно только, что г. Костомаров, придающий такое огромное значение простоте и непосредственности в поэзии, сам даже в презренную прозу вставляет самые диковинные орнаменты; например: «сгустившиеся туманы романтизма», «мечущий искры костер, медленный пламень которого пожирает древнюю, официальную Германию, заплесневелую землю филистеров», «любовь нечистая, пылающая пламенем чувственных наслаждений», «благоухают всею свежестью цветка и звенят, как серебряный колокольчик».

— О друг мой, Аркадий Николаевич, не говори красиво!

Но чем дальше в лес, тем больше дров: к концу статьи г. Костомарова мы узнаем вещи еще более новые. Оказывается, что ирония, проникающая собою поэзию Гейне, составляет ее главный недо-

статок; вы не верите? Полюбуйтесь следующею тирадою: «Болезненно действует на нас эта отрицательная сторона всеобъемлющего таланта Гейне. Эта неискренность, эта непонятная раздвоенность поэта постоянно заставляет думать, что самые возвышенные, самые очаровательные места его лирики — есть мастерски замаскированная ирония» (стр. 100).

Это значит другими словами: «всем бы хорош был Гейне, кабы не проклятая ирония». Это напоминает мне графа Монталамбера, рассуждающего об англичанах: «Славный народ, — думает он, — жаль только, что не католики». Вот другая тирада на той же странице: «как часто стихи его кажутся нам хорошенькими личиками, строящими самые нелепые гримасы, как часто он до самого конца ничем не возмущает наших благороднейших чувствований, чтобы тем внезапнее поразить самою мефистофелевскою остротою или, что еще хуже, самою обнаженною плоскостью». Да кто же просил г. Костомарова соваться в переводчики Гейне, если Гейне возмущает его «благороднейшие чувствования», если «мефистофелевские остроты» оскорбляют его щекотливую добродетель, если «обнаженные плоскости» раздражают его фешенебельный слух. Ни Гейне, ни русская публика ничего бы не потеряли, если бы г. Костомаров махнул рукою на «иронического юмориста» и «недовольного полемика». Мало ли таких поэтов, которые ни одною строчкою не обнаружат ни полемических наклонностей, ни иронии, ни юмора. Ведь перевел же г. Костомаров из Лонгфелло стихотворение «Excelsior!»; * и сотни таких стихотворений можно было бы отыскать, была бы только охота. Вместо того чтобы возиться с гейневскою «Германиею», в которой «решительно неистовствует едкая ирония», было бы гораздо удобнее перевести, например, «Мессиаду» Клопштока, или «Jocelyn» Ламартина; с ними и хлопот меньше, и «благороднейшие чувствования» остаются нетронутыми; если бы пришла охота переводить прозу, можно взять Шатобриана, Боссюэ, а еще лучше Фому Кемпийского. Тут уже наверное ни одна мефистофелевская острота не нарушит плавного парения назидательной речи. Далее г. Костомаров обвиняет Гейне в нравственной нечистоте. «Нет, — говорит он, — что хотите, а это не та чистая, спасительная любовь, которая должна пылать в сердце каждого певца любви, а любовь нечистая, пылающая пламенем чувственных наслаждений, и потому-то она везде должна носить в себе сознание своего собственного ничтожества» (стр. 103). Уличив Гейне в отсутствии чистой, спасительной любви, г. Костомаров преследует поэта на его смертном одре и не без соболезнования *доносит* читателю, что раб божий Гейнрих Гейне умер нераскаянным грешником. Того, кто усомнится в верности моих слов, я прошу заглянуть на стр. 103 и 104 разбираемой мною книги; мне уже надоело цитировать

* «Выше!» *(лат.)*. — *Ред.*

г. Костомарова, да, кроме того, у нас иногда встречаются в литературе такие милые выходки, которые гадко выписывать.

Напрасно г. Костомаров к имени пиетиста Генгстенберга, встречающемуся в переводе «Германии», делает следующее язвительное замечание: «Генгстенберг, по доносу которого отнята кафедра у Фейербаха». Кто так близко подходит к Генгстенбергу по воззрениям, тому следовало бы быть поосторожнее в отзывах.

Кто знает? Может быть, Генгстенберг сделал донос с благою целью! Может быть, делая свой донос, Генгстенберг воображал себя таким же полезным общественным деятелем, каким воображает себя г. Костомаров, обличая нераскаянного грешника и «иронического юмориста» Гейнриха Гейне.

ПРИМЕЧАНИЯ



В данное издание входят почти все литературно-критические статьи Писарева 1861—1868 гг., важнейшие из его общественно-политических и философских произведений этого времени, а также три статьи раннего периода его деятельности (1859 г.).

Бóльшая часть этих произведений первоначально была опубликована в журналах и сборниках 1860-х гг. («Русское слово», «Отечественные записки» и др.). В 1866—1869 гг. прогрессивный издатель Ф. Ф. Павленков предпринял первое издание сочинений Писарева в 10 частях (в дальнейшем обозначается: «первое издание»), большая часть выпусков которого вышла еще при жизни критика. В него вошли почти все ранее публиковавшиеся произведения 1861—1868 гг., а также несколько новых статей. В этом издании были восстановлены некоторые цензурные изъятия, имевшие место при первоначальной публикации отдельных статей в журнале «Русское слово». Царская цензура чинила всяческие препятствия изданию сочинений Писарева; вторая часть первого издания подверглась в 1866 г. судебному преследованию (см. подробнее в прим. к статьям «Русский Дон-Кихот» в данном томе и «Бедная русская мысль» — в т. II нашего издания). В 1870-х гг. Павленков предпринял переиздание сочинений Писарева, однако не осуществленное полностью из-за цензурных преследований.

Лишь в 1894 г. Павленкову удалось добиться разрешения на новое издание сочинений Писарева в шести томах. Это шеститомное собрание сочинений вышло в пяти изданиях (последнее — в 1909—1913 гг.; некоторые тома вышли затем и шестым изданием в 1913—1914 гг.). Это издание, более полное по составу, также испытало тяжелые цензурные преследования. Оно отличалось от первого издания 1860-х гг. серьезными цензурными изъятиями и искажениями в тексте некоторых важнейших статей. Лишь в пятом издании шеститомника, после революции 1905 г., удалось устранить ряд цензурных искажений текста. Приложением к этому изданию явился дополнительный выпуск (первое издание — 1907 г.; третье, последнее, — 1913 г.), заключавший в себе ранее запрещавшиеся цензурой статьи, а также незаконченную статью «Мысли по поводу сочинений Марко Вовчка», опубликованную по рукописи.

В настоящем издании за основу принят текст первого издания 1866—1869 гг. как последняя публикация сочинений Писарева, подготовленная еще при его жизни. В тех случаях, когда статья, вошедшая в первое издание, была первоначально опубликована в журналах 1860-х гг., текст первого издания тщательно сверен с текстом журнальным; в отдельных случаях — с немногими сохранившимися рукописями. Наиболее существенные расхождения между журнальным текстом и текстом первого издания указаны в примечаниях к соответствующим статьям. Там же даны сведения по цензурной истории отдельных статей Писарева.

Тексты Писарева воспроизводятся с соблюдением принятых ныне норм орфографии и пунктуации. При этом сохраняются те особенности текста, которые характеризуют формы литературного языка 1860-х гг. и индивидуальный стиль Писарева и в отношении которых в павленковских изданиях шеститомника и в опиравшихся на него последующих переизданиях статей Писарева допускалась произвольная правка.

«ОБЛОМОВ»

Роман И. А. Гончарова

«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Роман И. С. Тургенева

«ТРИ СМЕРТИ»

Рассказ графа Л. Н. Толстого

Впервые опубликованы в «журнале наук, искусств и литературы для взрослых девиц» «Рассвет» за 1859 г. (разбор «Обломова» в № 10 журнала, «Дворянского гнезда» — в № 11 и «Трех смертей» — в № 12). В первое издание сочинений не вошли, хотя в объявлениях о составе этого издания, приложенных к первым его выпускам, и указывалось, что они будут помещены в ч. 10. Здесь воспроизводятся по тексту журнала.

[1] Цитата из статьи Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя» (см. В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений., т. 1, М. 1953, стр. 295).

[2] Выражение «веяние эпохи» было впервые пущено в оборот Аполлоном Григорьевым.

[3] Мнение о том, что женщине, как и мужчине, дана одинаковая сумма прирожденных способностей, и о необходимости сделать воспитание женщины более реальным Писарев высказал в ряде рецензий, опубликованных в журнале «Рассвет» за 1859 г. (см. в т. I шеститомного издания Павленкова сочинений Д. И. Писарева рецензии на «Записки доброй матери», «Образование женщин среднего и высшего состояния», «Частные женские пансионы», «Еще о женском труде», «Парижские письма» М. Михайлова, «Журнал для воспитания», «Русский педагогический вестник» и др.).

[4] Рассказ Л. Н. Толстого «Три смерти» был впервые опубликован в журнале «Библиотека для чтения», 1859, № 1.

НЕСОРАЗМЕРНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

Впервые напечатана в журнале «Русское слово», 1861, кн. 2. В журнале статья датирована: «1861. 13 января». Затем вошла в ч. 9 первого издания сочинений (1868), где ей дано настоящее название. Существенных отличий между журнальным текстом и текстом первого издания нет. Здесь воспроиз-

водится по тексту первого издания с исправлением отдельных погрешностей по журнальному тексту.

Голицынский А. П. — автор очерков из народного быта, выходивших в 1850—1880-х гг. Рецензия Писарева на его книгу «Уличные типы» важна как одно из выступлений демократической критики против натуралистических приемов в воспроизведении народной жизни. Вместе с рецензией на народные книжки, помещаемой далее, она дает отчетливое представление о том, какие требования выдвигал в это время Писарев в отношении народности и реализма литературных произведений.

[1] Имеется в виду рассказ Жевакина в комедии Гоголя «Женитьба» о мичмане Петухове (см. д. II, явл. 8).

[2] «*Старичок-весельчак, рассказывающий старинные московские были*» — лубочная повесть.

[3] «*Черт в Париже*» — французское иллюстрированное издание, представлявшее комически-жанровые сцены из жизни парижан.

НАРОДНЫЕ КНИЖКИ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово» за 1861 г., кн. 3. Под данным названием вошла в ч. 9 первого издания сочинений (1868 г.). Существенных расхождений текста этих двух публикаций нет. Здесь воспроизводится по тексту первого издания с исправлением отдельных опечаток по тексту журнала.

Статья затрагивает два вопроса, важные для революционно-демократической критики 1860-х гг.: о народности литературы, о ее задачах в воспроизведении народной жизни и о том, каковы должны быть популярные книги, предназначенные для народного чтения.

В освещении первого вопроса Писарев близок к тем взглядам, которые высказывали в своих статьях Чернышевский и Добролюбов (см., напр., «Заметки о журналах» за август 1856 г. Чернышевского, статьи Добролюбова «А. В. Кольцов», «О степени участия народности в русской литературе» и др.). Писарев требует от литературы глубокого и всестороннего отражения народной жизни в ее типических проявлениях. Вывод Писарева о том, что литература еще далеко не прониклась пониманием внутренних сторон жизни простого человека, что ее произведения еще не могут быть непосредственно восприняты читателем из народа, носит полемический характер. Такой вывод, связанный с критикой произведений писателей-дворян, посвященных изображению людей из народа, характерен для демократической критики 1860-х гг., ставившей перед литературой задачу изображения важнейших сторон народной жизни в ее развитии, подчинения литературы общим целям демократического движения. Характерно, что Писарев связывает успехи народности литературы с развитием передовой публицистики, науки, с развитием понимания подлинных жизненных интересов народа.

Вопрос о создании популярной литературы для народа, стоящей на высоком идейном и научном уровне, глубоко занимал демократическую кри-

тику, начиная с Белинского (см., напр., его рецензии на сборники «Сельское чтение» в 1840-х гг.). Эта задача была тем более важна, что усилия реакционеров и разных промышленников от литературы были направлены на то, чтобы наводнить рынок книжками лубочного характера, «изделиями промышленного пера», проповедующими отсталые и реакционные взгляды. Революционные демократы 1840—1860 гг. подвергали беспощадной критике и осмеянию эти произведения «толкучего рынка литературы», как их называл Белинский. Статья Писарева представляет яркий образец такой критики. В ней выражены взгляды критика на то, каким должно быть содержание и изложение популярных книг для народа.

[1] *Давно ли в наших журналах рассуждали... нужна ли и полезна ли для народа грамотность?* — В 1856 г. писатель и составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даль в письме к А. И. Кошелеву, опубликованном в славянофильском журнале «Русская беседа» (т. 3), утверждал, что грамотность приносит народу вред, если не опирается на проповедь религиозных взглядов. То же было высказано им в заметках, напечатанных в 1857 г. в журнале «Отечественные записки» (кн. 2) и в газете «С.-Петербургские ведомости» (№ 245). Аналогичные высказывания имели место в официальных изданиях и в журналах реакционного характера и позднее (см., напр., выступление священника И. Беллюстина в «Журнале министерства народного просвещения», 1860, кн. 10).

[2] *«Солдатская беседа»* — журнал, выходивший с 1858 по 1867 г. Издатель-редактор А. Ф. Погосский. Журнал был предназначен для солдатского чтения и в целом носил консервативный характер.

[3] *Гуманист* — в устарелом значении: тот, кто занимается вопросами истории, филологии и т. д.

[4] Иронически говоря о старчески-византийском тоне, Писарев имеет в виду указать на церковно-православные тенденции книжки.

[5] *«Народное чтение»* — журнал, выходивший в 1859—1862 гг. под редакцией А. Оболенского и Г. Щербачева; с 1861 г. издавался Лермантовым. В книжках журнала помещались рассказы, очерки и популярные статьи для народа крайне пестрого характера и достоинства. Наряду с отдельными полезными популярными очерками здесь печатались такие рассказы и очерки, в которых преподносились читателю отвлеченно-моралистические рассуждения, «прописи» дворянско-буржуазной морали.

ИДЕАЛИЗМ ПЛАТОНА

Впервые опубликована в журнале «Русское слово» за 1861 г., кн. 4; затем вошла в ч. 9 первого издания сочинений (1868 г.). Варианты текста этих публикаций незначительны. Здесь воспроизводится по тексту первого издания с исправлением мелких его погрешностей по тексту журнала.

[1] *Димиург* (по иному, более принятому произношению — *демиург*) — божественное начало, творец мира, согласно идеалистическому учению Платона.

[2] Буржуазные историки философии стремились всячески преуменьшить заслуги представителей материализма в древнегреческой философии, превратно истолковать важнейшие положения их учения, всячески превознося в то же время философов-идеалистов, особенно Сократа и Платона, — это и имеет в виду в данном случае Писарев.

[3] Писарев, называя римского поэта Горация (65—8 до н. э.) *фешенебельным*, имеет в виду его аристократизм, приводивший к прислужничеству перед императорской властью. Враждебное, аристократически-презрительное отношение Горация к демократии выразилось в частности в известной фразе его оды: «Procul profani» («Прочь, непосвященная чернь»), которую любил цитировать Писарев, характеризуя антидемократизм теории «чистого искусства».

[4] *Чулкатурин* — герой повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека».

[5] Под *Камнем* здесь подразумевается поэт П. И. Вейнберг (псевдоним: Камень Виногоров), выступивший против Е. Толмачевой (см. подробнее в прим. 11 к статье «Схоластика XIX века»).

[6] *Берсенев* — персонаж романа Тургенева «Накануне».

[7] *Неделимый* (или *неделимое*) — устаревшее слово, употреблявшееся в значении: индивидуум.

[8] *Новоплатоники* (неоплатоники) — представители реакционного философского направления античной философии, сложившегося в III в. н. э.; эклектическое по своему составу, идеалистическое и мистическое учение неоплатоников оказало влияние на развитие христианства. — *Эсселне* (ессеи) — древнееврейская мистическая секта, возникшая в Палестине во II в. до н. э. и стремившаяся в аскетизме и уединении найти спасение от разврата городской жизни. — *Терапевты* — религиозное общество евреев, возникшее во II в. до н. э. в Александрии, близкое по взглядам к ессеям.

[9] *Клетка La Balue.* — Ла Балю (1421—1491) — кардинал; был заключен Людовиком XI, подозревавшим его в заговоре против королевской власти, в железную клетку, в которой и просидел 10 лет.

СХОЛАСТИКА XIX ВЕКА

Впервые напечатана в кн. 5 (гл. I—X) и кн. 9 (гл. XI—XVII) журнала «Русское слово» за 1861 г. Первая часть статьи датирована в журнале: «1861. 12 мая»; вторая: «1861. 3 сентября». Затем статья вошла в ч. 9 первого издания сочинений (1868).

При опубликовании в журнале статья подверглась цензурным искажениям. Особенно значительны были они в первой ее части (гл. II, III, IV, V, VI и VII), а также в главе XV. Оказались исключенными или измененными те места, где говорилось о крепостнических отношениях, об угнетении личности и социальном неравенстве, о подавляющем влиянии «авторитетов» и т. д. Ниже в примечаниях отмечаются наиболее существенные из этих искажений журнального текста. В журнальном тексте имелись и другие мелкие отличия от текста первого издания, не связанные с цензурными изменениями.

Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания с внесением некоторых мелких исправлений по тексту журнала.

Статья составляет важный эпизод в борьбе между журналистикой революционно-демократического направления и органами реакционной и либерально-охранительной печати. Изложив в первой части статьи ту идейную программу, которую он отстаивал в это время (см. об этом вступительную статью), Писарев посвятил вторую часть статьи острой полемике с реакционной и либеральной журналистикой. Он первый выступил здесь в защиту Чернышевского и его направления от нападок и инсинуаций со стороны реакционной прессы. Поход против революционных демократов в 1861 г. начал реакционный публицист М. Катков в журнале «Русский вестник». В заметке «Несколько слов вместо «Современной летописи» (№ 1 «Русского вестника»), в статье «Старые боги и новые боги» (№ 2) Катков ополчился на материалистические идеи Чернышевского и его последователей. В № 5 «Русского вестника» были напечатаны извлечения из статьи реакционного философа П. Юркевича, пытавшегося «опровергнуть» философские взгляды Чернышевского, выводы его знаменитой работы «Антропологический принцип в философии». «Русский вестник» Каткова, выдавая себя за орган солидной «научной» критики и прикрываясь отдельными либеральными фразами, систематически клеветал на революционных демократов, пытался представить их людьми невежественными, отрицателями ради отрицания и т. д. (статья Каткова «Наш язык и что такое свистуны?» в кн. 3, его же заметка «По поводу полемических статей в «Современнике» в кн. 6 и др.). К «Русскому вестнику» присоединился и журнал «Отечественные записки», бывший в это время органом либерально-охранительного направления. В кн. 8 этого журнала за 1861 г. было помещено сразу шесть статей, ставивших целью дискредитировать «Современник» и его редактора. В яростных нападках на «Современник» и революционно-демократическую литературу приняли участие и другие реакционные журналы — «Домашняя беседа», издававшаяся мракобесом Аскоченским, «Время», «Библиотека для чтения».

Чернышевский, наряду с другими статьями, посвященными резкой критике реакционной политики и идеологии, поместил в кн. 6 и 7 журнала «Современник» за 1861 г. две статьи под общим названием «Полемические красоты». В них была дана отповедь «Русскому вестнику» и «Отечественным запискам». «Полемические красоты» Чернышевского вызвали новый прилив яростного раздражения и клеветнических измышлений в реакционных журналах. Именно в этот момент и появилась вторая часть статьи Писарева, вскрывавшая реакционную подоплеку выступлений «Русского вестника» и «Отечественных записок» и показавшая бессилие их попыток «опровергнуть» Чернышевского. В связи с общим подъемом революционного движения в стране во второй половине статьи с особой силою и прямотой были высказаны Писаревым требования устранить и разбить то, что обветшало и мешает свободному развитию народа. Несмотря на отдельные расхождения с выводами Чернышевского в этой статье (см. возражения Писарева по поводу положений статьи Чернышевского «О причинах падения Рима»), Писарев выступил здесь как убежденный сторонник революционно-демократического направления, в защиту журнала «Современник» и его руководителей. Именно так

и было воспринято читателями это его первое крупное выступление в демократической журналистике. Реакционеры и либералы увидели в Писареве нового талантливого и опасного врага. Статья Писарева подверглась нападкам со стороны «Русского вестника» в том же году. Характерна в этом смысле и запись в дневнике цензора А. Никитенко от 14 октября 1861 г.: «В «Русском слове» появился новый пророк в модном направлении — Писарев. Он... теперь поместил в «Русском слове» статью «Схоластика XIX века и процессы жизни» (Никитенко здесь исказил название статьи, объединив ее с другой статьей Писарева «Процесс жизни», также опубликованной в кн. 9 «Русского слова». — *Ред.*). Прочитав ее, признаюсь, я даже раздражился, и в этом расположении духа я говорил слишком горячо, делая мой доклад (в Главном управлении цензуры. — *Ред.*)» (А. В. Никитенко, Моя повесть о самом себе, т. II, СПб. 1905, стр. 45).

[1] *«Русский вестник»* — журнал, начавший выходить с 1856 г. Издавался М. Катковым. Начав с программы весьма умеренного буржуазно-дворянского либерализма, в ходе обострения классовой борьбы в 1860-х гг. журнал занял крайне реакционные позиции (особенно откровенно с 1863 г.).

[2] *Диспут Погодина с Костомаровым* происходил в Петербургском университете 19 марта 1860 г. и был посвящен вопросу о происхождении русского государства. Реакционный историк М. Погодин отстаивал в этом споре так называемую «норманскую теорию» происхождения Руси, приписывая роль организаторов древнерусского государства — варягам, выходцам из Скандинавии. Эту «теорию» Погодин изложил в своей книге «Норманский период русской литературы» (1859). В кн. 1 «Современника» за 1860 г. Добролюбов поместил рецензию на книгу Погодина, разоблачив ее реакционный смысл. В том же номере «Современника» была напечатана и статья историка Н. И. Костомарова «Начало Руси», в которой он доказывал несостоятельность «теории» Погодина, отстаивая столь же несостоятельную теорию о литовском происхождении Руси. В феврале 1860 г. Погодин обратился к Костомарову с письмом, в котором вызывал его на публичный диспут и делал резкие выпады против «Современника». На диспуте Погодин был освистан студентами. После диспута он поспешил заявить в журнале «Русская беседа» (1860, кн. 19), что его вызов Костомарову был только «шуткой». Диспут явился предметом активного обсуждения в тогдашней периодической печати. Чернышевский резко охарактеризовал Погодина и его «теорию» в статье «Замечания на «последнее слово г. Погодину» г. Костомарова» («Современник», 1860, кн. 5), а Добролюбов ядовито осмеял его в сатирическом отделе «Свисток» в той же книге журнала. — *«Русская беседа»* — журнал, издававшийся московскими славянофилами в 1856—1860 гг. Один из идеологов славянофильства А. С. Хомяков выступил против материализма в статье «О современных явлениях в области философии» («Русская беседа», 1859, т. 1).

[3] *«Русская беседа» в течение нескольких лет печатала... исследования...* — В «Русской беседе» в 1856—1860 гг. регулярно помещались большие статьи публицистов славянофильского направления, посвященные вопросам русской истории, философии и литературы. Все эти статьи, несмотря на наличие в некоторых из них интересных наблюдений (напр., в исследовании И. П. Беляе-

ва о русской общине) и отдельных либерально-оппозиционных высказываний, характеризуются приверженностью реакционной славянофильской доктрине, враждою к демократическому движению и материализму. — *«Отечественные записки»... приложили... сборник песен г. Якушкина...* — Имеется в виду собрание народных песен, составленное известным писателем-этнографом П. И. Якушкиным; первое издание его сборника появилось в 1860 г. в приложении к журналу «Отечественные записки». — *«Отечественные записки»* — журнал, издававшийся А. Краевским; после ухода из журнала В. Г. Белинского в 1847 г. и до перехода журнала под редакцию Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1868 г. являлся органом либерально-охранительного направления; издателями-редакторами журнала в эти годы были: беспринципный делец в журналистике Краевский и критик Дудышкин, один из апологетов теории «чистого искусства». —*...в «Светоче»...описана русская свадьба...* — Имеется в виду статья М. Кривошеина «Русская свадьба с ее обрядами и песнями», опубликованная в журнале «Светоч», 1861, кн. 2. Журнал «Светоч» (1860—1862 гг.), издававшийся Д. И. Калиновским, — довольно бесцветный либеральный орган, ставивший себе целью «примирить противоположные учения западников и восточников» (т. е. славянофилов).— *«Время»* — журнал, издававшийся в 1861—1863 гг. М. М. Достоевским при ближайшем участии Ф. М. Достоевского. Журнал был органом так называемых «почвенников», близких к славянофилам. Понятия «почва» и народность, о которых постоянно толковалось в журнале, получили в нем реакционную трактовку. С первых номеров журнал выступил против революционно-демократической программы «Современника». Выступления журнала «Время» против «Современника» стали особенно ожесточенными во второй половине 1861 г. Со статьями против «Современника» выступали Ф. Достоевский, Страхов и др.

[4] Говоря о *космополитическом направлении* журнала «Современник», Писарев, очевидно, хочет подчеркнуть то обстоятельство, что «Современник» уделял серьезное внимание как вопросам развития демократического движения в России, так и положению трудящихся масс, экономике и политике стран Запада. Являясь органом легальным, подцензурным, «Современник» при этом, говоря о явлениях западной жизни, часто имел в виду и русские дела, о которых прямо высказаться было невозможно. Что касается журнала М. Каткова «Русский вестник», то в нем в 1856—1861 гг. постоянно и много писалось о политическом устройстве Западной Европы, особенно Англии. Каткова обычно его современники характеризовали как «англомана». Ему особенно импонировало сохранение в английском буржуазном устройстве аристократических пережитков, важная роль крупного и среднего землевладения в местном самоуправлении и т. д.

[5] *...вопрос об эмансипации разрешился независимо от журнальных толков...* — В ходе подготовки крепостниками крестьянской реформы 1861 г. правительство постоянно ставило преграды свободному обсуждению крестьянского вопроса в журналистике. Особенно тяжел был цензурный гнет в этом вопросе в отношении журнала «Современник». Не имея возможности сколько-нибудь прямо и ясно высказать свое отношение к условиям готовящейся реформы, «Современник» вообще в 1860 г. перестал публиковать статьи

по крестьянскому вопросу. — *Воскресные школы* для бесплатного обучения взрослого населения из народа начали возникать в России по общественной инициативе с 1859 г. в связи с общим подъемом демократического движения. Еще 30 декабря 1860 г. министр народного просвещения, по указанию шефа жандармов, подписал циркуляр, вводивший строгое наблюдение за деятельностью этих школ. В июне 1862 г. царское правительство, испуганное ростом числа этих школ и активным участием в их организации передовой интеллигенции, издало распоряжение об их закрытии. Обсуждению вопроса о воскресных школах в печати ставились цензурные рогатки, что и хочет здесь отметить Писарев. Характерно, что это место статьи в журнальном тексте было искажено цензурой.

[6] Говоря о том, что *наша журналистика не может иметь никакого влияния на решение административных вопросов*, Писарев имеет в виду невозможность для революционно-демократической печати прямо и полно высказать свое мнение по всем существенным вопросам переустройства общества.

[7] Отрывок со слов: «Нет сомнения, что помещики» и кончая словами: «понятие теоретика-литератора, воодушевленного самыми бескорыстными и гуманными стремлениями», был исключен цензурой в журнальном тексте статьи.

[8] Отрывок со слов: «Русский крестьянин, быть может, еще не в состоянии» и кончая словами: «только одна литература и в состоянии выполнить», был вычеркнут цензурой в журнальном тексте статьи.

[9] *...грошовые издания, о которых было говорено в мартовской книжке «Русского слова»...* — см. статью «Народные книжки» в этом томе. — *«Народное чтение»* — см. прим. 5 к указанной статье.

[10] Отрывок со слов: «Наши журналисты мечтают», кончая словами: «кроме этого мира благородных, но неосуществимых мечтаний», был исключен цензурой в журнальном тексте статьи.

[11] История с Толмачевой — яркий эпизод в полемике 1861 г. Некая Е. Э. Толмачева, дама из Перми, выступила с чтением на благотворительном вечере импровизации из «Египетских ночей» Пушкина. Это выступление было описано неизвестным корреспондентом в газете «С.-Петербургские ведомости». В № 8 еженедельного журнала «Век» поэт П. И. Вейнберг выступил под псевдонимом «Камень Виногоров» с фельетоном, где осмеивал Толмачеву, высказав при этом ряд пошлых и грязных намеков по ее адресу. Этот эпизод с Толмачевой и фельетоном Вейнберга служил в течение нескольких месяцев 1861 г. одним из предметов острого обсуждения в журналах и газетах. См. также прим. 15.

[12] Эти слова о свободном проявлении чувства были исключены цензурой в тексте «Русского слова».

[13] В 1859—1860 гг. женщины стали посещать лекции в качестве вольнослушательниц в Петербургском университете. Консервативная профессура встретила враждебно эти первые попытки женщин получить образование.

[14] Весь этот абзац был изъят цензурой из журнального текста статьи.

[15] *...Михайлов и спущенная им стая.* — В истории с Толмачевой активное участие принял известный поэт и выдающийся революционно-демократиче-

ский деятель М. Л. Михайлов. В № 51 газеты «С.-Петербургские ведомости» было опубликовано его письмо, в котором он резко осудил поступок Вейнберга и выступил в защиту полной эмансипации женщин. Вслед за письмом Михайлова в той же газете были опубликованы и некоторые другие осуждающие поступок «Века» письма. Злобный выпад против М. Л. Михайлова и других сторонников равноправия женщин был сделан Катковым в журнале «Русский вестник» (1861, кн. 3, статья «Наш язык и что такое свистуны?»), где, между прочим, говорилось, что фельетона Вейнберга «никто бы не заметил, если бы не гаркнула вся эта стая, спущенная г. Михайловым».

[16] *«А время вещь какая?»* — несколько измененная цитата из басни И. И. Хемницера «Метафизик». Образ хемницеровского метафизика, свалившегося в яму и не желающего воспользоваться спущенной ему отцом в яму веревкой до тех пор, пока тот не ответит на вопросы о том: «веревка вещь какая?», «а время что?», — стал ходячим типом поверхностного мыслителя-книжника, отрешенного от действительной жизни.

[17] Конец главы, начиная со слов: «Витать мыслью в радужных сферах фантазии», подвергся цензурному отсечению в журнальном тексте статьи.

[18] *Автор статьи «Капризы и раздумье»* — А. И. Герцен, имя которого запрещено было употреблять в подцензурной русской печати 1860-х гг. Писарев имеет здесь в виду произведение Герцена «Капризы и раздумье. II. По разным поводам», впервые опубликованное в «Петербургском сборнике» 1846 г.

[19] Имеется в виду статья А. Григорьева «Искусство и нравственность, новые Grübelein (мудрствования. — *Ред.*) по поводу старого вопроса», опубликованная в журнале «Светоч», 1861, кн. 1.

[20] Приводимые Писаревым выражения взяты из статей А. Григорьева «Западничество в русской литературе, причины происхождения его и силы. 1836—1851» («Время», 1861, кн. 3) и «Реализм и идеализм в нашей литературе (по поводу нового издания сочинений Писемского и Тургенева)» («Светоч», 1861, кн. 4).

[21] Отрывок со слов: «религиозные войны, утопические теории» до слов: «Наполеона III» был исключен цензурой при опубликовании статьи в журнале.

[22] *«Домашняя беседа»* — журнал, издававшийся в 1858—1877 гг. реакционером и мракобесом В. И. Аскоченским; выступал с изуверски-крикливыми выпадами против науки и прогресса. Журнал служил постоянным предметом ядовитого осмеяния со стороны всех передовых деятелей того времени.

[23] *Свистуны* (от названия сатирического отдела «Свисток», основанного в «Современнике» Добролюбовым) — кличка, пущенная впервые по адресу революционно-демократических писателей Катковым (см. его «Несколько слов вместо «Современной летописи» в кн. 1 «Русского вестника» за 1861 г.) и затем сделавшаяся ходячей в реакционной печати. В журналистике 1860-х гг. также нередко глагол *свистеть* употреблялся в особом смысле: «выступать с критикой, осмеянием и отрицанием старого».

[24] Редакция «Времени» писала в программе журнала, опубликованной перед началом его издания, что она будет вести борьбу с авторитетами, с «ли-

тературными генералами». О неопределенности этого заявления писал Чернышевский в своей статье о первом номере журнала «Время» (см. Полн. собр. соч., т. VII, М. 1950, стр. 950 и сл.). Писарев же указывает здесь как на «литературных генералов» и «литературных богдыханов» на публицистов «Русского вестника» и «Отечественных записок».

[25] *Мальчишки* — одна из кличек, которою наделила реакционная печать представителей революционной демократии. Так, Катков (в кн. 1 «Русского вестника» за 1861 г.) бросал обвинение критике «Современника» в «мальчишеском забиячестве».

[26] Указанная статья Н. Д. Ахшарумова («Отечественные записки», 1857, кн. 7) была посвящена защите реакционной теории «чистого искусства». Статья Ахшарумова лишь частный эпизод в той борьбе, которая развернулась по вопросам искусства и его отношения к действительности в 1856—1858 гг. Чернышевский в своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» и в «Очерках гоголевского периода» развил материалистический взгляд на искусство и его задачи, провозгласил активную общественную роль литературы, защищал гоголевское, реально-критическое направление в литературе. В полемике с ним с позиций реакционного «чистого искусства» против гоголевского направления в литературе выступили Дружинин, Дудышкин и др.

[27] Испанский король и глава «священной Римской империи» Карл V, после военных неудач в борьбе его с Реформацией, в 1556 г. сложил с себя корону и удалился в монастырь св. Юста в Эстремадуре (Испания), где и умер.

[28] Об этом говорилось в неподписанном критическом обзоре (Дудышкина) в кн. 2 «Отечественных записок» за 1861 г. по поводу программы журнала «Время», объявлявшей войну «литературным генералам».

[29] *Метафизик Хемницера* — см. прим. 16.

[30] Говоря об *обличительном мусоре, завалившем наши журналы 1857* и *1858 годов*, Писарев имеет в виду поток мелких обличительных произведений, распространившихся в либеральной дворянской литературе в первые годы после Крымской войны. Особенную популярность приобрели в дворянско-чиновничьей среде такие произведения, как комедия «Чиновник» В. Соллогуба, обличительные пьесы Н. Львова и т. п. «Обличение» в этих произведениях было направлено на отдельные частные злоупотребления чиновников. Эта литература и не помышляла о критике существующего строя. Она проводила либеральные иллюзии, говоря о намерениях правительства «искоренить зло» и противопоставляя изобличаемым взяточникам, бюрократам и т. п. ходульные фигуры «идеальных» чиновников-бюрократов «новой формации». Уничтожающая критика этой беззубой обличительной литературы была дана в ряде статей Добролюбова («Сочинения графа В. А. Соллогуба», «Губернские очерки», «Литературные мелочи прошлого года» и др.).

[31] — *бов* — один из псевдонимов, под которыми выступал в «Современнике» Н. А. Добролюбов.

[32] Статья А. Григорьева в журнале «Светоч» (1861, № 4) называлась «Реализм и идеализм в нашей литературе»; в ней Писемскому, как представителю реализма в литературе, противопоставлялся Тургенев, как представитель «идеализма».

[33] *Неделимое* — см. прим. 7 к статье «Идеализм Платона».

[34] Статья «Природа и Мильн-Эдвардс» русского ученого-зоолога Н. П. Вагнера, талантливого популяризатора, была напечатана в журнале «Отечественные записки», 1860, кн. 10 и 11. Она посвящена разбору взглядов французского зоолога Анри Мильн-Эдвардса, крупного систематика, вместе с тем бывшего противником эволюционных идей в биологии.

[35] «*Никто же их не биша, сами ся мучиху*» («Никто их не бил, но сами себя мучили») — несколько измененное выражение из рассказа о новгородцах во вступлении к древнерусскому летописному своду — «Повести временных лет».

[36] *Гуманисты* — см. прим. 3 к статье «Народные книжки».

[37] *Мертвая доктрина г. Новицкого и составителя «Философского лексикона»...* — Речь идет о двух реакционных философах, профессорах Киевской духовной академии — О. М. Новицком и С. С. Гогоцком (составитель «Философского лексикона»). Говоря о «семинарской философии», не находящей себе читателей «вне пределов известной касты», иронически указывая, что эта философия «не от мира сего и мир ее не поймет», Писарев в условиях подцензурной печати разоблачает связь этих философов, ожесточенно нападавших на материализм, с реакционной поповщиной.

[38] *...Антонович в своей рецензии «Философского лексикона»...* — Писарев имеет в виду статью М. А. Антоновича «Современная философия». В ней, а также в статье «Два типа современных философов («Современник», 1861, кн. 4) философия идеализма и в частности лексикон Гогоцкого были подвергнуты критике с позиций материализма.

[39] *Статьи г. Лаврова* — «Гегелизм» (журнал «Библиотека для чтения», 1858, № 5), «Практическая философия Гегеля» (там же, 1859, № 4), «Метафизическая теория мира» («Отечественные записки», 1859, № 4), «Современные германские теисты» («Русское слово», 1859, № 7). — Теисты — сторонники философско-богословского учения, утверждающего существование бога как личности, творца мира. В статье о германских теистах П. Лавров рассматривал с позиций агностицизма теории немецких идеалистов Фихте-младшего, Фишера и др.

[40] «*Три беседы о современном значении философии*» вышли и отдельным изданием (СПб. 1861). В них Лавров, типичный эклектик в философии, проводил взгляды буржуазного позитивизма и разделял важнейшие положения идеалистической философии Канта. В «Антропологическом принципе в философии» Чернышевский подверг критике эклектизм Лаврова в связи с разбором ранее вышедшей книги последнего «Очерки вопросов практической философии» (1860).

[41] Слова купца Густомесова из пьесы Островского «Старый друг лучше новых двух» (д. II, явл. 4).

[42] Имеется в виду статья М. А. Антоновича «Два типа современных философов», посвященная разбору лекций Лаврова.

[43] Писарев имеет в виду статью критика и философа-идеалиста Н. Н. Страхова «Содержание жизни» («Светоч», 1861, кн. 1 и 2), где воспроизводились типично идеалистические взгляды на жизнь, и статью критика Е. Н. Эдельсона, выступавшего в защиту «чистого искусства» и идеалистической философии, «Идея организма» («Библиотека для чтения», 1860, кн. 3).

[44] «*Ксении*» — сборник (1796), выпущенный Гете и Шиллером; содержал эпиграммы, направленные против мещанско-филистерской литературы в Германии их времени. — О словах *свистеть, свистун* — см. прим. 23.

[45] ...*свистал Брамбеус*...— Писарев имеет в виду критические статьи О. И. Сенковского (псевдоним: Барон Брамбеус), выступавшего с довольно резкой, но часто беспринципной критикой современной литературы. В 1850-х гг. Сенковский выступал с критическими фельетонами в журнале «Сын отечества». — Статья С. Дудышкина «Сенковский — дилетант русской словесности» была помещена в журнале «Отечественные записки» за 1859 г., кн. 2.

[46] *Ближайшими литературными друзьями Белинского* здесь Писарев иносказательно называет Герцена и Огарева, чьи имена нельзя было прямо привести по цензурным условиям. — ...*до сих пор свищут... богатырским свистом*... — Имеется в виду издание Герценом и Огаревым боевого органа свободной, бесцензурной печати — «Колокола».

[47] *Кто же... осмеливался относиться скептически к деятельности Росселя и Кавура?* — Оценка двух представителей тогдашнего западноевропейского буржуазного либерализма — главы партии вигов в Англии Джона Росселя и итальянского государственного деятеля, главы кабинета министров королевства Пьемонт графа Камилло Бензо Кавура — была предметом резкой полемики между русскими журналами демократического и либерально-охранительного лагеря в 1861 г. Резко отрицательная оценка Росселя была дана в статье Г. Е. Благосветлова «Маколей» («Русское слово», 1861, кн. 1), где этот английский либерал был назван «умственной малостью». В ответ на попытки со стороны либерально-охранительной печати превознести Росселя Благосветлов выступил со специальной статьей «Несколько слов по поводу «Отечественных записок» и «Русской речи» («Русское слово», 1861, кн. 4). Резкую оценку деятельности Кавура с революционно-демократических позиций дали в «Современнике» Чернышевский (статья «Граф Кавур» в кн. 6 за 1861 г.; также неоднократно в отделе «Политика» за 1859—1861 гг.) и Добролюбов (статьи «Письмо из Турина» — кн. 3 за 1861 г. и «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» — кн. 6 и 7 за 1861 г.). Эти выступления имели актуальное значение, так как разоблачали русских либералов, поклонников Кавура и Росселя, и их политику соглашения с царизмом и крепостниками.

[48] *Кто находил сухими и бесполезными ученые труды гг. Буслаева и Срезневского?* — Критике работ Ф. И. Буслаева по истории искусства и филологии были посвящены статьи А. Н. Пыпина «По поводу исследований г. Буслаева о русской старине» («Современник», 1861, кн.1) и Д. Л. Мордовцева «Исторические очерки русской народной словесности и искусства Буслаева» («Русское слово», 1861, кн. 2—4). Оценке работ Буслаева и освещению его полемики с Пыпиным посвящена также часть «коллекции второй» «Полемических красот» Чернышевского. Критике филологических взглядов И. И.Срезневского была посвящена статья Р. Р. (Г. Е. Благосветлова) «Воспоминания о В. В. Ганке» И. И. Срезневского» («Русское слово», 1861, кн. 8).

[49] Писарев говорит здесь о систематической борьбе журнала «Современник» против идеализма (статьи 1860—1861 гг. Чернышевского, Добролюбова

и Антоновича); он имеет в виду также и свою статью «Идеализм Платона» и ранее опубликованную первую часть данной статьи.

[50] *Кто дерзнул обвинить Гизо в историческом мистицизме...* — Писарев имеет в виду критику со стороны Чернышевского фаталистического «оптимизма» Гизо, согласно которому все исторические события полезны, данную в рецензии на перевод книги Гизо «История цивилизации в Европе» («Современник», 1860, кн. 9) и в статье «О причинах падения Рима» (там же, 1861, кн. 5). — *...Лаврова — в неясности формы и неопределенности направления...* — Имеется в виду статья М. А. Антоновича «Два типа современных философов» («Современник», 1861, кн. 4), а также первая часть данной статьи Писарева. — В *наивности и староверстве* обвинял Буслаева А. Н. Пыпин в «Современнике». — *...Юркевича — в отсталости и в любомудрии...* — Писарев имеет в виду статью Чернышевского «Полемические красоты. Коллекция первая», где Чернышевский, между прочим, замечал, что написанная в опровержение его «Антропологического принципа в философии» статья Юркевича «Из науки о человеческом духе» излагает такие взгляды, которые ему, Чернышевскому, известны еще со времени его обучения в духовной семинарии. — *... Пирогова — в патриархальности педагогических приемов...* — В «Правилах о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа», составленных при участии Н. И. Пирогова, бывшего тогда попечителем Киевского учебного округа, рекомендовалось применение розог в гимназии. Пирогова за эту уступку реакции осудил Добролюбов в статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами». Кроме того, эти «Правила» явились неоднократно предметом сатирических насмешек в отделе «Современника» . «Свисток». — В *вялости тона и в отсутствии направления* обвинял «Отечественные записки» Н. Г. Чернышевский в статье «Полемические красоты. Коллекция вторая». В первой статье из той же серии Чернышевский подверг уничтожающей критике и осмеянию направление «Русского вестника».

[51] *Политические статьи Благосветлова.* — Благосветлов в «Русском слове» за 1860—1861 гг. вел отдел «Политика. Обзор современных событий». — *Статья о Молешотте* — статья Писарева «Физиологические эскизы Молешотта», опубликованная в кн. 7 «Русского слова» за 1861 г. — *Рецензия стихотворений Сковороды.* — Имеется в виду восторженная рецензия на издание сочинений украинского философа и поэта Гр. Сковороды, опубликованная историком Н. И. Костомаровым в журнале «Основа» (1861, кн. 7). В кн. 8 «Русского слова» за тот же год был опубликован иронический отзыв на эту рецензию, написанный Вс. Крестовским («Ходатайство г. Костомарова по делам Сковороды и г. Срезневского»). — «*Дневник Темного человека*» — сатирические фельетоны поэта Д. Д. Минаева, систематически печатавшиеся в «Русском слове» с февраля 1861 г. по август 1864 г. Чутко реагируя на события текущей жизни, «Дневник Темного человека» подвергал осмеянию уродливые явления тогдашней действительности, выступления реакции в литературе, поэзию «чистого искусства». — «*Свисток*» — сатирический отдел в «Современнике», организованный Добролюбовым в 1859 г. и сыгравший большую роль в борьбе с крепостничеством и реакцией. В отделе печатались талантливые сатирические статьи, фельетоны и стихотворения, обличавшие реакционеров и либералов.

[52] Некий помещик Козляинов избил на Николаевской железной дороге одну пассажирку; немец архитектор Вергейм избил извозчика на Итальянской улице в Петербурге. В 1861 г. эти два эпизода явились предметом острого обсуждения в журналах и газетах.

[53] Писарев цитирует здесь статью Н. Н. Страхова (псевдоним: Н. Ко, т. е. Н. Косица) «Еще о петербургской литературе» («Время», 1861, кн. 6), где Страхов выступал против первой части данной статьи Писарева.

[54] ... *если энциклопедический словарь дойдет до буквы Ч*... — В 1861 г. начал издаваться под редакцией Краевского «Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами». Предшествующая попытка создания Энциклопедического словаря под ред. Старчевского была предпринята неудовлетворительно, его издание оборвалось, не дойдя до середины.

[55] «Первая коллекция» «Полемических красот» Чернышевского появилась в кн. 6 «Современника» за 1861 г. В июньской же книжке «Русского вестника» Катков поместил статью (без подписи) «По поводу «Полемических красот» в «Современнике».

[56] Имеется в виду неподписанная статья «Прогресс скандала», помещенная в журнале «Светоч», кн. 7 за 1861 г.

[57] *Раздражение г. Погодина, выразившееся... в изобретении слова «свистопляска»*... — Реакционный историк М. П. Погодин пустил в ход слово «свистопляска», имея в виду «Современник» и его руководителей, в своем ответе Н. И. Костомарову по поводу спора о норманнах (см. прим. 2). —... *негодование г. Буслаева*... — Письмо Буслаева, представлявшее собою раздраженный ответ на статью Пыпина (см. прим. 48), было помещено в кн. 4 «Отечественных записок» за 1861 г.; над ним едко иронизировал Чернышевский в «Полемических красотах». — ...*гнев г. Вяземского, посвятившего свистунам сатирическую песнь лебедя*...— «Лебединой песней» Вяземского Писарев, видимо, иронически называет здесь его стихотворение «Заметка», помещенное в «Русском вестнике» за 1861 г. (кн. 8) и содержавшее выпады против демократического лагеря.

[58] *История о Свечиной*. — В «Русском вестнике» (кн. 4 за 1860 г.) была помещена статья писательницы Евг. Тур «Госпожа Свечина». В редакционном примечании Катков выражал свое несогласие с автором статьи. Позднее в «Современной летописи» (приложение к «Русскому вестнику») появилось «Письмо к редактору» Евг. Тур с возражениями Каткову. Там же (в № 8 «Современной летописи» за 1861 г.) была помещена ответная статья Каткова (анонимно); за нею последовала другая его статья (подписанная псевдонимом «Май») в «Московских ведомостях». Полемика Каткова против Евг. Тур, несмотря на мелочность и неосновательность его претензий, носила резкий характер. На недопустимость таких приемов и указал Чернышевский в статье «История из-за г-жи Свечиной» («Современник», 1860, кн. 6).

[59] ...*попрекает г. Чернышевского... семинарией и... пишет о том, что у него крадут книги и четвертаки*. — Обрушиваясь на неугодных ему журналистов, Катков писал, между прочим, в фельетоне «Одного поля ягоды»: «Таких молодцов действительно нельзя не побаиваться. Зарезать они не зарежут, но не кладите вашего четвертака плохо» («Русский вестник», 1861, кн. 5, «Литературное обозрение и заметки», стр. 26). Чернышевского попрекал Са-

ратовской семинарией Катков в фельетоне «По поводу «Полемических красот» в «Современнике» («Русский вестник», 1861, кн. 6).

[60] *Легион редакторов «Отечественных записок»...* — Имеются в виду редакторы отделов этого журнала (Альбертини, Громека, Дудышкин и др.). О пестроте мнений, выражаемых в разных отделах журнала, писал Чернышевский в «Полемических красотах». Дудышкин в кн. 8 «Отечественных записок» за 1861 г. подтверждал, что редакторы отделов журнала часто действуют независимо друг от друга.

[61] Заканчивая первую часть своих «Полемических красот», Чернышевский выразил свое нежелание вступать в полемику с реакционным философом Юркевичем, «опровергавшим» материализм, и разбирать его «семинарскую премудрость». Относясь с полным презрением к «доводам» своего противника, Чернышевский ограничился лишь ироническим воспроизведением нескольких страниц из сочинения Юркевича. «Русский вестник» (кн. 7 за 1861 г., статья «Виды на entente cordiale с «Современником») попытался это представить как якобы бессилие Чернышевского опровергнуть Юркевича.

[62] Термин *буддийская наука* для обозначения идеализма взят Писаревым у Герцена (ср. пятую статью — «Буддизм в науке» — в произведении Герцена «Дилетантизм в науке»).

[63] С. Дудышкин в статье «Пушкин — народный поэт» («Отечественные записки», 1860, кн. 4), между прочим, ставил вопрос: «В чем же заключается та правда, которой еще так много в Пушкине, на которую следует указывать молодому поколению как на путеводную звезду? В одном ли так называемом художническом приеме или в русском взгляде на вещи?»

[64] См. гл. 18 поэмы Г. Гейне «Атта Троль».

[65] *Ведь говорил вам Чернышевский: куда вам полемизировать!* — В статье «Полемические красоты. Коллекция вторая» Чернышевский, обращаясь к Дудышкину и давая убийственный разбор его статьи из кн. 7 «Отечественных записок», писал: «Где же вам вести полемику, когда вы подводите себя под такие ответы?»

[66] Слова Подхалюзина из комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся» (д. III, явл. 5).

[67] Статья Н. Альбертини «Автору «Полемических красот» была посвящена «оправданию» Кавура и нападкам на Чернышевского за его статью «Граф Кавур».

[68] Статья Альбертини «Политические идеи Токвиля и отзыв о них в «Современнике» представляет собой попытку опровергнуть выводы статьи Чернышевского «Непочтительность к авторитетам», посвященной критике французского буржуазного публициста А. Токвиля.

[69] Статья историка К. Бестужева-Рюмина, близкого к славянофилам, — «Французские софизмы в параллель с русскими» («Отечественные записки», 1861, кн. 8).

[70] *...подлая книга Дюбуа-Гюшана...* — Книга французского реакционного писателя Дюбуа-Гюшана «Тацит и его век, или общество императорского Рима от Августа до Антонинов по отношению к современному нам обществу» вышла в Париже в 1861 г. В этой книжке проявилась политическая тенденциозность ее автора, ярого бонапартиста.

[71] *Кифа Мокиевич* — тип провинциального «мудреца», выведенный в главе XI первого тома «Мертвых душ» Гоголя.

[72] *Руссофилы* — здесь в смысле: славянофилы.

[73] Имеется в виду книга Гизо «История цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи», перевод первой части которой вышел в Петербурге в 1861 г.

[74] Это место — со слов: «Если вы слишком натянете струну», кончая словами: «он взбунтуется», — было вычеркнуто цензурой из журнального текста статьи.

[75] *Египетские терапевты и чисто эллинские новоплатоники* — см. прим. 8 к статье «Идеализм Платона».

[76] *...проект г. Щербины о «читальнике».* — Речь идет о статье поэта Н. Ф. Щербины «Опыт о книге для народа» («Отечественные записки», 1861, кн. 2), где был изложен план книги для народного чтения — «читальника».

[77] *Трапписты* — один из монашеских орденов Западной Европы, основанный в XII в.; правила для членов этого ордена отличались особенной суровостью.

[78] Речь идет об «Эстетических отношениях искусства к действительности» Чернышевского. Дудышкин писал о них в кн. 8 «Отечественных записок» за 1861 г. (в обзоре «Русская литература»); он резко выступил против материалистической эстетики Чернышевского в статье, опубликованной еще в кн. 6 «Отечественных записок» за 1855 г. В 1853—1855 гг. Чернышевский сотрудничал в «Отечественных записках». Но еще в 1854 г., после встречи с Н. А. Некрасовым, Чернышевский стал и сотрудником «Современника». Таким образом уход Чернышевского из «Отечественных записок» и переход его в качестве постоянного сотрудника в «Современник» был подготовлен самим Чернышевским, и окончательный разрыв с журналом Краевского произошел по инициативе Чернышевского, вопреки тому как пытается представить дело в цитированных Писаревым словах Дудышкин.

[79] Имеется в виду статья «Физиологические эскизы Молешотта».

СТОЯЧАЯ ВОДА

Впервые напечатана в журнале «Русское слово», 1861, кн. 10; затем вошла в ч. I первого издания сочинений (1866). Существенных расхождений между текстом журнала и первого издания нет. Дата под статьей поставлена в первом издании. Здесь дается по тексту первого издания с исправлением его опечаток по тексту журнала.

Резко критический характер статьи в отношении бытовых устоев крепостнической России обратил на себя внимание царской цензуры после выхода в свет ч. I первого издания сочинений Писарева. В заключении цензурного комитета от 22 марта 1866 г. говорилось:

«Супружеский союз обусловливается у автора только взаимным расположением мужчины и женщины; если этого расположения нет или оно со временем прекращается, то и союз как бы теряет свою обязательную силу.

К такому выводу приходит критик по поводу повести Писемского «Тюфяк». Указаний этой тенденции, высказанной, впрочем, не прямо, а намеками, весьма много во всей книге» (цит. по статье В. Е. Евгеньева-Максимова «Д. И. Писарев и охранители» — «Голос минувшего», 1919, кн. 1—4, стр. 144—145).

Член Главного управления по делам печати Ф. Толстой в связи с этим писал:

«Вполне разделяю воззрения г. цензора. В первой части сочинений Писарева и в особенности в статье «Стоячая вода» всецело отражаются дух и направление приостановленного журнала «Русское слово». Отрицание родительской власти, порицание брачного и семейного союза особенно ярко выражены в следующей фразе: «Выйти замуж за человека, которого не любишь, — не беда; отдаться любимому человеку — стыдно и грешно, вот вам образчик общественной морали». Подобные фразы и многие другие ясно определяют социалистические и коммунистические тенденции автора».

[1] Повесть А. Ф. Писемского «Тюфяк» впервые была напечатана в 1850 г. в журнале «Москвитянин».

[2] См. прим. 5 и 13 к статье «Схоластика XIX века».

[3] См. прим. 7 к статье «Идеализм Платона».

[4] Ср. в гл. I первого тома «Мертвых душ» Гоголя сатирическое противопоставление «тоненьких» «толстым», занимающим только «прямые места» и составляющим себе солидное состояние.

[5] Здесь *пролетариат* в устарелом значении: нищета.

ПИСЕМСКИЙ, ТУРГЕНЕВ И ГОНЧАРОВ

ЖЕНСКИЕ ТИПЫ

В РОМАНАХ И ПОВЕСТЯХ ПИСЕМСКОГО, ТУРГЕНЕВА И ГОНЧАРОВА

Обе статьи, тематически тесно связанные между собою, первоначально появились в журнале «Русское слово» за 1861 г. (первая статья — в кн. 11; вторая — в кн. 12). Затем вошли в ч. I первого издания сочинений (1866). Разночтения в этих двух прижизненных публикациях незначительны. Даты под статьями выставлены в первом издании. Здесь воспроизводятся по тексту первого издания с исправлением мелких его погрешностей по тексту «Русского слова».

Развернутая в этих статьях критика отношений, господствовавших в феодально-крепостническом обществе, и защита прав личности вызвали резкие нападки на Писарева со стороны реакционеров и царской цензуры. Характерна история рассмотрения этих статей в цензуре после выхода в свет ч. I первого издания сочинений. В отношении цензурного комитета в Главное управление по делам печати от 22 марта 1866 г. говорилось:

«В... критических статьях... содержатся рассуждения автора о достоинствах замечательнейших сочинений гг. Гончарова, Тургенева и Писемского

и, по этому поводу, о различных житейских вопросах современного русского общества. Из этих рассуждений в цензурном отношении обращают на себя внимание взгляды автора: 1) на супружеские отношения, 2) на воспитание детей, 3) на взаимные обязанности родителей и детей и 4) на религиозные внушения». И далее, формулируя пункты обвинения в отношении данных статей, цензурный комитет указывал на резкую критику со стороны Писарева воспитания в буржуазно-дворянской семье, калечащего детей, на критику складывающихся в этой семье ненормальных отношений между детьми и родителями (см. статью В. Е. Евгеньева-Максимова «Писарев и охранители» — «Голос минувшего», кн. 1—4, 1919, стр. 144—145).

[1] *Нравственная философия* — устарелый термин для обозначения социологии, науки об обществе, сводившейся у социологов-идеалистов, пользовавшихся этим термином, к отвлеченной постановке этических проблем.

[2] Намек на расправу немца Вергейма с извозчиком в Петербурге — см. прим. 52 к статье «Схоластика XIX века».

[3] Ср. строки Некрасова о русском крестьянине в стихотворении «Размышления у парадного подъезда»:

Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи.

Цитата из стихотворения Некрасова, запрещенного цензурой до 1863 г., была возможна только в виде краткого намека, хорошо, впрочем, понятного читателю ввиду широкого распространения этого стихотворения в списках среди демократической интеллигенции (в 1860 г. оно было также опубликовано в «Колоколе» Герцена).

[4] «*Эпилог к ненаписанной поэме*». — Под таким названием и в изуродованном виде из опасения цензурных преследований была напечатана Некрасовым в февральской книжке «Современника» за 1858 г. поэма «Несчастные», посвященная изображению царской каторги. — «*Живя согласно с строгою моралью*» — стихотворение Некрасова «Нравственный человек» (1846).

[5] В годы учения в Петербургском университете Писарев был близок к литературному кружку Майковых. Положительная оценка поэзии А. Н. Майкова характерна для начального периода деятельности Писарева в «Русском слове». Первый полемический выпад против поэзии Майкова как проявления «чистого искусства» был сделан Писаревым в статье «Цветы невинного юмора» (1864).

[6] «*Очерки кругосветного плавания*» — «Фрегат «Паллада» Гончарова; книга печаталась отдельными очерками в разных журналах, начиная с 1855 г.; отдельным изданием вышла в 1858 г.

[7] Резкая оценка известного филолога И. И. Срезневского (1812—1880), основоположника истории русского языка как отдельной дисциплины, характерна для отношения к нему Писарева (см. ее развитие в статье «Наша университетская наука», данн. изд., т. II).

[8] *Бешметев* — действующее лицо в повести Писемского «Тюфяк».

[9] Имеются в виду два произведения так называемой «обличительной литературы» конца 1850-х гг. (см. прим. 30 к статье «Схоластика XIX века»): комедия В. А. Соллогуба «Чиновник» (1856), где выступает «добродетельный» чиновник Надимов, шумно обличающий взяточничество и пр., и комедия Н. М. Львова «Предубеждение, или не место красит человека, а человек — место» (1858).

[10] См. прим. 32 к статье «Схоластика XIX века».

[11] В романе «Орас» Жорж Санд в лице героя произведения, по имени которого назван роман, выведен тип либерального фразера, заботящегося в конечном счете лишь о своем преуспевании.

[12] См. прим. 7 к статье «Идеализм Платона».

[13] «*Русская беседа*» — см. прим. 2 к статье «Схоластика XIX века». — «*День*» — еженедельная славянофильская газета, издававшаяся Ив. Аксаковым с 15 октября 1861 г. до 1865 г.

[14] *Московскими доктринерами* Писарев иронически называет М. Каткова и других постоянных сотрудников «Русского вестника».

[15] *...некоторые девушки ходили на лекции в университет...* — См. прим. 13 к статье «Схоластика XIX века». —*...и ходят до сих пор в Медико-хирургическую академию.* — Медико-хирургическая академия стала доступной для женщин в 1861 г.

[16] В киевской газете «Современная медицина» в 1861 г. был помещен фельетон, в котором реакционный автор пошло зубоскалил на тему о том, как же женщины-врачи, если они появятся, будут лечить мужчин.

[17] Т. е. в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров».

[18] См. статью Писарева 1859 г. «Обломов». Роман И. А. Гончарова» в этом томе.

[19] *Свистуны* — см. прим. 23 к статье «Схоластика XIX века».

[20] «*Русский вестник*» — см. прим. 1 к статье «Схоластика XIX века».

[21] «*Отечественные записки*» — см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века».

[22] Имеется в виду эпизод из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Царица эльфов Титания под действием чар царя эльфов карлика Оберона, ревновавшего ее и желавшего отомстить ей, влюбилась в ткача Основу, голова которого, под действием тех же чар Оберона, превратилась в ослиную.

МОСКОВСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ

Впервые напечатана в журнале «Русское слово», 1862, кн. 1 и 2. В первое издание сочинений не включалась. Здесь воспроизводится по тексту журнала.

Статья «Московские мыслители» тесно связана со «Схоластикой XIX века» и продолжает начатую там борьбу с «Русским вестником» Каткова. В обстановке обострившейся классовой борьбы после «крестьянской реформы» 19 февраля 1861 г. разоблачение реакционной идеологии, проводимой на страницах «Русского вестника», получило особенно острое значение. В лице Каткова революционные демократы имели дело с хитрым и опасным врагом

в сфере журналистики. Прикрываясь либеральными фразами о «подлинном», «постепенном и разумном» прогрессе, выдавая свой журнал за орган «солидной мысли» и эксплуатируя сложившийся в 1850-х гг. успех журнала у либерального читателя, Катков в 1861 г. вел на страницах журнала систематическую травлю революционных демократов, особенно журнала «Современник» и его руководителей (см. об этом в прим. к статье «Схоластика XIX века»). Катков своими «разоблачениями» подстрекал реакцию к расправе над Чернышевским. «Русский вестник» в ходе развития классовой борьбы в 1861 г., когда либералы, напуганные ростом революционного движения в стране, вступили на путь прямого соглашения с царизмом и крепостниками, становится основным антидемократическим органом печати. В своей статье Писарев разоблачает реакционный смысл «положительной программы» журнала Каткова, осмеивает его бессильные претензии на роль «идейного руководителя» общественного мнения. Отказываясь от полемики с «Русским вестником», Писарев тем самым подчеркивает, что между «Русским вестником» и демократической журналистикой нет и не может быть никаких точек соприкосновения, что это — явления двух миров, двух непримиримых лагерей.

Писарев выступает здесь как блестящий мастер боевого памфлета, вскрывая идейное убожество реакционной литературы и срывая с критики «Русского вестника» маску академического беспристрастия и либерального благообразия.

[1] *Отрицательное направление* — здесь в смысле: отрицающего, критического по отношению к существовавшему строю.

[2] Гоголь проводит параллель между двумя писателями в лирическом вступлении к гл. VII первого тома «Мертвых душ». Легкому и шумному успеху писателя, который «окурил упоительным куревом людские очи... чудно польстил им, открыв печальное в жизни», он противопоставляет тяжкий удел в тогдашней действительности того писателя, который дерзает «вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами», «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь». Ту же параллель повторяет Некрасов в стихотворении «Блажен незлобивый поэт...» (1852).

[3] *Московские мудрецы* — Катков и сотрудники журнала «Русский вестник».

[4] Писарев имеет в виду свою рецензию на книжку лексикографа и публициста Н. П. Макарова (псевдоним: Гермоген Трехзвездочкин) «Победа над самодурами и страдальческий крест. Сатирическая бывальщина», представлявшую собою одну из пошлых спекуляций на «обличительной» теме, распространенных в тогдашней либерально-охранительной литературе. Уничтожающий разбор ее Писарев опубликовал в журнале «Русское слово», 1861, кн. 11. В кн. 12 журнала Писарев опять вернулся к этой теме, отвечая на обвинения Макарова в пристрастно-несправедливом подходе к его книжке (см. Сочинения Д. И. Писарева, 5-е изд. Ф. Павленкова, т. I, СПб. 1909, стр. 552—562). В прибавлении к № 6 «Русского инвалида» от 10 января 1862 г. было опубликовано также письмо Писарева с ответом на обвинения со стороны редактора «литературных опытов» Г. Трехзвездочкина в «недобросовестности» критических приемов Писарева.

[5] *«Время»* — см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века».

[6] *«Современная летопись»* — первоначально отдел в журнале «Русский вестник», посвященный вопросам политики, литературной критики и библиографии; с 1861 г. стала выходить как отдельное еженедельное приложение к журналу. В 1861 г. в журнале «Русский вестник» также появился новый отдел «Литературное обозрение и заметки», по преимуществу заполнявшийся статьями и заметками, направленными против революционно-демократической журналистики.

[7] Небольшая редакционная статья «Несколько слов вместо современной летописи» («Русский вестник», 1861, кн. 1), принадлежавшая Каткову, открыла серию выпадов и инсинуаций «Русского вестника» в адрес революционно-демократической журналистики, и прежде всего «Современника» Чернышевского и Добролюбова. Цитируемые далее Писаревым строки из этой статьи и представляют выпад против «Современника», против литературно-критических и эстетических взглядов Чернышевского и Добролюбова.

[8] *Русским ученым, издающим уважаемый журнал*, Писарев иронически называет Каткова. Катков начал свою карьеру в 1840-х гг. как филолог (его магистерская диссертация «Об элементах и формах славяно-русского языка», М. 1845). В 1853 г. в сб. «Пропилеи» была опубликована его работа «Очерки древнейшего периода греческой философии». Позднее в «Русском вестнике» за 1856 г. выступил и как литературный критик (статьи о Пушкине и Кольцове). Впоследствии как редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей» Катков «специализировался» на политических и публицистических статьях, посвященных защите реакции и нападкам на передовую мысль.

[9] Статья С. С. Громеки «О полиции вне полиции» была помещена в «Русском вестнике», 1858, кн. 9. В ней автор, выступая с позиций либерала-«обличителя», выдвигал требование буржуазной реформы суда и полиции. Писарев вскрывает ограниченный классовый характер подобных выступлений либеральной публицистики, которые выставляли в качестве идеала устройство суда и полиции в буржуазной Англии.

[10] *«Северная пчела»* — газета, издававшаяся в Петербурге с 1825 по 1864 г.; до 1860 г. выходила под редакцией Булгарина и Греча. Сопоставляя желание «Русского вестника» нести «свою долю полицейских обязанностей в литературе» с «деятельностью» Булгарина и Греча, агентов III отделения, известных своими гнусными доносами на передовую русскую литературу, Писарев раскрывает перед читателем подлинную цель критики «Русского вестника».

[11] Фраза о «литературных скандалах», о «литературе скандала» пошла в ход в реакционной и либеральной журналистике с конца 1860 г. и была обращена против революционно-демократической литературы. В связи с выходом в 1860 г. отдельным изданием сатирических фельетонов И. И. Панаева — «Очерки из петербургской жизни Нового поэта» — либеральная критика выступила против революционно-демократической сатиры «Свистка», в защиту представителей дворянского «чистого искусства». В «Отечественных записках» (1860, кн. 10) явилась статья «Литература скандалов». В редакционном послесловии к этой статье революционно-демократическая литература обвинялась в клевете, в распространении сплетен, в паясничестве и т. д. Это обвинение

было подхвачено другими охранительными журналами и вызвало в ответ меткие и язвительные отклики в демократических органах — в «Современнике», «Русском слове», «Искре».

[12] Статья Каткова (без подписи) «Старые боги и новые боги» была направлена против «Современника» и материалистических взглядов, проводимых в нем. Посвященная в основном нападкам на статью М. А. Антоновича «Современная философия» («Современник», 1861, кн. 2), статья Каткова в конце содержала издевательскую оценку философских и экономических работ Н. Г. Чернышевского и угрозы по его адресу, явно намекая на его революционную деятельность.

[13] *Свистящими журналами* здесь Писарев называет журналы революционно-демократического направления (от названия сатирико-полемического отдела «Свисток», организованного в «Современнике» Н. А. Добролюбовым).

[14] *Иван Яковлевич* — Корейша — московский юродивый; в 1850—1860-х гг. был популярен как «прорицатель» среди мещан, купцов и светских дам, ездивших к нему в сумасшедший дом за советами. Фразу «Без працы не бендзы кололацы» (испорченное польское: «без труда не будет калачей»), представлявшую один из таких ответов московского «оракула», использовал Катков в своих нападках на «Современник» и его руководителей.

[15] В упоминаемой статье Катков лицемерно пытался выдать М. А. Антоновича за противника материализма, превратно истолковывая иронические замечания Антоновича в адрес автора «Философского лексикона» Гогоцкого относительно того, что последний недостаточно и слабо опровергает материализм.

[16] *Пандемониум* — в поэме английского поэта Джона Мильтона «Потерянный рай» название столицы ада, где сатана созывал совет демонов. Под кумирами философского пандемониума Писарев разумеет здесь философов-идеалистов — Платона, Гегеля и др.

[17] *«Странник»* — религиозный православный журнал, начавший выходить в 1860 г. — *«Русский вестник»* — см. прим. 1 к статье «Схоластика XIX века». — *«Отечественные записки»* — прим. 3 там же. — *«Искра»* — сатирический еженедельный журнал революционно-демократического направления, выходивший в 1859—1873 гг. под редакцией известного карикатуриста Н. А. Степанова и поэта В. С. Курочкина. — *«Русский инвалид»* — газета официозного характера, связанная с военным ведомством; издавалась с 1813 г. — *«День»* — см. прим. 13 к статье «Писемский, Тургенев и Гончаров». — *«Наше время»* — «газета политическая и литературная»; выходила в Москве с 1861 по 1863 г. под редакцией Н. Ф. Павлова (1805—1864), выступившего в 1830-х гг. с несколькими талантливыми и прогрессивными по направлению повестями; в 1860-х гг. Павлов заявил себя как ренегат, стал реакционным публицистом. Газета «Наше время» неоднократно прибегала к клевете на революционно-демократическое движение и его руководителей.

[18] Под *петербургскими литераторами* Писарев разумеет здесь демократических писателей, сотрудников издававшихся в Петербурге журналов «Современник» и «Русское слово».

[19] Слова Фамусова из «Горя от ума» Грибоедова (д. I, явл. 4).

[20] Имеется в виду направленная против революционно-демократической

литературы статья Каткова (без подписи) «Наш язык и что такое свистуны».— О г-же Толмачевой см. прим. 11 и 15 к статье «Схоластика XIX века».

[21] *Свистуны* — см. прим. 23 к статье «Схоластика XIX века».

[22] *«Солдатская беседа»* — см. прим. 2 к статье «Народные книжки».

[23] Статья реакционного философа, профессора Киевской духовной академии П. Юркевича, посвященная «опровержению» материализма Чернышевского и его работы «Антропологический принцип в философии», первоначально была помещена в «Трудах Киевской духовной академии» (1860, кн.4). М. Катков, всячески рекламируя эту статью П. Юркевича и возлагая на нее большие надежды в своей борьбе с «Современником», опубликовал обширные извлечения из нее в кн. 4 и 5 «Русского вестника» за 1861 г. Чернышевский дал уничтожающую характеристику взглядов Юркевича в «Полемических красотах», опубликованных в «Современнике», 1861, кн. 6.

[24] *Статья петербургского журналиста* — работа Чернышевского «Антропологический принцип в философии», опубликованная в «Современнике», 1860, кн. 4 и 5.

[25] Пятидесятилетие литературной деятельности П. А. Вяземского, отмечавшееся в марте 1861 г., вызвало неумеренные восторги по поводу его деятельности со стороны отдельных его единомышленников. В связи с этим реакционные публицисты сделали также ряд выпадов против передовой демократической литературы. Все это вызвало резкую полемику, в ходе которой с едкой характеристикой юбиляра и поднятой вокруг этого юбилея шумихи выступили представители демократической литературы (см., напр., сатирические отклики на этот юбилей Д. Д. Минаева в «Искре» и в «Русском слове» — «Дневник Темного человека»).

[26] В басне Лафонтена «Молочница и горшок молока» рассказывается о девушке, несшей молоко на продажу. Размечтавшись о том, что она приобретет, выручив деньги, она уронила горшок с молоком и разбила его.

[27] *Цеховые ученые* — выражение, впервые употребленное Герценом в его письмах «Дилетантизм в науке» для обозначения ученых, оторванных от народа и живущих в кругу чисто профессиональных интересов.

[28] Неподписанная статья «Одного поля ягоды» («Русский вестник», 1861, кн. 5) принадлежит М. Каткову; в ней Катков выступает с реакционным огульным обвинением современной журналистики в «хлестаковстве» и т. п.

[29] *«Домашняя беседа»* — см. прим. 22 к статье «Схоластика XIX века».

[30] *«Маяк»* — журнал крайне реакционного направления, выходивший в Петербурге в 1840—1845 гг. под редакцией С. Бурачка и П. Корсакова; отличался мракобесными выходками против передовой русской литературы.

[31] *Берзеркеры* — по древнеисландским сказаниям неистовые воины, бросавшиеся в битву полуобнаженными, без доспехов.

[32] Имеется в виду фельетон поэта и журналиста Пл. Кускова «Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов» в журнале «Время», 1861, кн. 4. Фельетон касался нескольких злободневных инцидентов, в частности истории с Толмачевой.

[33] В № 255 «Северной пчелы» за 1855 г. была помещена статейка Кс. Полевого с гнусными нападками на Пушкина. Она вызвала резкий отпор в «Со-

временнике» («Заметки о журналах за ноябрь 1855» («Современник», 1855, кн. 12), принадлежащие Н. А. Некрасову, — см. Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. X, М. 1950, стр. 362—365).

[34] «Искра» выступила против Писемского в начале 1862 г. по поводу его фельетона в «Библиотеке для чтения» (1861, кн. 12, под псевдонимом: «Никита Безрылов»), где высмеивалась женская эмансипация, воскресные школы и т. д. Г. З. Елисеев в «Хронике прогресса» («Искра», 1862, № 5) сравнил Писемского с Аскоченским. Выступление «Искры» по поводу Писемского вызвало шум в литературных кругах. Редактор газеты «Русский мир» Гиероглифов пытался организовать коллективный протест писателей против этих якобы клеветнических выпадов «Искры» в отношении Писемского. Протест не состоялся ввиду расхождения мнений по этому частному эпизоду даже в демократической журналистике. «Современник» солидаризировался в оценке фельетона Писемского с «Искрой». «Русское слово» (и в частности Писарев, как это видно из комментируемого места его статьи) считало нападение «Искры» несправедливым и бестактным.

[35] Под общим заглавием: «Явления современной литературы, пропущенные нашею критикою», в журнале «Время» за 1861—1869 гг. печатались критические статьи о некоторых писателях.

[36] Лонгинов цитировал здесь строфу из злобного стихотворного пасквиля П. А. Вяземского на революционно-демократическую литературу 1860-х гг. («Башибузук литературный...»). Стихотворение при жизни Вяземского полностью не публиковалось.

[37] Стихотворение П. Вяземского «Заметка», напечатанное в кн. 8 «Русского вестника» за 1861 г., содержало ряд клеветнических выпадов против демократической литературы.

[38] «*Элегическая заметка*» (без подписи) в кн. 8 «Русского вестника» за 1861 г. содержала всяческие поношения по адресу передовой литературы и науки; в ней клеветнически утверждалось, что в русском обществе нет мысли, нет науки и т. д.

[39] Писарев имеет в виду следующее место из своей статьи «Схоластика XIX века»: «Вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать» и т. д. (см. стр. 135 этого тома). Это место из статьи Писарева и приводилось в редакционной статье «Русского вестника» «Кое-что о прогрессе» (кн. 10 за 1861 г.) как пример «беззаветного отрицания». Статья «Русского вестника» сопровождает эту цитату грубыми выпадами против Писарева, не называя его, однако, по имени. Говоря о том, что эта цитата осталась ему памятной по многим обстоятельствам, Писарев, очевидно, имеет в виду цензурные затруднения в связи с необходимостью выразить этот свой вывод в статье.

РУССКИЙ ДОН-КИХОТ

Впервые напечатана в «Русском слове», 1862, кн. 2. Затем вошла в ч. 2 первого издания сочинений Писарева (1866). Варианты текста обеих прижизненных публикаций незначительны. В трех местах в тексте имеют место следы очевидных цензурных пропусков, отмеченные как в журнале, так

и в первом издании знаком ——. Ввиду отсутствия автографа статьи эти пропуски невозможно восстановить. Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания.

Борьба со славянофильством и его реакционной доктриной заняла видное место на страницах демократической печати в 1861—1862 гг. Это связано с усилением литературно-издательской активности славянофилов. В конце 1861 г. начала издаваться (И. С. Аксаковым) газета «День»; в этой газете неоднократно появлялись резкие выпады против Чернышевского и «Современника». В 1861 г. были изданы сочинения трех умерших к тому времени идеологов славянофильства — К. С. Аксакова, А. С. Хомякова и И. В. Киреевского.

В 1861 г. со статьей, посвященной разоблачению реакционной программы «Дня», выступил Н. Г. Чернышевский («Народная бестолковость» — в № 10 «Современника»); в ноябрьском номере журнала полемику со славянофилами продолжил Г. З. Елисеев. В 1862 г. против славянофилов в «Современнике» была направлена статья М. А. Антоновича «Московское словенство» (в №1 журнала) и статья Н. Г. Чернышевского «Самозванные старейшины» (кн. 3). Кроме того, в «Современнике» и «Русском слове» за 1861—1862 гг. имели место и другие полемические выпады против славянофильской публицистики (напр., в «Русском слове» — в «Дневнике Темного человека» Д. Д. Минаева). Статья Писарева непосредственно посвящена выходу в свет в 1861 г. «Полного собрания сочинений» И. В. Киреевского в 2 томах.

Опубликование этой статьи в ч. 2 первого издания сочинений Писарева явилось одним из пунктов обвинения, выдвинутых на судебном процессе против издателя Ф. Ф. Павленкова. Цензурный комитет, возбуждая 7 июля 1866 г. судебное преследование в отношении Ф. Павленкова, писал между прочим, «что статья «Русский Дон-Кихот», под формою литературной критики заключая в себе осмеяние нравственно-религиозных верований и отрицание необходимости религиозных основ в просвещении и нравственности, составляет закононарушение, предусмотренное в ст. 1001 Улож⟨ения⟩ о наказ⟨аниях⟩» (см. «Литературный процесс по 2-й части «Сочинений Д. И. Писарева» — Д. И. Писарев, Сочинения, Дополнительный выпуск. Изд. 3, СПб. 1913, стр. 251). В том же заключении цензурного комитета статья «Русский Дон-Кихот» характеризовалась как одна из наиболее «вредных по направлению» статей, напечатанных в журнале «Русское слово» незадолго до его приостановки в 1862 г.

Вместе с тем статья Д. И. Писарева содержит и отдельные уязвимые положения. Несправедливо резка оценка, данная здесь Писаревым статье М. А. Антоновича в «Современнике»; эта статья содержала политически острую характеристику взглядов славянофилов с позиций революционно-демократического направления. В противовес Антоновичу Писарев подчеркивает свое стремление определить славянофильство как «психологическое явление, возникающее вследствие неудовлетворенных потребностей». Это в известной степени ослабляло политическую остроту статьи Писарева.

[1] Приводя это мнение И. Киреевского о том, что *Шлейермахер слишком много рассуждает* и что *следует воздерживаться от анализа подробностей,* Писарев хотел, в условиях подцензурной статьи, дать ясно понять читателю,

насколько реакционно было мировоззрение Киреевского, проникнутое православной догматикой. В том месте письма, к которому Писарев отсылает своих читателей, Киреевский, например, выражает свое неудовольствие по поводу того факта, что Шлейермахер пускается в рассуждения и доказательства «достоверности смерти Иисуса»; для Киреевского этот вопрос решен в положительном смысле без доказательств, и он даже присяжного берлинского богослова обвиняет в уступках «материальной точке зрения».

[2] Журнал «*Европеец*», издание которого предпринял И. Киреевский в 1832 г., был закрыт правительством Николая I на втором номере за помещение статьи Киреевского «Девятнадцатый век» на том основании, что она касалась вопросов политики. Мнительная николаевская цензура не могла перенести употребления в статье слов «просвещение», «деятельность разума», «искусно отысканная середина», предполагая, что автор имеет в виду под этими словами свободу, революцию и конституцию.

[3] *Французский блузник*, т. е. французский рабочий.

[4] *В московском духе*, т. е. в духе славянофильской доктрины (по месту пребывания идеологов славянофильства и издания их основных органов).

[5] «Материалы для биографии И. В. Киреевского», опубликованные в т. I издания его сочинений 1861 г., были составлены его другом славянофилом А. И. Кошелевым.

[6] В цитате из статьи И. Киреевского («О русских писательницах», 1838) речь идет о Елизавете Кульман (1808—1825), поэтессе и переводчице. Одаренная феноменальными способностями, она свободно владела десятью языками. Еще 12-ти лет перевела стихотворения Анакреона на несколько европейских языков. Писала собственные произведения также на нескольких языках. Ее поэтические опыты были изданы после ее смерти в трех частях (СПб. 1833—1841).

[7] Имеется в виду кн. Зинаида Волконская (1792—1862). Ее московский салон в 1820-х гг. посещался многими известными писателями. Литературой занималась как дилетант; большею частью писала на французском языке. Наибольшую популярность имело ее сочинение (на французском языке) «Славянская картина V века» — попытка обрисовать мифологические верования древних славян. Большую часть жизни провела в Италии, перейдя к концу жизни в католичество.

[8] «*Время*» — см. прим. 3 к статье «Схоластика XIX века».

[9] Наименование славянофильского направления «православно-славянским» принадлежит самому И. Киреевскому.

[10] Статья «*Девятнадцатый век*» была помещена в кн. 1 журнала «Европеец» за 1832 г.. — «*Ответ А. С. Хомякову*» относится к 1839 г. — *Письмо к графу Комаровскому* — статья И. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России»; была опубликована в «Московском сборнике», изданном славянофилами в 1852 г. — *Философская статья*, напечатанная в журнале «Русская беседа» (1856, т. II), — последняя статья Киреевского «О возможности и необходимости новых начал в философии». Эти две последние статьи Киреевского представляют наиболее последовательное изложение реакционных политических и философских идей славянофильства. — «*Москвитянин*» — славянофильский журнал, издавав-

шийся в 1841—1856 гг. С начала издания решающую роль в журнале играли известный реакционный историк и публицист М. П. Погодин (издатель журнала) и критик С. П. Шевырев; с 1850 г. в журнале приняли решающее участие члены так называемой «молодой редакции», среди них и писатели-славянофилы или близкие к славянофильству (Т. И. Филиппов, Ап. Григорьев). — «*Русская беседа*» — см. прим. 2 к статье «Схоластика XIX века».

«СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ПОЭТОВ»
«ПОЭТЫ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ»

Обе рецензии впервые были опубликованы в журнале «Русское слово» (первая — 1860, кн. 12; вторая — 1862, кн. 5). В первое прижизненное издание сочинений не включались. Позднее перепечатывались в шеститомном издании Ф. Павленкова под общим заглавием: «Вольные русские переводчики». Здесь обе рецензии воспроизводятся по тексту журнала; ввиду тесной их тематической связи мы помещаем здесь первую рецензию непосредственно перед рецензией 1862 г.

В рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде хранится беловой автограф первой рецензии (архив «Русского слова»). В рукописи имеются отдельные места, не вошедшие в печатный текст. *

После слов: «У Берга ничего этого не видно» и перед новым предложением: «Из Андерсена можно было выбрать» (см. данн. изд., стр. 340) в автографе следовал разбор переводов стихотворения Андерсена, сделанных Бергом и Шамиссо: «(У Берга ничего этого не видно:) ледяные цветы заменены фиалками, морозный яркий день цветущею обстановкою весны, пестрый сад придуман самостоятельно. Далее, зачем мальчик, стоящий перед окном, назван счастливым? Зачем он манит цветочки-глазки в сад и откуда взялись голоски кругом? Переводчик умел при передаче совершенно изменить колорит; у него мальчик зовет девушку на свидание, и девушке желательно пойти к нему; у Шамиссо, которому мы позволим себе больше верить, нежели г. Бергу, изображена та минута, когда красота женщины только что начинает действовать на эстетическое чувство юноши. Даже в неизмененном виде стихотворение Андерсена не заслуживает особенного внимания; переводить его не стоило бы в сборнике, имеющем целью познакомить русских читателей с физиономией лучших иностранных поэтов, но по крайней мере оно не компрометирует автора; в нем виден ум, игривость и свежесть, что же касается до переделки г. Берга, то некоторые строки ее целиком годятся на конфектный билетик, а все вместе выходит до невозможности бедно и сладко».

Несколько ниже (см. стр. 340), после слов: «Если бы совершенно откинуть переводы из датских поэтов, от этого нисколько не потерял бы сборник»,

* Автограф исследован Л. Э. Варустиным; им же произведено для данного издания сличение печатного текста с рукописью.

перед новым абзацем, посвященным разбору переводов из Шамиссо, в рукописи дается разбор переводов с итальянского:

«Переводы из итальянских поэтов сделаны с бо́льшим выбором и исполнены лучше, хотя порою встречаются уродливые и смешные погрешности. Например: «А вкруг *печаль рычит*, струятся слезы, кровь» (стр. 139). В отрывке из трагедии «Arnoldo da Brescia» г. Костомаров принимает Рим за женщину и, следуя своему оригиналу, называет вечный город блудницею, говорит ему: «ты опьянела от крови жертв своих», «ты попрала белую одежду»; оно и в итальянском выходит напыщенно, но там по крайней мере *Roma* женского рода. Нельзя же при переводе не обращать никакого внимания на грамматику того языка, на который переводишь. По-русски тирада:

Я осудил тебя, блудница Рим! Ты опьянела
От крови жертв своих, ведешь разврат
Со всеми сильными земли...

просто смешна и бессмысленна. Здесь г. Костомаров слишком усердно поддержался подлинника, но с ним это бывает редко. Большею частью он действует смелее, отбрасывает то, что ему не нравится, и прибавляет свое для большей картинности или для удобнейшего приискания рифм».

В автографе есть и другие, более мелкие отличия от печатного текста. Например, вместо: «Такие книги сбивают публику с толку» (см. стр. 347), в рукописи сказано сильнее: «Такие книги надо преследовать! Они сбивают публику с толку».

В рукописи рецензия имеет следующий конец, отсутствующий в печатном тексте: «Что же еще прибавить? В книге нет живого места, и потому довольно».

В рецензиях нашли яркое выражение те высокие требования как в идейном, так и в художественном отношении, которые предъявлял Писарев к выбору переводимых произведений иностранной литературы, его внимание к принципам художественного перевода. Важное место занимает здесь характеристика творчества Гейне, к оценке которого он неоднократно обращался (см. об этом в прим. к статье «Генрих Гейне», данн. изд., т. IV). Кроме того, вторая рецензия интересна и как политический документ. Один из авторов разбираемых здесь переводов — Вс. Костомаров — приобрел позорную известность как агент III отделения своей предательской ролью в политических процессах 60-х гг. Сфабрикованное им письмо фигурировало на процессе известного революционно-демократического деятеля поэта М. Л. Михайлова в качестве «вещественного доказательства» виновности Михайлова. Позднее он же сфабриковал подложную записку от лица Чернышевского, использованную при расправе царского суда над великим революционным демократом. Язвительно-убийственные намеки Писарева на доносительскую «деятельность» В. Костомарова и имеют в виду разоблачить гнусную роль В. Костомарова в деле М. Л. Михайлова.

[1] «*Весельчак*» — юмористический журнальчик, выходивший в Петербурге в 1858—1859 гг.

[2] Писарев, очевидно, имеет в виду *Арсеньева* Илью Александровича (1820—1887) — бездарного продажного журналиста, агента III отделения, сотрудника булгаринской «Северной пчелы», а затем организованной министром внутренних дел П. А. Валуевым газеты «Северная почта»; под псевдонимом *Заочный* сотрудничал в «Русском вестнике» М. Каткова, а затем в газете «Северная почта» видный чиновник министерства внутренних дел В. К. Ржевский (1811—1885). Таким образом это место в рецензии Писарева представляет меткий выпад по адресу бюрократически-рептильной журналистики.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ 1859—1862 гг.

Редакторы: П. А. Сидоров
и Г. А. Соловьев

Художник А. М. Гайденков

Художественный редактор
А. Ф. Кукуричкина

Технический редактор
Л. П. Крючкина

Корректор В. С. Урес

Сдано в набор 10/III 1955 г.
Подписано к печати 25/VIII 1955 г.
М-41686. Бумага $60 \times 92/_{16}$ — 28,5
печ. л.=28,5 усл. печ. л. 31,03 уч.-
изд. л.+1 вкл.=31,08 л. Тираж
75 000 экз. Заказ № 1933.
Цена 12 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности. 2-я типография
«Печатный Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.